

БОРИС ПИЛЬНЯК
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

БОРИС
ПИЛЬНЯК

ЦЕЛАЯ
ЖИЗНЬ



БОРИС
ПІЛЬНЯК
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

МИНСК
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»
1988

**ББК84Р7
П32**

*Составление и примечания
Б. И. Саченко*

*Вступительная статья
В. В. Новикова*

П $\frac{4702010201-145}{М302(03)-88}$ БЗ 79—88

ISBN 5-340-00373-6

© Составление, примечания, оформление. Издательство «Мастацкая літаратура», 1988.

© Вступ. статья. Москва. Издательство «Художественная литература», 1976.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ БОРИСА ПИЛЬНЯКА

I

Творчество Б. Пильняка занимает особое место в истории советской литературы.

Б. Пильняк начал писать еще до революции. Первые его рассказы появились в 1915 году в «Ежемесячном журнале» В. С. Миролубова, в 1916 году — в сборнике «Сполохи» и в журнале «Русская мысль». Начал он выступать, находясь под влиянием экспрессионизма Л. Андреева, символизма и формализма А. Белого и натурализма А. Ремизова. Первый сборник рассказов «С последним пароходом» (изд. «Творчество», М., 1918) изображал застойность уездной жизни и мало чем отличался по содержанию и форме от произведений А. Ремизова.

Воспитывался Б. Пильняк в мелкобуржуазной, интеллигентской среде. В своей автобиографии 1924 года он писал:

«Настоящая моя фамилия — Вогау. Отец — земский ветеринарный врач — происходит из немцев-колонистов Поволжья; мать — из старинной саратовской купеческой семьи (ныне уже вымершей), мать окончила Московские педагогические курсы. Отец и мать были близки к народническим движениям 80-х и 90-х годов»¹.

Родился Борис Андреевич Пильняк в 1894 году, 29 сентября (старого стиля), в Можайске Московской губернии. Его детство прошло в уездных городах Московской губернии (Можайске, Богородске, Коломне) и на родине родителей — в Саратове и селе Екатериненштате (ныне Маркштате) на Волге. Впечатления от уездной жизни нашли отражение во многих произведениях Б. Пильняка. Особенно много писал он о Коломне. Учился он в Саратовской 1-й гимназии (один год), затем — в Богородском реальном училище; окончил в Нижнем Новгороде нижегородское «Владимирское реальное училище» в 1913 году. Гимназические годы, совпавшие с эпохой реакции, подробно описаны Б. Пильняком в романе «Соляной амбар». Годы революции писатель прожил в Коломне, много ездил по России в поисках куска хлеба. В 1920 году Б. Пильняк окончил Московский коммерческий институт по экономическому отделению.

¹ «Автобиография Б. Пильняка». — В кн.: Б. Пильняк. Рассказы. М., изд-во «Никитинские субботники», 1929, с. 1.

Б. Пильняк один из первых среди модернистов откликнулся на революцию (сб. «Былье», изд. «Звенья», М., 1920,— рассказы 1917—1919 годов). В историю советской литературы Пильняк вошел своим романом «Голый год» (первое издание — 1921 год, второе — 1922-й, третье — 1923-й). Роман вызвал оживленную дискуссию и сделал имя писателя известным.

Ориентируясь во многом на творческий опыт А. Белого, Пильняк в то же время ощущал художественную и чисто человеческую близость с такими писателями, как И. Бабель, Вс. Иванов, Б. Пастернак, В. Инбер. Совместно с молодым П. Павленко Пильняк писал очерки и рассказы («Лорд Байрон»). Он дружил с А. Платоновым и вместе с ним написал «Це-че-о (Центрально-черноземная область). Областные организационно-философские очерки», опубликованные в журнале «Новый мир» (1928, № 12). Пильняк принимал активное участие в литературной жизни, был председателем правления Всероссийского Союза писателей, входившего в Федерацию объединений советских писателей (ФОСП). Он участвовал в работе I съезда советских писателей как делегат от Московской писательской организации.

Луначарский считал Пильняка даровитым писателем, порожденным революцией, и в то же время резко критиковал его за узость взглядов на жизнь, а стиль его произведений считал эпигонским¹.

Творчество Пильняка, особенно в период революции и нэпа, отличалось кричащими противоречиями, развивалось зигзагообразно. Время, в которое творил писатель, как известно, было бурным. Многих событий, происходящих в жизни, Пильняк не понимал и поэтому совершал ошибки эстетического и политического характера («Повесть непогашенной луны», 1926; «Красное дерево», 1929). Но для нас этот писатель интересен не своими ошибочными произведениями, которые так охотно поднимают на щит советологи и стараются использовать в своих неблагоприятных целях, а тем, что он изжил эти ошибки, отказался от модернизма, перешел на позиции реализма, обогатил свое творчество социалистической идеологией.

Октябрьская революция, грандиозные изменения, происходящие в стране в период социалистических преобразований, оказали решающее влияние на творчество Б. Пильняка. В 30-е годы тема социалистического созидания занимает в творчестве писателя ведущее место. Он создает значительные произведения: «Волга впадает в Каспийское море» (1930) — роман о строительстве Коломенского водохранилища; «Таджикистан, седьмая советская» (1931) — очерки, рассказывающие о социалистических преобразованиях в этой республике; «Созревание плодов»

¹ По мнению Луначарского, Пильняк запутался в мелочах и казусах: «Такой человек... до крайности близорук, как часовой мастер, привыкший к мелочам» (А. Луначарский. Собр. соч., т. 8, с. 58).

(1936) — роман о палешанах; «Соляной амбар» (1937) — оставшийся в рукописи роман о революционном движении в России¹.

Немалое значение в переходе Пильняка на позиции реализма имел тот факт, что писатель много ездил по стране, воочию видел, наблюдал разворот социалистической нови — впечатления от этих поездок легли в основу целого ряда рассказов и очерков. Он часто бывал за границей: в 1922 году — в Германии, в 1923 году — в Англии, в 1926 году — в Китае и Японии, в 1931 году — в США, в 1932 году — снова в Японии. По личным впечатлениям им были написаны книги о Японии — «Корни японского солнца» (1926) и «Камни и корни» (1934) и очерковая книга «О'кэй» (1933), обличающая американский империализм.

Литературная жизнь Б. Пильняка оборвалась в 1937 году. Умер он 9 сентября 1941 года.

II

Исследователь, который обращается к творчеству Б. Пильняка, испытывает большие трудности. Вплоть до 1929 года Пильняк впадал из одной крайности в другую, метался из стороны в сторону. Противоречия в его творчестве проявлялись буквально во всем — во взгляде на меняющуюся действительность, в содержании произведений, в выборе персонажей, в особенностях стиля. Но характеризуя творческие поиски и ошибки писателя, нельзя упускать из виду ту тенденцию, которая привела его к реализму.

В творчестве Пильняка отчетливо выделяются три этапа: I — период революции и гражданской войны (сборник рассказов «Былье», 1920; «Метель», 1921; «Голый год», 1922); II — период нэпа, вплоть до года Великого перелома — 1929 («Мать-мачеха», 1922; «Машины и волки», 1924; «Мать сыра-земля», 1927; «Иван Москва», 1927); III — период социалистических преобразований («О'кэй», 1933; «Камни и корни», 1934; «Созревание плодов», 1936; «Соляной амбар», 1937).

Рассказы 1917—1919 годов (сборник «Былье») отражают мировоззрение интеллигента, напуганного грозными событиями революции. Но есть в них и другие мотивы. Есть и восторг автора перед неведомым, грозным. Этот восторг свидетельствует, что симпатии автора не на стороне прогнившего и разрушающегося старого мира, который писатель ненавидел и гибель которого восторженно приветствовал, а на стороне нового. Новый мир был ему непонятен, но интерес к нему был у писателя преобладающим. Октябрьская революция оказала на Б. Пильняка плодотворное воздействие, вызвала коренное изменение в его позиции и миропредставлении. Достаточно сравнить «Голый год» с рассказами

¹ Читателю известны главы из этого романа, опубликованные в журнале «Москва», 1964, № 5.

1917—1919 годов из сборника «Былье» (часть рассказов в видоизмененной форме автор использовал как главы романа), и станет ясно, как быстро эволюционировал Пильняк. В сборнике «Былье» были рассказы, в которых писатель (устаами героев) приветствовал революцию как сказку («Полян»). Но основная тональность сборника была мрачной. Во многих рассказах звучала идея, распространенная в буржуазной интеллигентской среде: революция несет с собой одичание, разрушение, голод, тиф. Именно так писали о революции А. Ремизов («Слово о гибели земли Русской»), Евг. Замятин («Пещера»).

В романе «Голой год» на первом плане — стремление писателя показать очистительную силу революции. «Русь старая сгинула, распалась, и пахнуло Русью новой, настоящей, Русью рабочего и мужика...»¹ — писал А. Воронский, говоря об основной тональности этого произведения. Но писатель еще оказывается не в силах в полной мере реализовать свою идею. Созидательной силы революции и смысла классовой борьбы он не понимает. Стиль романа экспрессионистский. Пильняк не столько показывает объект изображения, сколько выражает свое отношение к нему (часто противоречивое). Однако в лучших частях «Голого года» он достигает соединения лирически взволнованного, прерывистого, полного ассоциаций рассказа с броским выделением характерных черт событий, признаков типических героев. Композиция строится по принципу концентрических кругов, захватывающих в свою орбиту отдельные участки жизни, потрясенные до самых основ революцией. Сюжет развивается прерывисто.

Наиболее сильная сторона романа — обличение старого мира, показ купеческого быта, нравов Зарядья, распад семьи помещиков Ордыниных. Здесь оправданы гротеск, резкая контрастность, отрывочное, фантастическое переплетение различных ситуаций и событий. Революция сдвинула старый уклад жизни, обнажила его язвы. Пильняк относится к этому миру с тем же стихийным отрицанием, как А. Блок, В. Хлебников, и поет ему отходную.

Позиция Пильняка в «Голом годе» во многом совпадала с позицией этих писателей.

В сборнике «Былье» отсутствовали образы большевиков (не считая эпизодического упоминания). В «Голом годе» целые главы посвящены большевикам и революционерам. Писатель понимает, что новое начало в жизни связано с большевиками, с людьми революции. Эта мысль возникает в романе уже во «Введении», в главе, рисующей жизнь города Ордынина, затем она отчетливо звучит в основных главах, связывается с судьбой отдельных лиц и становится лейтмотивом в предпоследней главе «Большевики».

¹ А. Воронский. Литературные силуэты. I. Б. Пильняк. — «Красная новь», 1922, № 4 (8), с. 260.

Противоречия в мировоззрении Пильняка проявляются не только в обрисовке старого мира, сдвинутого с места революцией, но в изображении большевиков, оказывают влияние на стиль писателя, определяют особенности композиции.

Пильняк строил изложение романа по принципу драматической симфонии. Он исходил из призыва Блока: «Слушать музыку революции». Но экспериментаторство писателя доходило до того, что он целые фразы компоновал как звукоподражание: «Метель, март.— Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвиуу, гваау, гааау... гвиииуу, гвиииууу... Гу-ву-зз!»

Нередко писателя подавляли хаос жизни; обывательское тупоумие, проявление анархизма в массах, дикости в деревне вызывает у него растерянность и страх. Фиксируя все это экспрессионистски (закрепляя в слове сиюминутность впечатления), Б. Пильняк доходил до натурализма, особенно в главах, рассказывающих о мешочниках, о теплушках, дикости деревни (сам писатель назвал эту часть повествования: «Самая темная»). Все перемешивается как в калейдоскопе, образуя по меткому выражению одного из современников писателя «литературный паноптикум»¹. Отсутствие ясного мировоззрения и порождает такой сумбур.

Этот недостаток романа отметила уже современная Пильняку критика. Даже А. Воронский, благожелательно относившийся к «Голому году», писал: «...из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин — и ведьмы, и Кононовы, мистика пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериное и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю; XVI и XVII столетия и век XX, горечь и радость. Что-то несведенное к одному мировосприятию, художественно незаконченное и недодуманное есть во всем этом...»²

С Воронским был полностью согласен Дм. Фурманов. В своих «Литературных записях», относящихся, видимо, к 1925 году, он повторил основные положения статьи Воронского и высказывания других критиков. В сжатой конспективной форме Фурманов указал как на достоинства, так и на существенные недостатки «Голого года»:

«Тяготение к первобытной, неусложненной жизни.

Революцию понял как бунтарство; Октябрь увел Русь к XVII веку. Никакого Интернационала нет, а есть одна национальная мужицкая революция, изгнавшая все наносное...

¹ Виктор Г о ф м а н. Место Пильняка.— В кн.: «Мастера современной литературы». Вып. III. Бор. Пильняк. Сб. под редакцией Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова. Л., «Academia», 1928, с. 21.

² А. В о р о н с к и й. Литературные силуэты. I. Б. Пильняк.— «Красная новь», 1922, № 4 (8), с. 266.

Разочарование в западноевропейской буржуазной культуре (слова Глеба из «Голого года»), где богатство техники, но нет богатства духа, как у нас.

Пильняк не понимает новой деревни, ее новых интересов, передового крестьянина.

Ярко пробудившийся национализм Пильняка, не тоска по Руси XVII века, лозунг «теперь Русь — настоящая!», но много в нем и славянофильства.

У Пильняка нет цельности.

«Голой год» — окурковская провинция 1919 г., развал интеллигенции.

Свежесть, самостоятельность, оригинальность.

Фабулы у Пильняка обычно нет¹.

Действительно, «Голой год» — парадоксален по своим противоречиям, рваной композиции, причудливой смеси казусов, вывихов, проявления темного и звериного. Как заметил Воронский, «в «историософии» Б. Пильняка... мирно уживаются: мужицкий анархизм, большевизм 18-го года и своеобразное революционное славянофильство и народничество»². «Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунок; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную»³. И в то же время деревня в романе рисуется как дикая сила. Чрезвычайно путанными и философски несостоятельными являются рассуждения автора о восточном и западном начале в жизни России, об азиатчине и стихийности, о непреходимой вражде между городом и деревней. Новых, революционных процессов в ней автор не увидел.

В «Голом годе» нет цельной картины, писатель и не стремится к ней, как бы нарочито разрушая сюжет, фабулу. Прерывистое повествование, стыковка разных кусков, бьющие в глаза контрасты, раскидистая, ухабистая, нарочито экзальтированная речь — все это передает не только хаос жизни, но и смятенность миропредставления писателя. Любимыми образами Пильняка становятся образы метели, вихря, олицетворяющие события революции. Сквозь этот вихрь, как свет, прорываются главы о большевиках, о восстановлении завода, о работе подрывников на шахте.

Но и в главах о большевиках писатель ограничивается фиксацией внешних признаков. Экспрессионистическая манера не позволяла углубить идею, нарисовать индивидуализированные образы, раскрыть гуманный смысл революции.

Борис Пильняк считал большевиков «знамением времени». Он полемически отказывается от психологизма: «...в исполкоме... собирались на-

¹ Дм. Фурманов. Собр. соч. в 4-х томах, т. IV. М., ГИХЛ, 1961, с. 406.

² А. Воронский. Литературные силуэты. I. Б. Пильняк. — «Красная новь», 1922, № 4 (8), с. 257.

³ Там же.

верху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили и — баста...

Большевики.

Кожаные куртки.

«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И — черт с вами со всеми,— слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий?!»

Подобное, экспрессионистское в своей основе, изображение, бесспорно, противостояло укрепляющейся в советской литературе реалистической тенденции. Недаром Дм. Фурманов, а позднее — А. Фадеев в «Разгроме», изображая индивидуальные характеры большевиков, полемически отталкивались от «кожаных курток» Б. Пильняка.

Идейные и художественные противоречия мешали проявлению реалистических тенденций в «Голом годе». Однако тяга к реализму, хотя и в усложненной форме, но давала себя знать. Заметнее она проявлялась (и это отметила вся современная критика) при изображении отрицательных персонажей — купцов Ратчиных, семьи Ордыниных, особенно отца и детей — Глеба и Бориса.

Эта же тенденция, вопреки авторскому отказу от психологизма, проявлялась и при характеристике большевиков, в частности Архипа Ивановича Архипова, председателя исполкома. По замыслу автора, Архип Архипов — это один из «кожаных курток», живое воплощение революционного долга. Когда речь идет о врагах революции, он, не дрогнув, пишет грозную резолюцию: «Расстрелять». Он суров и в отношении со своим отцом — соглашается, что лучше уйти из жизни самому, чем ждать неминуемой смерти. И отец его, узнав о своей неизлечимой болезни (он болен раком), кончает жизнь самоубийством. Здесь образ Архипа — иллюстрация идей, воплощенных в символе («кожаные куртки»). И в то же время Пильняк хочет выделить Архипа из массы «кожаных курток», наделить его индивидуальными чертами, сделать живой личностью. Писатель пытается нарисовать его портрет, придать его облику живые черты («Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная,— и черны глаза»). Это — заводской парень, сын грамотного «начетчика» Ивана Архипова, который у Ордыниных был дворовым.

Пильняк наделяет своего героя сильной волей и убежденностью в правильности выбранного пути. Архип тянется к новой жизни и, не жалея сил, учится, урывая время от сна. Писатель стремится проникнуть даже во внутренний мир своего героя, обрисовать его нравственные устои (сцена объяснения с Наташей), овеять его отношения с Наташей романтикой чистой любви.

Все это важные начала в творчестве Б. Пильняка. По стремлению выделить из массы героя, представить массу не безликой, а состоящей из индивидуальных типов Пильняк, сближался с такими писателями, как Артем Веселый, Всеволод Иванов. Именно Артем Веселый в «России, кровью умытой» стремился сочетать романтическое изображение массового революционного подъема, «половодья масс» с броским выделением индивидуальных типов из народа, впервые вступивших на путь борьбы.

Пильняк один из первых в истории советской литературы обратился к теме восстановления народного хозяйства, в романтически приподнятой манере обрисовал работу шахты № 3 на Таежевском заводе. Картина получилась драматически напряженной, динамичной. Она показывала смелость, коллективную спаянность работы подрывников. Вместе с «Поэзией рабочего удара» А. Гастева и поэмой В. Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду» это были первые отклики на тему социалистического созидания.

В романе «Голый год» Б. Пильняк обличал не только старый мир, но и бичевал «накипь революции» — эсеров и анархистов. Сочетание гротеска и фантазмагии позволило писателю в образе Семена Зилова, сгоревшего в пожаре, показать, к каким бредовым поступкам может привести вера в эсеровскую доктрину сильной и свободной личности. Не менее выразительно показана в романе история гибели коммуны анархистов. Набрасывая колоритные фигуры анархистов Юзика и Герри, Пильняк показывает, что эти сторонники полной свободы на самом деле являются грабителями и террористами.

Так разворачивается действие в «Голом годе». Острый взгляд на меняющуюся на глазах историю, чуткая реакция на характерные явления сочетались с ошибками и заблуждениями идейного порядка, реалистически написанные страницы переплетались с описаниями, сильно отдающими натурализмом, истинно поэтические находки порою заглушались чисто формальным экспериментаторством.

Роман этот был первой истинной проверкой сил автора. Он многому научил его, хотя нельзя сказать, что после «Голого года» Пильняк уверенно устремился к берегам реализма. Понять, а тем более художественно раскрыть гуманный смысл революции писателю было трудно, несмотря на то, что его симпатии и антипатии были ясны.

III

Особенно сложным и противоречивым было творчество Пильняка в период нэпа.

В мировоззрении Б. Пильняка причудливо сочетался романтический взгляд на революцию, восторг по поводу гибели старого мира — и элементы экстремистских настроений, идеализация сильных «функционеров», типа большевика Ивана Москвы из одноименной повести, фрейдизм

в толковании истоков поведения героев и упадочническая философия Шпенглера, доказывающего в своем сочинении «Закат Европы» (это сочинение резко критиковал В. И. Ленин) бессилие человека изменить мир и свою природу.

Непонимание смысла происходящих событий определило метания Пильняка из стороны в сторону, усиление натурализма и декадентствующего символизма в его творчестве. Пожалуй, только в ряде рассказов да в некоторых частях переработанного и исправленного варианта (для собрания сочинений 1929 года) романа «Машины и волки» давали себя знать реалистические тенденции.

Главной темой в творчестве Пильняка периода нэпа становится тема революции и быта, засилие старого, уездного, темного, которое было взорвано во время революции, залезло в щели, а теперь снова вылезло, приспособилось к новым обстоятельствам.

Пильняк ненавидел собственнический, мещанский уклад жизни. Он изображал его в гиперболически гротескном виде. Но сиюминутность снимка не позволяла передать истинную социальную суть косного начала жизни. Ярость как бы захлестывала писателя. Проявления темноты и дикости, зафиксированные с натуралистическими подробностями, рождали мысль о неистребимости зоологического начала в жизни человека. Картина получалась мрачной. Писатель неясно представлял будущее. Ему, как и герою романа «Машины и волки», Андрею Росчиславскому, казалось: «Осмынадцатый год не вернется, он прошел, навсегда. Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли.— Где теперь все это? Мужичья Россия загорелась лучиной, запелись старые песни, замелась метелица, заскрипели обозы с солью, умирали города, заводы, железные дороги. Осмынадцатый год не вернется, он ушел навсегда».

Пильняк хотел показать «прекрасные муки рождения» нового, связанного с победой революции в России. Но это новое в его творчестве отступало перед силой старого, уходило на второй план, приобретало уродливые формы, осмысливалось писателем неверно и часто изображалось анекдотически. Охотник Степан, участник революции, в романе «Машины и волки» предстает «сплошь в кожах, и язык у него кожаный, чтоб пускать кожанейшие слова». А в образе Ирины Ордыниной, пришедшей в революцию и ставшей чекисткой, поэтизируется физиология свободной любви (повесть «Чертополох»).

В произведениях Пильняка этого периода усилились иррационализм и тяга к символическому. Он все чаще прибегает к приему монтажа разрозненных кусков. Но монтаж получается также иррациональным, лишенным жизненной логики. Стиль напоминает торопливый, захлебывающийся репортаж с места событий. Моментальные снимки, отрывочные ассоциации похожи на кадры кинематографа, перепутанные при монтаже. Так писатель пытался рассказать о трудностях революции, о страшной послевоен-

ной разрухе, о голоде в Поволжье в 1921 году, о спекуляции и попытках Советской власти покончить с разрухой, наладить жизнь. Но в его повестях все это предстает в фантазмагорическом виде, порою как бредовые виденья героя. Ощущение героического исчезает. Б. Пильняк впадает в заумь, начинает имитировать стиль Андрея Белого, «взбалтывая», по меткому выражению Горького, его лексикон. Писатель явно подражает и А. Ремизову — не только в стиле, но и в изображении уездной жизни. Свою повесть «Мать-мачеха» (1922) — «отнодью не реалистическую», как характеризует ее сам автор, он посвящает Ремизову — «мастеру у которого я был подмастерьем». Восприятие массы как безликого множества, состоящего большей частью из уродов, отщепенцев, заслонило в произведениях Пильняка изображение того *нового*, что происходило в молодой Советской республике.

В эти годы решительно изменилось отношение Горького к Пильняку. Как признавался сам Горький в письме к А. П. Чапыгину от 17 июня 1926 года, он в начале писательства Б. Пильняка весьма его похваливал¹. Затем, начиная с 1922 года, отзывы Горького о Пильняке стали отрицательными. В письме к И. Ф. Калининкову от 11 февраля 1925 года Горький отмечал: «Пильняк характерен для современной литературы русской только как явление болезненное, как неудачный подражатель Ремизова и Белого»².

В личной библиотеке Горького сохранились книги I и II альманаха «Круг» за 1923 год с большим количеством пометок на полях и в тексте. В повести Пильняка «Мать-мачеха», опубликованной в альманахе под заглавием «Третья столица», Горький подчеркнул ту часть текста, где Пильняк явно подражал Андрею Белому. В заметке «Русский язык» Горький писал: «Бор. Пильняк в повести «Третья столица» пишет: «В поезде был вагон детских *сосков*, закупленных за границей Внешторгом. Впоследствии выяснилось, что вместо *сосков* оказалась в вагоне другая резина». Б. Пильняку, видимо, не совсем ясна разница между *соском* и *соской*»³.

Не довольствуясь отдельными критическими замечаниями, Горький, со свойственной ему решительностью, высказал свои соображения и в прямой переписке с Пильняком. В письме от 10 сентября 1922 года он отмечал: «...пишете вы все хуже, небрежнее и холодней»⁴. В этом же письме Горький советовал Пильняку избавиться от рабской зависимости от Андрея Белого: «Белый, человек очень тонкой, рафинированной культуры; это писатель на исключительную тему, существо его — философствующее *чувство*, Белому нельзя подражать, не принимая его целиком, со

¹ М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., 1955, с. 470.

² «М. Горький и советские писатели». — «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 311.

³ Там же, с. 472.

⁴ Там же, с. 311.

всеми его атрибутами как некий своеобразный мир,— как планету, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и духовный миры»¹.

Кроме пренебрежения к русскому языку, Горький заметил навязчивое стремление Пильняка в повести «Мать-мачеха» обыграть просчеты и неудачи первых лет восстановительной работы в Стране Советов (открытие бани рекламируется как «историческое явление», а она работает не каждый день, неумение организовать торговлю, обилие фактов жульничества, взяточничества, воровства). Односторонняя фиксация всего этого, да еще в гиперболической форме, породила перекося, лишала автора возможности показать действительные победы нового в городе, на селе, на заводе, на фабрике, в советской торговле (о чем, кстати сказать, по совету В. И. Ленина, много писала тогда «Правда», открыто бичуя и недостатки).

Наиболее развернутая характеристика слабых сторон творчества Пильняка содержится в письме Горького к К. Федину в том же 1922 году: «Да, Пильняк пишет «мудрено»,— но я очень не советую обращать на него внимание. Он весь — из Белого и — немножко — от Ремизова. Пильняка как такового еще не видно. И — не надеюсь увидеть, прочитав его фокусническую «Метелицу» — вещь совершенно мертвую². Белый — человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать, она требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов — человек совершенно отравленный русскими словами. Он каждое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безобразна, не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а — псалмы, акафисты.

Пильняк — странно говорить о нем рядом с этими — Пильняк же — пока — имитатор, да еще не очень искусный. Имитирует грубовато, ибо — некультурен и не понимает всей глубины и сложности образца. Он — больше выдумывает, чем чувствует. Белый же чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его — выразить трудно»³.

Однако долгое время Пильняк оставался глух к критике и советам Горького.

Творчество его в 20-е годы пользовалось широкой популярностью, и он продолжал экспериментировать, «фокусничать», по словам Горького.

¹ «М. Горький и советские писатели». — «Литературное наследство», т. 70, с. 311.

² Речь идет о рассказе Б. Пильняка «Метель». Берлин, изд-во «Огоньки», 1922.

³ «М. Горький и советские писатели». — «Литературное наследство», т. 70, с. 469.

Особенно резко критиковал Горький Пильняка в 1924 году. С негодованием Горький писал, что позиция Пильняка как стороннего, холодного наблюдателя, обыгрывание различного рода казусов и гиперболизация болезненных явлений советской действительности оборачиваются в его творчестве декадентствующим нигилизмом и антигуманизмом. В письме к К. Федину 20 декабря 1924 года Горький советует адресату различать разного рода одержимости. Горький говорит об односторонней одержимости Пильняка-«нигилиста», «когда он, взбалтывая лексикон Белого, обнаруживает полное равнодушие к ценнейшему, живому материалу искусства — к Человеку»¹.

Повести Б. Пильняка 20-х годов давали повод для таких выводов. Кроме отмеченных Горьким недостатков, в них проявлялся откровенный физиологизм, подчеркивание зоологического в поведении человека (прямая параллель между «человеком» и «волком»), поэтизация сильной личности (образ Ксении Ордыниной в «Чертополохе»). Все это — декадентствующие мотивы, которые носили антигуманный характер. Они усиливались хаотичностью формы, нагнетанием ассоциативных параллелей и антитез, стыковкой разнородных кусков, превращением реальных образов в символы (образ Марии-Табунщицы в романе «Машины и волки» дан в отвратительном физиологическом виде как символ «мужицкой Расеи»). Сквозь все эти мотивы, характеризующие особенности мировосприятия писателя того времени, с трудом пробивались реалистические тенденции.

Заметнее всего они проявились в некоторых частях романа «Машины и волки» (1924). Этот роман публицистический. Писатель стремился показать в нем изменения, происходящие в жизни, и свое отношение к этим событиям. Менее всего он заботился о создании образов героя. А события и факты, взятые в причудливой смеси возвышенного и низменного, революционного и житейски-бытового, обыденного, поражали воображение писателя своей контрастностью, кричащими противоречиями, засилем дикости, уродливостью нового (в быту и поведении человека). Писатель сам впадал в противоречия. Он преувеличивал силу дикого, звериного начала в «мужицкой Расеи». Он видел, что завод несет новые формы общественных отношений, но не в силах был понять их и к заводу относился только как к «дизелю» — то есть символу нового, «машинного века». Этот своеобразный урбанизм Пильняка резко отличался от реалистической линии советской литературы в изображении рабочих и их усилий по восстановлению народного хозяйства («Доменная печь» Н. Ляшко и «Цемент» Ф. Гладкова).

Б. Пильняк впадал в романтические преувеличения и создавал лирические миниатюры, воспевающие силу и мощь индустриального начала, воплощенного в заводе: «...коммунисты, машинники, пролетарии, ерети-

¹ «М. Горький и советские писатели». — «Литературное наследство», т. 70, с. 482.

ки — через бунт, пугачевщиной, разиновщиной, чуждые им, — бунтом, чуждые бунту, — шли ко кремлям, к заводам, — заводами — к машинной правде, которую надо воплотить в мир: шли от той волчьей, суглиняковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи — к России и к миру, строгому, как дизель. И вскоре тогда — в метелях, в бунтах, в пугачевщине — строгая стала рабочего рука, рука пролетария, взявшая под микитки и бунт, и Расею, — первая в мире, которая заволила машину мира и его болота заменить машиной человека, и так построить справедливость...»

Этот романтический пафос, в период восстановления и развития народного хозяйства, был созвучен героическим усилиям масс. В романе «Машины и волки» (когда речь шла о работе Коломенского машиностроительного завода) автор делает попытку создать образы персонажей из заводского коллектива — народного умельца, механика Кузьмы Ивановича Козаурова, знающего «душу машин»; его сына, активиста Лебедухи, пользующегося уважением у рабочих; инженера Форста, специалиста, верящего, что развитая промышленность преобразит Россию, победит отсталость и хаос. Появляются в романе и элементы реалистического пейзажа: «Снег придавил малосенькие елки, снег надел перчатки на лапы сосен, снег разостлал ковры, расшитые следами белок, зайцев, лис, синичек».

Но реалистические мотивы в романе не составляют основы в общем композиционном строе произведения, хотя в идейном и эстетическом отношении выражают важную тенденцию в творчестве писателя.

Пильняк жадно ищет возможности, не изменяя своей индивидуальности, найти наиболее плодотворные способы изображения современных событий. Его влекут сильные люди и острые ситуации. На основе своих впечатлений, полученных от поездки на о. Шпицберген, он в 1925 году пишет повесть «Заволочье». В ней документальная очерковость в описании экспедиции советского судна «Свердруп» в Арктику, зимовки отряда на Шпицбергене сочетается с романтическим изображением необычных героев типа профессора Кремнева, человека, фанатично увлеченного научным исследованием. Стиль повести экспрессивно-контрастный. Но романтическое описание подвига полярников перебивается натуралистическими сценами. Половые инстинкты определяют поведение героев Пильняка. В повести «Заволочье» они оказываются причиной гибели полярников.

Влияние фрейдизма проявилось затем в повести «Мать сыра-земля» (1927), в описании «жгучей» любви коммуниста Некульева, а также в бредовых, натуралистических сценах повести «Иван Москва» (1927).

Идейные шатания Пильняка, столь очевидно отразившиеся в художественной структуре его произведений, приводят к политическим ошибкам. В 1926 году он публикует в журнале «Новый мир» «Повесть непогащенной луны» (о смерти командарма Гаврилова на операционном столе).

Это — необъективное, искажающее советскую действительность произведение. Горький резко отозвался об этой повести, написанной, по его мнению, уродливым языком. «Удивительно нелепо поставлены в нем хирурги, да и все в нем отзывается сплетней», — писал М. Горький А. Воронскому¹.

Ранее защищавший Пильняка от нападок рапповцев, Воронский отказался принять посвящение этого произведения ему и написал в «Новый мир» гневное письмо, осуждающее повесть. Редколлегия журнала признала публикацию повести «явной и грубой ошибкой»².

Не менее остро были осуждены литературной общественностью идейно-художественные пороки повести Б. Пильняка «Красное дерево», опубликованной им за границей (Берлин, «Петрополис», 1929). Отвергнутая журналом «Красная новь», повесть давала одностороннее, искаженное представление о советской действительности, что было на руку враждебной пропаганде. «Литературная газета» провела широкую дискуссию по этому поводу. Поступок Б. Пильняка вызвал возмущение многих советских писателей.

Страна Советов вступила в год Великого перелома. Вместе с успехами социалистического строительства одерживала успехи и молодая советская литература. Были созданы «Хорошо!» Вл. Маяковского, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, появились первые главы и части «Жизни Клим Самгина» М. Горького и «Тихого Дона» М. Шолохова, вышел «Восемнадцатый год» А. Толстого. А писатель, который считал себя революционным новатором, у которого в 1929 году начало выходить восьмитомное Собрание сочинений, оказался в резком противоречии с эпохой и с передовой литературной средой.

Несомненно, ощущение этого кричащего несоответствия, этого разрыва с истинно прогрессивными силами и привело к тому, что в 1929 году Б. Пильняк решительно пересмотрел свои позиции. Он отмежевался от тех, кто использовал «Красное дерево» в антисоветских целях. Он заявил, что хотел бы, как и ранее, отдавать свое творчество делу строительства новой жизни.

IV

В творчестве Б. Пильняка 30-х годов укрепляются реалистические принципы. В книгах «О'кэй» и «Таджикистан, седьмая советская» в полную силу проявляется его мастерство очеркиста.

Б. Пильняк был признанным мастером документального жанра. Он создал ряд новаторских произведений — масштабных по мыслям и обобщению материала. Свои очерки об Америке «О'кэй» он назвал американ-

¹ «М. Горький и советская печать», кн. 2. М., «Наука», 1965, с. 39.

² «Новый мир», 1926, № 6, с. 184.

ским романом, а очерки о Таджикистане — «материалом к роману». Документальная очерковость является сильной стороной его романа «Созревание плодов».

Все это говорит о том, что в творчестве Пильняка 30-х годов на первый план выходит обобщение реальных фактов, их осмысление в свете исторической перспективы социалистического строительства.

Исторический аспект очень ярко проявляется в книге «О'кэй». Путевые записки сочетаются в ней с экскурсом в историю страны, с рассуждениями писателя о прошлом, настоящем и будущем США. Непосредственный рассказ об увиденном все время остается на первом плане, но в то же время читатель из книги Пильняка может узнать историю открытия Америки, вытеснения индейцев, расовой дискриминации негров, войны за независимость, обогащения за счет грабежа малоразвитых стран, историю экономического взлета, процветания и экономических кризисов.

Б. Пильняк касается и истории развития революционного движения в Америке. Когда-то Америка была прогрессивной страной. Американская война за независимость была набатным колоколом для демократических революций в Европе, для Великой французской революции. Первый Интернационал в лице Маркса приветствовал США как демократическую страну. После разгрома Парижской коммуны бюро Совета Первого Интернационала переехало в Америку. Первое мая — праздник трудящихся всего мира — стал впервые отмечаться американским Орденом рыцарей труда в память героических выступлений чикагских рабочих, организовавших 1 мая 1886 года всеобщую забастовку.

Но все это было в прошлом — и прошло! — заявляет Б. Пильняк. Сейчас же эта богатейшая в мире страна превратилась в очаг беспощадной эксплуатации рабочего класса. Во взаимоотношениях хозяев с рабочими царит произвол «сильных мира сего». Мощное развитие индустрии превратилось в бедствие для рабочего класса. Кричащие противоречия раздирают Америку. Технический прогресс носит хищнический характер. «Нью-Йорк — всемирная керосинка». «...город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улететь в никуда и в нечеловечность...»

Пильняк был в США летом 1931 года, в разгар самого тяжелого в истории страны экономического кризиса. Он был в Америке *после* Маяковского, но *до* Ильфа и Петрова, написавших «Одноэтажную Америку». Однако впечатления и мысли Пильняка удивительно совпадают не только с Маяковским, но и с Ильфом и Петровым. Традиция обличения американского империализма, начатая блестящим памфлетом М. Горького «Город Желтого Дьявола», нашла свое продолжение в советской литературе, в том числе и в творчестве Пильняка.

В. Маяковский и Б. Пильняк, посетив Америку после Октябрьской революции, чувствовали себя представителями страны социализма, не знающей произвола корпораций, безработицы и экономических кризисов. Пильняк взглянул на все процессы, происходящие в Америке, с точки

зрения революционного класса, с высоты социалистического опыта. И он увидел обострение классовых противоречий (между рабочими и капиталистами), продажность лидеров рабочих профсоюзов: «История американского рабочего движения — это история предательств американских рабочих и предательств, не менее страшных, чем средневековые».

Писатель ведет повествование как беспристрастный очевидец. Он восхищен достижениями Америки в области индустрии, электрификации, производства товаров. Но он сознает, что все это богатство, созданное трудом рабочих, существует только для тех, кто имеет доллары. Доллар — их бог! Рядом с роскошью — ужаснейшая нищета. «И нет страны с большим количеством люмпен-пролетариев, чем Америка». Безработица достигла угрожающих размеров — десяти с лишним миллионов.

Пильняк гневно разоблачает хищническую, реакционную природу американского империализма. Он судит о нем с высоты завоеваний социализма, понимая, что СССР — будущее человечества, а американский империализм — его прошлое. Писатель на конкретных примерах (власть рекламы, грубые развлечения в Коней-айлэнде, шествие куклуксклановцев и суд Линча, религиозный фанатизм и фарисейство) показал духовную деградацию США, нарисовал фигуры невежественных предпринимателей типа «кишечного» миллионера Котофсона.

Особо выделены факты, доказывающие отсутствие в Америке демократии, прямо свидетельствующие о сращивании монополистического капитала с монополистическим бандитизмом. Пильняк нарисовал реальную и страшную по своей сути фигуру гангстера А. Капоне, истинного хозяина Чикаго — бога бизнеса и бога политики.

Б. Пильняк достиг в очерках об Америке большой силы обобщения. То, что он обнаружил почти сорок лет назад, не исчезло в США и поныне, наоборот, получило развитие, приобрело угрожающие размеры и заставило даже людей, далеких от коммунизма, скажем, иных американских сенаторов, обладающих трезвым взглядом на жизнь, ставить вопросы о болезнях Америки, о необходимости борьбы с коррупцией, бандитизмом, расизмом.

V

О значительных сдвигах в творчестве Пильняка 30-х годов в сторону реализма свидетельствуют не только документальные произведения, но и романы «Волга впадает в Каспийское море», «Созревание плодов» и, особенно, «Соляной амбар».

В роман «Волга впадает в Каспийское море», опубликованный в 1930 году, вошла сюжетная линия, изображающая братьев Бездетовых — краснодеревщиков, составившая в свое время основу повести «Красное дерево». Но в общей композиции романа эта линия заняла подчиненное место. В центр его стало грандиозное строительство в Коломне плотины — «монолита» — с целью направить к Москве воды реки Оки.

Описание строительства дается по принципу так называемых производственных романов 30-х годов — с научным обоснованием и использованием технических терминов. Тема «новостроек» делала роман близким по идейному звучанию «Соти» Л. Леонова и «Гидроцентрали» М. Шагинян. В отличие от производственных романов 30-х годов писатель уделяет большое внимание психологии героев, раскрытию их внутренних переживаний. Характеристика положительных героев: автора проекта строительства Полетики, энергичного руководителя стройки инженера Федора Садыкова дана реалистически. Психологические переживания отрицательных героев раскрываются в усложненной иррациональной форме, с намеренным возвратом к одним и тем же ситуациям, нагнетанием темных красок. Все еще давали себя знать противоречия в мировосприятии писателя. Переход его на позиции реализма происходил с трудом.

Б. Пильняк с восхищением рисует картину грандиозной стройки, свидетельствующей о первых победных шагах социалистического созидания, выделяет образ Полетики, крупного ученого, с юных лет связавшего свое имя с революцией, человека, которого лично знал Ленин. Его образ приобретает в общей идейной концепции романа роль своеобразного эпицентра. Именно Полетика характеризует социализм как фундамент, опираясь на который, можно осуществить грандиозные планы преобразования природы. Он мечтает о строительстве цепи гидростанций на Волге, обводнении засушливых заволжских степей. Строительство водохранилища в Коломне — это начало осуществления планов Полетики, верящего в созидательную силу социализма. Правда, образ его — во многом рационалистичен, но он целиком устремлен в будущее.

Пильняк стремился показать в своем романе и перестройку сознания масс, происходившую в острой борьбе с пережитками старого. Броско и выразительно нарисован образ «инженера от станка» Федора Садыкова. Федор на стройку перенес одержимость гражданской войны. В нем еще что-то осталось от «кожаных курток» (прямолинейность в понимании долга, ригористичность), но в целом — это живой, развивающийся индивидуальный характер, раскрывающийся в деле, в повседневной заботе о людях. Недаром именно с ним делится Полетика своим грандиозным планом.

Ожесточенное сопротивление строительству социализма оказывают представители старого мира. В создании образов озлобленных врагов социализма (бывшего богача Скудрина), в раскрытии психологии «краснодеревщиков», спекулянтов братьев Бездетовых, живущих принципами «осмнадцатого» века, Б. Пильняк особенно близок «Соти» Л. Леонова. Хотя Пильняк и не достигает леоновской художественной силы обобщения реального, но сама тенденция оказывается плодотворной. Картина жизни Скудриных и братьев Бездетовых — по сути своей это тот же самый «скит», который нарисован Леоновым как воплощение всех мерзостей старого мира, оказывающего бешеное сопротивление наступлению

социализма. Здесь в романе Пильняка оправдан сарказм, гиперболизм, обнажение психологических изломов, раскрывающих истинную сущность врагов социализма.

В художественном отношении отрицательные персонажи получились более яркими, индивидуально выразительными, чем положительные герои. Но порою Пильняк допускал преувеличения, — сказывались старые пристрастия. При изображении Скудрина, его быта, отношения к жене и дочери, при изображении братьев Бездетовых и инженера Полтарака — вредителей, решивших взорвать плотину, Пильняк использовал приемы символизма, впадал в натурализм и иррационализм. Писатель не скрывал своей ненависти и презрения к представителям старого мира, но при этом, как и в произведениях 20-х годов, он преувеличивал засилие старого и дикого в жизни народа.

Проявление дикости (бабий бунт на стройке), курьезных нелепостей (жизнь в подвале кирпичного завода «охламонов», бывших участников революции и гражданской войны, исключенных из партии за непонимание нэпа), моральной деградации (образ «артистки» Надежды Саранцевой, ведущей разгульную жизнь) — все эти картины придавали мрачный колорит повествованию. Они свидетельствовали о неизжитых противоречиях в творчестве писателя. Но общая реалистическая линия одержала победу, оказалась ведущей в романе.

О стремлении Б. Пильняка полностью перейти на позиции реализма свидетельствует также роман «Созревание плодов» (написан в 1935 г., выпущен в свет Гослитиздатом в 1936 г.). В центре романа — автобиографический образ писателя Арбекова, его поездка в Палех.

В романе в сложном переплетении развиваются три линии повествования: лирическая, очерковая и философско-эстетическая. Лирическая линия связана с раскрытием переживаний писателя, его судьбы, семейных отношений (внезапной любви к грузинской артистке, поездки в Грузию, женитьбы, рождения сына). В очерковой манере в романе воссоздается история революционного движения в Иванове, всеобщей забастовки и создания первого Совета ивановских рабочих в 1905 году. Это — самая сильная и выразительная линия в романе. Философско-эстетический план повествования связан с изображением Палеха, его народных художников (Голикова, Баканова, Буторина, Парилова и др.). В «Созревании плодов», несомненно, проявилась тяга писателя к народным истокам творчества, к тем традициям, которые ярко проявились в искусстве палешан.

Если ранее Б. Пильняк (в романе «Голый год», например) имитировал фольклор (деревенские частушки, сказы, обрядовые песни), следуя за А. Ремизовым, то в «Созревании плодов» он стремится проникнуть в законы народного искусства, понять особенности народного мировосприятия, отразившегося в творчестве палешан (в частности, многомерность и перспективность изображения человека и окружающего его мира).

В романе «Созревание плодов» Пильняк говорит о гармонии как необходимом условии художественного творчества. Он сравнивает художественный образ с магнитом, который притягивает к себе разбросанные на столе железные опилки, приводит их в порядок. «Когда у писателя возникает образ,— говорит Пильняк,— опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают закономерные формы».

Однако композиционной гармоничности в «Созревании плодов» Пильняк не достиг. Каждая повествовательная линия в романе развивается самостоятельно и скреплена только образом Арбекова. В конце романа в сюжет вставлены очерки о строительстве Сяьского бумажно-целлюлоидного комбината и о строительстве Турксиба. Мотивируется появление очерков стремлением Арбекова увидеть изменения, происходящие в стране. Он сравнивает свою родину с «ледоколом истории», который мощно идет вперед, преодолевая преграды.

«Арбеков услышал гулы, социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину... родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории, переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии... Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домны,— путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно.

Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху,— даже только видеть?— и разве не вдвойне чудесно быть,— ну, хотя бы каменщиком эпохи?!»

В 1937 году Пильняк работает над романом «Соляной амбар». По замыслу это должно было быть многоплановое произведение, охватывающее большой отрезок времени (от начала века до Февральской революции). Большая рукопись — 420 страниц машинописи — свидетельствует, как увлеченно работал писатель. Но произведение осталось незавершенным. Последняя часть рукописи представляет собой наброски разрозненных эпизодов. Из них ясна судьба героев. Писатель подводит сюжетные события к финалу, но общей завершающей картины не получается. Это — только мотивы, которые писатель должен был бы свести в единое целое.

Нельзя сказать, что противоречия, ранее сказывавшиеся в творчестве писателя, не дают себя знать в романе. Они остались в описании моральной деградации семьи фабриканта Шмуцокса и упадочнических настроений молодежи в период реакции. Композиция романа в этой части оказывается неровной, страдает отрывочностью, искусственной усложненностью. Проявляется влияние фрейдизма. Сюжетная линия Леопольда Шмуцокса (сына фабриканта) превращается в иллюстрацию эдипова комплекса.

Но общая тональность романа Б. Пильняка реалистическая. Писатель стремится показать жизнь уездного города Камынска в историческом развитии. В центре романа — рост революционного движения, от первых рабочих кружков, маевки до организованного выступления трудящихся масс против царизма. Пильняк рисует сатирические образы «власть имущих» — исправника Бабенина, князя Верейского, подрядчика Кошкина, обличает либералов, показывает жизнь рабочих. В лучших частях романа он добивается единства в изображении героев и типических обстоятельств, делая акцент на тех изменениях, которые происходят в жизни. Писатель показывает, что вековой неподвижности уездной жизни в начале XX века пришел конец. События японской войны, революции 1905 года, Ленского расстрела, первой мировой войны, Февральской революции врываются в Камынск, будоражат людей, меняют жизнь города. Сюжетообразующим фактором в романе является деятельность Леонтия Шерстобитова, студента, члена социал-демократической партии, сосланного в Камынск. Рядом с ним действуют конторщик Стромькин, рабочий Артем Обухов. После гибели Леонтия Шерстобитова его дело продолжают молодые — Клим Обухов и Анна Колосова, сын врача Андрей Криворотов.

Повествование насыщено публицистикой. Как пример высокой революционной стойкости Пильняк приводит эпизоды из жизни Маркса и Ленина. Автор напоминает историю Первого Интернационала и говорит о роли Маркса как вождя пролетариата. Он рассказывает о неустрашимом мужестве Ленина, о том, как он перешел по льду фиорды Финского залива, скрываясь от царских ищеек. Картина жизни в романе «Соляной амбар» в целом получается широкой, несмотря на отрывочность повествования в некоторых частях.

Заканчивается роман рассказом о судьбе Молдавского, бывшего народника, идеалом которого всегда была Вера Фигнер. Молдавский сочувствует революции, и его слова в конце романа во многом отражают мысли автора.

«...Все лучшее, все честное, все подлинно человеческое, что было в моей жизни, это было тогда, когда я приближался к революции. Это было дважды. Но я никогда не был вплотную с революцией, мне казалось, что я недослушан ею, и это неверно, потому что я опаздывал за нею...»

На этой ноте признания, ноте раздумья роман обрывается. Трудно угадать, в каком направлении пошло бы дальше развитие его героев. Но и написанного, с его поэтикой, с его галереей образов, отражающих реальные человеческие типы революционного времени, с его широкой панорамой событий, хватит, чтобы заключить: в последнем своем, к сожалению, незаконченном романе Пильняк сделал решительный шаг к реализму.

Вместе с укреплением принципов реализма в творчестве Б. Пильняка росло его мастерство рассказчика.

В ранних рассказах чувствовалось влияние А. Ремизова и Евг. Замятина. Хаотическая композиция этих рассказов во многом отражала хаотичность мыслей писателя: «Поземка» (1917), «При дверях» (1919), «Тысяча лет» (1919), «Метель» (1921).

Уже в начале 20-х годов Пильняк пытался соединить в рассказах реалистическое повествование с символическими обобщениями. Но два принципа вступали в противоречие, мешали добиться художественной цельности. Вместо правдивости описания появлялся натурализм, а символика лишалась реалистической основы. Автор увлекался сюрреалистическими приемами обобщения, превращая натуралистическую, порой отталкивающую деталь в аллегорию. Именно так, скажем, реализуется идея неминуемой гибели капитализма в рассказе «Жених во полночи» (1925).

Писал Пильняк и стилизованные, проникнутые вульгарно-социологическими идеями рассказы о прошлом («Его величество Кнеб Питер Командор» (1919); «Санкт-Питер-бурх», 1921). Они оказывались антиисторическими.

В ряде рассказов Пильняк назойливо подчеркивал сексуальные инстинкты как силу, определяющую поведение человека («Смертельное манит», 1918), победу темного начала над разумом («Моря и горы», 1919, «Нерожденная повесть», 1925), отдавал дань фрейдизму. Натуралистическая передача хаоса жизни граничила с поэтизацией алогизма в поведении людей, анархического произвола («Ледоход», 1924). Позднее сам писатель в предисловии к «Избранным рассказам» (1935) характеризовал такие произведения как «лирические тупики» в его творчестве.

Иными словами, в рассказах Б. Пильняка нетрудно обнаружить те же особенности ранней его прозы то, что столь отчетливо выявилось в крупной эпической форме — романах и повестях. И все же в новеллистике сильнее, чем в повестях 20-х годов, ощутимо стремление писателя к реализму.

Он создает рассказы, проникнутые лирическим началом. По тональности, точности деталей и тонким акварельным краскам они напоминают прозу И. Бунина. «День пришел белый, прозрачный, холодный — тот, в котором дышится паром, и на деревья, дома, изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух — бел, солнце не выходило из белых же облаков» («Снега»). Реалистическая манера особенно заметна в рассказах Пильняка, изображающих дворян и образованных интеллигентов, оказавшихся во время революции вышибленными из привычной

колеи жизни и вынужденных жить уединенно («Вещи», 1918; «Наследники», 1919; «Лесная дача», 1922; «Земля на руках», 1928).

В рассказе «Наследники», например, дается бытовая картина жизни семьи бывших дворян Расторовых в первые годы революции. В рассказе много выразительных деталей, показывающих, что крах такой семьи — не случайность, а исторически неминуемое явление. Та же тема, применительно к купеческой семье, звучит в рассказе «Старый дом» (1924). Рассказ этот во многом автобиографический. В описании собора, причала, спуска к Волге нетрудно угадать географические приметы старого Саратова. Но в этом рассказе сильнее, чем в «Наследниках», звучат мотивы, связанные с очистительной силой революции. Пильняк рисует привлекательный образ представителя четвертого поколения — Нонны. Она — энергичная и смелая девушка. Нонна связала свою судьбу с революцией, стала комсомолкой. Она узнала правду и верит в свои силы. «Вот эта жизнь,— говорит Нонна,— меня и научила понимать ее, жизнь: никогда и нигде я не пропаду!..» Сейчас она работает и учится. О своих товарищах по университету она говорит: «Песни поют все по-прежнему о прекрасном, только прекрасное теперь новое,— студенты, хорошие ребята, и всем нам приходится все наново строить».

Кстати сказать, упоминания о том, что Нонна — комсомолка, что она увлечена красотой строительства нового мира,— не было ни в первом, ни в последующих изданиях рассказа (в том числе в Собрании сочинений Б. Пильняка, т. VIII, 1930). Этот мотив появился только в сборнике «Избранные рассказы» (1935). И он значительно усилил образ Нонны и главную идею рассказа — об очистительной силе революции и красоте нового.

В лирической манере Пильняк пытался поэтизировать подвижническую жизнь революционеров, рассказать об их новой морали, чистых, глубоких чувствах. Такова миниатюра «Без названия» (1926) — об исполнении решения парторганизации — убить провокатора и о любви двух революционеров, ставивших долг выше личных отношений. (Эта тема найдет свое продолжение в романе «Соляной амбар» при характеристике Клима Обухова и Анны Колосовой.) Близок по идее к этой вещи рассказ «Верность» (1927), в котором передана атмосфера взвихренного революцией времени и опозтизировано чистое чувство истинной любви.

В рассказе «Рождение человека» (1934) представлен быт и дела партийцев 20-х годов. В этом рассказе остро поставлены морально-этические проблемы. Кое-где еще дает знать пристрастие писателя к физиологии (подробное описание страданий женщины-роженицы). Но реализм явно побеждает, и на первый план выходит поэзия больших чувств — поэзия материнства как источника жизни на земле, поэзия новых отношений, возникших между героями Антоновой и Суровцевым — людьми, знающими цену дружбе, взаимному пониманию и доверию.

В ряде рассказов отчетливо звучат автобиографические мотивы. Основой рассказа «Расплеснутое время» (1924) послужили письма случайной попутчицы автора, с которой он в 1918 году ездил в теплушках менять вещи на хлеб и картошку. В остроумной миниатюре «Орудия производства» (1927) Б. Пильняк рассказывает историю двух пишущих машинок, которые были его верными помощниками в работе.

Пильняк охотно касался заграничной темы, вводил ее в повествование для сравнения с жизнью в Стране Советов («Старый сыр», 1923; «Камень, небо», 1934), резко обличал колониальную политику Англии на Востоке («Большое сердце», 1926), рисовал картины быта Японии («Рассказ о том, как создаются рассказы», 1926).

Новеллы Б. Пильняка разнообразны не только по тематике, но и по стилю. Особый ряд составляют рассказы, объединенные романтическим видением мира. Они повествуют о сильной любви, верности и братстве, передают вкус соленого морского ветра, насыщены яркими красками («Грего-тримунтан», 1925). Романтизм здесь особый. Сюжет овеивается легендой, но в основе его лежит действительная история. Таков «Город ветров» (1928). Это — типичный для Б. Пильняка рассказ. В нем возникает ситуация неожиданная, острая, в чем-то неправдоподобная даже и вместе с тем — реальная. Именно поэтому автору и удается столь объемно реализовать художественную идею: мерзкие пережитки былого, хоть и цепляются они упорно за жизнь, бессильны противостоять натиску исторической нови.

Очерковая основа явно ощущается в романтическом рассказе «Speranza» (1923). Насыщенный внутренним драматизмом, этот рассказ дает представление о жестокой эксплуатации, унижении и рабстве, царивших в английском флоте. Через весь рассказ проходит мотив русской революции. Боцман и один из матросов русские. Они знают о революции и мечтают вернуться в Россию.

Множество реальных событий, вплоть до автобиографических, содержится в рассказе «Синее море» (1928) — о поисках японскими специалистами английского судна «Черный Принц», затонувшего вместе с золотым запасом армии возле берегов Балаклавы в 1854 году. Однако не морская романтика волнует автора — ему важно развеять легенду о «Черном Принце» и разоблачить хищническую натуру английских колонизаторов.

Некоторые романтические рассказы Пильняка представляют собой по стилю образец орнаментальной прозы. Таковы рассказы «Мальчик из Тралл» (1927) и «Лорд Байрон» (1927). Последний рассказ написан Б. Пильняком совместно с П. Павленко. «Мальчик из Тралл» пропитан южным светом, воскрешает страницу драматической истории жизни греков. Свет русской революции определяет идейную тональность реалистических и романтических по стилю рассказов Б. Пильняка («Speranza», 1923).

Творческий путь Бориса Пильняка показывает, каким многообразным и сложным образом, в борьбе противоречий, происходил процесс формирования советской литературы в 20-х и первой половине 30-х годов. Пильняк был одним из первых, откликнувшихся на события революции. А первым быть трудно. Груз старого давал себя знать, усложнял поиски, толкал порой на ложное решение. Переход писателя на позиции реализма, обогащение творчества социалистической идеологией был для него в высшей степени плодотворным. Революция помогла ему выявить лучшие свойства таланта, найти истинную дорогу в творчестве. Таков был путь не одного только Б. Пильняка — такова закономерность нового, социалистического времени.

В. Новиков

РОМАНЫ

ГОЛЫЙ ГОД

*В книге «Бытие разумное,
или Нравственное воззрение
на достоинство жизни» есть фраза.*

«Каждая минута клянется судьбе
в сохранении глубокого молчания о жребии нашем,
даже до того времени, когда она
с течением жизни нашей соединяется;
и тогда, когда будущее молчит о судьбине нашей,
всякая проходящая минута
вечностью начинаться может».

ВСТУПЛЕНИЕ

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забуть не в силах ничего.

А. Блок

I

ОРДЫНИН-ГОРОД

На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход вврата сии.

И вот выписка из постановления Ордынинского Сиротского Суда:

«1794 года Генваря 7-го дня Понедельник в Присутствии Ордынинского Городского Сиротского Суда — господа присутствующие прибыли в двенадцатом часу пополудни:

Дементий Ратчин, градский голова.

Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Зябров, градский староста.

Слушали — — —

Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа именита и честна, благодарить и чествовать.

Расписались — — —

Из Присутствия вышли во втором часу пополудни и проследовали в Собор для молебствия».

Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордынинский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге, гусиным пером, с затейливыми завитушками.

Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами,— двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте, в соляных рядах (теперь уничтожены), на торговой площади (теперь Красная),— каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем, чтобы осмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков.

Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей стал за прилавок,— с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядье, в своем двухэтажном доме за воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.

В Кремле были казенные дома и церкви, под Кремлем, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах). Весь день и всю ночь, каждые пять минут били часы в соборе,— дон, дон, дон!— И первыми просыпались в Кремле гуси (свиней в Кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями появлялись кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в Управление будочники со столами на головах (издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам,— надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром, и не в будках, а в канцеляриях, куда приносили им столы). Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и если спросонья будочник спрашивал:

— Кто идет?—

надо было всегда отвечать:

— Обыватель!

В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно, специалистом был околоточный Бабочкин.

Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осенясь крестами, купцы. Пробегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиальную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым,

и единственным пороком его было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат рыболовной его страсти (об этом даже доносил епископу поэт-доносчик Варыгин). Ярыга Огонек-классик кричал отцу:

— Всемиловейший господин!.. Понимаете?..—

Но батюшка спеша только отмахивался.

А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться чёской. Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему и говорил:

— Великодушный господин! Vous comprenez? ¹ Вам говорит Огонек-классик...

И Бланманжов давал семитку. Бланманжов был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике, дома — голая, а летом и осенью фрукты из сада своего продавала в окошко, в одной рубашке.

Приходил к казенке боец Трусов, пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговцы, разносчики. Ярыги покупали собачьей радости, разбредались по делам. Заезжали извозчики на своих «калибрах», спросонья говорили:

— Пожа!.. пожа!..

А над городом подымалось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное. Над землею, над городом, проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные.

Веснами старухи с малолетками ходили к Николе-Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенью мальчишки пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и «новенькими»,— на смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии: невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал писателя Надсона, разговор иссякал, и жених спрашивал про географию; невеста говорила, что она была у Николы-Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где отбывал воинскую повинность. На Николу вешнего, на Петров день, на масленую были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты

¹ Вы понимаете? (франц.)

сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили тайком к доктору Елеазарычу. Зимой по субботам ходили к водопойщику в баню. Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби окунуться разок-другой. По воскресеньям же зимним были кулачные бои, бились с ямскими и реденевскими, начинали с мальчишек, которые кричали: «Давай! давай!..» — кончали стариками, — но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, веселиться и размножать крупчатых цыганят, а на обратном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи, в крещенский вечер на всех дверях малевали мелом кресты.

События в городе бывали редки, и если случались *комеражи* вроде следующего:

Мишка Цвелев — слесарев — с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и — давай в окна камнями садить. Цвелев — слесарь — на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные, — он на пожарных с топором; пожарные — теку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли, —

если случались такие комеражи, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом.

В соляных рядах на торговой площади около епархиальной лавки стоял рундук — единственная книжная торговля — под вывеской:

Продажа и покупка
учебников, чернилъ, пѣрьевь
и ручекъ.

и продчихъ періюдическихъ
писчебумажныхъ изданій

А. В. В а р ы г и н а.

Под рядской иконой Сорока свв. Великомучеников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских

купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял картуз на икону, картузы шли в духовное училище. Заведовал епархиальной торговлей о. Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки на рыбной ловле:— на камнях, якорях или привязи? В епархиальной лавке играли в шашки, и собиралась интеллигенция — Бланманжов, А. В. Варьгин. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели «аблокаты» и языки (слово и дело!): аблокаты писали клеюзы и бумаги, языки свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юродивые,— Зябров над ними «измывался»: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачок Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфетные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.

Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:

не — дают, а скалывают,
не — уступить, а сколоть,
не — продавай, а прикалывай,
не — торгуйся, а божись,
не — 150 руб. 50 коп., а арци-иже-он кон иже-он-кун,
не — 90, а твердо-он.

Покупателям надо было двери отворять и за ними двери затворять: не обмеришь, не обманешь — не продашь. Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на счетах, читал вслух Библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и, под вечной лампадой, проучивал, смотря по вине: или двуххвосткой, или вологой. В двенадцать приходил хлебник: давал на хлебника приказчикам пятак, а мальчикам три копейки, выходил к о. Левкоеву поиграть в шашки, по гривеннику партия,— обыгрывал всех молча: чёской заниматься не любил. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.

Запорка была половина восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город засыпал, и на вопрос:

— Кто идет?—

надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:

— Обыватель!..

В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича Ратчина было безмолвно, лишь вечером из подвала, где жили приказчики с мальчиками, несло придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штiblеты, а у мальчиков штаны (дабы не шаманались ночами), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым «учил». В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось, горела лампада. Вечером, за ужином, Иван Емельянович сам резал во щак солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:

— Ешь со всем!

Ивана Емельяновича звали не иначе как — сам и папаша. Жили под пословицею: «Папаша придет — все дела разберет»¹. Была у Ивана Емельяновича дебелия жена, гадавшая на кофе о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душевной спальне Иван Емельянович долго молился — о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих,— читал псалмы. Спал чутко, мало,— по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечою, снова молился, пил чай, приказывал — и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может, потому, что это был день?), и из каморок выползали к «самой» приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол своего сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости — родня. 24 июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощенное воскресенье приказчики и мальчики кланялись Ивану Емельяновичу в ноги, и он говорил каждому:

— Открой рот, дыши!—

чтобы учуять водочный запах.

¹ Пословица гласит: «Дело не наше, сказала мамаша, папаша придет — все дела разберет». (Прим. Б. Пильняка.)

Так, между домом, лавкой, Библией, поркой, женой, Машухой,— прошло сорок лет. Так было каждый день — так было сорок лет,— это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.

Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было все: и бабки, и чушки, и купанье на реке у перевозчика, и змеи с трещоткой, и голуби, и силки для щеглят, и катанье на простянках, и покупка-продажа подков, и кулачные бои,— это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме как в училище и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам возрос, кольцами завились русые кудри. Сердце Доната было создано к любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буэнос-Айрес, в Нью-Йорк,— перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу,— городское училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием: Бланманжов так и задавал: выучить к завтраму путешествие в Иоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь. Донат полюбил комнатную девушку Настю, черноокою и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух Жития свв. отец. Настя садилась против, опирала ладонями голову в черном платочке, и — пусть никто кроме нее не слушал!— Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя,— великим постом они говели и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Ордынине двадцать семь церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, заметил Доната с Настей, сообщил о. Левкоеву, а тот Ивану Емельяновичу. Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрав Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело

вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-ламе и поставил единицу, потому что к Далай-ламе европейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его колокольным звоном, тихие Настины глаза — навсегда остались прекраснейшими в жизни Доната.

Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку, через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в «Европу». Стал ходить с отцом за прилавок. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белоборского монастыря о. Пименом; летом заходил к нему ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруду, гуляли по парку, затем в келии, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, вроде следующего:

О, дево! крине рая!
Молю тя, въздыхая:
Воззри на мя умильно,
Тя възлюбил бо сильно! ¹

Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели «Коперника» ² и «Сашки-канашки» с припевом на мотив «Со святыми упокой». Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквями, вросшими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, — и Пимен же рассказывал Донату о том, что есть в мире тоска. Пимен же познакомил Доната с Урываихой: июньскими бессонными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице вдове миллионера-

¹ Вот продолжение стихотворения:

Чернец аз есмь смиренный,	Тебе аз, грешный Пимен,
Зело в тя влюбленный,	Молю лобзанье дати.
Забывый об обете	В субботу аз тя ждати
(Держи сие в секрете!)	У врат священных буду...
И, аще не противен	Затем..... порнография.

(Прим. Б. Пильняка.)

² «Коперник целый век трудился...» (Прим. Б. Пильняка.)

ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в двухспальную постель. Любились страстно, шептались — говорили — ненавидели — проклинали. Ростовщик Урываев семидесятилетним — семнадцатилетней взял Оленьку в жены, для монастырского блуда, вытравил в ней все естественное, умирая завещал ей опеку. Красавица женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, «замудровал»...

Но и эта последняя любовь Доната была недолгой, — на этот раз донес, донос в стихах написал поэт-доносчик А. В. Варыгин.

Кто знает?

Кто знает, что было бы с Донатом?

В 1914 году, в июне, в июле горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушии.

В 1914 году загорелась Война и за ней в 1917 году — Революция.

В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали — на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты — убивать и умирать. Доната угнали в Карпаты. В Ордынине провожали солдат до Ямской слободы.

Первым погибнул в городе Огонек-классик, честный ярыга, спившийся студент, — умер, — повесился, оставив записку:

«Умираю потому, что без водки жить не могу. Граждане и товарищи новой зари! — когда класс изжил себя — ему смерть, ему лучше уйти самому.

Умираю на новой заре!»

Огонек-классик умер пред новой зарей.

В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу, — и последний раз схитрили купцы, «отцы города»: инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то полное свое согласие, но назначили столь несуразно мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах, на заводе. Поезда пробегали мимо города, как угорелые, — и все же первый поезд встречали обыватели, как праздник, — вываливали к Вологе, а мальчишки для удобства залезали на крыши и ветлы.

И первый поезд, который остановился около самого Ордынина,— это был революционный поезд. С ним вернулся в Ордынин Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юности, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое, и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить — старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.

По древнему городу, по мертвому Кремлю ходили со знаменами, пели красные песни,— пели песни и ходили толпами, когда раньше древний, канонный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами с волкодавами у ворот. Кругом Ордынина лежали леса,— в лесах загорались красные петухи барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.

Дом купца Ратчина был взят для Красной гвардии. В доме Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду с винтовкой, кудри Доната вились по-прежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь — страсти и ненависти. Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбежались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната, на их месте строился Народный дом.

Вот и все.

Вот еще что (кому не лень, иди, посмотри!): каждый день в без пяти семь утра к новой стройке Народного дома, как раз к тому месту, где была торговля «Ратчин и Сын», приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью,— каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это — Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.

В городе — голод, в городе скорбь и радость, в городе слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешочники, оспа и тиф.

На кремлевских ордынинских воротах уже не надписано:

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход вверата сии.

Впрочем, в городе, кроме купцов, были дворяне, мещане и разночинцы, город же лежит за тысячу верст отовсюду, в Закамье, в лесах, и в город приходили *белые*.

В летописи летописец сказал о землях ордынских:—

«Стоит город Ордынин из камня. А земли те богаты камнем горючим и рудюю магнитной, к коей пристаёт железо»,—

и за Ордынином полег завод металлургический. Земли же ордынские — суходолы, доли, озера, леса, перелески, болота, поля, тихое небо,— проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Проселки,— ползут-вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо идти, хочет пройти попрямее — свернет, проплутает, вернется на прежнее место!.. Две колеи, подорожники, тропка, а кругом, кроме неба, или ржи, или снег, или лес,— без конца, без начала, без края. И идут по проселку с негромкими песнями: иному те песни — тоска, как проселок. Ордынин родился в них, с ними, от них.

В летописи и «Истории Великороссии, Религии и Революции» летописец архиепископ Ордынский Сильвестр сказал о людях ордынских:

— «Жили в лесах, как звери, ели все нечистое, срамословие между ними пред отцами и невестками; браков среди них не бывало, но игрища между селами, сходились на игрища, на плясание и на всякие бесовские игрища и здесь умыкали себе невест, с которыми уговаривались, имели по две и по три жены; если кто умирал, творили тризну по нем, затем приготавливали великий костер (кладу) и, положивши на нем мертвеца, сжигали его, и после этого, собравши кости, влагали их в сосуд малый и ставили его на столбе на путях, что делают и до сего дня».—

И теперешняя песня в метели:

— Метель. Сосны. Поляна. Страхи.—

— Шоояя, шо-ояя, шооояя...

— Гвииуу, гаауу, гвиииууу, гвииииуууу,
гаауу.

И:—

— Гла-вбумм!

- Гла-вбумм!
- Гу-вуз! Гуу-вууз!..
- Шоооя, гвиуу, гааауу...
- Гла-вбуммм!!

И —

КИТАЙ-ГОРОД

Это из его, Китая, бродяжеств —

Начали в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-Город, за китайской стеной, вращался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и зипунах,— сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи,— икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча,— весь в котелке, совсем Европа.— А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в этой пустыне из подворий и подворотен выползал тот: Китай без котелка, Небесная Империя, что лежит где-то за степями на востоке, за Великой Каменной стеной, и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей.— Это один Китай-Город.

И второй Китай-Город.

В Нижнем Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги, доллары, лиры и прочие,— после октябрьского разгуля, под занавес разлившегося Волгой вин, икор, «Венеций», «европейских», «татарских», «персидских», «китайских» и литрами сперматозоидов,— в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забитых палаток, из безлюдья — смотрит солдатскими пуговицами вместо глаз — тот: ночной московский и за Великой Каменной стеной сокрытый: Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы — вместо глаз.

Тот Московский — ночами, от вечера до утра. Этот — зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

— Это из его бродяжеств.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, с трех сторон мокрые сосны, и третий день дует ветер: примета знает, что ветер ест снег. Март. В соснах — поселок, за холмами — город, в лощине — завод. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха — и в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от фрезеров и аяксов, от молотов и кранов, из домны, из прокатного от поржавевших болванок — глядит: Китай, усмеваются (как могут усмеяться!) солдатские пуговицы.

Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Врешь! Врешь! Загорит еще домна, покаты болванки, запляшут еще аяксы и фрезеры!

— Вре-ошь! Вре-оошь! — и это не истерически, а быть может, разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами. — Это Архип Архипов.

Необходимое примечание

Белые ушли в марте — и заводу март. Городу же (городу Ордынину) — июль, и селам и весям — весь год. Впрочем, — каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и Таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду. — Донат Ратчин — убит белыми: о нем — все.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Глава I

ЗДѢСЬ ПРОДАЮТСЯ ПЪМАДОРЫ

В городе, городское, по-городскому.
Древний город мертв. Городу тысяча лет.

Знойное небо льет знойное марево, и вечером долго будут желтые сумерки. Знойное небо залито голубым и бездонным, церковки, монастырские переходы, дома, земля — горят. Сон наяву. В пустынной тишине бьют стеклянным звоном колокола в соборе:— дон, дон, дон!— каждые пять минут. Этими днями — сны наяву.

На монастырских воротах красная вывеска с красной звездой:—

— Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа.

У монастырских ворот часовой. И из дальних келий несутся в пустыню дня неумные звуки кларнета,— то учится играть на кларнете начальник народной охраны товарищ Ян Лайтис. Древен монастырь Введенъ-на-Горе; от келии к келии, от церкви к церкви идут переходы, и к белым стенам прилепились, narосли боковушки, ставшие от времени коричневыми. Ночами похож монастырь, как Василий Блаженный, на декорации из театра. Введенъ-на-Горе:— были у России дни, когда Россия шла от Москвы, от московских застав шла на восток и на север, в леса и пустыни, монастырями, в расколе. Стоит Ордынин в Закамье,— к южному закрою небесному степи, к северно-

му — леса да болота, к востоку — горы. Стоит Ордынин на холме, над рекою Вологою, в лесах, город из камня. И неизвестно, кто по кому: князя ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин по князьям прозвался? ¹

Последний раз город жил семьдесят лет назад. Была у России такая эпоха, — черт его знает, как назвать эту эпоху! — когда и России-то собственно не было, а было некое бесконечное, в зное засохшее пространство с полосатыми верстами, мимо которых мчались до Петербурга чиновники, с тем, чтобы перед императором там прочесть свою залихватскую подпись, — и у чиновников не было лиц, а было нечто, вымороченное в синее — казенное — жандармское сукно; — недаром по июльскому зною — по Гоголю — в те дни мчались чиновники в шубах, — мчались с тем, чтобы у застав, в полосатых будках, менять дорожные и проезжать города с приглушенными глухарями. Было у России в те дни лицо выморочено, как у чиновников, походили те дни на испепеляющий июль, тот, что приносит голод и засуху. Недаром та эпоха разразилась Севастополем. И от этой эпохи остался в Кремле, у заставы, против монастырских ворот, дом, — холуйской архитектуры! — с полосатой будкой у ворот, выкрашенный в киноварь, но с белыми пилястрами в каждом простенке и с голубыми наличниками. Князя Ордынины раздвоились на Ордыниных и Волковичей, но и генералы Волковичи перевелись, жил в правой угловой Андрей Волкович, помещался в подвале сапожник Семен Матвеев Зилотов, снимали в мезонине комнаты советская барышня Оленька Кунц да обыватель Сергей Сергеевич. — Князя же Ордынины — разместились в другом конце парка у Старого Взвоза, у Старого Собора, не в родовом уже, а в купеческом доме: *мамаши Ордыниной*.

Против дома монастырские ворота, справа соборная площадь, исхоженная столетиями, истомленная многими зноями, за соборною площадью ордынинский дом, тоже архитектуры холуйской (бывший — купцов Попковых!), сзади обрыв, поросший медноствольными соснами. С холма от заставы видна река Волога, за рекой, за поляями и заводами, в лесах далеко видны: белые колокольни, реденевские и иные. И за лесом, в новых холмах черные трубы торчат: завода, — это уже иное.

¹ Князя же Ордынины, впрочем, выродились уже в ростовщиков. (Прим. Б. Пильняка.)

Знойное небо льет знойное марево, вечером будут желтые сумерки,— и вечером под холмом вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь, за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливые песни. Город будет уже спать: город застарел в военном положении. Ночью от полоев и заводей пойдут туманы. Ночью по городу ходят дозоры, бряцая винтовками. Ночью — ночью обыватель Сергей Сергеевич спустится к Семену Матвееву Зилотову, в свежем одном белье, сядет по-холостому на подоконник, поджав отекавшие свои ноги, и будет рассказывать о соусе майонезе и о телячьих котлетах.

— Дон! Дон! Дон! — бьют куранты в соборе.
Иные дни. Теперешний век.

У иссохшего в ревматизме сапожника Семена Матвеева Зилотова скошено иссохшее лицо на сторону. Мигая кри-вым своим глазом, он говорит:

— Ноне идет осьмая тысячи четыреста двадцать седьмой год! — И добавляет с усмешкой: — Не верите? Проверьте-с! Я же клянусь: ей-черту, пентаграмма!

У Семена Матвеева Зилотова, в подвальном окне, кроме кардонки с сапогом, как раз против вывески:

— Отдел Народной Охраны Ордынского
Совдепа, —
приклеено объявление:

— Здѣсь продаются пѣмадоры, —

и нарисован красный помидор.

Горят камни. В Кремле пустыня. Иные дни. Сон наяву. — В заполдни придет со службы из Отдела Народной Охраны Оленька Кунц, будет распевать романсы, а желтыми сумерками пойдет с подружками в кинематограф «Венеция».

Бьют куранты:

— Дон! Дон! Дон!

— Здѣсь продаются пѣмадоры. —

Оленька Кунц и мандат

День отцвел желтыми сумерками, к ночи пошли сырые туманы.

В монастыре, утром на службе, Оленька Кунц размножала на «Ренео» мандаты. В маленькой келии было по-прежнему, как при монахинях, чисто и светло, на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, в монастырском саду пели птицы. Оленька Кунц вертела:

«МАНДАТ.

Дан сей тов. на право
произвести у гр. обыск
и, в случае необходимости, арест.

Начальник Охраны —

Секретарь —

Делопроизводитель — ».

И под словом «делопроизводитель» Оленька Кунц расписывалась неумелым своим почерком и все же с хвостиком подписи: — «О. Ку.» и палочки, и хвостик.

В монастыре утром, в исполкоме (тоже на оконцах здесь грелись бальзамины), в исполкоме собирались — знамение времени — кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных, — и дерзании, из русской рыхлой, корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста! Впрочем, Карл-Маркса никто из них не читал, должно быть. Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) сказал: «Или — воля голытьбе, или — в поле на столбе!» Архип Архипов с зари сидел в исполкоме, писал и думал — день встретил его с побледневшим лбом, над листом бумаги, со сдвинутыми бровями, с бородою чуть-чуть всклокоченной, — а воздух около него (не так, как всегда после ночи) был чист, ибо не курил Архипов. И когда пришли товарищи, и когда Архипов передал лист своей бумаги, среди прочих слов прочли товарищи бесстрашное слово: *расстрелять*.

И еще — тем же утром в монастыре, в дальней келии за бальзаминами, у наугольной башни, поросшей мохом, — мохом в молве народной поросший архиепископ Сильвестр писал сочинение о «Великороссии, Религии и Революции». Бывший кавалергард и князь, мохом поросший седенький попик в черной ряске, архиепископ Сильвестр сидел у столика в бумагах, и на столике среди бумаг лежала черного хлеба краюха, и в высоком кувшине стояла вода из ключа. В бальзаминах оконце было высоко, а у двери сидел черный монашек-келейник, один и случайный в девичьем монастыре. Попик, мохом поросший, писал поспешая, и монашек, в забыты, старорусские песни мурлыкал, знаясь в зное.

О. Ку (и палочки, и хвостик).

После службы Оленька Кунц ходила в столовую, говорила с подружкой о новом знакомом из Всепрофинанса и затащила подружку к себе. От калитки до заднего хода — по доскам, среди муравы проложенным по заглохшему двору, пробежали, шумя каблучками, шаткой лестницей, мимо удушливого нужника, поднялись в мезонин, распахнули оконца и пели:

В том саду, где мы с вами встретились,
Хризантемы куст...

Вскоре снова сбежали на двор, в сад пошли, ели малину. День отцвел желтыми сумерками, в сумерки Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. В «Венеции» к Оленьке Кунц подошел начальник Народной Охраны товарищ Ян Лайтис, — в темноте, когда «играла» Холодная, жал Оленьке руки товарищ Лайтис. Затем Оленька Кунц ходила с Лайтисом к обрыву, под обрывом в тумане горели огни голодающих, шли уже туманы, и город безмолвствовал — среди лесов, среди болот, — в военном положении: Оленька Кунц хохотала, когда дозоры спрашивали пропуск, и в смехе прижималась наивно к товарищу Лайтису. Товарищ Лайтис, в бархатной куртке, говорил о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете.

Оленька Кунц попрощалась с товарищем Лайтисом у садовой калитки, садом прошла в дом, на минутку вспыхнул в мезонине огонь, и дом замер. Ночь была темная, и седые, сырые поползли из Поречья туманы.

И тогда зазвонили резко у ворот (там, где полосатая стояла будка). Колокол прозвучал жалобно. У ворот стоял товарищ Лайтис с нарядом солдат. Отпер калитку Андрей Волкович.

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь есть квартира овицера-дворянина-здунта Волковися?

Андрей Волкович безразлично ответил:

— Обойдите дом, там по лестнице, во второй этаж.

Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво и лениво пошел в дом, к парадному входу. Товарищ Лайтис с нарядом, гуськом, по доскам, среди дворовой муравы проложенным, пошел к заднему ходу. Лестница привела к заколоченной двери.

— Не здесья.

— Двери ломайте!

Дверь разломали, за дверью валялась побитая мебель, стоял биллиард. Новою дверью вошли на сгнившие хоры, и хоры затрещали под тяжестью тел, в полумраке коптящих зажигалок, шарахнулись в зале серые тени, посыпалась известь.

— Не здесья! Лесенка там, на площадке, повыше.

В мезонине запахло ночной кислотой и жильем. На двери Сергея Сергеевича висела визитная карточка. Сергей Сергеевич появился в двери, в нижнем одном белье, со свечой, отекий, дрожал, как осина, и свет от свечи расходился дрожащий.

— Где здесья квартера Волковича?

— Он не здесья! Он внизу! От парадного влево две комнаты!

— Обыскать! Дом оцепить.

В доме Андрея Волковича уже не было.

Товарищ Лайтис показал Сергею Сергеевичу мандат, где за подписью Лайтиса поручалось товарищу Лайтису произвести обыск и арест,— и была там еще — подпись — Оленьки Кунц:

О. Ку (и палочки, и хвостик).

К Оленьке Кунц постучались! Оленька Кунц плакала. К ней вошел товарищ Лайтис.

— Это нехорошо, нехорошо! я не одета, уйдет!— Оленька Кунц свою грамматику образовывала и почитала неприличным, говоря на вы, употреблять глагол во мно-

жественном числе. Оленька Кунц говорила: «вы меня любят?», а не — «вы меня любите?».

Оленька Кунц сидела на кровати, поджав ноги, в сорочке, и за окном у кровати, вдалеке лиловела заря. Сорочка не скрыла Оленьки Кунц, хоть и сложила руки Оленька Кунц на груди, и упорно уперлись в грудь Оленьки Кунц глаза товарища Лайтиса, потом скользнули по полным коленам. Губы Оленьки, в плаче, сжались кокетливо, точно вишенки.

— Это нехорошо, нехорошо! Я не одета. Мне жалко Андрюшу! Уйдет!

Товарищ Лайтис вышел. Сергей Сергеевич бегал по дому, тяжело оседая на каждую ногу, услужая. Андрея Волковича не нашли. Начальник Народной Охраны ушел. Сергей Сергеевич провожал. По улицам ползли сырые туманы, вдалеке лиловела заря.

Оленька Кунц плакала, в серой рассветной нечистой мути, плакала обиженно Оленька Кунц: ей было жалко Андрюшу Волковича, и она любила поплакать.— И в серой рассветной нечистой мути понесся по дому богатырский хохот: то хохотал Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич тяжело заступал, оседая на каждую ногу, вниз по каменной лестнице в подвал к Семену Матвееву Зилотову. Семен Матвеев стоял около печки, печь полыхала, в баночках грелись у огня какие-то снадобья.

— Видал?!— сказал Сергей Сергеевич саркастически и захохотал, держась за живот.

Семен Матвеев ответил:

— Пинтограмма, а не пинтогон.

— Молодец! А?! Сам отпер и — пожалуйста в задний проход! А?! Хо-хо! Ищи в поле ветра. Хо-хо!..

— Единственно жаль, что русский. Ей-черту. Одначе:— зришь сей знак?— иностранец найден.

— Видал?! Хо-хо!.. Все варишь?— Ты бы изжарил свиную котлетку! Хо-хо, не купишь!

Серую нечистую мутью начинался рассвет, и ползли по улице сырые туманы. На рассвете в тумане заиграл на рожке пастух, скорбно и тихо, как пермский северный рассвет.

Сергей Сергеевич сел по-холостому, на подоконник, поджав под себя отекившие свои ноги. В печи, пред полымем, в тигельках грелись какие-то клеи, из-за печки был

выдвинут столик с раскрытыми книгами, где «ш» походило на «т» и «в» походило на «п», и с глобусом, на котором Россия была закрашена красным. Семен Матвеев Зилотов, нося сосредоточенно от печки к столу тигельки, ходил походкой, похожей на походку старого кобеля.

Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово — Москва, а в углах — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошел к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по-новому сложил пятиугольник — Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидор, окрашенный снизу красным.

— Зришь сей знак?— сказал с великою строгостью Семен Матвеев Зилотов.— Иностранные грады, вместе сошедшись, поклонились граду Москве. Но Москва осталась в унижении.

Семен Матвеев подошел к печке и вылил жидкость из одного тигелька в другой, появился сизый дым, зашипело, запахло жженою серой.

— Пентаграмма,— сказал Семен Матвеев и стал у стола, опираясь рукою о глобус.— Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну.

— Ты про что?— спросил Сергей Сергеевич.

— Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну. Зришь, что творится в России?

— Известное дело — хамодержавие, голод, разбой,— что творится!..— ответил Сергей Сергеевич.— Свиныня — семьдесят пять! Что творится?! Россия кверху ногами ходит.— Сергей Сергеевич улыбнулся.— Ты вот пойдя, купи-ка мне колбасы копченой! хе-хе!— Сергей Сергеевич желчно повеселел:— Хо-хо!.. Андрей, Андрей-то как! — «пожалуйте во второй этаж!» Хо-хо!.. Видал?! Хо-хо!

— Постой!— воскликнул Семен Матвеев Зилотов и стукнул рукою по глобусу.— Россия против всего мира? В России голод, смута, смерть?— и будет двадцать лет!.. Клянись,— познаешь тайну!..

Сергей Сергеевич желчно повеселел.

— Ну, что?!— клянусь!

— Клянись: ей-черту, пентаграмма!

— Клянусь: ей-черту, пентаграмма! Ну, что?!

Семен Матвеев задвигался нелепо, присел на корточки, утвердил равновесие и зашептал:

— Через двадцать лет Россия спасется. В монастыре, из игуменьиной келии,— там теперь Лайтис, товарищ,— есть переход теплый в зимнюю церковь. Во алтаре!

— Ты про что?

— Иностранец — Лайтис, товарищ! Во алтаре! Через двадцать лет будет спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю.

— Ты про что?

— Ольгу Семеновну Кунц — с иностранцем Лайтисом. Красавица. Девственница. Кровью алтарь обогрится. А потом все сгорит, и иностранец,— огнем!

— Ты про что? хочешь мстить за Волковича?— Сергей Сергеевич спросил серьезно и тихо.

— Нет, Россию спасти!

(...И тогда из подворотен смотрит солдатскими пуговицами: Китай, Небесная Империя...)

— Ну, а Ольга Семеновна при чем?

— Ольга Семеновна — девственница! Красавица.

— Да ты про что? с голоду, что ли? Ты бы, вместо снадобий, щи бы варил!.. Уж пора!..

— Слушай! Зри!

Семен Матвеев Зилотов взял со стола толстую книгу и стал читать:

«Кто дерзнет разрешить от всех преступлений, которые век наш позорят, от всех пороков, распространяющих повреждение в государствах, от всех неустройств, общих и частных, которые общество вздыхать принуждают?— от недра праха даже до величия дневного светила, все приводит к познанию независимого Виновника, держащего цепь существ, и который един есть начало оных. Все вещает в одно же время душе, разуму, а особливо внутреннему чувству, которое вопрошающего его никогда не обманывает. Чем более мы собираем свои мысли, тем вящше примечаем сей знак неограниченной власти, сию печать величества, изображенную со всех сторон и на всех предметах!»

Жил Семен Матвеев подобно раку-отшельнику, и подвал его был его раковиной: стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой — и валенок летел в угол, стоило махнуть второй ногой — и второй валенок становился в углу рядом с первым; стоило Семену Матвееву неловко

двинуться на печке, и посыпались бы разошедшиеся кирпичи, и никогда этого не бывало, ибо Семен Матвеев Зилотов даже во сне привык лежать необыкновенным вопросительным знаком; стоило Семену Матвееву среди ночного мрака пожелать иметь при себе «Пентаграмму, или Массонский знак, перевод с французского», — он свешивался с печки и безошибочно брал со стола «Пентаграмму» и на ощупь знал страницы.

Серая рассветная муть сползла с земли, загорелся день, яркий-жаркий. Серые туманы ушли в небо. Сергей Сергеевич поднялся к себе наверх. Оленька Кунц уже встала, плескалась водой, плескаясь, было запела:

В том саду, где мы с вами встретились...

— но вспомнила о товарище Лайтисе и обиженно замолчала. Сергей Сергеевич на таганке варил себе кофе из жженой ржи и, притворив поплотнее дверь, достал откуда-то из потайного места кусочек сахара и кусочек сыра; кофе же пил, разостлав на столе салфетку. После кофе, закулив папиросу, Сергей Сергеевич брился, надевал чесучовый пиджак с разъеденными потом подмышниками; затем шел на службу в сберегательную кассу, где каждое первое число писал в «Ведомостях» о том, что «операций за истекший месяц не происходило» и «вкладов не поступало». Перед службой Сергей Сергеевич заходил в некий домик, где меняли запонки на масло; на службе, в зное, жужжали мухи, и Сергей Сергеевич, обливаясь потом, играл с помощником в преферанс с болваном; после службы Сергей Сергеевич ходил в советскую столовую, брал в судке домой обед, дома обедал, снова разостлав салфетку, после обеда спал и в сумерки шел на бульвар прогуляться.

— Нечто философическое о возрождении, и:

— Смерть старика Архипова, — другого начетчика, — этим же рассветом.

Серую нечистою мутью зачинался рассвет. На рассвете заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, как пермский северный рассвет. И огородник Иван Спиридонович Архипов встал у себя под горой с пастушьим рожком, из глиняного рукомойника тщательно мылся Иван Спиридонович на крыльчке, затем, засучив рукава сюртука своего, доил

в коровнике корову,— и не пошел, не в пример другим дням, на гряды.

Мутью зачинался рассвет. В черной избе у Ивана Спиридоновича в комнате, где можно чертить затылком по потолку, и с приземистыми оконцами, стоял письменный ореховый секретер (верно сползший с чердака волковичевского дома, волковичевский же дом как раз над головой на горе стоял, и происходили Архиповы от волковичевских дворовых), и диван стоял кожаный, на котором, не раздеваясь, спал всегда Иван Спиридонович. Запалив две свечи на столе, отчего рассвет за оконцами посинел, сел Иван Спиридонович к столу и, в очках, с лицом худым и хмурым, читал толстую медицинскую книгу.— В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип, в кожаной куртке пришел бодро на кухню, пил, стоя, молоко и ел ржаной хлеб. Отец книгу оставил, ходил около, не по-старчески прямо, как всегда, руки заложив за спину.

— Медицина, как думаешь,— можно ей доверять?— спросил старик безразлично и взгляделся пристально в окно.

— Медицина — наука. Можно. А что?

— Так. Книгу у Данила Александрыча брал, листовал... Жары-то, жары какие!.. Тоже, думаю, можно.— Иван Спиридонович постоял у окна, пристально всмотрелся в холм с Кремлем и волковичевским домом, сползшим парком под самый обрыв.

В рассвет же ушел Архип в исполком, а старик в своей комнате прилег на диван,— как никогда,— не стал готовить похлебки. И лишь когда уходил сын, подходил Иван Спиридонович к окну и долго провожал сына взглядом, и в глазах, впалых и хмурых, были тогда печаль и нежность. А в девять (половина седьмого по солнцу) Иван Спиридонович, переменяв старый сюртук на новый, валенки сняв, белый плат обмотав вокруг шеи и по уши надвинув картуз с клеенчатым козырьком, пошел в больницу к доктору Невленинову. Дорога вверх шла через рощицу, пахло здесь сыростью и черемуховой вязью. Черемуховую ветвь наклонил к себе Иван Спиридонович, упали капли росы. Иван Спиридонович оторвал кустик, понюхал листья, растер их меж пальцев и сказал вслух, задумчиво и хмуро:

— Все же жизнь — прекрасная вещь.

И так с кустиком и шел до больницы, обсаженной веселыми елочками. В больнице сидел в кабинете доктора

Невленинова, за письменным столом, как у себя, неподвижно, положив локти на белую клякс-бумагу. Даниил Александрович пришел с Натальей Евграфовной, и Наталья Евграфовна в белом платье стала тихо в стороне у окна.

— Ты меня знаешь, Даниил Александрыч, со мной говорить надо прямо.— Иван Спиридонович заговорил первым, не здороваясь.— Делал исследование? Рак?

— Рак,— ответила Наталья Евграфовна.

— И ошибки в этом нет?

— Нет, мы проверили тщательно.

— Стало быть, рак!

— Да.

Иван Спиридонович скрестил узловатые свои пальцы, усмехнулся хмуро, помолчал.

— Так... Книгу твою почитал я, Даниил Александрыч. Там сказано, что рак в желудке — болезнь неизлечимая. То есть, стало быть, смерть.

— Можно сделать операцию,— ответила тихо Наталья Евграфовна.

— Можно сделать, совершенно верно. Только это поллеатив-с,— сами вы знаете,— говорил все время Иван Спиридонович, обращаясь к Даниилу Александровичу.— Сделаете вы мне операцию, а через два месяца снова делать надо. На старости лет мне мучиться трудно. Да и года, довольно!— Иван Спиридонович помолчал.— Ведь сам ты, Данил Александрыч, знаешь... Да...— и замолчал, поперхнувшись.

Был тут один момент нехороший. Иван Спиридонович зорко следил за глазами Даниила Александровича, и глаза эти, серые, большие, на старческом лице, печальные и милые вдруг ушли куда-то от темных глаз Ивана Спиридоновича; Иван Спиридонович высоко поднял свою голову, был на шее у него белый платок вместо галстука, и показался платок этот — —

— Ну, прощайте, одначе!..

— А как пищу вы принимаете?— спросила, поспешила спросить Наталья Евграфовна.

— Молоко то есть? Стакан в день выпиваю. Вам на прием надо, одначе!.. Прощайте!

— Нет погоды, не спешу, Иван!

— Нет, прощай, Даня! Всего тебе лучшего!

Это всеми троими было сказано сразу. И было это нехорошо.

Даниил Александрович оставлял Ивана Спиридоновича, но тот не остался, заторопился. Лишь в прихожей, насунув картуз, повернулся Иван Спиридонович поспешно, сжал крепко руку Даниила Александровича и поцеловал его.

— Смерть ведь. Дай еще поцелую!

На глаза Ивана Спиридоновича навернулись слезы, Даниил Александрович крепко прижал его к себе. Через прихожую прошла Наталья Евграфовна, Иван Спиридонович отвернулся к стене, сказал глухо:

— Старики мы, молодым место надо. Пусть поживут!

В этот день, в этот час бесстрашное написал в исполкоме слово — сын Архип Архипов:—
расстрелять.

Дома Иван Спиридонович лег на диван лицом к стене — и так пролежал неподвижно до сына. А сын пришел в пять, то есть в полчаса третьего по солнцу. И вместе они провели день, в домашних делах и заботах, до вечерней солдатской зори, что всегда играет в казармах, в девять по солнцу. В шесть Архип Иванович таскал воду с Вологи на гряды, поливал огурцы и капусту, на Вологе просматривал жерлицы (любил рыбу ловить), новых двух насадил окуньков, из исполкома рассыльная принесла «Известия», — и у реки Архип Иванович застрял с газетами. Шло уже солнце к западу, напозднили желтые сумерки, от волковичевского сада вниз оседал малиновый дух, а на огородах пестрые огородницы орали песни. И в соборе били часы: дон-дон-дон! — точно камень, брошенный в заводь с купавами. В половине восьмого — на час — уходил Архип Иванович в город и, вернувшись, прошел к себе на чистую свою половину, сел за стол и сидел, как отец, очень прямо. Отец помогал сыну, считал на счетах, складывал числа быстро и точно. Темнело медленно, небо было зеленым, потом посинело, стало хрустальным.

И тогда в казармах заиграли зорю, и девушки на огородах пели очень грустное. В зорю пригнали коров, Иван Спиридонович пошел принять и доить. А когда он вернулся, Архип Иванович уже кончил считать, сложил бумаги и стоял среди комнаты. В комнате было темно, и месячный свет пал на переплет оконных рам и на пол. Был сын, как отец, невысокого роста, волосат, с бородою лопатой, и стоял, как отец, руки назад заложив, — тяжелые руки.

Иван Спиридонович задержался минуту у дверей и вышел, и вернулся со свечой, поставил свечу на стол, сам сел около стола, локти на стол положил.

— Архип, надо мне с тобой поговорить. Слушай,— сказал строго старик.— У ученого философа какого-то, ты знаешь, сказано, что, если человеку надо два месяца умирать, да еще страдать при этом от болезни, так лучше — того, самому позаботиться... Ты еще говорил, что с этим согласен, потому-де, что смерть уж не так и страшна,— говорил Иван Спиридонович, тихо и медленно, туго собирая слова; голова его была опущена.

Архип Иванович сдвинулся с места.

— Говори, отец, толком,— сказал сын покойно.— К чему говоришь? Слышишь? — И вот, когда сказал сын это слышишь, голос его дрогнул.

— Был я сегодня в больнице у Данила Александрыча. И сказал он мне, что у меня неизлечимая болезнь, рак желудка, через два месяца мне умирать, а это время страдать и мучиться страшными муками. Понял?

Архип Иванович проделал странный круг по комнате: пошел быстро к отцу, но, сделав два шага, круто повернул к двери, но снова вернулся и стал покойно около письменного стола, у оконца, спиной к отцу.

— Ты говорил, Архип, да и я понимаю так, что лучше уж спозаранку. Говорил ты это, думаешь так?

Архип Иванович ответил не сразу и ответил глухо:

— Да. Думаю так,— сказал глухо.

— То есть, что лучше умереть — самому позаботиться?

— Да,— сказал глухо.

— И я тоже думаю так. Ведь умрешь — и ничего не будет, все кончится. Ничто будет.

— Только, отец,— и слово *отец* дрогнуло больно.— Ты ведь отец мне,— всю жизнь с тобой прожил, от тебя прожил,— понимаешь, тошно!

Иван Спиридонович повозился на стуле, точно что-то искал, затем поднялся и постоял,— и подошел к сыну, положил руки к нему сзади на плечи, прижал голову к кожаной куртке, к спине.

— Знаю. Понимаю. Ты мне — сын! Долго думал — говорить с тобой, нет ли?.. Трудно. Очень трудно,— перенеси! Мне тоже трудно. Пожить еще надо бы, на тебя, на

сына, посмотреть,— на дела твои, ты ведь сын мне, кровь моя!.. Но гнить заживо, голодать, от боли орать — не хочу, не желаю! Погляди на меня.

Архип Иванович повернулся, встретились две пары темных глаз:— одни хмурые, больные, с блестящими широкими зрачками, на пергаментном лице,— другие молодые, упорные, вольные. Молчали долго и долго были неподвижны.

— Подожди, отец, я сейчас приду.

Архип Иванович вышел на двор, сел на крылечко около рукомойника, смотрел в небо, на звезды: уже перегибался июнь на июль, сменил платиновые июньские звезды на серебро, и были звезды как подушки царя Алексея на бархате его Азии. А Иван Спиридонович снова сел за стол, скрестил пальцы, смотрел на свечу. Иван Спиридонович потушил ее дуновением, зажег снова, сказал:

— Был огонь, и не стало его, и опять есть. Странно!

Архип Иванович вошел через полчаса крепкой своей походкой, сел рядом с отцом и сказал ровным, тоже всегдашним голосом:

— Я бы на твоём месте, отец — — Делай как лучше, отец, как знаешь.

Иван Спиридонович встал, встал и сын, молча поцеловались. Иван Спиридонович порылся в заднем скюртучном кармане, вынул платок носовой, еще неразвернутый, развернул его, но глаз не утер, ибо были сухи они, и, смятым уже, положил платок в брюки.

— Ты живи, сын, дела своего не бросай! Женись, детей нареди, сын...

Повернулся, взял свечу и ушел. Архип Иванович стоял, заложив руки назад, точь-в-точь как отец. Затем подошел к окну, растворил его и так и остался стоять до рассвета. В Кремле в кинематографе «Венеция» играл духовой оркестр, и шли от реки туманы.

Иван Спиридонович, на черной своей половине, в своей комнате, лег на диван, лицом к стене, и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серою мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начадила, и пахло гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал и прошли эти часы с вечера до зари совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню, взял там из угла с полки револьвер, по

дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, потушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот.

Глава II

ДОМ ОРДЫНИНЫХ

Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князя ли Ордынины прозвались по городу или город Ордынин прозвался по князьям?— князя же Ордынины сроднились с Попковыми.

Часы у зеркала — бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) — здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальни матери, Арины Давыдовны, — и кукушка кричит пятнадцать и кукушка — как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!..— Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, разохшаяся после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре — тоже еще уцелевшей. Красным огоньком ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге вмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом, верно, полетел в пропасть, — он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.

Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной, — и теперь двоятся мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве, — и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея — художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь, — надо быть бодрым!

Снова бьют subtlyно и стеклянные часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, — вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени, — освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом — и лицо иконописно.

Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп — матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, — через щель видит Глеб, — у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной и серой, — экстазное что-то — или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволию, капиталами Попковых, — а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, — изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.

В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые — тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленное, должно быть?) веками и развеянное теперь — по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза. — Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:

— Кто там?

Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.

— А это кто? — это вы, Глеб Евграфович? — спрашивает из-за дверей женский голос.

— Я. Кто там?

— Это мы, я, Марфуша, да Егор Евграфович.

— Егорушка?

И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.

...И за дверью идет пьяная июньская ночь...

Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша — дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет — денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.

— Егорушка, милый!..— говорит Глеб, обнимая брата. Егор молчит.

— Что же ты молчишь? Не рад?

— Мне стыдно, брат,— говорит Егор трудно.— Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..

Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.

— Я рад тебя видеть, Егор!..

— Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно... Матушка спит?.. А Борис? Ненавижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла... Я там с проституткою был...

Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.

— Егор, что ты? Нельзя так!— говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, взглядывает виновато на Марфушу.

И Марфуша понимает его, обесчещенная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:

— Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны!.. Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить... Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала... А то Арина-то Давыдовна — затерзат.

Глеб поспешно отвечает:

— Конечно, поговорю. Конечно...

— Глеб, матушка спит?

— Спит, да.

— Я ее боюсь, да!

Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.

— Глеб, я был там... Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты — чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота,— говорит Егор и тихо добавляет:— Сейчас бы поиграть...

У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:

— Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?

А у матерниной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора.— Глеб — сознательно ли?— прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:

— Спасибо тебе, брат! Ты — брат!.. Борис — он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу... Молчи, знай... Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.

Снова молчит. Снова говорит:

— Поиграть бы сейчас на рояли... Но — спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!

И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.

По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.

— Егор Евграфович, я это... Провожу вас!..— устало и любяще говорит Марфуша.

— Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.

— Егор Евграфович...

— Молчи!..

Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике — лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.

— Марфа!— говорит трудно Егор.— Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не преи́деши, и он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло — революция. Ты не знаешь, какая красота...

— Егор Евграфович, зачем вы там с той гуляли?..

— Когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться. Над собою!.. Уйди!

— Егор Евграфович...

— Вон уйди! Молчи!

Марфуша стоит неподвижно.

— Уйди, говорят! Дрянь! Уйди!

Марфуша медленно уходит, притворяя за собой низкую дверь.

— Марфа!.. Марфуша!.. Марфушечка!..— и Егор судорожно гладит голову Марфуши дрожащими своими руками с иссохшими длинными (дворянскими) пальцами.

— Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло! А какая правда на землю пришла! Мать хрипит... за всех отвечает! За всех!.. Люблю тебя, попранную чистоту люблю. Помни — люблю. Уйду в музыканты, в совет!

— Егорушка!..

Егор тяжело и хрипло дышит и прижимает судорожно голову Марфуши к костлявой своей груди. Тускло горит моргас.

И снова бьют часы. Ведет ночь ночной свой черед — за домом зачарованный, и здесь мертвый. Пройдет еще один ночной час, и будет утро. Борис, большой, барски полный и холеный, ленивой походкой человека, бродящего ночами в бессоннице, входит к Глебу.

— Глеб, ты спишь? У меня все спички.

— Пожалуйста.

Борис закуривает. Спичка освещает бритое его, холено полное лицо, вспыхивает кольцо на мизинце. Борис садится около Глеба, хрускает под плотным его телом доска кровати,— и сидит, по привычке, выработанной еще в Катковском лицее в Москве, прямо и твердо, не сгибаясь в талии.

— Никак не могу предаться Морфею,— говорит хмуро Борис.

Глеб не отвечает, сидит сторбившись, положив руки на колени и склонив к ним голову.

Молчат.

— Борис, мне сейчас Егор рассказал о мерзости. Ты сделал мерзость,— говорит Глеб.

— С Марфой, наверное? Пустяки!— отвечает Борис медленно, с усмешкой и устало.

— Это мерзость.

Борис отвечает не сразу и говорит задумчиво, без всегдашней своей презирающей усмешки:

— Конечно, пустяки! Я бóльшую мерзость сделал с самим собою! Понимаешь,— святое потерял! Мы все потеряли.

И Борис, и Глеб молчат. Луна, проходя небесный свой путь, положила лучи на кровать и осветила Бориса зеленоватым, призрачным светом,— тем, при котором воют в тоске собаки. Борис томительно курит.

— Говори, Борис.

— Весной, как-то, стоял я на Орловой горе и смотрел в долины за Вологою. Была весна, Волога разлилась, небо голубело,— буйничала жизнь — и кругом, и во мне. И я, помню, тогда хотел обнять мир! Я тогда думал, что я — центр, от которого расходятся радиусы, что я — все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция, и все лишь пешки в лапах жизни.

Борис молчит минуту, потом говорит злобно:

— И с этим я не могу примириться. Я ненавижу все и презираю всех! Не могу! Не хочу! Я и тебя презираю, Глеб, с твоей чистотой... Марфуша? Есть любовь. Марфуша и Егор любили? Нате вам, к черту! Россия, революция, купцы сном хоромы накопили, и вот ты *чистый (целомудренный)* уродился,— к черту!.. Нас стервятниками звали, а знаешь, стервами падаль зовется, с ободранной шкурой! Впрочем, от князей остались купчишки!..

Борис замолкает и тяжело дышит. Глеб молчит. Долго идет молчание.

— Бумеранг. Ты знаешь, что такое бумеранг?— спрашивает тоскливо Борис.— Это такой инструмент, который папуасы бросают от себя, и он опять возвращается к ним. Точно так же и все в жизни, подобно бумерангу... Глеб, мне много отпущено силы, и телесной, и той, что заставляет других подчиняться... и все, мною сделанное, мне возвратится! Я в двадцать пять лет был товарищем прокурора, мне секретные циркуляры присылали, охранять от пугачевщины. Ты кого-нибудь винишь?

— Я не могу винить. Я не могу!..

— А я виню! Все негодяи! Все!

Князь Борис молчит томительно.

— Брат... Если я *не могу*?!

— Я не знаю, где путь твой. Я тоже потерял веру. Я не знаю...

— Я тоже не знаю.

— Читай Евангелие.

— Читал! Не люблю,— вяло говорит Борис.

Борис устало встает, подходит к окну, смотрит на дальнюю зорю, говорит раздумчиво:

— Были ночи миллион лет тому назад, сегодня ночь, и еще через миллион лет тоже будет ночь. Тебя зовут Глеб, меня — Борис. Борис и Глеб. По народному поверью в день наших именин, второго мая, запевают соловьи!.. Я делал мерзости, я насиловал девушек, вымогал деньги, бил отца. Ты меня винишь, Глеб?

— Я не могу. Я не могу судить,— поспешно отвечает Глеб.— «Мне отмщение, и аз воздам». Ты сказал о моей чистоте. Да, все ложь...— говорит он. Он подходит к Борису и стоит рядом. Последняя перед утром луна светит на них.— Борис, ты помнишь?—«Мне отмщение, и аз воздам»...

— Помню,— бумеранг. Я не люблю Евангелия.— Борис говорит сумрачно, лицо его хмуро.— Бумеранг!.. Самое страшное, что мне осталось,— это тоска и смерть. Стервятники вымирают. Вот скоро у меня выпадут зубы и сгниют челюсти, провалится нос. Через год меня, красавца князя, удачника Бориса,— не будет... А,— а в мае соловьи будут петь! Тоскливо, знаешь ли!— Борис низко склоняет голову, сумрачно, исподлобья смотрит на луну, говорит вяло:— Собаки при луне воют... У меня, Глеб, сифилис, ты знаешь...

— Борис! Что ты?!

— Я не знаю только — порок прославленных отцов или... отец молчит.

— Борис!..

Но Борис сразу меняется. Гордо, как красивая лошадь и как учили в лицее, закидывает голову и говорит с усмешкой:

— Э?

— Боря!..

— Самое смешное, когда люди ожитируются¹. Э?.. Милый мой младший брат, пора спать! Adieu!²

Борис медленно уходит от Глеба. Глеб много меньше Бориса. Он, маленький, стоит в тени. Борис твердо выходит от Глеба, покойно и высоко подняв голову. Но в коридоре никнет его голова, дрябнет походка. Бессильно волочатся большие его ноги.

В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается — грудью, животом, коленами — к мертвому печному холоду.

А ночь отводит уже ночной свой черед. И алой зарей — благословенное — настанет июньское утро. Глеб думает о себе, о братьях, о богоматери, об архангеле Варахииле, платье которого должно быть все в цветах — в белых лилиях... Революция пришла белыми метелями и майскими грозами. Живопись, — иконопись, — старые белые церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула в четырнадцатом году война, —

(у нас в России горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце)

— там, в Европе, рожденная биржами, трестами, колониальной политикой и проч., — если могла народиться в Европе *такая* война, то не осиновый ли кол всей европейской котелковой культуры? — эта Европа повисла в России — вздернутая императором Петром (и тогда замуровались старые белые церкви): — не майская ли гроза революция наша? — и не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий? — Но ведь нет же никакого бога, и только образ — платье Варахиила в белых лилиях! — Художник Глеб Ордынин приехал сюда на родину, с археологом Баудеком, чтобы производить раскопки.

И первая проснулась в доме мать, княгиня Арина Давыдовна, урожденная Попкова.

В муке рассвета мутные блики ложатся на пол и на потолок. За решетками окон светлый рассвет, а в темной

¹ Суетятся (от франц. s'agiter).

² Прощай! (франц.)

комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две деревянных кровати под пологами. На темных стенах, в круглых рамках — едва можно разобрать — головные висят выцветшие портретики и фотографии. — И за пять минут до того как проснуться Арине Давыдовне, когда сладко еще храпит княгиня, бесшумно поднимается на своей постели сестрица Елена Ермиловна, урожденная Попкова, крестится одеваясь, причесывает облезшие свои волосы, — и бесшумно скользит по серым рассветным комнатам. Дом спит. Елена Ермиловна смотрит платье в прихожей, неслышно отворяет двери к спящим. — А когда кукует кукушка, просыпается Арина Давыдовна, крестясь богатырской рукой. От постели, от княгини, от ног ее идет смрадный запах нечистого жирного человеческого тела.

— Ножки ваши, сестрица, чулочки надеть, — говорит Елена Ермиловна.

— Спасибо, сестрица, — отвечает княгиня басом.

Моется княгиня по-старинному — в тазе. Потом старухи вместе вслух молятся, княгиня со стоном, с трудом трижды опускается на колени, — «Утренняя», «Царю небесный», «Отче наш», «Ангелу-хранителю», «Богородице», — за ближних, за дальних, за плавающих и путешествующих. Елена Ермиловна говорит, вдыхая в себя воздух, — и говорит шипящим речитативом.

Марфуша бегаёт по комнатам и говорит всем одно и то же, заученное:

— Наталья Евграфовна! Вам в больницу пора, самоварик на столе, матушка браняца!

— Антон Николаевич! Вам на очередь пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

— Ксения Львовна! На базарик вам пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

Арина Давыдовна в столовой за дубовым столом режет хлебные порции и пьёт чай. Елена Ермиловна бесшумно наполняет десятую чашку.

— Егор Евграфович вернулись ночью, привела их Марфонька, потом заходили они к Глебу Евграфовичу. Пропили они всю свою одежду. Глеб Евграфович им свою отдал... они им отпирали. — Елена Ермиловна говорит пришепетывая. — Борис Евграфович тоже заходили к Глебу Евграфовичу, а потом к папочке-князю. Папочка молились

до утра. Наталия Евграфовна легли спать в двенадцатом часу, после обхода по улице опять шли с большевиком Архипкой Архиповым... Тоня тоже за большевиков стоит, разбили стакан и обозвали меня черным словом...

— Каким?— у Арины Давыдовны тяжело навалены губы одна на другую — и на третью; в глазах ее, некогда карих, теперь желтых,— власть.

— Стерьвой, сестрица.

— Угу!..

— Лидия Евграфовна с дочкою и Катерина Евграфовна вернулись из «Венеции» половина первого, были с ними Оленька Кунцова. В саду пели романсы.

— Угу... О, господи...

Как с цепи сорвался, забоцал ножищами по дому Антон.

— Марфушка, где моя сумка для хвоста?!

В столовой Антон шумно пьет жженую рожь, сопит и свищет, и ноги его, как подрастающий сеттер от блох, елозает под столом. Елена Ермиловна согбена у самовара.

— Здравствуйте, Тоничка, с добрым утром,— говорит она.

— С добрым утром,— отвечает сумрачно Антон, петушиным басом.— Я нынче пойду в союз молодежи записываться! А вы про что еще наябедничали бабушке?

— И-и-и, и не грех тебе? и не грех на старых людей?

— Знаем! Первейшая ябеда!.. Если бы ты была у нас во второй ступени, мы бы тебе каждый раз морду били бы и темную делали!

— Бурлак! Галах!— вот скажу сестрице...

— Вот и говорю, шпиенка... Давно уж в чрезвычайку пора! Вот скажу в союзе.

— Да разве я против советской власти?!

— Знаем!..— Марфушка!.. где моя сумка для очереди?!— и опять по всему дому сорвались всяческие цепи.

В белом платье, чужая, молчаливая, пьет в столовой чай Наталия Евграфовна и уходит в больницу. Трехведерный самовар спел уже свою арию, смолкает, пищит, как муха у паука. Княгиня надевает шляпу-«капот» и с Марфушей и Ксенией идет на базар с узлами, продавать — те старинные платья, что остались от бабушек. С ними с базара придут татары в новеньких галошах, и все спустятся в кладовую. В кладовой пахнет крысами и гнильем, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные

ржавые весы. Татары будут вскидывать на руке старинные, ручной работы шандалы, серебро, фарфор, проеденные молью уланские, гусарские, кавалергардские, просто дворянские и сивильные мундиры (князей Ордыниных) и бекеши (купцов Попковых), будут хаять хладнокровно, значать несуразное и тыкать своими сухими ручками, чтобы хлопнуть по рукам. Княгиня наткнется на забытую свою, от молодости оставшуюся, безделушку и будет горько плакать, пряча безделушку, чтобы продать ее в следующий раз. Потом татары поталалакают по-своему, набавят, княгиня сбавит, ударят по рукам (обязательно ударят по рукам!), татары привычно-проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и поодиночке (обязательно поодиночке!) уйдут задним ходом под гору, блистая на солнце новенькими своими галошами. А княгиня будет плакать в кладовой, вспоминая найденную безделушку и связанное с ней.

...В антресолях — из рода в род повелось у Попковых и Ордыниных — девичья часть, живут дочери. Низки здесь потолки и светло здесь — белы стены и квадратные оконца открыты. Девушкой в осьмнадцать лет вышла Лидия замуж тут же в Ордынине за помещика Полунина, — и ушла от него скоро, сменяв на Москву, на Париж (в Париже и родилась Ксения), встретила, и сошлась с кавалергардом, и с ним разошлась, а сейчас же после этого встретила артиста Московского Императорского Большого театра, — и навсегда ушла в богему, — стала учиться петь, и ей удалось пение — к двадцати семи годам она поступила в тот же театр актрисой, где был и новый ее муж. Этого нового мужа она тоже кинула, но сцены не оставила и металась по воле господ бога и антрепренеров до тех пор, пока —

— Теперь она у матери. Младшая ее сестра, Наталья, вслед за ней, девушкой поехала в Москву, но свою жизнь сложила иначе: поступила на медицинские курсы к Герье и кончила их: — и у нее была первая глупая любовь, та, что сжигает всяческие корабли, но если Лидия меняла любовь на любовь, — Наталия решила никогда больше не любить и осталась, чтобы быть лекарем, как написано у нее в дипломе, — и чтобы молчать.

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Самоварик на столе, матушка вернулись... Матушка браняца!

А за Марфушей издалека идет Елена Ермиловна, бес-

шумно и без спроса отворяет двери (и у нее такие происходят разговоры:—«Рисуете, батюшка Глеб Евграфович?»—«Рисую, Елена Ермиловна».—«Ну, и рисуйте на здоровье, господь с вами!..»—«Читаю, курю, одеваюсь, иду, сержусь, ложусь спать»,— говорят ей, и она всем отвечает: «Ну, и читайте, курите, одевайтесь, идите, сердитесь, ложитесь — на здоровье, господь с вами!..»). Елена Ермиловна бесшумно просовывает голову в комнату Лидии.

— Одеваетесь, матушка?..

— Елена Ермиловна, сколько раз вам говорить, что это невоспитанно — заглядывать не постучавшись.— Идите! Я не разрешаю вам быть здесь. Идите!..

Елена Ермиловна бесшумно исчезает за дверью.

— Крыса какая-то домовая,— говорит брезгливо Лидия Евграфовна.

Катерина, самая младшая, помогает одеваться. Лидия Евграфовна в белой одной кружевной рубашке и в черных чулках, обтягивающих стройные ее ноги до бедер, полулежит в низком кресле. Рубашка съехала с плеча, видны круглые ее плечи и большая, еще красивая грудь с матовыми сосками. Катерина причесывает обильные ее рыжие волосы. У Лидии Евграфовны карие глаза, тонок горбатый нос, и она хищно-красива. Катерина, полная и вялая, одета в неряшливый капот, но волосы ее — тоже рыжие и обильные — причесаны пышно.

— А-а-а!— берет гамму Лидия, чтобы испробовать голос, и говорит:— Так ты покажись Наталии или еще с кем-нибудь... Ты когда заметила?

— Да я думаю, месяц,— вяло говорит Катерина.

— Ну, если месяц, можно повременить. *Faussecouche*¹ — это очень просто.— Лидия интимно улыбается.— Это ты который раз?

— Второй.

— А кто он?

— Каррик. Военрук. Офицер, но партийный, но не коммунист.

— А тебе сколько лет?

— Девятнадцать, скоро двадцать.

— Однако! Я в твоём возрасте мужа, как чумы, боялась.

— Вон Оля Кунц почти каждый месяц. У нее какая-то повитуха есть... очень дешево. Ты удивляешься, теперь все...

¹ Выкидыш (франц.).

— Нет, обязательно к доктору! Никаких повитух. И вообще аборт нисколько не полезен. Сегодня же ступай к врачу. Аах!..— Лидия молчит долго, ломает руки и шепчет:— И опять такой длинный день, совсем ненужный, день, как пустыня... Ну, да, а я одна, одна! Есть сказка о царевне-лягушке,— зачем, зачем Иван-царевич сжег мою лягушечью шкурку?.. Ну, да...

А за открытыми оконцами в парке, над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь, всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах. В девичьих антресолях низки потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах. Всякая женщина — неиспитая радость. Впрочем, Наталья... В это утро Наталья сказала матери, что уезжает вон из дома, в больницу. Утром же мать повстречала в коридоре Егора.

— Егор, поди сюда! Говори правду.

Егор медленно подходит к матери, стоит около нее,— руки его опущены, опущена голова, тоскование и стыд в красных его глазах.

— Егор, ты пил вчера? Пьянствовал?

— Да,— тихо отвечает Егор.

— Где деньги взял?

Егор молчит.

— Где деньги взял? Правду говори!

— Я... Я пропил Натальину, Натальино пальто.

Мать коротко размахивается и бьет богатырской своей рукой по дряблой щеке Егора. Егор неподвижен.

— Вот тебе! Пошел вон и не смей от себя выходить. Не смей на музыке играть. Пошел вон! Молчать!

Егор, согнувшись, уходит. И тогда по комнатам несется свирепый крик Бориса:

— А я вот не хочу молчать! Вам пора помолчать! Надоело! Будет!.. Елена Ермиловна, Еленка! беги к Егору, крыса, и скажи, что я, Глеб, Наталья,— мы протестуем! беги, крыса!.. Мать, купчиха, ты!.. берегись!.. Марфа! водки!.. Мать, полканша, купчиха,— пойми твоим медным умом, что все мы с твоими робронами летим к черту!.. К черту, к черту все!.. Аа-ах!.. Егор, иди, сыграй, сыграй «Интернационал»!

— Молчать, большевик! Я мать, я учу! Я кормлю!

— Что-о?! Ты кормишь?! краденое кормит,— грабленое!.. Марфа, водки!..

В темной комнате княгини — темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две под балдахинном кровати. На темных стенах, в круглых рамках, головные висят выцветшие портретики и фотографии. Сумрачно опущены на окнах гардины. В золотых очках, княгиня стоит у раскрытого своего секретера, раскрыты пред ней отчетные ее книги: «Провизіонная», «Бой посуды», «Расчетъ прислуги», «Бѣльевая», «Одежная», «Дѣтская».

В «Бой посуды» княгиня вписывает:

«Тоня разбил один стакан».

В «Дѣтскую»:

«Наказан Егор, Наталья сошла сума уѣзжать въ больницу жить изъ родительскаго Дома. Богъ ей Судія, въ подарокъ Ксеніи десять ру.» —

В «Бѣльевую» и «Одежную» княгиня вписывает проданное татарам и на базаре и сумму ставит на приход в «Приходо-расходную».

И княгиня плачет. Княгиня плачет, потому что она ничего не понимает, потому что железная ее воля, ее богатство, ее семья — обессилели и рассыпаются, как вода сквозь пальцы.

— Вон в том тюрнюре, что продали сегодня, — говорит она в слезах Елене Ермиловне, — я в первый раз увидела княгиню-мать, когда приезжала невестой. У меня тогда была сирень в волосах, а был январь.

Впрочем, скоро княгиня уже не плачет. Она стоит у секретера с пером в руках, опираясь локтями о свои книги, и рассказывает о давно ушедшем, цепляя одно за другое, родное, свое, давно — и так недавно — прошедшее.

— Был у нас помещик, Егоров, полковник в отставке, охотник, девяти вершков. Приехал в усадьбу и — ни к кому... взял с деревни двух сестер-девок и обеих клал с собой спать, и по целым неделям пьянствовал, а то на неделю в лес на охоту. И ни к кому!.. Священник у нас был, от пьянства заговаривал, очередь к нему, вся паперть в пробках, — значит, перед заклатьем последний раз... Отец Христофор. Отец Христофор поехал к Егорову, уговаривать. Егоров визит отдал — в церковь к обедне приехал, послушал пение, да как заплачет, да как к священнику в алтарь, да татаркой отца Христофора, — в алтаре!.. И опять к своим девкам. Потом увидел меня на дороге и — сошел с ума, девок-сестер прогнал, остепенился, стал вести знакомство с помещиками, пить бросил, на балы ездил. Мне письма писал... А один раз приехал на бал —

в шубе и в чем мать родила — и потом в молитву опять ушел, а девки опять к нему...

И княгиня, и Елена Ермиловна глубоко вздыхают.

— Все, сестрица, теперь плошает... все,— говорит со вздохом Елена Ермиловна.

— Это верно, сестрица. Раньше не так было... раньше...

— Опять же супруг ваш, сестрица, от миру отказались.

— У князей Ордыниных все так. И отец Ордынин тоже так... Бывало, князь...

— Опять же детки, забота... Вон Антон Николаевич опять меня обругали черным словом.

— Каким?

— Шпиёнкой, сестрица.

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Уж накрыто на столе... Сейчас первое подам... Мамочка браняца!..

Обильное, знойное солнце идет в большие, закругленные вверху, окна зала, от света пустынным кажется зал. Глеб сдвинул свои эскизы в угол, загородил их ширмой: там, к стене обороченная, стоит его богомать. Глеб сидит за ширмой на окне, тихо в зале, от папиросы идет синий дымок. Тихо отворяется высокая двухстворчатая дверь, и осторожно идет к роялю Егор.

— Глебушка, не могу удержаться. Прости.

— Играй, Егорушка.

Егор опускает модератор, играет что-то свое, тоскливое безмерно и целомудренное.

— Это я, Глебушка, для Натальи сочинил. Про нее... Матушка услышит...

— Играй, играй еще, Егорушка...

— А знаешь, Глеб!.. Знаешь, Глеб!.. Хочется мне на весь мир, без модератора, «Интернационал» заиграть!.. и — и вплести в него потихоньку «Гретхен», как Петр Верховенский у губернаторши в «Бесах»,— это для матушки!.. и — для Бориса! А-эх!..

Глеб думает об архангеле Варахииле, платье которого в белых лилиях,— и больно вспоминает о матери... В темной комнате матери на стенах висят головные портретики, уже выцветшие и в круглых золоченых рамках; потолки в комнате матери закопченные, в барельефах амуров, и стены в штофных обоях. В комнате матери, перед кня-

гинеи-матерью, Глеб опускается на колени, протягивает молитвенно руки и шепчет больно:

— Мама, мама!..

У подъезда звонят, приносят из Москвы телеграмму Лидии Евграфовне:

«Здоровье целую Бриллинг».

Лидия шлет Марфушу с обратной телеграммой, и из кладовой в мезонин тащат баулы.

Две беседы. Старики

Знойное небо льет знойное марево. Знаясь на солнце на пороге у келии, черный монашек старорусские песни мурлычет. В темной келии высоко оконце в бальзаминах, не светлы стены, кувшин с водою и хлеб на столе среди бумаг,— и келия в дальнем углу, у башни, мхом поросшей. Попик, мохом поросший, сидит у стола на высоком табурете, и на низком табурете сидит против него Глеб Евграфович. Черный монашек песни мурлычет,—

Э-эх, во субботу, да день ненастный!..

Зноет солнце, пыльные воробьи чирикают. Глеб говорит тихо. Лицо попика: просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп, как крышка у гроба. Слушает хитренький попик.

— Величайшие наши мастера,— говорит тихо Глеб,— которые стоят выше да Винча, Корреджо, Перуджино,— это Андрей Рублев, Прокопий Чирин и те безымянные, что разбросаны по Новгородам, Псковам, Суздалям, Коломнам, по нашим монастырям и церквам. И какое у них было искусство, какое мастерство! как они разрешали сложнейшие живописные задачи... Искусство должно быть героическим. Художник, мастер — подвижник. И надо выбирать для своих работ величественное и прекрасное. Что величавее Христа и богоматери?— особенно богоматери. Наши старые мастера истолковали образ богоматери как сладчайшую тайну, духовнейшую тайну материнства — вообще материнства. Недаром и по сей день наши русские бабы — все матери — молятся, каются в грехах — богоматери: она простит, поймет грехи, ради материнства...

— Ты про революцию, сын, про революцию,— говорит попик.— Про народный бунт! Что скажешь?— Видишь, вот хлеб?— есть еще такие, приносят понемножку! А как ду-

маешь, через двадцать лет, когда все попы умрут, что станет?.. через двадцать лет!.. — и попик усмехается хитро.

— Мне тяжело говорить, владыко... Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск, блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности, — и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! и каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин! И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь европейской культуры шел к войне, мог создать эту войну четырнадцатый год. Механическая культура забыла о культуре духа, духовной. И последнее европейское искусство: в живописи — или плакат, или истерика протеста, в литературе — или биржа с сыщиками, или приключения у дикарей. Европейская культура — путь в тупик. Русская государственность два последних века, от Петра, хотела принять эту культуру. Россия томилась в удушье, сплошь гоголевская. И революция противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век. На рубеже семнадцатого века был Петр... —

(— Пётра, Пётра! — поправляет попик.)

...— была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришел Петр, — и невероятной глыбой стал Ломоносов, с одою о стекле, и исчезло подлинное народное творчество... —

(— Эх, во субботу! — в зное снова мурлычет монашек.)

— ...— в России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за Октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция — верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции — Радищев. Неправда, — Петр. С Радищева интеллигенция стала *каяться*, *каяться* и *искать* мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болит за народ, и каждый народа не знает. А революции, бунту народному, не нужно было — чужое. Бунт народный — к власти пришли и свою правду творят — подлинно русские подлинно русскую. И это благо!.. Вся история России мужицкой — история сектантства.

Кто победит в этом борении — механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?..

Зноет солнце. Глеб молчит, и говорит поспешно попик:

— Сектантство? Сектантство, говоришь? А сектантство пошло не от Петра, а с раскола!.. Народный бунт, говоришь?— пугачевщина, разиновщина?— а Степан Тимофеевич был до Петра!.. Россия, говоришь?— а Россия — фикция, мираж, потому что Россия — и Кавказ, и Украина, и Молдавия!.. Великороссия,— Великороссия, говорить надо — Поочье, Поволжье, Покамье!— ты мне внучек или племянник?— Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз,— наваждение! Все спутал!

Вскоре говорит один попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу, и строго смотрят глазки из бороды.

— Как заложились государство наше Великороссия?— начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси,— от печенегов таясь, от татар, от при- и междоусобья княжеских, в лесах, один на один с весью и чудью,— в страхе от государственности заложились государство наше,— от государственности, как от чумы, бежали! Вот! А потом, когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украину, на Яик. Не потому ли, не потому ли несла Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна она была им, ей в безгосударственности ее, в этнографии?— не нужна... Побежали на Дон, на Яик,— а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь — дошли до Москвы, власть свою взяли, государство строить свое начали,— выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую: как тропа лесная — тысячелетие, пустоши, починки, погосты, перелог — тысячелетие. Государство без государства, но растет, как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками, тогда из Киева побежав, потащились, и — что, думаешь, с собой потащили?— песни, песни свои за собой понесли, обряды, пронесли через тысячелетье, песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова — член семейства, а мерин каурый — брат по несчастью; вместо Пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотье-му богу, молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью, и народ от него —

в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яик,— от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было?— лешаи, ведьмы, водяные, никак не господь Саваоф.

И серенький попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами, сощуренными в бороде:

— Видишь, краюху? — носят! Вот! Хи-хи! Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в Истории моей сказано. Мощи вскрывали — солома?.. Слушай, вот. Сектанты за веру на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили:— как там хочешь, а веруй по-православному! А теперь пришла мужицкая власть, православию поставлено как любая секта, уравниены в правах! хихи-хи!.. Православная секта!.. и-ихи-хи-хи-хи... В секту за шиворот не потащишь!.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет,— ихи-хихи!— лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин... По тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят — религиозный подъем!.. Видишь, краюха?..— носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей,— да носят-то все меньше и меньше. Я вот, православный архипастырь, пешечком хожу, пешечком... ихи-хи-хи!..

Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, хмурия в бороде глазки со слезинками. Кирпичные стены келии крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу в темном кивоте черные лики икон пред лампадами хмуρο молчат. И Глеб долго молчит. Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келии же сыро, прохладно.

— ...Да эээ!.. нельзя в полюшке работатать!..

— Что же такое религия, владыко?

— Идея, культура,— отвечает попик, уже не хихикая.

— А бог?

— Идея. Фикция!— и попик вновь хихикает хитро.— Владыко, преосвященный, говоришь?— из ума выживаю?.. из ума... восьмой десяток!.. не верю!.. Будет, поврали! понабивали мощи соломой!.. Ты — внучек?

— Владыко!— и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты.— Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами — класс, буржуазия, социальное неравенство — и получится большевизм!.. А я хочу чистоты, прав-

ды,— бога, веры, справедливости непреложной... Зачем кровь?..

— А, а, без крови?— все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!.. Слышишь, как революция воет — как ведьма в метель! слушай: — Гвинуу, гвинуу! шооя, шооя... гаау. И леший барабанит:— гла-вбум! гла-вбуум!.. А ведьмы задом-передом подмахивают:— кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится:— нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег:— шооя, шооя, шооя... хмууу... И ветер:— гвиинууу. Слышишь?

Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыко, ерзает на высоком своем табурете, — архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево, знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зном, — а вечером будут желтые сумерки, и бьют колокола в соборе:— дон-дон-дон!..

Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большою своей широкой грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете беззубо стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами, выеденными молью, скалится на полки белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша, князь долго молчит и говорит хмуро:

— Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу...

— Барин!..

— Слышали?! Пусть он выпьет за второе мая... Можете не говорить ему, что это от меня... Н-но пусть он выпьет за второе мая!.. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом... За второе мая!.. Ступайте.

Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго остро смотрит на мать кумышки, потом пьет.

— За второе мая!— говорит он.

Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито уверенными шагами. Дом притих в сумерках, в коридоре горит уже не светлая лампочка, тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княги-

ня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловной, отдыхает от дневных своих больших дел.

— Второго мая... второго мая, матушка, соловьи начинают петь, после первомайского трудового праздника, и мы именинники... Ночи тогда синие, синие, холодновато-розовые, обильные, буйные... Второго мая,— в пьяную майскую ночь и целомудреннейшую!.. А потом — потом мрак! Ночь...— говорит князь Борис.

— Что это такое ты болтаешь?— подозрительно спрашивает мать.

— Еленка, поди вон!.. Я с матерью хочу говорить. О братстве, о равенстве!..

— Это еще что?!— не ходи, сестрица!..

— Как хочешь, мать!.. как хочешь!.. Странно, тебя надо ненавидеть, мадам Попкова, а я ненавижу отца. Addio.

Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампы и светлые, высокие восковые свечи, и перед кивотом маленький налойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном, воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон — днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему.

Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо, князь-отец еще во сне кротко улыбается и, не видя Бориса, говорит:

— Я во сне разметался, разметался?.. Да?.. Простит Христос!..

Увидав же сына, он спрашивает смущенно:

— Смущать? Смущать опять пришел, Боря?

Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками.

— Нет, папочка. Поговорить хочу.

— Поговори, поговори! Поспрашивай! Простит Христос!

— Вы все молитесь, папочка?

— Молюсь, Боря.

Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза, белые же его волосы, борода, усы — всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впалыми губами.

— Что же — спокой от молитвы?

— Нет, Боря,— кротно и коротко отвечает отец.

— Почему так?

— Правду скажу, правду скажу!.. Простит Христос. Грехи на мне,— грехи... А разве можно о себе просить господа? Стыдно о себе просить! За себя просить — грех, грех, Боря! Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь... за всех!..— глаза отца горят сумасшествием,— или, быть может, экстазом?— А мои-то грехи — при мне они! Тут вот, кругом, около! Большие грехи, страшные... И за них молиться нельзя. Грех! Гордость не позволяет! Гордость! А геенна огненная — страшно!.. Страшно, Боря!.. Только постом спасаю себя... Что солнышка красного краше?— не вижу его, не увижу... Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны,— отказываю! В смерть гляжу. Спасет Христос!— Отец быстро и судорожно крестится.— Спасет Христос!..

— Теперь на тройке по морозцу не поедешь,— лето,— вяло говорит сын.

— Спасет Христос!..

Борис хмуро слушает.

— Позвольте, папочка. Вопросик один. Про-зре-ли? На Поп-ко-вых женились?!

Отец быстро отвечает:

— Прозрел, сынок, прозрел, Боря! Увидел землю по весне, красоту ее безмерную, правду-мудрость Божию почувствовал, и испугал меня грех мой, придавил своей силою, и прозрел, Боря, прозрел!

— Та-ак,— говорит тяжело Борис, не отводя хмурых своих глаз от отца.— А над землей, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячьим послали, старую ветошку!.. Впрочем, не то!..— Вы, папочка, случайно не знаете, что такое прогрессивный паралич?

Сразу меняется лицо отца, становится трусливым и жалким, и старик откидывает худое свое тело от сына к стенке.

— Опять? опять смущаешь?— говорит он одними губами.— Не знаю...

Сын тяжело поднимается около отца.

— Слушай! Не кривляйся, отец,— слышишь?! Говори!..

— Не знаю я!

— Говори!

Князь Борис большою своею рукою берет кудлатую бороду отца.

— У меня сифилис. У Егора сифилис. Константин, Евграф, Дмитрий, Ольга, Мария, Прасковья, Людмила — умерли детьми, якобы в золотухе. Глеб — выродок, Катерина — выродок, Лидия — выродок! — одна Наталья человек... Говори, старик!..

Отец ежится, судорожно охватывает иссохшими руками руку Бориса и плачет, — морщась, всхлипывая, по-детски.

— Не знаю я, не знаю!.. — говорит он злобно. — Уйди, большевик!

— Прикидываешься, святой!

Горят у темных образов тусклые лампы и тонкие светлые свечи. Ладаном пахнет и кипарисовым маслом. Вскоре князь Борис возвращается к себе, становится к печке, прижимает к мертвому ее печному холоду — грудь, живот, колени и так стоит неподвижно.

И —

— Р а з в я з к и —

В комнате Лидии Евграфовны горят свечи. Баулы раскрыты, на стульях, на креслах разложено белье, платья, книги без переплетов, саквояжи, ноты. На столе лежит смятая телеграмма, — Лидия берет ее и читает вновь:

«Здоровье целую Бриллинг».

Губы дергаются больно, телеграмма падает на пол.

— Здоровье. Пью здоровье! Пьет мое здоровье! Старуха, старуха! Глеб!..

Звонки. Истерика. Глеба нет. Марфуша бежит за водой.

— Старуха! Старуха! Все не нужно! Пьет здоровье. Здоровье! ха-ха!.. Уйдите, уйдите все! Я одна, одна...

Лидия Евграфовна лежит с полотенцем на голове. Губы Лидии дергаются больно, глаза закрыты. Лидия долго лежит неподвижно, затем берет из саквояжа маленький блестящий шприц, поднимает юбки, расталкивает белье на колене и впрыскивает морфий. Через несколько минут глаза Лидии влажны в наслаждении, и все не перестают судорожно подергиваться губы. Желтые сумерки.

Катерина уходила в город. Почти бегом, с губами, сжатыми в испуге и боли и в боязни разрыдаться, входит она в комнату Лидии Евграфовны. В ее глазах непонимание и ужас. Лидия лежит с полужакрытыми глазами.

— Что? почему так рано?— в полусне шепчет Лидия.

— У меня... у меня... доктор сказал... наследственный... позорная болезнь!

— Да? Уже?— шепчет безразлично Лидия, глядя безразличными своими полузакрытыми глазами куда-то в потолок.

День цветет зноем и солнцем, и вечером — желтые сумерки. Бьют успокоенно, как в Китеже, колокола в соборе:— дон! дон! дон!..— точно камень, брошенный в заводь с купавами. И тогда в казармах играют серебряную зорю.

Глеб встретил Наталью около Старого Собора, за парком,— она шла с обхода в больнице, ее провожал Архипов, и Архипов сейчас же ушел.

— Наталья, ты уходишь из дома?— сказал Глеб.

— Да, я уйду.

— Наташа, ведь дом умирает, нельзя так жестоко! Ты одна сильная. Тяжело умирать, Наташа.

— Дом все равно умрет, он умер. А я должна жить и работать. Умирать? — и Наталья говорит тихо: — Надо что-то сделать, чтобы умереть. Я курсисткой, девушкой, много мечтала. А вон у того, что шел со мною, застрелился отец, и сын знал, что отец застрелится. Что думали они перед смертью,— они — отец и сын? Сын старался наверное только думать, чтобы не страдать.

— Ты любишь Архипова?

— Нет.

— Как... как девушка?

— Нет. Я никого не люблю. Я не могу любить. Я не девушка. Любить нельзя. Это пошлость и страдание.

— Почему?

— Девушкой, на курсах, я мечтала, ну да, об юноше. Встретила, полюбила, сошлась и должна была родить. Когда он, тот, меня бросил, я была, как бабочка с обожженными крыльями, и я думала — мои песни спеты, все кончено. Но теперь я знаю, что ничего не кончено. Это жизнь. Жизнь не в сентиментальных бирюльках романтизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не изменю мужу,— но я не отдам ему души, лишь тело, чтобы иметь ребенка. Это будет неуютно, холодно, но честно. Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца. Я хочу ребенка. Если бы была любовь, помутился бы разум.

— А молодость, а поэзия?

— Когда женщина, ребенок,— ей и молодость, и по-

эзия. Очень хорошо — молодость. Но когда женщине сорок — у нее нет молодости в силу естественных причин.

— А тебе сколько лет, Наташа?

— Мне двадцать восемь. Мне еще жить. Все, кто жив, должен идти.

— Куда идти?

— В революцию. Эти дни не вернутся еще раз.

— Ты... Ты, Наталья...

— Я большевичка, Глеб! Ты теперь знаешь, Глеб, как и я знаю, что самое ценное — хлеб и сапоги, что ли, — дороже всех теорий, потому что без хлеба и мастерового умрешь ты и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Вечером около дома Ордыниных пусто. Хмурый, большой, крашенный охрой и сейчас зеленоватый, облупившийся, осевший, — смотрит дом, как злой старичище. Когда Глеб и Наталья стоят на парадном, Глеб говорит:

— Тяжело умирать, Наташа! Ты обратила внимание, у нас в доме потускнели и выцвели зеркала и их очень много. Мне страшно все время встречать в них свое лицо. Все разбито, все мечты.

И когда идут они по каменной лестнице, мимо железных, за семью замками, дверей кладовых, наверху в доме гудит выстрел: — это стреляется князь Борис. А сейчас же за выстрелом, из зала, по всему дому несется победный «Интернационал» — и гнусно, пошлейшим мотивчиком, вплетается в него «Юберхард унд Кунигунде».

Глава III О СВОБОДАХ

Глазами Андрея

И опять — та ночь: —

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь езьт квардира овицера-дворянина-здудента Волковися?

Андрей Волкович безразлично ответил:

— Обойдите дом, там по лестнице во сторой этаж! — сказав, позевнул, постоял у калитки ле-

ниво, лениво пошел в дом, к парадному входу,—

и —

и —

радость безмерная, свобода! Свобода! Дом, старые дни, старая жизнь,— навсегда позади,— смерть им! Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами глаз от падения,— и тогда осталось одно: красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом: костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи.— Свобода! свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться,— быть нищим!— И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы,— не знать своего завтра. И дни в зное — как солдатка в сарафане, в тридцать лет — как те, что жили в лесах, за Ордынином, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать ту солдатку.

Манит земля к себе маями,— в мае, в рассвете, в тумане, девушке — полежать на земле, и уйдешь в землю: притягивает земля.

И первый же вечер, когда Андрей пришел на Черные Речки, в Поперечье, к нему постучали в оконце девушки и крикнули:

— Андрюша, выходи гулять! Метелицу играть будем!— рассыпались девичьи смешки и прыснули от оконца.

Андрей вышел из избы. В зеленых сумерках, за церковью, на холме, над обрывом, стояли девушки в пестрых платьях и в белых платах, и около них взъерошенными черными силуэтами торчали парни.

— Выходи! не бойся! Метелицу играть будем!

Стала на минуту тишина. Вдалеке кричали коростели. Затем зазвенела разом наборная:

Чи-ви-ли-ви-ли-ви-ли!
Каво хочешь бери!..
Стоит елочка на горочке,
На самой высоте!
Создай, боже, помоложе,
По моей, по красоте-э...

Вечер был тихий и ясный, с белыми звездами. Никола, что на Белых-Колодезях,— церковь казалась синей, строгой, черная высокая ее крыша и крест уходили в небо, к белым звездам. Были над рекой и полями тишина и мир. Был смутный, зеленый шум, и все же стояла тиши-

на,— та, которую творит ночь. И всю ночь до хрустальной зари пели девушки. И ночью же пришла гроза, шла с востока, громыхала, светила молниями, дождь прошел грозный, поспешный, нужный для зелени. Андрей бродил эту ночь по откосам.— Другая жизнь! Быть нищим. Ничего не иметь. От всего отказаться.

Церковь Николы, что на Белых-Колодезях, сложена из белого известняка, стояла на холме, над рекою. Некогда здесь был монастырь, теперь осталась белая церковь, вросшая в землю, поросшая мхом, со слюдяными оконцами, глядящими долу, с острой крышей, покосившейся и почерневшей — погост Белые-Колодези. С холма был широкий вид на реку, на заречье, на заречные синие еловые леса, на вечный простор. Вокруг погоста росли медноствольные сосны и мох. Из земли, справа от церковных ступенек, бил студеный ключ, вделанный в липовую колоду (от него и пошло название Белые-Колодези),— ключ столетиями стекал под откос, пробил в холме промоину, прошел проселок,— с той стороны на откосе под веретием расположилась усадьба князей Ордыниных. За рекою в лесах лежало село Черные Речки. Одинокó высилась лысая гора Увек. И кругом леса, леса к северному закрою, и степи, степи — к южному.

В тот вечер, когда пришел Андрей, он не застал Егорки. В избе пахло травами, и хлеба и меда — первого меда — подала ему Арина. Тогда пели уже петухи, и Арина, красавица, ушла в лес, в ночь.

— Манит маями земля к себе,— в мае, в рассвете, в тумане. Пахнут майские травы сладостными медами, в мае ночами горько пахнет березой и черемухами, ночи майские глубоки, пьяны, и рассветы в мае багряны, как кровь и огонь. Арина родилась у деда Егорки маем, и были: май, небо, сосны, займище и река. Вместе с матерью и Егоркой собирала она травы, и от них Арина узнала, что, как буйничает маями земля, соловьями, кукушками, в ночи,— буйна в человеке кровь, как май, месяц цветения. Знахарья порода живет по своим законам,— у Арины, должно быть, был май — без попа, без ладана, под ладан черемух и под отпевание соловьиное. Кто не знает, как тоскует кровь молодая, одинокая, в молодом своем теле, ночами, маями, в майские цветонос-

ные ночи?.. Не потому ли стали слова Арины дерзки и откровенны по-бабьи,— знахарка? Из Арины-девушки — стала женщина, красивая, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, глядящими дерзко,— дерзкая, своевольная, вольная, молодая знахарка! Революция пришла в Черные Речки, маем — манит маями земля!— Арина встретила Бунт, как знахарь Егорка.

Дед знахарь Егорка ловил рыбу, когда пришел Андрей, и Андрей ходил к нему. Вода была быстрая, свободная, мутная, шелестела, точно дышала. И всю ночь были болотно-зеленые сумерки с белой конницей облаков. Стояли у суводи, нитку держал кривой Егорка, в белой копне волос и в белых портах, вода кружилась воронками, шипела, шальные щуки били сеть сильно,— Андрей ловил их на лету, холодных и склизких, блестящих в мути ночной голубиным крылом.

— Домекни-ка,— Егорка сказал шепотом.— Когда пошла эта крига? Думаешь, теперь выдумали? Как?

— Не знаю.

— А я думаю, ей и прадеды наши ловили. Как?.. Когда Николу ставили,— пятьсот лет тому,— уже тогда крига была... Тут допрежь монастырь был, разбойник его поставил, Реденя,— ну вот, говорю, монастырь этот сколько раз калмыки, татары, киргизы брали. За это меня из большевиков прямо в кутузку.

— За что?

— Ходила Россия под татарами — была татарская ига. Ходила Россия под немцами — была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец — он умный, да ум-то у него дурак,— про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт — и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича.— «А Карла Маркс?» — спрашивают.— Немец, говорю, а стало быть, дурак.— «А Ленин?» — Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно коммунысты. Должны, говорю, трезвонить от освобождения ига! Мужикам землю! Купцов — вон! Помещиков — вон, шкурники! Учредилку — вон, а надо совет на всю землю, чтобы все приходили, кто хочет, и под небом решали. Чай — вон, кофий — вон,— брага. Чтобы была вера и правда. Столица — Москва. Верь во что хошь, хоть в чурбан. А коммуныстов — тоже вон! — большевики, говорю, сами обойдутся. Ну, меня за дисципину — прямым манером в кутузку.

Плеснулась в черной воде щука и ушла, испугавшись голоса громкого Егорки.

— Эк расшумелся,— сказал шепотом Егорка.— Вот Шак... Шекиспирова, что ли?— Гамлета ты читал, а нашу метелицу, как девки играют, не знаешь. Или положим — «Во субботу день ненастный»... Знаешь? Как?

— Нет, не знаю...

— То-то! Поди тоже коммунист!

И в это время на холме девушки запели сборную:

Отставала бела лебедь от стада лебединого,
Приставала бела лебедь ко стаду, ко серым гусям!..

Потому что сегодня врывалось властно, потому что в буйной стихии человеческой был он листком,— оторвавшийся от времени,— пришел Андрей к мысли об иной свободе,— свободе изнутри, не извне: отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать, не жалеть, быть нищим,— только жить, чтобы видеть, с картошкой ли, с кислой капустой, в избе ли, свободным ли, связанным ли,— безразлично: пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой, чтобы видеть. По земле ходили черная оспа и голодный тиф. Утрами к Николе приносили покойников, иногда заполднями, к четырем часам, приходили крестить младенцев, и тогда звонили колокола, слышанные еще татарами. И каждый вечер пели у Николы девушки. Шел июнь.

А в деревне Черные Речки жили мужики,— и не родня, но Кононовы. С весны и по осень работали изо всех жил, от зари до зари, от стара до мала, обгорая от солнца и по-та. И с осени до весны тоже работали, сгорая от дыма, как курные избы, мерзнув, недоедая. Жили трудно, сурово — и любили свою жизнь крепко, с ее дымом, холодом и зно-ем, немноготую. Жили с лесом, с полем, с небом,— жить надо было в дружбе с ними, но и бороться упорно. Помнить надо было ночи, зори и пометы, поглядывать в гни-лой угол, следить за сиверкой, слушать шум лесной и го-гот. Старший в деревне — дед Кононов, Ионов Кривой, и он уже не помнит, как звали его деда, но старобытные времена знает, помнит, как жили пращуры и прадеды, и как надо жить. И избы стали задами к лесу, над рекою,

смотрят из-под сосен корявыми своими мордами хмуро, тусклые оконца — глаза — глядят по-волчьи, слезятся. Серые бревна легли, как морщины. Рыжая солома — волосы в скобку — упали до земли. Смотрят избы, как тысячи лет.

— А в усадьбе у князей Ордыниных, еще по весне, сели анархисты.— Это — глазами Андрея Волковича.—

В апрельскую ночь в княжий дом (пусть застужкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князя) неожиданно пришли, неизвестно откуда анархисты, размещались ночью, возили воза с пулеметами, винтовками и припасами, и уже утром веял над фронтоном фраг:—

— Да веет черное знамя свободных!

Проходил апрель, прошел май, отцветали черемуха, сирени, ландыши, тепели в зарослях, под усадьбою, соловьи. Анархисты, что приехали ночью, неожиданно-негаданно, на второе же утро, в синих рабочих блузах и кепи, выехали в поле пахать.— Андрей пришел на Черные Речки к Иванову дню. И к Ивановой ночи Андрей ушел в коммуну — жить. Проходили русальные недели, женщины из коммуны уходили на откос к Николе петь песни, и пришла Иванова ночь. В Иванову ночь жгли костры. Была белая ведьмовская ночь, жгли костры в тумане у реки, водили хороводы, прыгали через огонь. Аганька, товарищ Аганька, скакала усердно, усердно пела, схватила за руку Андрея, устремилась с ним во мрак, к займищам, остановилась, держась за руку, сказала быстро ему, незнакомому:

— Сердце болит, танбовская я. Дочка у меня там осталась. В прислугах ходила, вольной жисти захотела. Сердце моя болит. Что-то дочка-т-ка?— опять стремительно бросилась в огонь, к Павленке.

И в ту же ночь впервые говорил Андрей с Анной. Тридцать лет,— тридцать лет Анны ушло, навсегда, кануло, и были в Анне прозрачность и трогательность:— те, что у осени в золотой листопад и в атласные звездопадные ночи. Андрей уходил в ночное. Перед рассветом (белая проходила туманная, ворожейная Иванова ночь) — на лугу Андрей встретил Анну, она шла одна, в белом тумане, в белом платье. Андрей подошел и заговорил:

— Лошади едят покойно. Сыро,— овода не мешают. Идемте, я вас перевезу на лодке. Какой туман! Иногда хочется идти,— идти, идти,— в туман!

Андрей очень много говорил с Анной в матовый тот рассвет. У Анны был муж, инженер на заводе, все, что надо было изжить — там, в городе, с мужем, было изжито, отжито, ненужно. И Андрей знал, что в тот июньский рассвет Анна плакала. Надо жить. Муж никогда не поймет, что есть Россия с ее Смутным временем, разиновщиной и пугачевщиной, с Семнадцатым годом, со старыми церквями, иконами, былинами, обрядицами, с Иулианией Лазаревской и Андреем Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и лешими. Никогда не поймет свободы от всего,— ничего не иметь, от всего отказаться, как Андрей, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда,— разве нет красоты в лучине, голоде, болячках? надо научиться смотреть на все и на себя — извне, только смотреть, никому не принадлежать. Идти, идти, изжить радость, страданья.

Шел сенокос, страда. Ночей почти не было, ночами казалось, что нет неба над речными поемами, полями, суходолами и лесами — и над Увеком. Когда Андрей пришел впервые в коммуны, его окликнули:

— Кто идет?!

И дед Егорка ответил паролем:

— Гайда!

Дорога от ворот со львами, под холмом, пролегала около каменного забора с вазами на столбах. По косогору шли каменистые тропки к огороду, на луг и к реке. За кучами деревьев, за зеленым плацом, за конным двором, стоял хмурый дом классической архитектуры, по бокам тянулись службы и флигеля. На крыльце из-за колонн смотрел тупорылый пулемет, «максим». На дворе никого не было. Тропинкой обогнули дом, зарослями миндаля и сирени прошли на террасу. В столовой, за длинными столами сидели анархисты, кончали ужин. Дед Егорка покривлялся и ушел. Пригнали коров, женщины пошли доить. Павленко ушел в ночное. Был уже поздний час, но небо было еще зелено, по лугу пополз туман. Многие ушли спать, чтобы встать завтра на заре. Андрей сидел с товарищем Юзиком в кабинете, со свечой, стены блестели золочеными корками книг. Товарищ Юзик стоял у окна и смотрел в небо.

— Какая здесь тихая весна,— сказал Юзик.— И какие тихие у вас звезды,— кажется, они густеют. Вы никогда не увлекались астронаутикой?— Когда думаешь о звездах, на-

чинаешь чувствовать, что мы ничтожны. Земля — это мигровая тюгма:— что же мы, люди? Что значит наша геволуция и неспгаведливость?

Андрей откликнулся поспешно:

— Да, да! Я тоже так думаю! Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли.

— Да, конечно же!..— Юзик помолчал.— Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане — Южный Кгест... Я исколесил весь миг, и нигде нет такой стганы, как Госсия. Мы пгиехали сюда, чтобы жить на земле, чтобы делать жизнь... Как хогошо здесь, и какие книги в этих шкафах, книги собирались два столетия!.. С точки згения евгопейцев, мы, гусские, пегеживаем сгедневековье.

Вошли Павленко, Свирид, Наталья, Ирина, Аганька. Аганька принесла жбан молока и овсяных лепешек.

— Кто хочет?

В гостиной сиротливо горела свеча, в тщательном порядке стояла золоченая мебель стиля ампир, за аркой был совершенно пустой зал. Окна гостиной и кабинета были открыты. Под откосом на лугу на разные голоса кричали, шумели и пели птицы и насекомые, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается оркестр. Ирина взяла лениво несколько аккордов на рояли, и Аганька приготовилась плясать. Вошел Семен Иванович, с бородою, как у Маркса,— с кипкою газет и заговорил желчно о разрухе.— В тот вечер Андрей возвращался к Николе и, стоя у Николы, еще раз пережил остро, больно и нежно всю ту радость, его радость, что творилась у него мечтой, революцией — мечтой о правде нищенства, о справедливости, о красоте — старых пятивековых церквей.

У анархистов Андрей поднимался с зарей,— летней, безмерно ясной,— и с бочкой на паре в дышлах мчал на реку за водой; ему помогала качать насос Аганька. Накачав и напоив лошадей, они, разделенные кустом, купались. И Андрей увозил воду сначала на огород и в парк, затем на кухню. Солнце поднималось красное и медленное, одежда мокла медвяной росой, из займищ уходили последние клочья тумана. В двенадцать шабашили до трех, мужчины поднимали пар, собирались к обеду, бронзовые от солнца, потные от труда, с расстегнутыми воротами. Никогда раньше Андрей не работал мышцами,— сладко ныли плечи, поясница и бедра, голова была легкой, мысли — ясны и тихи. Тихие и ясные приходили вечера, Анд-

рею хотелось спать, ныли плечи, и — в бессоннице — мир казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы. Всегда вечерами гуляла с Андреем товарищ Наташа, плела венки себе и ему и, смеясь, говорила Андрею — о том, что он такой же тихий, как василек. Вечерами привозили газеты, газетчики писали о том, что социалистическое отечество в опасности, бунтовали казаки, украинцы, поляки, — и это казалось неважным, — кто разрушит стеклянную заводь бессонницы? Мысли были ясны и легки, преломленные через хрупкую жажду сна. И июнь с фарфоровыми жасминами, с хрустальными его восходами, прошел уже.

Днем работал Андрей в парке с Аганькой — и любовался ею. Она всегда была с песнями и присказками, он не видал ее усталой и не знал, когда она спит. Невысокая, коренастая, босая, с смеющейся рожой, она будила его зорями, прыская водой, уже подоивши коров. Как лягушка плавала она, бесстыдная, купаясь, и потом весь день ворочала — в парке, на картошке, в огороде. Вечерами она «охмурялась» — сначала с Павленком, затем с Свиридом, — «эх, — кому какое дело, с кем я ночь просидела!». В сенокос Андрей с Аганькой вдвоем ворошили в саду, Андрей останавливался покурить, Аганька играла граблями, бедрами, точно молодая лошадь, говорила озорно:

— Ты, Андрюша, не охмуряйся, а работай!

— Откуда ты, Аганька? Когда ты спишь, отдыхаешь?

— Откуда все: — от мамки!

— Не дури!

— Где уж нам уж, мы уж так уж!.. Ты вороши, не охмуряйся!..

И Аганька умерла в июле — по земле ходили черная оспа и тиф... — Смерть, смута, голод, лучина: — видеть, чтобы жить. Первые дни июля, перед зноем, пять дней шли дожди и грозы, анархисты были в доме, — и никогда у Андрея не было столько радости, радости бытия.

— Это глазами Андрея, поэзия Андрея Волковича.

Глазами Натальи

Над Николой, над Черными Речками, над полями, высился одиноко холм, пустынный, лысый, по обрывам лишь поросший калиною, стоял одиноко, пустынный, высокий. К северному от него закром небесному щетинились темными пилками леса, и к югу шли степи. И века со-

хранили за ним свое имя — Увек. И шел июль.

На вершине Увека люди заметили развалины и курганы,— археолог Баудек и художник Ордынин с артелью мужиков пришли их раскапывать. Раскопки длились третью неделю, и из земли выходили века. На Увеке нашли остатки древнего города, шли уступами каменные развалины водоподъемников, фундаменты строений, канализация,— скрытое суглинками и черноземом это осталось не от финнов, не от скифов, не от болгар,— кто-то неведомый приходил сюда из Азиатских степей, чтобы поставить город и исчезнуть из истории — навсегда. А за ними, за теми неведомыми, были здесь скифы, и они оставили свои курганы. В курганах, в каменных склепах, в каменных гробницах, лежали человеческие костяки, в одеждах, рассыпающихся от прикосновения, как пепел, с кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье,— с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. В каменных склепах было мертво, ничем уже не пахло, и каждый раз, когда надо было входить в них, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь. Вершина Увека, в камнях, облысела, серебряной пыльной щетиной поросла полынь, пахнуло горько.— Века.— Века учат так же, как звезды, и Баудек знал радость горечи. Понятия археолога Баудека спутались веками. Вещь всегда говорит больше не о жизни, но об искусстве, и быт — есть уже искусство. Жизнь мерил Баудек художеством, как и всякий художник. И — от веков и революции Баудек и Глеб Ордынин хотели следить за теми сектантами, что жили хуторами, в степи. И горько пахло над Увеком полынью.

Здесь на Увеке землекопы просыпались с зарей, кипятили в котле воду. Копали. В полдни привозили из коммуны обед. Отдыхали. Снова копали, до вечерней зори. Тогда жгли костры и сидели около них, толкуя, пели песни... За рекой в деревне — пахали, косили, ели, пили и спали, чтобы жить,— так же, как и под обрывом в коммуне и в степи у сектантов, где тоже трудились, ели и спали. И еще, кроме того, все испивали и хотели испить покой и радость. Шел знойный июль, испепеляя дни; как всегда, дни были прозрачны и томительны,— ночи приносили покой и свою ночную смуту.— Одни раскапывали землю, сухой суглинок, промешанный кремнями и чертовыми пальцами, другие отвозили ее на тачках, просеивали в решетках. Доры-

лись до каменного входа. Склеп был темен, ничем не пахло. Гробница стояла на возвышении. Зажгли фонарики. Зарисовали. Осветили магнием — сфотографировали. Было тихо и безмолвно. Сняли десятипудовую позеленевшую крышку. Другие у обрыва на веретии окапывали остатки некоего сооружения, камни которого не засорило еще время.

Круто падал Увек. Под Увеком пустынным простором шли пологи, за поемами зубчатой щетиной поднимались леса Чернореченские, Черноречье: и Баудеку рассказывали росказню о том, что в Медыни засели дезертиры, зеленая разбойная армия, накопавшая землянок, наставившая шалашей, рассыпавшая по кустам своих дозорных, с пулеметами, винтовками, готовая, если тиснут ее, уйти в степь, взбунтоваться, пойти на города.

— Впрочем, это глазами анархистки Натальи.

Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью, полынь обросла холм серебряной пыльной щетиной, пахло горько и сухо. С пустынной вершины было видно широко кругом, под холмом текла река, за рекою в тумане светились костры последних сенокосов и ночных. Из поля повеяло сухью. Остановились, чтобы проститься, — и заметили: — от балки к раскопкам, с той стороны, от Николы, бежали гуськом, широкой, неспешной побегой, голые женщины, с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках. Женщины безмолвно добежали до раскопок, бежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке, поднимая полынную пыль.

Заговорил Баудек:

— Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысяча лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистотой. Это неделя Петра-Солнцеворота. Кто придумает — Петра-Солнцеворота?! Это прекраснее раскопок! Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают нас. Это тайна девушек.

Опять из поля повеяло сухью. В безмерном небе упала звезда, — приходил уже июльский звездопад. Кузнечики звенели сухо и душно. Пахло горько полынью.

Простились. Прощаясь, Баудек задержал руку Натальи, сказал глухо:

— Наталья, необыкновенная, когда вы будете моей женой?

Наталья ответила не сразу, тихо:

— Оставьте, Флор.

Баудек пошел к палаткам. Наталья вернулась к обрыву узкой тропинкой, заросшей калиной, спустилась в усадьбу, в коммуны. Ночь не могла утолить жажду жаркого дня, в ночи было много жажды и зноя, сухо блестя потускневшим серебром — трава, дали, полои и воздух. По кремнистой тропинке сыпались камешки.

У конного двора лежал Свирид, напевал, глядя в небо:

Кама, Кама, мать ри-ка-а!..
Бей па-а рожу Калча-ка-а!
Кама, Кама водяни-ста!
Бей па-а рожу камму-ниста!..

Заметил Наталью, сказал:

— Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть, в лоботу бы сыграть! Все коммунисты в растениях. К копателям ходили?— говорят, город выкапывают,— время теперь такое, до всего докапываются! Да!

И снова запел:

Кама, Кама, мать ри-ка-а!..

— Газеты со станции привезли. Очень здесь полынкой пахнет. Страна!

Наталья прошла в читальню, зажгла свечу, тусклый свет масляно отразился в пожелтевших мраморных колоннах. По-старинному стояли шкафы с книгами, золоченые кресла, круглый стол посреди, в газетах. Склонила голову, упали тяжелые косы,— читала газеты. И газеты из губернии на коричневой бумаге, и газеты из Москвы на синей бумаге из опилок,— были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба. Не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас,— шел девятнадцатый год.

Вошел Семен Иванович, старый революционер, с бородою, как у Маркса, опустил в кресло, непокойно закурил собачку.

— Наталья.

— Да.

— Я был в городе. Вы представляете, что творится? Ничего нет. Зимой все умрут от голода и замерзнут. Нет какой-то соли, без которой нельзя варить сталь, без стали

нельзя делать пил, нечем пилить дрова, — зимой дома замерзнут, — от какой-то соли! Жутко! Вы чувствуете, какая жуть! — какая жуткая, глухая тишина. Взгляните — естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь. Кругом смерть, голод, цинга, тиф, оспа, холера... Леса и овраги кишат разбойниками. Вы слышите — мертвая тишина! Смерть. В степи есть села, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры... Русский народ!

В комнате Натальи, в мезонине, в углу стояло распятие с пучком трав, заткнутым за него, — это осталось еще от бар. Зеркало на пузатом туалете красного дерева, со старинными нужными безделушками пожухнуло и полупилось. Ящик от туалета был раскрыт: оттуда еще пахло помещицынским воском, и на дне валялись пестрые шелковые лоскутики, — эта комната у Ордыниных была девичьей. Лежали коврики и дорожки. За окнами широко было видно поемы, реку, — подумалось, что зимой весь этот пустой простор бел от снегов. Наталья стояла у окна долго, переплетала волосы, скинула сарафан. Думала — об археологе Баудеке, о Семене Ивановиче, о себе, — о революции, — о ее горечи — своей горечи.

Первыми о рассвете сказали стрижи, летали в желтом сухом мраке, щебеча. Пролетала последняя летучая мышь. На рассвете пришла Ирина. Села молча на окно. С рассветом горько запахло полынью, — и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и мертвой воды пахнут не только суходольные юли, — пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни — дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб изгоняют чертей и нечисть. — Русский народ, — вспомнила. В апреле, когда шли за белыми, на маленькой степной станцийке, где были небо, степь, пять тополей, рельсы и станционная изба, заметила троих — двух мужиков и ребенка. Все трое были в лаптях, старик в полушубке, а девочка полуголая. У всех были носы, верно говорящие, что в их крови есть и чуваш и татарин. У всех троих были испиты лица. Меркнул широкий закат. Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша, падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие, — или, быть может, мудрость веков, которую нельзя понять. Наталья тогда думала: вот — подлинный русский народ, эти вот испитые, серые, проеденные грязью и потом, с ли-

цом жутким, как изба, с волосами, как соломенная крыша. Старик глядел на запад; другой сидел неподвижно, подогнув ногу и положив на нее голову. Девочка спала, разметавшись по асфальту, захарканному и заплеванному подсолнечной шелухой. Молчали. И смотреть на них было томительно и жутко,— на тех, которыми и именем которых творится революция. Народ без истории,— ибо где и с т о р и я русского н а р о д а?— народ, создавший свои песни, свои напевы, свои сказки... Потом эти мужики случайно зашли в коммуны, пели, как калики, кланялись, просили милостыню, рассказывали, что они «володимирски», пригнал их голод, ходят ради Христа: дома оставили заколоченные избы, съели все, даже лошадей. И Наталья заметила: с них падали вши. Та же станция, где встретила она их впервые, называлась «Разъезд Мар».

На дворе зашумели ведрами, женщины пошли доить. Пригнали из ночного лошадей. Семен Иванович, не спавший ночи, подмазывал со Свиридом телегу, собирался в поемы за сеном. Шумели подростки уже цыплята. Пришел день, жаром своим испепеляющий уже землю, когда надо было испытать его жажду, чтобы вечером идти за иной полынью, полынью Баудека, за горечью радости, ибо никогда не было у Натальи этой радости полынней, и принесли ее эти дни, когда надо жить — сейчас или никогда.

Солнце проходило знойное свое солнцепутье, томил день зноем, звоном тишины, дрожали дали мелкою знойной дрожью, как расплавленное стекло. В заполненный уповод, в отдых, приходила Наталья на раскопки, сидела с Баудеком под солнцем, среди развороченной земли, на опрокинутой тачке. Жгло солнце, и на тачках, на черноземе, на камнях, на палатках, на траве лежали знойные краски, точно пестрые шелковые лоскутья.

Наталья говорила о зное, о революции, о днях: всею кровью своею почуяла, приняла революцию, хотела творить ее,— и теперешние дни принесли полынь, дни теперешние пахнут полынью,— говорила как Семен Иванович. И еще, потому что Баудек положил голову к ней на колени, потому что ворот вышитой его рубахи был расстегнут, открывал шею, и был зной,— чуяла иную полынь, о которой молчала. И опять говорила как Семен Иванович.

Баудек лежал на спине, полузакрыв серые свои глаза, держал Натальину руку и, когда она замолчала в зное, заговорил:

— Россия. Революция. Да. Пахнет полынью — живой и мертвою водою?— Да!.. Все гаснет? нет путей? Да... Вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок Иванушка совсем погиб, у него ничего не осталось, ему нельзя было даже умереть. Дурачок Иванушка победил, потому что с ним была правда, правда кривду борет, вся кривда погибнет. Все сказки заплетаются горем, страхом и кривдой — и расплетаются правдой. Посмотрите кругом — в России сейчас сказка. Сказки творит народ. Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в семнадцатый век, и не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите кругом — сказка. Пахнет полынью — потому что сказка. И у нас, вот у нас двоих,— тоже сказка, ваши руки пахнут полынью!

Баудек положил Натальину руку на глаза, поцеловал тихо ладонь. Наталья сидела, склонившись, упали косы,— опять почуяла остро, что революция для нее связана с радостью, радостью буйной, с той, где скорбь идет рядом, полынная скорбь. Сказка. Как в сказке Увек, как в сказке заречье, как в сказке Семен Иванович, с бородою Маркса, водяного Маркса, злого, как Кощей. Тачки, палатки, земля, Увек, река, дали — блестели, горели, светились знойными лоскутьями. Было кругом огненно, пустынно и безмолвно. Солнце на своем пути шло к трем, понемногу выползали из-под тачек, из ям землекопы, одетые, как послал бог, в рваные порты, штаны из мешков, прикрытые рогожей, зевали, хмурились, пили из ведерок воду, свертывали сигарки.

Один сел против Баудека, закурил, почесал открытую свою волосатую грудь, сказал не спеша:

— Айда начинать, Флорыч!.. Лошадь бы заложить. Михайло, надо полагать, в сыпе свалился...

К вечеру затрещали кузнечики. Наталья была на огородах, носила ведра, поливала гряды, капельками на лбу выступил пот, и тело, напрягаясь под тяжестью ведра, ныло сладко, неизбытою крепостью. Капли воды брызгались на босые ноги, и прохлада несла отдых. К вечеру в вишняке кричала горихвостка. Летали лениво в золотом воздухе последние пчелы, направляясь к пасеке. Ходила в вишняк, ела рдяные вишни с соком, как кровь. В кустах росли голубые колокольчики и медвяница,— рвала по привычке снопы букетов. У себя, в мезонине, в девичьей комнате разбирала в туалетном ящике старые шелковые лоскутья, вдыхала запах шелка, воска и кислых старинных духов.

Комнату свою увидела новыми глазами: в комнате был зеленый сумрак, и по полу шли легкие дрожащие тени, белые стены принимали в старческое свое упокоение легко и просто. Стояла над тазом, плескалась холодной водой. Солнце уходило широким желтым закатом.

Знойный день отцвел желтыми сумерками. В семь бил колокол к ужину, и в буфетной на полчаса было шумно, толпились около котла с кашей, лили из ведерок в тарелки молоко, затем пили чай, разнося стаканы по всем комнатам. На террасе, заросшей миндалями и туями, был гость, сектант — братец с соседнего хутора Донат, с апостольской бородой, во всем белом и в пудовых сапогах с подковами: заезжал поговорить о лошадях. От чая братец Донат отказался, выпил молока. На террасе с ним сидел Семен Иванович. Небо умирало огненными развалинами облаков. В зарослях у террасы одиноко и горько свистела горихвостка: — ви-ти, ви-ти-тсс!..

Семен Иванович, в блузе, тоже старик, по-молодому поместился на барьере, скрестив руки и прислонив голову к колонне. Донат сидел у стола, покойно, прямо, положив ногу на ногу.

— Войны вы не признаете?— спросил Семен Иванович, как всегда сухо и неуловимо-зло.

— Война нам не нужна-с.

— А у вас на хуторах, мне говорили, нашли зарезанного черемиса, и, говорят, вы покрываете конокрадов?

— Не знаю, о каких случаях вы говорить изволите,— ответил покойно Донат.— По степи много волков ходит, не остерегаться нельзя. Мы в эти места при Екатерине пришли и живем, как тридцать лет тому жили и как сто, сами справляемся, своим обыком. Посему нам никаких правлений и не надо, а стало быть, и войнов. Петербург-с это вроде лишая-с. Смею думать, народ сам лучше проживет без опеки, найдет время и отдохнуть, и размыслить. Скопом народ-с, может, тысячу лет живет.

— Ну а конокрадство?— перебивая Доната, едва приметно раздражаясь, спросил Семен Иванович.

— Не знаю, о каких случаях говорите. Никто этого не видел. Одначе думаю, если конокрада уловят — убьют. И убьют, я полагаю, с жестокостью-с. Татары иной раз ловят конокрадов,— связанных в стога закапывают и палат живьем. Жизнь у нас жестокая-с, сударь.

Огненные развалины меркли, точно угли, покрылись пеплом. На дворе замекали овцы, и щелкал бич. Горихвостка стихла. В гостиной зажгли свечу, в открытую дверь потянули бабочки. Затрещали кузнечики. Повеял ветер и принес не зной, а отдых. Темнело быстро, и вдалеке полыхнула зарница.

— Гроза будет,— сказал Донат, помолчал, не двигаясь, и заговорил о другом:— Смотрю на ваше хозяйство, сударь. Ни к чему. Плохо. Весьма плохо. Без умения. Молодятина не подтянута. Без умения-с, без любви. Ни к чему.

— Как умеем,— сухо ответил Семен Иванович.— Не сразу.

— Мужичкам бы землишку, по-божьи.

На террасу вышла Ирина, со свечою, в белом платье. Свечу Ирина поставила около Доната. Донат внимательно взглянул на нее, Ирина глаз не опустила, свет упал сбоку, зрачки Ирины вспыхнули красными крапplаковыми огоньками.

— Семен Иванович, товарищи делают маленькое собрание в читальной,— сказала Ирина.— Товарища Юзика нет. Я побуду с гостем.

Семен Иванович поднялся, вслед ему сказал Донат:

— Про конокрадов говорили-с? Конокрады иной раз попадаютcя, это верно. Мы живем, как сто лет жили. А вы вот из Петербурга приехали, когда он в лишаи пошел-с, да-с. В тесное время. У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь.

— Извините, я сию минуту,— сказал Семен Иванович и вышел.

Ирина села на его место, к колонне. Сидели молча. Опять обвеял ветерок и принес отдых. С юга шла тяжелая туча, поблескивая, громыхала злобно. Стемнело черно, было тихо и душно. Шелестели у свечи бабочки. В гостиной заиграл на рояли Андрей. Вдруг вдалеке за усадьбой кто-то свистнул два раза коротким разбойничьим по-свистом, должно быть, сквозь пальцы. И Донат и Ирина насторожились. Донат пристально взглянул во мрак и опустил голову, прислушиваясь. Ирина встала, постояла на ступеньках террасы и спустилась в темноту. Вскоре она вернулась, прошла в дом и вышла обратно в дождевом плаще и босая опять ушла за террасу. Закапал крупно дождь, рванулось несколько взмахов ветра, зашумели по-осеннему листья, свечной свет затрепыхался, точно качнулись каменные колонны и пол, и свеча потухла.

Семен Иванович прошел темными комнатами в читальную. В читальной горели две свечи, на диванах, на окнах, на полу в свободных позах сидели анархисты, курили, все — и мужчины и женщины, в синих блузах. У круглого стола принужденно стоял товарищ Константин. Семен Иванович сел к столу и взял карандаш.

— В чем дело, товарищи?— спросил Семен Иванович. Из угла, от Анны, ответил Кирилл:

— Мы хотим разрешить принципиальный вопрос. Товарищ Константин, уезжая в село, вынул у товарища Николая из ящика новые обмотки, без предупреждения, обмотки не вернул и этот факт вообще скрыл. Обмотки, само собой, не есть собственность товарища Николая, но они были в его пользовании. Как квалифицировать этот факт?

— Я мыслю это как воровство,— сказал Николай.

— Товарищи! Повремените! Нельзя так!— раздраженно возразил Семен Иванович и забарабанил тонкими своими пальцами по столу.— Надо сначала установить факт и принцип...

Семен Иванович говорил очень долго, потом говорили Кирилл, Константин, Николай,— и, наконец, вопрос окончательно запутался. Оказалось, что прецеденты уже были, Константин и Николай были в ссоре и что Константину обмотки необходимы, а у Николая лишние. За окном громыхал гром, сияли молнии, шумели вольно ветер и дождь. У свечей сиротливо летали бабочки, умирая. По стенам в шкафах тускло поблескивали корки книг и стекла. Стало очень дымно, от махорки. В конце опять говорил Семен Иванович — о том, что там, где подлинное братство, не может подняться вопроса о краже, но, с другой стороны,— это не принципиальное решение — и кончил:

— Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на товарище Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо?

Никто ничего не сказал. Все шумно поднялись и стали расходиться.

Андрей, встав на заре, утром возил воду, а потом весь день чистил навоз, изнемогая от жары, в поту, с истомленными глазами. После обеда до колокола он не пошел спать,— сидел в гостиной и играл на рояли, и, казалось, в его музыке слышны были и жужжанье слепней, и пустынная знойная степная тишина, пустынь, зной. После колокола он опять таскал навоз, а вечером снова играл.

Когда Семен Иванович проходил гостиной после собрания, к нему подошел Андрей и, коснувшись его плеча, сказал:

— Семен Иванович!.. Я думал... Ирина. Я и она...

Семен Иванович освободил плечо, отстранив холодными своими пальцами руку Андрея, и раздраженно-устало ответил:

— Вы уже говорили, товарищ Андрей!.. Я слышал! Это ненормально. И вы, и Ирина разумные люди. Сентиментальная романтика абсолютно ни к чему. Братец уехал?

На террасе в колоннах шумел ветер, молнии полыхали ежеминутно, но гром гремел уже в стороне,— гроза проходила. Мрак был густ, черен и сыр. Полыхнула молния и осветила Доната, он сидел все в той же позе, в какой его оставил Семен Иванович, прямо, положив руку на стол и ногу на ногу.

— Извините, я задержался,— сказал Семен Иванович.

— Одначе, прощайте. Пора!— Донат поднялся.

— Куда же вы в грозу? Оставайтесь ночевать!

— Не впервой. Завтра вставать на заре. Пахать! Я полев.

Вскоре Донат выезжал из усадьбы. Дождь прошел, молнии в стороне мигали бессильно, была воробьиная ночь. За усадьбой Донат остановил лошадь, приложил ладонь к глазам, весь в белом, верхом на черном коне. Всматривался в фосфорические отсветы. Повременив, вставил два пальца в рот и коротко свистнул. Прислушался. Никто не ответил. Тогда Донат свернул с дороги и крупной рысью поехал по пустому полю.

Поздно ночью, когда гроза уже стихла, Баудек и Наталья пришли к раскопкам. У палаток жгли костер, сушились и грели воду. Костер горел ярко, потрескивал, разметывая искры, и, быть может, от него ночь казалась душевнее, чернее и четче. Иные у костра лежали, иные сидели, суша рубахи.

— А роса в ту ночь медвяна и лекарна, трава силу имеет особенную, целебную. И цветет в эту ночь, братцы, папоротник. А идти в этот лес надо с оглядкой, братцы, потому переходят той ночью деревья с места на место... Как?..

Замолчали.

Кто-то встал посмотреть котелок, корявая тень попол-

зла по горе, упала за обрыв. Другой взял уголь и, перекидывая его с руки на руку, закурил. Было с минуту очень тихо, и в тишине четко слышались сверчки. За костром в степи полыхнула зарница, мертвый ее свет народился и исчезнул призрачно,— и зарница полыхнула не там, куда ушла гроза, а с юга,— должно быть, шла вторая гроза. Вороватый повеял ветерок, повеял влагою,— стало ясно, что идет вторая гроза.

Наталья и Баудек к огню не подошли, сели на тачках. — А пришел я к вам, братцы,— не дело вы затеяли рыть эти места. Потому, место эта, Увек, тайная, и всегда она пахнет полынью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня, и в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна, красоты неписаной, оборочалась сорокою,— по степи летала, народ мутьянила, облютившись, как волк, черноту наводила... Дело эта старобытная. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко,— лежит царевна, спит,— не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нетути,— летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окны святою водою живою... Ну, и летает с тех пор по Увеку душа неприкаянная, плачет, с телой своей соединиться не может, о стены каменные бьется. Башня та развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится — плачет... Место эта глухая, тайная. Девки ино-час за красой за персидской сигают нагишом, ночью, в солноворот, об эту пору, иначе это не зватье... А так растет здесь полынка, и расти ей.

Кто-то возразил:

— Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич атаман Разин с горы той сошел, а стало-ть, и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт.

— Сошел-то, сошел, сынок,— сказал первый,— да не дошел еще до наших местов. Повремени, сынок,— повремени!.. Все будет! А леворюция — это ты верно — наша, бунт! Время не пришла. Народ рылу свою покажет, показал,— бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная,— где огонь, там и кровь. Мы молчком, мы молчком!..

— Д-да!..

Один из землекопов поднялся, пошел к палатке, заметил Баудека и сказал сухо:

— И ты, Флорыч, слушаешь? мужицких наших разговоров тебе слушать не след! Мало ли что говорим.

Замолчали. Иные безразлично изменили позы, закурили.

— Время теперь благодатная. Прощевайте, братцы. Не судите, коли ште! Прощай, барин!— С земли поднялся старик с белой бородой, в белых портах, босой, не спеша пошел к балке,— это был знахарь, кривой Егорка.

Зарницы мелькали ближе, чаще, четче. Ночь темнела упорно, глубоко. Вновь померкли звезды. Издалека, из безбрежности докатился гром новой грозы.

Наталья сидела на тачке, опираясь руками о днище, склонив голову, костер освещал ее слабо, чуяла, осязала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль; понимала, что горькая горечь полыни — сладость прекрасная, необыкновенная, безмерная радость. Каждое касание Баудека, еще неровное, обжигало живую водой.

Эту ночь нельзя было спать.

Гроза пришла с ливнем, с громами и молниями. Эта гроза застала Наталью и Баудека за веретием, за развалинами башни персидской царевны, Наталья пила полынную — ту ведьмовскую скорбь, что оставила на Увеке царевна персидская.

А когда Донат подъезжал к хуторам, отъехав уже верст пятнадцать от усадьбы, он услышал сзади себя в поле песню:

Ты свети, свети, свет светел месяц,
Обогрей ты нас, красно солнышко!

Донат остановил лошадь. И вторая гроза уже ушла, далеко полыхали бессильные молнии. В степи были мрак и тишина. Вскоре послышалась конская рысь. Хутора были рядом, разметались в балке,— но если и днем на версту подъедешь к ним,— не заметишь — степь кругом пустая, голая. Донат положил пальцы в рот и свистнул, и ему ответили свистом. Подъехал всадник на сером киргизе-иноходце, тоже во всем белом.

— Марк?

— Вы, батюшка?

— Был я на усадьбе, сын,— сказал Донат.— Слышал пюй посвист. Твой ли?

— Мой, батюшка.

— Девицу Арину выкликал?

— Ее, батюшка.

— В жены возьмешь?

— Возьму.

— Тебе жить. Гляди. Кони на усадьбе хороши. Ты откуда?

— Из степи, за пищей,— бабам далече идти... Что ж! бабы у нас здоровые да вольные. Воля не грех! Я муж — научу!.. Кони на усадьбе хороши!

Донат и Марк подъехали к обрыву и стали гуськом спускаться вниз в заросли калины и дубков; в овраге после дождя было сыро и глухо, вязко пахло медуницей, копыта скользили, с ветвей падали холодные капли. Спустились на дно, перебрались через ручей и рысью поехали вверх. Дом Доната выполз из мрака сразу, и изба и двор под одной крышей. На дворе и в доме было пусто,— и люди, и скотина ушли в степь, на страду. Марк повел лошадей в стойло, задал овса. Донат снимал на крыльчке кованные свои сапоги, кряхтел, умывался из глиняного ручомойника.

— Завтра на заре в поле поеду, пахать, отдохнуть! Побольше задай,— сказал Донат.

— А я к тебе, братец Донат,— заговорил третий, выходя из избы.— Зашел погодить, да задремал в грозу.

Донат трижды поцеловался с встречным. Все трое прошли в избу. В избе, в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарными травами. Вздудли свет, мрак побежал под лавки, изба была большая, в несколько комнат, со светелкой, хозяйственная, убранная, чистая. На чистой половине по стенам висели седла, хомуты, седелки. Образов на стенах не было. Сели к столу. Донат достал из печки каши и баранины.

— Из степи, с огляда вернулся. Далеко заезжал,— заговорил третий.— Непокойно в степи. Говорили татары с Кривого Углу, ходят-де по степи, за царя говорят, людей для войны скликают. Объезжал, сговорились,— увидят — упредят. У дальних братцев был. Царские бумаги все спалили — концы в воду. Пахари, мол.

— Молодцов для войны не дадим,— сказал Донат.— Тогда в степь! К солностою верст семьдесят отскакать — овраги, в оврагах пещеры. Знашь?

— Знаю.

— Туда!.. На усадьбе — в газетах пишут — по чугунке по нашей кончилась война. Степь — она вольная. Да и концов ей нет.

Марк вышел на крыльцо. Облака расходились. Из-за них светила круглая зеленоватая луна. Марк потянулся крепко, сладко зевнул и пошел на сено спать.

На рассвете Донат и Марк мчали по степи, оставив дома на столе хлеб, квас и кашу для заезжих (никогда дом не запирался), — навьюченные пищей для братьев, сестер и жен, что работали в степи, живя там под телегами, под небом и зноем, в летней страде, на земле. На востоке зорилась багряная покойная зоря, и горько пахло полынью.

Глазами Ирины

(Это маленькая поэзия Ирины: ее глазами)

«О степи, о ее удушье, о несуразной помещичьей жизни, о помещичьи-крепостной пьяной вольнице, о борзых, наложницах, слезах, — говорит мне не степь, с ее зноем и пустынью, не старая эта усадьба, где сели мы, — кухня, что в полуподвале, говорит мне о смутном, разгульном, несуразном, о степной жизни и о степи. В кухне каменные кирпичные полы, огромные плита и печь, сводчатые потолки и стены обмазаны глиной, и в стены, к чему-то, ввинчены огромные ржавые кольца. В кухне жужжат мухи, полумрак, жар и пахнет закваской. А в гостиной, где окна завил плющ, — зеленый мрак, прохлада, и в этом прохладном зеленом мраке поблескивают портреты и золоченые шелковые кресла. Я вошла в дом через кухню.

Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?

Знаю, — кругом леса и степь. Знаю, Семен Иванович, Андрей (мой жених!), Кирилл, — все верят, верят честно и бескорыстно. Знаю, — наши сектанты, которые ходят во всем белом и называют себя христианами, не только верят, но и живут на своих хуторах этой верою. Семен Иванович, уже усталый, говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы. Знаю, — люди живут, чтобы бороться и чтобы достать кусок хлеба, — чтобы бороться за женщину.

Утром я валяюсь за усадьбой на пригорке, за старым ясенем, слежу за гусями и перебираю синие цветы, те, что от змеиного укуса. Среди дня я купаюсь в пруде под горячим солнцем, а возвращаюсь огородами и рву маки — белые с фиолетовыми пятнышками на дне и красные с черными тычинками. У пчельника меня обыкновенно ждет Андрей; я не замечаю, как он подходит. Он говорит:

— Поделитесь со мною маками, товарищ Ирина,— пожалуйста!

Я обыкновенно отвечаю так:

— Разве мужчины просят?— мужчины берут! Берут свободно и вольно, как разбойники и анархисты! Вы ведь анархист, товарищ Андрей. В жизни все-таки есть цари,— те, у кого мышцы сильны, как камень, воля упруга, как сталь, ум свободен, как черт, и кто красив, как Аполлон или черт. Надо уметь задушить человека и бить женщину. Разве же вы еще верите в какой-то гуманизм и справедливость?— к черту все! пусть вымрут все, кто не умеет бороться! Останутся одни сильные и свободные!..

— Это сказал Дарвин,— говорит тихо Андрей.

— К черту! Это сказала я!

Андрей глядит на меня восхищенно и придавленно, но меня не волнует его взгляд,— он не умеет смотреть, как Марк,— он никогда не поймет, что я красива и свободна и что мне тесно от свободы. И в эти минуты я вспоминаю кухню, с ее зноем, железными страшными кольцами, каменным полом и сводчатыми потолками. Разбойники сумели захватить право на жизнь,— и они жили, благословляю и их! К черту анемию! Они умели пить радость, не думая о чужих слезах, они пьянствовали месяцами, умея опьяняться и вином, и женщинами, и борзыми. Пусть — разбойники.

Из огорода в дом надо пройти кухней. В кухне, в жару, жужжат мухи, как смерч, и по столу ходят цыплята. А в гостиной, где окна завиты плющом и свет зелен,— так же прохладно и тихо, как на дне старого тенистого пруда.

Знаю,— будет вечер. Вечером в своей комнате я обливаюсь водой и переплетаю косы. В окна идет лунный свет, у меня узкая белая кровать, и стены моей комнаты белы,— при лунном свете все кажется зеленоватым. У тела своя жизнь, я лежу, и начинает казаться, что мое тело бесконечно удлиняется, узкое-узкое, и пальцы, как змеи. Или наоборот: тело сплющивается, голова уходит в плечи. А иногда тело кажется огромным, все растет удивительно, я великанша, и нет возможности двинуть рукой, большой, как километр. Или я кажусь себе маленьким комочком, легким, как пух. Мыслей нет,— в тело вселяется томленье, точно все тело немеет, точно кто-то гладит мягкой кисточкой, и кажется, что все предметы покрыты мягкой замшей: и кровать, и простыня, и стены — все обтянуто замшей.

Тогда я думаю. Знаю,— теперешние дни, как никогда,

несут только одно: борьбу за жизнь, не на живот, а на смерть, поэтому так много смерти. К черту сказки про какой-то гуманизм! У меня нету холодка, когда я думаю об этом: пусть останутся одни сильные. И всегда останется на прекрасном пьедестале женщина, всегда будет рыцарство. К черту гуманизм и этику,— я хочу испытать все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт,— и инстинкт,— ибо теперешние дни — разве не борьба инстинкта?!

Я смотрюсь в зеркало,— на меня глядит женщина, с глазами, черными, как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими, как паруса. В окно идет лунный свет: мое тело зеленовато. На меня глядит высокая, стройная, сильная голая женщина».

«Старуха дала мне рубашек домотканого полотна, от которого жестко телу, сарафан, поневу, душегрею синего сукна, белый платочек, кованные сапожки с наборами и полусапожки, сунула зеркальце. В избе собрались братцы, съехались с хуторов. Марк вывел меня за руку. Мужчины сидели справа, женщины — слева. Я целовалась сначала со всеми женщинами, затем с мужчинами. И я стала женою Марка.

— Поди сюда, дочка Аринушка,— сказал старик Донат, взял меня за руку, посадил рядом, приголубив, и говорил, что все собравшиеся здесь — братья и сестры, новая моя семья, один за всех и все за одного, из избы сор не выносить, в дом придут — накорми, напой, чествуй, все отдай, всем поделись,— все наше. Все мужчины были здоровы и широкоплечи, как Марк, и женщины — красивые, здоровы и опрятны,— все в белом.

Марк. Помню ту ночь, когда он приехал с двумя конями и мы мчали степью от коммуны, с тем, чтобы в темном доме мне остаться одной, в женской избе, во мраке, вдыхать шалфей и думать о том, что у меня последняя жизнь и нет уже воли. Марк ускакал в степь. А наутро и я ушла за ним. Я теперь знаю летнюю нашу страду мужицкую. Мои руки покрылись коркой мозоли, мое лицо загорело, почернело от солнца по-бабьи, и вечером, после страды, купаясь в безымянной степной речке, уже холодной, я вместе с сестрами, удивительно здоровыми, покойными и красивыми, пою по-бабьи:

Ты свети, свети, свет светел месяц!
Обогрей ты нас — а-эх!— красно солнышко!

Уже по-осеннему звездные ночи, и днем над степью разлито голубое вино. На хуторе готовятся к зиме, в за-крома ссыпают золотую пшеницу, стада пришли из степи, и мужчины свозят сено.

Марк со мной мало говорит, он приходит неожиданно, ночью, целует меня без слов, и руки его железны. Марку некогда со мной говорить,— он мой господин, но он и брат, защитник, товарищ. Старуха каждое утро задает мне работу и, хваля-уча, гладит по голове. Мне некогда размышлять. Как сладостно пахнет пот — пусть соленый! Я научилась повязываться, как повязываются все».

«Ночью пришел Марк.

— Вставай, поедем,— сказал он мне.

На дворе стояли кони, были Донат и еще третий. Мы выехали в степь. Подо мной шел иноходец. Ночь была глухая и темная, моросил мелкий дождь. Впереди ехал Донат.

— Куда мы едем?— спросила я Марка.

— Повремени. Узнаешь.

Вскоре мы выехали к усадьбе, обогнули балку и стали за конным двором. Все спешили, и мне сказали, чтобы я слезла. Поводья собрал третий. Мы подошли вплотную ко рву. Донат свернул вправо, мы подошли к дому.

— Куда мы идем, Марк?— спросила я.

— Тише. За конями,— сказал Марк.— Стой здесь. Если увидишь людей,— свистни, уйди к коням. Если услышишь шум,— иди к коням, скачи в поле. Я приду.

Марк ушел. Я осталась стоять-следить. Разве могла я не подчиниться Марку? У меня нет родины, кроме этих степных хуторов, у меня нет никого, кроме Марка. Где-то в доме спали Семен Иванович и Андрей. Пускай! Дом стоял тяжело и сумрачно, во мраке. Моросил дождь. Мне не было жутко, но мое сердце колотилось — любовью, любовью и преданностью! Я раба!

Марк подошел незаметно, неожиданно, как всегда. Взял за руку и повел ко рву. У рва стояли наши кони, мой и его иноходцы-киргизы, борзые и злые, как ветер. Марк помог мне сесть, вскочил сам, свистнул — и, схватив меня, перекинув на свое седло, прижав к груди, склонив свою голову надо мной, гикнув, помчал в степь, в степной осенний простор.

Восток ковался багряными латами, солнце выбросило

свои рапиры, когда мы примчали на дальние хутора, где мирно за столом сидели уже Донат, тот, третий, кривой знахарь Егор, и на стол накрывала знахарка Арина с улыбкой покойной и дерзкой, как у ведьмы.

Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?»

Археолог Баудек достал листок, переписанный Дона- том, и этот листок тщательно списывал Глеб Ордынин. Вот этот листок:

«Крестъ есть предметъ небреженія, но не чествованія, поелику онъ служилъ, подобно плахъ и висѣлицъ, орудіемъ безчестія и смерти Христа. Нечтимо орудіе, убившее друга твоего. Тако слѣдуетъ почитать и іудеевъ, устроившихъ крестъ.

Въ книгѣ Жезль въ имени Иисусъ истолкована троица и два естества! Введена присяга, коей не было даже у древнихъ еретиковъ! Въ треугольникъ пишутъ по латынѣ Богъ! Ъдятъ давлению и звѣроядину! Волосы отрѣзаютъ и носятъ нѣмецкое платье! Молятся съ еретиками, въ баняхъ съ ними моются и вступаютъ въ бракъ съ еретиками! Имѣютъ аптеки и больницы, женская ложесна руками осязаютъ и даже осматриваютъ! Конское ристаніе имѣютъ! Пьютъ и ѣдятъ съ музыкою, плясаніемъ и плесканіемъ. Женщины бываютъ съ непокрытыми головами и не прикрываютъ верхнихъ зазорныхъ тѣлесъ! Мужья съ женами зазорнымъ почитаютъ вмѣстѣ въ банѣ мыться и въ одной постели спать. Монашеское дѣвство несогласно со св. Писаніемъ: ап. Павелъ говорилъ, что отступятъ иные отъ вѣры, возбраня женитьбу и брашна!

Отъ воли cadaго зависитъ, когда и какъ поститься! Чтимъ Единаго Господа Бога Саваофа и Сына Его Спасителя! Не токмо мученики, но и Марія-Дѣва не подлежатъ поклоненію, ибо сіе есть идолопоклонство, какъ и поклоненіе иконамъ! Житіе же блаженныхъ ради Христа юродивыхъ весьма не богоугодно, поелику юродство не благообразно! И какъ, видя огонь,

не предполагаемъ мы въ немъ свойствъ воды, ни въ водѣ свойствъ огня,— такъ же нельзя предположить въ хлѣбѣ и винѣ свойствъ тѣла и крови! Тако же бракъ не есть таинство, но любовь,— при собраніи мужчинъ и женщинъ родители благословляютъ жениха и невѣсту по подобію брака Товіи.

Единая Книга есть — книга книгъ — Библия, и жить надлежитъ библейскимъ обычаямъ. Чти отца твоего и мать твою, люби ближняго, не сквернословь, трудись, думай о Господѣ Богѣ и о Ликѣ Его, въ тебѣ несомомъ.

Единъ обрядъ чтимъ — обрядъ святаго Лобызанія. И едино правительство есть — духовная наша совѣсть и братскіе обычаи».

Г л а в а IV

КОМУ — ТАТОРЫ, А КОМУ — ЛЯТОРЫ

(Объяснение к подзаголовку:

В Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: «Коммутаторы, аккумуляторы».

— Ком-му... таторы, а... кко-му... ляторы... — и говорит:— Вишь, и тут оманывают простой народ!..)

Провинция, знаете ли.— Городские таторы

Знойное небо изливало знойное марево, небо было застлано голубым и бездонным. Цвел день, цвел июль. Целый день казалось — улицы, церкви, дома, мостовые: плавилась в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе. Город спал: сном наяву, город Ордынин из камня. Дни зацветали, цвели, отцветали, сплошной вереницей, перцветали в недели. Цвел июль, и ночи июлевы оделись в бархат. Июль сменил платиновые июньские звезды на серебро, луна поднималась полная, круглая, влажная, укутывая мир и город Ордынин влажными бархатами и атласами. Ночами ползли сырые седые

туманы. Дни же походили на солдатку в сарафане, в тридцать лет, на одну из тех, что жили в лесах за Ордынином, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать такую солдатку. Днями томили зной.

Вечером в кинематографе «Венеция» играл оркестр духовой музыки. Поднималась луна, земля куталась в бархаты, и люди шли смотреть, как «играет» Холодная. В тот день Сергей Сергеевич писал «ведомость», где указывал, что «за истекший месяц операций не происходило» и «вкладов не поступало». В павильоне сидели коммунисты в кожаных куртках и поили барышень чаем с ландринном (барышни всегда были и будут интерполитичны). Но вскоре духовой оркестр грянул «Интернационал», коммунисты встали и, так как скучно было стоять, сошли на дорожки в сад, к обывателям,— все стали ходить по кругу — —

— Этих глав писание — обывательское!— —

Сергей Сергеевич встретил Лайтиса, товарищ Лайтис шел навстречу. Сергей Сергеевич приостановился и, широко улыбаясь, снял соломенную свою шляпу, приветствуя.— Товарищ Лайтис приветствия не заметил.— Товарищ Лайтис встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц шла навстречу,— товарищ Лайтис приветливо улыбнулся, приложил руку к козырьку, Оленька Кунц сказала строго:

— Здравствуйт!— и отвернулась к подруге, что-то сказав и рассмеявшись чему-то. Оркестр гудел «Интернационалом», на деревьях горели фонарики, пары шли за парами. Сергей Сергеевич снова повстречался с товарищем Лайтисом, снова приподнял соломенную свою шляпу. Товарищ Лайтис ответил:

— Здравствуйте.

— Добрый вечер! Погода...—

Но они разошлись.

Товарищ Лайтис снова встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц взглянула сурово. От девичьего табунка Оленьки Кунц отделилась одна,— подошла, передала товарищу Лайтису листок из блокнота. Оленька Кунц писала товарищу Лайтису:

«Я на вас очень сердита. Сегодня в полночь в нашем саду. Приходит!

О. Ку (и палочки, и хвостик)».

Погасли фонарики. Под навесом на экране метнулся красный петух. Оркестр рывкнул последний раз, и зарокотало пианино. Товарищ Лайтис не пошел на места, товарищ Лайтис рассеянно стал сзади стульев. Сергей Сергеевич тоже рассеянно стал сзади стульев. Товарищ Лайтис рассеянно взглянул на Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич приподнял шляпу и протянул руку.

Поздоровались:— тт-т-сте!..

Помолчали.

— Провинция, знаете ли. Единственное развлечение — кинематограф...

Помолчали.

— Погода, жара невыносимая, знаете ли! Только вечером и можно отдохнуть.

Помолчали. На экране пили шампанское.

— И публика...

— Та?

— И публика, знаете ли... Недоверие, испуг, буржуазность. Я служу по финансам,— операций нет никаких.

Помолчали. На экране Холодная умирала от любви и страсти. Пианино то гремело негодуяще, то замирало в истоме.

— Провинция, знаете ли, глупость. Какие нелепые мысли рождаются! Если хотите, я вам расскажу эпизод. Абсурдные мысли!

— Та?

— Только, знаете ли... это косвенно касается вас... Нелепые мысли!..— Пианино зарокотало...— Ольга Семеновна Кунц...

— Сто? Олька Земеновна Кунс?

— Только — удобно ли здесь?— Пойдемте, пройдемтесь.

Сергей Сергеевич пропустил вперед товарища Лайтиса, Сергей Сергеевич шел не спеша, руки назад, оседая солидно на каждую ногу. За забором поднялась луна, и пианино приглохло, по углам сада плавал уже белый туман. Остановились.

— Только, знаете ли?.. Я затрудняюсь, как рассказать... Как эпизод провинциальных нравов... Провинция, знаете ли.

— Та?.. Олька Земеновна Кунс?..

— Видите ли, у нас проживает сапожник Зилотов, беспартийный, но был солдатским депутатом. Сумасшедший человек, из масонов.

— Ну?

— У него, видите ли, странная идея... Ольга Семеновна должна, как бы, отдаться вам, принадлежать как женщина.

— То эст?

— Вы должны овладеть ею и — непременно — в полночь, в монастырской церкви, в алтаре. Абсурдные мысли!..

Загудело пианино, рывкнуло, покатилося. Товарищ Лайтис, быстрее, чем надо, закурил папиросу.

— А Олька Земеновна знает?

— Не знаю, должно быть. Зилотов мне сообщал, что Ольга Семеновна девственница, — однако теперешний век, буржуазность... — Сергей Сергеевич развел в рассужденьях руками.

Пианино застонало.

— Ви каварите — монастырский церков?

— Да, знаете ли, из вашей квартиры есть проход.

— Ольга Земеновна хосит?

— Ольга Семеновна? Ольга Семеновна барышня молодая! — Сергей Сергеевич рассудительно развел руками. — Провинция, знаете ли, обывательщина.

— Извините, доварищ. Я на минуту. Брощайте, доварищ! — Товарищ Лайтис поспешно пожал руку Сергея Сергеевича, — Сергей Сергеевич не успел даже шаркнуть, — товарищ Лайтис поспешно пошел к выходу.

Пианино у экрана оборвалось на полноте, вспыхнули фонарики, грянул духовой оркестр. Толпа полилась по дорожкам, отдыхая от экранной страсти. Оркестр буйствовал «Варшавянкой».

Затем снова потухли лампочки, снова и снова необыкновенно любила и необыкновенно умирала Холодная... А над городом шла луна, а по городу ползли туманы, сплетая и путая пути и расстояния. Приходил час военного положения. И когда он пришел, — военного положения час — тогда «Венеция» уже опустела.

— ...И Китай, — Небесная империя, — не глядел ли из подворотен? — Будет в повести этой, ниже, глава о большевиках, поэма о них.

Дон, дон, дон! — в заводь болотную упали курантов три четверти. По городу ползли туманы, над городом ползла луна, полная, круглая, влажная, как страсть, — позеленели туманы, сквозь туманы в вышине едва приметны были звезды старого серебра, испепеленные зноем.

Куранты отбили три четверти, и товарищ Лайтис вышел из монастырских ворот. Товарищ Лайтис пошел по обрыву. Под обрывом горели костры, слышалась горькая песня, рядом внизу тосковали лягушки. Калитка в тени деревьев была полуоткрыта. Лайтис постоял у порога, — товарищ Лайтис пошел вглубь. Безмолвствовали деревья, безмолвно полз туман. Тропинка исчезла, под ногами посырело, товарищ Лайтис различил пруд, у берега сгнившую, залитую водою лодку. Никого не было. Товарищ Лайтис внимательно осмотрелся кругом — деревья, туман, тишина, наверху в тумане мутный диск. Куранты пробили двенадцать. Товарищ Лайтис поспешно пошел назад, к тропинке, к дому. Сад был чужд. Дом, развалившиеся домовые службы, бледнея в лунном свете, безмолвствовали. Запахло малиной. И вдалеке где-то, точно вспыхнуло, тихо крикнула Оленька Кунц:

— Товарищ Я-ан!..

Товарищ Лайтис застрял в малиннике, снова вышел к пруду, уже с другой стороны, — луна отразилась в воде призрачно и бледно. И опять — тишина, туман, деревья.

— Олька Земеновна!..

Тишина.

— Я-ан!..

Вишняк, яблони, липовая аллея. Тишина и туман. И где-то рядом:

— Я-ан!..

Товарищ Лайтис побежал, наткнулся с разбегу на заборчик, не заметил, как ушиб колено. За заборчиком, в беседке, богатырски кто-то храпел. Часы пробили две четверти. И опять вдалеке:

— Я-ан!..

— Олька Земеновна!..

И тишина, только хруст ветвей от бега товарища Лайтиса. И тишина. И туман. И деревья. И больше уже никто не звал товарища Яна. Луна побледнела, зацепилась за верхушки деревьев. Товарищ Лайтис долго курил папиросу за папиросой, и скулы его были плотно сжаты. — Оленька Кунц уже лежала в постели рядом с подружкой (каждую неделю у Оленьки была новая подружка для секретов

и тайн). Куранты отбивали четверти еще и еще. На востоке легла алая лента, туманы заползли вверх. В утреннике зашелестели листья, и четче донесся лягушечий крик.

У монастырских ворот стоял часовой, сырой и серый в тумане.

— Езди придет барышня, бровезди ко мне.

— Слушаю-с.

И в соборе:

— Дон, дон, дон!..

В монастыре, в келии матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис,— товарищ Лайтис разделся. Часы товарищ Лайтис положил в туфельку у изголовья, вышитую серебром,— туфельку эту, как и коврик у кровати, как и ночные туфли, как и чулки,— вязала мама товарища Лайтиса в его Лифляндской губернии. Товарищ Лайтис надел туфли, те, что плела его мама, взял скрипку и, став у окна, долго играл очень грустное. За окном, за переходами, за монастырской стеною, разгорался восток. Товарищ Лайтис брал ключи и зимним переходом ходил в зимнюю церковь. В церкви было безмолвно, едва приметно пахло ладаном и затхью, и в куполе появились уже золотые искры первых лучей.

День пришел тот, что похож на солдатку в сарафане, в тридцать лет.

М о н а с т ы р ь В в е д е н ь ё - н а - Г о р е

У монастырских ворот стоял часовой. На востоке легла алая лента восхода, туманы поползли к небу, ввысь, луна побледнела. Несколько минут мир и город Ордынин — церкви, дома, мостовые — были зелеными, как вода, как заводь (в эти минуты монастырь походил на декорации из театра). Затем мир и город Ордынин стали желтыми, как листопад. И золотой короной из ночи поднялось солнце. В этот час — в монастырских келиях, в душных комнатах со сводчатыми потолками, с пустыми киотами и бальзаминами в красных углах, на мягких монашьях пуховиках спали солдаты.

У монастырских ворот стоял часовой. Золотой короной поднялось солнце. Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспан-

ные, усталые женщины, ибо час военного положения отбыл.

Ах, Оленька Кунц! о чистоте ее и о девственности мечтали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, каждый до боли страстно и каждый по-своему. Разве,— почему не знали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, что все знали в городе, что не особенно скрывала и сама Оленька Кунц,— что был в городе Ордынине прапорщик Череп-Черепас. Череп-Черепас, уезжая на фронт, к Колчаку, куда-то к городу Казани, катал Оленьку Кунц на тройках, затем у себя в номере гостиницы поил Оленьку Кунц спотыкачем, и Оленька Кунц ему отдалась,— так же просто, как отдавались все ее подружки. И это повторялось не один раз и не только с Череп-Черепасом,— прапорщик Череп-Черепас был убит где-то у города Казани, в солдатском бунте.

И все же...

Оленька Кунц на службе сидела в маленькой келии, чистой и светлой, как и сама Оленька Кунц. В келии на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, и за окнами в саду чирикали воробьи. Оленька Кунц трещала на машинке. К Оленьке Кунц каждые четверть часа заходил товарищ Лайтис. Оленька Кунц смотрела победно.

Товарищ Лайтис сказал Оленьке Кунц:

— Ви вечером путете тома?

— Да, а что?

— Пожалуйста, придите ко мне в кости. Мне секодня роштение.

— А вы кого еще пригласит?— поздравляю!

— Я хотел вас...

— Тогда я позову подругу Катю Ордынину, княжну.

— Нно...

— А вы позовит товарища Каррика.

— Нно...

Оленька Кунц улыбнулась победно, как заговорищица.

— Не беспокойт-с! У них роман — не помешают! Только вы достаньте конфет и вина.

Товарищ Каррик в телефонную трубку ответил:

— Катька да Ольга?— приду!— притащу!..

Телефонная трубка пропела страстным звоном, и товарищ Лайтис каждые четверть часа заходил к Оленьке Кунц, чтобы напомнить еще и еще раз.

День испепелял зноем, знойные солнечные лучики плавил воздух, в монастырском саду кричали воробьи. В келии матери игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, — у товарища Лайтиса была корзиночка. В корзиночке лежало все дорогое, память о родине и маме. Из корзиночки товарищ Лайтис достал шелковую подушечку, расшитую мамиными руками в разные шерстяные цвета. Из корзиночки товарищ Лайтис достал атласное одеяло, стеганное мамиными руками. И подушечку и одеяло товарищ Лайтис отнес в зимнюю церковь.

И все...

Надо ли говорить?

Надо ли говорить о том, что было все так же просто, как стакан чая? — Товарищ Лайтис мечтал о скрипке, и никакой скрипки не было. Товарищ Каррик принес с собой спотыкача. Оленька Кунц и подружка ее Катя Ордынина пришли, держась под ручку и в косынках, спущенных на глаза. — Надо ли говорить? — древний монастырь безмолвствовал; в келии со сводчатыми потолками, где из окон видны были монастырские переходы, церкви и стены, — товарищ Каррик заботливо поил барышень спотыкачем, и очень скоро Катерина Ордынина пересела с кресла на колени к товарищу Каррику.

И в этот же час, в дальнем углу монастырском, другой Ордынин, — архиепископ Сильвестр, — писал главу о городе. В темной келии с каменными стенами, на тесном столе, горели лампы, хлеб лежал, и склонился к столу серенький попик, гробом склонивший череп, мохом поросший, как келия. В бальзаминах оконце было высоко, в келию шла только ночь, и не шел июль, и у двери, скрючившись, спал черный монашек-келейник. В тишине лохматый попик писал:

«...Лес, перелески, болота, поля, тихое небо, проселки. Иной раз проселки сходятся в шлях, по шляху пошел Бунт. Около шляха прошла чугунка. Чугунка пошла в города, и в городах жили те иные, кои стомились идти по проселкам, кои линейками ставили шляхи, забиваясь в гранит и железо. И в города народный проселочный Бунт принес — смерть. В городе, в тоске об ушедшем, в страхе от Бунта народного — все служили и писали бумаги. Все до одного в го-

роде служили, чтобы обслуживать самих себя, и все до одного в городе писали бумаги, чтобы запутаться в них — бумагах, в бумажках, карточках, картах, плакатах. В городе исчезнул хлеб, в городе потухнул свет, в городе иссякла вода, в городе не было тепла,— в городе пропали даже собаки, кошки (и народились мыши, чтобы есть припрятанное),— и даже крапива на городских окраинах исчезла, которую порвали ребятишки для щей. В харчевнях, где не было ложек, толпились старики в котелках и старухи в шляпах, костлявыми пальцами судорожно хватавшие с тарелок объедки. На перекрестках, у церквей, у святынь негодяи продавали за страшные деньги гнилой хлеб и гнилую картошку,— у церквей, куда сотнями стаскивали мертвецов, которых не успевали похоронить, закабалая похороны в бумагу. По городу шатались голод, сифилис и смерть. По проспектам обезумевшие метались автомобили, томясь в предсмертной муке. Люди дичали, мечтая о хлебе и картошке, люди голодали, сидели без света и мерзнули,— люди растаскивали заборы, деревянные стройки, чтобы согреть умирающий камень и писцовые конторы. Красная кровавая жизнь ушла из города, как и не была здесь, положим,— пришла белая бумажная жизнь — смерть. Город умирал, без рождения. И жутко было весной, когда на улицах, как ладан на похоронах, тлели дымные костры, сжигая падаль, кутая город смердным удушьем,— на улицах — разграбленных, растащенных, захарканных, с побитыми окнами, с заколоченными домами, с ободранными фронтонами. А люди, разъезжавшие ранее с кокотками по ресторанам, любившие жен без детей, имевшие руки без мозолей и к сорока годам табес, мечтавшие о Монако, с идеалами Поль-де-Кока, с выучкою немцев,— хотели еще и еще ободрать, ограбить город, мертвеца, чтобы увезти украденное в деревню, сменять на хлеб, добытый мозолями, не умереть сегодня, отодвинув смерть на месяц, чтобы снова писать свои бумаги, любить теперь уже по праву без детей и вожделенно ждать

прогнившее старое, не смея понять, что им осталось одно — смердить смертью, умереть — и что вождеденное старое и есть смерть, путь к смерти...

А за городом, на окраинах, разгоралось новое, холодное, багряное возрождение...»

Так записывал серый попик в кирпичной своей келии за монашком и бальзаминами, склонив гроб черепа к столу с краюхой хлеба и листами бумаги.

Товарищ Лайтис заиграл было на скрипке,— и его оборвал товарищ Каррик:— не стоит тянуть кота за хвост!

Оленька Кунц сказала:

— Пойдем, пройдемтсь.

А когда они столкнулись в дверях, когда в мозгах товарища Лайтиса все полетело к чертовой матери,— слов уже не было — —

У монастырских ворот стоял часовой.

Бледными полосами лежал лунный свет. Над миром, над монастырем шла круглая, полная луна, окутывая мир и монастырь бархатами и атласами. Прошелестели расцветные ветры, отквакали миру лягушки. Позеленело, и в золотой короне поднялось солнце.

Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные усталые женщины, ибо час военного положения отбыл. И мимо часового прошли Оленька Кунц и подружка ее княжна Катя Ордынина, под ручку, со спущенными на глаза косынками, дожевывая конфеты.

П о ж а р.— Л я т о р ы

И все те...

Кремль и соборная площадь из камня. В пустыне дня бьют колокола в монастыре стеклянным звоном, во снах в расплавленном зное.

— Дон! дон! дон!— бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Семена Матвеева Зилотова созревают помидоры.

На службе Сергея Сергеевича, в сберегательной кассе, помощник, карты сдавая (Сергей Сергеевич и его помощ-

ник в преферанс с болваном играли), — помощник, карты сдавая, сказал:

— А знаешь, Ольга твоя Семеновна, — того! Нынче ночью у коммунистов в монастыре ночевала, спасалась с Лайтисом. Ямские девки говорили — видели.

— И все, — и все же...

Дома, со службы вернувшись, Сергей Сергеевич спустился в подвал к Семену Матвееву Зилотову, — шел, оседая на каждую ногу, и, еще с верхней ступеньки ступая, захохотал Сергей Сергеевич богатырски:

— Хо-хо! Ольга Семеновна! Ночью в монастыре с Лайтисом спасалась! Хо-хо! Я подстроил!

Семен Матвеев лежал на печи. Семен Матвеев сполз с печи. В скошенном на сторону лице Семена Матвеева Зилотова появилось нечто растерянное и беспомощное, что его придавило. Семен Матвеев присел на корточки, поджав поджарые свои ноги, и прошептал:

— Клянись! Пентаграмма! Ей-черту?

— Клянусь! Пентаграмма! Ей-черту!

— Во алтаре?

— В алтаре.

— Ну, что же... Теперь ступай, Сергеич! Дай побыть... — появилось в лице Семена Матвеева жалкое и беспомощное, и, не поднимаясь с корточек, как прибитый кобель, Семен Матвеев пополз на печь. — Теперь ступай, Сергеич... Дай побыть одному. — Семен Матвеев сказал тихо и скорбно. — Дай побыть!..

И все вот, — и все же...

Возвращаясь со службы, с подружкой, Оленька Кунц, — от калитки до заднего хода — по доскам, среди дворовой муравы проложенным, — пробежала, шумя каблучками. И обе пели:

В том саду, где мы с вами встретились,
Хризантемы куст...

Вечером Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. Вечером над миром, городом Ордынином и над монастырем поднялась луна. Вечером Семен Матвеев был у архиепископа Сильвестра

и приносил ему помидор. Семен Матвеев по-разному складывал пятиугольник,— Берлин, Вена, Лондон, Париж, Рим склонялись к Москве, и получался красный помидор. Архиепископ Сильвестр, в черной рясе, стоял строго и смотрел хмуро и воскликнул в конце:

— Заблужденье! Заблужденье! Ересь! Песни народные вспомни, грудастые, крепкие, лешего, ведьму! Леший за дело взялся, крепкий, работающий. Иванушку-дурачка, юродство — побоку. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик! Без сна!— Ересь! А за помидорки — спасибо!

И когда Оленька Кунц возвращалась из кинематографа «Венеция», над монастырем вспыхнуло красное зарево пожара. Красными петухами взвились огненные языки, красные петухи охватили, окутали монастырские переходы и келии. После долгого молчания загудели набатом монастырские колокола,— как красные петухи пожара, заметался набат. Звеня колокольцами и треща по булыжникам мостовой, примчалась без воды пожарная команда, и застоявшиеся пожарные сорвали баграми своими красную вывеску с красной звездой,—

— «Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа» — ту, которая как раз против объявления:

«Здѣсь продаются пѣмадоры».

Метелицы искр уносились в небо. Из переходов, из окон выскакивали солдаты и женщины (был уже час военного положения). Рухнул один переход: тот, что вел из келии матери игуменьи в зимнюю церковь. Был уже час военного положения, но потому, что пожар всегда прекрасен, всегда необыкновенен, всегда зловещ,— никто не спрашивал пропусков, и вокруг монастырских стен толпился толпа.

Монастырь Введенъё-на-Горе на семьдесят верст виден был, сгорая. Метелицы искр уносились в черное небо, разливались в черной бездне. Рухнул один переход, и другой. Главный дом весь объяло пламя. Последнее. Монастырь погибал,— на семьдесят верст виден был, сгорая.

И вдруг заметили: на крыше в слуховом окне появился Семен Матвеев Зилотов. Иссушенной своей походкой, как старый кобель, Семен Матвеев Зилотов подошел ко краю, постоял перед полымем, крикнул что-то дикое и, прижав ладони к лицу, бросился — упал вниз, в дым, в метелицу искр, в полымя. И тогда же на каменной стене появились

два монашка,— молодой, черный, повисел на крае и прыгнул благополучно в толпу, а другой, серенький, высунув два раза голову из-за стены, снова исчезнул за ней.

Семен Матвеев Зилотов. От тихой младости наделил бог великого начетчика, Семена Матвеева Зилотова, страстной и нежной любовью к книгам. Дни его протекали в Ордынине. Но Ордынин последний раз жил семьдесят лет назад, и в Ордынине была единственная книжная торговля (покупка и продажа) — рундук Варыгина в рядах, где продавались и вновь покупались одни и те же книги, в кожаных переплетах и пахнущие клопами. Имена этих книг:

«Пентаграмма, или Масонский знак, переводъ съ французскаго». «Оптимизмъ, т. е. наилучшій свѣтъ, переводъ съ французскаго». «Бытіе разумное, или Нравственное воззрѣніе на достоинство жизни, переводъ съ французскаго, изданіе Логики и Метафисики Профессора Андрея Брянцева». «Черная магія Папюса». «Масонскія Ложи, или Великіе Каменщики, переводъ съ французскаго».

Мертвые дни мертвого города украсил Папюс. Младость Семена Матвеева Зилотова,— в доме Волковичей, в подвале,— украсила книжная мудрость переводов с французского, и зной знойных июлей иссушил страстный мозг Семена Матвеева Зилотова. О, книги!

Война вспыхнула знойным июлем, лесными пожарами, Семен Матвеев поехал на фронт рядовым. Война сгорела Революцией, и за великую свою ученость был избран от эсеров Семен Зилотов в Совет Солдатских Депутатов, в Культурно-Просветительный Отдел. Революция горела речами,— Семен Матвеев Зилотов разъезжал с лекторами на штабных мотоциклах, чтобы говорить солдатам — в каком-нибудь помещичьем фольварке — о праве, о братстве,— о государстве, о республике,— о французской Коммуне и о Гришке Распутине.

И солдаты после лекций подавали записки:

— «А что будет с Гришкой в царствии небесном?»—«Товарищ Лекцир! А што будит с маєю женою, если я на фронти буду голосить

за есер, а она за Пуришкевича?»—«Прошу тебе объяснить можно ли состоять в двух партиях сразу тов. есер и тов. большевиков?»—«Товарищ лекционер! Прошу тебе объяснить при програми большевиков будит штраховаца посев на полях или представляется экспроприация капитала?»—«Господин товарищ! будут ли освобождаться женщины от восьмичасового дня во время месячного очищения и просим вкратце объяснить биографий Виктора Гюга. Тов. Ерзов».

И Семену Матвееву Зилотову часто приходилось выручать лекторов,— где-нибудь в сарае фольварка,— влезая на стол и крича:

— Товарищи! Я, как ваш народный избранник, прошу дурацких глупостей не писать!

Это было в милом нашем Полесье, где озера, валуны, холмы, сосны да бледное небо. Лето отходило тихим августом с тихими его долгими вечерами. Днем солдаты писали *глупости*, а вечером, где-нибудь за бруствером или на оконном дворе фольварка, солдаты кипятили котелки и — рассказывали: о делах своих и сказки. Солдаты говорили простыми своими мужицкими словами про Иванушку-дурочка, где простота и правда кривду борет, о наших тихих полях, печали полей, о лесах, об избяной Руси,— слова их были ясны и чисты, как августовские эти вечера, образы ясны и светлы, как августовские эти звезды, и мечтанья прекрасны.

Две души, восток и запад, народная мудрость, истинное, наше, прекрасное, глупость и мудрость, сказочная правда, заплетенная горем и кривдой, века лежавшая под гремучим камнем и расплетенная — правдой же. Семен Матвеев Зилотов увидел это вплотную. Но,— о, книги!— Семен Матвеев Зилотов узрел тут — — Разъезжая с оратором по окопам, однажды утречком пил Семен Матвеев Зилотов чай за бруствером, по брустверу ударил немецкий снаряд, Семена Матвеева закопало вместе с блюдцем, другим же снарядом выкинуло наружу (блюдце осталось цело),— и Семен Матвеев очнулся, возвратился в мир реальностей только через месяц в родном своем Ордынине; телесный облик Семена Матвеева исказился: лицо его скосило на сторону, ус один стал казаться больше другого, правый глаз вытек, тело иссохло, и стал ходить Семен

Матвеев Зилотов, как ходят изъеденные старостью, исхудалые гончие кобели; иссушенный мозг Семена Матвеева Зилотова, изъеденный месяцем смерти, изъеденный книгами Варыгинского рундука (в кожаных переплетах и с клопным запахом), не приметив мудрости избяной Руси, узрел великую тайну:— две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма, пентаграмма из книги «Пентаграмма, или Масонский знакъ, переводъ съ французскаго!» (Варыгин в те дни сидел уже заложником в тюрьме.) На красноармейских фуражках в те дни появилась уже пятиугольная красная звезда. Россия. Революция. Книги говорили, как заказывали думать сто лет назад. И вот она, Россия, взбаламученная, мутная, ползущая, скачущая, нищая! Надо, надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен прийти человек — через двадцать лет! На красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма («переводъ съ французскаго»),— она принесет, донесет, спасет. Черная магия — черт! Черт,— а не бог! Бога попать! В церкви, во алтаре, Россия скрестится с Западом. Россия. Революция. Спасти Россию!— мечтанья юности и иссушенный мозг в мечтаньях!

Товарищ Лайтис подписал мандаты на арест Оленьки Кунц и Сергея Сергеевича.

Обыватель Сергей Сергеевич. Подлинно,— был ли Сергей Сергеевич только провокатором и мелким буржуа? Вечером перед арестом Сергей Сергеевич, разостлав салфетку, ел помидоры с зилотовского огорода, с уксусом и перцем. Затем Сергей Сергеевич разделся, лег спать и перед сном, один перед собой — думал. Сергей Сергеевич *страдал*, искренне и глубоко, и, как всякое страдание, и, как все искреннее,— боль его была *прекрасна*. Сергей Сергеевич *ненавидел*, как трус,— эти дни, товарища Лайтиса, всех, все,— и боялся, боялся до ужаса, до физической боли, до отупения...—

И внизу, по лестнице, забоцали солдатские сапоги. Когда солдаты вошли в комнату Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич сидел, забившись в угол кровати, глаза его были открыты болезненно широко, отвисла широко отекаящая челюсть, и он шептал:

— За что? за что?

— Так что подробности слышны, а детали неизвестны!— сказал солдат.— Одевайся. Там узнаешь!

Впрочем, компарт дал приказ арестовать Лайтиса. Общежитие же большевиков, выселив князей Ордыниных, поместилось в доме на Старом взвозе.

— Дон! дон! дон!— падают камни колоколов в заводь города.

Кому — татары, а кому — ляторы!

Г л а в а V

СМЕРТИ

(Триптих первый)

С м е р т ь к о м м у н ы

И в эти же дни погибла коммуна в Поречье: погибла сразу, в несколько дней, в августе. Шли дожди, ночи были тихи и глухи,— и ночью приехали в коммуны неизвестные вооруженные, в папахах и бурках, их привел неизвестный черномазый, товарищ Герри. За неделю до этого ушел из коммуны Шура Стеценко, он вернулся с Герри. В сумерки пришла гроза, шумел дождь, дул ветер. Андрей уезжал с утра в дальнее поле, в сумерки он застал в библиотеке Юзика, Семена Ивановича и Герри; они топили камин, жгли бумаги. Семен Иванович поспешно вышел. Юзик стоял, расставив тонкие свои ноги, положив руку на талию. Герри, в папаче, сидел на корточках против огня.

— Вы не знакомы?— товагищ Андгей,— товагищ Гэгги.

Герри молча подал огромную руку и сказал Юзику по-английски. Юзик презрительно пожал плечами и промолчал.

— Товагищ Андгей не понимает английски,— сказал Юзик.

— Ви минэ простытэ, товарищ Андрей, но я очень устал,— губы Герри, не приспособленные к улыбке, растянулись в усмешку, но смоляные его глаза по-прежнему остались тяжелы и холодны, очень сосредоточенные.

— Гэгги приехал с Укгаины, там скоро будет восстание. Мы с Гэгги долго вместе голодали в Канаде. Затем на Укгаине я спас ему жизнь. Когда гайдамаки бегали Екатинослав, Гэгги, не умея наводить, стгелял по году из пушки — не умея наводить! Гэгги, говорят, ты был пьян? Гэгги схватили и хотели гастгелять. Но вечером пришел я со своим отрядом и спас жизнь Гэгги. Я очень люблю жизнь, товагищ Гэгги,— как и ты. Я ничего не хочу от других, но я не позволю гонуть меня.

— Товарищ Юзэф, когда придет старость, мы будем вспоминать. Ты очень фразичен!

— Я очень люблю жизнь, Гэгги, ибо у меня свободная воля!

— Ты очень фразичен, товарищ Юзэф!

— Пусть так!— Юзик пожал презрительно плечом.

Герри встал, разминая мышцы. Огонь в камине потухал. Юзик стоял неподвижно, с руками на тонкой своей высокой талии, смотрел в огонь. В кабинет вошли Оскерко, Николай, Кирилл, Наталья, Анна, Павленко. Стасик в гостиной заиграл на рояли гопака, сейчас же оборвал. Наталья подошла сзади к Юзику, положила руки ему на плечи, прислонила голову и сказала:

— Милый товарищ Юзик! Не надо грустить. Какой дождь! Мы собрались, чтобы быть вместе этот вечер.

Вошел Стасик в халате с кистями, рявкнул:

— Юзка, не журься! Хиба ж ты дурак?!

Юзик повернулся и громко сказал, покойно и презрительно:

— Товагищи! Шуга Стеценко — не товагищ и не геволюционер. Он просто бандит. Гэгги гость. Давайте веселиться!

В коммуне, в старом княжеском доме, веселились бесшабашно, задорно и молодо. За окнами стал черный мрак, хлестал дождь, шумел ветер. В гостиной зажгли кенкеты, последний раз зажигающиеся, верно, при князьях, танцевали, пели, играли в наборы, метелили метелицу. Павленко и Наталья таинственно принесли окорок, бутылки с коньяком и водками и корзину яблок. Герри и с ним приехавших не было, и оттого, что за стенами были чужие, оттого, что над землей шли осенние, уже холодные облака,— было в зале особенно уютно и весело. Варили жженку, обносили всех чарочкой, разбредались по разным углам и собирались вновь, шутили, спорили, говорили. Разошлись за полночь,— Андрей выходил на террасу, слушал ветер, следил

за мраком, думал о том, что земля идет к осени. К серой нашей тоскливой осени, застрявшей в туманных полях, желтых суходолах. В гостиной все уже разошлись. Юзик говорил Оскерке:

— Надо везде поставить стгажу. В доме пгикгоются — ты, Павленко, Свирид и Николай. С винтовками и бомбами.— Юзик повернулся к Андрею, улыбнулся.— Товагищ Андрей! Мы с вами будем ночевать здесь в угловой, в ванной. Я вас пговожу.

В угловой, у зеркала мутно горела свеча. С двух сторон в большие окна, закругленные вверху, дул ветер; верно, рамы были плохо прикрыты,— ветер ходил по комнате, свистел уныло. Юзик долго умывался и чистился, затем обратился к Андрею:

— Будьте добгы, товагищ Андрей, пгимите покой. Я буду занят еще полчаса...— Взял свечку и ушел, свечку оставил в соседней комнате, в кабинете, шаги стихли вдалеке. Свечной тусклый свет падал из-за портьеры.

Долго было тихо. Андрей лег на диван. И вдруг в кабинете заговорили,— обратных шагов Андрей не слышал.

— Юзик, ты должен сказать все,— сказал Кирилл.

— Тише,— голоса второго Андрей не узнал.

— Хорошо, я скажу.— Юзик говорил шепотом, долго, покойно, отрывки Андрей слышал.

— Гэгги и Стеценко подошли ко мне, и Гэгги сказал: — «ты агестован». Но я положил гуку в кагман и ответил: «товагищ Гэгги, я так же люблю жизнь, как и ты, и каждый, кто поднимет гуку, умгет пгежде меня». Я сказал и пошел, а они остались стоять, потому что они бандиты и тгусы...

— ...Гэгги тгебует те миллионы, что мы взяли в экспгопгяции Екатегинославского банка... Гэгги забыл Канаду...

— ...Я ему ничего не дам. Меня погодила геволуция и смегть, кговь.

Шепот был долог и томителен, затем Юзик громко сказал, так, как всегда:

— Павленко, пгишли ко мне Гэгги. Скажи Кигиллу и Свириду, чтобы они скгылись в этой комнате, с огужием.

Шаги Павленко стихли, стала тишина, пришли двое, бряцающая винтовками, Свирид стал за портьеру около Андрея. Затем издали загремели тяжелые шаги Герри.

— Товарищ Юзэф, ти минэ звал?

— Да. Я хотел тебе сказать, что ты ничего от меня не получишь. И я пошу тебя сейчас же покинуть коммуны.— Юзик повернулся и четким шагом пошел в угловую.

— Товарищ Юзэф!

Юзик не откликнулся, на минуту был слышен сиротливый ветер,— заботились обратно кованые сапоги Герри. Андрей сделал вид, что спит. Юзик бесшумно разделся и лег, сейчас же захрапел.

На рассвете Андрея разбудили выстрелы.— Бах-бах!— грянуло в соседней комнате, издали ответили залпом, донеслись выстрелы со двора, на крыльце затрещал пулемет и сейчас же стих. Андрей вскочил — его остановил Юзик. Юзик лежал в постели со свешенной рукой, и в руке был зажат браунинг.

— Товарищ Андгей, не волнуйтесь. Это недогазумение.

Утром в коммуне никого уже не было. Дом, двор, парк были пусты. Анна сказала Андрею, что в сторожке у ворот со львами лежат убитые — Павленко, Свирид, Герри, Стеценко и Наталья.

Днем пришел в коммуны наряд солдат от Совета.

Последнюю ночь Андрей провел у Николы, что на Белых-Колодезях. Егорка ходил вечером осматривать жерлицы, принес щуку. Сидели с лучиной, ночь пришла черная, глухая, дождливая. Андрей ходил на ключ за водой, у Николы на колокольне гудели уныло, от ветра, колокола, церковь во мраке казалась еще более вросшей в землю, еще более дряхлой. Шумели сосны. И от сосен из мрака подъехал всадник, в папахе, бурке и с винтовкой.

— Кто едет?

— Гайда!

— Товарищ Юзик?

— Это вы, товарищ Андгей?— Юзик остановил лошадь.— Я к вам.— Помолчал.— Вам надо уйти отсюда. Утром вас схватят и, должно быть, гасстгеляют. Завтра мы уходим отсюда — на Укгаину. Идите с нами.

Андрей отказался идти. Простились.

— Ского уже осень. Нет звезд. Миговая тюгьма — помните? Дай бог вам всякого счастья! Жить!

Юзик помолчал, потом круто повернул лошадь и поехал рысью.

На рассвете Андрей был уже на станции, на «Разъезде Мар», протискивался к мешочникам в теплушку. В рас-

светной серой мути сиротливо плакал ребенок, и томительно, однообразно кричал переутомленно веселый голос:

— Гаврила, крути-и! Крути-и, Гаврю-юшка-а!..

Поезд стоял очень долго, затем медленно тронулся, томительный и грязный, как свинья.

Так погибла коммуна анархистов в Поречье.—

— И вот рассказ о том, как погибнуло помещичье Поречье: это было в первые дни революции, в первых кострах революции, с тех пор много уже сгорело костров, и много песен метельных отпели дни, унося людей. Вот рассказ —

Первое умирание —

— Впрочем, разве в революцию умерло мертвое?! Это было в первые дни революции. Вот рассказ.

Отрывок первый. Это родовое,— Ордыниных, без Попковых.

В окна гостиной долго, сквозь пустой осенний парк, глядело солнце. В пустой осенней тишине над полями кричали вороньи свадьбы. В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие.

Утром встал с синим рассветом, день пришел золотой, ясный, с бездонной, синей небесной твердью,— раньше отцы в такие дни травили борзыми. В полях теперь голо, торчат мертвые ржаные стрелы, должно быть, скулят уже волки. Вчера вечером приколачивали у парадного красную вывеску:—

« — Чернореченский Комитет Бедноты — »

— и шумели всю ночь в зале, что-то устанавливая. Гостиная стоит еще по-прежнему, в читальной за стеклами блестят еще золоченые корешки книг,— о, книги! ужели избудет яд ваш и сладости ваши?

Утром встал с синим рассветом — князь Андрей Ордынин, младший брат старика, — и ушел в поле, бродил весь день, пил последнее осеннее вино, слушал вороны свадьбы: в детстве, когда видел этот осенний птичий карнавал, хлопал в ладошки и кричал неистово: — «Чур, на мою свадьбу! Чур, на мою свадьбу!» — Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил для любви, было много любовей, была боль, и есть боль — и пустота, опустошение. Была отравка московской Поварской, книга и женщины, — была грусть осеннего Поречья, всегда жил здесь осенью. Это его мысли. Шел пустыми полями без дорог, в лощинах багряно сгорали осины, сзади под Увеком стоял белый дом, в лиловых купах редееющего парка. Безмерно далеки были дали, синие, хрустальные. Виски поредели и сереют — не остановишь, не вернешь.

В поле повстречался мужик, исконный, всегдашний, с возом мешков, в овчине, — стена молчащая, — снял шапку, остановил клячу, пока проходил — барин.

— Здравствуй, ваше сиятельство! — чмокнул, дернул вожжами, поехал, потом снова остановился, крикнул: — Барин! слышь-суды, сказать хочу!

Вернулся. Лицо мужика все заросло волосами, в морщинах, — старик.

— Что же теперь делать будешь, барин?

— Трудно сказать!

— Уйдешь когда? Хлеб отбирают — бедные комитеты. Ни спичек, ни манухфактуры, — лучину жгу!.. Хлеб не велют продавать, — слышь-суды, — тайком на станцию везу! Из Москвы наехало — ии!.. Тридцать пять — тридцать пять!.. Да што на их укупишь? Одначе весело, все-таки, очень весело!.. Закури, барин.

Никогда не курил махорки, — свернул сигарку. Кругом степь, никто не увидит, кажется, что мужик жалеет, и хочется жалости. Попрошался за руку, повернулся круто, пошел домой. В парке в пруду вода была зеркальная, синяя, — вода в пруду всегда была холодной, прозрачной, как стекло: еще не время замерзнуть окончательно. Солнце уже переместилось к западу.

Прошел в кабинет, сел к столу, открыл ящики с письмами — вся жизнь, не увезешь с собою. Вытряхнул ящики на стол, пошел в гостиную к камину. На столе для альбомов стояла кринка молока, хлеб. Зажег камин, жег бумаги, стоял около и пил молоко, ел хлеб — проголодался за день. Уже входили в комнату синие вечерние тени, за

окнами стал лиловый туман. Камин горел палево, молоко было несвежим, хлеб зачерствел.

В тишине коридора заботали сапоги. Вошел Иван Колотуров, председатель, в шинели, с револьвером у пояса,— Иван Колотуров-Кононов:— вместе играли мальчишками, потом был рассудительным мужиком, хозяйственным, работным. Молча передал бумагу, стал среди комнаты.

В бумаге было наремингтонено:

«Помещику Ордынину. Чернорецкий Комитет Бедноты немедленно предписывает покинуть присутствием советское имение Поречье и пределы уезда. Председатель Ив. Колотуров».

— Что же, сегодня вечером уеду.

— Лошади вам не будет.

— Пойду пешком.

— Как знаете! Вещей никаких не брать!— повернулся, постоял спиною в раздумье минуту и ушел.

Как раз в это время пробили часы три четверти,— часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, они были в кремлевском дворце в Москве, потом путешествовали с князьями Вадковскими по Кавказу,— сколько раз они сделали свое «тик-так», чтобы унести два столетия?— Сел у окна, глядел в поредевший парк, сидел неподвижно с час, опираясь локтями о мраморный подоконник, думал, вспоминал. Раздумье прервал Колотуров,— вошел молча с двумя парнями, прошли в кабинет, молча силились поднять письменный стол, треснуло что-то.

Встал, заспешил. Надел широкое свое английское пальто, фетровую шляпу, вышел через террасу, прошел по шуршащим листьям экономией, мимо конного двора, винокуренного завода, спустился в балку, поднялся на другой ее край, к Николе, устал и решил, что надо идти не спеша — идти тридцать верст, первый раз идти здесь пешком. Как, в сущности, просто все,— так думал,— и — и страшно лишь простотою своею!

Солнце уже ушло за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро, ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко на сектантских хуторах лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце.

Двенадцать верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту — перевязать шнурок у ботинок — и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги — за день избродил уже верст сорок. Впереди лежало село Махмытка, — в юности, студентом, ездил сюда, к солдатке, тайком, — теперь не пойдет к ней — никогда, ни за что, раба! Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнувшая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки, темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая.

Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу, за окном горела-тлела лучина. Отозвались не скоро:

— Кто тама?

— Пустите, люди добрые, ночевать.

— А хто такой?

— Прохожий.

— Ну, сичас.

Вышел мужик, в розовых портах, босиком, с лучиною, осветил, осмотрел.

— Хнязь? Ваше сиятельство! Домудровалси?.. Иди, што ли!

На полу настлали соломы, огромную вязанку, трещал сверчок, пахло копотью и навозом.

— Ложись, хнязь. Спи с богом!

Мужик влез на печку, вздохнул, что-то зашептала баба, буркнул мужик, потом сказал громко:

— Хнязы! Ты спи, а утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутная, а ты — барин. Барин-нов кончать надо!

Трещал сверчок. В углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову, сейчас же поймал на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная, в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи, — лежал на соломе князь Ордынин (теперь уже мертвец!), ворочался от блох и думал о том, что сейчас в смрадном тепле, изнеможенный — он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда, — бесконечен мир! Пели на деревне песни.

Как заснул, — не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный, на траву сел

сизый заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью, с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим, на станции «Разъезд Мар» вместе с мешочниками и мешками с мукою князь втиснулся в теплушку и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой,— поехал...

Отрывок второй.

Иван Колотуров, председатель, двадцать лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал — копал, бороновал, молотил, стругал, чинил,— делал своими руками, огромными, негнушимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землею, скотом. Был он работающ, честен, рассудителен. Еще в пятом году (ехал со станции, посадил человека в мастерской куртке) рассказали ему, что перед богом все равны, что земля — ихняя, мужицкая, что помещики землю украли, что придет время, когда надо будет взяться за дело. Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи,— он первый поднялся, чтобы — делать. И почуял тоску. Он хотел делать все честно, он умел делать только руками — копать, пахать, чинить. Его избрали в волостной комитет,— он привык вставать до зари и сейчас же приступать к работе,— теперь до десяти он должен был ничего не делать, в десять он шел в комитет, где с величайшим трудом подписывал бумаги,— но это не было делом: бумаги присылались и отсылались без его воли, он их не понимал, он только подписывал. Он хотел делать. Весной он ушел домой пахать. Осенью его выбрали председателем бедного комитета, он поселился в княжеской экономии, надел братнину солдатскую шинель, подпоясался револьвером.

Вечером он заходил домой, баба встретила сумрачно, махала локтями, делала мурцовку. На печи сидели ребята, лучина чадила.

— Поди, уж и жрать с нами не будешь после барских харчей! Барин исделался!

Промолчал. Сидел на коннике, под образами, как гость.

— Посмотри, с кем путаешься? Одни враги собрались. Одни разъединные вражники.

— Молчи, дура. Не понимаешь, и молчи!

— От меня стыдиssi, хорониши!

— Идем вместе жить!

— Не пойду!

— Дура!

— Лаиться уж научилси!.. Жри мурцовку-то! Али уж отучился на барской свинине-те?

Правда, уже наелся, и угадала — свинины. Засопел.

— Дура и есть!

Приходил, чтобы поговорить о хозяйстве, потолковать. Ушел ни с чем. Баба уколола в больное место — все почетные мужики стали сторониться, собрались в комитете одни, которым терять нечего. Прошел селом, парком, на конном дворе был свет, зашел поглядеть — собрались парни и играли в три листика, курили, — постоял, — сказал хмуро:

— Не дело, ребята, затеяли. Подпалите!

— Ну-к что ж! Какой ты до чужого добра защитник!

— Не чужое, а наше!

Повернулся, пошел. В спину крикнули:

— Дядя Иван! Ключ от винокурного погреба у тебя?!

Там, гли, спирт есть! Не дашь — ломаем!

В доме было темно, безмолвно, в гостиной жил еще князь. Большие комнаты были непривычны, страшны. Зашел в канцелярию (бывшую столовую), зажег лампу. Заботился все время о чистоте, — на полу лежали ошметки грязи от сапог: никак не мог постичь, — почему господские сапоги не оставляют за собой следов? — Стал на колени и собирал с пола грязь, выкинул за окно, принес щетку, подмел. Делать было нечего. Пошел в кухню, лег, не раздеваясь, на лавку, долго не мог уснуть.

Утром проснулся, когда все еще спали, ходил по усадьбе. На конном дворе парни еще играли в три листика: — «иду под тебя и крою!»

— Что не спишь?

— Уж проспалси!

Разбудил скотниц. Скотник Семен вышел наружу, стоял, почесывался, крепко выругался, недовольный, что разбудили, сказал:

— Не в свое дело не суйси! Сам знаю, когда будить!

Рассвет был синий, ясный, морозный. В гостиной появился свет; видел, как князь вышел через террасу, ушел в степь.

В десять сел в канцелярии, занимался мучительнейшим делом — и бесполезнейшим по его мнению, — составлял опись всей имеющейся у каждого мужика пшеницы

и ржи,— бессмысленной потому, что знал наизусть, сколько чего у каждого мужика, как и все знали на селе, мучительной потому, что надо было очень много писать. Позвонили по телефону из города, приказали выселить князя. Целый час писал на машинке приказание князю.

Вечером князь ушел. Стали перетаскивать, переставлять вещи, оторвали фанеру у письменного стола. Хотели переставить часы в канцелярию, но кто-то заметил, что у них только одна стрелка,— никто не знал, что у старинных кувалдинских часов и должна быть только одна стрелка, показывающая каждые пять минут, верно, потому, что в старину не жалели минут,— кто-то заметил, что часы вынимаются из футляра, и Иван Колотуров распорядился:

— Вынай часы из ящика! Скажи столяру, чтобы полки приделал. Будет шкаф для канцелярии... Да ногами-то, ногами-то не боцайте!

Вечером приезжала баба. На селе было событие: прошлую ночь изнасиловали девку,— неизвестно кто — то ли свои, то ли московские, приехавшие за мукой. Баба свалила на комитетских. Баба стояла под окнами и срамила во всю глотку,— Иван Колотуров ее прогнал, дал по уху. Баба ушла с воем.

Было уже совсем темно, в доме застыла тишина, на дворе скотницы орали песни. Прошел в кабинет, посидел на диване, попробовал его доброту и мягкость, наткнулся на забытый электрический фонарик, поиграл им, осветил стены и увидел в гостиной на полу часы, поразмышлял — куда бы их деть?— отнес и бросил в нужник. В другом конце дома, ватагой, ввалились парни, кто-то задубасил поряли, Ивану Колотурову хотелось их прогнать, чтобы не чинили беспорядка,— не посмел. Вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой, на печку.

Ударили в колокол к ужину. Тайком пробрался в спиртовой погреб, налил кружку, выпил, успел запереть погреб, но до дома не дошел, свалился в парке, долго лежал, пытаясь подняться, о чем-то все хотел рассказать и объяснить, но заснул. Ночь шла черная, черствая, осенняя,— шла над пустыми полями, холодными и мертвыми.

И помещицы Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова — погибли потому, что Поречье было мертво. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего (разве не было у Ивана Колотурова всяческих

прав?!— были, конечно, ибо все это — его) — и у первых, и у вторых, и у третьего — не было самого первого: воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает.

И —

— Часть третья триптиха, самая темная

Холодные сумерки настилают землю,— те осенние сумерки, когда небо снежно и зимне и облака к рассвету должны рассыпаться снегом. Земля безмолвна и черна. Степь. Чернозем. Чем дальше в степь, тем выше скирды, тем ниже избы, тем реже поселки. Из степи — по ограбленной пустыне — из черной щели между небом и степью — дует зимний ветер. Шелестит в степи чуть слышно былье после скошенных трав, ржей и пшениц. Вскоре поднимается стеклянная луна. Если поволокуются тучи, будет снег, а не изморозь.— Хлеб.

У переезда долго стоят волы. Шеи волов опущены, волы стоят покорно, покорно глядят в степь, степные жители. Поезд ползет мимо, дальше. В поселке нет церкви, высится убогая мечеть. Степь. Поезд ползет медленно — бурые теплушки, обсыпанные людьми, как эти люди — вшами. Поезд безмолвен: люди, повисшие на крышах, на подножках, на буферах.— А у маленькой станции «Разъезд Мар», где никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, поезд гудит — человеческим гудом: от крыши к крыше к паровозу вопят люди что-то страшноватое, о чем-то, в этих холодных сумерках. И «гаврила» останавливает поезд. Молодой дежурный в фуражке с красным околышем — от тоски — встречает поезд на платформе. Люди с поезда стремятся к лужам за водой. Поезд гудит, как улей, гудит, дергается, скрипя, как рыдван, и на шпалах остается баба с глазами, иступленными в боли. Баба бежит за поездом и иступленно кричит:

— Митя, каса-атик! Накорми моих детей!

Затем, помахивая своим узелочком, баба бежит куда-то за шпалы, воя и взвизгивая по-собачьи. Впереди пустая степная даль,— баба поворачивает и бежит к станции, к дежурному, что все еще стоит на платформе от тоски и в тоске. Баба смотрит на дежурного затравленно, губы ее дергаются, и глаза наполнены болью.

— Что тебе?— говорит дежурный.

Баба молчит, вскрикивает в схватке и, воя, снова бежит куда-то в сторону, помахивая своим узелочком. Сторож, старик-татарин, говорит хмуро:

— Бабу родить пришло. Баба родит деча.— Эй, баба!— иди суды!.. Русский баба — как кошка.— И старик ведет бабу в станционную избу, в свою каморку, где на нарах валяются прогнивший сенник и тулуп. Баба, воистину как кошка, бросается на нары и шепчет злобно:

— Уйди, ахальник,— уйди! Женщину позови...

Но женщины на станции нет.

Дежурный идет по платформе из конца в конец, смотрит в темную степь и думает злобно:— Азия!

Степь пуста и безмолвна. В небе идет стеклянная маленькая луна. Ветер шелестит черство и холодно. Дежурный долго бродит по платформе, затем идет в контору. За стеной воеет баба. Дежурный звонит на соседнюю станцию и говорит, как говорят все российские дежурные:

— Ахмытовааа! Прими пятьдесятя восьмооой. Какой-нибудь идеоот?

Но не шло никакого. Дежурный сидит на жестком казенном диване, листает «Пробуждение», перелистанное тысячу раз, и ложится, чтобы не сидеть.— Старик вносит лампу.— Дежурный сладко спит.

После дежурства дежурный идет домой на село. «Разъезд Мар», на котором никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, сразу исчезает во мраке. Кругом пустота и степь. Дежурный идет мимо мара: степной курган высится мертво и безмолвно,— кто, когда, какие кочевники насыпали его здесь и что он хранит?— жухлый ковыль шелестит у кургана. Чернозем на проселках утрамбовался, как асфальт, и гудит под ногами.

Село безмолвно, лишь лают собаки. Дежурный проходит татарской слободой, спускается в овраг, где поселилась мордва, поднимается на косогор. В избе солдатка ставит на стол кашу, свиное сало, молоко. Дежурный наскоро ест, переодевается понаряднее и идет к учительнице в гости.

У учительницы дежурный вставляет в светец за лучиной лучину и говорит тоскливо:

— Азия. Не страна, а Азия. Татары, мордва. Нищета. Не страна, а Азия.

И дежурный думает о своей нищете.

Учительница стоит у печки, кутаясь в пуховой платок, уже стареющая. Потом учительница греет самовар и готовит ржаной кофе...

Поздно ночью дежурный ложится спать у себя в избе, у солдатки. Скрипит постель, дренькает гитара. Трещит сверчок, в углу за печкой хрюкает поросенок. Солдатка убирает со стола, выходит наружу. За тонкой глиняной стеной слышно, как она испражняется и отгоняет собаку, спешащую съесть ее помет. Дежурный слушает и думает о необыкновенных вещах: о богатстве, о красивых, нарядных женщинах, о модном платье, о винах, веселье, роскоши, которые придут к нему... Солдатка долго молится, шепчет молитвы. Тухнет свет, и солдатка босыми ногами по земляному полу, почесываясь, идет в постель дежурного.

По степи идет ночь. Черство шелестит былье скошенных трав. У мара звенит ковыль. Микроскопической станции «Разъезд Мар» не видно в степи.

А поезд № пятьдесят седьмой-смешанный ползет по черной степи.

Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз, — люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки. Люди, собравшиеся здесь и отстоявшие право ехать с величайшими кулачными усилиями, ибо там, в голодных губерниях, на каждой станции к теплушкам бросались десятки голодных людей и через головы, шеи, спины, ноги, по людям лезли вовнутрь, — их били, они били, срывая, сбрасывая уже едущих, и побоище продолжалось до тех пор, пока не трогался поезд, увозя тех, кто застрял, а эти, вновь влезшие, готовились к новой драке на новой станции. Люди едут неделями. Все эти люди давно уже потеряли различие между ночью и днем, между грязью и чистотой и научились спать сидя, стоя, вися. В теплушке вдоль и поперек в несколько ярусов настланы нары, и на нарах, под нарами, на полу, на полках, во всех щелях, сидя, стоя, лежа, притихли люди, — чтобы шуметь на станции. Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Ночью в теплушке темно, двери и люки закрыты. В теплушке холодно, в щели дует ветер. Кто-то хрипит, кто-то чешется, теплушка скрипит, как старый рыдван. Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул над ними, и его ноги стали у шеи первого. И все же — двигаются... Человек, у которого, должно быть, изъедены легкие, инстинктивно жметя к двери, и около него, отодвинув дверь,

люди, мужчины и женщины, отправляют свои естественные потребности, свисая над ползущими шпалами или приседая,— человек изучил во всех подробностях, как это делают,— все по-разному.

У человека, сгорающего последним румянцем чахотки, странны и спутанны ощущения. Мысли о стоицизме и честности, маленькая его комнатка, его брошюры и книги, голод — все отлетело куда-то к черту. После многих бессонных ночей мысли, точно у лихорадочного, дифференцировались, и человек чувствовал, как его «я» двоится, троится, как правая рука живет и думает по-своему, самостоятельно, и спорит о чем-то с раздвоенным «я». Дни, ночи, теплушки, станционные поселки, третьи классы, подножки, крыши — все смешалось, спуталось, и человеку хочется упасть и спать безмерно сладко — пусть по нему ходят, пусть на него плюнули, пусть сыплются на него вши. Стоицизм, брошюры о социализме и чахотке и книги о боге,— человек думает о новом, необыкновенном братстве — упасть, подкошенному сном, прижаться к человеку — кто он? почему он? сифилитик? сыпнотифозный? — греть его и греться человеческим его телесным теплом... Гудки, свистки, звонки... Мозг кажется вываленным в пуху, и, потому что пух всегда жарок и зноен, мысли знойны, необыкновенны, неотступны и страстны, на границе лихорадочного небытия... Качается, качается в мозгу перекладина у дверей, скрипят двери, и женщины, женщины свешиваются, приседают над ползущими шпалами. Пол!..

Вчера на маленькой станции к вагону подошла баба. У дверей стоял солдат.

— Касатик, пусти Христа ради! Никак не сядем, вишь, касатик,— сказала баба.

— Некуда, тетка! И не моги. Никаких местов! — ответил солдат.

— Христом-богом...

— А чем уплотишь?

— Уж как-нибудь...

— А в люботу играешь?

— Да уж как-нибудь... столкуимси...

— Ага! Ну, полезай под нары. Там наша шинеля лежит. Эй, Семен, прими бабу!

Солдат уполз под нары, люди столпились кругом, и сердце человека сщемило безмерною сладкою болью, звериным,— хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким и здесь,

при людях, насиловать, насиловать, насиловать! Мысль, благородство, стыд, стоицизм — к черту! Зверь!

Качается, качается в мозгу перекаладина... Женщины, женщины, женщины... До боли четко двойится «я», и сердце нудно спорит о чем-то с грудью... Скрипит, покачивается, ползет теплушка.

Человек засыпает стоя и падает, подкошенный сном, кому-то под ноги. Кто-то валится на него. Человек спит сладко, глухо, как камень. Теплушка глухо спит... Станция, свистки, толчки... Человек на минуту просыпается. Голова человека — «я» человеческое удвоено, утроено, удесятерено, — его голова лежит на женском голом животе, едко пахнет триметиламином, мысли толпятся, как пестрые бабы на базаре, — мысли летят к черту! — зверь! инстинкт! — и человек целует, целует, целует голый женский живот страстно, больно, — кто она? откуда она? — Баба медленно просыпается, чешется, говорит сонно:

— Кончь, ахальник... Ишь приловчился!.. — И — и начинает неровно дышать...

Степь. Пустота. Бескрайность. Мрак. Холод.

На станции, где поезд повстречался с рассветом, люди бегут за водой к пустым колодцам и к лужам, жгут костры, чтобы согреться и варить картошку, — и в опустевшей теплушке заметили мертвеца: вчера старик мучился в сыпном тифе, теперь старик мертв. Серая рассветная муть. Из черных щелей степных горизонтов идет ветер, холодный и злой. Облака низки, — пойдет снег. Шпалы, теплушки, люди. Горят костры красными огнями, пахнет дымом. У костров, где варится картошка — пока варится картошка, — люди снимают с себя рубашки, кофты, штаны, юбки, стряхивают в огонь вшей и дают гнид. Люди едут неделями — в степь! за хлебом — нету хлеба, нету соли. Люди жадно едят картошку. Поезд остановился и будет стоять сутки, двое суток... На рассвете сотнями люди разбредаются по окрестным деревням, и в деревнях (чем дальше в степь, тем ниже избы, тем выше скирды), разбившись малыми кучками, люди молят Христа ради. Бабы стоят под окнами, кланяются и поют:

— Подайте мииниилостыньку Христааа рааади!

Поезд будет стоять сутки, двое суток. Теплушечные старосты идут к дежурному, от дежурного в чрезвычайку. Здесь были белые, — станция: теплушка, снятая с колес, теплушки, поставленные в ряд, с проломанными щелями

вместо дверей. В конторе — темной теплушке — дымит «лягушка», пахнет сургучом, жужжат провода и люди.

Человек шепчет дежурному.

— Н-не могу-с!— говорит дежурный довольным басом.— Полный состав. Сто пятьдесят осей, семьдесят пять вагонов. Н-не могу-с!..

Человек гладит своим обшлагом обшлаг дежурного и сует пачку.

— Ттоварищи!— н-не могу! Я беру только в тех случаях, когда могу помочь, но в данном случае — семьдесят пять вагонов, сто пятьдесят осей. Н-не могу-сс..

Гладить обшлаг обшлагом — стало быть, предложить «подмазать»...

Но оказывается — дежурный мог. К вечеру приходит новый поезд, новые сотни жгут костры и дают вшей,— и этот поезд ночью ушел первым. Люди бегут к дежурному, дежурного нет,— новый дежурный (это было,— сторожа успокаивали:— нету-ти его, слышь... Его, слышь, на той неделе семь разов били...) ...Люди бегут в чрезвычайку,— но к ночи пришел отряд продармейцев, и по вагонам идет обыск.

Продармеец влезает в притихшую теплушку.

— Ну, которые? Што?

Старик на нарах снимает фуражку и пускает ее по рукам.

— Складайся, братцы, по два с полтинником!..

Новым рассветом поезд уходит.

На платформе появляется дежурный, и поезд тысячей глоток прощается:

— Своооолааач! Взаяяаатоошнииик!..

Поезд идет так, что можно слезть и идти рядом. Степь. Пустота. Холод. Голод. Днем над степью поднимается сонное солнце. В осенней тишине летают над ограбленными полями вороньи стаи — тоскливые стаи. Курятся избы редких селений синим соломенным дымком,— тоскливые избы.

Ночью падает снег, земля встречает утро зимою, но вместе со снегом идет тепло, и опять осень. Идет дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми клочьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь.

В селе Старый Курдюм, разметавшемся по вертепежинам у степного ручья, точно мушиные пятна, никто не знает, что вон там, у горизонта, полегла — Азия.

В селе Старый Курдюм, на русской стороне, на татарской и мордовской — перед избами в амбарушках и за избами в скирдах, на гумнах — лежат пшеницы, ржи, проса, жито — хлеб. С хлебом убрались, теперь отдых, покой.

В этот день на рассвете в селе Старый Курдюм, на русской стороне топят бани. Бани — землянки — стоят по ручью. Босые девки таскают воду, в избе хозяин разводит золу, собирает тряпье, и все идут париться — старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, все вместе. В бане нет труб — в паре, в красных отсветах, в тесноте толкаются белые человеческие тела, моются все одним и тем же щелоком, спины трет всем хозяин, и окупываться бегают все на ручей, в серой рассветной изморози. По лощинам у ручья лежит снег.

А на татарской стороне, за ручьем, где мечеть, в этот час, после пятницы, татары, разостлав свои коврики, молятся на восток, невидимому солнцу, потом, вымыв руки и ноги, в чулках и тюбетейках идут в круглую избу, усталную коврами и подушками, садятся среди избы, на пол, и едят барана, чавкая, руками, по которым течет сало. Глаза у барана съедает старик. Женщины, которым, кажется, не полагается есть, стоят в стороне.

И в этот час в село Старый Курдюм приходит артель тех, что приехали за хлебом.

У околицы, у долгой верехи колодца, стоит тесной кучей мордва, бабы в рогах, с ногами, как бревна, и маленькие мужичонки, с мочальными бородками, в шляпах, как глиняный таз, и в рубашках ниже колен, подпоясанных на груди и с чесмышками у пояса:— дикий народец еще более безмолвен, чем древние сфинксы. Мужичонко, кривляясь, приседая, бежит к пришедшим, снимает шляпу, улыбается бледно, шурится, шепчет:

— Дзеребрены дзеньги давай!.. дзеньги... Роз дам, псинису дам!.. Дзеребрены дзеньги!— и бежит обратно к своим.

Его сменяет баба в рогах и с ногами, как бревна.

— Дзеребрены дзеньги давай! Роз дам, псинису дам!— говорит баба, улыбается и бежит обратно, шуря глаза, похожие на подсолнечные семечки и тусклые, как потерятая солдатская пуговица (Китай-Город?!).

В вертепезине из ближней бани выскакивает голая девка с разметавшимися волосами, бежит очумело к ручью, оттуда к избе и обратно в баню. С той стороны из-за ручья мчатся татары, верхом, болтая ногами, сопровождаемые татарчатами и собачьим лаем. Татары окружают пришедших, болтают ногами, сдерживая лошадей, протягивают руки для пожатья. Один кричит, плутовато ухмыляясь:

— Купи минэ! Я — совет, камитет, камисар! купи минэ! Сто рубля! Голодна, товар меням!— и хитро улыбается.— Иди минэ! Баран жарим! Я — совет! велю — продам, не велю — не продам!.. Не ходи в шабры!

Серыми клочьями лежит снег, серой фатой стала изморозь, и не видно бескрайных степных окраин. В селе Старый Курдюм никто не знает, что вон там, за небесным закроем — Азия. Баба, вон та, что приехала с голодающими, думает: «Рожь, ежели на мелестин, при случае по десять рублей обойдется, а на деньги — сто... Тик так же ситец, сарпинка — с чернотой, для старух... Бумазея»...

Двое со свертками под мышками идут по улице. У колодца стоит баба. Один из двоих таинственно подходит к бабе, таинственно говорит:

— Хозяюшка, муку на товар не меняешь?

— А какой — товар-от?

— Манухфактура все-таки. Мелестин, сарпинка... Разный товар.

— Ну, погодь... В какой дом поманю, зайдитя!

Манит. Идут. Стучаются лбами о притолку — входят в избу. В избе в пол-избы печь, на печи древняя старуха и полдюжины ржаных ребят, в углу свинья, в красном углу — хозяин, образа, генерал и царская фамилия.

Крестятся. Кланяются. Жмут по очереди хозяину и всем домочадцам руки. И просят есть, — и едят, молча, жадно, поспешно — свиное сало, свинину, баранину, кашу, похлебку, хлеб, опять свиное сало, опять баранину. Хозяин в красном углу сидит молча, молча наблюдает, — глаза хозяина уросли в бороду.

Хозяин говорит снохе:

— Дунья, изготовь баня!

Идут мыться, и, когда парятся, Дунья подтаскивает им воды.

Когда гости возвращаются, хозяин говорит Дунье:

— Дунья, становь чимодур!

И гостям:

— Ну, какой ваш товар-от? покажь!

Гости раскладывают свой товар. Хозяин поглядывает хозяйственным взглядом, молчит. Бабы, и свои, и набившиеся в избу, прилипли к товару, как к меду. Какую-то красную тряпку гость прикладывает к хозяйке, тыкает хозяйку в бок и говорит игриво:

— Хозяин, гляди! На двадцать годов помолодела,— моложе молодухи!— Хозяйка! лезь скорее на печь, прячься от хозяина!

— Отста-а-аны! озарь!— баба расплывается в блин. А гость, кривляясь, обкручивает какой-то брючный шевьёт вокруг ноги, сует всем свое колено и похваляется. Бабы отбирают нужное и ненужное. Другой гость говорит с хозяином — об урожае, о войне, о голоде, о том, как в Москве, у московских, у каждого — сколько хочешь мелестину, мадеполаму, машин и ситцу и как в Москве на улицах падают с голоду замертво.

Подают чай. Все пьют с пятерен, дуют, молчат. Не обманешь — не продашь. Когда выпито по полдюжине стаканов, хозяин, подбоченясь и хмуро, спрашивает:

— Ну, а кака цена-т-от?

Бабы отодвигаются к двери, с лицами наивно-безразличными и затаенно-испуганными, — в дело вошел в е л е ц.

— Ваш товар — наши деньги,— откликается поспешно гость.— Мы на муку.

— Известно, на муку! Мука-то у нас теперича шестьдесят два пуд ходит.

Лицо гостя искажается в боли и обиде, гость причитает по-бабы:

— А-а! Вы свой товар цените, а наш нет?.. А-а... А цену кто набил?..— все мы?.. Мы с голоду на улицах подышаем, а вы с нас последнюю шкуру содрать хотите!.. А-а!.. Кто цену набил?..— кто цену набил?!— все мы!..

— Хозяйка, налей ишшо цаю,— говорит сурово хозяин.

Снова пьют с пятерен, снова торгуются. Опять пьют чай и опять торгуются. Бабы стоят у дверей, покорно молчат. Старуха с печи десятый раз спрашивает:— Кто пришел?..— К девкам в сенцах уже прилипли парни, обегавшие все село. Хрюкает поросенок. Под печкой квекают молодые петухи.

Наконец хозяин и гости хлопают по рукам: весь товар — чохом — три аршина — пуд. Хозяин доволен, потому что надул гостей. Гости довольны, потому что надули хозяина. Хозяин еще раз кормит гостей — щами со сви-

ниной, пшеничными блинами со сметаной и маслом, кашей с бараньим салом,— и ведет в трактир распить самогону. Варяжские времена!

У трактира на жерди мотается сиротливо в сером ветре клок сена. Лают по селу собаки. На татарской стороне, где гостям мыли ноги и кормили их на полу, от избы до избы за покупателями тащатся толпы. Тесной кучкой без детей стоит безжизненная мордва. За околицами лежит степь — без конца, без края. Дует из степи холодный ветер, идет дождь, и плачет земля. В трактире мужики пьют самогон, горланят и, подвыпившие, идут к татарину-комиссару заплатить ему тырте и воргасе, чтобы начé отвезти извещеванную рожь на полустанок: рожь повезут ночью, с рядом дреколье.

В селе Старый Курдюм по несколько раз были красные и белые, целые переулки лежат сожженными и разграбленными. В селе Старый Курдюм живут люди, засыпанные хлебом, со свиньями и телятами, которых кормят тоже хлебом; живут с лучиной, лучину зажигают кремнем; живут полунагие... По степи широкими волнами идет разбой и контрреволюция, полыхая далекими ночными заревами, гудя набатом... В селе Старый Курдюм нет молодых мужчин: одни ушли в революцию, другие ушли с белыми.

Сумерки. Серыми сумерками солдатка в тридцать лет (сладко ночами целовать такую солдатку!) останавливает человека, сторающего последним румянцем чахотки, манит его и шепчет:

— Иди ко мне, парень. Никого обратно нетути. Хлеба дам. Баня топицы.

И в бане, в красных отсветах, человек видит: на животе женщины и в пахах высыпала ровная мраморноватая холодная — сифилитическая — сыпь.

В сумерках кричит что-то истошное: на мечети муэдзин, такой же мужик. В сумерках татары молятся, разостлав свои коврики, устремляя взоры к востоку, к невидимой Азии.

Пролетает последнее черное ожерелье вороньей свадьбы — тоскливой свадьбы.

И обратно по пустой степи ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, нагруженный людьми и хлебом.

А «Разъезд Мар», где раньше не меняли даже жезлов, строит феерическую карьеру: мечты молодого дежурного сбываются. На «Разъезде Мар» стал заградительный от-

ряд, внутренняя пошлина. Теперь поезда здесь стоят сутками. И днем и ночью горят костры и вокруг станции толпы народа. В колодце и в лужах нет уже ни капли воды. И за водой бегают за две версты, на речку. Нельзя пройти двух шагов, чтобы не угодить в человеческий помет. Санитарные теплушки забиты больными. От продовольственного поезда, где строго торчат пулеметы, несутся веселые песни, гремит десяток гармоник. Кругом стон, вопль, плач, мольбы, проклятья. Дежурный с начальником отряда говорит коротко, двумя словами,— дежурный хорошо знает, что такое погладить обшлаг обшлагом,— дежурный может отправить поезд через десять минут и может держать его сутки,— дежурный может принять и отправить поезд ночью, когда заградители «не работают за отсутствием света»,— и у дежурного — женщины, вино, деньги, новые платья, отличный табак, конфеты Эйнема и Сиу,— дежурный говорит, как полководец, двумя словами, и ему некогда уже, томясь, бродить по платформе.

Ограбленной черной степью ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, забитый людьми, мукой и грязью... Падает, падает в пустыню ночи мокрый снег, кружит ветер, дребезжат теплушки. Ночь. Мрак. Холод. И еще задолго в черной бездне вспыхивают красные огни костров на «Разъезде Мар»,— страшные, как горячее марево. В теплушках, где люди сидят и стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат. Поезд останавливается медленно, глухо, скрипят колеса. Горят костры, у костров в снегу жмутся люди и валяются мешки. Станционная изба безмолвна. Во мраке, в кучку, со своими двадцатками, собираются теплушечные, старосты поезда № пятьдесят седьмой-смешанный. Снег. Ветер. Двое уходят, приходят. На минуту у станционной избы появляется дежурный, говорит, как полководец.

Тишина.

Шепот.

И по теплушкам бегут поспешно старосты.

В теплушке мрак. Староста задвигает за собою дверь. В теплушке безмолвие.

— Что?— спрашивает кто-то хрипло.

Староста дышит поспешно и, кажется, радостно.

— Бабоньки, девоньки,— к вам!— говорит староста поспешным шепотом.— Велел девок да баб, которые лучше, посылать к им, к армейцам,— сам, говорит, ничего не могу...

И в теплушке безмолвье, лишь дышит староста.

— Девоньки, бабоньки,— а?

Тишина.

— Надо бабам иттить! Ничего не поделаешь,— говорит кто-то хмуро.— Хлеб, хлеб везем!

И опять безмолвие.

— Что же, Манюшь,— пойдём...— голос звучит, как лопнувшая струна.

Из теплушек, во мраке, в снег, вылезают сторожко женщины, и за ними поспешно задвигаются двери. Женщины безмолвно, без слов, собираются кучкой. Ждут. Гудят где-то рядом провода. Подходит кто-то, всматривается, говорит шепотом:

— Собрались,— все?.. Пойдемтя... Ничего не исделаешь... Хлеб. Выручайте, бабоньки-девоньки... Которые девоньки целы — вы не ходите, что-ли-ча... уж што уж...

Затем женщины долго стоят у задней теплушки продовольственного поезда,— пока не прибегает парнишка в распоясанной гимнастерке:

— А, бабы! Натерпелися?! Бабов нам надо — по первое число!— говорит он весело.— Да вас целое стадо? Ишь!— столько не требуется,— ишь разохотились! Выбирай, бабы, десятка полтора, которые покраще. Да — мотри!— чтобы здоровы!..

Ночь. Падает, падает снег. Гудят провода. Гудит ветер. Трепещут огни костров. Ночь.

В конторе около дежурного толпятся старосты и, изменяя голоса на какой-то нелепо-сладостный и гнусно-пискливый, наперебой, корячась, угощают дежурного — дыньками, спиртиком, коньячишкой, папиросками, табачкём, ситчиком, драпцем, чайкём... Дежурный, чтобы скоротать ночь, фельдмаршальски рассказывает похабные анекдоты, и старосты гнусно-сладостно смеются, опуская стыдливо глаза.

На рассвете поезд № пятьдесят седьмой-смешанный свистит, дергается, точно срываются позвонки с позвоночного столба, и — уходит с «Разъезда Мар».

Хлеб!..

За разъездом в степи лежит курган, по которому и назван разъезд. Когда-то около мара убили человека, и на могильном камне кто-то начертал неумелыми буквами:

«Я был, кто есть ты,—

Но и ты будешь то, что я есть».

Бескрайнюю степь, курган, все занесло снегом, и от надписи на могильном камне остались два слова:

«Я был... — —».

Осенью вечером под холмом в городе Ордынине вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливо песни. Та ночь, Андрей Волкович:— осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения — гвиуу), и рассыпалось все искрами глаз от падения,— и тогда осталось одно сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом костры голодающих, ишалы, отрывок песни голодных.

— Ну, так вот. Вопрос один,— по-достоевски,— в о п р о с и к:— тот дежурный с «Разъезда Мара»— не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным?— и иначе:— Глеб Ордынин и Андрей Волкович — не были ли тем человеком, что сгорал последним румянцем чахотки?— такими русскими нашими Иванушками-дурачками, Иванами-царевичами?

Темен этот третий отрывок триптиха!

— В книге Семена Матвеева Зилотова — в книге «Бытие разумное, или Нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:

«Есть ли что ужаснѣе, какъ видѣть невѣріе, усиливающееся въ ту самую минуту, когда силы природы изнемогають истощенныя, дабы съ презрѣніемъ взирать на страхи, одръ умирающихъ окружающія, и гордо завѣщать вселенной примѣръ дерзости и нечестія?..»

Г л а в а VI,

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ. БОЛЬШЕВИКИ

(Триптих второй)

Ибо последние будут первыми.

К о ж а н ы е к у р т к и

В доме Ордыниных, в исполкоме (не было на оконцах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый

в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал:—«Или — воля голытьбе, или — в поле, на столбе!..» Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу — по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так:— константировать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет,— русское слово м о г у т — выговаривал: — м а г ú т ь. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева.— Смешно?— и еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку:— книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, «Финансовую науку» Озерова, «Счетоведение» Вейцмана, самоучитель немецкого языка — и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики?— Да. Так.— Вот что такое большевики!

Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители — и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цепекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., все спецы,— на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива,— и заводы пустить н е л ь з я. Н е л ь з я. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Моск-

ву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали — на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, — ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что неспец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки — все сделают.

Большевики.

Кожаные куртки.

«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И — черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий?!

Шахта № 3, на Таежевском заводе. На глубине 320, то есть три четверти версты под землю, палили бурки: бурильщики бурили, по пояс в воде, как кипятки — в стволе пласты, бурили бурки; запальщики заряжали бурки динамитом и палили бурки в глубине 320, в воде, как кипятки, по грудь. Надо было запальщикам нащупать в воде шпур, бурку, запихнуть, нырнув, патроны, подложить под патрон пистон с гремучею ртутью и с гуттаперчевым фитилем — зажечь эти патроны, пятнадцать, двадцать.

Сигнал кверху:

— Готовы?

Сигнал вниз:

— Готовы.

Сигнал кверху:

— Палю.

Сигнал вниз:

— Пали с богом!

Один за другим вспыхивают фитили, один за другим шипят и свищут синие огоньки над водою и ныряют в гуттаперчевую трубку, под воду. Последний огонек синий свистнул и нырнул. —

Скачок в бадью, сигнал кверху:

— Качай!

— Есть!

И бадья в дожде, во мраке, в свисте, семь сажен в секунду (предел, чтобы не умереть) мчит наверх, от смерти, к свету. И внизу рвет динамит: — первый, второй, третий.

Шахта № 3, глубина 320, бурки палили двое.

— Готовы?

— Готовы!

— Палю!

— Пали с богом!

Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль (зашипели, заныряли синие огоньки), схватился за канат.

— Качай веселей!

То ли оступился второй, то ли машинист поспешил,— в дожде, во мраке, в свисте взвилась бадья,— второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду.

И первый ударил сигнал кверху:

— Стоп! Качай книзу!

Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде.

— Качай книзу!

И тогда второй ударил сигнал:

— Качай кверху!— ибо зачем вторая смерть?

— Качай книзу!— это первый.

— Качай кверху!— это второй.

И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью — за брата, вот тут, в глубине 320, где смерть и похороны одновременны.

Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью книзу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу,— под грохот динамита внизу, в смерти. И наверху — всем троим, механику и запальщикам, первому и второму:— захотелось — выпить! Так вот, потому, что тогда не было никакой революции,— где же было «энегрично функцировать»?

Кожаные куртки. Большевики.

В доме Ордыниных, вечером, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу, в «Известиях» зарывшемуся:

— А как думаешь, товарищ Макаров, жизнь людскую бытие определяет или идея? Ведь так подумать, и в идее-то бытие?

К и т а й-Г о р о д

Ночью в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-Город за китайской стеной ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизнью — весь в котелке, сплошная Европа с портфелем.

А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней, и из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен тот: Китай без котелка, Небесная империя, что лежит где-то на востоке за Великой Каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-Город.

И второй.

В Нижнем Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин, четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее, — после октябрьского разгула под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, «венедий», «европейских», «татарских», «китайских» и литрами сперматозоидов, — в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз — тот: ночной, московский и за каменной стеной сокрытый — Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы вместо глаз.

Тот — московский — ночами, от вечера до утра. Этот — зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры: — примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы. Молчит домна. Молчат цеха, в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от мертвых машин в рже, — глядит: Китай, усмехается, как могут усмехаться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим — нач-эвак! нач-эвак! — В прокатном, на проржавевшей болванке, лежит рыжий снег — разбиты стекла вверху.

Турбинная не горит ночами, в котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отъело угол, от мартена, из холодных топок — выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка.

— Там, за тысячу верст,— в Москве, огромный жернов войны и революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...— —

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-оошы!

— Белые ушли в марте, и заводу март.

Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная Армия, в драных шинеленках, мелкими кучками — и тысячами — перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы.— Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом — из съеденного ветром снега — торчали человеческие руки, ноги, спины — изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре — сиротливо в сущности — трещали пулеметы, и, точно старик хлопнушкой бьет мух по стенам, ахали пушки...

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-ооошы!..

Без дураков.— Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз,— у рабочих осталась одна мать — машина. На заводе не было власти,— рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты были затоплены: за заводом был конный завод Ордыниных, под ипподромом шли пласты угля,— без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье

пустили на антраците. Машины были погажены,— первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим,— и решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы — для т о в а р о о б м е н а. Завод — самовозродился, с а м о в о з ж и л.— Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?!— Архип Архипов и инженерик такой, взлохмаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой этакой — т а - р а - р а м (революция — т а - р а - р а м, скандал — т а - р а - р а м, белые приходили — т а - р а - р а м, зубы болят — т а - р а - р а м, восемь властей менялось — восемь тарарамов: первый тарарам, второй, третий...),— Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером г р а н д и о з н е й ш и й проект писали — выработывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина.— Магúть «энегрично фукцировать»!

По списку работающих заводов, имевшемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно,— проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, и остановилась, и нашла Таежево — одним из единственных...

— Там, за тысячу верст, в Москве, огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ошь! Врее-ооошь!

Днем в Москве, в Китай-Городе, жонглировал котелок, во фраке и с портфелем — и ночью его сменял: Китай, Небесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз.— Так что же,— уже ли Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?!— не третий ли идет на смену, тот, что —

— Могёт энегрично фукцировать!

Метель. Март.— Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвиуу,

гваау, гааау... гвиииуу, гвииииууу... Гу-ву-зз! Гу-ву-зз!.. Гла-вбум!.. Гла-вбумм!.. Шооя, гвиуу, гаауу! Главбумм!! Гу-вуз!! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как — хо-ро-шо!..

Часть третья триптиха (самая светлая)

Над обрывом, над Вологою — Кремль, с красными его развалившимися, громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые,— хмуры и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжинами. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах — церкви. Испепеляли Кремль многие зной, и многие годы — голые годы — исходили булыжины мостовых.

Россия. Революция. Сова кричат: по-человечьи жутко, по-зверину радостно. Сумерки. Осень. В Кремле, в башнях, много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как выюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле, в закоулках: гу-вууу-зии-маа!.. И шумит крышное железо старых домов:— гла-вбумм! По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за кремлевский вал, где разрушена артиллерией белых стена, и там — на другом бугре — стоит больница в стройных зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот — Архип Иванович Архипов. Ветер осенний — все шарит, все раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны — бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня, огромных филодендронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка.

— Садитесь, Архипов, сюда, на диван.

— Ничего, спасибо. Я здесь вот, у печки.

Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная,— и черны глаза.

— Слушайте, Архипов,— вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом... Вы ведь — сын.

— Да. И мне. Трудно вырывать старое коренье. И от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать спозаранку,— сталоть, чего же мучиться? Жить надо, работать.

— Но ведь вы один — один навсегда!

— Да. Что же? Я всегда был один — я со всеми, с товарищами. Я, верно, только освобождаюсь — от глупостей.

Наталья Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке.

— Говорите правду. Вам не страшно?

— Как же не страшно?— страшно, тошно. Только страдать — не надо. Умер старик как надо. Я все думал в одну точку, ну, и не страдаю. Так надо.— Архипов обеими своими руками взял руку Наталии Евграфовны.— Вы, Наталия Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что.

— Мне нечего рассказывать. Что же?..

— Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо,— ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать — руки. Парнишкой я влюблялся, ну, грешил с женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе, заодно. И ребяенок вырастим, как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы — поученее меня. Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые.— Архипов склонил голову, Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук.

— Да, хорошо.— Она ответила не сразу.— Но я не девушка... Дети,— да, единственное. Я не люблю вас так,— ну, знаете...

Архипов поднял голову, взглянул в глаза Наталии Евграфовны,— были они прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Наталии Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо.

— Ну, вот. А что не девушка,— человека надо бы.

— Это все холодно будет, неудобно, Архипов.

— Как? неудобно?— не понимаю я этого слова.

Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом,— надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти сверкает холодно никелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пяте-

рен, под кожаной курткой — жилетка и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом — косами. Линолеум поблескивает холодно, — за окнами мутная луна в облаках, ночь, — и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой «министерская» лампа.

— Человек нужен, чистота, разум!

Лунный свет в кабинете, и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Натальи Евграфовны, лунный свет упал на Наталью Евграфовну, глаза исчезли во мраке, — нежно, женски-мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову, прошептала чуть слышно:

— Милый, единственный, мой...

Архипов не нашел, что ответить — в радости.

— Понимаете — жить, касатынька!

Совы кричат: по-человечески жутко, по-звериному радостно. «Ведь человек не животное, чтобы любить как животное». Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь. Кремль. Кричат совы. Ветер кричит в закоулках: гу-ву-зи-маа!.. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, и на углах церкви. Голые годы. Мрак. Ночь. Осень. Луна ползет медленно, зеленая.

— Милый, единственный, мой!

Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрослись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь — опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается — в слезинках на стекле и в слезинках на глазах.

— Не любить — и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и — труд, труд!.. Милый, единственный, мой! Не будет лжи и боли.

В доме Ордыниных, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно:

— А правда и радость все-таки восторжествуют! Не моёт как иначе.

Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату,— в словарики иностранных слов, вошедших в русский язык, составленном Гавкиным,— слово уют не было помещено.

— Милый, единственный, мой!

Глава VII (ПОСЛЕДНЯЯ, БЕЗ НАЗВАНИЯ)

Россия.
Революция.
Метель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРИПТИХ ПОСЛЕДНИЙ

(Материал, в сущности)

Наговоры

К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул сук. Из оврага к порубке, где днем парни с Черных Речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным. И это осеннее спиртное верно сказало, что дождям конец: будет неделю осень изливать золото, а потом, в заморозках, падет снег. Бабым летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич,— днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью, крепкою, как спирт), а ночью, потускнев, латы его — как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят одни. Волк вышел на просеку, далеко обошел дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами Черных Речек. На Черных Речках, в овинах, девки заорали наборную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо-грустное. Из леса, оврагом, к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка — вспыхнула пара зеленых огней в кустах,— Арина не свернула, не заспешила... В избе у Егорки, черной, за-

пахло по-осеннему, лекарными травами. Арина вздула жар в чугушке, зажгла свечу, литую из воска, с Егоровой пасеки,— осветилась изба, ладная, большая, с лавками по всем стенам, с расписной печкой, с печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки прыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи; прокричал спросонья хрипло:

— Пришла?— Аа, пришла, ведьма. Не открутиссии, не отворотиссии, будешь моею, заколдую, ведьма.

— Ну-к что ж, и пришла. И не пойду никогда от тебя, от косога черта. И замучаю я тебя, и кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, черта косога, вгоню.

В сенях гудели встревоженно пчелы, не убранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку, кошки пошли по полу, выгибая спины, вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил — сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевелевое корье.

— Пришла?!— А-а, пришла, ведьма! Кровь выпью...

— Ну-к что ж, и пришла, кривой черт. Спутал, опоил.

— Сапоги снимай, на печь полезай! Раздевайси!..

Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина.

— Опоил, черт косоглазый! И сам опоился. Трав принесла, в сенях положила.

— Опоилси, опоилси!.. Никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка...

Залаяли под навесом собаки:— надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи.

К заморозкам на Черных Речках поуправились с полями, попрятались по избам,— мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливались, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах, гурьбами топили земляные овинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные,— стало быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной, осенней небесной тверди белые звезды (падали иные из них на черную землю), лежала земля уставшая, безмолвная,— как вороненая сталь лат Добрыни, поржавели стали лесами, звенят застезками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в овине орали наборные,

ребята пришли с тальянкой, девки овин заперли, ребята в овин вломились, девки завизжали, бросились по углам, забились в солому, ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Буро из овинной печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли,—
Каво хочешь бери! —

заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь. Девки фыркали в строгости.

Журавли вы длинноноги,
Не нашли пути-дороги!—

заиграли девки.

Кроме дыма, запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землею звезда.

Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожью и мышами. Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась,— губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!..

Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии полегла уставшая земля, спала деревня,— над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах,— приземистая, в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах, своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заночевали в соседнем, рядом с девьим, овине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из овина. Меркнушей свечой светил над крышей месяц, земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок, деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий овин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего овина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрелась покойно кругом, расставила ноги, стала мочиться,— в осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи,— провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг раскорякой и ушла

в овин. Запели на дворах петухи — один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу, без игры.

И за два дня до Покрова, ночью, выпал первый — на несколько часов — снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел, как старуха, был ветрен, бездомен; вернулась осень. В этот день перед Покровом на Черных Речках у речки топили бани. На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями пошли париться — старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, дети. В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак, и окупываться бегали все на реку, в сырой вечерней изморози в холодном ветре.

И Алешка Князьков в этот день на рассвете ходил к Николе, к Егорке-кривому — знахарю. Лес на рассвете был безмолвен, туманен, страшен, и колдун Егорка нашептывал страшно: «В бане, в бане, говорю, в бане!..» Вечер пришел сырой и холодный, ветер свистел на все лады и переборы. Вечером Алешка караулил у Кононовой-Гнедых бани. Выскочила очумевшая молодая, нагишом, с распущенными косами, бросилась к реке и оттуда побежала на гору к избе, белое тело ее растворилось во мраке. Выходил два раза старик, кряхтя окупывался в речке и вновь уходил париться. Мать под мышками таскала на реку ребяташек. Ульянка в бане задержалась одна, убирала баню. Алексей пробрался в сенце и зашептал, в великом страхе, нашептанное Егором:

— Стану я, Лексей, на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю, — со ясна неба летит огнева стрела. Той стреле помолюсь, той стреле покорюсь, вопрошу ее: — Куда послана, огнева стрела? — «Во темны леса, во зыбучи болота, во сыро корье». — Гой еси ты, огнева стрела! полетай ты, куда я пошлю: полетай ты ко Ульяне, ко Кононовой, ударь ее в ретиво сердце, в черну печень, во горячу кровь, в станову жилу, во сахарны уста, чтобы она тосковала, горевала обо мне при солнце, при утренней заре, при младом месяце, при ветре-холоде, на убылых днях и на прибылых

днях, чтобы она целовала меня, Лексея Семенова, обнимала, блуд со мной творила! Мои слова полны и наговорны, как велико море-окиян, крепки и лепки, крепчая и лепчая клею-карлюкою, твержая и плотняя булата и камню. Во веки веков. Аминь.

Ульянка подтирала пол, проворила, играли легко мышцы на крепком ее крестце. Вдруг ударило угаром в голову,— заговор ли отуманил?— отворила дверь, прислонилась к косяку истомно и покорно, дышала холодным воздухом, улыбнулась слабо, потянулась,— сладко шумело в ушах, обдувал отдохновенный холодный ветер. С горы крикнула мать:

— Ульянкя-а! Скорееи-ча! Коров доить!

— Си-ча-ас!— заспешила, хлопнула раза три тряпкой по полу, плеснула в угли, накинула рубашку и, поднимаясь на гору, запела озорно:

Не пойду в Озерки замуж,
Не буду срамица-а!
Не поеду борновать —
Не буду пылица-а!..

В темном хлеве под навесом тепло пахло пометом и потом коровьим. Корова стояла покорно. Ульянка подседела на корточках, жикало в подойник молоко, соски у коровы были мягки, корова вздохнула глубоко...

И на Покров у обедни в темной церкви, среди тонконогих и темноликих святых, вторила Ульянка несложную свою девичью молитву:

— Мати пресвятая богородица, покрой землю снежком, а меня женишком!

И снег в тот год выпал рано, зима стала еще до Казанской.

Р а з г о в о р ы

Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда с молебном, с семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы,— той весной отпыхали помещичьи гнезда красными петухами, дотла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа-одежа,— в предсмертной судороге задержались поезда; за-

мирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги, — на станцию проселок порос подорожником.

Снег падал два дня, ударил морозец, лес поседел, побелели поля, затрещали сороки, — с морозами, ветрами, снегом полысел Златопояс Добрыня, — первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало поветрие черным платом по избам, сыпало — тифом, оспой, знобами, — и с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам, серый, гроба были сосновые, всех размеров, лежали в розвальнях, горами, один на другом. Киржаков на Черных Речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили во один час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть походу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков.

— Почем, к примеру, цена-т-от? — сказал он. — Гробы, к примеру, покупать надо-ть... надо-ть покупать, — в городе теперь недостача. Мне надо-ть, старухе, и так, к примеру... кому придется.

Тогда старика Коконова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила:

— Ну, цена-то, цена-то кака?

— Цена — известно, мы на картошь, — ответил киржак.

— Знамо, не на деньги. Я три гроба́ возьму. А то помершь — забота. Все покойней.

— Одно дело, к примеру, покойней, — перебил Кононов. — Ты погоди, бабочка, я постарее... Ну-ка, милок, отмерь меня, — какой я росточком вышел, отмерь. Помирать — все у бога за пазухой, к примеру, ежели помирать.

Бабы бегали за картошкой, киржак отмеривал, парнишки взваливали гроба на головы — растаскивали с гордостью по избам, долго в избах рассматривали гробяную доброту, примеривались ко гробам и ставили их потом в сенцах на видное место, — у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему — мертво, в морозе — снега, засветились избы лучинами, на задах заскрипели ворота и бабьи шаги — шаги к сараям за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки, — в избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись — оказались гостями веселыми, прибаутошниками, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз, сидел у светца, шепал лучины, вставлял их одну за другой в рогулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал:

— Теперь, все-таки, сами, одни... Умрешь, а гроб — вон-от, на охоту ехать, собак не кормить... Бунт, все-таки, время смутная. Советская власть — городам, значит, крышка... Вот за солью собираются наши на Соль-Вычегодскую...

Баба Никонова, в плисовой безрукавке и в паневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими, как вымя, да и с лицом по-коровьи дебелим, сидела за станом, хлопала-ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные (поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света). На печи, десяток друг на друге, бабы лежали. В углу, за печкой, в закуте лениво мекал теленок. Новые приходили — киржаков посмотреть, уходили бывшие, — дверь клубилась паром, несла холодом.

— Чу-гу-унка! — говорит в презрении величайшем Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки! Хуч бы ей издохнуть!

— Одна ваторга, — ответил Климанов.

— Нам она, к примеру, не нужна, — подтвердил дед Кононов. — Господам, к примеру, нужна ездить по начальству либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит.

— Чу-гу-унка! — сказал Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки!.. Жили без ей — и проживали. А — тоо!.. Однава в году в город ездил, сё-таки, день на станции караулил, раз пять котомку развязывал: — «Какое твое продовольствие, а то прикладом!..» Ну, влезли на крышу, поехали... Стоп! — «Какой такой твой мандат, показывай!» — што я баба, што ли?! — Показал бланток. Рассердилси. Так и так вашу мать, говорю, ребятков везу в Красную Армию, буржуев бить, сё-таки. Я, говорю, — мы за большевиков стоим, за Советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать... сё-таки обидно...

Ночь. Тлеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы, спит деревня ночным сном, метет белыми снегами белая метель, небо мутно. В избе, в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме, сидят мужики, с бородами от глаз (поблескивают глаза красными отсветами). Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладки потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохам. И Никон Борисыч говорит со строгостью величайшей:

— Камуне-есты! — и с энергическим жестом (блеснувшими в лучине глазами): — Мы за большевиков! за Советы!

чтобы по-нашему, по-росейски. Ходили под господами — и будя! По-росейски, по-нашему! Сами!— Одно дело, к примеру, мы ничево,— это дед Кононов.— Пушай. И фабричных мы — ничево, примем, пушай девок огуливают, к примеру, венчаются, которые с рукомеслом. А господ — того, кончать, к примеру...

С в а д ь б а

Зима. Декабрь. Святки.

Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трешоткой трешит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей мути, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкою, неспешной побежкой проскакивает заяц. Наверху небо — синими среди вершин ключьями с белыми звездами. Кругом стоят, скрытые от неба, можжевелики и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленицы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен. Лес стоит, точно тяжелые надолбы, скованные железом. Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы. Причудливо в лунной мути лежат срубленные ветви сваленных сосен, как гигантские ежи, щетинятся сумрачно ветвями. Ночь.

И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк, и волки играют звериные свои святки, волчью свадьбу. Взвыла лениво и истомно сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибыльные косятся строго. Играют, прыгают, валяются в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет, воет, воет.

Ночь. И над деревней, в святках, в гаданьях, в рядах, в морозе, в посадках, перед свадьбами несется удалая проходная:

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!
Каво хочешь бери!

— и грустным напевом, девишническим, во имя девичьего целомудрия, сквозь слезы, девичья:

Не чаяла матушка, как детей избыть,—
Сбыла меня матушка во един часок
Во един часок в незнакомый домок.

Наказала матушка семь лет не бывати.
Не была у матушки ровно три года.
На четверто лето пташкой прилечу,
Сяду я у батюшки во зеленом саду,
Весь я сад у батюшки слезами залью,
На родную матушку тоску нагоню.
Ходит моя матушка по новым сеням,
Кличет своих детушек-соловьятушек:
— «Встаньте вы, детушки-соловьятушки,
А и какой-то у нас в саду жалобно поет.
Не моя ль погорькая с чужой стороны?»
Первый брат сказал:— пойду погляжу.
Второй брат сказал:— ружье заряджу.
Третий брат сказал:— пойду застрелю.
Меньшой брат сказал:— пойду застрелю-ю!

На кровле — конец; на князьке — голубь; брачная простыня, наволочки и полотенца — расшиты цветами, травами, птицами;— и свадьба идет, как канон, расшитая песнями, ладом, веками и обыком.

Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна — в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом — гости, Алексей Семеныч, со сватьями и сватами.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие,— это старик строго.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие,— это мать, со страхом и важностью.

— Кушайте, гости дорогие, Лексей Семеныч,— это Ульяна Макаровна, голосом прерывающимся.

— Не гуляла ли, Ульяна Макаровна, с другими парнями, не согрешила ли, не разбитое ли ваше блюдо?

— Нет, Лексей Семеныч... Непорочная я...

— А чем вы, родители любезные, награждаете дочь свою?

— А награждаем мы ее благословением родительским,— образ Казанской...

И свадьба, в каноне веков, ведется над Черными Речками, как литургия,— в соломенных избах, под навесами, на улице, над полями, среди лесов, в метели, в дни, в ночи: звенит песнями и бубенцами, бродит брагой, расписанная, расукрашенная, как на кровле конек,— в вечерах синих,

как сахарная бумага.— Глава такая-то книги Обыков, стих первый и дальше.

Стих 1.

Когда взят заклад, осмотрен дом, сряжена ряда и прошел девишник, тогда привозят к жениху добро, которое выкупает жених, и сватья убирают постель простынями и подушками из приданого в цветах и травах, и тогда уславливаются о дне венчанья.

Стих 2.

Стих 3.

Ай, мать, моя мать!
Зачем меня женишь?
Я не лягу с женой спать,—
Куда ее денешь?
— Пошли плясать, пятки отвалилися,
Девки-бабы хохотать — чуть не отелилися!
Ууу! у! Ааа! а!— пляшет изба как бабенка
ерная и задом и передом, визжит в небо

- Знает ли молодая трубу открывать?
- Знает ли молодая снопы вязать?
- Знает ли соловей гнездо вить?
- Они люди пánови, им денежки надобны Сыр-каравай примите, денежку положите
- Отмерить холстин двадцать аршин!

Ууу. Ааа. Ооо. Иии. В избе дохнуть нечем. В избе веселье. В избе крик, яства и питье, — а-иих! — и из избы под навес бегают подышать, пот согнать, с мыслями собраться, с силами.

Ночь. Звезды мигают лениво, в морозе. Под навесом, во мраке пахнет навозом, скотьем теплом. Тихо. Лишь иногда вздохнет скотина. И через каждые четверть часа, с фонарем, приходит старая Алешкина, молодого Алексея Семёныча, мать, — посмотреть корову. Корова лежит покорно, морду уткнув в солому: воды прошли еще вчера, вот-вот родит. Старуха смотрит заботливо, качает головой укоризненно, крестит корову: — пора, пора! буренушка. И корова тужится. Старуха — по старинной примете — отворяет задние ворота, для вольного духа. За воротами пустой ви-

шенник, вдали сарай и тропка к сараю — в сене, подернувшимся инеем. И из темноты говорит дед:

— Я шлежу, я шлежу — шмотрю. Жа Егор-Поликарпычем надоть, жа Егоркой-кривым — жнахарем. Томица корова, томица, тае, корова...

— Беги, дедушка, беги, касатик...

— Я што? Я шбегаю. А ты карауль. Морож.

Под навесом темно, тепло. Вздыхает корова глубоко и мычит. Старуха светит — торчат два копытца... Старуха крестится и шепчет... А дед трусит полем к лесу, к Егорке. Дед стар, дед знает, что если не сойдешь с проселка, не тронет волк, теперь уже огуленный и злой. Под навесом на соломе мычит и брыкается мокрый теленок. Фонарь горит неярко, освещает жерди, перегородки, кур под крышей, овец в закуте. На дворе тишина, покой, а изба гудит, поет, пляшет на все лады и переборы.

— И з к н и г и О б ы к о в:

С т и х 13. И когда уезжают в ранние и расходятся гости и в избе остаются только мать молодого и сватьи, сватьи раздевают молодую и кладут ее на брачную постель и сами укладываются на печь. И к молодой жене приходит муж ее и ложится рядом с ней на постель, расшитую цветами и травами, и засеивает муж жену свою семенем своим, порвав ложесна ее. И это видят мать и сватьи и крестятся.

С т и х 14. И на утро другого дня мать и сватьи выводят молодую жену на двор и обмывают ее теплой водой, и воду после омовения дают пить скоту своему: коровам, лошадям и овцам. И молодые едут в отводы, и им поют срамные песни.

— Делянка. Деревья закутаны инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев, в серой мути, потрескивая сучьями, бежит-трусит белый дедка, и в синей мути, вдалеке, лает волк. День бел и неподвижен. А к вечеру метель. И завтра метель. И воют в метели волки.

В н е т р и п т и х а, в к о н ц е

День бел и неподвижен. А к вечеру метель — злая, январская. Воют волки.

— Белый же дедко на печи, белый дедко рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке:—«Играй, играй, дудочка! Потешай свет-батюшку, родимую мою матушку. Меня, бедную, загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Метель кидается ветряными полотнами, порошит трухой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах:—«Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды». «И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и sprыснул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной».—«Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку,— зачем?!»

— Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена был-былина о том, как умерли богатыри?— Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, режут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают,— прибывают, как головы змея — две за одну сечену, а лес стоит как Илья Муромец.—

Коломна,

Никола-на-Посадьях,

25 дек. ст. ст. 1920 г.

ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Реки возникли в те эпохи, когда земля из астрономического состояния переходила в состояние геологическое. Кремнезем, граниты, сланцы, пески, глины — тальвег — река, поток воды — расход воды, живые сечения, горизонты, трассы, — перекааты, плесы, отмели — строжайшая закономерность, где решающим являются только законы физики, сил, тяжестей, веса, — только. Природа не знает прямых движений, и на каждой реке силою падения вод по горизонту уклона должны быть два течения: сбойное-верховое, клинообразное, сходящееся, которое, опускаясь на фарватере до дна, размывает это дно, сбрасывая на стороны размытые пески и превращаясь во второе течение — расходящееся донное, идущее от дна фарватера к берегам, загрязненное и смятое, потерявшее свою живую силу.

Так было и есть веками.

Долины рек возникают от размыва земли водою. Реки по своим тальвегам всегда идут змеями, никогда прямыми руслами, и горизонты падения русла рек похожи на лестницу — перекаат, плес, перекаат, плес; водопады на реках живут, отодвигаясь к истокам рек, — так создано законами физики, потому что иначе б живая сила воды, которая в природе ломается плесами и перекаатами, освобожденная, достигла б невероятных сил и быстрот и реки исчезли б, слив все свои воды, ничем не задержанные.

Вода, как природа, не знает прямого течения; воды ломают свои русла, чтобы воздвигать себе препятствия.

Эти два течения, расходящееся донное и сбойное верховое, именно они и определяют судьбы плесов и перекаа-

тов: чем круче заворот реки, чем круче поворот вогнутого берега, тем быстрее сбойное течение, тем сильнее живая сила, тем глубже размыв дна,— и здесь возникает плес,— но вода устала, сломав свою силу, вода вышла на отдых донного покойствия, она бессильна размывать,— и здесь возникает пережат, улегшийся песками между плесами. Если сила течения сильнее грунтов, она ломает, размывает берега, чтобы истратить свои силы, уравновесить их,— и река мелеет, растягивая свои живые течения широкими, но низкими поперечными горизонтами.

Так было от эпох, когда земля из астрономического состояния переходила в геологическое. Воды рек движутся параболами, гиперболами, эллипсами. Инженеры-гидравлики уложили законы течения рек в формулы математики, где не может быть погрешностей.

Роясь в юрских, девонских, каменноугольных пластах, инженеры исчисляют возрасты рек, их юности и старости. Щепка, брошенная в воду на Оке под Коломную, будет снесена в Каспийское море,— но камень, брошенный там же, будет поднят водою только тогда, когда живая сила сбоя будет сильнее камня; так бывает очень редко, и камни засоряют речные донья. Прямое движение абстрактно, как нуль. Под городом Саратовом на Волге, которая тысячи лет тому назад называлась рекою Ра, семьдесят лет тому назад затонула барка с кирпичом, сломала течение за собой и народила целый остров песков против Саратова, десятки километров, раздвоивших Волгу на два рукава. Движение вод непостоянно, оно переходит от малого расхода к большому, от меженей до половодий,— но, раз пустившись в путь, подчиненная своей собственной тяжести и только еюдвигаемая, вода чинит свое движение безостановочно. Инженеры-гидравлики знают силу воды, и они знают, что с этими силами можно бороться, никак не нарушая, никак не противореча им, но координируя их.

...Профессор Пимен Сергеевич Полетика ехал из Ленинграда на строительство новой реки.

Строительство раскинулось на несколько губерний. Под Коломную, ниже слияния рек Оки и Москвы, строился монолит, подпиравший и отбрасывающий назад окские и московские воды. Одновременно с этим рылся канал под Москвою, соединяющий реки Москву и Клязьму. От Щелкова на Клязьме до Нижнего приготавливалось новое русло. Строительство имело целью создать реку, путь течения которой проходил бы от Коломны к Москве вспять по

прежнему руслу Москвы-реки, каналом под Москвою до Клязьмы и от Москвы до Нижнего клязьминским руслом.

Профессор Полетика, инициатор строительства, ехал в Коломну.

В Москве он задерживался на день — надобно было побывать в Госплане, в ВСНХ, в Мосгубземотделе, в учреждениях, которые профессор называл строительными конторами. Профессор Полетика был стар, медленен, строг и сутул, старик строгих и старых правил, человек необыкновенной для революции судьбы. Ученый с европейским именем, строитель, большой практик и большой теоретик, Пимен Сергеевич Полетика с тысяча девятьсот третьего года, с дней съезда, расколовшего русских марксистов, принял теорию диалектического материализма в большевистском ее толке. С тысяча девятьсот семнадцатого в Россию пришла та справедливость, философию которой профессор принял в молодости; ему ничего не приходилось перестраивать. В двадцать четвертом году, как и в четырнадцатом, профессор писал по старой орфографии и лекции свои начинал словами:—«Уважаемые граждане, будучи марксистом...»— Очень немного имен, два-три десятка на всю Россию, сумели в двадцать четвертом остаться такими же, какими они были в четырнадцатом: это право до революции в среде не знавших этих людей они обрели своими делами, давшими им имена, поднявшими их над распрями имперских русских лет, в среде ж людей, которые их знали, право это укреплялось человеческими их достоинствами, оказавшимися обязательными для всяческих лет. Революция подтвердила их права. Профессор Полетика, старик, старчески и профессорски чудаковатый, никогда не ездил на автомобилях и всегда выходил из дома в скюртуке; этот ученый, медлительность почитавший одним из основных успехов прогресса, отдал в двадцать пятом году в Ленинский Институт толстую пачку писем Ленина. Студенты и инженеры четырнадцатого года относились к профессору с тем же почтением, что студенты и инженеры двадцать четвертого.

Индустриальное строительство, волею которого были окрашены русские годы, начиная с девятьсот двадцать шестого, воплощали в жизнь многие проекты строителя Полетики. Он стал во главе многих строителств. Ему много приходилось ездить, но из Ленинграда в Павловск он собирался так же, как в Нью-Йорк. В Москву Пимен Сергеевич приехал ленинградским скорым, с утра, проехал

на извозчике в Большую Московскую гостиницу, в двадцать девятом году называвшуюся Гранд-отелем, где останавливался всегда с дней своего студенчества и где знали его по имени-отчеству. Пимен Сергеевич позавтракал яичницей, стаканом молока и поехал на том же извозчике, что привез его с вокзала и с которым разговаривал он по дороге о ножницах овса и мануфактуры, по делам в Госплан, в Наркомзем, в Мозо. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что на строительстве монолита работает инженер Эдгар Иванович Ласло. Пимен Сергеевич помрачнел, услышав об этом, брови его строго зацетинились: с инженером Ласло четырнадцать лет тому назад ушла от Пимена Сергеевича его жена.

С этого разговора в Мозо началась цепь вещей, развернувшая эту повесть.

Из Мозо, который находился на Садовой-Триумфальной, в доме прежней губернской земской управы, извозчик повез профессора переулками — Воротниковским, Пименовским, — и второй раз вспоминал Пимен Сергеевич о своей жене законом повторности явлений.

Двадцать пять лет тому назад Пимен Сергеевич, только что окончивший институт молодой инженер, венчался в церкви Старого Пимена. Тогда была молодость, и все было впереди. В тот день молодым инженером, не веруя в господ-бога, все же торжественно стоял молодой этот инженер перед алтарем и перед любовью к невесте, священной, как всякая чистая любовь. Через одиннадцать лет после того дня жена ушла от Пимена Сергеевича и увела детей, оставив раздумья о человеческом достоинстве. С тех пор, со дня свадьбы, профессор не был ни в этой церкви, ни в этом переулке.

Профессор приказал остановиться около церкви Старого Пимена. На воротах в церковный двор висела вывеска:

«Аукцион при московских ломбардах».

Пимен Сергеевич прошел в церковный двор. У паперти толпились люди, на деревьях кричали вороны. Кацавейки, подтянутые кушаками, и платки на паперти, явные люди смоленского, сухаревского и таганского рынков, скучали, степенны и деловиты. В стороне от кацавеек стояли двое очень похожие друг на друга, не то мастеровые, не то интеллигенты, странно одетые люди, примерно так же, как персонажи Островского, — в лаковых сапогах, в картузах с лаковыми козырьками и в черных длиннополых сюрту-

ках. Пимен Сергеевич, сам всегда носивший сюртук, глянул удивленно на их сюртуки. Старший сказал профессору, поддельваясь под прасолов:

— Начнут в четыре часа. Если касательно красного дерева, ничего особенного нет. Имеется один шкафчик буль. Пройдите, посмотрите сами. Если надо, можем собрать гарнитур.

Пимен Сергеевич ничего не понял, поблагодарил, сердито дернув шляпу, и прошел в церковь. У стен валялись шкафы, гардеробы, диваны, много швейных машин. Стены лепились объявлениями и плакатами. На высоте трех человеческих ростов, на двух гардеробах, на обеденном столе стоял столик с молотком и стулик для аукциониста. Людей в ломбарде собралось немного, они деловито осматривали вещи и громко обсуждали цены, с которых начнется аукцион, вывешенные на гардеробах, кроватях и креслах вместе с номерками этих кресел, диванов и швейных машин. Сумеречный свет падал через решетки и пыль церковных окон. Профессор, следуя примеру остальных, ненужно пошел от вещи к вещи. Здесь продавали с аукциона невыкупленное в ломбарде, нищету всячески случайную. Покупатели, которые пришли на аукцион, были торговцами, — то есть прежние владельцы вещей не имели тех бесценков, за которое уходило их нищенство. В ломбарде сыро и никак не свято.

Прыщавый юноша в шляпе, распахнув пальто и положив пальцы в карманы жилета, забравшись на гардероб, бодро крикнул со стола на гардеробах, стукнув молотком, стандартным речитативом:

— Аукцион начинается! Номер первый. Осмотрено? Двадцать. Кто больше? Раз!

Покупатели сели на скамьи, законсервировав лица в строгую безразличность.

— Два!

— Двадцать один! — безразлично крикнула кацавейка с задней скамьи.

— Двадцать один слева. Кто больше? Раз! — бодро крикнул прыщеватый щеголь. — Два!

Профессор вышел из церкви. Вороны полощились на деревьях, сумерки наступали тихи и ясны. Компания актеров шла по деревянным доскам двора, заменявшим тротуар, — должно быть, обедать в артистический трактирчик, поместившийся за Старым Пименом. Актеры шли гуськом

и хохотали. Неправильно получивший извозчик громко укорял актеров.

— Разве я вам не рассказывал разговора в трамвае?— говорил актер, шедший впереди.— В трамваях висят анти-алкогольные плакаты, на одном из них написано: «Первую рюмку берешь ты! а вторая хватает тебя». Я ехал в трамвае, рядом сидел мастеровой, он прочитал плакат раз, два, за-вздыхал, задумался и сердечно сказал мне: «Хорошо бы так,— сказал мастеровой,— я бы в деревне при таких делах третий дом поставил бы,— а то пьешь, пьешь ее, окаянную, целую телушку пропьешь, пока она тебя, стерва, схватит!»

Актеры расхохотались вновь. Профессор подошел к своему извозчику.

Двадцать пять лет тому назад молодой инженер подъезжал в карете к этим самым воротам и ждал у паперти невесту, чуть-чуть из озорства решив венчаться в церкви своего имени. Тогда отцветал май, в час венчания наступали сумерки, и так же кричали вороны на этих же самых деревьях — души разрушения. Молодой инженер знал тогда и честь, и долг, и счастье, и бодрую тяжесть взятого себе в руки на всю жизнь — любви,— и любовь у профессора Полетики была на всю жизнь единственной. Как человеческий труд, так и воля, и честь человеческие всегда борются с голой природой,— борются тою же самой природой, природой организуя природу, труд, честь, долг. Ничто не выпадает из цепи зависимостей. Пимен Сергеевич знал истину, истинную для него и всегда подтверждающуюся в его жизни,— что человек всегда отплачивает человеку тем же, как платит человек. Стоит быть благородным с неблагородным, и этот неблагородный постремится стать честным не только в делах, но и в помыслах, и, наоборот,— примите благороднейшего с поправкой на мерзавца — он ответит мерзавцем. Профессор Полетика был естественником,— правила человека — быть благородным — он считал необходимым не только в плане морали, так скажем, высшей,— но и просто выгодной для человека, ибо быть благородным человеку — и удобней, и выгодней, и разумней,— разум же человеческий Пимен Сергеевич почитал превыше всего. Отклонение от норм благородства профессор считал патологией. Таким отклонением было его расхождение с женой,— или другие причины были решающими здесь?— биология, то неосознанное, подсознательное в человеке, оставшееся от зверя, ин-

стинкты, кровь, наследственность?— но Пимен Сергеевич считал все это темным в человеке и человека недостойным. Жена пришла чистой женщиной, тихой девушкой, ограничившей мир шиллеровской и тургеневской романтиками. Карие глаза ее светлели, как голубое русское небо. И на пороге второго супружеского десятилетия, счастливого и действенного, как казалось Пимену Сергеевичу, ибо все ладилось в семье, спорился труд мужа, строилась его слава, росли хорошие дети,— жена ушла от мужа, сошлась со студентом, с репетитором сына, уйдя, увела с собою детей. Это произошло в девятьсот четырнадцатом. Профессор запер опустевшие комнаты жены и детей,— и революция прошла этими замороженными комнатами, не входя в рабочий кабинет профессора, где Пимен Сергеевич оставался в одиночестве со своими лекциями, проектами, чертежами, формулами — один со своим трудом. С девятьсот семнадцатого Пимену Сергеевичу ничего не приходилось переживать, и судьба предоставила ему решать вопросы его личных дел, собственного достоинства, жизни и смерти,— те вопросы, которые должен решить каждый, когда полки лет начинают давить на плечи, и которые каждый человек должен решить по-своему. Студент Ласло пошел стопами Пимена Сергеевича, стал инженером. Изредка сталкивала их общая работа, они навсегда были незнакомы. Старший сын Пимена Сергеевича в девятнадцатом погиб от тифа на фронте гражданской войны. Вестей от жены не приходило. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что Ласло работает на строительстве монолита. Мысли вернулись к отошедшему, закопались в десятилетия.

Извозчик выехал на Тверскую. Солнце уходило в закат. Был час, когда служилое сословие, расположенное в Москве военным положением, возвращалось со служб. Дворники поливали улицы водою. Если бы наркоматы, синдикаты, тресты и прочие многие служилые заведения ввели в те времена в Москве форму для своих тарифо-сеточников,— Тверская в тот час заполнена была буниформами, как плакатами, вне зависимости от пола и возраста. Служилое сословие лезло в трамваи и автобусы, рывкало автомобилями, черными ротами лилось по тротуарам и спортивными трусиками, рысцой бежало по мостовым около тротуаров,— змеями очередей вставало в хвосты у магазинов за хлебом, за колбасой, за водкой, за слоеными пирожками с капустой и за билетами в кино. Пимен Сергеевич не любил служилого сословия, плакаты ж при-

водили его в беспокойство, пугая. Страстная площадь звывала плакатами кинематографа, ионовского Дома Книги, РИ, «Вечерней Москвы», «Известий». Памятник Пушкина безмолвствовал. Тверская от Страстной до Советской походила на Пекин, на китайский город, где не видно неба за матерчатыми вывесками, — афиши издательств, журналов, театров, кино, лотерей висели через улицу, загораживая небо. Лишь над площадью губисполкома меркнуло небо, тихо уходил июльский уставший золотой день.

Расплачиваясь, профессор спросил извозчика:

— Ну, как же, братец, — что ты скажешь в конце концов про жизнь? — голомяна? — Пимен Сергеевич повторил словцо, подслушанное у извозчика.

— Голомяна, — ответил извозчик. — Конечно, если смотреть без очков, — а то в очках ни пиля не увидишь.

— Нет, ты не прав, братец, — сказал ворчливо профессор, — жизнь никогда не может быть плохой, не должна.

В ресторане Большой Московской гостиницы играл оркестр, за накрахмаленными столиками сидели иностранцы, журналисты и прожектеры, понаехавшие в Москву на зуб пробовать строительство социализма в Союзе республик. Полетика заказал себе у безразличного лакея, называвшего профессора по имени-отчеству, сухарей, молочно-го супа и бобов.

Повторность явлений всегда необычна, Пимен Сергеевич думал о церкви Старого Пимена. Ожидая пищи, он потребовал к себе посыльного и со своею запиской послал его на Никольскую к букинисту Михайлову купить Четьи-Минеи, где записано житие святого Пимена.

Оркестр благозвучал фокстротами, бывшими в запрещении в те российские годы. Иностранцы из обеда делали каждый день ресторанные развлечения, превратив старинный русский трактир, знаменитый своими селянками и расстегаями, в европейско-американский «палас». Мужчины-иностранцы покойствовали в серых костюмах туристов, женщины — в бальных нарядах. Белые лакеи величествовали поспешной медлительностью. Пимен Сергеевич осматривал сытых людей. Ему казалось, что он видел злодеяния и боли, которые должны твориться и творились за этими накрахмаленными столиками в живых цветах. Почему думал Пимен Сергеевич о злодеяниях, он не знал.

Столик иностранцев англо-американского типа говорил по-французски, по команде хохотал, острил человек, сидевший спиной к Пимену Сергеевичу. Пимен Сергеевич

расслышал: «Донбас, mal, malheur»,— перевел на русский — «зло, несчастье». Остривший оглянулся,— Пимен Сергеевич узнал инженера Полторака. Полетика вспомнил его имя — Евгений Евгеньевич. Полторака оглянулся еще раз — его столик притих. Тогда Полторака поднялся и пошел к Пимену Сергеевичу. Иностранцы провожали его глазами, рассматривали русского ученого и, встретившись с Пименом Сергеевичем взорами, поклонились ему. Инженер Полторака, здороваясь, протянул Пимену Сергеевичу обе руки.

— Вы в единственном числе, профессор,— мои друзья, иностранные инженеры, зная вашу славу, были бы польщены, если бы вы пересели к нам,— сказал Полторака.

Профессор лениво поклонился иностранцам и ответил инженеру:

— Благодарствуйте, поблагодарите их. Я устал, а кроме того, я питаюсь только молоком и гречками.

— Да, да, я что-то слышал о вашем нездоровье,— какое несчастье для России,— сказал инженер Полторака и присел к профессору.— Вы сегодня едете на стройку? Я тоже туда еду по делам ГЭТа.

Костюмом Полторака походил на иностранца, но скулы его славянствовали. Синий его жакет шился не только для глаза посторонних, но и для барственного покойствия владельца. Пробор Полторака блестел помадой. На указательном пальце его блестел брильянт в старинной оправе. Именно на этом кольце задержал свое внимание профессор Полетика и только потом глянул на совершенно вежливое лицо инженера. Глаза Полторака смотрели действительно, умны и точны. «И все же такие, которых не следовало бы иметь порядочному человеку,— подумал профессор.— Он правильно их прячет за брильянтами».

Инженер Полторака был очень холон, и профессор вспомнил, что больше всего поражали его в инженере — зубы, обезображенные золотом, тщательно ухоженным. Этот человек всегда встречался во всех строительных комиссиях, служа сразу в десятке хозяйственных правительственных учреждений.

Инженер заговорил.

Пимен Сергеевич сидел против него — громадный старик, седоволосый и волосатый, ворчливолицый, в понурых очках, в старомодном сюртуке с белым бантом из-под бороды.

— Вы, конечно, знаете об этом, мы сейчас острили,— оказывается, в Донбассе не хватает воды, не хватает уже теперь. Это один из могущественнейших наших промышленных центров,— да вы знаете лучше меня,— в Сталинграде строится тракторный завод, который будет выпускать, если в году триста рабочих дней, каждый день по сто тридцать три трактора,— да вы знаете лучше меня колоссальное значение Донбасса. И вот оказывается, вопреки всем проектам и планам, Донбасс превращается в пустыню, Донбасс обезвожен, там не хватает воды не только для производства, но и для людей и для всего подсобного. И я рисую себе картину, как зловеще на Донбасс надвигается безводье, как изнывают заводы и их заносит песком, все выжжено солнцем, заводы задыхаются и кричат, задыхаясь своими домнами:— Пить, пить!

— Ну, положим,— сказал профессор и глянул строго в щель между очков и лохматых бровей.

— Вы, кажется, разрабатываете проект обводнения Донбасса? Расскажите.

— Мер очень много,— ответил строго профессор и пожевал губами.— Со временем я их опубликую.

— А я все по-прежнему в ста комиссиях,— сказал иронически инженер и быстро спросил:— А вы надолго в Коломну?— колоссальный проект!— и перебил себя:— Вы не обращали внимания, Пимен Сергеевич, на то, что все строительства всегда на крови, как и всякая живая жизнь, впрочем. Мы, люди, родились в крови и умираем, потому что остановилась кровь. Человеческая любовь начинается и кончается кровью. Я не знаю ни одного строительства, где не было бы крови; строят дома — сорвался со стропил рабочий, построили завод — машины измолотили мастера, ведут дорогу — поезд свалился под откос, роют канал — прорвалась плотина, затопило рабочих. Это мистично, но это факт — все на крови. Когда же исчезнет кровь, тогда Донбасс будет занесен безводными песками. На вашем строительстве еще не было крови?— тихо спросил Полторак и смолк.

— У меня сегодня день повторности явлений,— удивленно сказал Полетика.

— О чем вы говорите?

— Это, знаете ли, так, пустяки.

— А крови на вашем строительстве еще не было?

— Нет, не было,— ответил Полетика.

— Будет, будет!— воскликнул Полторак, и зубы его, обезображенные золотом, этим золотом злобно блеснули. На секунду он стал очень серьезен, глаза его примерились, точно он стрелял в цель, и он сказал деловито:— Разрешите откланяться. До завтра, в Коломне.

Инженер Полторак всегда выглядел тщательно чистым, крепким человеком,— и он всегда вызывал у профессора Полетики ощущение грязной липкости.

Полторак встал и пошел к своему столику. Иностранцы поклонились Полетике. Лакей принес поджаренную булку и молочный суп. Профессор, строго оглядевшись вокруг, прикрыл салфеткой бороду, повязавшись сзади, как повязываются дети,— и начал медленно и сердито есть,— и стало понятно, что сердитость Пимена Сергеевича очень добра.

Мысли о надвигающейся на Европейскую Россию пустыне принадлежали Пимену Сергеевичу, его раздумий никто не знал, кроме двух-трех соратников и учеников,— Полторак заговорил его словами,— Пимен Сергеевич отнес это за счет повторности явлений.

Пребывал профессор в этом зале иностранцев и русских, поддельвающих под европейцев, явлением чужеродным. Гремел с хоров оркестр. Электричество загорелось очень просторно в этом белом зале.

Посыльный принес Минеи святых за месяц август и молвил, получая за труды:

— Этих самых святых Пименов, оказывается, почитай с десяток, а то и больше. Всех не нашлось. Вам позвонят.

Часы до поезда Пимен Сергеевич провел у себя в номере за Четьи-Минееми, листал их так же внимательно, как перелистал за свой век десятки, сотни тысяч математических страниц английских, немецких, французских, русских книг строительства и математики чистой, той, которая бесконечна и упирается в непознанное человеком, давая право человеку расчетом звезд строить каналы, новые реки, заводские машины и различать атомы. За книгами Пимен Сергеевич не походил на старика.

Однажды к профессору звонил телефон.

— Товарищ профессор Полетика? Здравствуйте, Пимен Сергеевич. Говорит антиквар Михайлов. Я к вам послал Минеи за август, других пока не нашлось, дошло, как достану. Пока имею сообщить о нескольких святых православной церкви Пименах. Первый. Преподобный палестинский, подвизался в пустыне Руве при Маврикии.

Пятьсот восемьдесят второй — шестьсот второй годы. Память двадцать седьмого августа. Второй. Пимен Великий. Умер в четыреста пятидесятом году. Египетский авва. Сподвижник Паисия Великого и Иоанна Конова. Постоянно плакал о грехах своих и других людей. Своими назидательными речами имел большое влияние на окружающее его общество. Третий и четвертый. Пимен многоболезненный и Пимен преподобный, киево-печерские иноки. Мощи их почивают в Антониевой пещере. Последний из них был другом преподобного Кукши, имел дар пророчества. Память двадцать седьмого августа. Пока все. Об остальном письменно сообщу на днях и пришлю книги. Имею честь откланяться.

Букинист повесил телефонную трубку. Профессор вернулся к столу и к Минеям. Он неясно понимал, зачем ему понадобились святые и преподобные Пимены. За Пименами возникал инженер Ласло. Навыком ученого, привыкшего к книгам, Пимен Сергеевич положил в свою память издателя: Киево-Печерскую лавру. Киев был родиной Пимена Сергеевича, гимназистом он часто бегал в страх качающихся во мраке свечей и лампад и в сырую прохладу пещер над Днепром, где в раках лежали нестрашные трупы святых, мощи. Сырость пещер напомнила светлый простор петербургской квартиры, коридора, порога, за которым Пимен Сергеевич простился с Ольгой.

Профессор Полетика читал славянскую вязь:

«Что ты ныне, Пимене, именуем; монахов образ, и исцелений самодеятели, воздержания ранами страсти уязвиша душевныя, гражданина ангелов и собеседника, вышния метрополи жителя, добродетелей сосед, и благочестивых утверждения Моли спастися душам нашим.

Светильник рассуждения бив, озаряя души приступающия к тебе с верою, и стязю жизни показуя тем, мудре. Тем же ты хвалами ублажаем, совершающе сотое твое торжество, Пимене, отцов похвало, постников удобрение. Моли спастися душам нашим».

На обложке тисненого черного переплета Минеи было распятие Христа. Профессор отложил в сторону книгу, похлопал по ней пальцами. Детство, печерские пещеры, церковь Старого Пимена, жена, супружество, десятилетие революции, ломбард у Старого Пимена, — эти Минеи были наивны, дряхлы и мертвы, никогда жизнь не вернется

к ним,— эта река человеческого духа умерла, с христианством покончено. Там поистине все было на крови, пусть эта кровь превратилась в России в плохой кавказский кагор и в ситные опресноки. Двадцать пять лет тому назад мораль тех лет благословила любовь профессора, и в буфете в ломбарде продаются теперь простокваша и пирожные,— весну ж профессора, строителя Полетики сменил Ласло, но труд профессор отдал социализму. Полу, любви, крови каждый человек многое отдает в своей жизни. На аукционе в ломбарде продаются швейные машины и буфеты сухаревского модерна, их маклачат чуйки. Одно непреложно навсегда — человек должен быть честен, правдив и чист, «добродетелей сосед»,— иначе — гибель,— и каждый должен иметь свою честь. Святые Пимены, мертвецы, не стали образом. В Антониевой пещере, в Киево-Печерской лавре холодно, темно, страшно,— мальчику Полетике в пещерах всегда становилось беспомощно, все делалось ненужным,— там горели лампадки и свечи, упирившиеся в вечность, и свечи подтверждали страх и ненужность всего, начиная с этих пещер: так бывает в жизни, когда все становится ненужным,— это болезнь, смерть. Профессор Полетика вечность заменил бодростью и строительством. Академик Лазарев, вкапываясь в физические законы человеческой жизни, строя физические фундаменты человеческому бессмертию, установил, что самая высокая острота восприятий у человека — в двадцать лет,— пусть так: взятое к двадцати годам человек сопоставляет всю жизнь,— и сопоставлять надо честно — во имя физических законов и строительства человеческой жизни.

Пимен Сергеевич стряхнул с мозгов мысли о прошлом. На память пришел Полтораки. За холодом пещер стал зной пустынь. И за пустынями стала Россия, СССР, строительство.

Пимен Сергеевич подошел к окну. Земля стемнела. Кремль уходил своими башнями в небесный мрак, звезды в небе светили июльски усталы, над зданием ЦИКа горел красный огонь. Под Кремлем лежала Москва тысяча девятьсот двадцать девятого года, колоссальных дел и замыслов, колоссального мужества и колоссальной напряженности. Всячески напряженная, до судорог, Москва, как весь СССР, шла стальным шагом военного похода в социализм, чтобы победить. История в те годы не шла, но бежала, не текла, но строилась, как строилась Россия. На самом деле, если б была введена униформа цехов стро-

ителей, Россия ходила б армиями. И на самом деле Москва жила в тот год бытом военного лагеря, в серых и героических буднях, в героических приказах осадного положения, не допускающих возражений, в крепостном — и не страшном — продовольствии очередей. В крепость превратился город, бывший невоенным, в городе остались старики, дети, ненужные походу истории, повисшие на нее, — город жил переуплотнением крепости. Как всегда в крепостях и в походах, из-за глетчеров и глетчерных воль, которые идут и ведут историю, — из-за глетчеров, из них, из-под них ползли сырости и плесени недовольств, неверия, усталости, предательства, грязи, зловония, потому что отбросы из крепостей некуда вывозить. И, как часто в крепостях, именно отбросы больше всего говорили о войне. Все было понятным. Именно так должны строиться истории, когда они — строятся. Отбросы надо забыть. Надо строить новые дороги в небывшее, чтобы по этим дорогам пошла жизнь, людей в историю надо гнать, ибо все разумное — действительно. Щепни истории надо закапывать в геологию, как щепни строительства.

Город и Кремль уходили в тот час во мрак неба, над зданием ЦИКа горел красный огонь знамени. В Кремле, в Китай-Городе, на улице Первого Мая, бывшей Мясницкой, пустели в тот час стеклянные кабинеты учреждений, двигавших историю. Человечья Москва перелилась в тесноту домов, в театры, в кино, в цирки, в парки, в трактиры, в пивные, не очень думая о войне и толкуя — о Кабуки, о Горьком, о КВЖД, а также о сетках жалований, о свиданиях с Марьями Ивановными, о сокращениях, о сегодняшней вечерке. Пусть так. Пимен Сергеевич думал о своей работе. Через несколько месяцев под Москвою потечет молодая река, взявшая в себя окские воды, сделанная человеком, а не геологией.

Он, профессор Пимен Полетика, своим трудом и знанием, вместе с волей революции, идущей в социализм, силою и трудом рабочих воплощал проект этой молодой реки. И это было боем за социализм, так, как понимал социализм профессор Полетика, когда человеческий труд, волею своею перестраивая реки, этими реками смывает крепостные отбросы и строит новые, братские, трудовые отношения людей. Река вместе с историей будет глетчером светлых вод и должна размыть и тесноту военных лагерей, и усталости недовольства, и время, — ибо человеческое долголетие создают не только академики Лазаревы, Воро-

новы, Штейнахи, но и освобожденный труд, освобождающий от себя человека для раздумий, разумий и досугов.

И Пимен Сергеевич увидел через мрак — теми глазами, которые есть у художников, когда художники умеют видеть не только то, что есть, но и то, что они хотят видеть.

Весенняя ночь, река, простор реки, огни на воде, морские пароходы под Москвою, гранитные дамбы. Над водою всегда по-особенному разносятся звуки, точно они влажнеют, — профессор услышал девичий смех с реки, влажный и молодой, смех комсомолки-дочери. Смех навсегда останется счастьем человечества вместе с молодостью. Но смех пояснил, Пимен Сергеевич узнал его, — это был смех Ольги, тогда, двадцать пять лет назад. В тысяча девятьсот двадцать девятом году в России мало смеялись, строительству. Да, да, — и если смех есть счастье человечества, то в напряжении собранные мышцы на лбу — есть гордость человечества. Лохматые брови профессора собрались в строгость.

Профессор зазвонил за счетом.

Профессор записал в записную книжку:

«К проекту борьбы с пустынями. Расчет смываемых полыми водами гумусов, процент сбрасываемости их в моря».

Поезд профессора Полетики уходил в десять сорок пять. На вокзале в кислых запахах и в белесом свете, как всегда, суматошились люди. За газовыми огнями фонарей рельсы уползали в теплый мрак шарить темные российские пространства. Со шпал дул ветер, по-июльски сухой. Пространства пребывали в убогости, отступая от средневековья. Поезд оказался местным, пригородные люди тащили в вагоны свою бедность.

На перроне в толпе видел профессор Полетика Евгения Евгеньевича Полторака, его форменную фуражку и плечи кожаного пальто. Полторак спрятал глаза от профессора в толпу за людские затылки, — глаза Полторака глянули очень внимательно, презрительно, — так показалось профессору. Инженер Полторак уходил за толпу с нарядной женщиной, и профессор не знал, где сел в поезд Евгений Евгеньевич.

А в вагоне на скамейке против Полетики оказались те два маклака, которых видел Пимен Сергеевич у Старого Пимена, что поражали длиннополыми своими сюртуками

и черные фуражки которых походили на лаковоклювых ворон — душ разрушения.

Старший поклонился профессору и молвил почтительно:

— Кажется, изволили видеться нынче в Пименовском на аукционе?

Пимен Сергеевич не ответил, в неловкости стечения явлений сделал вид, что не слышал соседа. И соседи забыли о профессоре. Поезд пошел шарить просторы рельс. Зареву Москвы погибло очень быстро. Поля легли первобытностью и тишиной, и тишина вселилась в вагон. Люди рассовывали под головы свои узелочки бедностей и засыпали. В вагоне захрапело, запахло спящими людьми, сапожной кожей и свежеею гарью. Свечи в тусклых фонарях превращали вагон в конские денники. Пимен Сергеевич приладил было к столу свечу, чтобы читать, но пришел кондуктор, постоял раздумчиво и приказал свечу потушить, объясняя, что свечи в неурочном месте зажигать недозволено,— Пимен Сергеевич возразил было, сославшись на вагонный мрак,— кондуктор разъяснил снова и не спеша:

— Вагоны сделаны не чтобы читать, а чтобы ездить. Тушите во избежание штрафа.

Поезд волочил время российскими всеями, останавливая его станциями. Полетика дремал, подложив подушку под голову. Его спутники бодрствовали, эти два брата, явно ярославско-славянского происхождения. Спутники сняли свои картузы, оказались причесанными на прямой пробор. Всю дорогу они пили коньяк, обмениваясь редкими репликами. Примерно через каждые полчаса старший открывал чемоданчик, вынимал бутылку с коньяком и старинный серебряный поставец, выпивал сначала сам, затем наливал брату, брат пил,— старший убирал поставец и бутылку в чемодан, младший спрашивал:

— Бисер брать будем?

— Обязательно,— отвечал старший.

Полчаса они молчали, пили вновь, младший спрашивал:

— Фарфор брать будем?

— Обязательно,— отвечал старший.

Еще через полчаса младший спрашивал вновь:

— Так называемые русские гобелены брать будем?

— Обязательно.

Поезд волочил ночь, останавливая время огнями — красный, желтый, зеленый — и криками станций. Вагон мирно храпел в священнодействии ночи. За окнами пылил

небом сухонький месяц, разводил душную пыль. Сбрасывалась назад, за окнами, избяная деревенская матушка-Русь,— поля, перелески, болота, бронницкие и коломенские земли, деревенские авосьные проселки. Поезд, несмотря на росную сухость месяца, вздымал за своими шумами на шпалах пыльные вихри, погрохатывая эхом.

В полусне Пимен Сергеевич думал о том, что там, где при Тамерлане цвели сады,— там теперь пустыня, песок, зной, камень,— что татары, бывшие в России на коломенских этих землях, приходили в Арало-Каспийские степи вестниками не только истребления, но и монгольских песков,— пустыня Аравии некогда была богатейшим и цветущим государством культуры, наук, религии,— красные пески Египта так же цвели некогда,— а татары? пять веков назад, на исторической памяти России, совсем недавно, на низовьях Волги стояли богатейшие города татар, о них писали арабские и генуэзские ученые и нормандские купцы,— ныне эти города потеряли в песках даже следы свои,— безводный зной песков надвинулся на Поволжье до Нижнего, на Донбасс, на Кубань, пески, зной, смерть, сделавшие лица татар желтыми и сухими, как пески.

— Позднее Александра брат не будем?— спросил младший.

Старший брат ответил:

— Невозможно.

Поезд пришел в Коломну за час до рассвета, когда ночь запылилась и похолодала зеленым востоком. Строительство, место боя за социализм, легло кругом огнями, шумами и бодростью, переделывавшими все, вплоть до воздуха, но станция пребывала еще в тылах и заброшенности. После вагона стало бодро. Полетику встречал инженер Садыков.

На перроне сошлись и Полторак со своей спутницей, и Полетика, и маклаки. Кругом за шпалами горели бередливые огни строительства, но за папертью станции, за станционными стройками к городу пустая площадь проваливалась во мрак самый город. Там лаяли древние собаки. В темноте на площади фыркали лошади, и ночь от города пахла конским потом.

Полторак сказал:

— Вы тоже с этим поездом? Жаль, что в разных вагонах. Вы не знакомы? Надежда Антоновна Саранцева, артистка. А, и вы здесь, рыцари старины? Это мои друзья

и поставщики — краснодеревщики-реставраторы, Павел и Степан Федоровичи Бездетовы.

И крикнул во мрак, не ожидая ответов:

— Эй, извозчик!

Инженер Садыков, встречавший профессора, знобивший после бессонной ночи, заботливо поддерживал Пимена Сергеевича. Скулы Садыкова землили и плечи сутулились. Приезд профессора на строительство был событием. Инженер Садыков, инженер от станка, как шутили о нем, научился уважать знание, собранное в этом старике. Старик шел бодр, никому не отдавая своего чемодана. Садыков докладывал сухо, как рапорты. За шпалами ждала автодрезина, и автодрезина пошла темнотою, особенно четкой перед огнями строительства. Из-за темноты, в которой рыскала узкоколейка автодрезины, долетали лязги ночных работ. Дрезина вошла в фонари, пошла между тяжестями складов и стала у барачков под земляными рвами. Садыков пошел вперед, по насыпи, около рвов развороченной земли, в траншеях цементных бочек, кирпича, леса, бута, вырезанных и срезанных огнями фонарей. Шли окопами боя, где гранит и бетон противопоставлялись природе, где взяты были железом и человеческим трудом под уздцы земля, реки и леса. Циклопический монолит уходил цепью фонарей в километры за Оку.

Профессора ждала мягкая кровать, свеча на ночном столике, последний номер журнала «Строительство», на полу под кроватью чуть заметно обывательствовал ночной горшок. Садыков отклонялся. В комнате с открытыми окнами шелестело июльской ночью и сторожкой тишиной новых строек, где тишина пахнет сосною. За окном пошвыстывали паровозики, сопели небывалыми болотными птицами землечерпательные снаряды, под самыми окнами перешвыстывались ночные сторожа, подчеркивая тишину и ночь. Электричество всегда бодро. Дом для приезжающих спал в электрическом свете. Коридор в плакатах и тишине хранил сосновые запахи. За стенами спали шведы, немцы и американцы, приехавшие на строительство работать и собирать машины.

Пимен Сергеевич не сразу лег в постель. Из потрепанного своего чемоданчика он вынимал толстую клеенчатую тетрадь, с красным обрезом, такую, которые называются «общими» и бывают у школьников, и профессор вписывал в нее математические формулы, за которыми скрывались мысли о зное песков.

Древнейшие русские земли, Поочье, Ока, Москва,— рязанский край, старая татарская, старая московская и разбойничья дороги,— история России от муромы, от мери, рязани, мещери, от удельных времен до железных дорог,— памятник защиты от крымских набегов и смутных лет казака Ивана Заруцкого, последнего мужа Марины Мнишек, женщины, потерявшей смерть,— экспедиции полковника Римана,— а до этого, до России,— сарматы, аланы, финны, скифы, каменный и бронзовый века. Пейзаж искони русский: река Москва полями вливается в Оку, над Окою холмистые берега, заросшие соснами, щуровскими и чернореченскими лесами,— пейзаж понур — поля, холмы, дерево, трава, камень, пески, валуны, былинные окские воды, юрские эпохи. В чернореченских лесах — пожары, болота, волки. Летом, в белые безнебные ночи было три года тому назад, здесь: сливались две реки, безмолствовал превращенный в артсклад голутвин монастырь, дымил коломенский завод, умирала Коломна, русский Брюгэ, начавшая умирать с дней, когда пролегла Казанка,— были шпалы Казанки, мосты через Оку и Москву, сосны, песок, небо, песни крестьян из Выселок и Бобренева, где женщины сажали картошку, косили луга и пасли скотину, а мужчины ходили обивать железо на коломенском машиностроительном заводе.

В этом месте страна давала бой старой России, Расее, Руси — за социализм.

Три года тому назад, в июне, пришли на луга сюда люди, мерили и бурили землю, всматривались в пространство и в будущее, вкапывались в юрские и пермские эпохи, ходили около рек и по лугам, жгли костры, так же, поди, как некогда кочевники,— и стало известным, что даден здесь будет бой, перестраивающий историю и геологию,— что ни Бобренева, ни Парфентьева, ни Амерева, ни Сергиевской и многих других деревень больше не будет, ибо земли их уйдут под воду. Бобреневцам надо было уходить на новые места. Мужики не соглашались до боя,— но за людьми с теодолитами пришли тысячи людей, люди свозили материалы к бою, строили дороги, форпосты, редуты, бастионы, с людьми пришли богатство, бодрость и дела,— и через год бобреневцы решали, что они, конечно, надули пришедших: пришедшие предлагали перенести и построить Бобренево заново, по-европейски, образцовым поселком, бабы требовали, чтобы Бобренево было перенесено и поставлено точь-в-точь, как было, и бабы отмеривали веревочками, примечая

узелком широту и высоту потолков, дверей, окон, пазух, чтобы требовать точности точь-в-точь по узелкам,— мужики ж, хитруя, пошли работать на строительство. На строительстве Бобренево прозвали Дуракиным, Дуракино волком на четвереньках уползало в хорешовские леса от строительства, но и село Хорошево поползло за Дуракиным, но дуракинцы ж со строительства потащили домой рубли, новые аршины соображений, книги, сытость, разговоры о небывалых делах. Здесь строилась молодая река, созданная не геологией, но сделанная человеком.

Москва, Ока, Поочье. Река перестраивала геологию. Река уничтожала не только деревни и историю, но и археологию. Деревни уходили на новые места. Инженеры бурили и перекапывали подпочвы. Археологи прощались с тысячелетиями. Археологи рыскали своими партиями и раскопками по десяткам квадратных километров, которые навсегда будут залиты водою, искали становища первобытного человека, городища древней мещеры, курганы,— собирали доисторию. Когда перемычки освободили окское дно, археологи искали затонувшие в водах века.

Строители знали, очень знали ту бодрость рождения нового, что бывает на всяком строительстве, археологи знали бодрость прощания. В мистику рождения на крови не следовало веровать. В всяях и в коломенской старине азиатская баба Россия нищенствовала очередями недостатков и умираний,— здесь на строительстве, где три года назад, как сотни лет назад, была тишина лугов,— сейчас здесь за скрежетом и шумом побед боролась за будущее новая жизнь, бодрость дела, упорный и веселый труд, разумность, богатство. Старорусские было отступали к дуракинцам. Были рассчитаны профили рек Оки, Москвы, Клязьмы, их тальвеги, ложа, их геологические основания, их живые сечения, расходы, режимы, силы,— все то, что дает знание реки. Профили Москвы-реки, ее бьефы около городов Москвы и Коломны разнятся всего на семь метров, то есть Москва-река под городом Москвою выше Москвы-реки под Коломной — по отношению к уровню океана — на семь метров, а стало быть, если подпереть Москву-реку под Коломной хотя б на восемь метров, воды Москвы-реки потекут вспять. Плотина под Коломную — монолит — строилась в двадцать пять метров, с таким расчетом, чтобы окская вода, погнав вспять москворецкую, потекла б на Москву. Под древним городом Росчиславлем, под Коломную, под Бронницами возникали громадные

озера, водохранилища новой реки, перестраивавшие географию. Котлованы под монолитом обнажали речное дно, как века археологов. Археологи провожали века.

Июльский день наступил золотом дня, росой и легкими в небе облачками. Пимен Сергеевич почти не спал ночи. Аукционы Пименов остались на-вчера, чтобы почерстветь. До того как войти в столовую, один, стороною и потихоньку, Пимен Сергеевич ходил к постоянному реперу осмотреть его и проверить,— у Полетики была примета, он считал первым признаком порядка работ порядок у реперов. Бетонный сторож строительства хранил луга в порядке полнейшем. Строительство будничало работами. В рабочем поселке гремели громкоговорители, оставленные с ночи.

К семи часам в столовую дома приезжающих вышел бодрый старик, строитель-делатель. Прорабы и техники в столовой, сосредоточенные люди в брезентовых сапогах до паха, молча съедали яичницу, пили кофе и уходили в бой. За домом зноем работ шипели экскаваторы. Расторопные горничные в белых халатах звенели посудой.

На стене в столовой, на доске объявлений висели будни приказов. Профессор всегда внимательно читал эти будни, примечая, что порядок их так же существенен, как порядок у реперов. Десятитысячная армия строителей имела в себе все, что имеет в себе десятитысячное человеческое общество, от милиционера до радиовышки. Стенгазета была печатной. Пимен Сергеевич стал читать, ожидая Садыкова.

Фельетон посвящался дуракинцам. В фельетоне сообщалось, что на строительство приехал кинооператор — фотографирует показательного прогульщика. Один из показательных прогульщиков тут же был приклеен. Парень лежал головою в яму, ногами и спиною вверх, спал с тросточкой в руке. Объявлялся конкурс на прогульщика. Женотдел высмеивал нарядниц. Карикатура изображала сводную физиономию инженера или техника в фуражке с кокардой, с десятком рук, обнимающих сразу бутылку портвейна, работницу в платочке, барышню в шляпке и ватерпас. Передовая писала о том, что строительство есть освобождение труда и освобождение человеческого времени, которые созидает Союз республик. На строительстве было два кино, синяя блуза, живая газета и сем-

надцать библиотек-передвижек, они объявляли о себе в стенгазете. Во второй передовой разбиралось и клеймилось изнасилование работницы тремя грабарами и субботние балы техников на голутвинском вокзале. На доске инженерских объявлений извещалось о десятке собраний десятка общественных организаций, расписание лекций, читаемых рабочим, сообщения главинжа, наряды технического бюро, извещения о новых экземплярах зарубежных строительных журналов.

Пимен Сергеевич любил вдыхать этот бодрый воздух приказов напряженного труда, размеренной поспешности, указывающий, что все пахнет новым, как в этой сосновой столовой дома приезжающих, новые стены, новые столы, новые скатерти, новая витрина с выступившей на раме золотой и клейкой смолой. Насилие работницы, чубаровщина — было мерзостью, глупые балы с подкрашенными машинистками на железнодорожной станции были обывательщиной, — все это тонуло в главном, в решающем, в разумном — в строительстве.

Пимен Сергеевич ожидал инженера Садыкова. Инженеры и техники разошлись, профессор остался в одиночестве. Профессор спросил у белой горничной:

— Что же это я в газете прочел, девушку негодяи... опакостили? Как же это?

— Это еще что, — строго ответила горничная и сердито звякнула тарелкой. — У нас у одного инженера жена повесилась. Мы ему покажем, что такое есть мы, женщины!..

И замолчала, не пожелав говорить, ушла за перегородку к кубу. Пимен Сергеевич плохо расслышал ее фразу, сказанную соработнице:

— Обязательно пойдем, мы ему покажем, как...

Федор Иванович Садыков пришел с опозданием. Горничные убирались, не обращая на Пимена Сергеевича никакого внимания, шепчась у себя за перегородкой. Садыков пришел пасмурным, деловым, усталым и действенным, сапоги его облипли по щиколотку свежей грязью, лоб мокнул от солнца, и от козырька фуражки лоб раздвоился загаром. Этот инженер был главным инженером строительства, — и Садыков не походил на главинжа, на маршала, этот инженер от станка: главинжи, потому что им приходится командовать десятками тысяч людей, миллионами тонн гранита, десятками миллионов денег и мозгами, — люди кабинетные, отгороженные секретарями и докладами, — кабинеты создают пухловатую белизну и одевают

в мягкие пиджаки, — от Садыкова пахло землей, расстегнутый ворот его рубахи обнажал ключицы, походил он на мастерового, и секретари за ним не ходили. Профессор Полетика любил этого человека прямых идей и прямых действий.

Вслед инженеру Садыкову в столовую пришел инженер Полторац, приехавший из Коломны.

— Простите, я запоздал, — громко и трудно сказал Садыков. — Вчера умерла моя бывшая жена, ставшая после меня женою инженера Ласло. Она повесилась, сегодня ее похороны. Сейчас мы перейдем в контору, вам сделают доклады, я уже всех оповестил.

Садыков сел на скамейку у стола, положил руки на стол. Солнце аккуратно обрезало фуражку на бритой его голове. Горничные перестали шуметь посудой. Солнце светило по-прежнему.

Повторности явлений! Ольга не была уже женою Ласло, — жена, Старый Пимен, ломбард у Старого Пимена, печерские пещеры, Четьи-Минеи, — все это ушло во вчера, в десятилетия, в никуда, — беспомощность антониевых пещер есть болезнь, но собранные в напряжении мышцы на лбу — есть гордость?!

Пимен Сергеевич спрятал свои глаза под брови, крепче уселся на скамье. Стечение случайностей, повторности — систематизировались.

Просвистал мимо состав думпкаров. Пропела сирена.

— Каким образом она повесилась? — спросил профессор.

— Это сложная история, — ответил Садыков, — я должен был повидать Ласло, чтобы спросить его, будет ли он на похоронах, ибо иначе на похороны пошел бы я. Мне трудно говорить об этом, Пимен Сергеевич.

Садыков помолчал.

— Я не ошибаюсь, что первая жена Ласло, Ольга Александровна, была вашей женой?

— Да, — ответил Пимен Сергеевич.

— Она живет в Коломне вместе с дочерью Любовью Пименовной Полетикой и Алисой Ласло.

Инженер Полторац спросил удивленно и поспешно:

— Любовь Пименовна, девушка лет двадцати трех?

— Да, они — моя жена и дочь, — сказал Полетика.

— Любовь Пименовна работает на археологических раскопках, она коммунистка, — сказал Садыков.

Разговор в этом месте прервался, ибо вошел в столовую охломон Иван Ожогов, сторож на строительстве, человек с сумасшедшими глазами. Он торопливо здоровался за руку с горничными, с Садыковым и Полетикой, рекомендуясь каждому в отдельности: «Истинный коммунист Иван Ожогов до тысяча девятьсот двадцать первого года!» Он остановился перед Полтораком, скорчил страшную рожу, выразившую презрение, вильнул задом, спрятал за спину руки, сказал: «С вами здороваться не желаю, с братцем моим целуйтесь, вредитель!» — еще раз скосил глаза и рз-тянул в бессмысленность губы, повернулся к Полетике, прижал руки к груди, умилился, крикнул:

— Это вы и есть старый большевик профессор Пимен Сергеевич Полетика?! Нам надобно поговорить!

Около половины одиннадцатого дня профессор Полетика и инженер Садыков вышли из конторы на осмотр строительства.

Работы раскинулись на десятки квадратных километров. На лугах, где испокон веков текли Москва и Ока, работало десять тысяч рабочих, — день и ночь в работах. Семь тысяч землекопов, тачечников и тачечниц, каменотесов, плотников, маляров, столяров, штейгеров, литейщиков и прочих рабочих в ряд с машинами перекапывали, перестраивали природу. Русский «Нами», хоть Полетика и косо смотрел на автомобиль, отвез Садыкова и Полетику к монолиту. Полетика хотел посмотреть, как достраивались плечи и замок, — то место, где монолит впаивался в геологию. Краны складывали ряды гранитов, нарванных гущенным воздухом. Сотни тачечниц свозили землю, заменяя экскаваторные рефулеры. Прораб в соломенной шляпе, в белой рубашке и в сапогах до паха убеждал инженера Садыкова дать еще одну «руку» рабочих, и зубы техника блестели под солнцем, готовые грызть тот самый гранит, которым и в который вкапывались замки монолита. Ока сломала свое русло, протекая в двух километрах отсюда по отводному каналу. У перемычек сипели, захлебываясь водою, насосы. Котлован обнажал окское дно, пески, гранит, ракушек. Майоны экскаваторов скрипели тяжестями, вычерпывая землю и въедаясь в нее. Профессор Полетика залез на граниты, присматривался, смотрел кругом, пряча глаза под брови. Над ним горбились краны, под ним к подножию плотины, в котлован сползали рельсы вагоне-

ток. Марионы грызли известняки. Тачечницы работали у рельс. Под солнцем пахло развороченной землей и бетоном. Тачечницы под Полетикой, сотни здоровенных девкищ и бабищ в пестрых паневах, в красных платочках, бо-соногие и с засученными рукавами, одна за другой катили тачки по доскам, валили землю в вагонетки, по другим доскам шли с пустыми тачками за новой землей.

Этот пейзаж, где маршалами в бою со старой Россией за Россию новую стояли Полетика и Садыков, совершенно не походил на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге.

И тогда в неурочный час загудел гудок.

Тачечницы бросили тачки по команде гудка. Женщины стали строиться в ряды. Женщины пошли с работ, молча, суровыми рядами. В километре отсюда, у Константиновской, также возникла пестрая колонна женщин. Толпа пошла от перемычки. Женщины уходили к городу.

— Что это такое?— спросил Полетика.

— Не знаю,— ответил недоуменно Садыков. Женщины уходили молча и деловито, по-солдатски.

Прораб на велосипеде поехал догонять женщин, обогнал их, слез с велосипеда. Женщины прошли мимо него молча, не останавливаясь. Прораб вернулся, сдвинув соломенную шляпу на затылок. Женщины уходили. В полях шло несколько таких женских колонн. Прораб бежал к полемому телефону.

— Забастовка, что ли?!— крикнул на бегу прораб и махнул шляпой.

Садыков пошел к «Нами». Полетика побежал за ним. Техник, бросив телефонную трубку, помчал за «Нами». Брошенная не на место телефонная трубка вдруг запищала и сразу надорвалась. По лугу рысью навстречу «Нами» бежал председатель рабочего комитета. По команде неурочного гудка на всем строительстве женщины бросили работу и пошли в Коломну. Председатель рабочего комитета, мчавшийся рысью, взмокший и задыхающийся, повалился на землю и, лежа, с сердцем, готовым разорваться, докладывал Садыкову, чего не понимал. В конторе все были на ногах, телефонные трубки готовы были пососкочить со своих крюков. В коломенский исполком уезжал автобус, и из исполкома по лугам мчал мотоциклет. Экскаваторы перестали сипеть. Солнце светило полднями.

Расея, Русь, Коломна: провинция. Кирпичный красный развалившийся забор на той стороне улицы упирается

в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом — в церковь, дальше площадь, опять церковь, ветлы, летнее небо, мостовые. Свинья лежит в пыли посреди дороги. Из-за угла выехал водовоз, свинья не посторонилась, водовоз ловко нацелился и проехал свинье по хвосту, свинья взвыла, став на дыбы. А за калиткой — зеленый двор, заборчик в сад, терраса в диком винограде, позеленевший домик под липами, полуразваленная баня, тишина, солнце, пес на солнышке, подсолнечные солнца. За окнами к улице живут хозяйки дома, сестры-старухи Капитолина и Римма Скудрины. За окнами в сад, за террасой живет прежняя жена Полетики и Ласло с двумя дочерьми, с Любой Полетикой и Алей Ласло. В бане живет, одиночеству с собакой, охломон Иван Ожогов, родной и младший брат Капитолины и Риммы, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова.

Речь идет о сестрах. В комнате Капитолины Карповны очень бедно и очень чисто прибрано, устоялось десятилетиями, как должно быть у старой девы, у девы-старухи, — кровать под белым покрывалом, рабочий стол, ножная машинка, манекен, кисейные занавески.

Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, пребывали потомственными почетными столбовыми мещанками города Коломны и всея мещанской Руси, белошвейками, портнихами, — и никому кроме себя по существу они не были нужны. Сестры уродились погодками, Капитолина — старшая. Жизнь Капитолины прошла, полна достоинства мещанской морали, вся на ладони всегородских глаз и всегородских моралей. Благословлена всегородской сволочью, Капитолина Карповна была почетным мещанином. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всенощными, все ее дни склонились над мерезжками и прошивками блузок и сорочек, тысяч аршинов полотна и миткаля, что ни разу никто чужой не поцеловал ее, — и только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые делают жизнь ненужной, — а в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, — и ни разу в жизни они не знали любви. Она осталась примером всегородской чести, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, бога, коломенской морали.

И по-другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки.

Это случилось двадцать восемь лет тому назад, это длилось тогда три года — тремя годами всеколоменского

позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это случилось в дни, когда годы Риммы закатывались за тридцать, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В Коломне жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь. Он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма бросила к чертовой матери всеколомскую мораль, подчинившись своей любви. Все случилось всеколомски позорно и неудачно. За Коломной рос семибратский лес, за Москвою-рекою легла пьяная лука, где можно было бы сохранить тайны: Римма отдалась этому человеку ночью на бульварчике, называемом Блюдечком, и мальчишки подкарауливали их из-за кустов, чтобы улюлюкать и предать наутро позору. И ни разу за все годы позора Римма не встретила со своим любителем под крышею дома, встречаясь в полях и на улицах, в развалинах кремлевской Маринкиной башни, на пустующих барках, даже осенью и зимой. Маринкина башня хранила в себе не только смерть Марины Мнишек, но и любовь Риммы. На улицах в Римму чужие тыкали пальцами и не узнавали свои. Даже сестра Капитолина сторонилась тогда сестры Риммы. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наушала — тоже бить — запрудских парней, — и Коломна своими законами стояла на стороне законной жены. Римме не давали прошивок и мережек, чтобы шить сорочки, и она голодала. У Риммы родилась дочь, окрещенная Варварой, ставшая наглядным пособием позорных свидетельств и позором. У Риммы родилась вторая дочь — Клавдия, и Клавдия стала вторым свидетельством позора. У Риммы в паспорте значилось: «имеет двоих детей», «девица», — как было бы записано в России до революции и у Марии, матери Христа. Казначейский любитель бил Римму и любил ее через водку, и он уехал из Коломны с законной женой. Римма осталась одна с двумя девочками, в жестоком нищенстве и позоре, женщина, которой тогда исполнилось много уже за тридцать лет.

И с тех пор прошло еще почти тридцать лет, время заставило, время просеяло, — и Римма знает, что в ее жизни — было счастье, — ее жизнь полна, заполнена. Старшая Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у нее уже двое детей. Муж Варвары служит чертежником. Варвара служит учительницей. Младшая Клавдия служит дошкольницей. Римма Карповна ведет хозяйство, домона-чальница, родоначальница. Римма Карповна счастлива

своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной.

И у Капитолины Карповны теперь только одна жизнь: жизнь Риммы, Варвары, Клавдии, внучат. Ее целомудрие библейской смоковницы и всеколоменские честь и честность оказались ни к чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни. Время просеяло: биологическая честь Риммы оказалась сильнее всеколоменской чести Капитолины, позор превратился в счастье, ибо ничто только ничем и может быть, честь же Риммы создавалась подобно речным перекатам и плесам, подпертым монолитом любви. В комнате Капитолины Карповны — манекен, швейная машинка, остановившееся время.

Над Коломной умирали колокола.

Российские древности, российская провинция, поочье, леса, болота, деревни, монастыри, усадьбы. В Коломне двадцать семь церквей, четыре монастыря. Цепь городов — Таруса, Кашира, Росчиславль, Коломна, Рязань, Касимов, Муром, память российских уделов и переулков в целебной ромашке истории, каменные памятники убийств и столетий, седые камни Кремлей: в Маринкиной башне в Коломне умерла Марина Мнишек. Если Москва походила в тот год на воинствующую крепость, Коломна пребывала городом глубокого тыла, податей, наборов и разверсток, принявшая войну, потому что войну приняла страна. Город обывателей жил в профессиональных книжках и в очередях, и в лавках не было товаров, отданных фронтам, и в лавках было две очереди — профкнижников и не имеющих их, как билеты в кино были для иных — двадцать пять, сорок и шестьдесят копеек, профкнижникам же — пять, десять и пятнадцать. Профкнижки в Коломне, в домах, где они имелись, лежали на первом месте, рядом с хлебной карточкой. Тылы обывателей в войнах нищают без крови, желтеют, немотствуют без громов и пушек. Люди в тылах притихают и понимают немного. Дома в тылах гложут, зарастают бузиной, разваливаются. Очереди в тылах пасмурны и медленны, как уездные сумерки. В тылах усиленно тогда пасут скотину и мародерствуют мародеры. Алкоголь в городе продавался, по существу говоря, только двух видов — водка и церковное вино. Водки потреблялось много и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много — как на христову кровь и теплоту, так и для женского пола. Папиросы в городе курили «Пушку», одиннадцать копеек пачка, и «Бокс», четырнадцать копеек,—

иных не курили. Как за водкой, так и за папиросами — очереди становились профессиональная и непрофессиональная, уже не по профсоюзному принципу, а по табачно-алкогольному. Глубокий тыл командовал Коломной. Заведующий музеями старины ходил по Коломне в цилиндре, в размахайке, в клетчатых брюках и отпускал себе бакенбарды, как Грибоедов. Грибоедовым его и прозывали. В карманах его размахайки хранились пудовые ключи от музея и монастырей. Пахло от Грибоедова луком, водкой и потом. В доме его, похожем на чулан, валялись музейные библии, стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков, и величествовал в пыли у него деревянный голый в терновом венце Христос, взятый из бобреевского монастыря, работы семнадцатого века. В кабинете у Грибоедова стояло красное дерево помещика Каразина, на письменном столе дворянская фарфоровая фуражка с красным околышем и белой тульей служила пепельницей. Помещик Каразин Вячеслав Иванович служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за двадцать за пять до революции, ибо, будучи послан на расследование воровских и дебоширских действий своего коллеги, рапортовал командиру полка истину, ненужную шефу кавалергардов. Шеф, сиречь императрица Мария Федоровна, покрывал вора. Каразин подал в отставку и поселился в усадьбе, приезжая оттуда раз в неделю в Коломну за покупками, ездил в колымажной карете с двумя лакеями, указывал белой перчаткой в лавке Костакова, чтобы завернули ему полфунта зернистой, три четверти балыка, штуку севрюжки. Один лакей расплачивался, другой принимал вещи. Однажды купец Костаков потянулся было к барину с рукою, — Каразин руки не подал, молвил кратко: «Обойдется». Ходил Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели. Революция выселила Каразина из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку. В очередях помещик стоял в фуражке, имея вместо лакеев перед собою жену. Существовал Каразин распродажей старинных вещей. По этим делам заходил он к музееведу. У музееведа видел он мебель, отобранную у него из усадьбы волею революции, смотрел на нее пренебрежительно. Но увидел однажды Каразин на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки и покраснел, как околыш.

— Уберите, — сказал он строго.

— Почему?— спросил музеевед.

— Фуражка русского дворянина не может быть плевательницей,— ответил Каразин.

Знатоки старины поспорили. Больше Каразин не переступал порога к музееведу.

В Коломне проживал шорник, который благодарно помнил, как Каразин, когда шорник в малолетстве существовал у Каразина в услужении казачком,— как выбил ему Каразин одним ударом левой руки за нерасторопность семь зубов.

Над Коломной умирали колокола, их снимали со звонниц для треста «Рудметаллторг». Блоками, бревнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонниц, вешались в высоте над землей и бросались вниз. Падали колокола с ревом и ухом, врезываясь в землю аршина на два.

Краснодеревщики-реставраторы Павел и Степан Федоровичи Бездетовы всегда жили в Москве на Владимиродолгоуковской улице, называвшейся в старину Живодеркою. На Живодерке ж, к слову, жил и Евгений Евгеньевич Полтораки. Живодерка была улицей кривою, узкою, темною, в тупичках и подворотнях, всегда забитая громовыми ломовыми извозчиками и пылью,— примерная московско-азиатская улица.

Братья Бездетовы были преданы искусству старины и безыменности.

Искусство русской красной мебели, начатое в России Петром, имело свои памяти. У этого крепостного искусства нет писаной истории, и имена мастеров время не находило нужным сохранять. Это искусство пребывало делом безыменных одиночек, подвадов в городах, задних коморок людской избы в усадьбах, горькой водки и жестокости одиночества. Жакоб и Буль оказались учителями. Крепостные подростки посылались в Москву и в Санкт-Петербург, в Париж, в Вену,— там они обучались мастерству. Затем они возвращались — из Парижа в Санкт-Петербургские и московские подвалы, из Санкт-Петербурга — в людские коморки — и творили. Десятками лет иной мастер делал какой-нибудь самосон, или туалет, или бюро, или книжный шкаф,— работал, пил и умирал, оставив свое искусство племянникам, ибо детей мастеру не полагалось,— и племянник иль продолжал искусство дяди, иль

копировал его. Мастер умирал, а вещи жили в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосонах умирали, в потайных ящиках секретеров хранили тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко, бронза, завитушки, цветочки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец: у Павла солдатские линии солдатского мASONства, строгий покой, — красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. Когда пало крепостное право, питавшее это искусство, крепостных мастеров заменили мебельные фабрики. Но племянники мастеров — через водку — остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину, но они сохранили навыки и традиции своих дядей.

Павел и Степан Бездетовы проживали племянниками великих мастеров; они одиночки, и они молчаливы, но они обучались кроме дядей еще в торговой школе и в Строгановском училище. В память дядей они жили в подвале.

Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику, не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая первого. Он — антиквар, он реставратор старины. Он найдет на чердаке московского дома, в ломбарде, в уездном городишке, в сарае несожженной усадьбы стол, трельяж, диван — екатерининские, павловские, александровские, и он будет месяцами копать над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он — реставратор, он глядит назад, во время вещей, — чего доброго, он найдет в секретном ящике бюроца пожелтевшую связку писем. Евгений Евгеньевич Полтораки будет утверждать, что они, эти реставраторы, горды своим делом, как философы, и любят свое дело, как поэты. Они обязательно чудаки, и по-чудачески они продадут реставрированную вещь такому же чудачу-собирателю, с которым при сделке выпьют коньяка, перелитого из бутылки в екатерининский с орлами штоф и из рюмок бывшего императорского алмазного сервиза.

Коломна пребывала в дремучей тишине и в первобытном, предрассветном мраке, пропахшем конским потом,

когда братья Бездетовы вышли со станции. Евгений Евгеньевич Полторак обогнал их на извозчике. Он остановил извозчика, прыгнул с пролетки, сказал Павлу Федоровичу:

— Завтра вечером у Скудрина!

Июльские ночи в Подмоскovie уже осенни, темны, медленны. В ночных мраках всегда есть путаница пространств и запахов, когда пахнут уездные нехитрые цветы и ничего не видно за мраком. Рассветы ж уничтожают таинственность, принося свет. Город холодал зеленым светом востока. Восток полиловел, стали мутнеть пространства. Улицы пребывали в предрассветном лае собак, в булыжных мостовых улиц, в гробах каменных домов, умиравших последним полустолетием. Пятницкие ворота вели в Кремль,— те самые ворота, из которых Димитрий Донской пошел на Куликово поле. Крепостные стены лишаались в пыльном сумраке, заросшие бузиной и веками. Башня Марины Мнишек подпирала небо, зацепилась за облако, спрятала свое подножие в туман. Земля вылезала из ночи, ночь слабела востоком. С лугов на город и на рассвет ползли туманы.

В одном из домов в Кремле, в одиноком окошке горел свет. Этот дом принадлежал музееведу. Братья подошли к окну, заглянули в комнату. Чуланоподобная комната развалилась стихарями, орарями, ризами, рясами. Посреди комнаты сидели двое: музеевед сидел против голого человека. Голый человек скрестил руки и пребывал в неподвижности. Музеевед налил из четверти чарку водки и поднес ее к губам голого человека,— тот не двинул ни одним мускулом. Музеевед выпил водку. Голову голого человека оплетал терновый венец.

И братья разглядели: музеевед пил водку в одиночестве, с деревянной статуей сидящего Христа, вырубленной из дерева в рост человека. Музеевед пил водку, поднося чарку к деревянным Христовым губам. Музеевед расстегнул свой грибоедовский сюртук, обнажив волосатую грудь, баки его клокочилились. Музеевед был безмерно пьян. Христос был безразличен. Деревянный Христос в терновом венце, с каплями крови на груди, со скрещенными руками, казался живым человеком.

— Вот сукины дети!— удивленно сказал младший Бездетов.

Башня Марины Мнишек упиралась в небо, ее подножье обнимали туманы. За лугами, за Москвою-рекою солнце собиралось вылезти из-за земли, родить новый день. Ночь деловито бледнела, и свет вытаскивал из мрака колокольни церквей, мельницу под домом музееведа, плотину и ветлы, смывал с них неясности и ставил их на дневные места. Свет в окне музееведа побледнел. Ночь пряталась в овраг под кремлевский вал.

Мимо мельницы и водокачки через плотину братья прошли в Запрудье. У мельницы сыро пахло медуницей, хоть и был рассвет пыльным. Под рассветом стыла дремучая тишина, перезванивая заутренями уцелевших церковных звонниц.

От ночи ничего не осталось. Свет вынул из мрака и поставил на свои места пространства. Туманы спешили исчезнуть. Лица братьев были бледны, обманутые ночью, которая ничего не оставляла.

Яков Карпович Скудрин жил в собственном колонном доме в Запрудье, у Скудрина моста. Братья остановились около омута, и братья встретили старика в рассвете, в тумане, у плотины. В ночном белье, босой, с правой рукою в прорехе, с хворостиною в левой руке, старик пас коров. Солнце выкинуло свои лучи из-за лугов, уперлось в церковные кресты и в Маринкину башню. Сразу захолодала роса. Пролетели над головами обалделые стаи галок. Город заныл колоколами, стаскиваемыми с колоколен. Вдалеке на строительстве, на подрывных работах, бабахнул кислород. Яков Карпович не примечал Бездетовых, пребывая в раздумье,— узнав, обрадовался, закричал, засопел, заулыбался, пошел навстречу, произнес:

— Ааа, покупатели... А я для вас теорию пролетариата придумал... Приехали...

— Пасешь?— спросил Павел Бездетов и хихикнул.

— Пасу,— ответил старик и захихикал за Павлом Федоровичем.

— То-то.

— То-то и есть.

— Смотришь? Караулишь? ты, вояка!..

— Караюлю. А что?.. и воюю, да!.. Я вам идею придумал для Евгенья Евгеньича.

— Евгений Евгеньевич наказали сказать, что придут к тебе вечером. Он с нами приехал... А Грибоедов водку пьет со Христом.

— Пьет.

Трое они пошли в целебную ромашку улицы, гоня перед собою скотину. Летали над ними обалделые стаи галок, высоко в небе, уже в солнце, и летали низко над землею ласточки, провожая ночь. Ныли над городом колокола, тащимые со звонниц. Улица пребывала в безмолвии ласточек, заросшая целебной ромашкой, пустая и дряхлая, времен императорских уделов. Пролетела последняя летучая мышь. Сивые коровы медленно срывали головки ромашкам и барвинкам. Наступал день.

— Слышите, ноет,— сказал Скудрин.— У многих в городе нервное расстройство произошло из-за ожидания падения колоколов. Знаете, неопытные стрелки на полигоне,— у них глаза жмурятся, когда сосед по роте стрелять собрался. Колокол упадет, точно из пушки бабахнет. Ну, многие в городе так и ходят, зажмуривши глаза, ждут падения и ничего не видят в нервном расстройстве.

Дом Скудрина упирался во время старым хрычом, подставив солнцу моржовые клыки своих колонн, смотрел помутневшими радугами стекол, оброс серостью, как бакенбардами. Калитка повисла набок, уставшая история лишаев и мха. Вошли в калитку, пошли через террасу под колоннами, в осьмнадцатый век иссохших, как сушеные грибы, потемневших комнат, ко красному дереву пыльной гостиной, в запахи сельдерея и лука. В гостиной застряла еще ночь. Глазами знатока и руками мастера погладил Павел Бездетов ручку дивана, молвил:

— Так и будешь крепиться? не продашь?

Старик заерзал и захихикал, ответил плаксиво:

— Да, да, мол. Не могу, не могу. Мое при мне!..— и добавил злобно: — Я вас еще переживу!.. А где покупать, я вам список составил.

Вышла из спальни жена, Мария Климовна, поклонилась гостям в пояс, руки убрал под передник, пропела:

— Гости дорогие, добро пожаловать, гости многожданные...

Высунулась из-за двери дочь Катерина в ночной рубашке, с голыми икрами, грудь заслонив рукой, сделала гостям из-за двери книксен, и лицо ее, деревянный обрубок, исказилось болью. Старик надел валенки. Глаза гостей пустели, как у мертвецов. Старушка заправлялась о здоровье, угощала молоком. Наступил день. Гости запросили сна и улеглись на полу в гостиной на перине вместе, сняв

сюртуки, но оставшись в брюках. Над домом, над улицей проревел падающий колокол, зазвенели стекла, и дрогнул дом.

1. На Посадской улице в Гончарах стоял дом, покосившийся набок. В этом доме жила вдова Мышкина, семидесятилетняя старуха. Дом стоял углом к улице, потому что строился дом до возникновения улицы, и дом этот строился не из пиленого леса, а из тесаного, то есть строился во времена, когда плотниками еще не употреблялись пилы, когда плотники работали одними топорами, стало быть, до времен и во времена Петра. По тогдашним временам дом был боярским. В доме от тех дней хранились кафельная печь и кафельная лежанка с изразцами, разрисованными семнадцатым веком барашков и бояр, залитыми охрою и глазурью.

Бездетовы вошли в калитку.

Древняя старушка сидела на завалинке перед свиным корытом. Свинья ела из корыта ошпаренную кипятком крапиву. Бездетовы поклонились и молча сели около старушки. Старушка ответила на поклон и растерянно, и радостно, и испуганно. Была она в рваных валенках, в ситцевой юбке, в персидской пестрой шали.

— Ну, как, продаете? — спросил Павел Бездетов.

Старушка спрятала руки под шаль, опустила глаза в землю, к свинье. Степан и Павел Федоровичи глянули сумрачно друг на друга, и Степан мигнул глазом — продаст. Костяною рукою с лиловыми ногтями старушка утерла уголки пергаментных губ, и рука ее дрожала.

— Уж и не знаю, как быть, — сказала старушка и виновато глянула на братьев. — Ведь деды наши жили, и прадеды, и даже времена теряются... А как помер мой жилец, царствие небесное, так прямо невоготу стало. Ведь он мне три рубли в месяц за комнату платил, керосин покупал, мне вполне хватало. А вот и батюшка мой и матушка на этой лежанке померли, и супруг, — как же быть?.. Царствие небесное, жилец был тихий, платил три рубли и помер на моих руках... Уж я думала, думала, сколько ночей не спала...

Сказал Павел Федорович:

— Изразцов в печке и лежанке — сто двадцать. Как уговаривались, по двадцать пять копеек за штуку. Итого сразу вам тридцать рублей. Вам на всю жизнь хватит. Мы

пришлем печника, он их снимет и поставит на их место кирпичи и даже побелит. И все за наш счет.

— О цене я не говорю,— сказала старушка,— цену вы богатую даете. Такой цены у нас никто не даст... Да и кому они, кроме меня, нужны?.. Вот, если бы не родители... Одинокая я...

Старушка задумалась. Думала она долго,— или ничего не думала? Глаза ее стали невидящими, провалились в глазницы. Свинья съела крапиву и тыкала пятак в валенок старухи. Братья Бездетовы смотрели деловито и строго. Вновь старуха утерла уголки губ трясущейся рукою. Тогда она улыбнулась виновато, опустила глаза перед Бездетовыми.

— Ну, так и быть, дай вам бог,— сказала старушка и протянула руку Павлу Федоровичу неумело и смущенно, но так, как требует того заправская торговая традиция,— отдала товар из полы в полу.

2. На соборной площади в полуподвале бывшего собственного дома жила семья помещиков Тучковых. Прежняя их усадьба превратилась в молочный завод. Здесь в подвале жили двое взрослых и шестеро детей,— две женщины — старуха Тучкова и ее сноха, муж которой, бывший офицер, застрелился в двадцать пятом году накануне смерти от туберкулеза. Старик полковник был убит в пятнадцатом на Карпатах. Четверо детей принадлежали Ольге Павловне, как звали сноху. Ольга Павловна была кормилицей, играла по вечерам в кинематографе на рояле. Она, тридцатилетняя женщина, походила на старуху.

Подвал был отперт, как во всех нищих домах, когда туда пришли братья Бездетовы. Их встретила Ольга Павловна. Она закивала головой, приглашая войти, она побежала вперед в так называемую столовую прикрыть кровать, чтобы посторонние не видели, что под одеялом нет постельного белья. Ольга Павловна глянулась в триптих зеркала на туалете александровского ампириного красного дерева.

Братья были деловиты и действенны.

Степан ставил стулья вверх ногами, отодвигал диван, поднимал матрац на кровати, выдвигал ящики в комод — рассматривал красное дерево. Павел перебирал миниатюры, бисер и фарфор. У молодой старухи Ольги Павловны остались девичья легкость движений и умение стыдиться. Реставраторы чинили в комнатах молчаливый разгром, вытаскивая на свет божий грязь и нищету. Шестеро детей

лезли к юбке матери в любопытстве к необыкновенному, двое старших готовы были помогать в погроме. Мать стыдилась за детей, младшие хныкали у юбки, мешая матери стыдиться.

Степан отставил в сторону три стула и кресло, и он сказал:

— Ассортимента нет, гарнитура.

— Что вы сказали?— переспросила Ольга Павловна и крикнула беспомощно на детей:— Дети, пожалуйста, уйдите отсюда, вам здесь не место, прошу вас...

— Ассортимента нет, гарнитура,— сказал Степан Федорович.— Стульев три, а кресло одно. Вещи хорошие, не спорю, но требуют большого ремонта. Сами видите, в сырости живете. А гарнитур надо собрать.

Дети притихли, когда заговорил реставратор.

— Да,— сказала Ольга Павловна и покраснела,— все это было, но едва ли можно собрать. Часть осталась в имении, когда мы уехали, часть разошлась по крестьянам, часть поломали дети, и вот — сырость — я снесла в сарай...

— Поди, велели в двадцать четыре часа уйти?— спросил Степан Федорович.

— Да, мы ушли ночью, не ожидая приказа. Мы предвидели...

В разговор вступил Павел Федорович, спросил Ольгу Павловну:

— Вы по-французски и по-английски понимаете?

— О, да!— ответила Ольга Павловна,— я говорю...

— Эти миниатюры будут — Бушэ и Косвэй?

— О, да, эти миниатюры...

Павел Федорович сказал, глянув на брата:

— По четвертному за каждую можно дать.

Степан Федорович брата перебил строго:

— Если гарнитур мебели, хотя бы половинный, соберете, куплю у вас всю мебель. Если, говорите, имеется у мужиков, можно к ним съездить.

— О, да!— ответила Ольга Павловна.— Если половину гарнитура... До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка. Половину гарнитура можно собрать. Я схожу сегодня в деревню и завтра дам ответ. Но если некоторые вещи будут поломаны...

— Это не влияет, скинем цену. И не то чтобы ответ, а прямо везите на станцию сегодня же ночью, там наш упаковщик примет на счет и запакует. Диваны пятнадцать

рублей, кресло — семь с полтиной, стулья по пяти. Упаковка наша.

— О, да, я пойду сейчас же, до нашей деревни только тринадцать верст, это почти прогулка, я привыкла ходить... Я сейчас же пойду.

Сказал старший мальчик:

— Маман, и тогда вы купите мне башмаки?

За окнами подвала проходил золотой июльский день.

3. Барин Вячеслав Иванович Каразин лежал в столовой на диване, прикрывшись беличьей курткой, вытертой до невозможности. Столовая, как и кабинет-спальня его и его супруги, являли кунсткамеру, разместившуюся в квартире почтового извозчика.

Братья Бездетовы стали у порога и поклонились.

Помещик долго рассматривал их и гаркнул:

— Вон, жжулики!.. Вон отсюда!

Братья не двинулись.

Барин Каразин налился кровью и вновь гаркнул:

— Вон от меня, негодяи!

На крик вышла жена. Братья Бездетовы поклонились Каразиной и вышли за дверь.

— Надин, я не могу видеть этих мерзавцев, которые надули нас прошлым месяцем,— сказал Каразин жене.

— Хорошо, Вячеслав, вы уйдете в кабинет, я переговорю с ними. Ах, вы же все знаете, Вячеслав!— ответила Каразина.

— Они перебили мой отдых. Хорошо, я уйду в кабинет. Только, пожалуйста, без фамильярностей с этими рабами.

Каразин ушел из комнаты, волоча за собой куртку. Вслед ему в комнату вошли братья Бездетовы, еще раз почтительно поклонились.

— Покажите нам ваши русские гобелены, а также скажите последнюю цену бюрца,— сказал Павел Федорович.

— Присядьте, господа,— сказала Каразина.

Распахнулась дверь из кабинета, высунулась из двери голова Каразина. Каразин закричал, глядя в сторону к окнам, чтобы случайно не увидеть братьев Бездетовых:

— Надин, не разрешайте им садиться! Разве они могут понимать прелесть искусства? Не разрешайте им выбирать, продайте то, что находим нужным продать мы. Продайте им фарфор, часы, бронзу.

— Мы можем и уйти,— сказал Павел Федорович.

— Ах, подождите, господа, дайте успокоиться Вячеславу Ивановичу, он совсем болен,— сказала Каразина и села беспомощно к столу.— Нам же необходимо продать несколько вещей... Ах, господа... Вячеслав Иванович, прошу вас, прикройте дверь, не слушайте нас, пойдите в сад...

4—5—7 —

Яков Карпович Скудрин жил в Запрудах, у Скудрина моста, собственным домом, остановив время. Революция не тронула его восьмидесяти пяти лет. У него, должно быть, не было молодости. Он жил, чтобы старостью перехитрить себя. Он все помнил,— он не боялся жизни, и он сводил счеты с жизнью, как с сыном Александром. Старик прятался в очень паршивую улыбочку, раболепную и ехидную одновременно,— белесые глаза его слезились, когда он улыбался. Он создал свою линию жизни, осклизлую и узловатую, как осиновая коряга, вымоченная в болоте. Старик прожил круто, был крут, как круты в него шли его сыновья. Старший сын Александр, еще до двадцатого века, когда отец был уже стариком, будучи посланным со срочным письмом к пароходу, идущему на Рязань, опоздав к пароходу, получил от отца пощечину, под слова: «Не спешишь, негодяй!» Эта пощечина была последнею каплей семейного меда,— мальчику наступало четырнадцать лет,— мальчик повернулся, вышел из дома и пришел обратно домой только через шесть лет студентом политехнического петербургского института. Тогда наступал порог двадцатого века. Отец за эти годы посылал сыну письмо, где приказывал вернуться и обещал лишить родительского благословения, прокляв навсегда.

Сын рос в отца: на этом же самом письме, чуть ниже отцовской подписи, сын приписал: «А черт с ним, с вашим благословением!»— и вернул отцу отцовское письмо. Когда Александр, через шесть лет после ухода, солнечным весенним днем вошел в гостиную, отец засеменял к нему навстречу с радостной улыбочкой и с поднятой рукой, чтобы побить сына. Сын с веселой усмешкой взял своими руками отца за запястья, еще раз улыбнулся, в улыбке весело светилась сила, руки отца оказались в клещах. Сын посадил отца, чуть надавив на запястья, усадил к столу в кресло, сказал весело:

— Здравствуйте, папаша. Зачем же, папаша, беспокоиться? Присядьте, папаша.

Отец засопел, захрюкал, захихикал, по лицу прошла злая доброта. Отец крикнул жене:

— Марьюшка, да, хи-хи, водочки, водочки нам при-таскай, голубушка, холодненькой, с погреба, с холодненькой закусочкой! Вырос сынок, вырос, приехал сынок на наше счастье, ссукин сын!..

Сын был первым, кто осилил отца, вторым была революция. Сын к тому времени шел по отцовским дорогам,— и сын Александр, инженер, упершись в революцию, разбил об нее лоб, не подчинившись ей, став под ее обуха и погибнув в уездном подвале у стенки от пули нагана, встретив пулю глазами покойными и злыми,— и отец перехитрил сына, захитрив с революцией, никому не веря,— ни сыну, ни революции.

Сыновья у Якова Карповича пошли так: инженер, священник, балетный актер, врач, опять инженер,— и ни один из них от дома отца своего не отказался, все они сломали головы о революцию, оставив хитрую жизнь старику. К тысяча девятьсот двадцать девятому году старшие внуки Якова Карповича уже женились, но младшей и единственной дочери шло девятнадцать лет. У старика ничего не осталось от прошлого, которое он пас. Сын Александр был воспоминанием чести.

Лет сорок последних страдал Яков Карпович грыжей и, когда ходил, поддерживал через прореху штанов правой рукою эту свою грыжу, зеленые его руки пухли водянкой, хлеб солил он из общей солонки густо, похрустывая солью, бережливо ссыпая остатки соли обратно в солонку. Последние тридцать лет Яков Карпович разучился по-человечески спать, просыпался в полночи и бодрствовал за библией или с коровами на лугах до рассветов, засыпая затем до полдней. В полдни ж он уходил в читальню читать газеты,— денег на подписку не тратил. Последние десять лет он хитрил. Был Яков Карпович водянисто-толст, совершенно сед и лыс, он долго хрипел и сопел, пока приготавливался говорить. Дом Скудриных некогда принадлежал помещику Верейскому, разорившемуся вслед отмене крепостного права и выборной должности мирового судьи. Яков Карпович, отслужив дореформенную солдатчину, служил у Верейского писарем, обучался судейскому крюкодельству и перекупил у него дом вместе с должностью частного поверенного, ходока по крестьянским делам, когда тот разорился. Дом стоял в неприкосновенности от екатерининских времен, потемнел за полтора столетия су-

ществования, как его красное дерево, позеленев стеклами. Старик все помнил — от барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь. Он помнил крепостное право, как сына Александра. За последние пятьдесят лет он помнил все имена, отчества и фамилии всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИКе, всех министров иностранных дел великих держав, всех императоров, королей, пап и премьеров, — старик потерял счет годам и говаривал:

— Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, — переживу и Алексея Ивановича.

В доме существовали — старик, жена, Мария Климовна, и дочь Катерина. Дом в революции и в стариковской хитрости проживал так, как люди жили задолго до Екатерины, даже до Петра, пусть дом безмолвствовал екатеринским красным деревом. Старики существовали огородами. От индустрии в доме имелись — спички, керосин и соль, только. Спичками, керосином и солью распоряжался старик. Мария Климовна, Катерина и старик с весны до осени трудились над капустами, свеклами, репами, огурцами, морковьями и над солодским корнем, который шел вместо сахара. Ночами до рассвета старик пас коров, уходил в луга к строительству, бродил по туманам, босой, в ночном белье. Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал над библией, в иные часы мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню: впитывать в себя имена и новости коммунистической революции. Дочь садилась тогда за клавишины и разучивала духовные песнопения Кастаньского для церковного хора. Старик приходил домой к сумеркам, ел и ложился спать. Дом проваливался в шепот женщин. Сумерками Катерина выкрадывалась из дома — на соборные спевки, к подружкам. Отец просыпался к полночам. Старик потерял время, перестав бояться смерти, разучившись бояться жизни. Как скотину, он пас старину. Мать и дочь молчали при старике. Мать никуда не выходила из дома, кроме церкви, мать варила каши и щи, пекла пироги, топила и квасила молоко, студила холодцы и прятала бабки для правнуков, убиралась в горницах, то есть существовала так, как было у россиян и в пятнадцатом, и в семнадцатом веках, в пище также семнадцатого и пятнадцатого веков. Мария Климовна, сухая и древняя старушка, как подобает, была тем типом русских женщин, которые хранятся

в России по весям вместе со старинными иконами богоматерей. Жестокая воля мужа, который на другой день после венчания, пятьдесят лет тому назад, послунявив палец, больно показал жене, как надо зачесывать виски, жестокая воля мужа, убравшая до смерти в кованные сундуки все радости Марии Климовны, закалила ее подчинением, сделав навсегда беспрекословной и безмолвной, ограничив мир калиткой.

Мать пела с дочерью псалмы Кастальского. В доме пребывала допетровская Русь. Старик по ночам читал библию, перестав бояться жизни. Очень редко, через месяцы, в безмолвные часы ночей старик шел к постели жены, сопел и шептал:

— Марьюшка, да кхэ, гм... Это жизнь, Марьюшка, да...

В его руках тряслась свеча, его глаза слезились и смеялись. Мария Климовна крестила в испуге себя и мужа. Яков Карпович тушил свет.

За домом шла революция, и лежал город революционных тылов. Дочь Катерина спала за стеной. Катерина жила за желтыми маленькими глазками, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около разбухших ее век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги ее походили на бревна, грудь была велика, как вымя у швейцарских коров. Старик хранил Катерину целомудрием семнадцатого века, приданым, закопанным под половицами в бане.

День разносили вороны. Весь закат очень полошились вороны, разворовывая день. И сумерки развозились водовозными клячами серых облаков, собиравшихся в дождь. Братья Бездетовы вернулись к Скудрину в час, когда перестали выть колокола. В усталости после дел глаза братьев пустели, как у мертвецов. Сидя рядом, за обедом они пили коньяк, чтобы отдохнуть. И после обеда легли спать, опять не раздеваясь, на полу на перине, поставив на пол к изголовью бутылку с коньяком. Яков Карпович сейчас же после обеда снаряжался в поход, его карманы полнели бездетовскими рублевками и реестриками, он шел к плотнику, к возчику, за веревками и за рогожами, распорядиться упаковать купленное и отослать на станцию екатерин, павлов, александров. Старик уходил в широкополой фетровой шляпе, но босым. Полон дел, он говорил, уходя:

— Надо бы охломонам поручить перенос и упаковку,— самые честные люди, хоть и юроды. Да нельзя. Братец мой, Иван Карпыч, им не позволит, их самый главный революционер,— не дает работать на контрреволюцию, хи-хи.

Земля следовала к ночи. С вечера заморосил дождь. Весь вечер стучались украдкой люди в окошко Марии Климовны,— к ним выходила Катерина,— и люди, нищенски заискивая, предлагали,—«дескать, гости у вас живут, всякие старинные вещи покупают»,— старые рубли и копейки, поломанные самовары, книги, подсвечники, бинокли. Эти люди тылов не понимали искусства старины, они были всячески нищи. Катерина не допускала их в дом с их медными лампами, позелевшими временем, предлагала вещи оставить до завтра, когда гости, отдохнув, глянут.

В закат задул ветер, июль пошел в август, нанес тучи, дождь заморосил осенью. Искусство красного дерева есть искусство вещей, которые оставались жить много дальше, чем мастера и люди: к ночи в тот день лесом над Окою шла Ольга Павловна Тучкова, женщина с лицом старухи и с движениями девически молодыми. Закат растворился, замазанный серыми облаками, лес шумел августовским ветром, окские просторы древнели, первобытны. Здесь веяло широким воздухом, который сожительствовавал с лесом, с холмами, с травой. Ока в этом месте ломала свое русло. Эта женщина, в девическом страхе леса, шла в деревню, бывшую некогда крепостной, чтобы купить у крестьян ненужные крестьянам кресла и стулья красного дерева.

И первый раз за полстолетие супружества видела Мария Климовна в этот вечер Якова Карповича танцующим. Яков Карпович вернулся с похода по краснодеревым делам в неурочное время. Фетровая шляпа его съехала набекрень, на затылок. Зашед за калитку на столетний свой двор, заделал Яков Карпович босыми пятками несуразные и молодые не по возрасту антраша. То походило, что катается Яков Карпович на коньках, то брыкался он гусаром, то прыгал мазуркой, щелкая пяткой о пятку и фетровую шляпу имея за даму. Ни дождя и ни ночи Яков Карпович не видел,— Мария ж Климовна видела, что лицо старика морщилось счастьем в этот один из последних часов его жизни.

День унесли вороны. Башня Марины Мнишек безмолвствовала в Коломенском Кремле, уходя во мрак. Черные водовозы разливали ночь и дождь.

Яков Карпович, вернувшись из города и поплясав на дворе, поспешно прошел к реставраторам в гостиную. Он поднял реставраторов с пола и повел их в кабинет. По полу за его пятками следовали лужи. Вместе со стариком в вольтеровский кабинет вползла азиатская Коломна, завалинки, калитки, скамеечки у ворот, подсолнечная шелуха. Яков Карпович поспешно вздул свет в торшере.

И старик зашептался с краснодеревщиками.

— На строительстве сегодня был бунт, бабья забастовка. Ровно в половине одиннадцатого по гудку, как прогудел неурочно гудок, все работницы на строительстве бросили работы и валом поперли в город в порядке, песен не пели. На углу Репинской улицы они встретили гроб Садычихи и пошли за гробом и запели похоронный марш, и многие бабы заплакали, завывли, как белуги. Забастовка,— дожили!..

— Динамит у тебя на лугах?— спросил Павел Бездетов.

— Нынче ночью, под шумок,— из-под бабьих юбок...

Реставраторы слушали стоя, озабочены и молчаливы. Лица реставраторов пришли в строгость. Старик ликовал в обреченной веселости. Провинция, азиатская Коломна, которая проследовала по следам мокрых пяток Якова Карповича, недоумевала, не понимала этой забастовки, когда женщины, тачечницы со строительства, в молчании более страшном, чем брань и крики, проводили в землю Марию Садыкову,— сотни женщин, измазанных в земле, закаменевших каменным трудом, безмолвными шеренгами пестрых плахт и панев, оставшихся от русской старины, заполнили коломенскую старину улиц и прошли за гробом до могилы. Скудрин видел за этими колоннами сына Александра, себя, свои попранные время и достоинство, сережки и кольца приданого Катерины, закопанные в бане под половицами, свой осьмнадцатый век, свои старость и часы в читальной, где газеты издевались над ним,— за этими колоннами женщин старик слышал дым и грохот динамита, сломанных людей, воду, которая ломает все,— и видел себя за дымом динамита, за потоками воды, за развороченными гранитами,— себя, паршивого старичиш-

ку, Бездетовых, Полторака — так же примерно, как на картине Серова, где Петр шагает по Санкт-Петербургу. Паршивый старичишка был Петром. Паршивый старичишка вложил свои язвы в революцию, чтобы отплатить за себя, за Александра, за Россию, за вольтеровское свое красное дерево. Провинция, стекая пятками Якова Карповича, уселась на диван. Яков Карпович — жил, наслаждаясь бытием.

— Тарарахнет, бабахнет, хи-хи, за дымом и громом нас никто не заметит.

Торшер закоптил.

Инженер Евгений Евгеньевич Полторака приехал ровно в девять, подъехал к дому на извозчике, поспешно прошел по двору, стряхнул воду с плеч в прихожей, пошел в кабинет. Катерина в тот час пела в гостиной песнопенья Кастаньского, аккомпанируя себе на клавесинах, пела очень тоскливо. Кабинет Якова Карповича пребывал в красном дереве. По столу для книг плыл хрустальный корабль, оправленный в бронзу. В этот фрегат наливался коньяк, чтобы путем алкоголя, разлитого через краник из фрегата и через рюмки по человеческим горлам, путешествовать путем алкоголя на этом фрегате по норд-остам вольтеровских фантазий. Краснодеревщики налили коньяку во фрегат в честь Полторака, и краснодеревщики безмолвствовали около фрегата в глухо застегнутых сюртуках, мертво и немигающе наблюдая за всем. Дождь за окнами утверждал осеннюю ночь.

И Евгений Евгеньевич, как Скудрин, был необычен в этот вечер. Человек организованной европейской внимательности, Полторака очень спешил в этот вечер и слушал в коротких своих разговорах только себя, к себе прислушиваясь и себя подкарауливая. Он спешил, и он же замедлял свое время, путая его.

Яков Карпович топтался босиком и голубком вокруг Полторака, приманивая к нему, то хихикая и хмыкая, явно хитруя, то проваливаясь в злую и очень покойную серьезность, — Яков Карпович жительствовавал.

— Вы слышали, Евгений Евгеньевич, — забастовка! — сказал Скудрин.

— Да, слышал, — протест.

— Как вы это понимаете, Евгений Евгеньевич?

— Как понимаю? — я сегодня на производственном совещании был у рабочих. Они теперь решают — не то, сколько им жалованья себе положить, но решили, что ра-

боту мне не сдадут, решают, как им работать за инженеров.

— И бабья забастовочка — одно к одному выходит? не то, что рабочие, а и бабы в силу входят? — спросил тихо Скудрин и добавил строго: — Сегодня ночью начнем, откладывать нечего.

— Надо начинать, — подтвердил за Скудриным старший Бездетов.

— Да, надо, — подтвердил Полторацк, — воды сейчас нет, изгадим самые пустяки... — И спросил удивленно и беспомощно: — Как дела, как вы поживаете, Яков Карпович? Вы — могли бы убить?

— То есть как, как дела? — сегодня ночью подорвем.

— На совещании сегодня я почувствовал, что у рабочих перестроилась психика, так что они — хозяева, вершители, судьи. Да, надо. Я говорю, что сейчас мало воды, а вода сильнее динамита, — и опять Полторацк впал в бессилие. — Яков Карпович, вы можете убить?

— Как убить?

— Безразлично как, но — убить?

Яков Карпович жительствовавал.

— Убить? — переспросил он и заговорил поспешно, хихикая: — Я вам мысль приготовил, кхэ, мысль о теории Маркса. Теория Маркса о пролетариате — просто глупость и скоро будет забыта, неминуемо забудется, потому что сам пролетариат должен исчезнуть. Сегодня люди поплывут по Оке. Вот такая моя мысль, да... А стало быть, и вся революция ни к чему, ошибка истории, кхэ, ошибочка-с на наших горбах. Пройдут еще два-три поколения, и пролетариат исчезнет в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию при мышечном труде, решив, что мышечный труд останется эдак навсегда. А оказывается, теперь машинный труд заменяет мышцы, скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетариат превратится в инженеров. У машин — пять человек, а в конторе — сорок, конторщики станут пролетариями. Вот, кхэ, такая моя мысль. А инженер — не пролетарий, потому что чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее жить со всеми материально одинаково, уравнивать материальные блага, чтобы освободить мысль, да, кхэ... Вы скажете, эксплуатация останется — останется, да, потому что это в крови, но не Марксова эксплуатация, нет. Мужика, которого можно эксплуатировать, потому что он зверь, его

к машине не пустишь, он ее сломает, а она стоит миллионы. Машина дороже стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить,— человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен и вместо прежней сотни всего один. Человека такого надо холить.— Старик говорил, юродствуя, жмурясь в удовольствии, поматывая головой, руку запустив в грыжу.— У нас, бывало,— сравните купца с мужиком,— купец, как поп, вырядится шутом и живет в хоромах, чего моя левая нога желает. А я могу босиком ходить и от этого хуже не стану, кхэ, да, не стану. Человека надо любить, уважать человека. Тогда убивать нельзя.

Полторак плохо слушал Якова Карповича, прислушиваясь к себе. Он пил коньяк, должно быть, для того, чтобы погасить мысли. Он перебил старика:

— Подождите, Яков Карпович, не хитрите. Вы человека можете убить — убить своими руками?

— Как сказать,— ответил Скудрин и хихикнул уклончиво, хрюкнул, харкнул.

— Нет, вы неправильно поняли, а может, и правильно.— Зубы Полторака блеснули злым золотом.— Я никого не предлагаю убить. Я говорю принципиально,— можно убить или нет?

— Да вот нынче ночью взрывчик произойдет на строительстве... Как сказать... Я скотинку пасу на лугах, коровок-кормилиц... Помните, вы сказывали, все, мол, на крови. От взрывчика, глядишь, в одну сторону головы полетят, как бомбы, а в другую ноги, руки, а вода все смоем к черту. Это ведь тоже убийство.

Яков Карпович вдруг заговорил серьезно, глаза его стали покойны и почти молоды. Бездетовы деловито пили и слушали немигающими глазами. Евгений Евгеньевич Полторак заходил, забегал по кабинету. Приступил, зата-рабанил за окном дождь, качнуло занавески и свет торшера ветром. Вольтеровский кабинет пребывал в вольтерианстве. Баба-провинция, стекшая со скудринских пяток на диван, почесывалась на диване.

— Нет, я не об этом,— крикнул Полторак, и опять блеснули его зубы.— Убить своими руками, даже не задушить, даже не застрелить и не отравить,— убить, даже без крови.

— Одним можно, а другим нельзя.

— Кому можно? кому — нельзя?

— А вот нам четверым.

— Что — четверым?

— Можно убить.

Яков Карпович вынул руку от грыжи, стал прямо. Навсегда тусклые его глаза смотрели прямо и злобно. Говорил он без хрюканья и хихиканья, сиплый бас его окреп,— старик жил.

— Почему?! — крикнул Полторак.

— Потому что мы совесть потеряли, очень просто, Евгений Евгеньевич. Мы все знаем и все можем.— Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезным.— Я вот даже не стыжусь про совесть говорить. Ничего не стыжусь. Я иной раз думаю и не могу придумать, что для меня запрещено? Разве вот дочь я хочу сберечь, да и то глупость. Все можно, и хочу я только зла, от зла я радуюсь. Мои сыновья — яблочко от яблони недалеко упало,— они лбы подставили под революцию, как быки на новые ворота, и погибли, а я на свой ум положился, на хитрость, все хотел перехитрить, может, перехитрю,— Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезен,— а может... Я старым дураком прикинулся, выжившим из ума, я собрался и себя и Россию перехитрить, да, кхэ. Извините, что я много разговаривался. У меня сегодня именины,— я динамитик подпалю, который мы вместе с моими коровками в лугах прятали,— это дело уже без хитрости, начистоту,— порадуясь... Евгений Евгеньевич, Москву-реку задом наперед пускают не только большевики, но и Россия, русские рублики, русские руки, а я по вашему указанию и по моему согласию скотинку пасу. Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, но мы сейчас, Евгений Евгеньевич, говорим не от чести, а от бесстыдства.— Яков Карпович хрюкнул.— Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, от отчаянья,— отчаянная честность. Убить можно, человеческая жизнь — дешевая вещь.— Яков Карпович захихикал, захмыкал, захрюкал.— В болоте, наверное, коряги, тина их засасывает, пиявки на них сидят, раки впиваются, рыбы плавают, коровы туда мочатся, вонища, грязь, а я живу, юродствую, гажу и все понимаю и вижу. Убить мы можем. Прикажете кого. Надо о делах поговорить, Евгений Евгеньевич. Сегодня ночью — нельзя как лучше, дождик идет, парни девок в луга не таскают, и все пройдет под забастовочку. Я пойду скотинку пасти, а вы с Бездетовым прогуляться.

— А я не хочу убивать,— тихо сказал Полторак.— Убийцею может быть человек, у которого нет фантазии.

— То есть как это вы не хотите убивать?— строго спросил старший Бездетов.

— Это верно,— сказал, усмехнувшись, Скудрин,— это верно, да не совсем. Убийца должен быть без фантазии, его виденья замучают, аналогии. Только это в том случае, если у него честь сохранилась. А мы с вами именно ради фантазии и полюбуемся, как забабает.

Полтораки выпил коньяк из фрегата, сказал сам себе:

— Я не хотел убивать... Мне надо идти, меня ждут. Прощайте. Рабочих мы не вернем.

— Это как же вас ждут?— строго спросил старший Бездетов.

— О деле надо поговорить, Евгений Евгеньевич,— ласково сказал Скудрин.— Идти вам некуда. Вам надо подождать.

— Я приехал с женщиной. Меня ждут. Мальчишкой я... голова у меня болит, мне надо спешить... мальчишкой я, лет тринадцати, читал Толстого, «Войну и мир»,— как я тогда плакал, как плакал я в том месте, где Анатолий Куракин поцеловал Наташу Ростову,— за попорченную чистоту плакал, грязью Анатолия был возмущен, посмевавшейся коснуться чистоты!.. Нет, у меня есть фантазия. За попорченную чистоту не Наташи Ростовской, а русских женщин сегодня на кладбище сами женщины заступились, и на совещании одна женщина спорила со мною.

Братья Бездетовы поднялись от коньяка, стали сзади Полторака. Яков Карпович захихикал. Полтораки сел в нерешительности, опустил голову в алкоголь.

— Я вам расскажу, подождите спешить,— заговорил, хмыкая, Яков Карпович.— Наташа Ростова — это, да, само собою, фантазия. В России надо назад оглядываться и страшно назад смотреть... Я о себе расскажу, к каким я пришел выводам. Послушайте, сосчитайте, книжечки у меня об этом имеются в шкафу, могу достать. Сосчитайте,— нищие, провидоши, побироши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, ханжи, юродивые,— экие изволите ли видеть кренделя святой матушки-Руси, нищие на святой, калики переходящие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа Руси святой,— ишь, какие расписные крендели... И заметьте, существуют на Руси тысячу лет, от Киево-Печерской лавры. Сколько писателей макуло о них научные перья, историки, этнографы научные труды писали. Были эти блаженные вместе с писателями или сумасшедшими, или жуликами, а считались красотою церковною, христовою братией, мольцами за мир. Сейчас позвольте доложить

о всероссийском Иване Яковлевиче. Помер он в годах семидесятых, я все это помню. Помер он в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. Во время его похорон шли дожди, и была страшная грязь, но несмотря на то во время перенесения тела женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом. Иван Яковлевич при жизни, извините за выражение, мочился под себя, из-под него текло, и сторожам велено было посыпать пол под ним песочком. Этот песок, подмоченный из-под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке пол-ложечки песку, и ребеночек выздоровел!.. Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на маленькие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба, в виду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, также разорвали в мелочь для верующих. Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, калеки. В церковь они не входили, за теснотой оставаясь на улице,— и тут-то среди бела дня делались народу поучения, совершались видения и явления, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыкания... Вот-с, извольте ли видеть, как славно помер человек.

— Это вы к чему рассказываете? — спросил Полторак.

— К чему рассказываю? — переспросил Скудрин. Скудрин жил и наслаждался. Баба-провинция внимательно уселась на диване.— Извольте слушать! — строго крикнул Скудрин.— И знаете, чем знаменит был Иван Яковлевич? — прорицаниями. Он не только устные делал прорицания, но и письменные, так что для исторических исследований сохранились материалы. Ему писали,— спрашивали, женится ли такой-то? — он отвечал: «Без працы не бенды кололацы!»

— Это вы к чему говорите?! — крикнул Полторак.

— А я жизнью наслаждаюсь, Евгений Евгеньевич, перед смертью. Быть может, это лучшее мое воспоминание! Извольте слушать! — злобно крикнул старик.— Сыр совершенно зря считается иностранным кушаньем, я считаю его национально русским, как и лук. Лук я очень люблю. Заглавным сыром в России был Китай-Город, а червями его были юроды, они там пачками ходили. Одни писали стихи,

другие пели петухами, павлинами и кукушками, третьи крыли всех матом во имя господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам славу, например:—«жизнь человека сказка, гроб — коляска, ехать — не тряско!»— Имелись аматеры собачьего лая, лаем прорицавшие божии веления. Были в этом сословии нищих, побирош, провидош, волочебников, лазарей, пустосвятов — убогих всея Руси — и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы,— дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были, изволите видеть, пьяны и воняли луком.

— К чему вы это говорите? Мне надо идти,— опять бессильно сказал Полторак.

— Сейчас кончаю,— ответил Скудрин.— Надо всеми этими юродами стояло, как бы сказать, луковицеобразное голубое величие российского царства, покрывало нас, горьких, как сыр и лук, потому что луковицы на церквах, как лук, есть символ луковой русской жизни, символ-с, Евгений Евгеньевич. Говорю это к вашей мысли, чтобы вы сами решили об убийстве. Если речку запрудят, как предполагаем, если мы запрудочку не взорвем,— Запрудье наше затопит, эту вот комнату водой зальет, вместо нас здесь рыбы плавать будут, в этот вот кораблик за коньячком заплывут. А я в этом домике на ноги стал, и дети мои здесь родились. Я — за Россию, я не хочу к рыбам, мне с моими клопами лучше, чем с социализмом, изволите ли видеть... А про Ивана Яковлевича я потому вспомнил, что и мне помирать придется и смерти его я завидую. И брату моему Ивану тоже завидую. Я завистливый человек, Евгений Евгеньевич.

Полторак сказал злобно:

— Вы, Яков Карпович, изволили опустить одно обстоятельство, очень важное, а именно то, что юроды, будучи жуликами или сумасшедшими, были убивающими и убиваемыми.

— Совершенно верно, Евгений Евгеньевич, жулики процветали, а сумасшедшие мерли, очень помню. Иван Яковлевич по всем данным был жуликом. Россия жуликов любит. Позвольте еще одно соображение изложить. Мне редко приходится так разговаривать, Евгений Евгеньевич,— позвольте и мне почувствовать себя гражданином. Что, по-вашему, движет миром — цивилизацией, наукой, пароходами? Труд? Знание? Любовь? Нет, ничего подобного, кхэ! Память, память движет миром. Представьте

себе картину. Завтра утром я проснулся, — чувства, разум остались, а памяти нет. Я проснулся на кровати, и я упал с нее, потому что я забыл о пространстве. На стуле лежат штаны, мне холодно, а я не знаю, что с ними делать. Я не знаю, как мне ходить, на руках или на четвереньках. Я не помню вчерашнего дня, значит, я не боюсь смерти, ибо не знаю о ней. Инженеры забыли все свои чертежи, и все трамваи, паровозы и каналы пошли к черту. Попы не найдут дорогу в церковь, а также ничего не помнят о Христе. У меня остались инстинкты, хотя они тоже вроде памяти, но пусть, — и я не знаю, что мне есть, стул или хлеб, оставшийся на стуле от ночи, а увидев женщину, я свою дочь приму за жену... Память! Фантазия — фантазия памяти, Евгений Евгеньевич!.. Память позволит вам убить, Евгений Евгеньевич, а беспамятство спутает вашу мать с дочерью. Мы с вами мерзавцы, Евгений Евгеньевич, у вас расстройство чувств. Действительно, вам надо пойти отдохнуть, вы расстроены, а я пойду схожу в постель к жене. Такому вам идти на луга опасно. Там ведь сторожа ходят, они привыкли, как я пасу скотину, а вас пастухом не видели. Идите к своей девочке на часик, а потом я проведу вас к монолиту. Отдохните перед смертью. У меня память есть, ее у меня не отняли, подобно сыновьям. Я помню Ивана Яковлевича, — а чтобы рыбы вместо меня плавали по моему кабинету, этого я не желаю. Пусть что хотят делают, а дом свой я сберегу.

Баба-провинция слушала очень внимательно, распустив свои жижи. Кабинет вольтерьянствовал.

Братья Бездетовы строго поманили к себе Полторака. Полторак бессильно присел к братьям. Яков Карпович наслаждался, жил, серьезен, склонился над заговорщиками и над фрегатом, оперся о плечо бабы-Коломны, браво схватившись за грыжу.

— У меня дома несчастье, я получил телеграмму, — сказал Полторак, — телеграфирует жена. Хорошо, давайте говорить о делах.

— Давайте о делах, — повторил старший Бездетов.

— О делах я скажу коротко, — молвил Скудрин. — Все готово, все я отнес, куда надо. К часу примерно ночи я пойду пасти скотину. Вы идите к своей девочке, Евгений Евгеньевич, или ложитесь у меня. Разговор короткий. Я проведу лугами, никто не увидит.

— Встретимся у голутвинского плашкотного моста, — молвил старший Бездетов.

— Вы идите, Евгений Евгеньевич, вам сидеть у меня неудобно. У нас времени еще три часа. О смерти и чести говорить нам не стоит. Хотя и я не спорю,— честь остается у каждого, у меня, например, дочка моя Катя... а я тоже схожу к моей старухе в постель. Я живу для Кати. А помирать нынче ночью я не намерен.

Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, вместе с фрегатом в осмнадцатом веке застрял в красном дереве кабинета товарищ Вольтер. В окна к торшеру летели ночные бабочки, и во мраке за окнами шелестел дождь. Яков Карпович копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу. Глаза его слезились восемьюдесятью пятью его годами, старик пухнул, отекавший, зеленый и счастливый, как сукровица. Громоздкий старик шепелявил, харкал и хрюкал, юродствуя, страшный и отвратительный. Бездетовы безмолвствовали у коньяка. Полторак подпер сизый свой подбородок ладонями, мыслями своими он не присутствовал в вольтеровском этом кабинете.

— Евгений Евгеньевич,— солидно заговорил старший Бездетов,— вы говорили, что рассчитаетесь с нами в Коломне. Самое время было бы теперь произвести расчет.

— Да, да, денежки получить неплохо,— поддакнул Скудрин.

— Да, кажется, правда, что потеряли мы не очень многое, но существенное — совесть,— молвил Полторак.

— А я не потерял! Я ее не терял!— раздался голос из за окна.

Все обернулись к окну.

За окном стукнуло железо водосточной трубы, посыпалась облицовка фундамента, шире распахнулось окно, и в свете торшера появились руки, голова и грудь охломона Ивана Ожогова, младшего единокровного от одного отца и разных матерей брата Якова Карповича, переименовавшего себя из Скудрина в Ожогова. Иван Ожогов оперся локтями о подоконник. Непокрытую голову его смочил дождь, волосы слиплись в дожде, и лицо его, став иконным, пребывало в сумасшествии. Ворот пиджака Ожогов поднял, галстук, истертый до дыр, съехал набок. Ожогов внимательно осмотрел бывших в комнате.

— А я не потерял,— сказал Ожогов,— и профессор Пимен Сергеевич Полетика тоже ее не терял. Надо с реками идти, а не против их. Мы с ним объяснились сегодня... Здравствуйте,— добавил Ожогов, помолчав, и покло-

нился.— Слыхали,— справедливость поднялась,— что женщины сегодня наделали! Опять наши времена приходят. Люди чести хотят.

Поклону Ожогова ответил один Полторацк. Яков Карпович заерзал и заволновался, засучил на месте босыми своими ногами.

— И зачем вы только пришли, братец? Вы думаете, я профессора Полетику не увижу?— спросил Яков Карпович.

— Посмотреть на виды контрреволюции, братец,— ответил Ожогов.

— Какая ж тут контрреволюция?

— Что касается вас, то вы контрреволюция бытовая,— тихо сказал Ожогов и сумасшедше прищурил глаз,— и очень я жалею, что не приставил я вас в мое время к стенке, не расстрелял, когда был председателем исполкома. Что касается красnodеревщиков, то они контрреволюция историческая, организованная вместе с господином вредителем Полтораком. Я все про вас знаю, сукины дети, только мне не верят.

Бездетовы молчали оловянными глазами, насторожившись. Яков Карпович наливался лиловою злобой и торжествовал одновременно, вместо репы походил на пареную свеклу, пошел к окну, захихикал в вежливости, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно в морозе.

Сказал Полторацк, усмехнувшись:

— Не ошибаетесь ли вы, Яков Карпович, что у юродов убивают мерзавцы и убивают сумасшедших?

Скудрин не ответил Полторацку.

— Знаете, братец,— заговорил, засипел Яков Карпович очень вежливо и очень торжественно,— убирайтесь отсюда ко всем чертям. Я вас чистосердечно прошу.

— Извиняюсь, братец Яков, я не к вам пришел, ноги моей не будет в вашем доме, я на нейтральной почве — на подоконнике. Я пришел на историческую контрреволюцию посмотреть и с ней побеседовать,— ответил Иван.

— А я прошу, убирайтесь к чертовой матери. Нынче на нашей улице масленица. Полетику я сам повидеаю.

— А я не пойду к ней.

Павел Федорович медленно глянул оловом глаз на брата Степана и сказал строго:

— Разговаривать с юродами мы не можем,— не уйдешь, велю Степану выгнать тебя в шею.

Степан глянул так же, как брат, и поправился на стуле. Охломон молчал, щурил ехидно глаза и не двигался. Степан Федорович нехотя встал от фрегата, пошел к окну. Охломон трусливо слез с подоконника, оставив на свету одну лишь голову. Яков Карпович торжествующе хихикал. Степан подошел к окну. Иван Ожогов исчез во мраке, гримасничая. Шумел за домом дождь. Из мрака сказал охломон:

— От меня не уйдете,— и свистнул.

За домом шумел дождь, и было тихо, как тихо бывает в лесу. Леса наступали на Коломну, надвинутые ночью. В Маринкиной башне кричали совы, карауля башенные века. Коломна запахла конским потом. Ольга Павловна Тучкова в тот час добралась уже до своей деревни и, счастливая, благодарная деду Назару Сысоеву, что он продал ей стулья и кресло, засыпала на полчаса в Назаровой избе на соломе, чтобы ехать через полчаса со стульями к поезду в город. Барин Каразин в тот час бился в припадке старческой истерии. У Маринкиной башни кричали совы. Охломон ушел. Яков Карпович, торжествующий, никак не знал в тот час, что это был один из последних его часов в страшной его жизни. Лил во мраке дождь, уже поосеннему, на многие часы.

— Я пойду,— бессильно сказал Евгений Евгеньевич.

— До часу ночи,— сказал старший Бездетов.

— До часу ночи,— сказал Скудрин.

— Да, до часу.

Ночь над городом в дожде следовала неподвижна и черна, как история этих мест. Дом Скудрина провалился во мрак и немотствовал перед путиной в луга. Старик Скудрин пребывал в счастье и в бодрости,— в кислой тишине спальни зашлепали туфли старика — к постели Марии Климовны. Мария Климовна, пергаментная старушка, спала. Свеча в руке Якова Карповича дрожала. Яков Карпович хихикал. Яков Карпович коснулся пергаментного плеча Марии Климовны. Глаза его слезились в наслаждении. Баба-провинция спала в кабинете.

Он зашептал:

— Марьюшка, Марьюшка, да, кхэ, это жизнь, это жизнь, Марьюшка, да...— и старик слышал гром взрыва,

видел его взлетающие огни, дым, запахи, летящие в стороны камни, сопенье воды. Старик пляснул около постели.

Осьмнадцатый век провалился в российско-вольтеровский мрак.

В тот час на лестнице в мезонин младший Бездетов, Степан Федорович, встретил Катерину, потрогал ее плечи, крепкие, как у лошади, и покорные, как у коровы, пощупал их пьяною рукою, зашептал. Катерина стояла покорная и беспомощная.

— Ты там скажи своим,— сказал Степан,— опять устроим. Найдите, мол, место, в бане у вас или где. Евгений Евгеньевич опять будет. А сама иди сейчас в баню.

Катерина ничего не ответила. Коровообразная, она стояла рядом с Бездетовым в покорности и бессилии, опустив руки. И она обняла Бездетова, прижавшись к нему и смяв его.

За прежние приезды Бездетовых у них возникла традиция, столь обычная в обывательских тылах: Катерина созывала подружек, братья доставали вина; в бане, где хранилось у старика Скудрина приданое Катерины, в дальнем углу сада занавешивались окна, банный полоч превращался в стол, девушки раскладывали на полке вареную колбасу, шпроты, конфеты, моченые яблоки, Бездетовы раскупоривали алкоголи. В бане зажигался ночник на первый час пьянства, затем тушился, и все банные часы собеседники и собутыльники говорили шепотом. Баня пребывала в осьмнадцатом веке так же, как дом, вольтеровски-колдовское наваждение. Девушки пили и напивались. Братья любознательствовали тем, как у пьяных людей, и у женщин в частности, когда они очень пьяны, надолго на лицах застревают одни и те же выражения, созданные алкоголем. В тот час, когда одна из девушек, дошкольница Клавдия Ивановна, дочь Риммы Карповны, начинала по мужски опирать голову рукою, когда зубы ее скалились, а губы каменели в презрении, когда курила она одну папиросу за другой и пила коньяк, как воду, и говорила одно и то же: «Я пьяна? Да, пьяна,— и пусть. Завтра я опять пойду в школу учить, а что я знаю? чему я учу? Вы красное дерево покупаете? старину? Вы и нас хотите купить вином? Вы думаете, я не знаю, что такое жизнь?— нет, знаю,— и пусть, и пусть! А завтра в шесть часов я пойду в домпрос на совещание,— вот мой блокнот, тут все написано... и пусть!..»— в этот час, когда зубы Клавдии Ива-

новны скалились и была она безобразно красива, начинал Степан Федорович убеждать Катерину ласковыми словами, полными иронии: «А вот ты кофточку не снимешь, Катюша, не посмеешь!» Клавдия Ивановна кричала тогда придушенным шепотом, ероша стриженные волосы, по-мужски опирая голову и не поднимая от стола остановившихся своих глаз: «Покажет! Катька, покажи им грудь. Пусть смотрят. Я тоже разденусь, хотите? Вы думаете, я пьяница?— я сегодня пришла, чтобы напиться в дым, в дым,— понимаете? — в дым!.. была не была!.. Катька, разденься, пусть глядят, мы не стыдимся предрассудков!» Клавдия Ивановна начинала тогда рвать вороты своих блузок, Катерина помогала ей расстегиваться, убеждая всегда одним и тем же: «Клава, не рви одежду, а то дома узнают, не сердись, лучше я разденусь»...— и Павел Федорович, старший, тушил тогда ночник.

На лестнице в мезонин было темно. Катерина обняла Бездетова, прижалась к нему богатырским своим телом, смяв его, и она заплакала злобно и покорно.

— Что ты?— спросил Степан Федорович.

Катерина не ответила в плаче, прижала Степана Федоровича к барьеру лестницы так, что ему стало трудно дышать и больно. Он потерял равновесие.

— Что ты, Катерина?— спросил Степан Федорович.

И Катерина взвыла, заплакав навзрыд, отпустив Степана и рухнув головой и плечами на барьер. Барьер пискнул под нею и закачался.

— Беременна я,— провыла Катерина.

Маринкина башня безмолвствовала в ночи.

В селе Акатьево в тот час,— в селе, которое должно было быть залитым водою, когда закончится строительство монолита,— старик Назар Сысоев разбудил Ольгу Павловну, присел на корточках над нею, потрогал ее за рукав, помотал головой, дремучий и седой старик.

— Павловна,— сказал он,— а Павловна. Я пойду лошадь запрягать, ехать время, вставай, молоко на погребнице.— Он помолчал.— Что деется, Ольга Павловна? что деется, а? Ты послухай, землю послухай,— тишина!.. К чему бы?— и человек человека перестал уважать, зlobятся все, прямо как на войне. Сыновья мои — Василий прямо с войны в охломоны пошел, а Степан да Федор — в коммунисты на строительство.

— А? да? надо вставать?— спросила спросонья Ольга Павловна.

— Нет, ты поспи, поспи еще чуток, пока запрягу. Стар я, да и один я, зато сыновья-те вон что. Мысли разные приходят. Молоко, говорю, на погребнице, касатка. Я пойду, запрягу. Подожди зато меня... Ты послухай... Деды жили, прадеды жили, и было у нашего села Акатьева ремесло,— водили мы плоты на Волгу, тыщу лет водили, а может, и больше, сызмальства приучивались, каждый пригорок, каждый пережат знаем, что под Рязанью, что под Касимовом, что под Муромом. Испокон века рекою жили, плотами. И, сказывают, кончится наша жизнь, не будет теперь Оки ни под Рязанью, ни под Елатьмой, кончится река, в Москву потечет, на новые места переселится... Ты послухай,— я думаю, врут, не будет такой реки, немыслимое это дело,— тыщи лет жили, и вдруг кончается наша жизнь. Я думаю, врут про реку, хотя, действительно, строят. Нельзя поверить, что — не то чтобы мы плоты перестали гонять, а даже самое Акатьево под воду уберется, как Китеж-град... Ты только подумай!..

У Маринкиной башни в Коломне кричали совы.

Пимен Сергеевич Полетика был прав, утверждая, что Москва в те годы походила на военный лагерь армий, идущих в новую Россию, в знание, в равенство, в социализм. Москва походила на строительство, где перекованы и перекопаны были и века, отошедшие, настоящие и будущие, и улицы, умиравшие и строившиеся наново, и люди. Но профессор Полетика не доглядел, размышляя об униформах: униформы вводились в тот год массовыми стандартами толстовок, пыльников, кепок, носков и галстуков в одинаковый на миллионах шей и ног рисунок, одинаковым количеством зарабатываемых рублей и возможностей. Молодежь новой России поголовно ходила в армейском хаки, в командирских ремешках крест-накрест. Душным июлем, как вообще летом, Тверские и Садовые в Москве перекапывались траншеями канализаций и мостовыми, скапывая в историю тупики и церкви. Хаки молодежи напирала в будущее.

Евгений Евгеньевич Полторак жил за рвами истории. И он был болен.

Он жил жизнью тех спецов, которые, на чужой глаз, существуют стихиям вопреки. Наряду с десятком про-

мысленных комиссий он был завсегдаем тех немногих московских кабаков, куда собирались стихийствующие за окопами москвичи, Большой Московской для обедов, актерского кружка в Пименовском (как раз сзади аукциона) для ужинов, фокстротов и рассветных встреч, бегов для воскресных отдыхов, казино для субботних карточных метафизик. Но у Полторака был и дом, как это слово понималось в старину, — жена, дети, горничная в белом фартуке и в прическе, какие носили в начале века, узкий и достойный дома круг друзей, ковры, бронза, картины, красное дерево, гарднеровский сервиз, строгий телефон, который больше отнимал времени на расспросы о том, кто говорит и по какому делу, чем на разговоры. Полторака расточительствовал вне дома и в доме был скуп. Дети учились английскому языку. Гости бывали в доме только по приглашению. Тогда покупались вина, фрукты, икры и осетрины, расставлялись фарфоры, и хозяйка предупреждала о вновь входящем: «Инженер-гидравлик такой-то, беспартийный, но, тсс!.. близок к ним...» Коммунисты в доме Полторака бывали редко, но все же бывали, потому что Полторака считался своим у революции спецом. Полторака надевал в таких случаях блузу. Жена Полторака старела, уставшая и достойная женщина, спрятанная за домом от улиц в расчетах тех трудных рублей, на которые надо было сохранять приличие дома.

Полторака был болен. Он не знал, когда началась его болезнь, и он не знал, как его болезнь назвать. Он заспешил, его время теснило его. Он не мог оставаться один, он должен был быть всюду. Он хворал женщинами, распоясав свои инстинкты. Он не знал своей болезни, но гибель в лугах оказалась логикой вещей.

За полторы недели до поездки на строительство из Крыма пришла телеграмма от врача, лечившего сестру жены. Врач телеграфировал по поводу свояченицы: «Положение безнадежно, находим возможным взять больную обратно». Врачи не любят, когда больные умирают на их руках; по правилам врачебной этики телеграмма значила, что больная умрет со дня на день и ее надо взять от врача, чтобы она умерла на руках близких. Евгений Евгеньевич эту телеграмму спрятал, не показав жене, не находя нужным расстраивать жену и тратить деньги на перевоз умирающей.

Но пришла вторая телеграмма — «просим поспешить взять больную», — и она попала в руки жены.

Жена больше часа простояла с телеграммой в руках у стола красного дерева, на котором она подписывала обратную расписку; остановив глазами себя и время, и еще несколько часов она лежала в постели на павловской кровати с грифами, в мокрой от слез подушке, искусанной зубами, утолявшими бессмыслицу и боль смерти: умирала, уходила в бессмыслицу сестра, единственная, кто остался в жизни от детства, кто прошел через всю жизнь, что связано любовью семьи, рода, крови.

Евгений Евгеньевич пришел бодрым и усталым, звонил по телефону, не замечая жены.

Жена сказала одеревеневшими губами:

— Умирает.

И жена прижалась к мужу, к родному, чтобы его родным и чужим теплом защитить себя, свое бессилие перед страхом и бессмыслицей.

Жена все же нашла сил пойти и заложить часы и брошку, свое девичье приданое, когда муж сказал, что у него не хватит денег на поездку, и в этот же вечер Полторак уехал в Крым. Его провожала жена, она купила билет жесткого вагона.

В Подольске Евгений Евгеньевич сменил жесткий вагон на международный. Попутчиком оказался человек, через десяток фраз разговора с которым возникли общие знакомые. Перед сном они ходили в вагон-ресторан, пили белое вино и говорили о русской интеллигенции, превращенной за революцию в спецов, выхолащенной этим обстоятельством, когда общественное служение интеллигенции списано революцией с ее счетов.

От Севастополя до Ялты Полторака нес автомобиль, и Крым был прекрасен. Море, горы, дорога, праздничность людей, июль оказались чудесными, и Полторак с трудом собрал брови в скорбь, когда шел к Вере Григорьевне.

Крым преобразил Веру Григорьевну. Полторак нашел ее в кресле на террасе. Она заулыбалась, замахала рукою, поцеловала в лоб. Полторак разобрал свои морщины, чтобы стать таким, каким он был всегда.

Она сказала:

— Вот и отлично. Доктор говорит, что я совсем поправилась. Надо ехать в Москву, в санаторий Высокие Горы. Мне наложат новый пневмоторакс, новым способом, и потом здесь мне вредит жара. И через месяц я на ногах, а с осени я вновь на сцене.

Эта была первая фраза, которую сказала Вера Григорьевна.

После февраля, когда она уехала в Крым, она очень изменилась — к лучшему. Она загорела, пополнела, у нее появился сизый румянец, ее глаза стали глубже и красивее, и прелестны были синяки под глазами. Кроме перемен физических у нее были перемены психические: Вера Григорьевна потеряла стыд и любознательность, — она почти не спрашивала о Москве, она сразу рассказала, в какие часы мерится температура, как она потеет, как варит ее желудок, что она ест. Она очень обрадовалась родному человеку, она шутила. Евгений Евгеньевич отвечал ей в тон.

Докторски озабоченный и озабоченно-шутливый доктор позвал за собой Полторака в парк. На скамеечке в парке доктор сказал, что туберкулез перешел на кишечник, смерть неминуема и сроки ее измеряются днями, если не часами. Полторака опустил глаза, собрал морщины. Доктор глянул иронически, помолчал и пошутил:

— Ну, ну, все там будем!

Полторака улыбнулся, и оба закурили из докторского портсигара.

— Расскажите, что новенького в Москве? — спросил доктор.

В закат Полторака ходил к морю. Море синело, на камнях вповалку лежали мужчины и женщины в купальных костюмах. Полторака встретил двух голых знакомых жен инженеров, побеседовал о пустяках, пошутил. Вечер он провел с Верой Григорьевной около ее постели, держал в своих руках ее руку. Поздно вечером, когда Вера Григорьевна заснула, Полторака ходил с доктором, под руководством доктора, в греческий ресторанчик выпить красного вина. Доктор оказался плохим спутником, а знакомых инженерских жен не нашлось дома.

Наутро Вера Григорьевна и Полторака поехали в Севастополь. В гостинице в Севастополе, где они пережидали часы до поезда, Вера Григорьевна просила Евгения Евгеньевича помочь сделать ей клизму. Он ходил в буфет за теплой водой. Поезд из Севастополя к Москве ушел в ночь.

Больная заснула, не раздеваясь, еще на станции, обесиленная автомобилем от Ялты. Купе степенствовало сытой тишиной и лиловым светом ночного рожка. Евгений Евгеньевич бодрствовал, день гор и автомобиля его никак не утомил. Он скучал, пока не заснул вагон, он выходил в коридор покурить, заходил в вагон-ресторан выпить

рюмку коньяку. У Джанкоя больная проснулась, попросила воды, сказала, чтобы Евгений Евгеньевич помог ей раздеться.

Он стал расшнуровывать ее ботинки, снял чулки. И он почувствовал беспокойные приступы своей болезни, той, которая пришла к нему неизвестно когда.

— Остальное я сниму сама,— сказала она.— Вы придержите меня.

Она сняла кофточку, расстегнула крючки юбки. Евгений Евгеньевич придерживал ее за талию.

— Дайте мне туфли из чемодана и ночную рубашку,— сказала она.— Помогите мне вымыться. Отвернитесь. Дайте полотенце.

Она говорила безразлично, как говорят с врачом,— ей трудно было говорить. Она не могла идти без помощи. Евгений Евгеньевич открыл дверцу умывальной кабины. Она опоясала себя полотенцем и спустила с плеч рубашку, чтобы мыться. Она надела ночное белье. Евгений Евгеньевич отвел ее к постели, уложил, закутал ее ноги простыней. Она попросила пить, поправить подушки, положила руку под голову, улыбнулась, отдыхая. Он сел у ее ног, вымытый, довольный человек, благополучно покойствуя. Около него лежала большая, очень красивая молодая женщина. Он чувствовал, как его руки начинают дрожать. Глаза ее в отдыхе следили за купе сквозь полуприкрытые веки, и от нее пахло беспокойными духами. Ночь международного вагона была глуха.

И тогда Евгений Евгеньевич заговорил отличным правозаступником, наклоняясь к Вере Григорьевне, колени которой были у него под руками. Он говорил тем тоном, которым, должно быть, исповедуются, совершеннейшей правдой, совершенной откровенностью. Он был в припадке.

— Что такое любовь, Вера Григорьевна, и что такое жизнь? что такое смерть? кто знает? и что такое правда? Я знаю много правд, которые суть неправды. И я знаю очень много неправд, которые становились большими, очень большими справедливостями. Я не говорю о разных там добродетелях, верности, долгах,— все это пустяки перед лицом смерти. Вы очень больны, Вера Григорьевна,— вы очень больны. Вы знаете, что вы боретесь не с болезнью, нет, но с самой смертью!.. Смерть — это ничто. Я не верю, чтобы там что-нибудь было,— и вы знаете об этом, Вера Григорьевна. Все правды, все справедливости и всяческие морали — ничто перед смертью, именно потому, что

смерть есть ничто, нуль,— а множитель нуль все превращает в самого себя. Что такое любовь, Вера Григорьевна? что такое любовь? Есть много любовей, одетых всякими правдами. Есть любовь, когда надо тысячи раз повторять имя любимой, и больше ничего. Есть любовь, как молитва. Есть любовь мечтаний. Природа жестока, как смерть. Все эти любви суть интродукция к тому, что единственное дано природой и что замарано нашей моралью, оставшейся от средневекового христианства,— к простой, плотской, физической,— я не боюсь слов,— к любви, как к физическому наслаждению. Перед нулем смерти — все ерунда, плотская любовь останется до тех пор, пока не пришел нуль, все остальные правды неправы кроме этой одной. Судите меня, но я честен. Я говорю перед лицом смерти,— вы знаете это. Кто знает, что будет с вами через месяц? Я говорю честно,— я хочу целовать ваши руки, ваши глаза, вашу грудь, чтобы ничего не отдавать нулю. Вы женщина, вы прекрасная женщина, несущая счастье. Я хочу, чтобы у вас — у нас — было счастье, физическое счастье, радость, наслаждение, которыми мы борем смерть. Я не боюсь слов и условностей морали. Я хочу целовать вас сейчас же,— для вас. Пусть все это будет вне правд и моралей...

Евгений Евгеньевич говорил искуснейшим оратором, он опускал глаза и закрывал их ладонью,— и он уже не принадлежал себе. Нежнейше положил он руку на подмышку Веры Григорьевны. Она не оттолкнула его руки. Он положил голову к ней на грудь. Он говорил. Рука ее по-прежнему лежала закинутой за голову. Она закрыла глаза. Он шептал. Она очень тяжело дышала, но сердце ее почти не билось.

Днем на следующий день с Верой Григорьевной стало плохо. Температура с утра подошла к сорока, и исчез пульс. Вера Григорьевна лежала в лужах пота, бессильная двигаться и говорить. Полторак искал по поезду доктора, нашел в жестком вагоне студента. Студент требовал, чтобы больную вынесли из вагона в Харькове,— Полторак отказался. В Харькове больной вспрыскивали камфару, к вечеру умирающая затихла во сне. Полторак просил проводника последить и ходил в вагон-ресторан обедать,— угощал студента в качестве визитной платы водкой и белым вином. Глубоко ночью, уже в Великороссии, когда Евгений Евгеньевич спал на верхней полке, его разбудила Вера

Григорьевна. Она стояла, прислонившись головой к его постели.

— Милый,— прошептала она.— Я разбудила тебя, я так давно тебя зову, ты не слышишь... Пойди ко мне, я еще раз хочу поцеловать тебя — перед смертью... Мне стыдно перед собою и перед сестрой... Мне очень страшно. Я умираю...— она произносила слова, чуть двигая запекшимися губами. Губы ее, синие, вздрагивали.

Евгений Евгеньевич ответил:

— Что ты, что ты, успокойся, приляг... я сейчас...

— Что ты сделал, Евгений?— опять заговорила Вера Григорьевна.— Что ты сделал? Ты меня не любишь,— разве ты меня любишь? Мне стыдно перед сестрой. Мне страшно перед всем миром.

В Москве лил дождь. На вокзале встретили жена и дети Евгения Евгеньевича. Сестры поцеловались в плаче. Евгений Евгеньевич вместе с носильщиком тащил чемоданы Женщины и Евгений Евгеньевич сели в такси, дети поехали трамваем.

— Спасибо Евгению, он...— сказала Вера Григорьевна. Она раньше никогда не называла Полторака без отчества. Она посмотрела на него любяще. Евгений Евгеньевич глянул чужими глазами, подставив их под удар. Вера Григорьевна собрала воздух.— Спасибо Евгению, он... он был очень внимателен, он... все ночи сидел надо мною и охранял мой покой,— сказала Вера Григорьевна.

Глаза Евгения Евгеньевича не переставали быть чужими. Жена посмотрела на мужа благодарно.

Дома, на Владимиро-Долгоруковской, швейцар и дворник внесли Веру Григорьевну на третий этаж, в сухость красного дерева дома Полторака, с тем чтобы спуститься отсюда Вере Григорьевне еще, последний раз — в гробу. Жена закачалась в обмороке на пороге кабинета. Веру Григорьевну положили на диван в кабинете. Жена вошла в кабинет, чтобы помочь сестре, и вышла оттуда, чтобы бесшумно плакать в коридоре. Евгений Евгеньевич прошел к больной, она позвала его глазами.

— Милый,— прошептала она,— где сестра? Что ты сделал со мною?

Евгений Евгеньевич не расслышал, он глянул на дверь, он вышел из кабинета, он трагически заломил руки, маня за собой жену, он опустил голову.

— Это ужасно — смерть!— сказал он.— Я совершенно измучен морально и физически. Я не спал три ночи, и туда

ты заставила меня ехать на ящиках. Она всю дорогу бредила, у нее эротические бреды. Она ненормальна. Это заживо разложившийся труп, это ужасно... и этот предательский вид, она красавица, как ты в молодости. Но это пустяки. Это ужасно, смерть!..

Жена обняла мужа, как обнимаются люди в страшном горе, чтобы прижаться к чужому, родному человеческому теплу и им защитить себя. Дети плакали на чемоданах. Жена задергалась судорогами истерики.

— Что же делать, что делать,— это жизни!— сказала шепотом жена.

— Я жесток, я не боюсь слов,— сказал удрученно Евгений Евгеньевич.— Как ужасно ждать, когда умирает человек.

Жена зазнобилась ужасом.

— Да, конечно, да, скорее бы...

— Я не могу быть дома. Мне страшно здесь, и я не спал три ночи. Я пойду к знакомым.

Евгений Евгеньевич стоял с платком в руках, головою упершись в стену, в бессилии и скорби. Жена обнимала его и прижималась к нему. В коридоре горело электричество, со стены наклонился к Полтораку олений рогатый череп с пустыми глазницами смерти.

Жена отворила дверь в кабинет, постояла минуту на пороге. Ушла за дверь.

Евгений Евгеньевич закурил и прошел в ванную.

Это было болезнью: через полчаса Евгений Евгеньевич спускался по лестнице весел и бодр, в просторном летнем костюме, холено выбритый. Дождь над Москвою прошел, смочив и запарив асфальты. Живодерка гремела ломовыми. В бодрости Полторак прошел к реставраторам Бездетовым, в средневековье и сырость антикварного подвала, в запахи старинных духов, клея и политуры, в старину красного дерева, фарфора, бронзы. Павел Федорович ставил на верстак графин с коньяком — императорского алмазного сервиза,— показал секретные ящики павловского дивана.

— Отстаиваете Павла?— спросил Бездетов.

— Да, а как же. Павел — мальтиец, черт его знает, солдатская метафизика. И с женщиной провести вечер тоже неплохо на павловском диване, флюиды идут от веков. И века и современность под тобою одновременно.

— Екатерининские кровати для женщин тоже хороши, а Александр, верно, узок,— сказал Павел Федорович.

Отпили по рюмке коньяку.

— Шервуд был?

— Был. Советовал наведаться в Коломну.

Евгений Евгеньевич звонил по телефону, подзывал к трубке Надежду Антоновну Саранцеву.

— Надя, это вы? Я приехал. Мы увидимся? У Пушкина?

Красное дерево, его обломки, сваленные по углам, и его обломки, приведенные в строгий и старый порядок, восстанавливавшие старые эпохи, отполированные стариною, — средневековствовали в полумраке подвала, в серых паутинах. Столярный клей, делающийся из костяных отбросов, всегда пахнет смертью. Старинные ж духи благородны, эти пачули.

В Москве жило два миллиона людей, колоссальный человеческий лес, дебри, где один человек и многие никогда не знали друг о друге, где очень многие созвучающие проходили мимо, никогда не узнав о своем созвучии, — у этого миллионного леса были свои любви, дела, платья, столы, стулья, постели. Сколько кроватей и полотенец должно быть в миллионнолюдном городе!

Полторак очень знал, как опускаются к губам головы женщин и глаза дрогнут под поцелуем, как говорятя обессиливающие слова, как кладут головы на колени, когда за шумом алкоголя и шепотом распадается сознание.

На перроне в Коломне Полторак познакомил Полетику с Надеждой Антоновной Саранцевой, и Надежда Антоновна поздоровалась с Полетикой и краснодеревщиками, руку подав очень надменной женщиной, наряженная не в мужские носки и не в ситцевое платьице, как приходила она к Пушкину после службы, но по правилам путешественницы в английском синем костюме, в шелковых чулках, в дорожных без каблуков ботинках, с кэзом в руке, — ей можно было дать за тридцать лет. Полторак с Надеждою Антоновной уехали в темноту, лаявшую средневековыми собаками.

Заспанный коридорный в гостинице, придерживая подштанники свободно от свечи рукою, спросил коротко:

— Один номер либо два?

Полторак ответил строго:

— Один двойной, — и глянул вопросительно на Надежду Антоновну.

Она отвернувшись, смотрела в окно за полуоткрытую ставню. Коридорный пошел вперед по коридорам, пахнущим мышами и креолином, дезинфекцией. Номера существовали в этом доме лет полтора. Номер оказался низок и широкостенен, с окнами, задвинутыми ставнями. Рассвет лез в щели ставен так же, должно быть, как в крепостные бастионы. Номерной зажег на столе свечу, высыпал себе в руку из пепельницы окурки и ушел. Свеча горела воровски. Евгений Евгеньевич повесил на крюк кожаное свое пальто и форменную фуражку. Надежда Антоновна стояла у стола с кэзом в руках.

— А ты даже не спросил меня,— сказала она, впервые заговорив на ты,— ты даже не спросил, есть ли у меня муж или нет?

— Милая, разве это важно нам?— ответил Полторак.— А он у тебя есть?

— Да, есть, их у меня несколько,— сказала безразлично Надежда Антоновна.— Ты меня называешь милой,— ты ни разу не называл раньше. Ты заметил,— слова — любовь, роман — умерли теперь.

— Милая,— сказал Полторак и обнял Надежду Антоновну сзади, за плечи, положив голову к ней на плечо,— моя милая, ты никогда не бывала на волчьих облавах? На рассвете, в лесу, по росе, в безмолвии, охотники встают на свои номера, загонщики расставляют по лесу флажки и расставляются живою цепью. Волки окружены. Но волки не знают, что кругом них стала смерть, главным образом там, где тишина. Над лесом начинается рассвет. Мы с тобою, как волки, за флажками,— жизнь осталась за порогом этой комнаты... Впрочем, я путано говорю. Милая, жизнь осталась за порогом,— мне ничто не важно, ни муж, ни прошлое, ни будни,— чудесны ты и то, что мы выкинуты за быт.

Надежда Антоновна освободила свои плечи, сняла шляпку и перчатки, открыла ставню, потушила свечу. Свеча действительно не надобилась в тот рассветный час. Надежда Антоновна постояла над столом и пошла к окну, села на бастионный подоконник, открыла оконце. За окном простирался рассвет, земля поворачивалась к солнцу, выкутываясь из темноты и туманов. В номере застрял серый, чуть-чуть злобный и усталый полумрак, похожий на стены номера, очень уставшие.

— Давай подождем рассвета,— сказала Надежда Антоновна,— это ведь впервые для меня Коломна выползает

из ночи. Это очень туманно, о волках. Да, их у меня несколько, и ты сегодня будешь моим следующим мужем.— Надежда Антоновна не позволила возразить Евгению Евгеньевичу.— Ты боишься слова муж,— не бойся, я совсем не хочу брать твою свободу и быть твоей рабой. Достань вина.

Евгений Евгеньевич вынул из чемодана бутылку барзака.

— Конечно, ты боишься слова муж, и ты придумываешь волков. Не стоит, все гораздо проще. В старину были слова — отдаться, быть твоей. Умершие слова!— я никому не отдаюсь, я беру, как мужчина. И это глупое слово — любовь. Я никого не люблю и не любила кроме себя. Мне любопытно слушать себя и служить себе, а не другим. В один прекрасный день мне стало любопытно стать женщиной, и я стала ею,— мне было тогда шестнадцать лет. У меня...— она помолчала.— Впрочем, я не знаю. Ты не знаешь, ни сколько мне лет, ни где я служу, ни чем я живу,— мы видимся четвертый раз. В Москве нас часто застают рассветы, но мы не видим их за домами. Смотри, через пять минут поднимется солнце, какая торжественность в мире, какое просторное небо, и земля умыта росой. Вы хотите знать, почему я поехала с вами? Мне представилось, что мы пойдем по обрывам реки, пройдем в луга, где строятся крепости против реки.

— Ты говоришь, как поэт,— сказал Полторак.— Выпей еще вина.

— Я служу в Гимпромезе, ты знаешь, но я хочу быть актрисой. Да, вина налей еще. Что ты думаешь о революции?

Полторак перестал наливать вино, глаза его подтвердели.

— О чем?— переспросил он.

— О революции. Мне было четырнадцать лет, когда началась революция. Я была девочкой, когда началась война. Впрочем, мы поговорим еще об этом.

Евгений Евгеньевич долил вино. Он подошел к окну из усталого полумрака комнаты, передал стакан. Лицо его серело, зубы золотели. Он опустился на колени около подоконника, он положил голову на колени Надежды Антоновны, стал целовать ее колени. Она поставила на его голову стакан, придерживая его, откинула свою голову к раме окна и смотрела на восток, следила за небом и за туманами. Из тумана выползали кремлевские башни, башня Марины Мнишек, самая дальняя. Солнце, должно быть,

уже поднялось за туманами. Надежда Антоновна выпила залпом вино и встала с окна, не замечая Полторака, оттолкнув его от колена.

— Все же мы ночные люди,— сказала она.— Затворите плотно ставни, пусть вернется ночь. Всего, что есть у нас в жизни, очень немного. Поцелуйте меня,— не воровски, а бесстыдно,— я ведь знаю, вы больны женщинами... Я смотрела на рассвет и думала о том, что во мне просыпается амазонка, а когда я увидела кремлевские башни, которых не подозревала, я вспомнила древних германок, которые с мужьями ходили в бои. А потом я подумала вот о чем: я, не замечая того, могу быть и трибуном и проституткой. Я не знаю, когда я настоящая. С тобой я хочу быть циничной европейкой, туристом и такой, которой все позволено. И тебе все позволено... Я закрываю глаза в темной комнате,— это бывает ночами,— я не знаю, кто должен войти в эту комнату, но из тысячи знакомых я узнаю каждого, кто вошел, узнаю не мозгом, но чем-то, что есть во мне, чего я не знаю, тем самым, от чего вдруг, как сейчас в этот рассвет, вместе с миром, вместе с солнцем, начинает по-особенному биться сердце. Поцелуй меня.

Полторак закрыл ставни. И комната с бастионными стенами, провалившимися во мрак, украденный у рассвета, уездный гостиничный номер, проезженный российскими уездами, утро, поцелуй,— все стало канцелярией страсти, очень страшной, как все канцелярии номерных уездных гостиничных постелей. Европейская мораль наказала тайны этих канцелярий не выносить третьим лицам.

Полторак не спал этой коломенской ночи.

К семи часам он поехал на стройку, оставив Надежду Антонову одну. Плечи ее голели, и руку она положила под голову, рот она детски полуоткрыла, она спала. На улице ослепило солнце, улица лежала пустынно, пыльна, подпертая вывесками. Извозчик, одетый в тысячелетнюю российскую рубаху, на козлах своей калибры въехал в траншею рвов и дамб строительства именно тысячелетьем разных русских старинностей. Пространства строительства уходили из глаз, вдалеке и вблизи сопели экскаваторы, взывали сирены, за рвами рвался жидкий воздух. Пространства дрались за социализм, калибра скрипела на все четыре колеса, и репица у лошади облезла в лишаях. Река Москва текла еще по прежнему руслу, и ее надо было переезжать через плашкотный мост, тысячелетний от роду. Ока сломала свой путь, «режим реки», как говорят инже-

неры-гидротехники, текла водоотводным каналом. Прежнее ее русло, охваченное перемычками, громоздилось бетонным бастионом монолита.

В доме для приезжающих Полторак попросил себе нарзана.

Профессор Полетика сидел с инженером Садыковым.

— Она живет в Коломне вместе с дочерью Любовью Пименовной Полетикой и с Алисой Ласло,— сказал Садыков.

— Любовь Пименовна, девушка лет двадцати трех?— спросил Полторак, обогнав вопросом профессора Полетику.

Полторак вспомнил: комсомолка Люба Полетика, три года тому назад, март, обыкновенная, как с Надеждой Антоновной, встреча, необыкновенная развязка. Любовь Полетика училась в Археологическом институте. В тот март двадцатилетняя Любовь Полетика, выкраивая время от комсомольской своей работы, время свое и помыслы отдавала изучению темной истории каменных степных баб, которые выкапываются в древних курганах. В Москве эти бабы хранились на дворе Исторического музея, сваленные штабелями, громоздкие, сотнепудовые, страшные, изъеденные временем ветров и земли, состоящие из скул, грудей и животов. Любовь Полетика искала эпоху возникновения этих баб, народ, создавший их, его историю. Она ездила тою весною за Волгу к археологу Паулю Рау раскапывать баб, чтобы видеть те голые степные пейзажи, которые веками хранили баб, растеряв создавший их народ, время и памяти. За Волгой тогда она была в местах, откуда ушли в Венгрию предки ее отчима, унгры. Из-за Волги тогда Любовь привезла раздумья о пустых ковылевых степях, некогда бывших цветущими и людными, о культурах кочевников, умерших за этими пейзажами и оставивших на тысячелетья и на раздумья каменных этих страшных баб. Бабы действительно были страшны, скуластые, узкоглазые, коровоживотые,— Любовь Пименовна говорила о их грации. Любовь Пименовна часами говорила о складках одежд этих баб, о сухом рисунке степных пустых их глаз, о низких их лбах, о выпяченных их грудях и животах, символах плодородия. Бабы эти возникли во утверждение матриархата. Изучая законами мастерства эстетику народа, создавшего баб, Любовь раздумывала о том, как далеко ушло человечество от того неизвестного народа, который оставил свое искусство в этих

бабах, остановив им время и оставив на тысячелетия свою эстетику. Любовь этими бабами — читала века дорог и кочевий человечества от кочевников до теперешних дней. Полторак очень знал, как опускаются к губам головы девушек и глаза дрогнут под поцелуем, как говорятя обесиливающие слова,— он приходил в девичью комнату Любви Полетики слушать о революции комсомольцев и о веках каменных баб. Любовь водила Полторака под своды Исторического музея, где хранились бабы. Полторак воспринимал эти каменные чудовища остатками идолопоклонства, розановской мистикой пола, славянофильским скифством. Полтораку тогда хотелось знать, что девушка отдала свое время этим древностям во имя мистики, он убеждал в этом Любовь и себя, но это было никак не верно для Любви. Любовь копалась в веках, чтобы отдать их будущему. Мир этой девушки, очень загруженный трудом, был чист и ясен. Красные мартовские закаты напоминали Любви степные рассветы человечества и зори революций на земном шаре. Полторак приходил к Любви мефистофелем и иконописным революционером. И был вечер, когда он положил голову на ее колени, чтобы склонить ее губы к своим губам,— и в тот вечер она сказала ему, что она его любит. Но сказано это было строгими и сухими словами, совсем без объятий, очень тихо, когда глаза опущены и опущены руки. Она не позволила поцеловать ее в тот вечер, даже руки. И через три дня они расстались навсегда, потому что она считала любовь чистотою, неделимым, подвигом. Она сказала ему, что, чтоб он имел право поцеловать ее, даже руку ее, он должен не стыдиться сказать об этом, об их любви, всему миру и первым делом прежней своей жене. И Любовь мучилась, не имея сил решить, имеет ли она право на свое счастье перед лицом детей и прежней жены, имеет ли право ради своего счастья ломать чужие жизни. Любовь оправдывала Полторака, готовая жертвовать собою, тем, что если ушла любовь, значит, пришла ложь,— а ложь есть мерзость, которой надо бежать. Через три дня тогда они расстались, потому что она пожертвовала собою, ибо он сказал, что у него нет сил и права чести жертвовать дегьми. Она пожертвовала себя его детям. Она готова была растить его детей. Она запретила ему встречать ее. И она сказала, прощаясь, что для нее любовь одна, что она любит его на всю жизнь и примет его, когда он будет знать, что он чист, готов к любви.

За окнами инженерского дома фыркал паровозик, свистнул и покатился.

Профессор Полетика сидел, тяжело навалившись на стол. Инженер Полторак глянул на профессора с ненавистью.

— Это моя дочь, Любовь Пименовна,— сказал Полетика.

— Я знал ее несколько лет тому назад,— почтительно сказал Полторак.

— Она работает на строительстве, в археологической комиссии, прощается с памятниками старины, которые уйдут под воду, изучает историю башни Марины Мнишек. Она коммунистка,— сказал Садыков.

На место ушедшего паровозика под окна прибежал новый и зафыркал.

Потому, что безразборная мужская полигамия есть патология, Евгений Евгеньевич Полторак не умел любить и не знал той любви, которая веками определяла слово любовь, и он любил не женщин, а самого себя в женщинах. Надежда Антоновна была права, Полторак хворал женщинами.

...В Москве, за час до отъезда, когда Полторак спешил к Надежде Антоновне, чтобы захватить ее на вокзал, в номере Большой Московской гостиницы Шервуд спросил Полторака последний раз:

— Решено?

— Да, решено,— ответил Полторак.

— Решено,— сказал Шервуд.

Оба они внимательно посмотрели в глаза друг другу.

Любовь Полетика была дочерью профессора Пимена Сергеевича Полетики. Этот закон правилен, что убийцу тянет к месту убийства. Тогда, три года тому назад, Любовь Полетика пришла в жизнь Полторака и ушла из нее оскорбительной чистотою, не подчинившейся Полтораку. Неподчинения люди не забывают, как иные ощущают чистоту пощечиной. Логике вещей не могло быть, как всегда в болезнях. Полторак видел колени Любви,— наплевать же в чистоту — есть иным счастье. У Полторака очень болела голова от бессонной ночи. Такие головные боли, когда мир становится стеклянным и все перестраивается по-иному, по-новому, Полторак считал заполнением жизни. На краю бреда, отяжелевший бессонницей, он должен был спешить, делать, всюду поспевать, чувствовать, как перенапряженно бьется сердце, точно оно занемело, как неме-

ют отсиженные руки иль ноги. Светило солнце, но мир пребывал для Полторака серым, как в белые ночи.

В столовую вошел охломон Иван Ожогов.

Полторака приехал на строительство по делам ГЭТа. В конторе у начальника ЭМ — электромеханического отдела — Полторака поджидал председатель рабочих производственных совещаний отдела ЭМ, сонный и молчаливый человек. В клубе при фабрике-кухне собиралось совещание по вопросу о передаче работ ГЭТу. Председатель передал материалы, отрекомендовался:

— Рабочий Сысоев. — Порылся в бумагах и добавил не спеша: — Пойдемте в культурную чайную.

Пошли поселком № 2. Под мышкой у Полторака покоился портфель с бумагами. Голова наливалась сном. Сысоев шел впереди медленным развальцем, но так, что Полторака за ним должен был поспешать. До революции Полторака работал на производствах, застряв после революции в трестовских комиссиях. Шли улицей, образовавшейся на лугах, улицей необыкновенного города, где жили только рабочие и служащие строительства, — ни лавочника, ни разночинца. Улица пустела в рабочем дне, стандартные домики в шахматном порядке, с занавесками и геранями на окнах. По заборчикам зеленели только что посаженные тополи. Перекресток, обсаженный клумбами цветов, превращен был в спортивную площадку. На углу грелась вывеска кооперативной лавки и хрипел громкоговоритель.

— В этих домах живут инженеры? — спросил Полторака.

— Нет, постоянные рабочие, — ответил Сысоев, — вон я в том дому.

В знойном утре перекликались петухи, кудахтали курица. На спортивной площадке мальчишки играли в городки, тресали воробьями. Один из мальчишек на асфальте около скамейки внимательно выводил мелом похабное слово. Сысоев крикнул строжайше:

— Васька, сукин кот, а еще пионер! Уши обтреплю!

Мальчишки бросились наутек. Сысоев растер ногою мел на асфальте, сказал Полтораку:

— Васильев, постреленок, мой племянник, ишь, пятки сверкают, — ну, как не выпороть? — и добавил по неизвестной причине: — Зарплата за этот год увеличилась на круг по сравнению с прежним годом на восемнадцать с половиной процентов, а производительность труда повысилась на двадцать семь с половиною. Социалистическое

соревнование, а Василий, мой брат, пошел в охломоны.— Сысоев плюнул злобно на асфальт, с которого не стирался мел, поискал сердитыми глазами исчезнувшего за забором мальчишку, сказал:— Подожди, сукин кот, опять пожалуюсь вожатому, он тебе пропишет,— и миролюбиво пошел вперед.

Полторак вспомнил недавно прочитанную мысль о машине, о стали, о строительстве, перед которыми нет конца в противоборстве природе и в организации ее,— этому нельзя не кланяться и об этом надо создавать поэмы. Полторак подумал, что самое главное, решающее главное — человек, ради которого живут машины, которым живут машины и текут реки, который живет, чтобы строить — и Полторак вспомнил Любовь Полетику, спутав ее с Надеждой Антоновой.

Стеклянное здание фабрики-кухни казалось не севшим на землю, но повисшим в воздухе. В прихожей Полторака остановили, попросили раздеться. Полторак удивился. В чайной были совершенная чистота, свежий воздух, свежий свет. Полторак прошел в большую комнату с белыми стенами и с белыми столиками в цветочных горшках. За столиками чай пили. В другой комнате играли в шахматы и читали газеты, вправленные в газетодержатели. Сысоев попросил Полторака погасить папиросу или пройти в курительную. В покойствии людей и комнат никакой нарочитости не было, и медленность белых столов и стен напоминала санаторий. Сысоев ушел за талонами, принес молоко, чай и бутерброды. Полторак и Сысоев пришли раньше времени. Напротив их столика сидели трое в воротничках и галстуках, ели и читали газеты. С ними сидела девушка в красном платочке.

— Эти — кто такие в пиджаках?— спросил Полторак.

— Бурильщики. Рабочая молодежь,— тут все одни рабочие, вторая смена,— ответил Сысоев и стал заботливо есть.

— А эта девушка?

— Зайчиха из ЭМ, тоже работница.

Полторак разглядел, что и Сысоев был в пиджаке, со шнурообразным галстуком на украинской вышитой рубашке. Двое рабочих лет за сорок поздоровались с Сысоевым и подсели к молодым, принесли чаю, обменивались редкими фразами. Полторак не прислушивался, погруженный в переутомление,— вынул из портфеля, положил пе-

ред собою папку протоколов, переданных Сысоевым для знакомства.

Полторак читал:

«Протокол № 17 заседания бюро ячейки по содействию рабочему изобретательству от 30/IV—29. Разбор заявления тт. Черного и Старостенко о предоставлении им права авторства в применении приспособления к думпкарам на случай самостоятельного опрокидывания кузова. Слушали: 1) Вопрос т. Черному. Заявляли ли вы кому-нибудь из начальников депо о данном приспособлении? Ответ. Никому, но применяли во время работы, подкладывали шплинт или подтягивали гайку. А так же не заявляли потому, что не предвидели этому большого значения. 2) Тов. Коршунов рассказывает, что он работает на думпкарах с мая месяца 1928 г. и предохранителей не было до введения их тов. Омельченковым, а слесари тт. Черный и Старостенко после работали по устройству этих предохранителей. 3) Прокопов рассказывает историческую справку по этому вопросу. Я, будучи начальником депо, получил отношение отдела Г с просьбой сделать усовершенствование в отношении безопасности опрокидывания думпкаров. Я переговорил с тов. Омельченковым, который в этот же день сказал, что нужно сделать скобу и она будет предохранителем. 4) Тов. Пипкин подмечает, что указанное изобретение есть коллективное творчество как тов. Омельченкова, так и Черного и Старостенко. 5) Тов. Соболев. Я должен пояснить по данному вопросу, что первым в сборке думпкаров был тов. Омельченков. Данную идею считаю не рационализацией, а изобретением, так как слишком просто, а простое изобретение есть самое ценное. Постановили: считать приспособление по устройству предохранителей на случай самопроизвольного опрокидывания Коппелевских и Магоровских думпкаров — коллективным творчеством мастера Омельченкова и слесарей Черного и Старостенко».

Сказал старик за соседним столом:

— Я со своим сыном поспорил на гармошку. Без чертежа вам не понять. Одним словом, какой шар может поместиться в усеченном конусе. Думаю, выиграю у сына гармошку, — он сидит третий день, вычисляет.

— Он у тебя в механических? У них работать одно удовольствие и квалификация до восьмого разряда. А в земельном, где работа наполовину вручную, там разряд не выше пятого. Непорядок. Ясное дело, ребята в механические тянут.

Пришло еще несколько человек рабочих.

Полторак читал:

«...Работа производственных совещаний и комиссий в основном сводилась к рационализации производства. В составе цеховых производственных комиссий было 559 человек, из которых рабочих — 431, служащих — 52, адм.-техн. персонала — 76. Всего создано производственных совещаний с января — 95, присутствовало 9.257 человек, из которых активных членов 3.758, рабочих 3.362, — вынесено предложений 730, из коих согласовано с администрацией 600, выполнено 343, в стадии выполнения 257, отклонено 57. По данным Главинжа от некоторой части выполненных предложений выявлена экономия 307.000 руб., не считая устранения целого ряда недочетов, которые выразить в цифровых данных представляется невозможным».

Рабочих подобралось уже много.

— А гармошку я у сына выиграю. Тут у нас один фабзаяц изобрел новый экскаваторный ковш,— инженеры ахнули, посылают во втуз,— ходит парнишка от своих принципов совсем обалделый.

Голова Полторака раскалывалась бессонницей. Сысоев допил последнее блюдечко чая, вытер и расправил усы, сказал степенно:

— Собрались члены. Надо приступать. Ваше будет вступительное слово, какие такие идеи у ГЭТа. Очень волнуются члены.

Прошли в читальню, молча расселись по местам.

— Докладай, товарищ Полторак,— сказал Сысоев.— Открываю заседание. Повестка дня о передаче электрооборудования строительству ГЭТу. Протоколь, Иван Степаныч, перечисли нас, пока он говорить будет.

Полторак собрал мысли, сдвинул с мозгов головную боль. Он не очень понимал, зачем ему надо говорить с рабочими и перед ними отчитываться. Рабочие слушали молча. Полтораку казалось, что и комната, и люди были сонны, как он сам. Говорил он долго и речи своей не помнил.

— Задавайте вопросы, члены,— сказал Сысоев, когда Полторак кончил говорить.— Протоколь вопросы, Иван Степаныч.

Рабочие придвинулись к столу, где сидели Полторак, Сысоев и секретарь.

— Можем ли мы выполнить требование ГЭТа, чтобы вышло по норме? Интересно знать, сколько ГЭТу понадобится людей?— спросил молодой рабочий.

— Запиши вопрос, соответствуют ли квалификации к этой работе наши монтеры и как велика нагрузка? А также — какую гарантию дает ГЭТ?

— Погодите, ребята. Известна ли ГЭТу стоимость нашей единицы рабочей силы и своей также?

Голова Полторака раскалывалась болью. На производственном совещании он был впервые, оно казалось ему ненужным,— в гостинице ждала Надежда Антоновна. Полторак злобно подумал о том, чему никогда не верил,— о том, что за годы революции психика рабочих уже перестроена,— что вошло уже в биологию психики — то, что строительство — их, рабочих, собственность,— им здесь жить, им строить и хранить. Строительство, условия строительства стали рабочей общественностью, перед которой он, Полторак, оказывается, должен отчитываться.

— Запиши вопрос, заказаны ли каркасы для щитов?

— Отвечай на вопросы, товарищ Полторак,— сказал Сысоев.

Полторак заговорил опять надолго и путано. Рабочие слушали терпеливо.

— Товарищ Кувшинов, говори в прениях,— сказал Сысоев и добавил тихо Полтораку:— Не пройдет твое дело, товарищ Полторак, как я погляжу.

Заговорил рабочий Кувшинов, откашлялся, подтянул брюки.

— У нас уже не в первый раз обсуждается вопрос о ГЭТе, но теперь я вижу, у нас ГЭТ забирает работу без подобных оснований. Я стою теперь за то, чтобы никакой работы не давать ГЭТу. Товарищ-докладчик представитель ГЭТа говорит невразумительно и сам себя опровергает. Если человеко-день стоит нашему строительству восемь рублей, а ГЭТу — шестнадцать, и выходит вдвое дороже, и контора выбросит ГЭТу под хвост триста тысяч рублей. А рук нам жалеть не приходится. Дополни, товарищ Калагаева.

Заговорила девушка в красной косынке, Калагаева, правив косынку.

— Я считаю, к этому вопросу надо подойти очень осторожно. Нужно сказать, администрация ЭМ неправильно подошла к вопросу, почему и создалась с низов такая буча. Вопрос обстоит так, что нужно дать гарантию,

что мы сделаем к сроку и не так, конечно, чтобы было голословно. Я считаю, тогда ГЭТу у нас делать нечего. Нам надо интересы отстаивать не цеховые, а строительные, строительскую кассу.

Сысоев склонился к Полтораку и сказал ласково:

— Не выйдет твое дело, товарищ Полторака. Не дадут тебе рабочие нас надуть. Не пройдет твой номер. Послушай, как девка чекрыжит.

Полторака стал слушать внимательно. Он начал злобно понимать, что он зависит от этих людей. Ему злобно было слушать какую-то там девку. Самое главное человек, самое главное — человеческая жизнь. Человека-рабочего в его буднях, в его заботах и героизме Полторака знал только теоретически либо совсем не знал. Полторака знал старую заводскую Россию, — там не разговаривали с рабочими. Мозги Полторака наливались ненавистью. Рабочие хозяевами сидели в этой культурной столовой, где не полагалось курить, и очень хотелось курить, и рабочие рассуждали — хозяевами, общественниками, люди, мироощущение которых перестроено революцией, тем, что все строящееся — их дело, их работа, их заботы. Перед Полтораком сидели враги, эти люди заняли его место и судили его проекты, выкинув его из его быта, подчинив себе. Голова готова была треснуть от боли. Девушка закончила свою речь. Лицо девушки было миловидно и деловито. Полторака перестал слушать, злоба мешала горлу. Полторака готов был кричать, лицо девушки стало ненавистным.

И рабочие забыли о Полтораке.

Собрание кончилось. Предложение ГЭТа было отклонено. Рабочие пошли к дверям. Сысоев, складывая бумаги, говорил ласково:

— Надоть всего побольше, чтобы никто не серчал, ведер, там, кастрюль, машин, хлеба, мяса. Богачей ведь у нас нету, никто не отнимет. А для этого надо экономить. И надо друг друга уважать, не бояться. Трудовой человек непременно должен сочувствовать друг другу.

— О чем вы говорите? — спросил Полторака.

— Да именно о социализме, — ответил Сысоев. — Дружество и есть настоящий коммунизм. А ты — с ГЭТом... Ты не обижайся, сам знаешь, — для пользы общего дела.

Они вышли в зной дня. Полтораку показалось, что солнце светит черным. Три года тому назад Любовь Пиме-

новна ушла от Полторака чистотою. Убийцу тянет на место убийства. Каменные бабы, которых изучала Любовь Пименовна были болезнью Полторака.

Любовь Пименовна Полетика жила в Коломне с матерью в доме старух Скудриных и после того, как ушел от матери второй ее муж Эдгар Иванович Ласло, берегла мать и младшую свою единоутробную сестру Алису. Любовь Пименовна работала на археологических раскопках, раскапывала становища и урочища. Дом ограничивался калитками. Во дворе у садовой калитки существовал в бане Иван Карпович Ожогов со псом Арапом. Собственно говоря, Иван Карпович только наведывался в баню к собаке, переселившись в свою коммуны у печи кирпичного завода. Пес Арап жил на постели Ивана Карповича, в его и в общей их бане. За сутки до дня этой повести инженер Федор Иванович Садыков привел за калитку второго пса по имени Волк, оставшегося после смерти Марии Федоровны. Волк не хотел есть из рук Садыкова, Садыков отдал его Любви Пименовне. Собаки обнюхивали друг друга, знакомясь. Дом во дворе, покосившийся, заросший зеленым мхом, упирался террасою в сад, двор зарос травой, по траве шли тропки — от калитки ко крыльцу, от крыльца к сараю, от крыльца же в сад, к садовой калитке.

И все зарастало тишиной и солнцем. Летами в таких домах по неделям открыты окна, чтобы по косеньким комнатам бродил воздух, гонимый июльским тихим ветром, зеленоватый и прохладный от одичавшего винограда и от лип старого сада. Одичавший виноград прячет в такие дни комнаты от золотого зноя.

У Любви Пименовны были трудные дни около матери, потерявшей последнего мужа, и трудная ночь раздумья о смерти Марии около Волка, оставшегося после Марии. С вечера, когда ушел Садыков, до рассвета, когда деревья в рассвете стали черными и на платье села холодная роса, Любовь Пименовна пробыла с Волком. Волк смотрел на нее пустыми глазами, и в них видела Любовь Пименовна смерть Марии, последние ее судороги, свидетелем которых был Волк, и видела мать, у которой ничего не оставалось в жизни, унесенной Ласло, тем самым, около которого повесилась Мария. В глазах Волка Любовь Пименовна читала о смерти. Рассвет сделал липы и белое платье костяными.

Но наутро встала Любовь Пименовна в обыденный свой час, когда мать еще спала, ходила с Волком и сестрою Алисой на реку Коломенку купаться, далеко за город к Старым Городищам, где на церкви хранится мамаево татарское клеймо и которые названы Городищами, потому что действительно лет триста тому назад здесь коломенское городище и было. За Городищами в Таборском лесу производились раскопки. Вода была прохладна в Коломенке, и волосы свои Любовь Пименовна завязывала крепким жгутом, чтобы не замочить. В Таборском лесу, названном так в память Марины Мнишек, стоявшей здесь табором, рабочие раскапывали курган, бросали в решета землю древностей. Вернулись к часу, когда встала мать. К Лисе пришел Мишка, друг Лисы, сын одного из братьев рабочих Сисоевых и внук акатьевского деда Назара. На террасе вскипал самовар. Любовь Пименовна не спускала внимательных своих глаз с матери. Ольга Александровна заговорила о похоронах в бессилии. Любовь Пименовна твердо сказала, что на похороны она не пустит матери. Мать была светлою женщиной, набиравшейся мужества, в белом, в руках нескомканном платке.

— Я была дружна с Марией,— сказала мать,— и она ни в чем не виновата, несчастная. И мертвых не судят.

— Мама, не надо судить Эдгара Ивановича и себя,— сказала Любовь.

И после чая Любовь Пименовна повела Ольгу Александровну в сад, и в саду в зное дня, в дружбе с землею и в ее запахах, рылись они около грядок по традициям отдыха. Мать и дочь ходили по саду, заходили на террасу и в дом — в красных косынках, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замазаться землей. Так проходило время. В полдни они пили на террасе молоко с погребницы, холодное до ломоты в зубах. Лисе и Мишке надоело играть в безделье, Мишка бегал ненадолго за калитку в уличные пространства, оставив Лису.

В заплдни, когда небо особенно синело и зной под быстро тающими и вновь рождающимися облаками особенно золотел, Любовь Пименовна читала Алисе и Мишке. Мальчик был тих, голубоглаз и веснушчат. Любовь Пименовна принесла из дома ножницы, обрезала Мишке ногти. Мишка задумался, протянув грязную лапу. Ольга Александровна рылась рядом на грядке.

Мишка сказал раздумчиво:

— Я сейчас на ту улицу бегал и на большую. Там Марью Федоровну пронесли на кладбище. Народищу!.. И сказывали, что все работницы на строительстве бросили работы и пошли провожать ее на кладбище и на кладбище будет митинг. Эдгар Иванович идет, голову опустил, в черной шляпе. Конная милиция проехала на погост.

Мишка смолк в раздумье над рукою и над обрезаемыми ногтями.

Глаза Ольги Александровны стали умоляющими. Полтора месяца тому назад Эдгар Иванович ушел от Ольги Александровны к Марии, оставив Ольге Александровне ее старость. У Ольги Александровны не оставалось своей жизни, кроме памяти о муже и вообще памятей, Мария ж Садыкова повесилась.

— Хорошо, мама, я пойду разузнаю, в чем дело,— сказала Любовь Пименовна.

— Нет, Люба, ты никуда не пойдешь,— сказала мать в строгости, и глаза ее запросили помилования.

— Нет, я пойду, мама, я сейчас же вернусь.

Но в это время пропела и хлопнула калитка с улицы. Римма Карповна знала все новости,— да, забастовка, да, провожают гроб до могилы, да, призывают к бойкоту, как убийцу, Эдгара Ивановича. Мишкины ногти были острижены.

— Теперь почитай нам,— сказал Мишка.

Ольга Александровна ушла в комнаты, в своей комнате легла на постель. Глаза Любви Пименовны были тверды. Она никуда не пошла. Она посадила рядом с собой на скамейку Лису и Мишку, взяла книгу, заложенную на том месте, где остановились они в чтении вчера. Она читала:

«Отец и сын работали в шахте. Маленький рыжий Мотька помогал отцу в работе. Отец и сын лежали на спинах и кирками долбили руду. Над их головами висел тусклый фонарь, вделанный в частую проволочную сетку, предохраняющую от загорания подземного газа. И вдруг по шахте прошел страшный гул, потрясающий земные недра. Отец насторожился и сел, бросив кирку и прислушиваясь к гулу. Рыжий Мотька прижался к отцу. Земля дрожала вокруг отца и сына. Отец поспешно пополз к выходу, сын пополз за ним. И вдруг глыба земли, сорвавшись сверху, упала на отца, похоронив его под собою. Маленький рыжий Мотька

бросился на помощь к отцу. Земля все продолжала сыпаться сверху. Мальчик откапывал отца своими слабыми ручонками. Он плакал и задыхался. Ногти сорвались с его пальцев».

— Не надо,— сказал Миша,— не надо больше читать.

— Почему?

— Мне очень страшно, как их закопало,— не надо больше!— сказал мальчик, и лицо его отразило растерянность.

В саду созревали яблоки. Мальчик сидел неподвижно, бос и кудласт, веснушчатый и голубоглазый. Любовь Пименовна положила руку на голову Мишки. Мишка опустил глаза в землю. Он положил голову на колени Любви Пименовны. В саду пахло теплою землей. Любовь Пименовна гладила волосы Миши. Глаза ее стали невидящими. Она понимала, как мальчик видит удушье шахты, мрака, ужаса,— и она понимала, что мальчик прижался к ее коленам, чтобы чувствовать человеческое тепло. Марию Садыкову в тот час уже зарыли в землю. Мать была в ту минуту сердцем с Марией Садыковой. Любовь Пименовна увидела могильный мрак. Солнце показалось черным. Исчезли все звуки.

В эту минуту закричала и хлопнула калитка с улицы. По целебным ромашкам двора шел Полторак. В земле могил на людей нападают черви. Полторак шел по зеленой траве двора,— исчезли все звуки, солнце показалось черным,— Любовь Полетика вдруг, сразу забыла и мальчика, и мать, и сад, и землю. Она побежала к Полтораку, она положила руки к нему на плечи, она опустила голову к нему на грудь.

— Ты пришел?— прошептала она.— Ты пришел! Мне так трудно.

— Да, я пришел,— так же шепотом сказал он.— Навсегда!.. навсегда,— повторил он, и с ним случилось неожиданное, возникшее вне его воли, переданное, должно быть, Любовью Пименовной, когда солнце стало черным и исчезли все звуки,— закружилась голова, западали мысли.

Полторак сполз на землю на колени, к коленам Любви. Воля его оказывалась ни при чем, мысли падали, точно мозг поскользнулся. Любовь держала его за плечи, чтобы он не упал. Он сел на землю. Мишка помогал Любви Пименовне держать Полторака. Мишка был очень серьезен.

Никто не слышал, как еще раз пропела калитка. Охломон Иван стал в стороне у заборчика.

Глаза Любови Пименовны исчезли в счастье и в жертвенности.

Головы собак вылезли из-за крапивы и лопухов бани.

— Навсегда,— прошептал Полторак.— Ерунда какая-то! Я сейчас встану.

Он поднялся, цепляясь за Любовь Пименовну.

— Миша, принеси воды,— сказала Любовь Пименовна.

— Да, воды,— сказал Полторак.

Полторак неуверенно шагнул. Любовь Пименовна повела его в сад, на ту скамейку, где только что она сидела с Мишей.

Всем существом своим она прижалась к Полтораку.

— Ты освободился, ты любишь, ты пришел,— сказала она.

— Помнишь, ты писала о каменных бабах,— начал Полторак и перебил себя: — У меня кружится голова, я не спал ночи... Я пойду, я не владею собой. Я пойду к себе в гостиницу. Мне надо на строительство. Там твой отец. У меня есть знакомый иностранец, его глаза крепки, как подошвы,— подошвенные глаза.

— Что ты говоришь, Евгений? Ты никуда не пойдешь,— сказала Любовь Пименовна.— На строительстве отец, я знаю,— он не бывает у нас — если он хочет, он придет сам. Ты пришел, ты должен все сказать мне. У нас большое несчастье, у мамы,— сегодня похороны жены Ласло. Говори. Где твои дети?

— Ты коммунистка?

— Да.

— Ты будешь моею?

— Да.

— Ты веришь революции?

— Да. Где твои дети?

— На строительстве забастовка. Ты знаешь Якова Карповича Скудрина и краснодеревщиков Бездетовых? Ерунда какая-то, я говорю не то, что надо...

— Где твои дети?

— Мои дети? Их нет, они в Москве.

Миша принес воды. Полторак выпил. Любовь Пименовна обнимала Полторака. В саду зрели плоды, солнце падало на деревья. Ни солнца, ни Миши, ни мира не было. Охломон Иван стоял у заборчика в сад, кривлялся и дергался, руки положив на забор и голову на руки. Миша

отошел к Ивану Карповичу. На террасе вслед за Лисой появилась мать. Мир пребывал в беззвучии.

— Я пойду,— сказал Полторак,— я не знал, как ты меня встретишь. Я не знал, что ты здесь.

— Как не знал, что я здесь?— переспросила Любовь Пименовна.

— Нет, не то, не то, я не знал, что ты так меня встретишь, я не знал, застану ли я тебя... Я пойду, я приду вечером, через час, я должен быть один, я пойду к себе в гостиницу. Надо быть чистым.— Полторак встал и пошел вглубь сада.— Нет, я не туда иду. Проводи меня. Я приду, Люба, я приду,— навсегда.

Полторак поспешно пошел к калитке. Любовь Пименовна не понимала. Любовь Пименовна проводила его до порога. Залаял пес Арап. Полторак не задержался у калитки, не простился, побежал. Громко хлопнула, пропев, калитка. Мир этим звуком калитки стал возвращаться на прежнее место,— изгородка в сад, деревья, мать на террасе, с руками, запачканными землею, которые она забыла вымыть,— небо, Миша, Иван Карпович.

Иван Карпович кривлялся и дергался. Иван Карпович пересек дорогу Любви Пименовне.

— Барышня моя ясная, товарищ Любовь Пименовна!— завопил тоскливо Иван Карпович.— Не надо! не надо! Вам говорю,— не надо! Не любите его! Он пришел и даже не посидел и побег в номера. Он девку из Москвы привез с собой покрашенную, она его там дожидается. Барышня моя милая, товарищ Любовь Пименовна,— плачьте!— он мракобес, он с братом моим Яшкой хочет взорвать монолит!.. Ликуйте, товарищи, люди встали за честь, за коммунизм, за благородство!.. и вы плачьте, Ольга Александровна, и ты, Мишка!

— Как вы смеее так говорить?!— воскликнула Любовь.

— Иван Карпович, о чем вы говорите?!— возмущенно крикнула Ольга Александровна и пошла к охлому со взором, просящим помилования.

Охломон прикладывал руки к груди, дергаясь.

Город Коломна, ныне пошедший в войну,— николаевский, Николая первого город, ибо с лет Николая умирала Коломна. Гостиница на Астраханской улице здравствовала широкопазым николаевским умиранием в ряду других до-

мов, таких же каменных и плотно усевшихся на землю. Номера в гостинице смотрели на Коломну подслеповатыми бастионными оконцами. На площади против номеров умирали развалины Кремля, на бывшей Дворянской улице в Кремле пил по ночам со Христом водку музеевед Грибоедов. Астраханская улица тяжелых домов и темных подворотен строилась шеренгою вывесок, организующих ту войну, которой воевала Россия. Земля закатывалась к вечеру, вороны над городом растаскивали день, души разрушения, и переставали нить колокола, плач старины. В закат подул ветер, понес тучи, земля посерела, и дождь пошел августом. Так бывает, когда вдруг сразу, от мелочи, или приходит весна, или приходит осень, незаметные еще десять минут тому назад.

Полторак казался очень маленьким под николаевскими гробами домов, Полторак подпирал коломенскую старину. Полторак шел очень медленно, толкаясь о красные вывески. Улицы пустели перед дождем. Полторак упирался в улицы.

Надежда Антоновна лежала на кровати, когда Полторак вошел в бастионную тишину номера.

— Это свинство,— сказала Надежда Антоновна,— вы позвали меня, чтобы показать строительство, чтобы быть вместе, и вы все время куда-то уходите, оставляя меня одну.

Полторак ничего не ответил, налив себе вина.

— Впрочем, это смешно, это одиночество. Этот гроб гостиницы, этот древний вой над городом, эта древняя площадь. Это все мое. Я видела какие-то древние похороны. Процессия проходила под окнами. Впереди несли гроб, и сзади рядами шли женщины, больше тысячи. Слушай,— эта древняя площадь, этот древний вой колоколов и эти древние женщины, эти пролетарки. Я смотрела: они сделаны из камня, эти бабищи. Их загар на лицах и на руках сиз, как слива, они совсем не белокожие. На них были одеяния, которым тысяча лет от роду, плахты и паневы. Они были босы. Они древни, эти бабищи. Это процессия скифов, которой от роду — древность. Впереди несли гроб,— какую старину они хоронили, если они пошли за гробом, эти бабищи в паневах и в безмолвии? Я весь день дремала и думала.

Надежда Антоновна лежала полуодетой в постели. Она поднялась, накинув на плечи ночной халатик, выпила вина, села к окну.

— У Островского и Гоголя провинциальное окно играет роль сюжетной завязки и московской вечерки,— и на самом деле очень любопытно в этой оконной газете времени. Я не говорила тебе, Евгений. Понятно, что эти женщины хоронят древность. Я еще не знаю, но, кажется, это так,— я плохо знаю, что такое мораль, или у меня она своя. Под эти похороны я думала о том, что кто-то там умер, но у меня будет сын, и я не буду знать, кто его отец,— их было несколько, и я беременна. И это неважно, кто отец. Это моя мораль. Я мать — и это очень древне. Этот умерший, которого хоронили, которого я не знаю, быть может, он есть то, что дало мне право иметь ребенка так, что я не знаю его отца. Их было несколько, от кого я могла забеременеть.

— Хоронили жену инженера Ласло, повесившуюся вчера утром,— хмуро сказал Полторацк.

— Она повесилась? отчего?

— Не знаю. Ты не знаешь, кто отец твоего ребенка?— ты не знаешь, какую древность хоронили эти бабищи? Они хоронили нас, тебя, меня, нашу культуру!..

— Это хуже для моего сына.

Полторацк сел рядом с Надеждой Антоновной.

— О чем ты говоришь, Надежда?— сказал он.— Ты спала, я бодрствовал. Они хоронили нас. Да, это хуже для твоего сына, потому что они хоронили и его. Но все равно. Я бодрствовал, и это не страшно,— в бессоннице приходит непонятное, фантастическое, как эти похороны. Ты читаешь газету времени. У нас будет ночь пира во время чумы, за теми флажками, о которых я говорил утром. Я совсем, совсем болен. Я брежу. Я говорил сегодня с рабочими, они хлопали меня по плечу, как дурака.

Постучали в дверь. Вошел курьер со строительства.

— Телеграмма.

В телеграмме значилось:

«Сейчас умерла Вера мы обе говорим тебе будь проклят мерзавец».

В Москве на Владимиро-Долгоруковской в квартире Евгения Евгеньевича Полторака сохли красное дерево, строгий покой, тишина. Квартира на Живодерке была «домом». В кабинете на письменном столе давили стол бронзовые подсвечники и наяды чернильного прибора, также бронзового. В этих подсвечниках горели свечи. На павлов-

ском диване в кабинете умирала Вера Григорьевна. Гардины охраняли тишину. И еще горела свеча на столике около дивана, среди лекарств. На столике лежал серебряный александровский звонок.

Вера Григорьевна была одна. Глаза ее были закрыты. Сухая тишина стыла в кабинете, в неподвижной ночи. Вера Григорьевна, красавица, лежала неподвижно, очень покойно, руки ее легли над одеялом. И тогда она позвонила, долго дотягиваясь до звонка, не открывая глаз, чуть слышно. Вошла Софья Григорьевна со свечою в руке, в ночном халате. Старшая сестра казалась много утомленной и непокойней, чем младшая.

— Ты звонила, Вера?

— Да, я умираю, Софья. Я чувствую, как в меня входит смерть.— Вера Григорьевна говорила беззвучно, глубоким шепотом, чуть шевеля губами.— Я уже не человек. Мне покойно думать, что сейчас последний раз в жизни,— она повторила, споткнувшись на слове,— в жизни я бралась за звонок.

Лицо Веры Григорьевны оставалось очень покойным, она не открывала глаз, ее губы чуть-чуть шевелились. Она замолчала. Сестра склонилась над нею, губы сестры скопились судорогою боли. Сестра поставила свою свечу на столик к дивану и потушила. Свет потухающей свечи скользнул по лицу умирающей. Вера Григорьевна чуть-чуть улыбнулась.

— Позови Евгения, он здесь, я слышу,— прошептала Вера Григорьевна.

— Его нет, он уехал по делу в Коломну,— ответила Софья Григорьевна и оглянулась на комнату.

На письменном столе горели свечи, догорали, забытые после доктора, который рецептов уже не писал. Софья Григорьевна поднялась, чтобы погасить свечи, но ее остановила Вера Григорьевна,— она опять шептала и улыбалась. Софья Григорьевна склонилась над сестрой.

— Все бывает страшно первый раз, слышишь, Евгений. Это сказал ты,— ты не прав. Что ты сделал, Евгений? что ты сделал? Ты меня не любишь, разве ты меня любишь? Мне стыдно перед Софьей, мне стыдно перед всем миром... Я разбудила тебя, ты спал... я так давно зову тебя...

Софья Григорьевна еще ниже склонилась над сестрой. Сестра бредила:

— Ты сказал, Евгений, что добродетели, верности, справедливости — все это ничто перед нулем смерти,—

нет, ты не прав перед лицом живущих, перед лицом Софьи и детей. Это мерзость, что я отдалась тебе умирающая, мертвая,— это мерзость, что ты сделал со мною, Евгений, милый... и это мерзость, что я думаю о тебе, как о самце.

Софья Григорьевна крикнула:

— Вера, ты бредишь, перестань, что ты говоришь!

Вера Григорьевна открыла глаза. Взгляд ее стал осмысленен, внимателен, никак не сонный.

— Нет, я не брежу, Софья,— сказала она громко, твердо, злобно.— Я умираю, Софья. И это не бред, что в поезде Евгений Евгеньевич овладел мною,— ты понимаешь, о чем я говорю. Мне даже не стыдно за себя, я нуль,— мне страшно за твою жизнь, Софья, за твою честь. Он трус и вор. Скажи ему, что он мерзавец. Мне стыдно перед тобою, Софья,— мне страшно за тебя.

Вера Григорьевна закрыла глаза, задохнувшись. Это было в неподвижную полночь. Софья Григорьевна очнулась в час, когда земля проходила полднями. Она не помнила времени. Свечи на письменном столе и около дивана выгорели, исчезнул даже чад. Вера Григорьевна умерла. Живая сестра опустила голову на грудь мертвой сестры.

И первое, что сделала Софья Григорьевна, очнувшись,— она написала телеграмму и понесла ее на телеграф. На Живодерку лил дождь, асфальт на тротуарах отражал дома, и дома, отраженные в асфальте, были подобны платоновским теням, где подлинные дома на подлинных улицах — идеи. Дождь обложил Москву мокрыми киселями облаков. Радиокричателю неистовствовали российским гопаком.

Смерть!.. Был человек, была девочка Верочка, была гимназистка-подросток Вера, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была средняя провинциальных театров артистка Вера Полевая,— были детство, девичья юность, женские двадцать семь лет, были экзамены по закону божьему, где спрашивались вразбивку десять заповедей, была золотая медаль, была басня Крылова «Журавль и Цапля» на экзамене в филармонии, было первое выступление — Софья Фамусова — в уездном любительском спектакле, неизбежные были — первое рукоплескание, первый поцелуй, первое отданье — все было!.. Когда же человек умирает, его везут в Новодевичий монастырь, на Ваганьково (оскорбительное слово — Ваганьково)

и закапывают в землю, предав человеческий труп медлительности червей, или отвозят в Донской монастырь и там сжигают в крематории. И в крематории тогда дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камере крематория в температуре двух тысяч градусов Реомюра в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, и голый человек начинает двигаться: у мертвеца подгибаются ноги и руки его ползут к шее, голова его втягивается в плечи. Если у того окошка, через которое видно, как две тысячи градусов Реомюра уничтожают человека, стоит живой человек со сломанными нервами,— у этого живого седеют волосы, и последние человеческие судороги кажутся ему нарушающими смерть. Мертвец принимает бесстыдные позы, а через четверть часа от человека остается горсть пепла. В земле — черви роются в человеке, как человек в катакомбах.

Был человек, была девочка, девушка, женщина, актриса Вера Полевая, были радости, горести, успехи, обиды, гордости!..

Мальчик Мишка убоялся судьбы рыжего Мотьки. Дети мыслят только конкретными образами, как художники. После того часа, как Любовь Полетика читала о рыжем Мотьке, Мишка долго сидел в саду, солнцем ведая холод шахт. И затем с Алисой он ходил на Коломенку к башне Марины Мнишек.

Любовь Пименовна изучала историю и историю преданий, связанных с башней Марины. Преданья рассказывали, что в этой крепостной кремлевской башне, высокой, наугольной, стройной и глухой, погибла Марина Мнишек. Летописи знают, что Марина Мнишек с Иваном Заруцким и с сыном Воренком, отступая от Москвы, брали Коломну и грабили ее,— преданье говорит, что Марина в этой угловой кремлевской башне хранила свои богатства,— Мишка видел эти богатства сказками Шехерезады. Летописи знают, что Иван Заруцкий и Воренок, называвшийся также Вороненком, были преданы казаками и казнены в Москве на Красной площади,— но летописи утеряли смерть Марины. И преданье утверждает, что Марина была заключена в эту башню. Преданье говорит, что Марина Мнишек была оборотнем, оборачивалась сорокою-вороною и летала над Россией, неся разрушение. И преданье рассказывает подробную историю — о том, как дьяки, воевода Коломенский Данила и попы со епископом, прознав, что Марина оборачивается вороною-сорокою, пришед однажды в баш-

ню к Марине, застали ее спящей и освятили окна, бойницы и двери святою водою, дабы не могла Марина вылетать из башни вороною. И учинили тем воеводы ошибку, потому что Марина не спала в тот час крапления святою водою, но лежало в башне лишь тело Марины, душа же летала над Россией вороною. С тех пор по сей день душа Марины вороною летает над Россией, не может соединиться со своим телом, давно уже сгнившим. Все вороны над Россией — души Марины.

Мишка знал эту легенду и боялся башни.

Мишка не знал, что эта башня была местом несчастных свиданий Риммы Карповны.

Дети имеют понятия, отличные от понятий взрослых. Мишка знал, что эта башня — кирпичная, высокая, строгая, глухая — есть женщина, даже девушка, воительница, как Мишка ж знал, что огонь растет вроде травы, только очень быстро. Мишка боялся башенной таинственности.

День был солнечен. Подножие башни заросло красной бузиной. От камней башни пахло пылью и зноем. Было прозрачно, пусто и тихо. Тропинка вела на развалины стены, в монастырский двор, ко входу в башню тропинка заросла лопухами и крапивою. И опять было знойно, просторно и тихо. Мишка взял Лису за руку. Дети смотрели вперед в сосредоточенности. Во мраке башенного входа пахло человеческим пометом. Там лежали дрова. Свет сверху падал дряблый и мутный. Над ходом у солнышка летали большие зеленые мухи и жужжали, подчеркивая тишину. Дрова пахли подогретой гнилью. Дети остановились в молчании, очень внимательные и сосредоточенные. Вверху, на гнилой перекладине уничтоженных полов верхнего яруса, сидели молодые совы. Мишка отпустил руку Лисы, полез на дрова, босоногий, курносый.

Здесь, за кремлевской стеною, в безлюдии бузины и бурьяна все было очень просто, знойно, просторно и тихо. Ничего таинственного не было.

Дети пребывали в первозданности.

— Что написано в телеграмме? — спросила Надежда Антоновна.

Евгений Евгеньевич не ответил.

— Ты знаешь, как пахнет кровь, Надежда?! — крикнул он бессильно. — Умеющий умирать должен уметь и убивать, — а убийство гадость, мерзость!..

— Но ты же сам говорил, что все на крови,— все, вплоть до любовного ложа.

— Да, я говорил именно о крови, но есть убийство без крови, слышишь, без крови, желтое, сукровичное, статистическое, цифровое! Рабочие на совещании мне сказали, что я не нужен, выброшен за борт, убит без крови!..— и слова Полторака заметались.— Я получил телеграмму, я должен идти. Шумит дождь,— это дождь на самом деле?.. Можно убивать без крови, можно убивать поцелуями, и ласкою, и ложью, можно воровать у самого себя. Ты ничего не хочешь знать, Надежда, я же — русский, я же — националист, ученик Соловьева, я же хотел умереть за мою Россию,— а на строительстве работают русские мужики, эти плотины строятся русскими мужичьими рублями и руками, а социализм есть сочувствие друг другу, как сказал Сысоев. Ты когда-нибудь видела, как рвет аммонит, когда он взорвался неожиданно и неудачно, как летят человеческие головы вместе с песком, сапогами и камнями? Ты когда-нибудь слыхала о том, что инженеры-гидравлики боятся воды, потому что вода неимоверно сильна?.. Ведь же я русский!.. Ведь я же мечтал о соловьевском мессианстве России!..

Надежда Антоновна встала с подоконника, подошла к столу, налила вина, выпила. Полторака стоял посреди бастиона с телеграммой в руках. Он держал телеграмму, отодвинув от себя, точно об нее можно было обжечься. Глаза Полторака никуда не смотрели. Надежда Антоновна легла на постель, положила руки за голову.

— Кажется, мы оба бредим, Евгений,— сказала Надежда Антоновна.— Слушай же, о чем я думала сегодня. Я говорю тебе об этом, но ты принимаешь это за образы. Я еще не знаю точно. Ты здесь ни при чем. Я думала о себе. Похороны за окном древностей есть похороны моего сына, говоришь ты,— не знаю. Ты говорил о волках. Есть волчье правило,— я читала у Брема,— волки съедают своих стариков, когда старики дряхлеют, потому что старики отступили от законов равенства дряхлостью и моральным развалом, а природа не терпит неравенства сил. Ты сказал, мы — как волки.

— Да, как волки. Ты помнишь, я мечтал о святой Софии и о кресте на ней?

— Хорошо. Никогда, ни в единую минуту человек не может сказать, что он есть поистине то, что он есть в эту единую минуту. Люди не подозревают, как они гипнотизи-

руются. Люди могут гипнотизироваться на мерзость и на благородство — не гипнотизерами, но человеческим обществом. Волки соподчинены равенству сил. Я никогда не любила. В моем внимании лежали мои переживания и сама я. Я выбирала себе мужчин, разных, чтобы все познать. Я отвечаю только за себя и собою. Мне не надо никаких обязательств от вас, мужей, и мне не нужны ночные туфли. И я рожу, как рожают волки. Ты думаешь, что есть какая-то национальная Россия?— нет такой. Я и не подозревала, какое это счастье быть матерью, родить, кормить грудью. И мужем мне будет мир, совсем не спрятанный за флажки, о которых ты говорил. Мир велик, но он меньше того ребенка, который, кажется, есть во мне. А мир — очень велик, жизнь — очень велика, она кругом, я не разбираюсь в ней, но я не боюсь ее,— так меня научила революция, я верю жизни, и я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня. Я не сделаю себе аборта. Скажи мне, что я права, решив родить.

— Где же Россия? Где же мы?!— крикнул Полторака.

Опять постучали в дверь. Время стекало дождем, когда постучали в дверь. Надежда Антоновна лежала на постели. На стуле около кровати стояла бутылка вина. Надежда Антоновна не оправила своего халатика.

— Войдите,— сказала Надежда Антоновна.

На порог ступила Любовь Пименовна Полетика в резиновом дождевике, в красном платочке.

Она глянула на Полторака и поклонилась Надежде Антоновне.

— Здесь остановился Евгений Евгеньевич Полторака?— спросила Любовь Пименовна Надежду Антоновну, точно Полторака не было в комнате.

— Да, здесь,— ответила Надежда Антоновна.

— В этом номере?

— Да.

Любовь Пименовна запнулась.

— И вы тоже остановились здесь?— шепотом спросила она.

— Да, здесь. Я его любовница,— ответила Надежда Антоновна.

Любовь Пименовна не двигалась с порога.

— Что ему передать?— спросила иронически Надежда Антоновна.

— Простите... Передайте ему, что к нему заходила его невеста. Любовь Полетика. Только... больше ничего. И скажите, пожалуйста, еще, что я не ожидаю его. Пожалуйста.

— Хорошо, передам,— весело сказала Надежда Антоновна.

Любовь Пименовна поклонилась и вышла.

Полторак по-прежнему стоял с телеграммой посреди бастиона. Надежда Антоновна взяла книгу, чтобы читать. Бастион смолк.

— Евгений Евгеньевич,— сказала Надежда Антоновна,— к вам приходила ваша невеста Любовь Полетика и просила передать, что она не хочет вас видеть. Очень жаль, если я помешала вашему счастью. Я не ревнива, но я не люблю мелкой мерзости и глупых положений.

— Я пойду, Надя,— я не вернусь. Я получил телеграмму.— Полторак бредил.— Я пойду, Надя, я не вернусь.

Водовозы по улицам вывесок развозили на своих дрогах и своими клячами коломенскую старину и ночь. Коломна здравствовала широкопазым николаевским умиранием вместе с номерами. Вороны над городом, души Марины Мнишек, стихли. Лил дождь.

И дальше для Полторака все стало бредом в этот вечер его гибели. Извозчик сдвинул на сторону Коломну, пододвинув к Полтораку дом Якова Карповича Скудрина. Яков Карпович, возникнув за алкогольным фрегатом на плечах братьев Бездетовых, молвил глазами Шервуда: «нынче ночью!»— и братья Бездетовы стали стеною, готовые к убийству, в словах «нынче ночью в час!»— столь же твердых, как слова, сказанные в Москве Шервудом, в твердости глаз Шервуда: «Решено?»—«Да, решено!» На производственном совещании Полторак увидел, как перестраивается геология человеческих отношений. Полторак спрашивал в бессилии старика: «Можно ли убить человека?» юрод говорил о юродстве, о чистоте, о совести и памяти,— бредил юродством, московским Иваном Яковлевичем,— «без працы не бенды кололацы». Да, мерзавец может убить, но не всякий юрод — мерзавец. Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, остановившими время оловом глаз в вольтеровском фрегате осьмнадцатого века и красного дерева. Братья выросли в красное дерево. В окна

к огню летели ночные бабочки, во мраке за окнами шумел дождь: Полторак стал бабочкой на огне красного бездетовского дерева. Старик копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу, глаза его слезились восемьдесятю пятью его годами, пухлыми, отеками, зелеными, как перегнившая сукровица, страшными и отвратительными. Полторак в бреду понимал, что только с Яковом Карповичем мог он быть искренним и естественным, таким, каким он есть на самом деле, вне Надежных законов больших чисел. Бездетовы твердо сказали, навалившись оловом глаз,—«в час ночи около голутвинского плашкотного моста»,— и тогда из-за окна, из дождливого мрака появился охломон Ожогов, юродивый, который не забыл чести и не потерял совести. Охломона прогнали, обещав побить. Охломон трусливо провалился за окно. Думал ли Полторак в тот час о том, что убивающие могут убивать не только третьих, но и самих себя, как убиваемые также могут убивать своими смертями? Полторак в ту ночь, в последнюю его ночь, знал, очень знал, что смерти могут приходить без крови, как не только на крови строятся строительства.

Полторак ушел от Скудрина — в бред, в выжженные ночью — час ночи, плашкотный мост, где были олова глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом спокойствия в огненный столб в небе, в крики, ужас и шелест воды. Кругом обстали — бессилие, поцелуй Анатоля Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх,— смерть без крови. Полторак собирал себя — к часу. Полтораку некуда было идти. Он шел окраинами, берегом Москвы-реки, мимо Маринкиной башни, под Кремлем. Кремлевским спуском Полторак вышел в луга. Все ломалось, завтра стало далеко, как детство. Ночь была черна. Впереди горели огни строительства, угоняя во мрак луга. В лугах, которые через год исчезнут под водою, кричали мирные коростели. Вера, Надежда, Любовь,— жену Полторака звали Софьей,— Полторак бредил породой юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Софья — соловьевская мудрость,— бред, ничего нету. Все на крови, и вот пришла бескровность. Вера умерла бескровною смертью. Надежда сказала,— она не знает, когда она настоящая,— и с Полтораком она хотела быть такой, которой все позволено,— почему? Полторак был настоящим со Скудриным. Любовь пришла, чтобы сказать, что она уxo-

дит. Похороны Садыковой срослись с производственным совещанием. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, растянув флажки, за деревьями в тишине стали охотники, чтобы убивать, — и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Волки покойны, окруженные флажками и кричанами, пока не закричали и не завыли, не заулюлюкали эти кричаны, — но кричаны завыли, и жизнь осталась за кричанами, за флажками — естественная, обыкновенная жизнь. Вера, Надежда, Любовь! Ночь бредила мраком. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, захрипели, завыли, заплакали, застонали экскаваторы в бреде огней строительства. Экскаваторы захлебывались ужасом.

Полторак упал.

Через год эти луга будут залиты водою. Соловьевская София!

Этою ночью охломон Иван Ожогов встречался в лугах с инженером Полтораком, и повесть вернется к этой встрече. Расставшись с Полтораком, в быту своих будней Иван долго шел темными лугами за рекой, под Гончарами и под Митяевым, ему одному известными тропинками, за штабелями заводских дров, между бревен, мимо заводских паровозных доков. Иван разговаривал сам с собою, взволнованно бормоча. Он шел к своему кирпичному заводу.

Кирпичный завод разместился в развалинах карьеров, за скучным забором. Иван пролез через заборную щель, мимо ям, заросших крапивою выше человека. Около заводской печи Иван Ожогов полез в подземелье к печному жерлу, в жаркое тепло и в темное удушье. Из щелей от заслонов полыхал красный свет. В удушье пахло дымом, дегтем, несвежим человеком и рыбою, как пахнет в морских корабельных кубриках. На глине в подземелье вокруг печного жерла и в темноте валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с начальством кирпичного завода, топившие без уговору заводскую печь, эту, огнем которой обжигался кирпич, и жившие без уговору около печи, — люди, остановившие свое время эпохою военного коммунизма, избравшие в председатели себе Ивана Ожогова. Обжижная печь пребывала очагом коммунизма Ивана Ожогова, это подземелье, пропахшее дымом, глиной и человечиною. В пещере существовало устройство домашней

оседлости эпохи лет военного коммунизма, на веревках обсыхало тряпье, солома по углам служила постелями и диванами, доска около соломы обозначала стол.

На соломе около этой доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы, нищие и юродивые Руси советской — Огнев, Пожаров, Поджогов. Огнев имел «пунктом» переписку с жителями планеты Марса, куда человечество с земли должно кинуть ракеты, построив межпланетные станции; Пожаров (сын Назара Сысоева) предлагал выловить всю взрослую рыбу в Оке и Волге и, расплачиваясь этой рыбой, строить по проселкам для мужиков железные мосты, в каждом участке столько мостов, сколько поймано здесь рыбы; Поджогов составлял и каждый день переделывал проект трамвайной сети по Коломенскому уезду. Лица людей в красном мраке печного огня были зловещи и необыкновенны, как необыкновенна была жизнь этих оборванцев. Ожогов присел рядом с Огневим, подрожал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь от дождя, положил на стол деньги.

— Не плакали?— спросил Огнев.— Караулил?

— Нет, не плакали,— ответил Ожогов.— Караулил.

Помолчали. Вползли в глину подzemелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете; повесили свои пиджаки к огню, положили на доску деньги и хлеб, легли на землю, очень усталые. Младший сейчас же захрапел. Поджогов и Пожаров спали, тоже храпели.

— Твоя очередь, товарищ Огнев,— сказал Ожогов.— Тебе идти караулить.

Лежавший лицом вниз в темном тепле человек, остановивший себя фантазмагорией Марса, Огнев, стал обуваться в опорки, напялил солдатскую шинель, пополз из подzemелья наверх, ушел во мрак дождя и лугов. Остальные спали. Старший пришедший молвил, что завтра с утра надо разгружать баржу с железными балками для строительства. Проснулся Пожаров, оглядел всех, собрал со стола копейки и рублевки и, не одеваясь, босой, без шапки полез из подzemелья. Охломоны проснулись, достали кружки, сели кружком около доски. Пожаров вернулся скоро, мокрый, с бутылками водки, заткнутыми за кушак штанов, как гозыри на черкесках. Товарищ Поджогов разлил водку. Чокнулись, безмолвно выпили.

— Теперь я буду говорить,— сказал Ожогов.— Опять возвращается девятнадцатый год. Сегодня женщины взмолились о чести и справедливости. Я говорил сегодня

с профессором Полетикой,— он, выходит, первый муж старой Ласло, а инженера Полторака бил я сейчас на лугу... Опять приходит девятнадцатый год!.. Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они упали, разбившись о землю, свалившись с неба. Они погибли,— я тоже летал на парашюте, но люди не оставили дела братьев Райтов, люди уцепились за небо, и люди — летают! Товарищи, они летают над землей, как птицы, как орлы, и они полетят на Марс, как сказывает товарищ Огнев.

— Обязательно полетят, и будут такие межпланетные станции! — крикнул парень из темноты.

— Подожди, Пламя, кричать за Огнева, он сам придет с караула, скажет,— продолжал Ожогов.— Я был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году тогда все кончилось, когда нас выгнали из партии. Настоящие коммунисты во всем городе только мы и были, и вот нам осталось место только в подземелье. Теперь возвращается девятнадцатый год,— сегодня женщины устроили демонстрацию. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока я жив. Наши идеи опять приходят наново,— какие были идеи... Мы — как братья Райты.

Товарищ Поджогов налил по второму залпу водки. И Поджогов перебил Ожогова:

— Теперь я скажу, председатель! Какие были дела, как дрались... Я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом день, идем ночь, и еще день, и еще ночь. Вот где я решил, что всю страну надо застроить трамваями, чтобы не было таких переходов. И вот на рассвете слышим — пулеметы.

Поджогова перебил Пожаров, крикнув строго:

— А как ты рублишь? Ты покажи, как ты палец держишь!

— Товарищи,— тихо сказал Ожогов,— дайте договорить идею. Слушайте, что будет. Не будет ни рождества, ни пасхи, ни воскресений, ни ночи и ни дня. Люди будут работать круглые сутки и круглые годы, и машины будут работать круглые годы и круглые сутки без останова. Дни и ночи будет одно и то же. Ночи мы зальем электричеством светлее солнца, и ночью будем жить, как днем: заводы, столовые, кино, трамваи, люди...

— Нет, ты как палец держишь при рубке, согнув или прямо?! Ты покажи!

— На лезвии. Прямо,— ответил Поджогов.

— Все на лезвии. Ты покажи! Вот, на ножик, покажи. Ты рыбине голову не отнесешь!

Поджогов взял сапожный нож, которым резался хлеб, и показал, как он кладет большой палец на лезвие.

— Неправильно ты рубашешь!— крикнул Пожаров.— Ты палец себе отшибешь, ты рыбину так не зарубишь. Я саблю при рубке держу не так,— я режу, как бритвой. Дай, покажу! Неправильно ты рубашешь!

— Товарищи,— молвил Ожогов, и лицо его исказилось болью сумасшествия.— Мы об идеях должны говорить, о великих идеях, а не о рубке. Сейчас не рубить надо уметь, а на станке работать,— сейчас бескровная началась революция, строительство. Мы честью должны побеждать, а не ножами и кровью... Я о старом думаю, товарищи, и о новом. Сколько я по миру исколесил, не счесть, не об этом надо говорить. Был я матросом, был парашютистом, был наборщиком, был токарем по металлу,— и всю свою жизнь я думал не о том, токарь я или наборщик, а думал о лучшей жизни и заботился, как бы мне стать лучше, умней. Нам необходимо человека уважать, а то теперь человеку вроде как надобно не верить. Революция встала за честь. В двадцать первом годе меня из партии прогнали! Мы честью должны побеждать, трудом и умом.

Ожогова перебил четвертый, он крикнул:

— Товарищ Пожаров, ты был в третьей дивизии, а я во второй,— помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки?!

— Мы прозевали?!— нет, это вы прозевали, а не мы.

— Мы прозевали?!

— Товарищи!— крикнул Поджогов.— И вот на рассвете мы слышим пулеметы. И жалко мне стало тогда людей, и повел я их в бой. Победили мы тогда, погнали беляков, но сосчитал я вечером бойцов, и... правду председатель говорит, надо строить дороги, мосты, заводы, социализм и идеи...

— Слушайте об идеях, товарищи!.. Я был артистом в балагане,— хуже не бывает,— а мы там о благородстве роли играли, и очень все любили благородных...

Глубоко за полночь люди в подземелье у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право хранить свою честь в подземелье у печки кирпичного завода. Они спали, свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, при-

крывшись своими лохмотьями. Последним бодрствовал Иван Ожогов, их председатель. Он долго лежал около жерла печи на животе с лоскутком бумаги, положив бумагу на землю. Он мусолил и грыз карандаш, он хотел написать стихи.

«Товарищу Любовь Пименовне Полетике и ее родителю товарищу профессору»,— написал он. «Мы победили мировую»,— написал он и зачеркнул. «Мы зажгли мировой»,— написал он и зачеркнул. «Вы, которые греете кровавые руки»,— написал он и зачеркнул. «Надо быть умным и честным»,— написал он.

Слова не шли к нему. Он долго лежал, опустив голову на исчерканный лист бумаги. Вокруг него спали коммунисты призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди остановившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземелье и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен,— впрочем, жены сами ушли от них, от их мечтаний, их сумасшествия и алкоголя. Сейчас эти люди пошли служить на строительство, утверждая, что идеи строительства — их идеи. В подземелье было очень душно, очень тепло, очень нище.

Иван Ожогов долго лежал на земле. Затем он поднялся с земли, взволнованный, он разбудил товарищей,— те медленно заскреблись на земле и заворочались.

— Товарищи!— закричал Иван.— Я вот не спал и думал о женщинах. Вы о женщинах подумайте, товарищи. Хожу я по строительству, был в женском бараке. Живет в бараке семьдесят одна женщина. Посмотрел,— и сразу видать, что живет семьдесят одно горе. Бабы там так распределяются: замужних ни одной, которым больше тридцати лет, те все иль разведенки, иль вдовы, а которым до тридцати,— эх, товарищи, губы у них подведены,— ну, молодежь лет до двадцати двух я не беру,— у них будущее. Дети под столом и под нарами ползают. И самое главное,— смотришь на семьдесят одно это горе, видишь — покорились, ничего не ждут. Женщин у нас на строительстве много, но менее, чем мужчин. И мужики, вы подумайте, лапаются, издеваются. Рабочие у нас сезонники больше, плотники, землекопы, грабари, каменщики,— живут артелями, и считай, что стряпуха у артели не только стряпуха, но и артельная жена,— так ее и нанимают,

а иначе гонят. Техники, а то и прорабы, не говоря уже о десятниках, в кино зовут, в красные уголки, на физплощадки, — а затем бегают девка, плачет, и не потому плачет, что ребенка ей надуло, а потому, что человека в ней утоптали, человека бросили. — Охломон Ожогов помолчал. — Подумать только, — три грабаря девку изнасиловали, — как, небось, в ее барак-то встрепенулись, плакали, небось, все над нею сообща. Инженеру Ласле женщины не простили. Женская доля — трудная, женщина стареет раньше, силы в ней меньше, дети у нее на руках остаются, а ставки одинаковые. Женщины лучше нас, мужиков. И конторских девок судить не надо, — ей тоже жить хочется. Она губки накрастит, ее в Голутвин на станцию ужинать повезут, — а под юбку надувает всем женщинам одинаково. Да, пришел в барак и увидел сразу семьдесят одно горе, и все горя-гореванья одинаковые. Я слово сказал женщинам, плакали. Женщины правильно за себя заступились.

Охломон Иван замолчал в раздумье, опустив голову на колени. Никто из его коммунистов не произнес ни слова. Двое выходили на дождь, навалили сверху дров, завалили печь. Опять подземелье захрапело в удушливом сне.

Тогда охломон Иван полез из подземелья. До рассвета оставался еще долгий час, дождь поредел, холодало, поднимались туманы. Охломон пошел окраинами города мимо развалин не отстроившихся с девятнадцатого года домов, — шел к себе в баню. Двор, заросший травой, пребывал в темноте и безмолвии, светились окна в комнатах Любви Пименовны и Ольги Александровны. Пес Арап побежал навстречу, приласкался у ног, лизнул руку, пошел вперед к бане, отворил дверь, вскочил на кровать, махая в приветствии хвостом, приглашая друга к себе. Охломон постоял у окошка Любви Пименовны. Занавеска свети-лась, бела и глуха. Охломон повздыхал, покачал головою и проследовал за псом в баню, лег рядом с собакою, обнял ее и заснул, повздыхав перед сном. Собака положила голову на грудь Ожогова, долго слушала тишину и дыхание друга, карие глаза ее были внимательны. Потом она опустила уши, закрыла глаза и тоже заснула.

Это были друзья — охломон и Арап, испытанные в верности и любящие. Пес, который выглядел на улице обыкновенною дворняжкой, в содружестве с охломоном был умен, как человек, как друг и не раб. Арап уступал охломону, когда охломон был прав. Пес подавал другу спички и махорку, пес закрывал дверь, когда охломон был

пьян. Пес помогал пьяному охломону взбираться на постель, тормоша его, когда тот собирался засыпать на полу. Пес был весел, когда веселым был охломон, пес грустил в часы грусти охломона. Пес никогда не съедал всего хлеба на столе, оставляя половину другу. И охломон никогда не пил в одиночестве водки, если пил дома, напаивал и Арапа. В большую водку пьяные охломон и Арап в жарких разговорах и слезах целовались. Арап всегда был горд при охломоне и тосковал и выл на пороге, когда долго не приходил охломон.

Жизнь Арапа ограничивалась калиткой на улицу, много проще и короче жизни Ивана Карповича, революционера, искателя и человека. А жизнь Ивана была велика, возникшая сорок лет тому назад. Первым воспоминанием мальчика Ивана был заводской гудок, и дальше шла сложная, очень пестрая и очень интересная жизнь русского пролетария. Если русский мужик и русский дворянин проживали в традициях и быте, до них созданных, где они были только подтверждением быта,— русским пролетариям конца девятнадцатого века всегда приходилось ломать этот быт, и в лучшем большинстве своем, ломать во имя лучшего и чести. Старшему брату Якову перевалило много за тридцать, а отцу было за пятьдесят, когда родился Иван. Впоследствии Иван узнал, что его отец служил хлеборезом и квасоваром на кухне для рабочих коломенского машиностроительного завода, и первым воспоминанием, отрывочным и фантастическим, стали корпуса завода, рельсы, тощие деревья, он сам — маленький мальчишка без штанов, в одной красной рубашке, подпоясанной под мышками, и громовой, тугой, всезаглушающий, определивший всю жизнь — гудок завода. Иван помнил, он побежал, но ноги его спутались,— от этого гудка никуда нельзя было уйти. Рождение человека началось с этого заводского гудка, и судьбу рождения человека, именно человека, решили добрые, именно добрые люди. Потом, подросшим, Иван узнал, что однажды из квасного чана перестал течь квас, а за несколько дней до того пропал казенный тулуп. Квасной чан был полон, в нем стали шарить жердью и нашли в нем распаренный квасом тулуп. С этих пор мальчик Иван связно вспоминал свою жизнь,— с нищенской коморки его матери и отца и с ткацких станов, за которые стала третья по счету жена отца, его мать,— с Коломенского завода отец был согнан из-за погибших тулупа и кваса. Дни в ткацкой мастерской начинались тусклыми лампенками,

в свете которых люди сползали с полатей, построенных над станами,— на этих полатях жили многие матери, многие отцы и дети, рождаясь и умирая. Там на полатях мальчик Иван узнал о царях, колоколе и пушке, о разбойнике Чуркине и о чародее Брюсе, который из лета делал зиму и на Сухаревой башне считал звезды. Там же умер отец Ивана,— тогда кончилось нищенство и возникла настоящая жизнь. Мальчик Иван помнил, как незадолго до смерти отца мать и отец шептались на полатях, как внизу под полатями, у харчевенного стола,— навсегда запомнилось, чтобы этого никогда больше не было,— мать крикнула грозно отцу: «Что молчишь? Скандальить мастер, а теперь молчишь? Пойдешь?» Отец молчал, и мать подозвала сына, поправила рубашку на сыне, сказала ласково: «Ванюша, родной ты мой, пойдите вы с отцом в кусочки, я вам и сумки справила,— маленьким, говорят, хорошо подают». И в этом мирничанье впервые Иван усвоил понятие чести. Через дворовых собак приходил Иван под окошко дикого барина, шершавый барин в халате пил водку и кидал Ивану серебряные пятаки, но однажды напал на Ивана хуже собак со словами о чести, обозвав его сукиным сыном за то, что не обиделся он, Иван, когда дикий барин негодяем назвал его отца. Иван бросил медяки в шершавое лицо старика. Тогда же впервые Иван помогал обессилевшим: он пришел в избу, где сидели двое здоровых и бездельных, он попросил, они ответили, что подавать им нечего, что, может, он подаст Христа ради, потому что им нечего есть, ибо их прогнали с фабрики,— и Иван угощал их мурцовкой. Отец умер на полатях. Похорон отца Иван не видел, не запомнил, но после смерти отца исчезли полати и станы, а в новом жилье, которое называлось старой почтой, на чердаке лежали тюки с бумагой, с неотосланными, с забытыми письмами,— и впервые узнал тогда Иван о человеческой письменности. Первая книга, которую прочел Иван и на которой он научился читать, была — «Солдат Яшка, медная пряжка». Чердак старой почты и отдых чердака продолжались недолго,— на недолгое время потом дни возникали в вое и громе орал, страшных людей, которые ходили перед рассветом по женским спальням,— так, спальнями, назывались фабричные казармы,— дубасили в двери и орали, чтобы работницы вставали к гудку,— не надолго тогда были теплые воды, сток от фабрики, где стекала грязнейшая, но теплая вода, в которой купались мальчишки и лечились старики. И тогда началась жизнь.

Россия детства Ивана Скудрина походила на современный Китай. Тогда началась жизнь, созидание человека. Иван перебивал сапожническим и типографским учеником, учеником в токарной мастерской, был статистом в театре Омона, был балаганным актером, летал на парашюте, сочинял стихи, человек, отдававший свои скудные досуги Толстому, Достоевскому, Шекспиру, парашютистом он прыгал с воздушного шара на землю. Так было до солдатчины. Из солдат на Коломенский завод он пришел социалистом, грамотным рабочим и — честным человеком, конечно, ибо социалист, большевик, не мог быть не честным. Первый же год завода послал Ивана в социалистический дореволюционный университет — в ссылку, коя отняла у Ивана шесть лет, когда решал для себя Иван очень многое, и то, какие должны быть его дела, поведение, труд, как лучше жить и подчинить человеку мир. Смысл существования Ивана был в устройении человечества. Заводский гудок, первое его воспоминание, навсегда определил ему мир — сцепленным машиной. Иван Скудрин горбом своим знал старую Россию, как горбом своим знал историю русского рабочего движения последних тридцати пяти лет, — и Иван полагал, что зарождение социализма первым делом, решающе, утверждалось на чести, на уважении к человеку и на решающем уважении к труду. Судьба Ивана была судьбою чести возникновения социализма, чести, построенной на знании, навсегда враждующем с ложью, как в доме, в семье, с женой, так и в труде и в слове, ибо измена труду и слову есть измена не им, а самому себе, точно так же, как измена женщине есть измена себе, а не ей. Революцию встретил Иван Карпович на коломенском машиностроительном, в паровозном цехе. Действительно он был первым председателем коломенского пооктябрьского исполкома и строил коломенский октябрь. Революцию он понимал и навсегда понял не только переустройством прав на рубль, если рубль есть кусок труда, но и переустройством чести человека, правом на любовь и на жизнь.

Человеку со стороны стало бы противно в бане охломона, где так любил бывать Мишка и где на пороге часто сиживала Любовь Полетика, — здесь было темно и сыро даже в полдни, ибо зеленая плесень замазала оконца, — здесь пахло псиной больше, чем человеком, как и кровать здесь служила больше собачьим логовом, чем человеческим. На полке здесь был письменный стол охломона, а на столе около кровати в россыпях махорки лежал хлеб,

недоеденный Арапом, оставленный для Ивана Карповича. Баня утверждала, что охломон Иван — сумасшедший.

В тот час спали охломон и Арап, обнявшись, и Арап положил голову на грудь охломона. Через двор в большом доме светились окна Любви Полетики, и Любовь Пименовна не спала, сидела перед письменным своим столом многие часы неподвижно, положив ногу на ногу, охватив колено свое переплетенными пальцами, опустив голову и плечи, многие часы подряд не мигая остановившимися глазами, то счастливыми, то скорбными, и свет лампы падал на ее чистый лоб и на прямой ее пробор. В комнате Ольги Александровны в тот час сидели у стола она, Ольга Александровна, и профессор Пимен Сергеевич Полетика. В тот час инженер Полтораки и инженер Ласло умирали в лугах, и над ними свисал старик Яков Карпович Скудрин. В тот час просыпался инженер Садыков, счастливый человек, чтобы идти на работу, пил холодное молоко и обливался холодной водой, боцал сапогами, смотрел в рабочую свою книжку, — и был счастлив инженер Садыков.

Строительство шло к концу.

Проект строительства принадлежал профессору Полетике. Рабочий проект выполняли инженеры Садыков и Ласло. Были рассчитаны профили рек Оки, Москвы и Клязьмы, их тальвеги, ложа, их геологические основания, их живые сечения, расходы воды, режимы, их силы, — все то, что дает знание реки. Профили Москвы-реки, ее бьефы, около городов Москвы и Коломны разнились всего на семь метров, то есть Москва-река под городом Москвою была выше Москвы-реки под Коломною по отношению к уровню океана на семь метров. А стало быть, если Москва-река будет подперта под Коломною плотиною, хотя б в восемь метров, воды Москвы-реки потекут вспять. Плотина под Коломною — монолит — строилась в двадцать пять метров, ниже слияния Оки и Москвы, с таким расчетом, чтобы окская вода, погнав вспять москворецкие воды, потекла б по тальвегу Москвы-реки. Под Москвою, под деревней Верея, прорывался канал. Канал шел по тальвегам ручьев Пехорки и Малашки, мимо Медвежьих озер, являющихся водоразделом москворецких и клязьминских вод (а стало быть, и бьефом нового канала). Канал доходил до Клязьмы около фабричного поселка Щелково. Этим каналом сбрасывались в Клязьму окские

и москворецкие воды с тем, чтобы дальше течь тальвегом Клязьмы. Ока меняла свое русло. Москва-река текла вспять. Ока протекала под Москвою,— под городом Москвою протекала большая, судоходная, новая река, созданная последним словом гидротехники. Город Москва оказывался на новой реке, впервые в Европе, первой в Европе, созданной человеком,— Москва, столица Союза Социалистических Республик, к которой могли идти пароходы от Баку, а при Волго-Доне с любого угла мира, пароходы не только волжского и каспийско-морского тоннажа и типа, но и все торговые морские пароходы. Товары всего юго-востока Союза могли идти в Москву без перегрузок. Водное расстояние между Нижним Новгородом и Москвою сокращалось на восемьсот семьдесят километров,— больше, чем на четыре седьмых прежнего пути, ибо прежний путь, на котором дважды надо было перегружаться, крюкал по российским степям, шел от Коломны на Рязань и на Тамбовскую губернию, мимо Елатьмы,— ныне ж проходил почти по прямой линии через промышленнейшие великорусские районы,— мимо Богородска, Орехово-Зуева, Владимира, Коврова. Под Москвою канал пересекали железные дороги Казанская, Муромская, Нижегородская, Шелковская, и десятки квадратных километров за московскими Преображенской, Семеновской, Лефортовской, Рогожской заставами — до канала — отдавались фабрикам и заводам, промышленности,— с тем, чтобы Москву жилых домов, музеев и парков сдвинуть за Дорогомиловскую, Пресненскую, Тверскую и Бутырскую заставы. Инженеры шурфовали и скважили недра московских земель до силурийских и девонских эпох, до материковых пород, чтобы рассчитать новое ложе новой реки. Новая река перестраивала географию древних московских, рязанских, владимирских земель, гидрологию рек и климат. Под древним городом Росчиславлем, под Коломною, под Бронницами возникали громадные озера, водохранилища новой реки. Коломна заливалась наполовину и оказывалась на полуострове. Десятки сел и деревень уходили со своих древностей. Новые озера, резервируя воду, создавали такой режим новой реки, когда под Москвою вода не могла колебаться от паводков к межениам. Земли вокруг этих озер отдавались промышленности, огородничеству и техническому сельскому хозяйству, построенным наново. Эти озера питали водою Москву. Под Москвою гудели морские корабли. Морские корабли мимо Коломны шли до Каши-

ры, несли сырье и полуфабрикаты, металлы, руды, лес и минеральное топливо с Донбасса, из Марселя, с Каспия, с Урала, с Ветлуги мимо Владимира и Щелкова. Над каналом под Москвою, скованным в гранит, свисали подъемные краны и висели мосты железных дорог. Здесь все менялось наново. География меняла экономику так, как этого требовали человек и человеческий труд, и труд перестраивал геологию. Инженеры Полетика, Садыков, Ласло и несколько сот их помощников-инженеров, русских и иностранцев, отталкиваясь от силурийских пород и от болотистого озерца, из которого вытекает Ока,— кроме законов тяжести движения рек, кроме расчетов движения подпочвенных вод, расчетов заболачивания и дренажирования земель,— должны были рассчитать все вплоть до мелких фабричек и заводов, которые станут на реке, до новых тонно-километров нефти, каменного угля, руд, металла, леса. Это строительство и эти расчеты были к тому, чтобы освободить сотни миллионов, миллиарды и сотни миллиардов человеко-часов труда, освободить, координировать, осмыслить человеческий труд, человеческое время, то, ради чего творилось тогда социалистическое строительство. Москва-река, та самая Москва-река, на которой возникло Московское государство, русская история уделов собирания Руси, царей, смут, императоров,— ныне Москва-река текла вспять, символ новой российской государственности, ибо Россия Октябрей хотела наново перестроить, наново пересоздать — от человека до географии и геологии. Эта Россия пересоздавала — машиною — ради труда — человеческие отношения друг к другу, к труду, к природе,— и она ломала старую Россию так же, как сломано было течение Москвы-реки, как заново текла Ока. Инженеры, знавшие законы течения рек, где не может быть случайностей, знали, что их строительство, упирающееся и в дэвон и в рубль одновременно, так же закономерно, как законы течения рек. Ока и Москва последний раз разливались этой весной по геологическим своим руслам, как разливались они тысячелетья. Человеческое долголетие может удлиняться не только наукою о человеческом организме, но и освобождением человека от труда,— новая река работала над удлинением человеческой жизни.

Инженеры Садыков и Ласло работали на строительстве монолита под Коломною. Строительство монолита заканчивалось,— того монолита, который должен был подпереть

воду, остановить ее, опрокинуть и кинуть на новое русло и на строительство социализма, переподчинив их силы,— эта гранито-бетонная громада, на которую больше всего было вылиты инженерских мозгов, равных той силе, которая миллионами тонн водной тяжести упрется в этот монолит. Строительство монолита было штабом боя за социализм. Монолит строился так, как строилась первозданная природа. Реки Ока и Москва были сброшены со своих русел в отводный канал, вырытый грабарями, землесосами и гусеничными одноротыми экскаваторами. Вода шла отводным каналом второй уже год, чтобы освободить место для монолита. Подошва монолита спаивалась, срачивалась с материковым гранитом, до которого докапывались на сорок метров вниз под русло, под пластами юрских и пермских наслоений: там гранит материковый и гранит, принесенный волей человека, спаивались в геологию, в первозданность. Эти глыбы гранита и бетона высекались и высчитывались в формулы интегральных исчислений. Внутри монолита, в подземельях шли переходы средневековых крепостей, дренажные каналы, мрак, электрический свет, глухое биение воды, земные недра, смотровые тоннели, контрольные номера. Ряжи перемычек, охранявших монолит от воды, щетинились чугунными своими шпунтами. На лугах около монолита, около перемычек, около отводного канала, около подсобных заводов, около нового ложа новой реки работало десять тысяч рабочих, целая армия, чтобы сломать, перестроить историю тысячелетий и, дав им бой, победив, уйти отсюда, оставив здесь трех техников, одного инженера да десятка два рабочих. Монолит рассекал километры от Шуровских гор, перешагивая через Оку до деревни Константиновской, той, которая вместе с Сергиевской, Парфентьевым, Амеревой, Чанками, Бобреным и половиною Коломны уходили с древних своих мест, ибо их места будут залиты.

Строительство монолита заканчивалось.

Инженеры проверяли последний раз ложе новой реки, ее трассы и профили от Коломны — через Москву — до Нижнего Новгорода. Наступали дни страды. На реках и речках, впадающих в Оку и в Москву, в Орловской, в Тульской, в Калужской, Рязанской, Московской губерниях,— на реках Кроме, Нугре, Зуше, Плаве, Упе, Жиздре, Угре — открывались все запруды и мельничные плотины, чтобы сбросить воду, чтобы вся резервная вода стекла за монолит,— чтобы замкнуть потом, остановить, задержать

воду, дабы ложе рек Оки и Москвы под монолитом было небывало меженным, дабы в эти дни, когда дорог каждый час, как на страде, впаять в первозданье последние границы отводного канала, запаять, замкнуть на века монолит, снять перемычки, бросив наново воду.

Профессор Пимен Сергеевич Полетика приехал на строительство, чтобы последний раз проверить монолит,— он знал, как могут рваться монолиты, когда вода, как тесто, разворачивает бетон и железо и идет затем скоростью курьерского, волною в небоскреб, все уничтожая на своем пути. Пимен Сергеевич знал силу воды и, как все инженеры-гидравлики, чуть-чуть боялся этой силы, и он умел видеть те сотни орловских, тульских, калужских, московских ручьев и рек, сказочных русских, русалочьих омутов и мельниц, которые останавливали Оку, которые останавливались монолитом, чтобы их воды упирались в волю и в монолит этого лохматого старика, строившего социализм и понуро осматривавшего монолит и котлованы под монолитом, где копошились тысячи людей и рычали машины. Котлованы обнажали речное дно, как века.

Полки лет — как полки книг. Полки человеческих лет как книги, ибо каждая книга — не есть разве человеческая судорога, судорога человеческого гения, человеческой мысли, нарушающая законы смерти, перешагивающая через смерть так же, как судороги крематория? И должно и должно каждому человеку иной раз, в ночи, у себя в кабинете, в полках книг,— хочет он того или нет,— должно ужаснуться перед лицом этих книг, почувствовать, что каждая книга есть подделка человеческой подлинной жизни, каждая книга есть судорога мысли, обманывающая смерть,— ужаснуться и ощутить, что здесь, в ночи, когда книги с полок смотрят громадными челюстями, поблескивая золотом клыков в деснах «История земли» Неймайера — когда голова переутомлена, переаршинена ночью,— ужаснуться и ощутить, что эта комната и эти книги суть мертвецы в мертвецкой, морг, откуда унесли сегодня на кладбище Марию, где похоронены жизнь, мертвые, подделанные под живые, мысли, судороги, как в крематории. С той полки сползают мысли *Jogannes'a Wolfgang'a Goethe*, образ никогда не жившего *Werter'a*,— друзья молодости, грехи юности вместе с Пушкиным, Толстым и Достоевским. *Karl Moog* не поборет насмешки *Heine*. Все это осталось в доэпохах, в дооктябре и инерцией ползет ящиками книг по весям. Маркс, Ленин, Плеханов,— история

развития рабочего движения в Германии, Австрии, Венгрии, в России, в мире,— стали эпохами. И книги труда, книги строительства — Алексеев, Акулов, Кандиба, Дубах, Зброжек, Жерардон,— инженер, а не социолог, Энгельс,— инженерия, строительство, труд. Ленин мертв, но книги его растут и растут,— за домом, за траншеями развороченной строительством земли возникает монолит, перестраивающий природу.

Такими ночами очень одиноко человеку в тишине мертвецов, потому что у людей всегда есть две жизни — жизнь, данная мозгом, долгом, честью, открытыми шторками сознания, и вторая жизнь, данная бессознательным в человеке, инстинктом, кровью, солнцем. За домом в ту ночь и в тот час лил осенний дождь, во мраке, сиротстве и сырости. Ночи, когда книги превращаются в мертвецов крематория, не проходят человеку даром.

В этот вечер похорон Ласло лежал в своем кабинете на кожаном диване под полками книг. Время стало неподвижно. Занавески на окнах не пускали в комнаты ни ночи, ни света фонарей, ни шумов. Физически видеть книг Ласло не мог, но он их видел. Он не знал, спит ли он или бодрствует, но он физически ощущал свой мозг и свои мысли. Мозг он видел таким, как видят его в мертвецких,— двумя котлетами сырого мяса. За левым ухом, около подушки, под черепом, родилась мысль и побежала вверх по мозгу мышью, шаря по извилинам мозга, физически его царапая, остановилась подо лбом, в сознающих областях, оформилась: «Рабочие от меня отказались,— завтра все же надо идти на работу. Мария сейчас в земле... на работу!» Бессознание обволакивало котлеты мозга так же, как в поездах в спальных вагонах непроницаемые зеленые шторы покрывают стекло фонаря. Только маленькая щель оставалась для сознания. Усилием воли эти шторы можно было раздвинуть. Воля была к тому, чтобы эти шторы сдвинулись окончательно, ибо надо было спать,— за шторами все пребывало в спокойствии, в тепле, уюте, тишине. Но вопреки воле мысли из щели сознания бегали во мрак мозгов, и сознание тогда следило за их побегами. Моментальной ловкостью мысль забегала в память, в одну и в другую, памяти соединялись и возвращались к сознанию в тот момент, когда из самых дальних мест, из-под затылка приходило видение,— виденье связывалось с па-

мьятью, первую и вторую: это были глаза первой жены, одновременно так, как видел он их впервые и как видел их последний раз, прощаясь с женой, эти глаза двоились глазами старика Полетики,— и ужасом тогда виделись глаза Марии, мертвые, в зловещем топоте женщин, шедших за гробом. Во мраке бессознания было очень тепло, покойно и тихо,— от сознания надо было бежать, бежать, скрыться, спрятаться, чтобы не было ни единой мысли в мозгах, чтобы мозги улеглись спать. Бессознание сдвигало свои шторы, чтобы удержать, положить на место, не пустить ни единую мысль,— и тогда скрипнула дверь из комнаты жены. «Жена в могиле!»— подтвердило болью сознание. Глаза Ласло были закрыты, физически видеть он не мог. Бред был понятен. Ласло видел, как жена, вторая его жена, Мария, приоткрыла дверь, постояла на пороге, прошла к письменному столу, опустила плечи, в белом ночном белье. Глаза ее были закрыты, волосы она заплела по-ночному. Она села к столу, опустила плечи,— и рядом с ней стал тяжелоплечий Федор Иванович, друг, Федор Садыков, муж Марии. Сознание констатировало: «Жена, это вторая, сегодня ее похоронили, все кончено». И тогда из бессознания сотни сразу побежали — не мысли, но ощущения,— и все бессознание, весь мозг, все тело ощутило нестерпимую тяжесть, тесноту, боль — не физические, но такие, от которых люди седеют. Книги, как крематории, мысли, как мертвецы, а жена — жива — не в крематории, а в земле коломенского кладбища, где человеческие трупы поедаются червями. Сознание раздвинуло шторы — энергически — на весь мир, и мозг: «Кошмар, кошмары!» Ночь, пустая комната, тишина, прогудел паровичок, опущены шторы, никого нет.

— Мария! Ольга!

Тишина. Никого нет.

«Книги надо убрать, на самом деле склеп какой-то, даже пахнет книжным червем,— или убить самого себя?» Тишина, никого, ничего нет. Сознание силится сдвинуть шторы. В бессознании очень тепло, темно, тихо. Последняя мысль мысли пробегает, царапая: «Жена, это вторая, Мария, лежащая в земле, похожа на книги». Ни единой мысли. Человек спит в бреде. Лицо человека искажено болью. Боль и бред ушли в подсознание. Человек скоро проснется, чтобы бежать от самого себя. Черви на кладбище съедают трупы — не только ночами, но и днем, каждую минуту, во мраке земли, гроба и тела.

Федор Иванович Садыков был инженером, которого в шутку называли инженером от станка. Но это и на самом деле было так. Сын рабочего, рабочий, инженер Федор Садыков стал учеником и помощником профессора Полетики. Три года тому назад Федор Садыков приехал в места строительства, чтобы пройти от Коломны, прокладывая новые профили и трассы, по тальвегу Москвы-реки до Коломенского затона около деревни Вереи под Москвою, оттуда свернуть по тальвегу речки Пехорки до устья ручья Малашки, по Малашке до Медвежьих озер, а от Медвежьих озер — до Учи, до Клязьмы. По тальвегу Клязьмы, от Оки до Москвы, навстречу Садыкову шел инженер Ласло со своей партией. Инженеры-гидравлики, как все люди, знающие труд, если они не растеряли моральных традиций, должны уважать, почитать, почти бояться и уметь подчинять себе делаемое ими, — гидротехники должны подчинять себе реки и воду, их стихии, побеждать и подчинять которые суть их дело.

И Садыков и Ласло знали непререкаемую закономерность сил воды, которую они должны были подчинить.

Реки — путины древностей, реки по июням в туманах, в лихорадках, каждое новое село, новая лесная сторожка, новый ночлег у лодки — все это новые новости, и в июнях очень много солнца, когда заря с зарею играет в прятки. Люди в брезентовых сапогах, с инструментами, блестящими в тщательном порядке, как у каждого, кто бережет свой труд, в ворохах карт, на дощаниках, оставшихся от древностей, плыли вверх по рекам, изучали режимы рек, расходы вод, их подпочвенные воды и водоносные пласты, геологические строения сланцев, — проектировали трассы новой реки.

Книги Зброжека, Дубаха, Кандибы и прочих вырастали тогда до размеров шалашей, шелестя под солнцем своими страницами. У стариков, у сельских статистиков инженеры спрашивали о меженных и высоких водах, о паводках, о зажорах и шорохах, о старицах и поймах, о перекатах и плесах, о перемолах и гродах, — об этих последних особенно: как они переходят с места на место каждый год после полых вод, куда сползают, быстро ли, медленно ли, — шурфами инженеры дорывались до делювиальных пород, до плионцев и мионцев. Там, где лежат реки Ока, Москва и Клязьма, весь этот край, было некогда морское дно, и инженеры тщательно изучали наносы юрских, девонских, кембрийских, архейских эпох, известняки, глины,

каменные угли, кремнеземы, пески или торфы, — геологическое строение почв. Это требовалось к тому, чтобы различить тектонические и эризионные строения тальвегов, чтобы знать влагоемкость почв, водонепроницаемость, гидравлические уклоны грунтовых вод, водосборные бассейны. Инженеры, топясь на солнце, брали живые сечения вод, горизонты, профили, примериваясь теодолитами и секстантами в пространствах и в небе, и выживая трубками Дерси и вертушками Отта водные изотакхи, чтобы знать среднюю повторяемость горизонта, продольные профили. Инженеры изучали режимы рек, созданные геологией веков, чтобы построить новую реку, режим которой сделан человеком.

В дощанике, на котором воздвигнута была крыша от дождей, росли ватманы и кальки графиков, на столе в крошках хлеба и в рыбном запахе в закатах дня, когда грелся котелок.

И за ухую, отдыхая, Федор Иванович часто поминал одно и то же в поучение рабочим и практикантам о том, что лет семьдесят тому назад против Саратова на Волге затонула баржа с кирпичом, — маленькое, казалось бы, событие породило целый остров песков, возникший за этой баржей, созданный сломанным режимом течения, несколько десятков квадратных километров, совершенно перестроивших и изгадивших меженное русло под Саратовом. Садыков знал, что можно на каждой реке найти такое место и так кинуть по полой воде в реку камень, небольшой, в человеческую голову, так бросить, что река изменит свое русло, ибо на реке все решается только физическими силами и законами — формы течения, объема воды, ложа русла, его устойчивостью и составом, — и Садыков знал, что никогда нельзя, строясь, нарушать этих сил и законов, ибо в борении с природой надо бороться тою же самой природой.

Ночи этого похода были случайны, в деревенских трактирах, в старых усадьбах, на берегу около костра, в теплом удушьи каюты на дощанике, где все пропахло рыбой и касторовым маслом, употребляемым для смазывания инструментов. Ночи в походах на изысканиях всегда необыденны, июньские ночи безнебны, и заря с зарею тогда соседствуют в туманах и в криках медведок.

Зима отослала Ласло в Москву, а Садыкова в Ленинград к Полетике — в упорные дни над тарифами, над ватманами, над кальками, над русскими и европейскими

справочниками для рабочего проекта и в упорство Госплана, ВСНХ, СТО, Наркомзема, Наркомпути, где тысячами страниц листов бумаги разных форматов решалось — быть или не быть новой реке, созданной не геологией уже, но человеком.

И новым июнем, когда строительство монолита уже началось, Садыков и Ласло встретились на несколько дней в лугах под Москвою у Медвежьего озера, когда они смыкали работы своих изыскательных партий, чтобы обоим затем поехать в Коломну.

И Эдгар Ласло, и Федор Садыков были женаты. У Федора Ивановича была жена того ряда женщин, которые имеют величайшую женскую силу — быть бессильными. В годы гражданской войны, на фронте, однажды ноябрьской ночью, в разграбленном заводском поселке на Донбассе Федор Иванович сидел в штабном доме у проводов, один в пустой полночи, в ноябрьском ветре и в далекой артиллерийской стрельбе. Он не спал, ожидая шума морзе и приказов. И к нему в кабинет к проводам вошла девушка с ограбленными глазами, на цыпочках, с рукою у губ, чтобы никто не слышал. Она сказала, что она дочь инженера с этого поселка, ее отца и ее мать убили неделю назад в этом доме, этот дом был домом ее отца, здесь же был штаб белых, и эту неделю она просидела в доме, спрятавшись в подвале. Ее глаза были пусты. Она сказала Федору Ивановичу, в беспомощности сев против него:

— Убейте меня тоже, если хотите, — мне ничего не осталось делать.

В ту ночь впервые подумал и остро понял Федор Иванович, что в жизнях, в революциях особенно, люди играют жизнями со смертью ва-банк, что уцелевшие должны будут прошлое вспоминать героикой, — уцелевшие, оставшиеся в живых, — именно потому, что умершие, убитые играли со смертями ва-банк с жизнями. Федор Иванович видел тогда много мертвых и не мог представить себе, что бы рассказали они, умершие, убитые, если б можно было слышать их рассказы.

Девушка пришла из-за смерти, и Федор Садыков приказал девушке жить в комнате рядом со штабной, в его комнате, которая была комнатой матери этой девушки и куда никто не заходил. Девушка покорно тогда встала со стула и пошла спать. На другой день в сумерки Федор Садыков видел, как девушка тихонько подошла к роялю, стоявшему в его комнате, которая была комнатой ее мате-

ри, присела потихоньку к роялю и заиграла, не касаясь клавиш: это тоже было из-за смерти. Тогда впервые она улыбнулась виновато, увидев Федора, тихо опустила крышку рояля. Это была тихая оржановолосая девушка, ничего не знавшая в житейских делах гимназистка с голубыми глазами, удивлявшаяся миру. Она стала женой Федора Садыкова. Федор взял ее из-за смерти, из фронтовых луж крови, как за шиворот берут с помойных ям никому ненужных котят. Федор Иванович был, что называется, грубым и неотесанным человеком, у него была жизнь его работы, созданная революцией.

Федор стал первым мужем Марии, и Федор никогда не спросил ее о любви. Пошли годы. Величайшей силой бессилия эта девушка сумела быть для Федора Ивановича тем, чем был он сам. Винтовку Федор сменил на приборы Пито и Амслера, но карты и планы остались по-прежнему, и по-прежнему Федор Садыков пребывал в походах, сначала за знанием, затем со знанием. Тот год он шел в походе у ночных костров, в победах и отступлениях рек. Федор ходил по лугам и долинам, подсчитывал тяжести и силы течений и отмелей, накапывал плотины, срезывал перекаты, — человек атлетической силы в молодости и организованнейших нервов в зрелости, силу которого выпили астма, граниты знаний Энгельса-социолога и Энгельса-гидравлика, абсолютные величины секундного расхода вод и их периодичности, штыки революции, шрапнель, разорвавшаяся на станции Мациевская, на фронте гражданской войны, у него около ног, и плотина на Тереке, сломанная, сорванная ледоходной водой, много часов носившая и ломавшая Федора Ивановича по водным просторам освободившихся водных сил. Жизнь Федора Ивановича проходила жизнью солдата и рабочего, временный его стол всегда оказывался рабочим верстаком и чертежной одновременно, где среди бумаг лежал засунутый подальше лист с записью тринадцати его болезней, постель его всегда была походной. Мария ездила за ним, свои углы скрашивая украинскими плахтами. Она всегда искала рояль, чтобы играть классических музыкантов, и с нею жил ее друг, громадный пес, помесь овчарки и волка. Федор ни разу за всю их жизнь не успел сказать Марии, любит ли он ее.

Дни страны, командуемой Москвою, возникали в те годы тяжелыми жерновами революции, строили страну, командуя ею. Этою командою возникали строительства, двигались сотни тысяч людей, ибо страна в те годы жила во-

енным лагерем. Этому же командою жерновов революции просыпался на рассветах Федор Иванович, харкал, кричал, лил на себя ведро холодной воды, влезал в сапоги и уходил в поход, в войну с речными долинами, — тяжелоплечий человек, один из мельников около жерновов революции. Иной раз особенно густы были на реке туманы, особенно трудны были переходы, — тогда Федор Иванович ломался, сваливался в походную свою кровать, тринадцать его болезней приступали к сердцу, к легким, к горлу, лоб бледнел в испарине, скулы обрастали щетиною, и очень острым становился кадык. Федор не умел говорить о любви.

Эдгар Ласло и Федор Садыков, два коммуниста, люди одинаковых воль и дел и разных культур, жили друзьями, делающими одну работу, мельники около жерновов революции. Гражданская война легла на плечах Ласло так же, как и Садыкова, — быт инженерных войск, игра жизнью ва-банк смерти, — но Ласло не был инженером от станка, и он умел заглядывать в чужие карты банка, то есть в карты смерти. Ласло шел по жизни человеком крепкой воли, как у Садыкова, крепких глаз и верных рук инженера, работающего с интегралами, но к интегралам пришедшего длиною дорогою классических гимназий, книг, русского интеллигента иностранного происхождения.

Ласло и Садыков в своем походе на изысканиях встретились на тальвеге ручья Малашки, около Медвежьих озер. Путь был закончен. Две партии изыскателей расположились в старом помещичьем доме, где в рамках исчезли стекла и по пустому дому бродил бередливый ветер. И беспорядочная и необычайная тогда возникла ночь. За домом лил мелкий дождичек. Десятники и студенты-практиканты в соседнем селе достали водки на радостях встречи и перед концом работ. Ласло скучал. Тринадцать болезней Садыкова положили его в постель, он лежал в столовой. Дом глохнул, стар и скрипуч. Десятники предложили Садыкову водки, он отказался. Эдгар Иванович выпил водки во имя дождя и усталости. Студенты-практиканты пили и пели. За окном лил мелкий дождь. Было в природе сиротливо, пусто, печально.

Каждый живущий имеет право на жизнь, и каждый живущий, должно быть, имеет право на любовь, — или не имеет этого права? Мария, жена Федора, имела величайшую женскую силу — быть бессильной. Федор никогда не

говорил о любви. Мария страшилась жизни Федора, когда музыка Листа заменялась безмолвием музыки революции и солдатских маршей ее мужа по болотам, где вместо тепла обрусевших голландских печей горели костры у рек и вместо керосиновых медленностей светила заря.

Шла ночь. В столовой разбитого помещицкого дома застрял стол, но пропали стулья, свечи втыкались в пустые бутылки. На столе стояли бутылки с алкоголем. Федор Иванович лежал в бреду в испарине под лестницей в мезонин. В доме умерла жизнь, здесь жили совы и тишина. Десятник, рабочие, практиканты и Ласло, стоя и в скуке, пили у стола, ломаясь страшными тенями на стенах.

Было скучно в дождливом вечере. Медицина знает многие виды опьянения,— страшнейшее из них опьянение психическое, когда человек тверд в движениях и в речи, со стороны не узнаешь, что он окончательно пьян, но мозговые корки его повреждены алкоголем, выпали из работы сознания, и воля не принадлежит человеку. Эдгар Иванович ходил по пустым комнатам, скучал в темноте безделья, пил, был трезв, как видели остальные. Федор Иванович лежал, задавленный своим кадыком.

Скрипучая лесенка вела из столовой в мезонин. Эдгар Иванович поднялся по скрипучим ступенькам наверх,— и Ласло не помнил потом, как, должно быть, и Мария, с вечера или на рассвете легла за пыльными оконцами мезонина, за парком, за рекою — желтая, дряблая заря, вставшая из-за туманов. Свои бутылку и стакан Эдгар Иванович поставил на подоконник.

У окна в тот час стоял того состояния человек, глаза которых умеют смотреть в пространства, чтобы не видеть пространств, но видеть то, что за пространствами. Такие глаза, возвращаясь из-за пространств, должны быть очень действенными, черные глаза обрусевшего венгра, сохранившие в себе темную историю его народа, пришедшего с доисторической Волги, когда Волга называлась рекою Ра, и поселившегося на старых культурах Дуная. В комнате, где рукою доставался потолок и раскинутыми руками доставались противоположные стены, Эдгар Иванович считал себя одним.

И тогда дренькнула в углу выцветшая пружина дивана.

— Кто тут?— спросил Ласло.

— Это я,— ответила Мария,— знаете, я потихоньку выпила рюмку водки, и я совсем пьяна.

Из-за пространств в алкоголе всегда приходили к Ласло не мысли, но ощущения — или тоски, от которой физически ломит череп, или радости, физической радости, от которой немеет позвонок. Ласло знал от фронтов, что это та тоска, когда смерть вселяется в череп, и это та радость, когда само солнце входит в сердце, — эти тоска и радость возникали у него при мыслях о женщине, о чудесном женском, что разлито в человеческом мире. Эта радость пришла к Эдгару Ивановичу в ту дряблую зарю.

— Мне очень грустно, Эдгар Иванович, мне очень одиноко, иногда мне очень страшно, потому что я совсем, совсем одна во всем мире, — сказала Мария.

Переалкоголенные мозги могут все переаршинивать, память сшивает куски, отстоящие на десятилетия и на минуты друг от друга, и очень часто тогда возникает ощущение невероятной чистоты, целомудрия, правды, ставшей над всеми неправдами, чтобы взять от небытия нуль.

— Я пришла сюда, чтобы уйти от всех, и вы тоже пришли сюда. Как странно! Я думала сейчас о вас. Мне никогда никто в жизни не сказал — «люблю», даже Федор. И я никому не говорила этого слова. А сейчас я скажу. Мне иногда кажется, что я люблю вас. Нет, это не только кажется, это — правда. Мой отец был инженером, как вы. У вас волосы, как вороненая сталь, вы, как ворон. Вы знаете легенду о Марине Мнишек? А виски ваши уже седеют, — и я часто ловлю себя на мысли, что мне хочется погладить ваши седые волосы. Все проходит. Я совсем пьяна. Я очень много думаю о вас.

Эдгар Иванович не запомнил, с вечера или на рассвете лежала за пыльным оконцем мезонина, за парком, за рекою — желтая, дряблая, уже осенняя зоря. Пружина на диване дреньнула — именно выцветшим звуком.

— Что вы делаете, Эдгар? — спросила Мария, не добавив отчества — Иванович, — и она впала в бессилие.

— Я люблю тебя сейчас, Мария, — сказал Ласло.

Федор Иванович один бодрствовал на своей походной койке, когда вниз спустился Ласло. Остальные спали на соломе по углам столовой. Свечи догорали. Федор Иванович поднялся со своей койки, босыми ногами подошел к столу и налил себе водки.

— Тебе нельзя пить, Эдгар. Я не люблю пить, Эдгар. В этом доме очень большая тишина, только совы кричали, — сказал Федор Иванович. — Выпьем за дружбу, Эдгар!

Федор Иванович опустил руки и опустил глаза.

— Тебе нельзя пить, Федор,— сказал Эдгар Иванович.

— Нет, почему же?— ответил Садыков.

И Ласло крикнул, подняв пустую руку, чтобы чокнуться:

— Да, выпьем до дна!

— Но ты налей себе, чтобы пить!— сказал Федор Иванович.— Твоя рука пуста.

За окном легла дряблая заря. Эта ночь стала началом романа Ласло.

Это были два друга, Федор Садыков и Эдгар Ласло, люди великой эпохи русской революции, которую они считали своею родиной, потому что в ва-банке со смертью они остались живы, командуя миром и волями московского Кремля, мельники его жерновов. Эти два человека, русский рабочий, ставший инженером, и обрусевший венгр, ставший русским интеллигентом и по существу родившийся инженером, они шли достойными людьми, навсегда — один сохранивший, другой обретший — европейскую манеру внимательности, вежливости, чистоплотности и аккуратности. Оба они знали, что жизнь каждого из них лежит, — жизни, отданные революции, — жизнь Федора в кармане его косоворотки, жизнь Эдгара — в его жилетном кармане. Эдгар был физически красив, и у обоих у них были глаза, существовавшие к тому, чтобы действовать. У Федора Ивановича тяжело обвисли плечи, как тяжела была походка израненных его ног, — он был примечателен красотою неправильностей, морщин на лбу, голубых славянских глаз, запавших деловую понуростью, нежных скул в красных венках румянца, русского — сибирского — пробора картофельных волос. Ласло слил в себе кровь волжских и придунайских степей, по которым прошли крови очень многих народов, — алланов, гуннов, готов, унгов, — и волосы падали у Ласло назад за широкий лоб, откинутые назад веками ветров прошлого и российским политехническим институтом.

За окном светилась дряблая, уже осенняя, желтая заря.

— Да, выпьем до дна. Ты помнишь, Эдгар, принципы Жирардона?

— Какие именно?

— А вот тот хотя бы, что естественные водные потоки влекут за собою своими водами твердые вещества, стало быть, и всякую грязь. И при этом количество этих твердых частиц зависит от сопротивления размыву. Движение воды

безостановочно, но движение этих взмытых частиц не непрерывно,— вместо того чтобы быть непрерывным, оно перемежается, и нисхождение застревает на перекатах.

— Да, совершенно верно,— ответил Ласло,— но Жирардон же утверждал, что и глубины распределены в поперечном профиле неравномерно, они больше в частях ложа, представляющих наименьшее сопротивление размыву. Жирардон думает, что не следует уничтожать перекаты.

— Ты пьян, Эдгар.

— Да, это совершенно верно.

— Но мы сейчас говорим не о гидрологии.

— Да, совершенно верно.

Федор Иванович глянул на Ласло. Тот стоял спокойно и прямо. Федор Иванович опустил глаза и побрел к своей койке.

И опять был труд создания трасс и профилей,— той бескровной войны, где первейшее — человек, где строилось человеческим трудом, чтобы перестроить природу, труд и человека — во имя человека.

Осенью, когда собирались заметать первые метели и дощаники вмерзали в речные льды, Садыков поехал в Коломну, где начиналось строительство, Ласло же вернулся в Москву. И только через год Ласло приехал в Коломну, когда монолит был уже заложен.

Надо было пролить очень много мозгов, чтобы на кальке и ватмане восстановить природу рек, где все закономерно, все соподчинено и просчет в миллиметр может сломать сотни километров живой природы. На луга под Митяевым и Бачмановым, на щуровские и константиновские холмы — из хорошевских и чернореченских лесов, от станций Голутвино и Щурово, от протопоповских гранитоломен — проложили железнодорожные подъездные к строительству пути, по ним — и на тысячах мужичьих лошадях обозами — потащили на строительство материалы — лес, гранит, щебень, песок, железо, разобранные гусеницы экскаваторов, землесосов, бурильных инструментов, оборудования для заводов сгущенного воздуха, бетонного завода, сборочных мастерских,— материалы и инструменты,— ибо через три весны Москва и Ока должны были последний раз за их тысячелетья разлиться волею природы.

На лугах под Коломною готовилось поле боя с природою. На щуровских холмах и на холмах у Константиновской возникали рабочие поселки, контора главинжа, ин-

женерский городок. Щуровский цементный завод работал на строительство, и над самой Окою у позвонков монолита стал бетонный завод, дымил и гремел над Поповкою камнедробильным цехом, думпкары везли бетонную кашу на монолит. Вдали на опушке леса безмолвствовали заборы завода, где вырабатывался сгущенный кислород, которым вместо динамита рвали гранит, прокладывая ложе плотине. Голутвинский машиностроительный служил инструментальной мастерской.

Садыков приехал в Коломну и поселился с Марией в доме для приезжающих голутвинского машиностроительного в осенние дни, когда на лугах на Оке лили дожди, обращая луга в древность. На щуровских горах стлы тогда сосновые леса в ожидании зимы. Мужики по селам убирались на зиму. Ничто, кроме мыслей Садыкова, газетных статей, ряда заседаний кремлевских учреждений да кипы кальки и ватмана, не говорило на этих лугах и в этих лесах о том, что здесь возникает строительство, что сюда придут тысячи людей, здесь возникнет, застроится, заживет жизнь. Эти луга строительства, над которыми вскоре после приезда Садыкова заметались метели, стали для Садыкова полем сражения, нанесенные на карты, с которых они должны будут сойти в действительность, к самим себе, к деревьям, которые исчезнут, к будущему,— и на картах было сделано уже все то, что должно будет быть, и на картах значилось, как загудят морские пароходы под Москвою и как уйдут в историю, уничтоженные, Сергеевская, Бобренево, прочие.

Любовь Пименовна Полетика, приехавшая на строительство за год раньше Ласло, приехала тогда к тому, чтобы рыть курганы и становища, разрывать архейские эпохи, археологию, рыть земли, которые уйдут под воду, когда сломается река.

В зимние рассветы, когда снега сини и небеса колки, если нет метелей и свинцовы небеса, если идет поземка, в те получасы отдыха и раздумья, когда розвальни тащили Садыкова на луга к зарождению строительства, в получасы одиночества Садыков мог думать, кроме очередных дел, о том, что глыба гранита, положенная под щуровским кладбищем на дно Оки, скованная бетоном,— есть продолжение, освобождение, украшение человеческой жизни. Развалежки подъезжали к дому для приезжающих на рассвете, и Садыков, закутанный в тулуп, ехал к работам. Зимние русские рассветы медленны, небо тяжело, просел-

ки испоконны, тулуп пахнет овчиной, ветер сносит в сторону лошадиный хвост, вешки на дорогах монгольствуют. А на местах, где возникали на снегу срубы, вышки лесопильного завода, штабеля дров и леса, каре гранитов и кирпича, уничтожая первобытность, работали новые люди, орали возчики, свистала лесопилка, посвистывали паровозики и — появились бабы в киноварных полушубках, с ландрином, махоркой и пирожками, фалдами полушубков и обильностью своих задниц хранившие тепло этих пирожков. Вновь распиленный лес и стружки от теса пахнут на морозе арбузами, — но есть другой запах, необъяснимый, — запах возникновения новой жизни, замороженных рук техника и десятников в холодной из теса конторке, запах махорки от людей и дыма от железной печки, запах слов и остроут, — да, да, — запах звуков, и человеческих слов, и человеческих следов по снегу, смявших первобытный снег, где запах арбуза — натесанных топорами стружек, — также есть запах возникновения новой жизни вместе с махоркой. Там, где раньше ничего не было и паслись по летам в оводах стада, киноварные полушубки уверяли: «Пирожки горячие, во рту паруют, внизу жируют!» Возчики определяли запахи — и пирожков — и полушубков, — и это тоже было возникновением жизни. А эти места, занесенные снегом, среди сосенок в полях и на лугах — были позициями к бою за прекрасное будущее человечества, когда остроуты пильщиков над запахами пирожков обязательно звучали бодростью — бодростью строительства. Садыков знал ту бодрость работы, когда спорится дело, когда бодро возникает делаемое, когда даже сон является помехою.

К весне ж бабы в киноварных тулупах исчезли, потому что плотники и печники, маляры, стекольщики, каменщики построили на строительстве рабочую столовую, которая называлась фабрикой-кухней. И бараки весной наполнились рабочими так, что барак не хватило и пришлось ставить брезентовые палатки, взятые у военного ведомства, — и эти военные палатки были не случайны, потому что на лугах работали армии.

Маршал Садыков был главинжем. Маршальские развалки ездили от одного места возникновения жизни к другому в те часы, когда начинались дни, чтобы к полдням быть в штабе — в просторном и теплом свете проектной — над чертежами и планами, где на планы стекали, кроме вод, история и человеческая мысль, строящая исто-

рию, время, людей и силы. Здесь мысль учитывала глыбы гранитов, влагоемкости суглинков, миллиметры карт, вырастающие в кубы воды и живой силы, рассчитывала человеко-часы, машино-часы, последовательности и уроки работ. Белый свет дня сменялся в чертежной восковым спокойствием закатов, загоралось электричество, и над домом мерзла Полярная. Чертежная безмолвствовала решениями дел. Косоворотка Федора Ивановича расстегивалась усталостью, папиросы утомляли губы,— и косоворотка Садыкова, самая обыкновенная, казалась сшитой не из полотна, но из кожи, такой же крепкой, как кожа на юношеских скулах Садыкова, загрубевшая временем — и рек, и революции. Рабочий день Садыкова заканчивался в час Полярной, чтобы в час же Полярной наутро возникать вновь.

Бой был начат, тысячи людей строительноствовали, когда приехал Ласло, и Ласло взял маршалство отделами экономики труда и материальным, людьми и вещами, когда Садыков маршалствовал природою и планами работ.

Эдгар Иванович приехал с семьей и поселился в Колонне у сестер Капитолины и Риммы Скудриных, в их тишине за калиткою. Ласло привез с собою книги и вещи, чтобы создать покойный и рабочий инженерский быт. Дом за калиткою пребывал тих, очень близко под звездами, в скрипучих половицах, с теплой лежанкою. Дом заглох тишиною Капитолины Карповны Скудриной. Дома Эдгара Ивановича после работ ждала жена, Ольга Александровна. Наступала новая осень. Падчерица Любовь Пименовна выходила к позднему обеду с тетрадью после работ над сводками раскопанного, слушала новости со строительства, приносила свои новости. Кабинет Эдгара Ивановича зарос книгами, книги выползали в столовую, и звуки в кабинете прятались в книги, в ковер на полу. Эдгар Иванович оставлял дому часы звезд и луны, хотя солнца в комнатах этого дома было очень много, того солнца, о котором очень знала Ольга Александровна. Ласло работал плечо в плечо с Садыковым. В послеобеденный час в беспорядке вопросов и ласки из-за книг в кабинете возникала Алиса. Отец читал газету около стакана чая, дочь забиралась на колени и притихала на коленях котенком, не мешая отцу священнодействовать газетой. Солнце физическое оставалось для Эдгара Ивановича в просторном кабинете конторы главинжа и на лугах строительства, и почти физическим солнцем

в доме была Алиса, единственная дочка, — Лиса, как называл ее отец.

Однажды Алиса спросила отца:

— Эдгар, мы живем или играем? — она называла отца по имени, как мать.

Отец не понял, срастив абзац газеты с вопросом дочери, спросил:

— Что ты хочешь сказать, Лиса?

— Мы живем или играем? Вот ты и мама — вы живете, а я и Мишка, хотя он уже большой и ходит к Любе, — ее товарищ, — мы с ним играем в куклы. Куклы не живые, они из тряпок и голова для куклы — мама купила мне ее в Москве у Гума, когда мы еще жили там. А ты играешь с нами, потому что мы маленькие. Мы с Мишей живем или играем?

Все газетные абзацы заслонились тогда вопросом дочери, первую дочернюю внеурочную мыслью, и отец растерялся в ответе, всем сердцем поняв, как дорога ему дочь, его плоть, его продолжение жизни, потому что в том беспорядке живой жизни, который надо привести в порядок наукою Мечникова, Воронова, Лазарева и машинами, все же имеется пока одно решение трагедии смерти, трагедии и человека, и человечества — продолжение рода и крови. И отец прижал к себе дочь, прижимаясь к жизни так сильно, что на глазах у дочери появились слезы физической боли и недоумения.

И из-за книг в час отдыха после обеда вместе с Лисой, вслед за Лисой, за ее смехом и ручонками, верткими, как масленичные качели, приходила жена, друг, мать — Ольга Александровна, — женщина, которая возникла в его жизни впервые вместе с его молодостью, отдав ему все свое последнее. Он был репетитором Любви и сына, умершего от тифа на гражданской войне в его отряде. Она принесла и отдала ему все, всю жизнь. Тогда в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, где встречала она Ласло на пороге пустой гостиной, на этом самом пороге в солнечный день в гулком и просторном биении сердца впервые поцеловал Ласло, по-мужски, любовником, руки и шею Ольги Александровны, — и она поцеловала его, все отдавая в этом поцелуе, эти гулкие комнаты, свое время, мужа, детей. Ему было двадцать три, ей тридцать два. В этой гулкой гостиной, также в солнечный день, в закат, она сказала Пимену Сергеевичу Полетике, что она уходит от него навсегда, и глаза ее светились в тот час

счастьем. У порога ждал Эдгар. Сроки ухода длились тогда сроками великой войны, и для Ольги Александровны были те годы стремительной героиней. Тысяча девятьсот семнадцатый год стал ее бабьим летом, оказавшимся не в сентябре, но в июле. Для Эдгара она научилась думать по-немецки, как думал Эдгар,— и вместе с ним она пошла на штыки гражданских войн и голода революции, вместе с ним пробираясь через те отвесы, которыми переползала Россия в своем перестройстве хлеба, вер, быта, обычаев.

В отряде Эдгара она потеряла старшего своего сына, погибшего от тифа. Впервые по-настоящему в страсти закрылись ее глаза на мир от поцелуев Эдгара, и Эдгар видел первые у ее глаз морщинки немолодости. Она молча шла за Эдгаром по фронтам, эта гордая женщина, друг,— эта покойная, чистая женщина, принявшая штыки революции своим брачным ложем, знавшая, что страсти человеческие — обязательно честны, обязательно правдивы, обязательно проверены на июньские русские росные рассветы, светлые, ясные, чистые и никак не похожие, как для некоторых, на палительные головни русских пожарищ. Она научилась все подавлять в себе, что было вне ее чести. На фронте, на станции Мацевская около ног Федора Ивановича Садыкова разорвалась однажды граната,— их было тогда трое в дежурной комнате, она, Эдгар и Федор,— осколок ударил в ее плечо,— она руками вынула осколок из мяса раны, сморщив от боли губы, сдвинув брови, но улыбаясь. Когда же отгрохотали пушки революции и Эдгар пошел к рекам, Ольга Александровна родила дочь Алису, свою последнюю дочь, ибо годы ее шли уже к закату. Она собрала тогда время в инженерский порядок и стала хранить книги Эдгара и его дела.

В часы, когда засыпала Алиса, Ольга Александровна приходила к Эдгару. Она всегда была в черном платье. Последний чай перед полночью был горяч, он выпивался в кабинете, где книги пахнули книжным червем, напоминающим запах мертвецкой. Жена садилась на диван, рядом с мужем. Они говорили между собою по-немецки, на языке, котором встретил жизнь Эдгар Иванович и которым он провожал Лису в постель.

Она говорила о делах, вычитанных из книг и газет, которыми она помогала мужу. Свеча на столе горела свечью Фауста, полночь покойствовала отдыхом последнего чая,— и муж и жена говорили о том, что стократ величавее Гете,— о революции в мире, той, которая приходила и пере-

ливала историю на жернова Эдгара,— как здесь, так и за стенами этого уездного дома, за этими часами жены и мужа, когда муж растворял время женою и книгами, потому что плоские четырехугольники книг имеют свойство камерой-обскурою кидать человека и человеческую мысль во времена и пространства, куда угодно и как угодно,— а голос, волосы, голова, плечи жены, ее слова, ее теплота, ее ласка, строгость — могут заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце и в сердце спрятать свое существо, когда космичествует покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. В полночах, когда засыпала жена, эта гордая, покойная, разумная женщина, сестра в революции, когда свеча гасилась и книги проваливались во мрак,— Эдгар Иванович поднимал голову локтем, и рядом с ним во мраке чуть белело плечо жены, уже покрытое холодком дряблости, родное и доверчивое, раненное на Мациевской. Ее дыхание было ровно, счастливо,— этой женщины, которая днями всегда одевалась в черное, лишь по июням в белое, и которая стала первой в жизни. Это было таинством любви, тот кувшин, который нельзя расплескать так же, как кувшин революции.

За домом, на лугах шло строительство. Раз в неделю, когда выпадали свободный час или свободная ночь иль мозги начинали дрябнуть, к Эдгару приходил с завода, из дома для приезжающих Федор Иванович, или Эдгар Иванович ехал к нему — выполнить законы дружбы и чокнуться — не водкой о водку, но сердцем о сердце, мыслью о мысль. Тяжелоплечий Федор шел тогда по комнатам, смотрел солдатским глазом вокруг, приветствуя и шутки пересыпая нравоучениями:

— Воздух слишком сух, надо поставить аквариум, не дорожите здоровьем.

— Покажи, печку как закрываете, я научу, как надо.

— Лиса, открой веко, ты малокровна!

Федор Иванович садился на диван в кабинете, чтобы отдохнуть и не двигаться часами. Из-за книжной полки извлекалась заветная бутылка. Федор знал каждый жест Эдгара, Эдгар знал каждый жест Федора. Федор наливал себе рюмку коньяку и острял. Любовь Пименовна забиралась в угол дивана, Ольга Александровна уходила по хозяйству. Начинались часы разговоров, чтобы этими часами проверить себя, свои дела, свои мысли. Книги с письменного

стола снимались, свечи ставились в большом количестве, к Федору подвигался табурет с тарелкой. Женщины безмолвствовали. Федор опирался рукою о колено Эдгара, чтобы облегчить свои плечи и во имя дружбы. И Федор отдавал свои помыслы, возникавшие у него за цифрами и планшетами.

— Давай подумаем о речном ложе, стало быть, особенно, если река потечет задом наперед, — говорил Федор Иванович. — Давай примем во внимание администрацию, то есть самих себя, партийную ячейку, то есть самих себя, рабочий комитет, то есть опять же самих себя. Мы отвечаем за все. Коса на речном перекате лежит, как известно, подобно рыбе, головою против течения и имеет также, как известно, форму рыбы, рыбью голову и рыбий раздвоенный хвост. Отмели похожи на рыб не случайно, но это не главное. Главным же образом нужно рассчитать, что будет с рыбиной косы, когда вода потечет ей в хвост. Мы строим плотину заново, переделываем климат и географию. Так, стало быть. На пустые луга съехался десяток тысяч рабочих, а связаны этим строительством и зависят от него миллионы, понятно. Место боя, — тоже понятно. А кто это чувствует у нас? Мало кто. Инженеры машинисток в Голутвин по субботам возят, фокстротят. Грабари имеют артельных жен, называемых стряпухами, — мы построили фабрику-кухню, но из-за этих артельных жен, то есть стряпух, рабочие предпочитают питаться в бараках, и в каждом бараке обязательно есть шинкарка. А мы с тобой суть все.

— Я тебе отвечу, Федор, — говорил Эдгар Иванович. — Обрати внимание на товарища Моисея из библии, который выводил евреев из Египта. Он был неглупый мужик. Он путешествовал по морскому дну, производил манну небесную из ничего, путался в пустынях, устраивал приемы на Синае. Сорок лет отыскивал свою жилплощадь и воевал за нее. И до обетованной земли он не дошел, предоставив Иисусу Навину останавливать солнце. Вместо него дошли его дети. Люди, знавшие Содом, не могут быть во Израиле, — они не годны для обетованной земли. Старик должен был лечь костями для нового поколения. Что же касается администрации, месткома и партячейки, то также в библии чудак объяснял о действии правой руки в момент неведения левой. Женщины ж — ну, пусть наслаждается каждый, как хочет.

— В медицине такая раздерганность называется лихорадкой,— отвечал Федор Иванович. Он говорил медленно и трудно, тяжелоплечий человек. Свечи горели гетевски. Книжные полки покойствовали моргами мыслей, камеры-обскуры в человеческое время и знание.— Да. Но Моисей написал скрижали. Я слышал следующую разновидность рассуждений. Мне говорили, что каждая историческая эпоха имеет свою мораль, рожденную эпохой. Палки доказательств, дескать, могут ломаться, но их не надо перегибать до тех пределов, когда они сломаются вместе с доказательствами. Говорят, что общественной моралью наших лет является мораль политическая. Надо быть, дескать, моральным политически, и даже не очень моральным, но очень грамотным. Быть политически неграмотным — не морально. Эти же люди говорят о том, что политические таланты рождаются так же, как актерские, писательские, художнические. Они утверждают, что можно быть прекрасным музыкантом, бездарным политически,— можно быть честнейшим астрономом, человеком, верным слову, грамотности и чести к женщине,— женщины, к слову говорят они, на бесчестность мужчин очень радостно отвечают своим бесчестием,— астроном может быть мирового имени, и такой астроном, утверждают они, не будет в фокусе нашей общественности. Эти философы не могут решить, кто прав,— эти ли астрономы, просящие помиловать,—«помилуйте, ведь он же пьяница и бабник, ведь он малограмотен!»— правы ли астрономы, которым противопоставляются те, которые умеют делать революцию, как астрономы умеют караулить звезды, и которые умели и умеют умирать за революцию. Эти люди, дескать, должны жить колоссальной волей, рассудком. Я думаю, что таких противопоставлений делать не стоит, и они напоминают твои рассуждения о недошедшем Моисее. Да, не дошел,— но он же написал скрижали. Нам — жить! Нам писать скрижали будущего, которые должны быть омыты нашей кровью. Ты немножко нигилист, потому что ты знаешь тот соус, на котором поджариваются эти скрижали. Все это окольные пути, совершенно верно. Этот соус не должны знать в новой жизни, как в обетованной, стало быть, полагалось, что забыты ваалы и проделки жены Патифара. Но я думаю, что ничего не надо откладывать, и для себя я решаю все сразу, и коммунистическую мораль в частности.

— Вы говорите о рыбах, Федор Иванович. Я хочу рассказать странную вещь.— Любовь Пименовна говорила тихо.— Сейчас великий пост по-старинному, продают мороженую навагу. Я шла с базара и вдруг почувствовала, что пахнет фиалками, очень хорошо. Я стала искать, откуда идет запах. Улицы были пусты и морозны, у меня нет никаких духов. Я наклонилась к кошелке, — пахло навагой, я подняла голову, — пахло фиалками. Наконец я поняла, откуда этот запах. Разряженный запах наваги похож на запах фиалки. Фиалками пахла навага. Так часто бывает в жизни, когда наважьи рыбы запахи превращаются в запахи весны. А дома оказалось, что рыба несвежая.

— Совершенно верно, очень признателен, Любовь Пименовна, бойтесь наважьи фиалок.

Друзья чокались сердцами о сердце, — эти кувшины нельзя было расплескать. Мысли Федора и Эдгара бродили по российским весям и чувавам, по заводам и строительству, около английских шахт и по долинам Янцзы, около концернов Стиннеса и вокруг карьер Макдональда. У этих людей были и будни, начальства, подчиненные, сотрудники, друзья, безразличные люди, враги, удачи и неудачи, — и в эти часы свечой Гете и покояствия книжных камер Эдгар и Федор Иванович говорили о всяческих своих буднях, о вчерашнем и третьегоднешнем, что было их средой, их делами и делало их общественное мнение. Так горели свечи, рожденные Гете, до часа, когда Федор Иванович поднимался и уходил. Любовь Пименовна провожала Садыкова по мертвым уличным снегам, в эти часы здравствующих звезд.

Дочь Лиса настаивала на своих вопросах. Лиса сидела на столе между книг.

— Эдгар, ты сказал, что ты, и мама, и я, и Мишка, — мы все живем одинаково. Мы живем жизнью. А кукла Мила — она из тряпок — она тоже живет?

Лиса не дождалась ответа.

— Расскажи мне сказку.

Эдгар Иванович не сумел, как следует, объяснить, почему не живет кукла. Лисе стало скучно. Эдгар Иванович рассказал, как медведь рубил тот самый сук, на котором сидел.

— Хорошо, только мама лучше тебя рассказывает сказки, — сказала Лиса.

— Почему?

— Потому что мамины сказки в книжках с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук и падает. У мамы все нарисовано в книжках.

Лиса сидела на столе против Эдгара Ивановича, вращалась в книжки и вырастала из них, маленькая, рыжая и веселая. Эдгар Иванович играл с ней в джан-кэн-понг, она тарасила пальцы страшными ножницами и болтала ногами, как языком.

Эдгар Иванович много раз наблюдал за Лисой, как она играла на ковре. Ковер застилал кабинет Эдгара Ивановича. На родинах ковров — в Кашгарии, в Ширазе — ковроделы знают, что ковры могут читаться, над коврами можно сидеть, как над шахматами, читая их образы письмен и времени,— европейцы не знают этой грамоты, не знал ее и Эдгар Иванович,— но для Лисы на ковре был нарисован целый мир, реки, моря, поля, города. Этот ковер остался у Эдгара Ивановича от его отцов, от детства, и в детстве своем Эдгар Иванович так же, как Лиса, видел эти ковровые миры, забытые теперь. Лиса показывала отцу, где на ковре находится Коломна и где Москва, где строительство и как ехать по ковру из Москвы в Коломну,— рекой и железной дорогой.

Верхом на отце выезжала Лиса через столовую в спальню, чтобы отец посидел минуточку над ее кроватью. За приземистыми оконцами дома старух Скудриных рос сад, занесенный снегом, светилось иной раз оконце в бане охломона Ожогова да мерцали в небесах звезды.

Мир дома Ласло был тверд и налажен.

Законы речей инженера Евгения Евгеньевича Полторака о том — «что такое любовь, Вера Григорьевна? что такое жизнь? что такое смерть? и что такое правда? все это пустяки перед нулем смерти, именно потому, что множитель нуль все превращает в самого себя», — эти законы будут существовать до тех пор, пока человек, каждый сам для себя, не определит, не решит, что такое любовь, честь, жизнь, смерть. В эпохи, когда человеческая индивидуальность стирается, когда нули смертей, казалось бы, превращаются в цепи,— эти цепи никак не являются оковами ваванков, ибо каждый человек должен, обязательно должен решить для себя свою честь.

В человеческом мире однолюбость не есть закон биологический. Эдгар Иванович навсегда был связан с Ольгой Александровной, прошедшей с ним его путины становления человеком и родившей для него дочь, его любовь и будущее. Но Эдгар Иванович не был физически верен своей жене, как очень многие мужчины той эпохи и как многие женщины не были верны своим мужьям. В теплушках, на шпалах, в случайных городах, случайными ночами, ибо тогда ломался быт и у каждого за плечами стоял нуль в-банка, были разбросаны женщины, ничем не обязывавшие, дававшие радость своим женским, казавшимся вечностью, повергающей нуль, стоявший за плечами. Женщины терялись в рассветах и в новых дорогах.

Годы гражданской войны исчезли вместе с теплушками, убранными из-под откосов. Остальное оправдывалось моралью буден. Было две жизни: жизнь первая и жизнь вторая, похожая на волчьи лесные тропы, неприметные логова, приметы, заметы, вехи. Жизнь первая была делами строительства революции, камерами-обскурами книг, обычаями дома, законами дружеств. И из жизни первой можно было и надо было выключать себя в жизнь вторую. В сотне дневных рабочих разговоров и звонков по левому телефону со строительства был один — иль звонок, иль разговор наедине — о часе, о месте, о поезде в Москву. И там, в этом часе и месте, начиналась вторая жизнь, таинственность, о чем никто не знал и где радость была единственным, оправдывающим все. В любовничестве нет будней усталости, рублей, задворок характеров,— и очень многое оправдывается у людей тем, что это — в тайне, этого никто не знает, этих тайных троп, неприметных примет, скрытых от всех мест свиданий. Здесь в эти часы, выключенные из дел и времени во вторую жизнь, была только радость наслаждения женщиной. Ладонь женщины, положенная на мужские глаза, может закрыть иной раз весь мир — не только на основании законов физики для зрения, но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира, как раздумье о смерти под пулями в бою, ибо смерть и любовь суть не только нули, но и равенство.

Ночь белесой зари на изысканиях стала началом романа. Мария Федоровна Садыкова любила Эдгара Ивановича, и она осталась его любовницей, когда он приехал на строительство. Она шла навстречу, Мария, всем своим прекрасным, чтобы отдать его. Она любила, опустив свою любовь в тропы музыкантов-классиков, ничем не оправдыва-

ясь и не думая об оправдании. Она прятала голову на грудь Эдгара Ивановича, как страусы прячут свои головы под свое же крыло или в палительные пески тех пустынь, где живут они в диком состоянии.

Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческой душой, всеми помыслами и всеми мыслями, которые — вот тут, на ладони. Часы встреч, выключенные из времени, были — то десять утра, то десять вечера, то четыре дня, — и тайные тропы были также то в доме для приезжающих на машиностроительном, то в лугах и Щуровском лесу, то в московском поезде. Эти часы таинственных троп, всегда сворованные у самих себя, кончались за последним поцелуем, за ступеньками парадного и за крестопутьем переулка, — вторая жизнь Эдгара Ивановича включалась в жизнь первую, дел, деяний, забот, нарядов в земельно-скальный подотдел, гранитов, «рук». За крестопутьем переулка можно было вернуться к Федору Ивановичу и поздороваться с Марией Федоровной, чужою женщиной, женою друга, спросить об ее здоровье и передать привет от жены, потому что в человеческих делах очень часто тайные дела не кладутся на вес морали. За переулками, в настоящей, первой жизни плечи впрягались в дела, дни растворялись свинцовыми просторами лугов, приказов, заседаний, подсчетов, дел и воли, где нельзя расплескивать мыслей и надо ими командовать в походе истории.

Охотники в лесах ловят волков облавами. Обкладчики выслеживают волчьи тропы. Охотники встают по волчьим лапам, затягивают флажками перелески. Лес тих, медленен, безмолвен. В безмолвии леса начинают улюлюкать и арьякать кричаны, чтобы поднять волка и погнать его по тропам, которые обложены охотниками и флажками. Волчья жизнь становится смертью.

В доме старух Скудриных, где жизнь Риммы Карповны походила на судьбу запаха наваги, ставшего фиалковым запахом, из-за книг возникала рыжая Лиса. Глаза Федора Ивановича были к тому, чтобы рожать действие. Глаза Эдгара Ивановича, когда они возвращались из-за пространств, были также к тому, чтобы действовать. Эти люди жили, чтобы действовать, чтобы умирать за делаемое.

И наступил последний год строительства.

Весна шла очень большим солнцем. Метели спятились

в зиму. Солнце пришло из-под снегов, как снега ушли в ночь. Этою весною последний раз разливались реки Ока и Москва по прежним, тысячелетним, созданным природою, тальвегам,— позвоночник монолита перекопал уже Оку.

И был майский день.

В полдень, в обеденный перерыв, когда гудели предупредительные сирены и вывешивались сигнальные знаки, указывающие, что всем надо уходить с лугов, ибо туда пошли подрывники рвать сжатым кислородом граниты,— из рабочего кабинета, заваленного планами, картами и таблицами, где по углам на полу валялись образцы и куда шло очень много майского солнца,— Федор Иванович стал разыскивать телефоном Эдгара Ивановича и Марию Федоровну.

Марии сказал Федор Иванович:

— Мария, ты будешь у меня через четверть часа, по важному делу. Очень прошу.

Эдгару:

— Эдгар, ты придешь ко мне сейчас, по очень важному делу. Очень прошу. В кабинет.

По существу говоря, с этих телефонных звонков начался настоящий и нужный повести роман между Марией Федоровной и Эдгаром Ивановичем.

Утром в этот день, встав в четыре часа, Федор Иванович ходил на работы. Ротозейством прораба и десятников вода размыла песок и фашины у перемычки, и Федор Иванович в скафандре, в водолазном костюме лазил под воду, на дно реки, чтобы осмотреть подгоризонтные части работ, хотя это и не было его делом. Два водолаза всовывали Федора Ивановича в резиновое туловище, закручивали сигнальным концом, обували в свинцовые туфли. Скафандры — эти алюминиевые шлемы, похожие на черепа марсиан по Уэльсу,— привинчиваются, как герметическая пробка. За пробкой скафандра начинает шуметь нагнетаемый воздух, земля оторвана, измерения меняются, вода смыкается над головой, и над головою бегут белесые пузырьки отработанного воздуха. Законы физики меняют под водою свет, видимость, давление,— человеку под водою необычно. Федор Иванович осматривал фашины. Фашины проросли, заплелись, задохнулись самими собою. Под водою стало темно и холодно, шальные рыбешки хотели глянуть за стекла скафандра, сжатый свистящий воздух

шумел в ушах, мешал слушать подводную тишину, подчеркивая ее. Солнце в ту минуту, когда Федор Иванович вылез на баркас, показалось громадным. И это солнце и фашины, разбухшие под водою, родили тревожную мысль,— которую Федор Иванович не мог осознать и привести в порядок. От перемычки по Константиновской старице, служившей отводным каналом, перебравшись через канал на баркасе, Федор Иванович пошел в управление главинжа, к себе в кабинет, прошел Константиновской, по дороге проверял деловые уклоны фашинных одежд нового ложа берега. День наступал просторен и солнечен. Облака возникали, чтобы растворяться в сини. На фашинной укладке работали женщины, пестропаневые степнушки. На земле валялись только что срезанные лозы чернотела и козьей ивы. Женщины вязали ивовые косы, затягивая лозины вицами, были бодры и весело смотрели вслед инженеру. Фашины рядами укладывались на речное ложе и приколачивались к земле ивовыми ж рогулями. Чернотел и козья ива берутся для фашин потому, к тому, чтобы они прорастали в воде, закреплялись корнями и закрепляли бы ими землю дна. И Федор Иванович осознал свое ощущение: «Все это будет залито водою». Федор Иванович, поглядывая на здоровенных девок и баб, смеявшихся ему навстречу и вслед, увидел вдруг себя на месте одной из козьих ив. Это совсем не то, что быть под водою в скафандре. В каждой лозине осталась жизнь этих лозин, связанных, зажатых вицами, тысячей,— их заливают водою, они хранят жизнь,— и корни одной лозы впиваются в тело другой, лозы ищут соков, чтобы кормиться, ищут земли, убивают друг друга,— лоза добралась до земли, она сыта, но она задыхается, и она, задыхаясь и убивая соседей, разбухая водянкой, тянется к солнцу,— это совсем не то, что быть в скафандре на дне под водою, и совсем так, как умирают рыбы в воздухе. Пестрые женщины вдоль этих траншей фашинных кладок и сине-широкопорточные гологрудые землекопы представляли жизнь и русские древности.

Тогда загудел гудок к обеденному перерыву, и завыли сирены. Люди пошли вон от строительства, ибо на строительство отправились подрывники рвать граниты жидким кислородом,— тем самым, которого не хватает ивам под водою. Федор Иванович в толпе рабочих, ехавших на фабрику-кухню обедать, на думпкаре поехал к себе, в кабинет,— и он ждал жену и друга.

Эдгар Иванович очень внимательно глянул на Федора, отошел к окну, сел на подоконник. Мария Федоровна в покойствии и ясности села у стола против Федора Ивановича. Федор Иванович рассасывал папиросу. Вновь взвыла сирена, и сейчас же за нею громыхнул первый взрыв, тряхнул дом, прозвенел стеклами. Федор Иванович опустил и поднял глаза.

— Что же ты мне скажешь, Эдгар?— спросил Федор Иванович.

— О чем?— спросил Эдгар Иванович.

— Я хотел бы знать о тех отношениях, о которых ты и Мария молчите, но которые суть между вами,— сказал Садыков.

Глаза Ласло стали, чтобы действовать. Кривою линией он прошел по комнате, обогнув стол карт, и стал у стола. Мария Федоровна встала со стула, ее лица никто не заметил. За окном светило солнце так сильно, что острые его лучи делали тени в кабинете черными. За домом выл, сипел, захлебывался экскаватор, и кто-то кричал: «Митяаай! а Митяааай, я пообееедал!» В трагические минуты у людей всегда мало жестов.

— Хорошо, буду говорить я,— вам трудно,— сказал Федор Иванович, опустив голову и вновь подняв ее.— Сегодня в четыре часа совещание, Эдгар, ты знаешь, но я не об этом. Тамбовский батюшка сказал однажды за преферансом, ремизя партнера: «Человек человеку за преферансом — брат!»— хорошо сказал. Я мог бы добавить еще рассуждения о состоянии фашин под водою, которые натолкнули меня на решение не откладывать разговора, ибо в фашинах мы сознательно топим живые прутья. Но мне сейчас не до аллегорий. Я позвал по следующему поводу. Три года тому назад, восьмого августа, в усадьбе Спасское, вы,— ты, Мария, моя жена, и ты, Эдгар, мой друг,— сошлись, скрыв это от меня. Мне было больно, я понимал, что наши отношения станут очень сложными. Я считал это случайностью. Я никак не являюсь властителем душ, у меня были такие же приключения, и я допускаю их возможность за каждым. Но год тому назад ты, Эдгар, вернулся к Марии. Я читаю дневники ровно девять месяцев. Я делал вид, что я ничего не знаю, полагая это увлечением, которое пройдет со временем, или о котором вы расскажете мне, если это серьезно. Тогда в Спасском ты, Эдгар, хотел чокнуться со мною пустою рукой, но ты мне друг, Эдгар. Мы строим новую жизнь и новую общественность, стало быть,

нам надо напрягать все силы, чтобы работать и освободить себя от всего для работы. Прошли осень, зима и весна, и я говорю с вами. Я не хочу скрывать, что мне очень трудно, потому что я любил Марию как умел. Время мне указывает, что это не временное увлечение. Полигамию я не считаю коммунистической моралью, но честность в отношениях коммунистов я считаю долгом коммуниста. Однако я предлагаю сейчас не рассуждать, но действовать. Ты понимаешь, Эдгар, что моему сердцу сейчас трудно с тобою. Мы строим новую общественность и новую мораль. И мне кажется, Эдгар, что у нас нет поводов ссориться. Но ты понимаешь, что я не могу допустить поругание моей жены. Я предлагаю вам жениться, раз вы любите, без ненужной лжи. Я буду на этом настаивать как на естественном ходе вещей. Ключи от нашего дома у тебя, Мария. Я останусь жить в этом кабинете. Ты, Эдгар, имеешь получить квартиру на строительстве на Скальном поселке. Я останусь в этом кабинете, пока ты не разберешься в наших вещах, Мария, и пока вы не устроитесь. О вещах говорить нам не стоит. Прощайте. Идите. Всего хорошего. В четыре начнется совещание, Эдгар, но было бы хорошо, если бы ты зашел в три, надо поторговаться.

Мария Федоровна бессильно села на стул, выслушав приговор. Эдгар Иванович ни единым мускулом не проливал кувшина слов Садыкова. Глаза его стали остры, как остры бывали глаза его предков-кочевников, следивших в степи за врагом. Федор Иванович принял этот взгляд.

— Нет, Эдгар, мы не враги, нет. Виноваты мы все. Я припомнил, что я ни разу не сказал Марии о том, что я ее люблю, не успел, не удосужился. Всего не обдумаешь сразу. Мы поговорим потом, Эдгар. Мария, дай твою руку, я поцелую. Идите.

Зазвонил телефон.

— Да,— сказал Федор Иванович,— это я, Садыков. У гусеничного номер пять? Хорошо. Да. Нет. Хорошо, буду. У меня новость, сейчас я разошелся с женой. Да. Нет, я просто не нахожу нужным ложных положений. Она выходит замуж. За Эдгара Ивановича. Да. Совещание в три с половиною.

Федор Иванович повесил трубку. Служебный кабинет пребывал деловит и рабоч. Стены смотрели чертежами. Окно смотрело в луга. За окнами светило солнце, ветер нес запахи сырой земли, трав и цветов. В такие дни человек

должен быть дружен с землею. Мария Федоровна заплакала, уронив голову на стол, на чертеж.

— Это служебный кабинет, Мария,— сказал Федор Иванович,— перестань. Ступайте. Я зову следующих. Меня ожидают на очереди.

Садыков позвонил.

Федор Иванович выбежал из-за стола, когда вышли Мария и Эдгар. Федор Иванович своими больными ногами очень быстро ходил по кабинету, геометрическими прямыми. Его плечи обвисли еще тяжелее, чем обыкновенно. Морщины сползли со лба к глазам. Лицо стало таким, какие бывают у людей, прошедших тридцать верст пешком, не спавших сутки и пришедших из слякостей в чужое жилье, в сумерки, к вечернему русскому чаю — не для того, чтобы чайничать, но чтобы сказать деловую, короткую истину, страшную новость и идти дальше, не отдыхая, в ночные версты, последующим страшным новостям.

Опять зазвонил телефон. В кабинетах строительства люди могут себя чувствовать иной раз так же, как волки за флажками волчьей облавы. Звонила Любовь Пименовна.

— Да. Да? Найдены хорошие древности? Да, да. Я приду сегодня к вам вечером, можно? Я очень устал. У меня сегодня все время почему-то аллегии. Вы помните, мы спорили,— да, это так всегда,— я строю будущее, новую реку,— вы раскапываете для будущего древности.

Опять зазвонил телефон.

Федор Иванович сказал в трубку:

— Да, иду.

Федор Иванович вышел из кабинета. Земля под ногами теплела в зеленой мураве. Солнце слепило. Облака растворялись в синем небе. На траве лежали рабочие, отдыхая после обеда. На пороге фабрики-кухни девка у девки искала в голове вшей. Садыков шел обедать, в очереди в кассе стал рядом прораб Сарычев, в соломенной шляпе, похожей на китайский зонтик. Садыков и Сарычев поздоровались.

— Я сейчас разошелся с женой,— сказал Федор Иванович,— я всегда желаю людям всего хорошего и предпочитаю жизнь опрощать елико возможно. Эдгар Ивано-

вич — мой друг, они любят друг друга. Все это я считаю естественным ходом вещей и долгом коммуниста. Ласло честный коммунист, Мария Федоровна — честная женщина. Я помог друзьям, им было тяжело. Как дела на вашем участке?

Садыков был совершенно покоен. На совершенно неподвижном его лице скулы собрались в рабочие будни.

Волк, обложенный флажками в лесу, в рассветный час, в изморозном дожде, — слышит, как улюлюкают и арятякают кричаны, — изморозный дождь намочил флажки, — волку нет дорог, — волк похож на лозы козьих ив в фашинных кладках.

Солнце так же, как Федору Ивановичу, обрезало глаза Марии Федоровны и Ласло, когда они вышли на солнце, и так же сине было небо, — но земля провалилась для них, ибо ни он, ни она не заметили нескольких километров от строительства до коломенского кремля, до Маринкиной башни, которые прошли они рядом в безмолвии остановившихся — у каждого свое — ощущений. Если на кремль взглянуть от Маринкиной башни, азиатский коломенский кремль чудесно вдруг превращается в средневековую европейскую готику — именно Маринкиной башней. Здесь пролежала тропа жизни второй, тем, от чего само солнце входит в сердце. В перемешанности жизни второй и жизни первой зааряжал вдруг Азией азиатский кремль — и улыбнулась насмешливо европейская готическая девичья Маринкина башня. Глаза Марии Федоровны и Эдгара Ивановича вернулись из-за пространств.

— Какая ерунда! — сказал Эдгар Иванович, и Мария не слыхала этих слов.

— Что же мы будем делать, Эдгар? — спросила Мария.

— Что делать? — переспросил Эдгар Иванович, не слыша. — Ты иди сейчас домой.

— Куда — домой?

Ласло не ответил. Готика Маринки безмолствовала. Эдгар Иванович вспомнил, как вчера он носил на руках любовницу Марию, всю забрав ее в руки, и как говорил ей нежные слова. Мария Федоровна принадлежала ему сейчас — навсегда. Он взглянул из-за пространств на эту женщину, которая стояла против него, и глаза не понимали, — женщина была чужая, незнакомая. Федор Иванович,

рассуждая о законах течения рек, где не может быть отступлений от законов,— о том, как сильна человеческая жизнь, как цепка жизнь,— несколько раз рассказывал Эдгару Ивановичу о поразившей его минуте, когда Мария в лужах крови на фронте, в доме, где убили ее отца и мать, вдруг заиграла на рояле, одна, для самой себя, и улыбнулась тогда Федору Ивановичу застенчивой, беспомощной улыбкой, когда увидела его. Мария Федоровна пришла к Садыкову из-за ва-банков смерти. Мария Федоровна сейчас стояла против Ласло, беспомощно опустив плечи, она беспомощно улыбалась, ее улыбка, должно быть, была такую же, как тогда на фронте. Небо над землей покойствовало очень сине, глаза Марии в синем свете светились очень голубы.

Из кремлевских развалин вышел музеевед Грибоедов. Баки его величествовали нечесанностью, цилиндр съехал на затылок. Черную крылатку музеевед закинул за плечи.

— Ласло, привет!— крикнул Грибоедов.— Откуда и куда? Идемте ко мне, я покажу вам каменную бабу, только что найденную на дне котлована, никак не хуже московских исторического музея, какие фуфудьи и тарабумбии! Товарищ Полетика, Любовь Пименовна, ее расчищать будет. Идем! И также пришло время выпить.

От музееведа пахло луком и водкой. Охотники в лесах на волчьих облавах перетаскивают флажки с места на место, чтобы все больше и больше суживать волчьи пути. У музееведа валялись кучами стихари, орари, ризы, рясы, штабели икон, в углу сидел голый деревянный Христос. И около Христа, в углу, подпирая потолок, стояла каменная баба, страшная, обросшая водорослями,— смотрела на комнату слепыми, ухмыляющимися глазами. Азиатский коломенский кремль из окон музееведа Азией и был. Музеевед предложил водки с зеленым луком. Эдгар Иванович не отказался от водки и выпил.

— Мария, посиди здесь. Федор просил прийти в три, к совещанию. Через два часа я вернусь.

Музеевед налил вторые рюмки и чокнулся с голым Христом, потому что Ласло пил машинально. Мария села в угол каразинского дивана, забралась в угол с ногами. Автобус потащил Ласло из города на строительство.

Когда Эдгар входил в комнату совещания, он слышал фразу Федора Ивановича:

— Старая мораль умерла, когда люди дрались кулаками и на дуэлях за женщин и страдали от ревностей.

Федор Иванович прервал себя, увидев Эдгара Ивановича.

— Ты пришел, Эдгар,— давайте заседать!— сказал он и сел рядом с Ласло.

В средневековье у рыцарей был обычай бросать противнику перчатку вызова,— такие вызовы по-азиатски-русски превращаются иной раз в каменных баб, как Маринкина башня превращается в готику средневековья. Федор Иванович превратился в кричана. Брови его собрались в дело. На совещании инженеры отчитывались в работе. Когда расходились с совещания, прораб Сарычев, пошедший рядом с Ласло, сказал:

— Федор Иванович настоящий коммунист, честно реагирующий. Когда свадьба?

Эдгар Иванович ответил, не улыбаясь:

— Да, Федор отличный товарищ.

Весь тот день Федор Иванович пробыл на делах и к сумеркам пошел в город. Он встретил Любовь Пименовну; вместе они, в синий час сумерок, ходили к Маринкиной башне, в тот час, когда начинают летать летучие мыши и кричать совы, а закат холодеет ночью, чтобы обогреть восток. Садыков ни словом не обмолвился о дневном своем разговоре с Ласло, отчимом Любви Пименовны. Готика Маринкиной башни упиралась в сумрак неба, к звездам. Под развалинами стены шумела мельница, темнел омут.

— Это любимое мое место в Коломне,— сказала Любовь.

Садыков был молчалив и покоен, он сидел подле на камнях, оперев голову ладонями. Вокруг башни бесшумно шмыгали летучие мыши, и в башне кричала сова, в синем мраке, в синей тишине.

— О чем вы задумались, Федор Иванович?— спросила Любовь Пименовна.

— Я слушаю тишину. У меня сегодня очень трудный день, и я очень устал.

— Да, около этой башни всегда тихо. Я записала преданья об этой башне, о ее судьбе. Вы знаете легенду о том, что душа Марины Мнишек летает вороною над Россией. Эта ворона души размножилась в тех ворон, которых мы

знаем,— именно поэтому вороны всегда живут в местах разрушения, вестники умирания. Мою работу о Маринкиной башне я заканчиваю тем, что башня залита новой рекой. Но — вот, что меня всегда поражает. Я часто хожу в башню днем, там растет бузина, припекает солнце, пахнет лопухами и — ничего нет, пусто, кирпич, осколки цемента, бузина,— ничего нет, и тем не менее около этих камней протекала очень длинная и история, и поэзия,— я не знаю, как выразиться. И здесь всегда тихо.

— Я пойду,— сказал Садыков и поднялся,— я очень устал за этот день. Любовь Пименовна, придя домой сегодня, должно быть, вы узнаете новость, трудную и вам, и Ольге Александровне главным образом. Скажите ей, что я всем сердцем с нею, а для вас, а вам — позвольте поцеловать вашу руку. Да, это всегда так: была история, была поэзия,— остались камни. И никакая история не запишет о том, что вот сейчас, здесь, у этой башни, здесь, около вас — мне очень хорошо. Берегите вашу чистоту, Любовь Пименовна,— и встретьтесь с вашим отцом, и помирите с ним маму.

— О чем вы говорите, Садыков?— спросила Любовь Пименовна, поднимаясь за Федором Ивановичем.

— Всего хорошего, Любовь Пименовна,— ответил Садыков.— Я буду приходить к вам, можно? хорошо?— Садыков тихо и очень осторожно поцеловал пальцы Любви Пименовны.

Башня и кремлевские развалины безмолвствовали.

В лугах кричали перепела, путая свои «спать пора! спать пора!» с плачем и скрипом землечерпалок. Федор Иванович шел пешком. Строительство горело армиями электрических огней. Федор Иванович прошел в чертежную, в рабочий свой кабинет. За открытым окном пели песню мужские и женские голоса. Федор Иванович прикрыл ставни,— человеческая песнь затихла, перепелиный крик исчезнул, и слышнее и зловещее стал слышен плач, скрип, вой захлебывающихся в воде и в земле экскаваторов. Крик этих машин, роющих землю, был поистине страшен из тишины кабинета — крики, крики, сипы, сапы, храпы, стоны, вой, визги.

Чертежная спряталась во мрак, как в сентябрьские ночи, когда эти ночи проходят русскими нищими, оборванцами, в медленности, мокроте и переливают тогда землю

в черный мрак, в такой, когда не видно своей же руки и самого себя. В сентябрьских полях тогда ночами, когда ничего не видно, грязь налипает по шею, и по полям бродят волки. По лугам в тот вечер проходил май. В чертежной Садыкова застрял сентябрь. Такие ночи существуют к тому, чтобы человек каялся перед землей. В сентябрьскую чертежную шли вои экскаваторов. Федор Иванович сидел у стола, папиросы красным светом освещали скулы, свет папиросной золы на скулах был очень злобен, скулы были жестки, как жестока была эта сентябрьская ночь в мае. В свете папирос возникла трубка телефона, та, которая не оказалась справедливостью, но очень большою жестокостью перчатки средневекового рыцарства. Когда папиросы погасали, тогда вспыхивали спички.

— Земельно-скальный? — говорит главинж Садыков. — Все в порядке? — Хорошо.

— Тепловая станция? — говорит главинж Садыков. — Все в порядке? — Хорошо.

Человек в ночном белье сидел, опустив голову на ладонь, морщины на лбу собрав по-стариковски, — телефонные провода рыскали по строительству, лицо стало очень добро, всепрощающе. В природе нет движений геометрически прямых, ничто в природе не движется геометрическими прямыми, построив свое движение эллипсами, параболлами, гиперболами, — реки вод, как и лет, всегда строят себе кривые ложа, не могут иначе: Федор Иванович воспринимал Марию геометрически прямой. Ему было больно. За окном цвел май.

Федор Иванович встал от стола, подошел к окну, распахнул окно, долго смотрел в заснувшие луга. Человеческой песни уже не было, но перепела кричали, не подозревавшие своей гибели в тот час, когда эти луга будут залиты. Восток багровел холодом. Федор Иванович покашлял, отхаркался, плюнул за окно, выпил молока из кринки и бодро лег на жесткий диван, чтобы спать. Через четверть часа он храпел.

Мария Федоровна в этот час лежала, сжавшись комочком, на павловском красного дерева из усадьбы Каразиных диване у музееведа Грибоедова, в той самой комнате, где валялись стихари, орари и где стоял голый Христос. Около Христа горела свечка. И за Христом стояла страшная, зеленая, протавившая свое тысячелетье на дне реки Оки

каменная баба, шурила слепые свои глаза. За стеной бредил музеевед. За домом пели третьи петухи. И Мария Федоровна, сжавшись комочком, плакала, уткнув голову в подушки. Около ее ног лежал огромный ее пес по имени Волк, сторожил ночь, ее и Христа.

Эдгар Иванович в тот час ходил под Кремлем по берегу Москвы-реки. Был он в широкополой черной шляпе, в черном пальто, в рыжих крагах. Кремль и Москва-река провалились в запространства, и так же, как для Садыкова, для Ласло эта ночь оказалась сентябрьской. Надо было возвращаться из запространств, решать и действовать. Перчатки чести нельзя не принять, честь осталась за Садыковым. И человек решил. Эдгар Иванович стряхнул в ночь со шляпы беспорядок мыслей и пошел мимо Маринкиной башни, куда Лиса и Мишка бегали подкарауливать таинственности,— к дому, к жене, к Ольге Александровне. Эдгар Иванович помнил слова Садыкова о чаре, которую надо выпить до дна,— он умел собирать в порядок свои мысли,— и он понимал, что в себе самом он посеял войну, где подрались его инстинкты. Коммунист, он должен был принять перчатку чести брата Федора, но он видел в своих запространствах не Марию, а дочь Лису. Мария и для него, как для Федора Ивановича, становилась формулой.

В доме Скудриных никто не спал, но в доме не горел огонь. И над домом в майской ночи сиротливый поднимался месяц, выбираясь из-за старых лип и серебра крышу дома.

Эдгар Иванович Ласло собирал материалы для любопытной теоретической статьи, а именно он наблюдал перерождение психологии рабочих и — психологию перерождения. Основными кадрами рабочих на строительстве — каменщики, плотники, землекопы, грабари, тачечники, грузчики, пыльщики — были рабочие-сезонники. Психология рабочего-сезонника, крепко связанного с деревней, посылающего свои рубли в свои деревни,— полумужика,— общеизвестна, как общеизвестны и условия работы сезонников, когда этот год они работают на Турксибе, тот на Кавказе, третий в Ленинграде или на Сяси. Сезонники живут и работают артелями, связанные родством, соседст-

вом по деревням и председателем артели, выбранным еще у себя на родине. Каждое место работ сезонников временно, и сезонники, эти полумужичьи пролетарии, всегда чуть-чуть пиратствуют на работах и всегда чуть-чуть своя хата с краю. Около монолита сезонники застряли на несколько лет, и Эдгар Иванович Ласло наблюдал, как быт и психика сезонников перестраивались в быт и психику постоянных рабочих, настоящих пролетариев, артели рассыпались и перестраивались, сезонники шли в союз и в общественную работу, учились грамоте и образовывали семьи, не связанные со своими деревнями, инстинкты рвачества стирались. Сезонники не только работали, как вола, ели артельную картошку и спали на голых нарах, но они стали появляться в красных уголках, в библиотеках, на собраниях, в кино, и российские рубахи и паневы сменялись после работ на европейское платье, а на постелях появились простыни. Сезонники работали на одном и том же месте уже три года.

Эдгар Иванович понимал всю закономерность этих явлений, как понимал, что всегда на строительствах и спешат больше, чем следует, и суматошатся, и живут без быта или — точнее — бытом лагерей и походов, временных барачков, временных, взятых у военного ведомства, палаток, так называемых гессеновских. Шинкари, артельные жены и просто проститутки, кинутые мужья и жены, поножовщина — обстоятельства на строительствах почти неминуемые, как неминуемы и библиотеки, стенгазеты, рабочее изобретательство, профессиональная активность, ночные смены, несчастные случаи. За всем за этим Ласло видел законы созидания психики рабочего класса, новой русской культуры, где тысячи рек, ручьев и ключей рабочей психологии так же закономерны, как течение рек подлинных, и где налицо законы и класса, и рубля, и быта, и пола, и российских суглиняковых путей и перепутий.

Рабочие поселки расположились вокруг строительства. Рабочие, не вселенные в постоянные дома, жили во временных бараках и в гессеновских резиновых палатках за слюдяными оконцами и за брезентовыми дверями. На перекрестках барачков шумели передвижки, спортивные площадки, кино под открытым небом, лавки КСПО и Моссельпрома, витрины стенгазет и приказов. В женских палатках пахло так же, как и в мужских, подогретой в солнце резиной и землей, и еще пахло туалетным мылом и испорченным коровьим маслом, — туалетным мылом женщи-

ны мыли после работ лица, коровьим маслом мазали волосы. На порогах женских барачков пелись песни. Мужики изгонялись из женских барачков всегда очень шумно. На старшей по барачку лежало следить за порядком, тушить электричество, прекращать по ночам смешки и хахи.

Вечером в тот день во всех барачках, как на всем строительстве, все знали о разговоре между Садыковым, Ласло и Марией Федоровной. Вечером под небом показывали кинокартину, и рабочие пили в ларьке нарзан и ситро. Вечером в женском барачке номер пять, как и в других, должно быть, барачках, в час, когда потушено было электричество и женщины лежали по нарам, собравшись спать, в тишине засыпающих тел, сказаны стали такие слова:

— Теперь он ее убьет,— сказал во мраке бодрый бабий голос.

— Кто кого?

— Едгар — Марью Федоровну,— ответил второй голос, печальный.— Она ему поперек стала.

Охломон Иван Ожогов был прав, утверждая, что в каждом женском барачке, если на барачок семьдесят одна женщина,— семьдесят одно горе в каждом барачке,— или по крайней мере так казалось. Женщины, уравниваемые с мужчинами в гражданских правах, не уравнивались бытом и не уравниваются, конечно, биологией, когда дети остаются на руках матерей. В барачках были собраны холостые женщины, от сорока лет — старухи, от тридцати до сорока — вдовы с детьми, от двадцати двух до тридцати — вдовушки, до двадцати двух — девушки, у которых будущее оставалось в этих же барачках, все женские судьбы, созданные отсутствием мужчины,— и естественно, что в женских барачках очень напряжена была судьба пола.

— Думал он все время и думал: не дело коммунисту драться из-за бабы и страдать от этого. Раз любишь,— живи любовно и откровенно, а не блуди потихоньку, как воры.— Женщина говорила речитативом, негромко, как рассказываются сказки, рассказывала всем уже известное, начинавшее превращаться в предание.— Смотрел он все время, смотрел,— может, опомнутся,— и пришел конец его терпению. Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи и сказал тихо да ласково...

— Тоже — ясны очи!.. сволочи они все, кобели! Не отвязешься от них, кобелей,— сама, как дура, и знаешь, и лезешь, а потом не удумаешь, куда глаза да брюхо от людей убраться! Все они кобели одинаковые.

— Теперь он ее убьет,— повторил во мраке бодрый голос.

— Это что же такое?— крикнул злобный голос.— Нам проходу нет, волосы с мясом рвут, ишь, сколько их сюда на луга навалило.

— Теперь она ему поперек стала.

— Брось, девки, пусто говорить!— возник звонкий и бодрый голос.— А женотдел на что? Мы что, не люди, что ли? Революция для всех была!..

— Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи...

— Ясны очи! Это что же кругом делается? Своих баб мужики в деревнях оставили, сами прут, а мы отвечай! Мне вчера все кости вывернули, черти.

В бараке в темноте пахло резиной, потом, плохим душистым мылом и коровьим маслом. Заплакал грудной ребенок, ему ответил второй. Зажгли угловую несильную лампочку, электрический свет осветил портрет Ленина, венок из бумажных цветов вокруг Ленина и голову женщины, склонившуюся над ребенком.

И в тот же час шли разговоры в подземелье у охломоннов, у печи кирпичного завода. У столовой доски сидел акатьевский дед Назар Сысоев, тот самый, который в девятьсот восемнадцатом году прикопил себе турчаниновской мебели красного дерева,— приходил дед Назар повидать сыновей, младших, работавших на строительстве, да старшего, ставшего охломоном. Подземельная печь погромыхивала заслонками.

Седой дед говорил сыну:

— Так и живете в пещере?

— Так и живем,— ответил сын.

— Ты слухай, сынок! Действительно, что ли, река задом наперед потечет?

— Потечет обязательно.

— Ты послухай!.. Деда жили, прадеды жили, и водили мы плоты с Оки на Волгу, тыщу лет водили, а может, и больше, сызмальства приучались, каждый пригорок, каждый перекат знаем, что под Коломной, что под Касимовым, испокон веку рекою жили. И теперь, выходит, кончится наша жизнь, не будет теперь Оки ни под Рязанью, ни под Муромом, ни под Елатьмой. Ты подумай!.. Мы-то как же будем, когда сказывают, не то что Оки не будет, а даже самое Акатьево под воду уберется. Ведь это конец

свету!— прямо как в Китеже-граде,— тонуть нам, что ли, вместе с Акатьевым?

— Тонуть, папаша, не придется. Река возникает объективно. Вот почему революция и происходит, что река пойдет наново, а Акатьево действительно отойдет — продвинется от новой реки на новые места. Было тыщу лет — и нету,— надо наново. Это и есть объективная революция, папаша. Тонуть революционному народу, папаша, не приходится.

Вскоре за дедом Назаром в подземелье влез его младший сын Степан, ничего не разглядел сразу в подземельном мраке. Василий, старший брат, в подземельи именующийся Пожаровым, сказал иронически:

— Газетчик пришел, сочинитель и изобретатель. Я не спорю, реку гнать назад необходимо,— спору нет. А вот во власть лезешь... Я вот тебя звал рыбу ловить, на это тебя не уловишь, с собаками не сыщешь. А мы бы к Акатьеву шоше провели и мост бы на рыбии деньги построили под Гололобовом.

Степан сказал миролюбиво:

— Ты, папаша, здесь обрелся? Пойдем в культурную чайную отсюда. А с тобой и не спорюсь, Вася, за нас дела скажут. В Бронницах завод строят? В Песках и Воскресенске химические заводы строят? На коломенском машиностроительном новые дизельные цеха в половину Коломны построили? Я с тобою, Вася, не спорюсь. Я не спорюсь, Вася,— ты за коммунизм стоишь,— только все вы с винтов соскочили, не осилили, сумасшедшие вы. Вы жизни боитесь. А мы ее строим — на труд, а не на рыбы. Мы без страху живем. Ты, Вася, бросай свое сумасшествие.

— Ты зачем пришел-то? в газету опять про нас сочинишь, в «Новую Реку» каплешь?— сказал иронически старший.

— Новая река старую жизнь зальет, а люди останутся, и жить им придется по-новому. Вылезай ты отсюда, ведь как кроты живете. А пришел я за папашей, пойдем с нами в культурную чайную.

— Там водки не подают.

— То-то.

— Степ, а Степ,— заговорил старик,— а Акатьево наше тоже зальют? Ведь с испокон века...

— Опять двадцать пять. Зальют непременно.

В то время, когда говорили старик и сыновья, в подзелье вполз Иван Карпович Ожогов. Товарищ Огнев разлил водки, спавшие пододвинулись из потемок к столу, расселись на корточках и разлеглись вокруг.

— Не об этом вы говорите, товарищи,— сказал Ожогов.— На строительстве сегодня в двенадцать часов дня Федор Иванович Садыков сказал Эдгару Ивановичу Ласло о новой морали, и все мы должны знать об этом и иметь свое мнение... Мы все, конечно, под колесо истории угодили, кости как бы нам не сломало, как Марье Федоровне.

Кирпичные заводы всегда похожи на места заброшенности и разрушения.

Здесь у печки было очень душно, нище и грязно,— наверху на земле цвел май,— не понималось, почему люди не выползут из-под земли на свежий воздух, на траву, под небесный простор,— должно быть, май и звездное небо оказались тем же, что солдатские письма из деревни в казармах. Сумерки же того майского дня прошли просторны и чудесны.

В сумерки охломон Иван приходил к себе в баню и долго тогда стоял на дворе, опершись локтями на калитку в садик, расставив ноги, опустив голову на руки,— сумасшедшие глаза его пребывали печальны и счастливы одновременно. В комнатах Ласло не зажигали света, там безмолвствовало,— вернулась в дом Любовь Пименовна.

Перчатки вызовов средневекового рыцарства превращаются иной раз в волчьи облавы, и моральные события коломенских весей так же законны, так же значимы, как вредительские взрывы на заводах, на шахтах, на реках. Просторные сумерки погасали очень тихо, и сумерки стали ночью. Волк на волчьих облавах, щетиня шерсть и скаля зубы, должен или прорваться через флажки, чтобы сохранить жизнь, или пасть под пулей, чтобы потерять жизнь: не дай бог, если волка поймают живьем,— тогда его посадят в клетку, чтобы крошились о решетку клетки его клыки и чтобы лысела шкура.

Когда ночь заслонила сумерки, в дом пришел Эдгар Иванович. Черная его широкополая шляпа опустила на глаза.

В квартире Ласло никто не спал, но в комнатах не горел огонь.

Все двери в доме были открыты. В доме никто не спал, но в доме было безмолвно,— так показалось Ласло,— не случайно безмолвно. Эдгар Иванович прошел в кабинет. Стены кабинета заросли книгами. Эдгар Иванович зажег свечу, свет свечи уполз под потолок, в книги. И прежде чем вошла из-за книг в кабинет Ольга Александровна, Эдгар Иванович видел ее, жену, мать, друга, женщину, которая отдала ему все свое последнее; которая возникла в его жизни вместе с молодостью, которая прошла вместе с ним его пути и перепутья революции, через российские моря по колению и ва-банк,— эта женщина, прошедшая с ним последнюю свою жизненную дорогу — от первых морщинок у глаз до пятилетних ласк Лисы,— он увидел всю эту дорогу, которая осталась за дверями, когда в комнату вошла Ольга Александровна. Она приходила в этот час к нему со свечою в руке, в ночном халатике,— сейчас она вошла в черном дорожном платье, с белым несмятым платком у губ.

— Я слушаю тебя, Эдгар,— сказала Ольга Александровна, став у порога и не закрыв за собою дверь, где за плечами матери во мраке соседней комнаты осталась Любовь Пименовна, от матери узнавшая ту новость, о которой ни слова не сказал ей Садыков.

Там, в запространствах, в юности, когда только что сошел снег детства, росли голубые цветочки, которые учебниками ботаники называются *Galanthus*,— их собирал в детстве Эдгар Иванович. Эти же цветы росли в поле, сейчас же за окопом. Рискую жизнью тогда, Эдгар Иванович лазил за окоп, чтобы послать такой цветочек Ольге Александровне. Эти же самые цветы стояли у него на столе, подаренные ему вчера Лисой, нарванные в саду, первые цветы лета,— Лиса подарила их отцу в тот час, когда отец рассказывал сказку о медведе, рубившем свой собственный сук, и когда Лиса сказала, что мамины сказки лучше, потому что мамины сказки с картинками, а у отца ничего не видно. Цветы, называемые в учебниках ботаники *Galanthus'ami*, стояли в глиняной баночке около свечи.

— Как видно, ты все уже знаешь, Ольга?— спросил Эдгар Иванович.

— Я знаю это от Ожогова,— ответила Ольга Александровна,— но я хочу знать от тебя.

Ольга Александровна сморщила в боли губы — совсем

не так, как некогда на фронте русской революции, когда своими пальцами она вытащила из мяса своей раны осколки гранаты.

Ее руки потянулись к губам, несмятый платок смял ее губы.

— Мама!— крикнула Любовь Пименовна и стала у порога.

Там, в запространствах, Лиса нашлась, как защитить мать. «Хорошо,— сказала Лиса,— но мамины сказки с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук!»— эти Galanthus'ы цвели и будут цвести, пока есть земля, еще тысячелетья, как тысячелетья будут жить люди, ибо жива Алиса,— но он, Эдгар, она, Ольга,— они уйдут с земли или к червям кладбища, или в последние судороги крематория, старясь по пути ко крематорию, когда у него окончательно поседеют волосы, выпадут зубы, одрябнут кожа и мысли,— а в это время будут цвести и цвести Galanthus'ы.

— Слушай, Алиса,— сказал Эдгар Иванович и замолчал.

— Да, мы слушаем,— сказала Любовь Пименовна.— Вы говорите не с Лисой, а с Ольгой Александровной.

— Слушай, Ольга,— поправился, повторил Эдгар Иванович и заговорил, возвращаясь из-за пространств: — Ты все уже знаешь. Я должен сказать, что все кончено. Федор поступил жестоко и честно, как требует коммунистическая мораль. Суди, как хочешь. Я не могу не принять его вызова. Я не могу бросить женщину, которая честно отдана мне и которую я не совсем честно в свое время взял. Поверь, что тяжелее всего — мне. Суди, как хочешь.

— Хорошо,— тихо сказала Ольга Александровна и села на стул к столу.— Завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя.

— Идем, мама,— громко сказала Любовь Пименовна и стала сзади матери.

Под глазами Ольги Александровны легла частая сетка морщин, и была она светла в своем горе, женщина, карие глаза которой яснили голубым русским небом. Годы идут свинцовой поступью. Челюсти и плечи у людей могут гнить. Ольга, жена, мать, друг, женщина, возникшая вместе с молодостью, отдавшая все их общим делам,— майские ночи могут превращаться в сентябрь, в сентябрьских нищих, оборванцев. Эдгар Иванович знал, что Ольга Александровна не может быть любовницей. Мария мири-

лась быть второю женщиной,— таких жен не бывает, если они жены. Ольга Александровна собрала все свои силы, чтобы подняться со стула.

— Хорошо,— повторила Ольга Александровна,— завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя, чтобы спасти твою честь, если эта честь требует бросить дочь и старую жену.

Ольга Александровна положила руку на подсвечник, чтобы взять свечу, как делала всегда, уходя от мужа. Свеча гофманствовала, как некогда, когда Эдгар Иванович не запомнил, на рассвете или с вечера лежала за приземистым оконцем мезонина дряблая, желтая, сукровичная заря. Эта заря вспомнилась сейчас через свечу. Свеча осталась в руке Ольги Александровны, и неизвестно, сколько времени прошло сейчас в безмолвии, ибо Эдгар Иванович видел, как коснулась Ольга Александровна подсвечника, и видел руку, всю закапанную стеарином. Ольга Александровна нашла силы, собрала силы, чтобы поднять голову и свечу.

— Да, я должен, Ольга. Я коммунист прежде всего. Я должен уничтожить свои чувства.

— Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович!— крикнула Любовь Пименовна.— Вы должны подделать ваши чувства.

— Прощай, Ольга,— сказал Эдгар Иванович.

— Мы прожили четырнадцать лет вместе, Эдгар,— что такое долг?

— Я не могу иначе, Ольга. Да, долг.

— Хорошо. Ты бросаешь меня и дочь. Прости Алису. Тебе не жалко? Ты справишься с собою? Долг революции?

— Мама!— крикнула Любовь Пименовна.— Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович, так же, как и вы!— Любовь Пименовна обыкновенно говорила на ты с Эдгаром Ивановичем.— Мама, ступай отсюда, я поговорю с Эдгаром Ивановичем. Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович. Все это началось не сегодня, мама. Я не понимаю, о каком долге вы говорите, когда Мария была украдена несколько лет тому назад. Ваша честь, Эдгар Иванович,— честь труса и вора, который канонизирует воровство.

И тогда крикнула мать:

— Люба, как смеешь ты так говорить с отцом?

— Он не отец мне и не товарищ!— ответила Любовь Пименовна.— Но мы были под одной крышей.

— Люба, ты не должна так говорить,— уйди отсюда, Люба. Всего хорошего тебе, Эдгар. Прости меня.

Эдгар Иванович стоял, опустив плечи.

— Нет, зачем же, пусть Люба останется. Она говорит правду, которую я знаю лучше ее. Но я и революцию знаю больше ее.

Ольга Александровна нашла силы поднять свечу. Она вышла из кабинета со свечою в руке, которую зажег Эдгар Иванович, оставив кабинет во мраке. Дочь обнимала плечи матери, мать шла прямо, впереди себя неся свет. Мать села на табурет в комнате Любови Пименовны, посреди комнаты, и дочь опустилась на колени перед матерью, на колени матери положив руки и голову. За открытым окном в саду пел соловей — последние свои песни, и за деревьями поднималась луна, испоконный лжесвидетель чувств. Мать сидела очень прямо, с рукою у губ, со свечою в правой руке. Дом зарос тишиной.

Эдгар Иванович долго стоял у окна, у стола, кабинет чернел тишиною и мраком. Эдгар Иванович чувствовал, как скулы его крепко срослись с глазами, и глаза были к тому, чтобы действовать, — он знал, что он принадлежит к той породе людей, которые умели делать, как астрономы умели караулить звезды, и умели — умирать за делаемое.

Эдгар Иванович крикнул в темноту комнат:

— Любовь Пименовна, вы не правы, потому что я должен подчинить свою биологию, да, свои инстинкты! Слышите, Любовь Пименовна, я не оправдываю моего вчерашнего дня, но сегодня я прав! Именно — прежде всего я коммунист!

Эдгару Ивановичу никто не ответил. Дом заглохнул тишиной. Женщины слышали в немотствующей этой тишине, как на ощупь во мраке переодевался Эдгар Иванович, рылся в ящиках стола, присаживался на диван, — и слышали, как прошумели его шаги через столовую и через террасу в сад.

Хлипнула, пискнула, хлопнула калитка. В саду захлебывался соловей своим собственным пением. Тогда, в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, в тот день, когда мать собралась уходить в счастье к Ласло, так же клала Любовь Пименовна, маленькая девочка Люба, голову свою на колени матери. Тогда было счастье. Сейчас пел соловей, которого не требовалось в петербургских прямолинейностях, но прямолинейности Петербурга никак не стали сегодняшней геометрией Эдгара Ивановича.

Мария Федоровна лежала беспомощным котенком в углу павловского музейного дивана, когда пришел Эдгар Иванович. Деревянный Христос скрещивал руки, мастер семнадцатого века спутал елейность лица Христова с идиотизмом. Волк поднял уши и опустил в недружелюбии глаза, когда вошел Эдгар Иванович. Мария протянула руки навстречу Эдгару. Эдгар Иванович пребывал бодр, деловит и покоен.

— Ну, вот эта ночь и есть наша свадьба,— сказал Эдгар Иванович,— даже Христос присутствует. Надо разбудить музееведа, пусть приготовит чаю. Очень странная свадьба, большевистская любовь!— Эдгар Иванович весело улыбнулся.

— Ты хотел прийти в пять,— я ждала тебя весь вечер и всю ночь. Музеевед спит, только один Волк около меня. Здесь страшно, в этом странном и чужом доме. У этого Христа и у этой бабы глаза сделаны так, что они все время следят за тобою, куда бы ты ни отвернулся.

— Прости, милая, что я не пришел в пять. Я был занят на работе. Завтра ты переедешь ко мне жить, мы получим квартиру на Земельно-скальном поселке. Завтра мы будем веселиться, завтра приезжает в коломенский театр Московская труппа, Малый театр; я купил билеты. Надо разбудить Грибоедова,— как его настоящее имя?

— Не надо его будить, не уходи от меня, мне страшно одной с людьми. Нам надо так много сказать друг другу.

— Нет, почему же? он даст чаю,— как его зовут? через час мне надо идти на работу, скоро рассвет. А поговорить — у нас очень много времени теперь для всяких разговоров.

Вторая жизнь стала первой. Христос случайного дома безмолвствовал, Христос сидел у ног каменной бабы,— у ног Марии лежал Волк. Земля становилась серой в расветном часе, и город готовился завывать колоколами, стаскиваемыми с колоколен. Эдгар Иванович пребывал очень бодр. Музеевед предложил водки.

Реки, которые движутся тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную свою силу. Инженеры знают десятки гибелей, когда стихии воды уничтожают города и тысячи людей, ломая все на своих дорогах. Инженеры-гидравлики записывают эти гибели, их даты, и каждый инженер-гидравлик, учась на этих гибелях, расскажет, как

рвутся плотины, сделанные из гранита и бетона, те, которые сдерживали десятки миллионов кубов воды, рвутся в клочья и, разорванные, уничтожаются в какой-нибудь десяток минут. Плотины могут быть сломаны и в четыре часа дня, и в полночь, и в полдень, освобождая водные разрушительные стихии. Вал волны тогда поднимается до пятнадцати метров вверх, и этот вал мчится со скоростью ста километров в час, свинцовый вал воды в три этажа хорошего дома, расплескиваясь на десятки километров в стороны, мчит быстрее курьерского поезда, уничтожая все на своем пути — деревни, города, людей, человеческий труд, срывая, разрывая, ломая, унося себе вслед. Вслед за этим валом, который идет тупым рокотом свинцовых сил, созданных тяжестью, идут пожары опрокинутых цистерн, коротких замыканий, загоревшихся лесных складов, — люди тогда безумеют в гибели. Но если так сильна вода, — так же и еще больше должны быть сильны монолиты плотин, чтобы сдерживать водные силы. Эти ж монолиты строятся инженерами, — инженеры должны уметь подчинять плотинам силы вод, инженеры должны уметь, рассчитав математические формулы, эти формулы сил, рожденных тяжестью, превратить в гранит, бетон и железо, инженеры должны защищать граниты от воли волн строгим расчетом гранита и должны помнить, что только законы физики, соподчинением этих законов суть их, инженеров, работа.

Эдгар Иванович Ласло командовал людьми около этих гранитов. Каждый инженер-гидравлик чуть-чуть боится воды, ибо он знает ее силу, и каждый гидравлик видел страшные сны, когда во сне он стоял перед плотиной в спутанном времени, руки инженера распростирались бессильно перед ломающимся, гнущимся гранитом, из-за которого рвалась вода.

Каждый день Эдгар Иванович был на работе, человек революции, рожденный ею. Кроме вод Москвы и Оки на монолит стекали еще воды истории, ибо монолит подпирает не только воды, но и будущее. Эдгар Иванович знал, что плотина не может быть смыта, ибо тогда срывался смысл его жизни. Время свое Эдгар Иванович нес, как монолит, где нельзя не рассчитать ни капли воды. Дни на строительстве заканчивались ночным мраком. Так прошли полтора месяца до смерти Марии. Свадьба, как долг, была сыграна под монолитом, Эдгар Иванович взял в новый дом

на строительство из дома Ольги Александровны чемоданы и книги. Он сам их увез, сложив на ломовиков.

Отбывал закатный час, когда возчики выезжали со двора старух Скудриных. Двор зарастал зеленой муравой. Эдгар Иванович вышел на улицу сзади воев, последний раз распроставшись с домом и с зеленой муравой двора. У калитки на улице стоял Федор Иванович. Федор Иванович поклонился Ласло и протянул руку.

— Уезжаешь?— спросил Федор Иванович.— На Скальный?

— Да, уезжаю, на Земельно-скальный,— ответил Ласло.

Инженеры помолчали.

— А я хочу зайти к Ольге Александровне,— сказал Садыков.— Очень одиноко мне одному, да и ей не лучше. Любовь Пименовна дома?

— Они обе дома. Я их не видел, они в саду. Зачем ты бьешь человечностью?

Закат медленно желтел. Возчики проехали уже много шагов вперед. Ворота остались открытыми. Садыков ничего не ответил. Лица инженеров в желтом закате желтели. Сказал Садыков:

— Ну, что же, до свиданья, Эдгар. Догоняй воез. Я притворю ворота.

— Это опять — человечность?

— Не знаю, что ты хочешь сказать.

— Прощай.

Эдгар Иванович пошел за воезми, не оглядываясь. Ворота проскрипели у него за спиной. Федор Иванович скрылся за воротами, пошел в сад, шел тяжелый, опустив тяжелые плечи. Навстречу Федору Ивановичу вышла из-за садовой калитки Любовь Пименовна в весеннем белом платье. Сад уже темнел майскими просторными и зелеными сумерками.

— Идемте в сад,— сказала Любовь Пименовна,— пусть мама побудет одна.

— А, быть может, мы опять пойдем к башне?— спросил Садыков.

Лицо Любови Пименовны было покойно, чистое лицо девушки. Она не ответила. Она прошла в сад, села на скамейку. Федор Иванович сел рядом, снял фуражку. В деревьях, засыпая на ночь, прокричала пустельга, запела малиновка.

— Почему вы ничего не сказали мне тогда у башни? Вы любили Марию?

— Да, любил. И не успел ни разу сказать ей об этом,— ответил Федор Иванович.

— Мама любила, очень любила Эдгара Ивановича.— Любовь Пименовна помолчала.— Я думаю, что я не плохая коммунистка, и тем не менее, когда я была в комсомоле, надо мною всегда шутили товарищи. Любовь для меня — и подвиг, и святость, и строгость. В моей жизни будет только один муж.

Федор Иванович взял руку Любви Пименовны, посмотрел на нее со вниманием — хотел, должно быть, поцеловать руку — и опустил ее.

— Вы знаете, что такое фашинные кладки?— спросил он.— Берут прутья молодого ивняка, тесно их сплетают наподобие женских кос или венков и прикрепляют к речному дну. Расчет в том, что эти прутья разбухнут и прорастут, закрепив этим нужные участки. Я все время, вот уже второй день, занимаюсь глупостью,— хочу представить себя на месте одного из этих прутьев... Вы не хотите пойти со мною к башне?

— К башне?— Любовь Пименовна задумалась и сказала тихо:— Нет, не стоит, я не могу.

На террасу вышла Ольга Александровна, с платком в руке, спустилась к Любви Пименовне и к Федору Ивановичу, поздоровалась с Федором Ивановичем, сказала тверже и покойнее, чем следует:

— Идите на террасу пить чай. Я поставила самовар.

Ольга Александровна улыбнулась Садыкову очень беспомощно. Этот вечер стал ее прощанием с молодостью, с бабьим летом, за которым, как полагается, сразу наступает зима. Ольга Александровна одета была в черное платье. Самовар на террасу принесла Любовь Пименовна.

В саду запел, запоздав своими песнями, соловей.

Реки, которые движутся своими тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную свою силу.

В доме Ласло на строительстве, на рабочем поселке, за окнами вдалеке храпели экскаваторы, и около барачков по вечерам пели песни рабочие, а в комнатах безмолвствовали сосновые стены, в запахах скипидара, в пустоте которого сваленными лежали чемоданы. У Марии Федоровны здесь не было рояля. Книги Эдгара Ивановича расставились по

полкам в кабинете в том же порядке, как стояли они в доме Скудриных, и под книгами поместился диван, так же, как у Скудриных. Дни Эдгара Ивановича заканчивались поздними часами ночи. Алиса не возникала из-за книг. На пороге встречала Мария, эта женщина, покорность которой не стала ее силой. В доме пахло сосною, и комнаты, сложенные в чемоданы, хранили пустоту. В этот дом никто не приходил. Мария Федоровна клала руки на плечи Эдгара Ивановича, — он целовал ее в лоб и шел мыться. Комсомолка-прислужница тащила самовар на пустой сосновый стол в столовой.

И тогда начиналось страшное. В такие часы муж Эдгар и жена Ольга говорили о том, что стократ величавее Гете, — в те часы муж Эдгар имел свое сердце у себя на ладони, рядом с сердцем жены Ольги. Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, — и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческою душою, — жена, ее голова, волосы, голос, слова, — ладонь женщины может закрыть весь мир не только на основании законов физики для зрения, но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира. И сильнее всего этими часами знал Эдгар Иванович, что Мария ему не нужна — не нужна. Эдгар Иванович хотел и не мог согнать с себя мысли строительства. Мария была рядом и отдавала все. Эдгар Иванович искал в себе те слова нежности, которых было так много у него раньше для Марии, — и они не находились. Мария всю себя отдавала Эдгару Ивановичу, и Эдгар Иванович не видел ее, она не приходила к нему вся на ладони, как прежде. Он хотел говорить нежные, только для нее возникающие слова, и он говорил:

— Ты мне мешаешь смотреть, милая, и у тебя грязные пальцы. Твои пальцы в чернилах. Что ты писала?

— Я писала... так, ничего, — дневник. Хочешь, я тебе его покажу?

— Нет, зачем же? Я не хочу посягать на твои секреты. Мария молчала, убирая руки, и говорила тихо:

— Нет, Эдгар, ты не хочешь прочитать, потому что тебе все равно.

— Нет, почему же?

Эдгар Иванович напрягал свою волю, целовал глаза Марии, поцелуи ничего не рождали. Прислужница-комсомолка уносила нетронутый самовар. Эдгар Иванович видел ее румянец, этой девки, не менее красный, чем платок на голове, — белая ее блузка была замазана на груди, подчер-

кивая груди,— босоногая, она пребывала в добродушии. Эдгар Иванович спрашивал ее, усмехаясь:

— Ну, как делишки, Даша?

Даша отвечала всегда с некою строгостью:

— Делишки ничего себе.

Полночь приходила неподвижной. В этом доме не было свечей, смененных электричеством. Эдгар Иванович уходил в кабинет. Мария шла за ним. Эдгар Иванович выключал электричество. Корки книг уходили к потолку, зарастали стены, кидали камерами-обскурами человеческую мысль как угодно и куда угодно. Мария садилась рядом на диван.

— Мария, ты читала Гете?

— Очень мало.

— А Шиллера, Гейне?

— Очень мало.

— Я тебя совсем не чувствую, Мария, и совсем не вижу. Почему ты потушила свет?

— В темноте ты ближе, Эдгар. Но свет ты потушил сам, ты не помнишь. Ты меня не хочешь видеть.

Человек был здесь, человек отдавал все — и у человека нечего было взять. Начиналось самое страшное: человек, который был в руках, который отдан в руки, был не только не нужен, но был — тяжестью. Жена Ольга, ее стареющая голова, ее седеющие волосы, ее теплота, ее ласка могли заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце, когда космичесствуют покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. Колено женщины может быть величественней Монблана. И тогда Мария говорила, отдавая все, что она могла отдать:

— Ты меня не любишь, Эдгар?

— Нет, я тебя очень люблю, милая. Я для тебя сломал жизнь.

— Ты меня не любишь, Эдгар. Я все знаю, Эдгар. Ты мне не веришь. Я тебе чужая. Я нужна была тебе любовницей, но я не гожусь тебе в жены. Я не читала ни Маркса, ни Гете. Я не советчица тебе. Я тебе не нужна. И я тебе хочу верить, и не могу верить, и не верю, так же, как и ты мне,— я была твоею любовницей, стало быть, у тебя могут быть еще любовницы, а у меня любовники,— мы оба тому свидетели. Ты один у меня, я люблю тебя, но ты и этому не веришь. Я для тебя — твой крест и подвиг — ни для меня, ни для тебя, а для других. Ты молчишь, Эдгар.

— Ты говоришь наивные вещи, Мария. Пора сгать, милая. Все это пустяки.

С полок щерились золотыми клыками книги, в деснах шкафов. Проходили минуты молчания. И тогда Эдгар Иванович начинал говорить, энергически, шаманствуя,— глаза его начинали блестеть так же, должно быть, как у его степных предков, когда предок клялся преданности христианскому богу перед тем, как католики вели его на костер,— Эдгар Иванович хватал плечи Марии, мял ее в нежности так, что у Марии появлялись слезы боли, и он кричал в чемоданную тишину комнат:

— Я люблю, я люблю тебя, Мария, я очень люблю тебя! Прижмись ко мне, положи голову ко мне на колени. Я буду целовать тебя! я буду читать тебе вслух нашу историю любви,— и я буду читать тебе вслух, чтобы ты знала, кто такой Гете! Мы самые близкие, мы кандалами связаны друг с другом, навсегда, никто не может разъединить нас. Мы должны любить друг друга,— слышишь? должны! — Мы любим друг друга! Мы скованы друг с другом!

И Мария ежилась в страхе. Эдгар Иванович тянул ее к себе, прижимая к себе всей своей силой. Полки немотствовали книгами, теми, великое множество которых прочитал Эдгар Иванович, человек памяти, ума и эрудиции, организованнейшей воли и воспитания. Эдгар Иванович говорил о революции, революция должна победить,— Эдгар Иванович умел так сжимать свою волю, что глаза его начинали смотреть в пространства тем взором, который не видит пространств.

Эдгар Иванович один засыпал на своем диване.

По утрам он просыпался в час, когда Мария еще спала. Солнце в те уже июньские дни поднималось бодростью. Рассветный чай подавала девка Дашка, ходила по рассвету полуодетой в рубашке из мешка. Солнце выволакивало землю из рос и туманов. Эдгар Иванович шутил, усмехаясь.

— Ну, как делишки, Даша?

— Делишки, как надо,— строго отвечала Даша.

Эта коренастая девка приехала на строительство из черноземной вместе с землекопами и была ярким примером перерождения сезонника в пролетария, иллюстрация для теоретической работы Эдгара Ивановича. По природе своей пребывала Дашка российским черноземом. Эдгар

Иванович задерживался в кабинете над бумагами. На кухне в эти росные рассветы над кастрюлями Дарья пела бестолковые частушки вроде этакой:

Пойду выйду из ворот,
Черемухой пахнет.
Скоро миленький придет,
Из нагана трахнет.

В закаты, в час, когда садилось солнце, вместе с девками и с бабами со своего поселка Дарья ходила на Оку купаться, чтобы свирепо визжать в воде, а после купанья идти в свою ячейку, в клуб, в кино, заседать и учиться, или на женские бараки, где по сумеркам пелись песни. Эдгар Иванович ловил себя на том, что его глаза открыты для этой босоногой курносой веселой девки, очень спутавшейся с черноземом, с комсомольской ячейкой, комсомольскими делами и ночными июньскими песнями. Эдгар Иванович ревниво прислушивался к хрусту замка, когда возвращалась Дарья. Эдгар Иванович спрашивал Дарью о комсомольских ее делах,— она отвечала гордо.

Смерть!

Актриса Вера Григорьевна умерла потому, что наука не научилась еще бороться с болезнями, умерла силою законов биологии и еще умерла потому, что ее убил — Евгений Евгеньевич Полтораки. Был человек, была девочка Вера, была гимназистка, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была артистка провинциальных театров Вера Полевая,— были экзамены по ритмике. Когда ж человек умирает, его везут на кладбище.

И была девочка Маня, была гимназистка Мария Позднышева. Она играла музыкантов-классиков, ее отец и ее мать погибли в их доме, где она родилась, первый ее муж, взявший ее в чужую жизнь, ни разу за работой и за делами не успел сказать ей ласковое слово, все кругом возникало чуждым для нее, и величайшая женская сила — быть бессильной — никому не оказалась нужной. Мария — маленькая женщина — имела маленькую жизнь, детства и гимназии на заводе, маминых ласк. Та жизнь, в которую уходил Эдгар Иванович, где убили ее отца и маму, где убивали единственную — к Эдгару Ивановичу,— любовь,— эта жизнь была страшна ей. Каждый человек имеет право на жизнь: Мария Федоровна, эта маленькая

женщина со слабыми руками, не знала этого своего права.

Днями дом пустовал, когда уходил Эдгар Иванович и приходило солнце. За домом творилось строительство. Мария оставалась с собакой, с понурым, лохматым псом, помесью волка и овчарки. Собаку звали Волком, он был дружен с Марией от щенячьих своих дней. Волк, знавший только Марию, рычал на всех, даже на Эдгара Ивановича. За сутки до смерти, вешая занавеску на окно, прихорашивая свою комнату, Мария Федоровна сорвалась с подоконника, упала, поранила руку. Волк не был приучен лизать,— Волк увидел кровь на руке Марии Федоровны,— и Волк усердно стал зализывать рану Марии, поднял в соболезновании хвост, был серьезен, глаза его смотрели ласково. Волк лечил Марию Федоровну своим волчьим лекарством. Мария обняла Волка, села с ним, около него на полу,— и она зарыдала страшными, отчаянными слезами. Эти слезы никак не стали слезами боли от раны. Дом пустовал, в этом служебном доме никого не было кроме Марии и Волка. Волк зализывал, залечивал рану до тех пор, пока не перестала течь кровь. В окна светило громадное солнце. Волк и Мария сидели на полу, на ковре. Мария заснула тогда в слезах около Волка, и она видела странный сон, она видела зиму: она видела во сне Федора и Эдгара. Федор Иванович стоял в стороне, в снегу, неподвижный,— Эдгар Иванович уходил по дороге — от Марии. Он был по пояс в снегу, он уходил, все проваливалось в метели. Мария побежала за Эдгаром Ивановичем, она задыхалась в снегу и ветре. Он уходил. Она догнала его, она схватила его за руку. Он уходил,— его рука осталась в ее руке. Рука оказалась комом снега, она была из снега, холодная, как снег. Мария обняла Эдгара Ивановича,— ее рука провалилась в снег, на нее глянуло снеговое лицо Эдгара Ивановича. Она схватила его голову,— голова осталась в ее руках, голова оказалась мертвым холодным комом снега. Снежный Эдгар уходил от Марии. Мария бросилась к Федору,— Федор стоял неподвижно. Федор также был снеговым, вместо глаз ему воткнули уголь. Мария Федоровна проснулась. В окна шло косое солнце. На кухне пела Даша.

Я в своей-то красоте
Очень уверена.
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина!.. — э!..

Мария Федоровна поднялась с пола, глаза ее стали сухи. Кровь на ее руке засохла. Движения Марии Федоровны были сухи, как глаза, подсохшие, как кровь.

Вечером пришел Эдгар Иванович, все придавив собою, этот человек из жизни, которой Мария Федоровна не знала. Глаза Эдгара Ивановича — для нее — остались в пространствах. Она видела самое страшное, что может знать любящий, — что она не нужна Эдгару Ивановичу, не нужна всячески, ибо этот человек — она видела — делал громадные усилия, чтобы быть ласковым, чтобы быть страстным, — и вместо подлинной крови, которую зализывал Волк, Эдгар Иванович неистовствовал снегом. Ей страшно было быть около него, его кровь холодила, — и она боялась уйти от него, потому что у нее кроме него ничего не было. В полночь Эдгар Иванович отослал ее от себя, он судорожно сел за отчеты и книги. В темной пещере ее комнаты встретил Волк, понурый пес приласкался грудью к ее коленам. На окне, за которым светились звезды, висела недовешенная занавеска. Эдгар Иванович не заметил раны на ее руке. Пес лег около ее башмаков, караулил тишину незакрытым правым глазом. Мария Федоровна стояла посреди комнаты. Из-за спины, из-за книг приходила тяжелая, сжатая воля Эдгара Ивановича, которая не видит пространств. Мария Федоровна подошла к окну. Волк пошел ей вслед. Мария Федоровна дернула занавеску, — гвоздь был вбит крепко, занавеска порвалась, скрипнула рвущейся материей. Шорохи ползли по комнатам в тишине дома. Эдгар Иванович бросил книгу.

— Что такое там рвется? — спросил он.

Волк зарычал.

— Ничего, — ответила Мария и, помолчав, добавила тихо и ласково: — Это моя судьба. Убей меня, Эдгар, убей меня, милый. Мне казалось, что я имею право на жизнь, — но ты уже убил меня. Прикажи, и я все сделаю, что ты хочешь.

Эдгар Иванович не вышел к ней из кабинета.

— Не говори глупостей, Мария, — сказал он строго и добавил ласково: — Ложись спать, милая, будь покойна, я еще поработаю.

Волк зарычал в ответ Эдгару Ивановичу. Мария Федоровна ничего не сказала. За окнами скрипели экскаваторы, и работницы пели песни. Мария Федоровна, пришедшая некогда к Садыкову из-за смерти, в местах, где люди иг-

рали ва-банк жизнями,— она уходила теперь в смерть Эдгара Ласло.

Была девочка Мария, мама заплетала ей косички,— была гимназистка Маруся Позднышева, учительница музыки пророчила ей будущее. Был полдень, гудок отгудел обеденным перерывом, и были сирены, указывающие, что на луга пошли подрывники. В голубом солнце стихали на некоторое время шумы строительства, пока уходили рабочие,— и загремели затем взрывы. Эдгар Иванович с утра работал в конторе, те часы, когда солнце убирало росу, пересматривал списки рабочих вместе с председателем рабочкома левого берега. За пять минут до смены протелефонировал Садыков, звал к себе сейчас же и Ласло, и председателя рабочкома. Гудел гудок, были сирены, выворачивая свои нутра в пророчестве взрывов, которые будут выворачивать недра. В кабинете Садыкова верхние половины окон занавешивались белой бумагой от солнца, через открытые окна тихий ветер шелестел кальками и нес прохладу. С тех пор как ушла от Федора Ивановича Мария, он жил в этом рабочем своем кабинете,— в углу стояла походная его кровать, на которой Садыков коротал отдыха, очень недлинные по русскому июлю и за работой. Ласло пришел вместе с председателем рабочкома. Ворот рубахи Садыкова был расстегнут, он стоял перед чертежным столом, деловой и бодрый, как всегда. В стороне от Садыкова у окна стоял незнакомый человек в форме войск ГПУ. Садыков пошел навстречу пришедшим, взглянул за дверь и прикрыл ее плотно. Синеглазый глянул в окно.

— Товарищи,— заговорил Садыков,— наш сумасшедший охломон, Иван Ожогов, говорил нам несколько раз, что его брат Яков Карпович Скудрин имеет темные отношения к инженеру Полтораку. Мы считали это бредом. Вот этот товарищ, приехавший из Москвы, познакомьтесь,— синеглазый поклонился по-военному,— он привез мне сообщение, что Полторак действительно вредитель и имеет связь с организацией...

Садыков не договорил. В чертежную опрометью вбежала Дарья, прислужница Ласло, стала с разбегу среди комнаты, задохнувшись. Лица ее никто не заметил за ее словами. Сначала увидели ее босые ноги; пальцы ног тупели, и ноги она широко расставила, точно ожидала толчка,

красную косынку она держала в руке, откинутой назад для удара.

— Федор Иванович, ваша жена померла,— сказала она, задыхаясь, и крикнула в неистовой злобе Ласло, обращаясь к нему на ты:— Эй, ты! Домой иди! померла твоя горлянка! повесилась, недолго пожила!

Стало видно ее лицо, испуганное, решительное, деловое, злое, презирающее,— решительное и деловое в первую очередь,— Дарья дышала со свистом, маленькие ее глаза стали еще меньше, рот зиял огромно, и редкие зубы торчали за красною кровью губ сплошными клыками. Вздернутый рязански-бабий живот Дарьи неестественно дергался и дергал юбку, ноги из-под которой торчали крепко, расставленные в драке.

Никто ничего не сказал.

За много шагов до дома стало слышно, как выл Волк, отчаянно выл. У дома и в комнатах толпились чужие люди, рабочие и работницы со смены. Мария Федоровна лежала на полу на простыне в белой ночной рубашке, волосы закрывали ее лицо, Волк лизал ее шею, выл человеческим горем. Мария Федоровна повесилась на том самом гвозде, о который вчера она поранила руку. Эдгар Иванович упал на пол к Марии и Волку,— Волк не зарычал на него впервые. Над мертвой Марией бились в истерике Ласло и Волк. Волк зализывал шею и грудь Марии. И, должно быть, в первый раз за эти месяцы супружества у Эдгара Ивановича нашлись для Марии настоящие, верные, нелгущие слова, очень простые и наивные. Эдгар Иванович вместе с Волком, мешая Волку, но не отталкивая его, обнимая волчью шею, целовал Марию, ее шею, ее глаза, ее плечи. И он шептал:

— Милая, милая, хорошая моя, желанная моя, Galantus мой!..

На кладбищах и в крематориях заканчиваются полки лет человеческих существований. В крематории дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камерах крематориев, в температуре двух тысяч градусов Реомюра, в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, и голый человек начинает двигаться. Эти последние человеческие судороги могут показаться метафизическими, нарушающими смерть, и странному закону подвержены эти последние человеческие судороги: у мертвеца подгибаются ноги, руки его ползут к шее, складываются крестом на груди, голова втя-

гивается в плечи,— человек, прежде, чем перейти в ничто, принимает то положение, которое он имел во чреве матери, когда он возникал из того же ничто.

— Galanthus мой!

Была девочка Маня, мама заплетала ей косички, Федор Иванович не успел ей сказать, что он ее любил. Каменные кладки монолитов никак не обладают безусловной водонепроницаемостью, поэтому, дабы избежать вреда скважностей, необходимо требуется строить монолиты из однородного материала и замыкать их на несжимаемом и водонепроницаемом материковом грунте предпочтительно юрских эпох,— иначе монолиты будут растрескиваться от осадки и размываться на стыках и на температурных швах, обладающих различною скважностью.

Федор Иванович поцеловал руку Марии покойно и деловито, ворот рубахи его по-прежнему был расстегнут. Федор Иванович крикнул строго Волку:

— Волк! ко мне! иси! куш!

Волк глянул на прежнего своего хозяина, глаза их встретились,— глаза Федора Ивановича приказывали, глаза Волка подчинились печалью. Волк подчинился, опустил глаза, опустил хвост, лоднялся, пошел к Федору Ивановичу, лег в стороне. Федор Иванович вернулся к трупу, взял за плечо Ласло, сказал тихо:

— Встань, Эдгар, встань!

Приказал собравшимся:

— Примите умершую.

Ласло ничего не видел, глаза его пустовали. Федор Иванович стоял в стороне, около Волка. Чужие склонились над трупом Марии. Мертвую положили на стол. Федор Иванович наблюдал. Эдгар Иванович сел к столу, к ногам Марии. Заскулил, завыл Волк. Чужие безмолвно стали к двери. Федор Иванович приказал Волку:

— Волк! за мной!

Федор Иванович вместе с Волком и синеблужым вышел из комнаты. Люди посторонились им в тишине костяных — от когтей — шагов Волка. У дома на крыльце стояла Дарья, под крыльцом собралась толпа. Губы и щеки Дарьи краснели кроваво, залитые кровью ненависти. Она была страшна, Дарья, частушечная девка. Сейчас частушечность в ней исчезла, глаза ее смотрели страшно, собравшие в кулак Дарьины ярость, честь, человеческое достоинство и страх. Рот ее разверзался так же широко, как глаза и босые ее ноги, расставленные для драки. И она

выталкивала изо рта слова, полные чести и ярости. Казалось понятным, что Дарье очень страшно — страхом смерти и страхом непонятого, нарушавших ее мир. Дарья подгоняла свои слова красным платочком, зажатым в богатырской руке.

— Товарищи!— кричала она.— Это он сам убил ее! он! он ее замудровал! она от страху повесилась! за что погиб человек? для чего революция происходила?! Товарищи! братцы! бабы! так мы ему это и простим? Он вышел чистым, ножки ее теперь целует! Он честный, выходит! а она, его голубушка, виновата! Бабы!— она ему письмо оставила,—«прости меня, Едгар, я ни в чем перед тобой не виновата»,— а он меня еще нынче утром спрашивал, как делишки насчет...— Бабы,— а?! бабочки! это что же такое, это мы сколько же терпеть будем!— а женотдел на что?!— яростные от испуга и попранной чести глаза Дарьи блестели слезами.— Бабочки,— а?! ведь он чистым из воды выходит и сухеньким!..

За порогом дома пребывала смерть, омерзительнейшее для каждого живого существа. Федор Иванович сошел с порога вместе с синеглазым и с Волком,— пошли к конторе главинжа. Лицо Федора Ивановича, землистое, собиралось в кулак мышц. Волк шел рядом с Садыковым очень понуро. День заливал землю солнцем. На строительстве рвался жидкий воздух.

Вечером, спустив электрическую лампочку на самые глаза, усердно и злобно обгрызая карандаш, Дарья писала для стенгазеты: «Товарищи женщины!.. Ответственный товарищ Е. Ласло так поставил себя со своей женой,— написала Дарья и зачеркнула.— Товарищи женщины!.. Скоро тринадцать лет, как совершилась наша великая пролетарская революция, которая освободила трудящийся класс и дала всем трудящимся новую жизнь,— написала Дарья, поставила фразу в крестики, чтобы не забыть мысль, и начала с красной строки: «Товарищи и гражданки женщины. Кому много дано, с того много и спросится. Посмотрите кругом, что происходит вокруг нас. Революционный закон уравнил всех трудящихся как мужчин, так и женщин, но на практике выходит не так, и женщины должны наконец сами за себя постоять. Недавно три грабаря изнасиловали работницу бетонного завода правого берега, и революционный суд их засудил по всей строгости и предал пролетарскому презрению. Сколько женских слез льется от мужчин (эту последнюю фразу Дарья вычеркнула, пожевав каран-

даш). А что же делать с ответственными товарищами, которые не в пример темным грабарям являются не только инженерами, но и коммунистами? Надо таких людей судить или нет, хотя бы они и обошли правила закона?» Глаза Дарьи были полны презрения и действия, растерянность исчезла из них. Карандаш грызла Дарья, и в деловом возмущении красный ее платочек лежал рядом с бумагой. Дом прятался в тишину. Ласло бесшумно сидел в кабинете. В столовой стоял гроб.

В ту ночь не спали ни Садыков, ни Ласло, как не спали ни Ольга Александровна, ни Любовь Пименовна.

Оставив Волка в пустом кабинете, весь день пробыл Федор Иванович на строительстве, в воле, зажатой в кулак. Волк взаперти все эти часы выл и плакал. Федор Иванович хотел знать, что сегодняшней день для него — только рабочий день. Волк не переставал выть, когда пришел Федор Иванович. Федор Иванович принес Волку мяса, — Волк не стал есть. Федор Иванович долго возился над Волком. Зеленая ночь спустилась на землю. Скулы Федора Ивановича серели, как волчья шерсть. Волк выл, забившись в угол. Тогда Федор Иванович пошел с Волком в Коломну. Волк подчинился. Федор Иванович не видел улиц, должно быть, дважды прошел мимо калитки Скудриных. Калитка пропела приветом и скрипом. Федор Иванович беспомощно улыбнулся Любви Пименовне, он заговорил о собаке. Ольга Александровна лежала в истерике бессилия и ужаса. Любовь Пименовна вышла к Федору Ивановичу с мокрым полотенцем в руках.

— Мама хочет поехать к телу Марии Федоровны. Я ее не пускаю.

Любовь Пименовна ушла в комнаты к матери. Вечер темнел покойствием, пахло из сада табаком. Федор Иванович сел на нижнюю ступеньку террасы, собаку положил у ног. Вышла из дома Любовь Пименовна, села на верхней ступеньке, зябко подобрала плечи.

— Собака, знаете ли, — сказал Федор Иванович, — воет и не ест из моих рук, а я живу один, и никого около меня нет, и я не умею обращаться с собаками. Я к вам с просьбой, Любовь Пименовна. Мария умерла, собака — ее память, собака никому не нужна... Я привел собаку вам в подарок, — пожалуйста. И покормите ее, приласкайте. Она все время воет.

— Конечно, конечно, спасибо! Я сейчас же принесу молока.— Любовь Пименовна зябко заспешила.

— Нет, подождите, Любовь Пименовна... Эта собака была вернейшим другом Марии, единственным, должно быть. Вы — любите собаку, она верный друг. Она плакала над Марией, когда я пришел, и лизала ее шею.

Федор Иванович замолчал.

— Зачем вы мне это говорите, Федор?— спросила Любовь Пименовна.

Федор Иванович ответил не сразу.

— Потому, что только вам я и могу это сказать,— ответил он.

— Не надо, Федор Иванович.

— Хорошо, Любовь Пименовна.— Федор Иванович помолчал.— Надо идти. Конечно, надо все проще. А этот Волк — умный пес, хороший пес. Надо все проще. Надо идти.

— Повремените, Федор,— тихо сказала Любовь Пименовна.— И не надо переупрощать.

На двор вышел охломонов пес Арап, посмотрел с удивлением на Волка, поджал хвост и глаза сделал хитрыми. Большим полукругом, делая вид, что он гуляет, в безразличии, поглядывая одним лишь скошенным глазом, Арап подошел к террасе, постоял, повилял мохнатым своим хвостом и заговорил с Волком на собачьем своем языке, знакомясь и очень дружелюбно обнюхав Волка. Волк тоскливо, но дружелюбно — в знак знакомства — переложил свой хвост с места на место. Вечер стемнел по-июльски.

Вернувшись на строительство, заботливо прибрал Федор Иванович комнату для профессора Пимена Сергеевича Полетики, на ночной столик поставил свечу, под кровать подsunул ночной горшок, на подушку положил полотенце. И тогда Федор Иванович, в ранний еще час, разделся ко сну в рабочем своем кабинете, чтобы заснуть до приезда Полетики,— да так и просидел в ночном белье на кровати с ухом одеяла в руке, прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда пришло время ехать на станцию. У каждого человека своя судьба. Федор Иванович родился в семье рабочего, возрастал мальчишкой на пыльных улицах рабочего пригорода, под чахлыми тополями, в темных коридорах — сначала казарм, затем заводского училища,

где пахло мелом и машинным маслом. Заводский гудок и для него, как для Ожогова, был первым воспоминанием, но его жизнь оказалась сложнее и ответственной жизни Ожогова, потому что она началась на двадцать лет позднее. Заводские ворота захлопнули пригородное детство, но чахлые тополи повторились еще раз в судьбе, потому что под этими тополями в майскую ночь, когда надо было б любить и время пришло для любви, юноша Федор услышал о социализме, о коммунизме, о революциях. Федору выпало проводить революцию, как и себя, в жизнь. Юноша Федор уехал от отца на квартиру, где жили молодые рабочие, его единомышленники, до революции строившие разумную жизнь и коммунизм. Таких, как он, оказывалось немного, но они были,— и у них были честь труда и честь жизни. Затем наступили: ссылка, война, революция, гражданская война, втуз, инженерия, революция, коммунизм. Все это очень просто и очень сложно,— все это было вчера и эпохи тому назад,— городки под заводским забором, бои под Перекопом, сходки в лесу и в юности, изыскательные партии, чтение Плеханова и Меринга вслух на конспиративной квартире за час до тюремных подворотен и ссылки,— все это было, все это есть,— и за всем за этим не было своей жизни,— сегодня умерла жена, которой он не успел и не сумел сказать — люблю, но которую любил и за которую боролся целый год ее измены с другом. В тот день, когда он позвал Эдгара и Марию к себе, чтобы покончить с ложью, он поступил по традициям его юности, его содружества конспиративной квартиры и коммуны. Он знал, что в жизни все просто, все должно быть простым и люди должны быть честными в своей простоте, в своих делах и мыслях. Жизнь складывалась эпохами, все прошло только вчера,— но за плечами скопилось уже тридцать семь лет — истории, эпох, труда, зубрежки на рабфаке и во втузе, седины на висках, расшатанного сердца,— а своей жизни не было, своей интимной и домашней — с дней конспиративной квартиры до этого рабочего кабинета. Жизнь отдана революции, другим, делам. Под Перекопом Федор Иванович получил последнюю рану. От Марии остался Волк, ее память,— Федор Иванович отдал Волка Любви Пименовне. У Любви Пименовны также нет своей личной жизни. Федор Иванович понял, почему не следовало говорить Любви Пименовне о псе и почему он говорил об этом: он любил Любовь Пименовну, и она не хотела этого. Все ночные часы тишины и экскаваторов,

каждую минуту хотел лечь Федор Иванович в постель, да так и просидел на кровати с одеялом в руке, чтобы прикрыться одеялом,— прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда следовало ехать на станцию за Полетикой, за отцом Любви Пименовны, отчим которой сидел в этот час над трупом жены Федора Ивановича. Ночная дорога на дрезине знобила сыростью. Поезд вылез из туманов, шаря по рельсам огнями фонарей, наваждением.

Любовь Пименовна долго сидела на ступеньке террасы, когда ушел Федор Иванович, на нижней ступеньке на месте Федора Ивановича.— Из дома вышла к ней Ольга Александровна, села на верхней ступеньке. Мать и дочь сидели в молчании и тишине, пока не смокли их платья от ночной росы. Смерть Марии завершала страдания Ольги Александровны, судьба Марии стала ее судьбою. Любовь сидела внизу на ступеньке, положив около ног Волка, простая, ясная и чистая. Есть люди, которые живут, чтобы делать добро, не зная об этом,— каждый человек стремится к чистоте и к целомудрию,— есть люди, чистота которых есть их биология,— такую была Любовь Пименовна. Ее жизнь и мир ее мыслей всегда оставались ясны и чисты. Надо было беречь горе матери,— умер человек, умерла женщина, оказавшаяся ненужной любимому,— и надо было думать о смерти, о времени, о человеческих пределах. Любовь Пименовна думала о Садыкове,— она знала, почему она не захотела слушать о псе и почему пес так дорог ей: далеко на сердце спрятан был Евгений Евгеньевич Полторака, и там же хранилось слово, данное ему на всю жизнь. А смерть,— нехорошо думать о смерти, страшно думать о смерти другого, потому что тогда надо думать о своей жизни, о своем будущем,— будущее ее взял Полторака. В такие раздумья человеку одиноко и жалко самого себя, своей жизни, своего одиночества. И Любовь Пименовна думала, думая о матери, о Марии, о Садыкове,— Садыков начинал любить ее, она знала,— она гасила в себе мысли о его любви, думала о себе, о своем одиночестве, о своей молодости, которая проходит, о своих руках, которыми она, как каждый человек, хотела б обнять мир, отданный Полтораку и Полтораком не взятый. И еще Любовь Пименовна думала о том, что она должна быть бодрой, чтобы помогать. В полночь Любовь Пименовна укладывала Ольгу Александровну в постель и долго затем

сидела над Волком, гладила его меха, ласкала, просила, чтобы он поел. В ласке к Волку ей помогал Арап. Подсаживался на террасу охломон Иван, дремал молча. И всю ночь пела в саду малиновка, чтобы соединить человека и землю. Заснула Любовь Пименовна незадолго до рассвета и проснулась в ранний час, когда солнце поливало землю утром, чтобы человек дружелюбно относился к земле,— проснулась, чтобы бодрствовать, быть бодрой и помогать, никак не зная тех жестких трудностей, которые выпадут ей на этот день, труднейший в ее жизни и решающий. В ранний час, пока спала мать, ходила она с Волком на реку, за Городище, к Таборам, на раскопки и побыть одной, собрать свою бодрость,— и никак не знала она, что это утро оказалось ее девишником.

Эдгар же Иванович, не раздеваясь, до полночи просидел у себя в кабинете, потому что до полночи приходили люди поклониться смерти. К полночи дом, всюду открытый, опустел, Дарья с вечера сидела на кухне над бумагами, но к полночи ушла из дома. К полночи Эдгар Иванович прошел в комнату Марии, где на столе в красном гробу лежал труп Марии, положенный в гроб и убранный в гробу неизвестными руками. В комнате горело электричество, очень ярко и назойливо. На полу вокруг гроба набились ошметки грязи. На гвозде, на котором повесилась Мария, висели куски веревки, перерезанной Дарьей. При электричестве стало страшно. Эдгар Иванович потушил электричество. В темноте стало еще страшнее. Эдгар Иванович принес свечей, зажег свечи на столе около гроба и на туалете Марии. Эдгар Иванович сел около гроба, положил голову на гробовое ребро и просидел так до часа, когда пришли люди, чтобы забить гроб и отнести его на кладбище. Всю ночь пели экскаваторы свои песни скрипов и воев, захлебываясь землей, разрывая земные недра,— ночь же стала темна, и туманна, и безмолвна, потому что человеческих песен на поселке не пели в ту ночь. Дарья ушла на ту ночь в женский барак. Рассвет ступал бесхозяйственно, и свечи погасли, выгорев, много позже рассвета. С рассветом стали приходиться люди. Эдгар Иванович сидел у гроба, люди его не видели, как Эдгар Иванович не видел этой ночи: впервые открылись глаза Эдгара Ивановича, возникнув из-за пространств, только на кладбище.

Наутро, за четверть часа до того, как загудел неурочный гудок и женщины, бросив работать, пошли ко гробу, около монолита, перемыкавшего Оку, поговорив с прорабом о лишней «руке» рабочих, профессор Полетика заговорил — о следующем.

— Я хочу рассказать вам, Федор Иванович, о моей новой работе,— сказал Полетика раздумчиво, хмуро оглядывая небо и пожмуриваясь на солнце. Садыков и Полетика стояли на глыбах развороченной земли,— маршалы, совершенно не повторявшие картину Серова, где шагает Петр в Петербурге,— под ними работали машины и люди, организуя землю, гранит, бетон и воду.— Все, что мы сейчас строим, по существу говоря,— пустыки перед тем, что можно и надо сделать нам, гидротехникам. Припомните земной шар. Человечеству ничего не осталось от Атлантиды, она выжжена солнцем и засыпана песками, ныне там Сахара, пустыня, зной, пески. На памяти человечества исчезли цветущие страны — Ассирия, Вавилон, Месопотамия. Тигр и Евфрат были земным раем, сплошным садом,— ныне там пески, зной, пустыня. Аравия создала великую науку, философию, религию Ислама, живущую кое-где и поныне,— но сама Аравия ныне отдана пескам и зною, и там кочуют бедуины, там, где некогда и не так давно цвели сады. И дальше. В монгольских легендах остались воспоминания, что тигр может пройти Монголию из конца в конец, не замарав ног своих о пыль,— так было,— ныне там пески и зной, в этих садах Аллаха и Будды, пустыня легла от Шамо до Аральского моря. Мы помним, это на нашей исторической памяти, как из этой пустыни командовал всей Азией Тамерлан, когда Россия и Китай были одним государством. Из Монголии к нам пришли татары,— из Монголии через Скифию прошло множество народов, которые огнем и мечом перекраивали Европу. Наука не дала достойного объяснения причин великого переселения народов,— подождите несколько минут, я объясню их вам. Последним нашествием на Европу было нашествие турок. Мы, гидротехники, остановим пустыни и народы. Припомните, это совсем на нашей памяти: четыреста — пятьсот лет тому назад в низовьях Волги было могущественное государство — Золотая Орда. Арабский ученый, путешественник Ибн-Сауд описывает столицу Орды,— громадный город, где были канализация, дворцы, парки, куда стекались товары Китая, Индии, Персии, Италии, Испании, Аравии, там велись ученые споры о филосо-

фии и религии. Ныне там, где была Золотая Орда,— пески, пустыня, смерть. Я там был, там живет около арыка, оставшегося от канализации, один калмык с двумя верблюдами,— там ходят пески так же, как у нас в метелях снег. Пустыня наступает на человека. Сейчас пустыня наступает на Западную Сибирь и на Европейскую Россию, подступая от Каспийского моря, неся Арало-Каспийские пески. Вы слышали, что пустыня на пороге Донбасса, в Донбассе нет воды, там не хватает воды. Мы не замечаем, но пустыня пододвигается под самую Москву,— так называемая полоса засушливости, предвестник пустыни, проходит по кривой от Нижнего Новгорода, через Рязань и Орел, к Киеву, за Днепр. Что делали люди, когда на них наступала пустыня?— они бежали от пустыни. Расцвет арабской культуры — исламизм — был уже на конях, кони арабов маврами прорвались в Испанию, сельджуками на Балканы. Монголия умирала медленнее, и она пятью столетиями бежала от пустыни — на Китай, на Корею и — на Европу. Это называлось переселением народов. Но эти переселения мы видим и посейчас, почему я и говорю, что, быть может, и Россия побежит на Запад. Мы свидетели того, как возникают великие переселения народов. В восемьсот девяносто первом-втором годах, в голод на Поволжье, в так называемую засуху, когда от Аральского моря дула над Волгою мга, голод поднял с земли и разорил семь с половиною миллионов населения. В двадцать первом году голод разорил и поднял тридцать миллионов, которые побежали по России. Эти тридцать миллионов, ползя по России, людоедствовали и умирали на дорогах, иной раз с богатым скарбом, ибо Заволжье было богато. Я подсчитал, если мы не примем мер, если будет такой же голод в пятьдесят первом году, он поднимет с земли и погонит уже не тридцать миллионов, а семьдесят пять,— а семидесятимиллионной человеческой массы не было ни у одного Тамерлана. Эти семьдесят миллионов голодных, с их обозами,— вы знаете, что это такое,— эти не хуже Атиллы могут пройти Европу.

Пимен Сергеевич замолчал, хмуро поглядывая на небо, точно солнце на небе было его врагом. Федор Иванович также молчал. Кругом в лугах строились тысячи людей. Караван землечерпалок и землесосов, став в кильватерную линию, разворачивал землю для тачечниц. Тачечницы свозили подсохшую грязь к думпкарам. Экскаваторы заглушали луга.

— Я знаю, как остановить наступление пустыни на нас,— сказал Пимен Сергеевич.

В неурочный час загудел гудок. Тачечницы бросили тачки по команде гудка. Женщины строились в ряды. В километре около перемычек также строилась пестрая колонна женщин.

— Что это такое?— спросил Полетика.

— Не знаю,— недоуменно ответил Садыков.

Женщины пошли к городу, уходили поспешно, молча, деловито. Над лугами светило солнце, облака кудрявились в небе. Июль выцветил краски лугов и полил зноем. В тот час, когда загудел гудок, из дома Ласло вынесли гроб Марии Федоровны, понесли к городу,— и со всех сторон строительства ко гробу пошли женщины. В ту ночь плохо спали на женских бараках,— и никто не мог бы привести в формулы норм те слова, которые говорились в ночи по женским баракам, и те ощущения, которые рождались этими словами,— о том, что инженер Ласло убил — не жену, но голубушку, не человека, но человеческую честь,— и убил так, что смерть Марии стала символом женской судьбы. Ночью во мраке бараков, когда потушено было электричество,— в страхе этого сиротливого мрака, где обсуждалась мораль смерти, сиротство смерти, главными словами были слова:

— Что же это, девоньки, а?

— Что же это делается, бабоньки, а?

— Убил ее собственными ее руками, а?

Семьдесят одно бабье горе было растеряно — во имя человека. Но в эту растерянность скоро вплелись понятия тех законов, изучаемых Ласло, которые перерождали сезонников в пролетариев. Женские бараки не спали той ночи за роями слов.

— Что же — была революция или нет?

— Что же, с кого надо спрашивать,— с грабарей или с Ласлы?

— Гражданки! взгляните на наше дело!.. Он за ней ухаживает, он ей в работе поблажку делает, она от него забеременела, он ее бросил, она майся с ребенком. Революция нам дала все права и научила нас, что делать. Мы ее, голубушку, так похороним, чтобы он на всю жизнь озорство запомнил. Мы так ее похороним, что он сам из гроба не выползет.

Семьдесят одно бабье горе вылилось наутро в протест.

Ласло шел позади гроба, он не видел ни солнца, ни гроба, но он видел — женщин. Их собиралось все больше и больше. Рядом с ним шла Дарья, презрительная и отчаянная в испуге, все с тем же платочком в руках, который она не успела надеть на голову. Женщины за спиною Ласло, как казалось Ласло, шли в свинцовом безмолвии, свинцовою тяжестью, и, когда ветер тянул с лугов на город, от женщин исходил свинцовый запах земли, пота, прогорклого коровьего масла. Лица ж женщин под солнцем казались медными. Одежды ж женщин никак не походили на металлы, киноварные, луковые, глазурные. Одежды этих меднолицых свинцовых женщин напоминают картины русских древневековых гульбищ в русальные недели, кустарные плахты и паневы перерождавшихся в пролетариев сезонниц. Босые ноги баб глухо шлепали о землю. Эдгар Иванович шел за гробом, в черном пиджаке, в черной широкополой шляпе. Женщин за гробом становилось все больше и больше. Городские улицы сжали процессию, залившись женщинами.

И кладбище, минуты над могилою Ласло воспринял древностью. Глаза Эдгара Ивановича открылись в ужас, когда первый ком земли глухо в безмолвии кладбищенских деревьев и толпы ударился о крышку гроба. Мария, — Мария лежала в яме, откуда никто не вернет, — никогда не вернется она, отданная ничему. Эдгар Иванович видел сотню лиц, — и медных, и каменных, — глядевших мимо него, точно он был пустым местом. Так бывало на древних тризнах, должно быть. Он не понимал, почему здесь эти женщины. Он понимал, что так же, как Марию, его закопают в землю, — он чувствовал себя на ее месте.

Ласло толкнули в грудь. Перед ним стояла Дарья. Эдгар Иванович не узнал ее лица. Оно было страшно. Лицо Дарьи, лица остальных выражали ненависть и презрение.

— Затолкнуть и его к черту в яму! — крикнула Дарья и вновь толкнула Ласло в грудь. — Мы тебя без ямы с землей сравняем!.. Девоньки, бабоньки! — что же это такое, а?! — ведь он ее убил! — как было дело, — ведь он чистым из воды выходит и сухим! — это что же наша судьба какая! — И Дарья заплакала, забыв о Ласло.

Закричали женщины, громко и страшно, сдвинулись к могиле. Лица женщин перестали быть каменными, став человеческими. Деревья обстали могилу безмолвием. Могильщики поспешно закапывали гроб, со страхом погля-

дывая на толпу. Об умершей забыли. Дарья справилась со своими слезами.

— Товарищи!— крикнула Дарья, прерывая голос, и замахала красным своим платочком.— Товарищи женщины! Мы есть организованные пролетарии. Может, суд его и оправдает, ну, а мы,— нам, бабочки, жить, нам и жизнь нашу строить, и мы его засудим! Нам жить — нам судить!..

Ласло почувствовал на минуту себя так же, как чувствовал себя Полторак на производственном совещании.

Дарью перебила старуха, лицо которой не сразу узнал Ласло, вспомнив, что встречал его на пленумах партийной ячейки. Старуха в синей кофте в лиловый горошек, в фартуке из мешка, в веревочных чуньках на громадных ногах,— старуха по-русски, ибо ее сорок лет съел жестокий труд, наградив лицо морщинами и бронзовым загаром,— старуха пересилила слезы, заговорив степенно:

— Товарищи женщины. Мы трудовой народ и коммунисты,— а он тоже коммунист,— и не надо нам таких членов партии. В его лице мы бойкотуем распутство и протестуем против нашей судьбы. Он был ответственным товарищем, и он — от него люди вешаются. Вон суд про грабарей был,— мы теперь полноправные женщины, и мы стоим за себя и за революцию. Не надо его в яму!— крикнула старуха.— Мы будем его судить организованно, как мы говорили ночью, товарищи женщины, через наши организации. Мы говорили, товарищи женщины, что мы ему покажем нашу сознательность, мы, товарищи...

Могильщик дернул Ласло за рукав, склонился к его уху, дыхнул водкой, прошептал товарищески и иронически:

— Уходи, уходи отсюда, барин — тебе говорим,— уходи! ты не видишь, они тебя усудят,— нешто не видишь?— уходи, там задняя калитка есть,— иди, покули они говорят речи.

Эдгар Иванович не понимал этой минуты. Эти женщины казались ему более страшными, чем смерть Марии. Быть в яме рядом с Марией не казалось страшным. Солнце светило очень ярко, парило перед дождем. Деревья немотствовали. Мальчиком Эдгар ходил на кладбище — читать книги, всматриваться в будущее. Все прошлое возникло сейчас как на ладони. Похороны превращались в митинг. Эдгар Иванович воспринимал (если мог он воспринимать) митинг как тризну, митинг чувств, но не идей, митинг инстинктов: в действительности это было не так. Одна, вто-

рая, седьмая, тридцать первая женщина,— плахты, паневы, сарафаны,— ноги, груди, животы, глаза, скулы,— необъяснимая, непобедимая канцелярия,— женщины, женщины, то начало, которое может брать на ладонь мир и сердце,— Мария, Мария,— волосы баб пахнут испорченным коровьим маслом,— а волосы Лисы пахнут теплым цыпленком,— очень страшно!..

— ...и, товарищи женщины, резолюцию, что мы не будем с ним работать!..

— Уходи, барин!

Деревья плыли по синему небу, потому что облака остановились в небе. Из-за деревьев торчал кладбищенский церковный крест. Древность!— лица ж женщин оказывались в ужасе коллективной ненависти, коллективной обиды за себя, за свою судьбу.

— Эдгар Иванович! Эдгар Иванович же! — Ухо и нос Ласло забило луком и водкой.— Слушайте, Ласло, не шутите! Я послал за конной милицией. Идемте!

Ласло оглянулся. В ухо ему дышал музеевед Грибоедов, испуганный, серьезный и мокрый.

— Эти плоскодонки убить могут, ужели вы не видите?!

— Уходи, барин,— подтвердил могильщик.

И Эдгар Иванович вором пошел от могилы, не попрощавшись с Марией как следует, вором попятился за могильщика к музееведу, приятелю деревянного Христа, украдкой зашел за дроги для гроба,— лошадь дохнула покоем и свежей травой. Толпа женщин походила на громадный чирей, прорвавшийся над могилой. Эдгар Иванович не заметил, как он побежал в глубь кладбища, вместе с музееведом. Фалды размахайки музееведа летели летучей мышью, музеевед был бледен в испуге. Музеевед упал на землю за кладбищем. Ласло упал рядом.

Так увидел похороны Эдгар Иванович Ласло.

Корреспондент «Комсомольской правды», бывший на похоронах, телеграфировал своей газете так:

«...причины самовольного ухода женщин с работ в связи с похоронами жены инженера Ласло. Массовый протест женщин надо считать пробуждением классовой сознательности. Поводом к протесту служили не только смерть

жены Ласло, но и ряд других эпизодов, как-то: насилие тремя пензяками (ныне осужденными), приставание прорабов и десятников к работникам, их легкие связи с женщинами-служащими, некоторые случаи оказания преимуществ любовницам, имевшим место в среде как рабочих, так и администрации. Излагая этот коллективный протест»...

...Дом был пуст. Дом был отперт. В дом никто не приходил. Дом немотствовал тишиной, которая может плесневеть. Кабинет провалился во мрак. Эдгар Иванович не знал о часе времени. Физически он не мог видеть книги,— но он их видел. Книги с полок щерились громадными челюстями. Каждая книга есть подделка подлинной человеческой жизни, есть судорога мысли,— книги суть морг, мертвецкая, где похоронены подлинная жизнь, мысли, человеческие страсти, как в крематории. Бессознание обволакивало котлеты мозга так же, как в спальных вагонах в поездах непроницаемые шторы закрывают стекло фонаря. Только маленькая щель оставалась для сознания. Во мраке подсознания было очень тепло, спокойно, уютно, тихо. Каждый человек в человеке вызывает ощущение, свойственное только этому человеку: в подсознании от похорон осталось ощущение Алисы, запах ее волос. Было две жизни: во мраке шторок и вторая, которая бегала мышами мыслей. Мыши бегали — вопреки воле,— и сознание тогда следило за их побегами. Моментальной ловкостью мысль забегала в память, в одну и в другую, память соединялась воедино и возвращалась к сознанию в тот момент, когда из самых дальних мест приходило видение: это было плечо Ольги, одновременно так, как оно лежало около него, и — там, на фронте гражданской войны, когда пальцами из мяса плеча Ольга вынимала осколок гранаты. Во мраке бессознания было очень тепло, покойно, тихо. Человек хотел спрятаться в бессознание. Закрытыми глазами физически видеть Эдгар Иванович не мог: он видел, как вошла Мария, постояла на пороге и прошла по книжным полкам. Затворилось невнятное. Мария не открывала глаз, закрытых, как в гробу. Мария стала уменьшаться, сплющиваться,— сплющилась в книгу. Книга Марии поднялась на воздух; стала на полку рядом с Вольтером, с Кандидом. Рядом стоял Кандиба. Камера-обскура Кандибы спустила

на пол законы течения рек, по полу протекли реки. Творилась невнятица. Комната раздвинулась несуществующей рекой и развернулась Андреевским залом Московского кремля,— «коммуниста Ласло больше нет!». Мария стояла, стала книгой. Тяжелоплечий Федор Иванович подошел к полке с книгами, взял книгу Марии, развернул, перелистал, поцеловал обложку, неловко поставил книгу на прежнее место,— книга упала. Федор Иванович поднял ее и поставил на прежнее место. Книга упала вновь. Из бессознания — сотни сразу — побежало — не ощущений, но мыслей и видений,— все подсознание, весь мозг, все тело ощутило невероятные тягости, тесноту, бессилие, боль. Сознание раздвинуло шторы — энергически — на весь мозг. Работы на строительстве заканчивались. Новая река, бой за социализм, возникала в реальность. Десятки рек и речуг в сотнях русских весей и сел спускали воды с тысячей плотин. Добраивалось правое плечо монолита. Думпкары с завода от Щурова довозили по хребту последние тонны бетона. Монолит наступал на мореоны, которые уходили, вгрызаясь в землю, разбитую жидким воздухом. Шпунтовые ряды перемычек уже снимались. Наступала вода. Котлован заливался «тощими бетонами». Земляная дамба нового ложа, превращенного в озеро, обложенная фашинами, уходила за сотню километров — до Бронниц. Звонили телефоны. Весь день на строительстве звонили телефоны. В закатный час в контору главинжа пришел инженер Ласло, покойник, в крепких крагах, в широкополой черной шляпе, с портфелем под мышкой,— он вернулся с похорон. Глаза его были к тому, чтобы действовать. Люди в конторе не расходились, хотя час службы завершился. Во всех конторах заводов и строителств, всегда просторных, светлых и чуть-чуть чопорных,— всегда чуть-чуть вспоминается смерть, потому что шум счетов похож на шум костей и потому, что в конторах творятся не дела, но идеи дел. Ласло — кулаком воли — прошел в свой кабинет. И сейчас же вслед Ласло в контору зашли женщины, несколько сот. Женщины шли покойны и деловиты, они задавили контору, в строгой мужественности, пестрыми платьями и собою нарушив просторность и чопорность конторы. Передняя женщина передала за барьер — в молчании — женскую резолюцию. Резолюцию принял Садыков. В резолюции говорилось, что женщины бой-

котируют инженера Ласло. Ласло вышел из кабинета, стал рядом с Садыковым. Садыков читал вслух.

— Ну, Эдгар, чокнулись, стало быть, до дна? Ты помнишь, я люблю рассказывать о той барже, которая затонула под Саратовом? — Садыков говорил деловито, покойно, негромко.— Любовь Пименовна рассказывала однажды о рыбе, которая была гнилой, но пахла фиалкой. Впрочем, прочти резолюцию, давай говорить о делах, ты думал, что социальные и биологические инстинкты суть обстоятельства разных порядков.

Женщины, женщины молча выходили из конторы.

...Ночь, пустая комната, тишина, никого нет, ничего нет. «Книги надо убрать! на самом деле Мария похожа на книгу!»

Тишина, никого, ничего нет. Дом всюду отперт. Книги стали сползать с полок, камеры-обскуры. Круг закончен: тысячелетье назад предки Ласло ушли с Волги, которую тогда называли Ра,— Ласло пришел перекапывать истоки Волги — Ласло погибал у истоков.

Ласло поднялся с дивана. Он, сторонясь стен, пошел из дома. Он забыл шляпу. Налево к Шурову уходила цепь фонарей монолита, сзади горели огни отводного канала. Огни строительства упирались в черное небо, в низкие тучи. С неба капал мелкий, уже осенний дождь. Над лугами шарил ветер. Ласло оставил открытыми двери дома. Ласло пошел в сторону от огней и от места, где могли встретиться люди,— во мрак, в дождь, в луга. Он шел сумасшедшим человеком. На землю наступала полночь. Книги не оставляли Ласло. И тогда из темноты раздался голос:

— Это опять ты?!

С земли перед Ласло поднялся инженер Полтораки. Ни Ласло, ни Полтораки не удивились встрече. Полтораки вновь лег на мокрую землю. Ласло присел около него на корточки. Дождь приступил в ту минуту. Оба инженера закурили в безмолвии.

— Евгений Евгеньевич, на строительстве поступили сведения, что вы вредитель,— безразлично сказал Ласло.

— До часа ночи,— сказал старший Бездетов.

— До часу ночи,— сказал Скудрин.

— Да, до часу.

И дальше для Полторака все стало бредом, в этот вечер его гибели. Извозчик сдвинул на сторону Коломну, пододвинув дом Скудрина. Яков Карпович, возникнув за алкогольным фрегатом, на плечах братьев Бездетовых, заюродствовал, не бенды працы без кололацы, заюлил, утверждая, что мерзавец может убить и не всякий мерзавец есть юрод,— и Полторака знал, очень знал, в эту его последнюю ночь, что смерти могут приходиться без крови, как не только на крови строятся строительства. Полторака ушел от Скудрина в бред, в выжженные ночью — час ночи, плашкотный мост, где утверждались олова глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом покойствия в огненный столб в небе, в крики, в ужас и в шелест воды. Полторака нес за собою свою любовь. Кругом стали — бессилие, поцелуй Анатолия Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх,— смерть без крови. Полторака собирал себя — к часу. Полтораку некуда было идти. Он шел окраинами, берегом Москвы-реки, мимо башни Марины Мнишек, под кремлем. В башне кричали совы. Полторака вышел в луга. Все ломалось, завтра отодвигалось так же далеко, как детство. Впереди горели огни строительства, угоняя черную темноту луга. Полторака пошел от огней в темноту. В лугах, которые через несколько месяцев будут залиты водою, кричали мирные перепела. Дул ветер, лил дождь.

— Вера, Надежда, Любовь! — жену звали Софией. Вера, Надежда, Любовь, София!..

Полторака бредил породю юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Мудрость,— ничего нету, бред. Все на крови,— и пришла бескровность. Вера умерла бескровною смертью. Надежда сказала,— она не знает, когда она настоящая,— и с Полтораком она хотела быть такой, которой все позволено,— почему? Полторака говорил понастоящему только со Скудриным. Любовь пришла, чтобы сказать, что она уходит. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, раскинув флажки, за деревьями, в тишине,— стали охотники, чтобы убивать, и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Кричаны завывали, заулюлюкали, завизжали, и жизнь — осталась за флажками, за кричанами, естест-

венная, обыкновенная жизнь.— Вера! Надежда! Любовь!— Лил дождь. Дул ветер. Мрак спрятал пространства. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, заскрипели, завывли, заплакали, застонали экскаваторы в бреду огня строительства. Полторак побежал в сторону. Экскаваторы захлебывались ужасом. Полторак упал, зацепившись за кочку. Над головою завывли, закричали кричаны. Вера, Надежда, Любовь — стали кричанами, не смертью. В вое возник кусок московского трамвая, белый квадрат, слова: «Граждане! платите деньги за проезд, не ожидая требования кондуктора, во избежание штрафа!» Это показалось смертью, Полторак нес за собою свои любви. Полторак был русским, националистом,— когда, с каких пор он стал против всего русского, вот он, который готовился взорвать плотину, построенную русскими рабочими? В бреду возникло производственное совещание рабочих. «Граждане, платите во избежание штрафа!»—«Вместо пива все излишки относите на сберкнижки!»— это встало безграмотностью, ибо по смыслу фразы получалось, что раньше на сберегательные книжки вместо излишков относилось пиво. Там, в трамвае, рассуждал пьяный мастеровой: «Раньше было так: на одной стороне живет бондарь Петр Иванович, а на другой бондарь Иван Петрович,— я служу у Ивана Петровича, выпили в воскресенье, поругались в понедельник,— я собрал манатки и служу со вторника у Петра Ивановича, он меня берет к себе с полным удовольствием, как мы ножку подставили Ивану Петровичу,— а теперь я во Владивостоке наскандалил по бондарному делу — меня в Минске не возьмут, не то чтобы по бондарному, а даже по мануфактурному!» Как в кинематографе, когда демонстратор спешит, Полторак увидел сотни, тысячи плакатов, которыми загоразивалась от него его Россия. «Не пейте». «Рукопожатия отменяются». «Говорите коротко ваше дело». «Садитесь без приглашения». «Курить и плевать воспрещается». «Стоять не выше десяти человек». «Остерегайтесь воров». «Граждане! при получении от агентов квитанции о штрафе следите, чтобы сумма штрафа была вписана в корешок штрафной книжки!» Это были моральные плакаты, которыми, как соль из сгущающегося раствора, выпирала на улицы мораль. Полторак увидел руку, ставшую перед ним, распятую марлей,— руку в контрольной повязке, повязку с plombой, с тою plombой, которые обязаны были ставить контрольные коломенские врачи на

повязках рабочих, чтобы рабочие не самовредительствовались, потихоньку по домам растравляя раны. Контрольная повязка прислонилась к глазам. Полторак поднялся с земли и побежал во мрак. Сзади за мраком лугов горели огни строительства. Оттуда шла Россия, страна в бескровной войне. Бредом по лугу от строительства шли люди, города, заводы, обозы городов, заводов и строителств,— Россия шла в социализм, чтобы неминуемо дойти. Люди падали от усталости, вставали и шли. Шли города плакатами своих красных вывесок. Ничто не стояло и не останавливалось. Все шло. Шли даже леса и деревни,— люди, строения, деревья, камни, воды, земля. Россия шла, серая и стальная, в командах лозунгов и плакатов, в корпусах профсоюзов, пехотой государственных учреждений, артиллерией и танками коммунистической партии, организованная, как строятся заводы. Поистине двигался громадный завод, рабочая армия России, скованная, соподчиненная, увязанная, руководимая, выправляемая десятками тысяч организаций — партийными, профсоюзными, государственными,— сельскими, волостными, районными, окружными, областными, краевыми — рабочими, крестьянскими, интеллигентскими,— наркомтрудовскими, наркомздравовскими, наркомпросовскими, наркомторговскими и сотнями прочих организаций, организующими человека и труд, соподчиняющимися, совпадающими, соорганизуемыми. Полторак бредил,— этот поход был похоронами Марии и производственным совещанием одновременно. Люди, города, земли шли к строительству и от него, через него, потому что строительство было местом боя за социализм. Полторак бежал лугами. Плакаты перли не со строительства, но с сердца Полторака. Он должен был взорвать монолит. Но он увидел, что он идет со всеми в том наводнении людей, городов, земли которые шли с ним в ногу. Он остановился. Он побежал. Он упал в ров и поспешно вылез из него. Перед ним расползлись рвы, ямы, осклизлая глина. Из темноты на Полторака шел человек. Это был охломон Ожогов. За охломоном торчал глухой забор, обрезававший мраком и без того темное небо. За забором вспыхнули голубые электрические огни.

— Ты что тут мечешься из стороны в сторону?— спросил охломон.

— Кто это?— спросил Полторак.

— Это я, Иван Ожогов.

— Где мы?

— На карьерах кирпичного завода.

Потому, что вокруг кирпичных заводов разворачивают землю, а крыши кирпичных сараев приземисты и длинные, заборы ж глухи,— кирпичные заводы всегда похожи на места разрушения и таинственности. Охломон пьянствовал своим сумасшествием. Охломон с трудом держался на ногах и дрожал собачьей дрожью, прижимая руки к дрожащей груди.

— Ты что здесь делаешь?— спросил Полторак.

— Караулю тебя. Я ведь знаю, что ты с братом Яшкой хочешь взорвать плотину. Я ведь знаю, почему брат Яшка здесь все ночи скотину пасет.

— Ты все врешь, дурак!

— Не вру!

Замолчали.

— Пришел? выгнался?— спросил Иван.

— Чего?

— Сам из своей совести выгнался,— не стерпел,— не стерпел? — сказал иронически Иван и добавил серьезно: — Плачь!

И дальше, если бы Полторак остался в живых, он не мог бы решить, кто из них бредил, он или Иван. В бреду Иван Ожогов, шепотом, дрожа, рассказывал о своей коммуне таких же, как он,— о том, как было, как был он первым председателем коломенского исполкома, какими были годы девятьсот семнадцатый — двадцать первый, какими чудесными, и как они погибли, грозные и справедливые годы,— как прогнали его, Ивана Ожогова, из революции, как ходил он по Коломне, чтобы заставить людей плакать,— он опять рассказывал о своей коммуне, о ее равенстве и братстве,— он утверждал, что коммунизм есть отказ от вещей,— для коммунизма истинным первым делом должны быть — доверие, напряженное внимание, уважение к человеку и — люди. Аккуратненький старичок дрожал под дождем, перебирая худыми руками, тоже дрожащими, ворот пиджака. Карьеры кирпичного завода утверждали разрушение. Иван Карпович поднялся на холмик, свет из-за забора упал на его голову, стало видно его лицо, сумасшедшее. Полторак знал, что Ожогов был действительно первым председателем коломенского исполкома, что он сошел с ума в двадцать втором году, когда схлынула эпоха

военного коммунизма,— что вокруг Ожогова собрались такие же, как он... Нищие, побирологи, провидологи, волочебники, лазари, странники, убогие, калеки, пророки, ханжи, блаженные, юродивые — эти крендели быта святой Руси, как сказал Яков Карпович, канувшие в вечность, нищие на святой Руси, юродивые святой Руси Христа ради: Яков Карпович утверждал, что эти крендели были краскою быта, Христовою братией, мольцами за мир. Перед инженером Полтораком стоял — нищий побиролога, юродивый лазарь — юродивый советской Руси справедливости ради, мирская коломенская совесть, молец за коммунизм. Иван Ожогов ходил по Коломне по обывателям, он приходил к знакомым и незнакомым, и он просил их — плакать. Он говорил пламенные речи о коммунизме, сумасшедшие слова, и на базарах многие плакали от его речей. Он ходил по учреждениям,— и по городу сплетничали, будто бы некоторые туземные вожди мазали тогда глаза себе луком, чтобы через Ивана и его охломонов снискать себе в городе необходимую им коломенскую популярность. В обывательской Коломне чтили Ивана, как приучились на Руси столетиями чтить юродивых, тех, устами которых глаголет правда и которые правды ради готовы идти умирать. Иван пил, разрушаясь алкоголем. Сейчас Иван был пьян подземельем подлинного братства, коммунизма, дружбы, равенства. Голова Ивана, единственная на свету, была высоко поднята, глаза светились сумасшествием.

— Плачь!— крикнул Иван.

Полторака не сразу понял его, отрываясь от своих мыслей.

— Плачь!

— Что ты говоришь?

— Плачь! Плачь, инженер,— плачь сию же минуту.

Я не позволю тебе убивать революцию. Плачь!

— Не стоит,— ответил Полторака.— Опоздал.

— Не стоит?! Опоздал?— тогда иди отсюда, куда хочешь, к черту, вон с моих глаз, пока я не убил тебя! Иди!

— Что ты кричишь?

— Иди, иди, пока цел, пока я тебя не убил.

Охломон спрыгнул с холмика к Полтораку, толкнул Полторака.

— Иди, иди от моего завода!

Полторака попятился и упал. Охломон ткнул его ногой. Полторака поспешно и молча пошел в сторону. С неба па-

дал дождь в черную землю. За Полтораком двинулись колонны идущей, стальной и серой России. Контрольная повязка опустилась на голову Полторака. Огни строительства зловеществовали, зловеще стонали экскаваторы. Полторак упал на землю. Трава на лугу была скошена. Убивающие могут убивать не только третьих, но и самих себя, и убиваемые могут убивать. Полторак до боли вцепился в землю ногтями, скошенная трава колола лицо. Полторак хотел остановить время.

Полторак услышал человеческие шаги. Он поднял голову.

— Это опять ты?

Прямо на Полторака шел инженер Ласло.

Лил дождь. Шарил ветер, прошаривал черные и серые пространства. Полторак лежал на земле. Ласло сидел против него на корточках. Оба курили.

— Евгений Евгеньевич,— сказал безразлично Ласло,— на строительство поступили сведения, что вы вредитель.

— Кажется, это верно,— безразлично ответил Полторак,— и кажется, что сегодня ночью, в час ночи, мы взорвем монолит, хотя следовало бы подождать недели три, когда прибудет вода, чтобы больше было шику.

Ни Ласло, ни Полторак не удивились словам друг друга. Папиросы под дождем курились плохо. Инженеры помолчали.

— Вас ведь расстреляют, Полторак,— сказал Ласло.

— И вас расстреляют.— Полторак помолчал.— Впрочем, не знаю, как вы, а я уже расстрелян. Веселое дело — мы уже расстреляны и — без крови! Для нас множитель — нуль, не правда ли? Впрочем, я говорю о себе.

— Совершенно верно,— мои предки ушли с Волги на Дунай — я вернулся на Волгу,— помножены на нуль. Вы сошли с ума, Полторак?

— Нет. Расстрелян. Мертвец. И — расстрелян без крови. Расстрелян сегодня днем похоронами вашей жены и производственным совещанием. Имею честь представиться — мертвец, инженер-мертвец Евгений Евгеньевич Полторак! — Полторак хмыкнул и лег удобнее на земле.— Нуль. Без крови. Самое главное то, что я уже и не вредитель, у меня нет сил даже включить фугасы. А вы, Эдгар Иванович, насколько я понимаю, перестали быть строите-

лем и революционером? Мы оба никуда не годны. Вам, конечно, известно, что человек, какую бы он подлость ни сделал и в какой бы подлости ни находился, он всегда найдет оправдание. Вы знаете, что такое контрольная повязка?— нет?— я вам расскажу. Вы поранили палец, вы работаете в учреждении или на заводе, вы пришли в амбулаторию, вас послали к контрольному врачу,— контрольный врач вам сделал перевязку и — запломбировал ее, чтобы вы дома не могли развязать повязку и заняться самовредительством. Это сделано потому, что многие хворали, а стало быть, и прогуливали по месяцу с маленьким порезом, который обыкновенно излечивается в три дня,— это сделано для самовредителей. Я не должен верить самому себе, я индивидуум,— но нельзя же, чтобы останавливались из-за индивидуального вредительства заводы, и — мне накладывают контрольную повязку для государственной пользы. Вы, конечно, знаете, что вот эти папиросы, которые мы курим, мои и ваши сапоги, квартиры, прочее суть не только наше достояние, но достояние и государства, в одинаковой мере, как и хлеб, и паровозы, и земные недра. Их может быть больше, их может быть меньше. Сейчас мы изо всех сил хотим скопить елико возможно больше штанов, сапог, заводов, хлеба, машин,— для этого вы строите ваш монолит. Но, оказывается, подобно сапогам и хлебу, хозяйственным достоянием является и мораль каждого из нас. У нас рассуждают,— невежественная страна, невежество, невежественный народ,— то-то плохо, то-то испорчено, то-то изгажено благодаря русскому невежеству, русской темноте. И рассуждают неверно, потому что делать плохо или хорошо, портить, гадить можно не только благодаря невежеству, но — и благодаря плохой, испорченной, прокисшей, как гнилой хлеб, морали,— или благодаря отсутствию ее, как у меня, ибо я очень сведуший человек, даже в вопросах морали и философии. Контрольная повязка — вещь морального порядка, но не порядка знания или незнания, как и нечестность с женщиной, с честью и словом, воровство, склока, подкиды, обманы, чинодральство, бюрократизм. У нас удивляются, когда человек честен, когда надо было б удивляться человеческому бесчестию. Вы возразите, что все это от старой России,— мне все равно.

Полторак сел, отбросил окуроч, закурил новую папиросу.

— Вы обратили внимание, как наша — ваша, а не моя, и тем не менее наша — государственность захлебывается от жулья, от подхалимства, от предательства, от морального развала. Государственность воюет армиями контрольных учреждений. Наркомат РКИ есть учреждение моральное, так же, как те плакаты на улицах, на лестницах, в трамваях, в трактирах, в учреждениях,— берегись вора, не плюй, не кури, промывай за собою унитаз, не лги, не насилуй!— у меня в доме на лестнице написано под электрической лампочкой: «Вор! не трудись воровать, лампочка припаяна!»— а в трамваях в Москве приклеивают: «Гражданин! твой долг следить за налогоплательщиком!» Вся страна превращена в моральный плакат.

— Вы кого убили?— безразлично, отбросив смокший окурок, спросил Ласло.

— Самого себя,— деловито ответил Полторак и заботливо спросил в свою очередь:— А вы кого убили?

— Я?— не помню. На фронте, во время гражданской войны.

— Это, конечно, тоже свинство,— но это не в счет. Тогда вы убивали с кровью и своею кровью платили. Сейчас вы убили жену?

— Жена у меня повесилась. Убил себя, как и вы.

— Так. Слышал. Жена убила вас.

Инженеры помолчали. Полторак сел против Ласло на корточки.

— Меня преследуют бреды, я совсем болен,— сказал Ласло.— Я вижу свой мозг двумя кровавыми котлетами, и я вижу, как по этим котлетам бегают мысли. Вы, конечно, правы,— но вы знаете, что вот этот луг, на котором сейчас мы сидим, будет залит водою на двадцать метров вверх. Вода зальет все и зальет нас. И эта вода полетится на мельницу новой жизни.

— Сейчас мы взорвем плотину,— деловито сказал Полторак и вынул часы, зажег спичку над циферблатом.— Хотя... двадцать минут второго. Где же Скудрин?— Полторак огляделся кругом.— Да, совершенно верно, вода зальет все, зальет нас,— придет прекрасное будущее. Где же Скудрин? Вы помните «Войну и мир» Толстого?— как плакал, как плакал я юношей за попорченную чистоту, читая о том, как Анатолий Куракин поцеловал Наташу!.. Вы читали плакаты в трамваях? «Вместо пива все излишки относите на сберкнижки!»— раньше на сберегательные книжки

клали пиво!.. Да, совершенно верно, вода зальет все. Останутся бабы, которые похоронили вас, и останутся производственные совещания, которые похоронили меня.

Яков Карпович Скудрин — пришел в эту ночь на луга к Полтораку, — чтобы убить. Черный дождь поливал луга. Ветер обворовывал пространства. Облака спустились на землю и ползли по земле. Яков Карпович пришел к инженерам в час, когда чуть-чуть стало брезжить. Инженеры сидели на земле, и они издали на фоне чуть-чуть посветлевшего, отделившегося от земли горизонта увидели Скудрина. Скудрин шел, как ходят слепые, с поднятою вверх головою, — руки его раскинулись, он шел босым, в ночном белье. Ноги его проваливались во мрак земли. За спиною его мутно зеленела щель горизонта. Голова его упиралась в тучу. Он казался гораздо большим, чем он был на самом деле, он подпирал небо. Кругом на земле, в сырости и ветре, свалены были громады мрака.

В эту ночь в доме Скудрина, на лестнице в мезонин, дочь Катерина встретилась со Степаном Федоровичем Бездетовым.

— Ты там скажи своим, — сказал Степан Федорович, — опять устроим.

Катерина обняла Бездетова, прижалась к нему богатырским телом, смяв его, и заплакала злобно и покорно.

— Что ты? — спросил Степан Федорович.

Катерина не ответила в плаче, — она прижала Степана Федоровича к барьеру лестницы так, что ему стало трудно дышать и больно, он потерял равновесие.

— Что ты, Катерина? — спросил Степан Федорович.

И Катерина взвыла, заплакав навзрыд, отпустив Степана и рухнув головой и плечами на барьер. Барьер пискнул под нею и закачался.

— Беременна я! — провыла Катерина.

— Тише, что ты? — ну, чего ты?! — шепотом крикнул Степан.

— Беременная я! — провыла Катерина еще громче и села на ступеньки лестницы. — Не могу я! помоги! — еще громче крикнула, провыла Катерина, и последующие ее слова слились в вой. — Папочка меняяяя убьеоот, ооо!.. — Катерина выла на весь дом, очень страшно, глухо, громко, как воют иногда от физической боли.

Степан Федорович совал ей в рот платок, чтобы заглушить вой. Катерина кусала вместе с платком его пальцы, не замечая их, и все ниже и ниже никла на ступеньки лестницы. Вой ее походил на собачий лай. Степан Федорович тыкал кулаком Катерину в зубы, чтобы отрезвить ее физической болью.

Старик Скудрин хотел перехитрить, переюродствовать мир, свою злобу, защищаясь юродством, человек породы юродивых, которые убивают. В вольтеровской тишине своего дома он был у жены в то время, когда по дому понесся звериный вой дочери. Старик утверждал, что он может все перехитрить и переюродствовать,— старик радовался, когда ему плевали в лицо, ибо за заплеванными глазами он хотел пронести никому неизвестную, но свою собственную честь, где ютились — дом, корова, красное дерево, он сам, жена, дочь. Дочь выла в ужасе и физической боли, выла отвратительно, по-собачьи, на весь дом и на весь мир. Облезлый, грязный, зловонный старик Яков Карпович увидел дочь на лестнице в мезонине, она сползала вниз по ступенькам, не принадлежа себе, и Степан Федорович Бездетов бил ее по лицу. У матери Марии Климовны не было своей жизни, ее жизнь ограничивалась калиткой, тропинкой к церкви. Старик видел, как мать обнимала дочь, мать прижимала свою сухонькую грудь к спине дочери, мать перебирала своими костяными пальцами волосы дочери, прижимала голову к дочерней шее,— мать была очень серьезна,— не веря глазам, мать пальцами отрагивала дочь. Старик услышал, как сказала мать:

— Катенька, Катюшенька,— зачем же тогда я-то прожила свою жизнь?

Старик кутал голые ноги в женскую шаль. Он плакал, старик, слепо подняв голову в темноту лестницы и мезонина,— и он плясал, выделявая антраша на месте, последний раз в жизни. Дочь хотела вползти в щель между ступенек. В стороне, накинув на ночное белье сюртук, стоял степенный Павел Федорович, один из отцов возникшего ребенка. Дочь выла по-собачьи. И старик, плача и приплясывая, воя, как дочь, бросился ее бить. Он бил ее ногами и подсвечником по лицу и в живот, потому что те плевки, которым он подставлял свое лицо, переплюнуты были через лицо в душу. Когда старик, воющий и задыхающийся, обессиленный болью и любовью, упал на затихшее в судо-

рогах тело Катерины у нижней ступеньки лестницы,— братьев Бездетовых уже не было в доме. Старуха-мать Мария Климовна отливала водою старика, судорожно целовавшего дочь. Дочь лежала с открытыми глазами, с мутными взорами на потолок,— глаза матери яснили страданием женщины, не имевшей своей жизни, всегда подчинявшейся всем.

И тогда старик пошел вон из дома.

Несколько часов тому назад старик пребывал в счастье, наслаждаясь жизнью, убивающий юрод. Баба-провинция сидела барыней у него на диване в гостиной, когда торшер мигал Вольтером. На подоконник к нему залезал брат охломон Иван и говорил, что ни он, Иван, ни профессор Полетика не теряли чести, потерю которой ликовал Скудрин. Яков Карпович, наслаждаясь жизнью, прогнал Ивана и обещал повидаться с Полетикой.

И старик увидел Полетику в этот глухой свой час. Старик бежал из дома. Навстречу Скудрину под Маринкиной башней шли Полетика и Садыков. Старик загородил собою дорогу Полетике.

— Спасибо, спасибо, спасибо!— закричал Скудрин.— Вот мы и встретились. Давайте поговорим теперь!— я расскажу вам правду о жизни, да, не хуже вашей!— Я теперь со стыдом поговорю!

— Извините,— сказал Полетика,— я не имею обыкновения разговаривать на улицах с незнакомыми людьми. А кроме того, вы больны, должно быть.

Скудрин закричал безумно:

— Кто болен?— я болен?— да, спасибо, спасибо, спасибо!.. Господин профессор, вы говорили нынче с моим братом Иваном. Я не хуже его, поговорите со мною! Я вам о чести скажу! Господин Полторак испугался убийства, а я смеялся над ним. Мне поговорить хочется, душу отвести!..

Садыков взгляделся в лицо Скудрина.

— Вы — Яков Карпович Скудрин?— спросил он.

— Да, Скудрин! Да, всех хотел перехитрить!.. я... Но Садыков не дал ему договорить фразы.

— Идемте, Пимен Сергеевич,— сказал он,— с этим стариком говорить нам не о чем.

Маринкина башня безмолвствовала. Безмолвствовала ночь. Полетика и Садыков ушли.

Полетика в это время говорил Садыкову:

— Еще раз вернемтесь к истории. Россия всегда была форпостом и охранителем Европы. Вспомните времена от третьего до пятнадцатого веков, когда на нас шли кочевники Азии, те самые бесчисленные аланы, готы, гунны, которых раскапывает теперь Любовь и которых мы — живущие на российской равнине — задерживали своим мясом, своим мясом предоставляя Западу возможность не стираться с лица земли, как это несколько раз делали россияне. Я рассказал вам о наступающих пустынях, я рассказал, как эти пустыни остановить. Мы остановим пустыни, опять спасая Европу. Но теперь мы заслоняем Европу не нашим мясом, но знанием.

В руках Скудрина оказался прутик, неизвестно, как возникший, тот самый, которым он пас в лугах коров. Старик побежал по улицам, босой, с непокрытой головой, в рубашке до колен, с прутиком в руке. Голова старика закинулась вверх, старик плакал, старик не видел своей дороги, и старик помахивал прутиком, точно гнал коров, которые в действительности не существовали.

Старик подходил к инженерам, как ходят слепые, ноги его проваливались во мрак земли, этого юрода, который хотел убивать. За спиною старика мутнела зеленая щель горизонта. Старик подпирал небо.

Сказал Ласло:

— Вы знаете музееведа Грибоедова,— он каждую ночь пьет водку с деревянным Христом. Да, эти луга будут залиты, и будут залиты все наши боли. Все наше — пустяки, ибо все это исчезнет.

Полторак не успел ответить,— подошел Скудрин. Скудрин остановился против Полторака, Скудрин плакал, и Скудрин заорал, завыл, запричитал:

— Спасибо, спасибо, спасибо!— спасибо вам, Евгений Евгеньевич!— спасибо, спасибо, спасибо!..

Ни Полторак, ни Ласло не удивились Скудрину.

Сказал Полторак:

— Еще подобрался мертвец. Старик, а умирать не хочет!— Полторак помолчал и спросил брезгливо:— Стало быть, подрывать не будем? Вы тоже не годитесь даже во вредители? У вас патриархальная совесть иссякла?

Старик не слышал, старик кричал воя:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

— Да, да!— крикнул, оживляясь, Ласло.— Вы знаете, что такое камеры-обскуры книг?! Да, пройдет еще очень немного времени, и даже места нельзя будет найти, вот этого, где мы сейчас сидим, пройдет еще немного лет, и...

Полторак вынул браунинг, осмотрел его, проверил касксету, ввел пулю в ствол, поиграл, воткнув палец к гашетке, повертел браунинг на пальце, сказал:

— Кто первый?

Инженеры сидели на корточках друг перед другом. Старик стоял над ними, с головою в небо, с прутиком в руке, которым он махал в такт воющего своего спасибо. Дождь косил, поспешая, косыми каплями. Зеленая муть на востоке разрасталась.

— Я все время интересовался,— на крови или без крови? Смерть на строительстве была: и вашей жены, и наши,— сказал Полторак.— Стало быть, с кровью.

Глаза Ласло вдруг стали к тому, чтобы действовать.

— Да, я расстреляю вас, потому что вы вредитель,— и я на слом убью себя.

— Кто первый?— спросил Полторак, усмехнувшись.

Старик выхватил револьвер из рук Полторака, широко в сторону откинув прутик. Скудрин выстрелил, этот старик, потерявший время и боязнь жизни, пуля ударила в лицо Полторака. В тот момент, когда Ласло увидел дуло револьвера около своего лица, глаза его были к тому, чтобы рождать действие. Нарождался рассвет. Старик кричал:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

Седая голова старика подпирала небо. Старик выстрелил себе в рот. Солнце над Россией, над Союзом Социалистических Республик, восходит целых восемь часов, ибо в час, когда над Владивостоком полночь, над Москвою четыре часа дня, а когда полдень над Владивостоком, над Москвою — рассвет.

В те минуты, когда воющий старик в бессилии боли и любви упал на затихшее в судорогах тело дочери, братья Бездетовы ушли из дома краснодеревкой старины. Братья Бездетовы знали историю старины не только красного дерева, но и многих искусств. В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебреника Андрея Курсина, уроженца города Яранска.

Курсин по наказу Лобрадовского поехал в Пекин, дабы выведать там у китайцев секрет фарфорового производства, парцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине через учеников прапорщичья ранга Курсин подкупил за тысячу лан, то есть за две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства парцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина и послал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете парцеленного дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову, об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село. Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсина, «поступил коварно», как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розог. Одновременно с этим, 1 февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшемся, как он говорил, и познавшем мастерство в Саксонии на Мейсенской мануфактуре. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате прибыл в Россию, в Санкт-Петербург,— и оказался беспокойным немцем, шарлатаном и вралем. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей императорским фарфоровым заводом,— и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его бергмейстером Виноградовым,— и бесполезно занимался этим делом до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил Виноградов Дмитрий Иванович, ученик Петра Великого, беспутный пропойца и самородок,— и это он поставил дело русского парцеленного производства таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова. Но родоначальниками русского фарфора все же надо считать яранца Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Гунгера, кругом Европою обманывающего. Русский фарфор имел свой золотой век. Мастера императорского завода, «vieux»-Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина, старого Гарднера — цвели крепост-

ным правом и золотым веком. И по традиции Дмитрия Ивановича Виноградова, российского бергмейстера, около фарфорового производства пребывали — любители и чудачки, пропойцы и скряги, — заводствовали светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские и богородский купец Никита Храпунов, поротый по указу Александра первого за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коий пряталась молодая пейзажанка. Все мастера крали друг у друга «секреты», — Юсупов у императорского завода, Киселев — у Попова, Сафронов подсматривал «секрет» ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера и чудачки руками крепостных создавали прекрасные вещи. Братья Бездетовы в совершенстве знали все марки старых фарфоровых фабрик, их глазури, их золото, их «кисти»...

Вышед от скудринского краснодеревяного осьмнадцатого века, в безмолвии и деловитом покойствии, чуть хоронясь под заборами, степенно пошли братья Бездетовы к городу, в степенности, чуть-чуть напоминавшей котлов, съевших чужую сметану.

Младший сказал старшему:

— Надо было бы донести в милицию как на Скудрину, так и на Полторака, указать, что нами раскрыто вредительство.

— Повременим, — коротко ответил старший брат.

По дороге к вокзалу младший Бездетов, Степан Федорович, заходил в гостиницу, стучал в номер Полторака. Ему отперла Надежда Антоновна.

— Евгения Евгеньевича нету дома? — спросил Степан Федорович.

— Нет, — ответила Надежда Антоновна.

И Степан Федорович сказал Надежде Антоновне домашнему просто, по-товарищески и деловито:

— Полагаю так, лучше вам будет уехать с нами, безобразия одно получается, что с Полтораком, что со Скудриным, а поезд будет через сорок минут.

Надежда Антоновна, в ночном белье, со свечью и с книгой, посмотрела на Бездетова удивленно, на его сюртук и нарочитую степенность.

— Кто вы такой и откуда вы меня знаете? — спросила она.

— Я есть реставратор-антиквар, — ответил Бездетов, — вас мы видели с Евгением Евгеньевичем и слышали о вас

от него. Говорю чистосердечно, как товарищ,— уходить надо подобру-поздорову, поверьте на слово.

Надежда Антоновна не очень удивилась, сказала:

— Ну, что же, поедем. Подождите, я сложусь. Там осталось вино. Отвернитесь и пейте.— Спросила:— Какой-нибудь скандал произошел?

— Вроде,— ответил Бездетов.

В просторном номере горела свеча, унося свет под своды. Степан Федорович степенно допил барзак, закурил. Надежда Антоновна прикурила у него. В крепости номера пахло духами и свечным нагаром.

— Мы,— не имею чести знать, как вас зовут,— мы товарищи с вами по искусству,— сказал Бездетов.

Коломна пребывала во мраке и пустоте, на окраинах выли псы, поэты русской провинции. Дождливая ночь военного города Коломны чернела и мокла. Люди штабов и армий спали перед сражениями дней, оставив бодрость собакам да ночным сторожам, пугавшим ночь сторожевыми посвистами и колотушками. Черные мостовые под дождем расплзались в лужи. Около станции, у этого узла, где перебрасывались армии и материалы армий, в темноте по-солдатски фыркали лошади. Около станции почему-то горою валялись русские сапоги — не философия, но конкретное утверждение российских дорог. Кустарничество пахло дегтем. В темноте, густой, как деготь, которым она пахнула, бегали сапожники и по-извозчицьи ругались с извозчиками. На перроне от просторного мрака реки валяло сыростью. Строительство упиралось в небо электрическими огнями. Коломна развалилась в безмолвии, отступающий в историю город. На перроне под дождем российский интеллигент в шляпе и в криво сидящем пенсне миролюбиво рассказывал дождливые и тыловые истории о кино. Кино помещалось в профсаду, в утепленном сарае,— и звонков в кино не полагалось, а сигнализировали с электростанции всему городу сразу. Первый сигнал,— надо кончать чай пить, второй — надо одеваться и выходить на улицу. Электростанция работала до часу, но в дни именин, октябрин и прочих неожиданных торжеств у председателя исполкома, у председателя промкомбината, у главного техника — электричество запаздывало потухать иной раз на всю ночь,— и остальное население принаравливало тогда свои торжества к этим ночам, справляясь

о них предварительно. В кино же однажды уполномоченный внутриорга, не то Сац, не то Кац, в совершенно трезвом виде, толкнул случайно по неловкости жену председателя исполкома. Та молвила ему, полна презрения: «Я — Куварзина!» Уполномоченный, будучи неосведомлен о силе сей фамилии, извинился удивленно и был впоследствии за свое удивление похерен из уезда. Интеллигент говорил о начальстве, так и называл — начальство, о том, что жило оно скученно, остерегаясь в природной подозрительности прочего населения. Интеллигент закурил папиросу, заговорил торжественно, принимая на свою совесть ответственность за слова, со знанием дела: хозяйствовал промкомбинат, членами правления комбината были — председатель исполкома (муж жены) Куварзин и уполномоченный рабкриня Преснухин, председательствовал — Недосугов. Хозяйничали, по утверждению интеллигента, по принципу тришкина кафтана, головоотяпством и любовно. Лесопильный завод работал в убыток, маслобойный — в убыток, вальцовка — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибылей, и без амортизационного счета. Зимой по снегу сорока пятью лошадьми тащили из конца в конец уезда, верст сорок расстояния, котел на этот кожевенный завод, — притащили и бросили — за неподходящестью, списав стоимость его в счет прибылей и убытков, — покупали тогда на предмет дробления корья соломорезку — и бросили, ибо корье не солома, — списали. Улучшали рабочий быт, жилстроительствовали, — купили двухэтажный деревянный дом, привезли его на завод и — распилили на дрова, напилв пять кубов, ибо дом оказался гнилым, — годных бревен осталось тринадцать штук; к этим тринадцати бревнам прибавили девять тысяч рублей — и дом построили: как раз к тому времени, когда завод закрылся, в виду его хотя и неубыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности, — новый дом стоит порожним. Интеллигент волновался. Убытки свои комбинат покрывал распродажею оборудования бездействующих дореволюционных предприятий, — а также такими комбинациями: Куварзин-председатель продал леса Куварзину-члену по твердым ценам со скидкою в пятьдесят процентов, за двадцать пять тысяч рублей. Куварзин-член продал этот же самый лес населению и Куварзину-председателю в частности по твердым ценам без скидки — за пятьдесят с лиш-

ком тысяч рублей. Дарили однажды Куварзину портфель с монограммой, деньги на портфель взяли из подотчетных сумм, а затем бегали с подписным листом по туземцам, чтобы собрать деньги. Интеллигент волновался и гладил свою бородку, мокрую в дожде.

Поезд подошел, медленно шарил темноту паровозными огнями. Люди загалдели и засуматошились.

С полночи в эту ночь акатьевский дед Назар Сысоев повез на станцию тучковские диван и кресло. С вечера полил дождь, и грязи развезло в полчаса — по втулки колес и по колена лошадям. Дорога пролегла приокскими холмами, по глине. Дождь поливал упорно, и дед Назар торчал на передке, стар и молчалив, Ольга Павловна сидела на возу сзади Назара. Поля расстилались — пасмурны, мокры, безмолвны. Спешили к поезду. Лошадь раздувала бока усталым дыханием. Грязь разливалась в озера. Ехали полями такими же, как они были пятьсот лет тому назад. Объехали деревню Зиновьевы Горы, протащились окраинами грязей ее семнадцатого века мимо усадьбы потомков декабриста Лунина. Под селом Протопоповым дорога пролегла в овраг. Спустились по глинам до моста, переехали мост. За мостом темнела лужа, колдобина. Въехали в лужу. Лошадь рванула и села. Дед Назар ударил лошадь кнутом, — лошадь дернулась и не двинулась с места. Грязь оказалась непролазной. Телега увязла посреди лужи, левое переднее колесо увязло выше чеки. Дед Назар изловчился на передке и ударил лошадь сапогом в зад, — лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю, ушла в тину по хомут. Дед Назар подергал вожжи, почмокал, — лошадь не двигалась. Тогда дед Назар полез в грязь, чтобы выпрячь лошадь. Он ступил, нога ушла в грязь по колено, — он ступил второю ногой, — и он завяз, он не мог вытащить ноги из глины, ноги вылезали из сапог, сапоги засасывались глиной. Старик потерял равновесие и сел в лужу, увязая в глину до локтей. И старик заплакал — горькими, истощенными слезами отчаяния. К поезду тучковские кресла и диван не успели.

Поезд же оказался пустым, вагоны пребывали во мраке, на верхних полках спали и тяжело пахнули зарайские мужики, покойствовались сон и тихие шепоты, как всегда

в прифронтовых поездах. Братья сели рядом, посадив напротив себя Надежду Антоновну, дремали в усталости и слушали храпы с полок. В чемодане Бездетовых оставалась последняя бутылка коньяку. В дремоте тылового поезда, с большими перерывами для раздумий, братья пили коньяк из серебряного поставца, крикали, угощали спутницу, убирали коньяк. Поезд проходил просторами российских древностей. Младший Бездетов спрашивал шепотом старшего, склоняясь рассудительно к его уху:

— До убийства не дошло?

— Надо полагать, убил,— отвечал, шепча в ухо младшему, старший.

— Ребенок — либо твой, либо мой, надо полагать.

— Надо полагать, так и есть.

Поезд вез сон и тяжелый дух тылов из Коломны в Москву. Через полчаса после коньяка Степан спрашивал:

— А нам — не донести ли? Как бы до суда об изнасиловании не дошло.

— Повременим. Надо полагать, об изнасиловании дела не будет,— отвечал старший.— Подождем денька три-четыре, тогда напишем донос либо скроемся.

Москва, в которую уперся поезд, пребывала в шуме, рыке и гаме, столица. На площади вокзалов вереницами ползли грузовики и ломовые, лошади которых казались сильнее грузовиков. Человеческие толпы стекали поездами, трамваями, автобусами. Паровозы, трамваи и автобусы кроме людей развозили плакаты и шумы, за которыми люди должны были кричать, чтобы слышать. Плакаты подпирали небо. Фаланги людей мяли улицы. Фаланги автомобилей мяли человеческие толпы. Улицы, забитые в камень, напрягали силы в спокойствии, в хмурости запыленных окон. Москва гроыхала грузовиками дел, начинаний, свершений, развороченная строительством и перестраиваемая наново. Автомобили перли на дома, чтобы сдерживать неподвижность улиц, которые мешали автомобилям. Утренняя рабочая Москва была стальной и серой, этот форпост в будущее человечества. Надежда Антоновна, толкаясь в толпе, говорила о старом Гарднере и Сабанине. Павел Федорович поучал, закладывая большой палец за лацкан сюртука. Надежда Антоновна ехала к Бездетовым пить кофе. Такси понес стороною от Москвы, которая командовалась Кремлем, от Москвы рабочих и грузовиковых

дел,— шел на Живодерку той жизни и тех людей, которые полагали, что глетчерные льды бывшего могут втекать в настоящее, не тая. Живодерка Бездетовых была глетчером в старину. Искусство красного дерева осталось от столетия безыменным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить, и жили,— около них любовничали, старели, в них хранили тайны печалей, любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко, Павел — мальтиец, Павел — строг, строгий покой, красное дерево темно запомеровано, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны, Александр — ампир, классика, эллада. Люди умирали, но вещи живут — и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших лет. В 1929 году в Москве, в Ленинграде, по областным городам возникли лавки старинностей, где старина покупалась и продавалась,— ломбардами, госторгом, госфондом, частниками. В 1929 году было много людей, которые собирали «флюиды». Люди, которые покупали вещи старины после громов революции, у себя в домах облюбовывая старину, вдыхали — живую жизнь мертвых вещей, оживляли — мертвую жизнь мертвых вещей. И в почете у покупателей был Павел, мальтиец, прямой и строгий, как казарма, когда казарма превращена в гостиную, без бронзы и завитушек. Братья Бездетовы жили на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке — антиквары, реставраторы. Их подвал останавливал время, заваленный стариною александров, павлов и екатерин. Братья — императорами — умели поговорить о старине и мастерстве. В их подвале вдыхалась старина, которую можно облюбовать и купить. Свои разговоры реставраторы поливали коньяком, перелитым в екатерининский штоф, и из рюмок бывшего императорского алмазного сервиза. И кофе у них было настоящим, в батенинском фарфоре, очень крепким, сваренным мастерски. Надежду Антоновну реставраторы убедили сесть на павловский диван с ногами и пододвинули к дивану екатерининский столик со сладостями и с ликером. Сюртуки антикваров вращались в старину, как и уменьше их разговаривать. Надежда Антоновна пила кофе,— ей хотелось спать,— Павел Федорович показывал миниатюры Тропинина, фарфор, русские гобелены, гладил руки Надежды Антоновны, говорил о старине и подливал ликера. На клавикордах сыграл Павел Федорович Глинку. Часам к двенадцати Надежда Антоновна заснула на диване, по-

просив не будить до семи. Братья, помывшись под грязным краном, ходили к Старому Пимену на аукцион. В ломбарде были привычные дела и привычные люди,— здесь продавали с аукциона бедность и несчастье вещей, от которых шли «флюиды». Братья привычно трудились. К пяти братья, закупив вин, сладостей и едов, вернулись домой. Надежда Антоновна проснулась бодрой, веселой и деловой. Время пошло за рвами революции. Надежда Антоновна звонила по телефону подруге:

— Ксана, я сижу в допотопностях, в допотопном подвале, в красном дереве, мы пьем коньяк из чарок семнадцатого века, здесь пахнет столярным клеем и герленом. Приезжай к нам, мы будем безобразничать и веселиться, как пастушки в осьмнадцатом веке. Патрон сыграет нам на клавикордах пастушечьи пасторали. Здесь сводчатые потолки, паутины, сырость, и патроны ходят в сюртуках. Патроны не умеют связать двух слов, пока они не говорят о древностях.

Бездетовы устраивали обед на гарднеровском сервизе, холодя водку и белые вина, подогревая красные. На первых присланных с юга грушах блестили слезы сока. К круглому столу пододвинулись четыре кресла. Подруга Надежды Антоновны была той породы женщина, которые наперекор стихиям даже летом ходили по Москве в мехах, закарминенные и встречавшиеся в сумерки на Кузнецком мосту, а ночами на танцевальных собраниях. Женщины играли в осьмнадцатый век, останавливая время, и пили водку в ряд с мужчинами. Павел Федорович отлучался от стола к клавикордам. Хрусталь бывшего императорского алмазного сервиза тяжелел золотом абрау-дюрсо. Вновь было кофе, крепкое, по-турецки, смешанное с ликером и коньяком. Запах столярного клея стерся запахами духов — теперешних и древних: Степан Федорович показывал гостям старинные пелерины, роброны, турнюры, шали, веера,— старые шелк, бархат, тафта, кружево, слоновая кость и китовые усы пахнули увядшими духами прежнего. Надежда Антоновна клала ногу на ногу, кусала во хмелю губы и говорила:

— В биографии Сергея Есенина, человека, прожившего фантазмагорическую жизнь,— слушайте, я читаю лекцию!— в биографии будет подчеркнуто, что этот человек жил только эмоциями, чем категорически отличен от людей нашей эпохи. Слушайте, слушайте!— Сергей Есенин

трагически погиб. Сейчас я хочу остановиться на гибельной встрече с Изадорой Дункан. Сергей Есенин стал любовником мировой актрисы, пятидесятилетней женщины, бессильной погасить свои страсти, не умевшей говорить по-русски. Женщина, актриса, сводившая с ума многие мозги земного шара, стоившая человечеству не один миллион рублей, которую знали от Гонолулу и Нью-Йорка до русского Ирбита, которая знала все косметические фабрики мира, чтобы сохранить свое тело,— эта женщина отдалась рязанскому юноше с реки Оки, которой больше не будет под его селом Константиновом,— и по морали нашей богемы — было честью Сергея Есенина иметь такую любовницу, с которой он должен был говорить через переводчика. Это было веселым озорством и славой, подобно тому, как сегодняшняя наша ночь. Но Есенин женился на Изадоре Дункан, стал ее мужем — и это стало гибелью Есенина,— слышите!— гибелью! В их отношениях и в пьяной водке ничего не изменилось. Но это стало гибелью, потому что все оказалось всерьез, потому что всерьез стала около двадцатилетнего с немногим юноши пятидесяти-с-лишним-летняя женщина, такая, которая не знала языка Есенина, которая пила страсть и славу очень многих мужчин во всех местах земного шара, облюбленная земным шаром, уставшая на земном шаре, разучившаяся спать ночами и носить человеческое платье, пившая стаканами, как мы, русскую водку, названную русской горькой. Такую женщину нельзя любить,— слышите ли? Сергей стал не Есениным, но Сергеем Дункан, как Изадора стала Изадорой Есениной. Оржаной лирик, прекрасный человек, Сергей Есенин бил Изадору Дункан кулаками по лицу, ногами в живот,— это он бил самого себя. Он читал ей свои стихи, где называл ее сукой, которых она не понимала,— и стаканами пил с ней русскую горькую, этими стаканами выпивая свою жизнь, свои кровь и стихи!..

Надежда Антоновна пьянела, как и ее подруга, и старалась быть осмнадцативековой маркизой в алкоголе. Реставраторы трезвели. Реставраторы раскладывали старину. К десяти приехал автомобиль, четверо они поехали за город, по петербургскому шоссе. В половине двенадцатого они были в актерском кружке около Старого Пимена, за ломбардом. В синем ночном небе над Пименом вместо креста торчало в звезды дрекло. Лакеи в артистическом кружке не гнались за осмнадцатым веком, храня добрый,

по их повадке, девятьсот тринадцатый, подавали замысловатый ужин, угощали клубникой в белом вине. Женщины танцевали под джаз-банд, братья расправляли фалды сюртуков. В половине третьего, в глухих пустоте и мраке улиц, заснувших перед сражением дня, опять на автомобиле, вернулись на Владимиро-Долгоруковскую. Все были пьяны. Братья варили кофе, в оловянности глаз. Степан Федорович убеждал женщин переодеться в старинные платья, — чтобы быть — как на картинах осмнадцатого века, — растилал на диване старинные шелка, чтобы на них покоиться. Женщины разделись, но вновь одеваться не собрали сил. Глухая ночь медлительствовала в красном дереве. В красном дереве отражались свечи. Ликеры и кофе липли своею густотою. Пьяная и голая Надежда Антоновна говорила:

— Я не знаю, кто отец моего ребенка, и мне это совершенно не важно. Я беременна, и я не сделаю себе аборта. Я не боюсь жизни. Мы новые люди. Умирают нации, но у меня будет свой сын, рожденный эпохой. Это хорошо, что я не знаю, кто его отец. Я мать — и это очень древне. Сегодня я пью последний раз. Утром пойду к доктору.

Степан Федорович заботливо стал тушить свечи.

Утром Надежда Антоновна ходила к врачу. С Садовой от врача она шла Воротниковским и Пименовским переулками. Глаза Надежды Антоновны смотрели в запространства. У ломбарда толпились чуйки перекупщиков, — у того самого Пимена, которых было несколько, как установил профессор Полетика. Глаза Надежды Антоновны смотрели в запространства. Над Москвою строилось сражение дня — этого военного города Союза Социалистических Республик, когда Союз вел бой за социализм, бескровный, беспушечный бой, но бой по всем правилам сражений. Москва громыхала и фронтом и тылом одновременно, грузовиками дел, начинаний, свершений. Москва была одним плакатом, единым лозунгом, в команде штабов и армий, стальная, серая, непобедимая Россия. По Тверской два мужичка вели медведя на цепи, медведь понуро глядел на автобусы. Тверскую перерывали траншеи передельваемых мостовых. На углах сидели сапожники, чтобы тут же чинить обувь. Бабы толковали о том, что нельзя достать швейных ниток и электрических штепселей, исчезнувших за спинами боев. Боями были — Днепрострой, Турксиб, Сороко-Котлас-Обская железная дорога, Магнитогорский

комбинат, строительство на Оке. Страна переходила на хлебные заборные книжки, потому что перестраивала народное хлебное хозяйство. Страна, как Москва, была в походе. Москва шла к победе. История страны — шла. Люди жили фронтом. Люди были одеты одинаково в стандартные пальто, пиджаки, платья. Москва громыхала делами и свершениями дел, потому что не только ученые Штейнахи, Вороновы и Лазаревы знают путь к продолжению человеческой жизни, каждого человека в отдельности, путь медицины,— но есть и другой путь,— освобождения времени человека, освобождения человека и его труда, когда человек может осмыслить жизнь и построить ее своей волей. Этот путь строился войной за социализм, боями Турксиба, Днепростроя, Строительства.

Доктор, моя руки после осмотра, сказал Надежде Антоновне, что она, действительно, беременна, но что она также больна сифилисом.

Солнце над Союзом Социалистических Республик поднимается восемь часов.

В этом месте читатель благоволит просмотреть газету «Новая Река».

В день проезда из Ленинграда в Коломну в Москве, в номере Большой Московской гостиницы, Пимен Сергеевич Полетика, оторвавшись от чтения миней святых православной церкви Пименов, думал о повторности явлений. Тогда вспоминались детство, печерские пещеры, церковь Старого Пимена, где некогда он венчался, жена, супружество, просторный холод петербургской квартиры,— все это отошло, никогда неповторимо, в ломбарде. В ломбарде вместо плохого кагора продавали в буфете простоквашу и пирожные. Извозчик у Большой Московской говорил о голомяной жизни и о том, что через очки ни пиля не видно. Двадцать пять лет тому назад молодой инженер — жил человеческой весною,— его сменил ученик Ласло, взял его, профессора Полетики, весну. Раздумья заслонялись видением, глазами художника, новой реки под Москвою и рассыпались телефонным звонком букиниста, антиквар-

ною вежливостью. Старые Пимены не стали образом: самое страшное в жизни есть то, когда человек начинает ощущать ненужность,— так было с Антониевыми пещерами. Пимены, присланные антикваром, срослись с антикварами Бездетовыми. Академик Лазарев, вкапываясь в физические законы человеческой жизни, строя физические фундаменты человеческому бессмертию, установил, что самая высокая острота восприятий — в двадцать лет,— пусть так: взятое к двадцати годам человек сопоставляет всю жизнь.

Поезд, шаря в ночи, вез профессора в коломенскую старину к месту боя за социализм, причем бой этот давался профессором Полетикой. Наутро к строительству вышел бодрый старик, строитель, делатель.

И стало так:

— Вчера умерла моя жена, ставшая после меня женою Ласло. Она повесилась. Сегодня ее похороны,— громко и трудно сказал Садыков.

Солнце аккуратно обрезывало место фуражки на бритой голове Садыкова. Солнце светило очень ярко. Пимен Сергеевич спрятал свои глаза под брови, повторности явлений заключались в связь вещей. Жена Ласло,— дорога Садыкова — его, профессора Полетики, дорога: у обоих у них взял жен Эдгар Иванович Ласло,— но путь Садыкова страшнее. Мысли спутались в боль и — за болью — в нежность уже стариковскую. Старик не любил показывать свои чувства, брови его собрались в строгость. Он был чудакват, этот старик, достоинством строивший свою жизнь, особый, как все стареющие люди.

— Да, они — моя жена и моя дочь,— строго сказал Полетика и постучал о стол копытцами своих стариковских ногтей,— и на память пришли коридоры в петербургском доме, покой, простор, и порог в коридоре, с которого Пимен Сергеевич видел в последний раз Ольгу Александровну,— за порогом Ольгу Александровну ждал Ласло,— по эту сторону порога Пимену Сергеевичу оставались дела, труд, мысли, время.

На пороге столовой дома для приезжающих появился странный человек в опорках и в засаленном пиджаке, подстриженный без зеркала. Глаза и движения пришедшего были сумасшедши. Он поспешно совал всем по очереди руку, раскланиваясь и рекомендуясь: «Истинный коммунист Иван Ожогов до тысяча девятьсот двадцать первого

года!» Садыков поздоровался с сумасшедшим почтительно. Мысли Пимена Сергеевича путались во времени. Правило человека — быть благородным — есть необходимое правило не только в плане, так скажем, морали высшей, но и просто выгодное для человека, ибо быть благородным — и удобней, и выгодней, — и разумней, — разум же человеческий — превыше всего. Отклонения от норм благородства — есть патология.

— Который из вас старый большевик профессор Пимен Сергеевич товарищ Полетика? — нам надо поговорить! — крикнул Ожогов.

— Я — Полетика, — сказал Пимен Сергеевич.

— Вы?! — глаза сумасшедшего стали нежными и грустными. — Очень хорошо. Меня выгнали из партии в двадцать втором году за пьянство. Я, конечно, охломон. Однако — я — коммунист. Пимен Сергеевич, товарищ профессор! — приходите в нашу коммуноу, в наше подземелье! товарищ профессор Пимен Сергеевич! — честными, честными надо быть! Мне от вас ничего не надо, только будьте честным!

— Кто вы такой? — спросил Пимен Сергеевич.

— Вас еще не выгнали? — переспросил Ожогов.

— Откуда?

— Из партии.

— Нет. Кто вы такой?

— Я — погибший человек, пропойца и охломон, но истинный коммунист Иван Ожогов. У инженера Ласлы повесилась жена Федора Ивановича, — посмотрите на товарища Федора Ивановича, — на нем лица нет! Посмотрите на товарища Ольгу Александровну, на прежнюю Ласлину жену, — все время ходит с платочком у губ, губы придерживает, мается человек!

Глаза сумасшедшего светились грустью и нежностью. Он кричал, прижимая руки к худой груди, его руки дрожали, и дрожали в ознобе колени, у этого юродивого породы убиваемых, но не убивающих, у нищего, побироши, юродивого лазаря Советской Руси, юродство которого стояло за ним тысячелетием, от уделов, от царей. Старик дергался в судорогах и дрожал от головы до ног. У старика начинался припадок, слова проваливались в невнятицу и бессмыслие, — «честь, честь, честь!». Юродивые — на советской — на «святой» — Руси в такие минуты пророчествовали и проклинали. Инженер Садыков совал Ивану Кар-

повичу стакан с водою, вода стекала по бороде, подстриженной плохими ножницами без зеркала, грядками. Глаза сумасшедшего по-прежнему оставались добрыми.

— Да здравствует коммунизм, коммунистическая революция и честь!— крикнул Ожогов.

— Да, совершенно верно,— ворчливо сказал профессор.

Но Пимен Сергеевич не кончил. В погребах до июлей сохраняется снег, хранится зима: мысли Пимена Сергеевича ушли в зиму воспоминаний. Что бы ни было, все же каждый человек по-своему должен любить, решить свое место в труде, по-своему жить и умереть,— и у каждого должны быть и детство, и юность, и мужество, и старость,— и каждый имеет право на свою собственную честь. Студенчество уперлось в подполье, и сейчас забродили мысли по времени, как облака по небу в голомяный день, когда облака тяжелы и поспешны и над землею то солнце, то тучи.

— Да, да, совершенно верно, знаете ли. Когда я был студентом...

Ожогова унесли из столовой, забитого припадком.

Пимен Сергеевич просматривал планы, разметки сделанного,— планы на кальке и ватмане он видел миллионы кубов воды, формулы превращались в силы. Одно на другое ложились впечатления,— память об Ольге, похороны Марии, монолит строительства. Лето оказалось в погребке,— некогда дочь была маленькой девочкой, Пимен Сергеевич лялькал ее в здоровых тогда своих руках и пугал очками,— нынче она взрослый человек, женщина, коммунистка. Километры строительства, монолит, гранитобетон, котлован, отводной канал,— созданные уже,— возвращались в формулы, и формулы сделаны были уже не тушью на бумаге, но гранитом в природе. День проходил голомянен,— это слово привязалось от извозчика,— на солнце напозлали облака,— тогда все блекло на недолгие минуты, чтобы быть особенно золотым, когда возвращалось солнце. Пимен Сергеевич говорил в строгости, шетинился старчеством, был на монолите, когда женщины бросили тачки и пошли к городу. Прораб на велосипеде догонял женщин,— прораб ничего не мог объяснить, из конторы спрашивали: «забастовка?» прораб предполагал: «де-

монстрация?» Полетика сердито посматривал в небо и думал о том, что человек, человечество призвано не только перестраивать природу вещей, гнать обратно течения рек, впаивать в геологию монолиты,— но человек, человечество строит и монолиты понятий, перекапывая историю, строя новые человеческие отношения. Эти колонны женщин шли в будущее,— ни забастовка, ни демонстрация,— эти слова были ни к чему.

Рабочий день на строительстве был сорван похоронами чести. И в этот час растерянности Пимен Сергеевич ушел к себе, позвав за собою Садыкова, чтобы остаться вдвоем. За окном летали стрижи, предвещая дождь, о котором ничего еще не сказывало небо. Стрижи за окнами утверждали тишину. Пимен Сергеевич тяжело, в усталости сел на кровать. Комната пустела нежилой просторностью. Пимен Сергеевич попросил Садыкова взять стул и сесть поближе. Садыков сел. Пимен Сергеевич долго смотрел на Федора Ивановича, очень смущенно, сердитость его исчезла. Федор Иванович сидел, ссутулив плечи, смотрел понуро, землистый и усталый. Пимен Сергеевич улыбнулся ласково.

Старик заговорил:

— Я не случайно сегодня заговорил с вами, Федор Иванович, о наступающих пустынях. Впрочем, об этом еще успеем поговорить. Я сейчас думал о том, что у нас одинаковая судьба,— и это не верно, но я думаю о повторностях. Двадцать пять лет тому назад я венчался с Ольгой Александровной. Простите, что я не о делах. И у вас, и у меня жен увел Ласло. Ольга ушла от меня, и я знаю, что испытывали вы, когда от вас ушла Мария Федоровна. Да, я знаю, как это больно. Но я еще думаю, что у людей, следящих за собою, не бывает случайности, пусть прошла вся жизнь. Расскажите о себе. Вы бываете у моих?

— О чем же говорить? Мария Федоровна подчинилась своим инстинктам и погибла потому, что у Эдгара именно эти инстинкты были сломаны. У ваших я был вчера вечером,— я отводил Любви Пименовне собаку, оставшуюся после Марии,— собака выла и не хотела есть из моих рук. Я у ваших бываю часто.

Опять заговорил Пимен Сергеевич, подняв глаза к потолку, заглядывая в свои погребки, во время, в пространство, которые разносились в тот час стрижами.

— Надо разобраться. Уход Ольги Александровны от меня я считаю патологией. Но мне не все видно. Я видел

этих женщин, которые пошли на кладбище. Приостановка работ стоит несколько десятков тысяч рублей и гибели Ласло, ибо он, конечно, погиб. Но ломбарда в себе иметь не следует!— Пимен Сергеевич улыбнулся виновато.— Федор Иванович, я думаю, вы не откажете проводить меня к Ольге Александровне. У людей, следящих за собою, не должно быть случайности, или эти случайности — патология. Мы же хорошо жили с Ольгой Александровной. А теперь мы уже старики, не правда ли? И мне хочется повидать Любу, дочь. Я ведь ее очень любил и люблю.

Сказал Садыков, так же тихо и смущенно, как Полетика:

— Да, пойдите. Там будут вам рады.— Садыков помолчал.— Ваша дочь, Пимен Сергеевич,— чудесный человек. А жить надо просто.

Пимен Сергеевич поднялся с кровати, очень смущенный.

— Федор Иванович, вы понимаете...— сказал Полетика и засердился, засупился, засмутился.

За окном утверждали тишину и зной голомяного дня стрижи, обрезающиеся о воздух.

Бывают дни, когда человек должен быть дружен с землею,— бывают дни, когда люди заботливо делают все, что положено чином дня, чтобы не впасть в бесчиние боли. В доме сестер Скудриных был такой день. В такие дни по правилам русской провинции надо с утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июльским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от старых лип и кленов, и дикий виноград вокруг террасы прячет золото дня,— то самое золото, которое розлито над садом и упирается в головы подсолнухов у изгороди. Ольга Александровна заботливейше рылась в саду над грядками, чтобы зачинить время,— руки ее были в земле. Она ходила по саду и дому в красной косынке, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замараться землей. Она хотела быть в дружбе с землею, в этой редкой и счастливой дружбе, которая бывает у людей, умеющих любить, верить и быть верными, потому что только благородные по мыслям и помыслам люди могут любить, верить, быть верными. Чудеснейшее дело, утомляющее мышцы,— рыться в земле, тащить из грядок сорняки и видеть, как возрастает тобой посаженное, созданное твоими руками.

...У девочки Алисы были куклы. Одной из кукол, большой, тряпичной, чернильным карандашом Алиса пририсовала усы. Алиса никогда не называла отца папой, называя его, как мать, Эдгаром,— эту куклу Алиса стала называть — папой. В эту куклу Алиса играла тайком от всех, даже от Мишки. О том, что эта кукла называлась папой, Алиса рассказала только одному существу — собаке Волку. В дальнем углу сада, таясь от всех, в зное солнца, Алиса сажала на колени к себе папу, качала, ласкала, шептала: «Папочка, миленький, не горюй, приходи к нам, миленький, папочка!» Некогда Алиса спрашивала Эдгара Ивановича:

— Эдгар, мы живем или играем? Вот ты и мама, вы — живете, а я и Миша — мы играем в куклы. Мы с Мишей — живем или играем?

Громоздкая тряпичная кукла с ужасными чернильными усами была очень грязна и очень страшна. Ночами Алиса клала эту куклу под подушку своей постели, когда ложилась спать, потихоньку от всех, чтобы не отняли у нее папы и не узнали о нем. И днем в зное она ласкала его.

День ушел к закату, собирался закапать дождь, надо было спешить, первые капли прошумели по листьям. Ольга Александровна пошла на террасу за бечевками, чтобы подвязать горох,— и она не сразу узнала человека, кажется, в широкополой шляпе, кажется, с палкою в руке. В сад с террасы прошел Федор Иванович, чтобы оставить пришедшего в одиночество. Руки Ольги Александровны были замазаны землей. Навстречу Ольге Александровне шел бородатый старик. Старик любяще, удивленно, ласково смотрел на Ольгу Александровну. Пимен Сергеевич не мог смотреть иначе, потому что на террасе стояла женщина, единственная любимая, и потому что Пимен Сергеевич был добр, и потому что он видел, что Ольга Александровна так же сидит, как он, преждевременно поседевший.

— Сколько лет я не видел тебя, Ольга,— сказал Пимен Сергеевич и смолк, чтобы собрать свои мысли.— Вот я и пришел к тебе.

— Как ты изменился, Пимен,— сколько лет мы не виделись!— сказала Ольга Александровна.

И вдруг глаза Ольги Александровны наполнились слезами, она беспомощно заломила руки, замазанные землею.

— Я пришел к тебе, Ольга,— навсегда.

— Я пойду вымою руки,— сказала Ольга Александровна и — протянула руки к Пимену Сергеевичу, протянулась к нему всем существом,— руки, измазанные землей, обвилились вокруг его шеи.

Пимен Сергеевич поцеловал землю на руке Ольги Александровны. Ольга Александровна не отнимала рук, опустила голову. Жизнь может кончаться и начинаться может — каждый час, каждую минуту.

— А где Люба и вторая твоя дочка? Я решил, что я пойду к тебе в тот час, когда я узнал, что женщины пошли хоронить жену Эдгара Ивановича.

— Я пойду вымою руки,— сказала Ольга Александровна и не отняла рук.— Я ничего не могу сказать в объяснение.

В саду пела малиновка. Осенний дождь капал медленно, сиротливо, серо. Деревья притихли в дожде, смолкли, потяжелели. И малиновка пела очень сиротливо, очень одиноко. Федор Иванович сидел на скамье в саду, под дождем. Дождь намочил его плечи и землю перед ним, дождь смочил его лицо. Федор Иванович сидел сгорбившись, ссутулясь, неподвижно. По его рубашке потекли ручьи. В саду затемнело. В саду стемнело. Дождь лил и лил. Небо слилось с деревьями, с землей.

И тогда в сад пришла Любовь Пименовна. За нею по-нуро плелся Волк. Молча она села рядом с Федором Ивановичем. Волк лег около ее ног. Ни Федор Иванович, ни Любовь Пименовна очень долго не говорили ни слова. Дождь замочил Любовь Пименовну так же, как Федора Ивановича.

— Федор,— сказала Любовь Пименовна,— надо оглядываться назад, чтобы видеть будущее... На дне реки Оки нашли скифскую каменную бабу,— несколько лет тому назад я изучала историю этих баб...— Любовь Пименовна помолчала.— Эта баба — сколько лет она лежала под водой? Я сейчас была у человека, которому некогда дала слово быть его женой. Я сейчас была у него, чтобы проститься с ним. Он никогда не поцеловал меня. Сейчас вы поймете, почему я не пошла с вами к Маринкиной башне,— вы помните.

Любовь Пименовна замолчала, опустила голову. Федор Иванович взял ее голову, положил на свои колени и вни-

мательно смотрел, как капли дождя стекали по закрытым глазам Любви, смешиваясь со слезами,— или слез не было?

В дождливые вечера на террасах за диким виноградником всегда особенно хорошо, из сада пахнет цветами, сад темен, в саду шелестит дождь. И на террасе, когда мать и дочь ушли хозяйничать, мать — в дом, Любовь Пименовна в сад за редиской и салатом, Пимен Сергеевич заговорил о своих работах, прислушиваясь к дождю и шелестам сада.

— Я говорил вам о пустынях, Федор Иванович, наступающих на человечество, уничтоживших Атлантиду, Аравию, Месопотамию, Монголию, наше Заволжье. Пустыня наступает на нас, на Западную Сибирь и на Европейскую Россию, пустыня подбирается под самую Москву, предвестники ее, суховеи и мги, доходят до Нижнего Новгорода, Рязани, Орла, Киева. Пустыни страшнее войн. Пустыни возникают, потому что теряется равновесие между теплом и влагою,— когда тепла больше, чем противопоставленной ему влаги, солнце сжигает землю, уничтожает жизнь. А сколько гумусов каждую весну сносят реки в моря, вымывая из земли те соли и те химические составы, которые питают растительность. Реки веками промывали землю, оставляя песок и камни, бесплодно отдавая морям все то нужное, что питает жизнь.— Пимен Сергеевич помолчал, прислушиваясь к вечеру. Любовь Пименовна прошла мимо из сада, с пучками редиски и салата на тарелке,— лицо ее было счастливо. Ветер шумел в деревьях. Пимен Сергеевич заговорил вновь:— Я проработал проект того, как остановить пустыню, идущую на нас. Я составил уже и проверил карты и планы. Надо перекопать монолитом Волгу под Камышином и бросить ее в Заволжье, на Арало-Каспийские пески, на лессы Арало-Каспийской пустыни... В этой пустыне возникнут новые озера и реки, тысячи квадратных километров уйдут под воду,— но сотни тысяч квадратных километров оживут, отнятые у пустыни. Лессы, орошенные водой, площадь размером в половину Франции, насыщенные волжскими гумусами, будут отданы для посевов хлопка и риса. Пустыня превратится в древнюю Месопотамию, в дождях, в озерах, в субтропической растительности. Только одна десятая волжской воды дотечет до моря,— причем Волга будет впадать в Каспий не там, где она впа-

дает теперь, но в заливе Комсомольцев,— остальная вода, расплывшись по новым рекам, каналам и озерам, в виде пара уйдет в небо, создав паровую завесу от пустыни, вода отдастся земле дождями и грозами, оставив гумусы для хлопка и риса. Этот кусок земли в половину Франции будет богатейшим в мире,— и он будет форпостом культуры в пустыню, его сырым зноем, росами, туманами, ливнями. Волга, брошенная на пустыню, переделает климат пустыни и его географию. Волга, сменив свое русло, будет впадать в Каспий около залива Комсомольцев,— и Каспийское море изменит свои рельефы,— земли, залитые сейчас морем, выйдут со дна морского, в частности бакинские промысла, которые сейчас искусственно отнимают у моря.— Старик помолчал.— Я много лет работал над этой проблемой. У меня составлены карты, я проверил трассы и профили. Надо остановить пустыню. Мы остановим пустыню. Сейчас даже нельзя представить, что получит от этого человечество. То, что мы делаем здесь на Москве-реке,— это мелочь, но она связана с тем планом, который я обдумываю.— Старик замолчал вновь.— Вот о чем я хочу просить вас, Федор Иванович.

Старик замолчал. Из мрака пахло табаком и левкоями. Прошумел ветер, и слышно стало, как за ним посыпались на землю созревающие яблоки. Женщины накрывали на стол, мужчины стояли у барьера, под виноградными лозами. Любовь Пименовна подошла к Федору Ивановичу и облокотилась сзади на его плечо, чтобы послушать мужчин. Пимен Сергеевич улыбнулся дочери и глянул на них на обоих понимающим глазом.

И он сказал раздумчиво:

— Перекопать Волгу под Камышином, там Волга течет по наносам, и левый берег ниже ее горизонтов,— бросить Волгу на пустыню, создать форпост культуры, остановить пустыню — это возможность социализма, Федор Иванович. Я уже стар, Федор Иванович, голубчик. Мне не под силу взяться за выполнение этих планов. У меня к вам просьба. Я отдам вам мои проекты, карты, планы, чертежи, расчеты. Наша власть поможет вам.— Старик помолчал.— И вы уж позаботьтесь, чтобы они прошли в жизнь... А Люба поедет с вами, чтобы и там выкапывать века.

На террасе было очень покойно, к лампе летели мохнатые бабочки. Мужчины сели ужинать, и Ольга Александровна перед Пименом Сергеевичем поставила поджаренные сухари. У ног Любви Пименовны лежал Волк.

Запахи рыбы превращаются иной раз в запахи фиалки.

У сестер Скудриных, у старух Капитолины и Риммы, разное сложилось жизни, у этих провинциальных, столбовых потомственных коломенских мещанок. В Коломне донывали колокола. Тридцать лет тому назад на Римму Карповну пал всеколоменский позор любви, чтобы позор остался счастьем на всю жизнь. Все стало позорным в любви Риммы Карповны. Она отдалась казначейскому любителю на бульваре, и в Маринкиной башне она зачинала своих дочерей. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму Карповну, — и коломенские законы были на стороне законной жены. У Риммы родились две дочери, наглядное пособие коломенского позора, вписавшие собою в паспорт Риммы Карповны — «девица» — «имеет двух дочерей». Капитолина Карповна была всеколоменским примером, всем удовлетворявшая коломенскую честь. И прошло тридцать лет. Время застало, время просеяло: Римма Карповна знает, что у нее в жизни — счастье. А у Капитолины Карповны осталась только одна жизнь, одно счастье: жизнь и счастье сестры. Честь Риммы, подобно речным перекатам и плесам, оказалась сильнее всеколоменской чести Капитолины, позор превратился в счастье, ибо тысячелетье деда Назара Сысоева, водившего по Оке плоты, уперлось в монолит, сломавший тысячелетье. Природа не знает прямого движения, прямое движение абстрактно, как нуль. Законы течения рек — никогда не прямые — знают законы размыва своих русел. Профессор Полетика, исследуя условия залегания глин юрской системы на тальвеге Оки, установил, что долины Оки возникли, получили теперешние очертания и склоны еще до начала отложения меловой системы, в страшной древности: позднейшие осадки песка и мергеля мелового периода, показывая глины юрской системы, не имели столь мощной толщины, чтобы изменить черты юрского рельефа, и долины и водостоки мелового периода направлялись по прежним основным течениям.

Человек профессор Полетика сломал рельефы реки Оки, создав новую реку.

Охломон Иван Карпович Ожогов погиб в день, в часы возникновения этой новой реки.

Были дни, когда в Орловской, в Тульской, Калужской, Московской губерниях, на реках Москве, Угре, Жиздре, Плаве, Зуше, Нугре, Кроме сбрасывались воды с плотин,

потому что строительство монолита было закончено, монолит подпирает природу, готовый кинуть наново воды и создать новую реку, сделанную человеческой волей. И воды стали наступать на монолит, воды ползли вширь и вверх, чтобы пробить себе новое русло, приготовленное под Москвою, подмосковным каналом. Вода заливала луга, где лежали села Бобренево, Чанки, Парфентьево, Хорошево, Акатьево, отодвинувшиеся от новой реки. Вода залила дом Скудрина в Запрудях. Вода залила избу деда Назара в Акатьево. Сотни тысяч людей, приехавших и пришедших смотреть рождение новой реки, праздновали победу строительства. Башню Марины Мнишек, башню легенд,— ее подножие, обмывала вода.

Охломон Иван Ожогов погиб, окончательно сломав свой мозг. В часы, когда наступала вода, Иван Карпович, взяв своего пса Арапа, пошел с ним в подземелье кирпичного завода. Вода наступала на завод. Все охломоны ушли из подземелья. С каждой минутой все ближе и ближе наступала вода. Вода окружила завод. Иван Карпович сидел наверху у лестницы в подземелье. Пес жался к его ногам. Была ночь. Когда вода стала в нескольких саженях, Иван Карпович спустился к печи. Охломон лег на солому, приказав собаке лечь рядом, обнял собаку, повздыхал, закрыл глаза. Пес сиротливо положил голову на грудь Ивана, слушал шелест наступавшей воды. Во входную щель стал заползать рассвет, медленный, упорный, выволок из мрака обеденную доску, лист газеты на столе, кричащий завершением строительства. Иван лежал бородою и кадыком вверх, положив руку на спину собаке. Кадык остро торчал. Серый рассвет делал лицо человека очень бледным и бессильным. Рассвет выволакивал из мрака рассыпанную махорку на обеденной доске, опорки, глиняный рукомойник, жерло печи. Наверху шелестела вода, пахло водой, сырым простором. Ни человек, ни собака не спали. Подземелье наполнилось зеленой прозрачностью, тугой, как болотные воды. И человек, и собака подкарауливали друг друга. Вдруг наверху, на перекладину входа и на кусок печи, прорезав подземелье, упал золотой луч солнца. И собака не выдержала,— она бросилась наверх, она увидела громадное поле воды, обступившее вокруг, она бросилась вниз, прильнула головою к груди охломона, прислушалась, схватила его за плечо, затрясла. Охломон не двинулся, не открыл глаз. Собака завывала. Охломон улыбнулся. Пес опять бросился наверх, опять затрепал хозяина. И в это

время с грохотом и шипом, зеленая, бросилась в подземелье вода. Вода залила подземелье в две секунды, не больше, задавив и человека, и собаку.

Так умер Иван Карпович Ожогов, прекрасный человек прекрасной эпохи девятьсот семнадцатого — двадцать первого годов.

Мальчик Мишка не спал, карауля воду, теми ночами и днями, когда возникала река. Возникновение новой реки было для Мишки естественным первозданием, как для Ожогова и Садыкова первозданием были заводские гудки. Мишка бегал смотреть, как вода заливает старую водокачку, подступает, подступила к Маринкиной башне, залила ее подножье, опустила башню в себя, этот древнейший коломенский памятник, около которого веками летало разорение вороною души Марины, в которой умерла Марина и зачинала Римма. И мальчик Мишка в час смерти Ожогова был у Маринкиной башни.

Ямское поле.

Февраль — август 1929 г.

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

I

Овраг был глубок и глух.

Его суглинные желтые скаты, поросшие красноствольными соснами, шли крутыми обрывами, по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес,— глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.

Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога. В лесу было много волков.

На крутом, грязно-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задравшегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.

Птицы были большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие, квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и грубая грациозность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складыва-

лось как следует: так отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами за самку.

Гнездо поместилось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.

Самка всегда сидела в гнезде.

Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко кругом и внизу,— сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.

II

Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарождалась весна. По откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым запахом курились сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зелеными, долгими и гулками. Волки покидали стаи, и самки родили щенят.

Они встретились на поляне в лесу, в сумерки.

Эта весна, солнце, бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю, земную тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть,— когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них,— когда видел крадущегося волка, отлетал от него, чтобы спастись.

Теперь было не так.

Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Им владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу.

И когда однажды он увидел на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распутив крылья и задрал голову. Он косо и злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом. И у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и разрывая друг другу тело. Его противник оказался слабее и отстал. Он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, прихрамывая и волоча на земле окровавленное свое левое крыло.

Сосны обстали поляну. Земля была засыпана хвоей. Синело, скованное звездами, ночное небо.

Самка была безразлична и к нему и ко всем. Она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышшь, съела ее спокойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.

Так было всю ночь.

Когда же ночь стала бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его большое крыло, лаская и исцеляя, и, медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.

И он, тяжело двигая большим крылом, не замечая крыла, пьяный, пьяно вскрикивая, полетел за нею.

Она опустилась как раз у корней той сосны, где стало их гнездо. Самец сел рядом. Он стал нерешительным, смущенный счастьем.

Самка обошла несколько раз вокруг самца, снова исцеляя его. Потом, прижимая грудь к земле, опустив ноги и крылья, сожмутив глаза, — самка позвала к себе самца. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, став дерзким, приказывающим, — и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чувял, кроме этой сладкой муки, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая пред-утро.

Самка была покорной.

На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми.

III

Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурили. Снег лежал глубокий, сметенный в насты, хмуро склонившиеся к оврагу. Небо стлалось серо. Дни были коротки, и из них не уходили сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в безмолвии луна, и казалось, что от нее мороз становится еще крепче. Ночи были мучительны — морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захлаживал ноги, около клюва и спины. А блуждающий свет луны тревожил, страшил, точно вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно.

И птицы не спали.

Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего хотели бы утра.

Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус и от времени до времени больно сжимался зоб.

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к широкому, белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было умело. Надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица уже не сопротивлялась.

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо. И здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они один раз в день и наедались так, чтобы было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв. Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было

удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегает в нем кровь, переливается в кишках, доставляя наслаждение.

Самка сидела в гнезде.

Перед вечером самец, неизвестно почему, ухал:

— У-гу-у!— кричал он так, будто звук в горле его проходит через воду.

Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком,— как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собою комья снега, кувыркаясь и взвизгивая от боли.

Подползали сумерки.

IV

В марте вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки. Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не бродить, безвольные во власти предвесенней земли,— и их легко было ловить. Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка,— обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.

Днем самец сидел на лапе корня.

Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега.

Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была покорность, истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью.

В сумерки он оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал.

— У-гу-гу-гу-у!— кричал он, пугая лесных жителей.

И эхо в овраге отвечало:

— У-у...

Были синие сумерки. Небо вымащивалось крупными, новыми звездами. Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы, и все же было величественно тихо. Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, бодро-виновато, осторожно расставляя большие свои ноги, не умеющие ходить по земле, шел в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной страстью. Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья. Самка была доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:

— Да. Можно.

И самец бросался к ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему.

V

Так было с неделю, с полторы.

Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:

— Нет. Довольно.

Говорила, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора — пора рождения детей.

И самец, смущенный, виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.

VI

И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения, — до сентября, когда улетали птенцы.

Многоцветным ковром разворачивались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны украшались свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иванда-марья, чертополохи, многие другие травы.

В мае ночи были синими.

В июне — зелено-белыми.

Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага, белыми, серебряными пластами, стирая очертания мира, шли туманы.

Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы: большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они уже летали, все еще головастые, плачущие, нелепо дергая неумелыми крыльями. Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел думать и едва ли чувствовал, но чувствовалось в нем, что он горд, у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью.

И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чак, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнувших так же, как лесные пожары,— около пароходов. Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности. Над ним были звезды.

И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.

— У-гу-гу-гу-у!— кричал он, пугая ночь.

VII

Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны

и страшны. Веснами — он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухачь радостно, на все овраги сразу.

VIII

Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда и прощались уже безразлично. Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал.

IX

Так было тринадцать лет их жизни.

X

Потом самец умер.

В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей.

И самка бросила его.

Предвесной, в сумерки она улетела из гнезда.

Самец искал ее всю ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой. Старик был побежден. Окровавленный, изорванный, с вытекшим

глазом, он улетел к себе в гнездо. Он сел на свою лапу корня. И было понятно, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею. А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами, скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Ухали филины. Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул.

Его нашел волк и съел.

*Кривякино,
июль 1915 г.*

ГОД ИХ ЖИЗНИ

I

На юг и север, восток и запад,— во все стороны на сотни верст,— шли леса и лежали болота, закутанные, затянутые мхами. Стыли бурые кедры и сосны. Под ними — непролазной чащей заросли елки, ольшаник, черемуха, можжевельник, низкорослая береза. А на маленьких полянах, среди кустарника, в пластах торфа, обрамленных брусникой и клюквой, во мху лежали «колодцы» — жуткие, с красноватой водой и бездонные.

В сентябре проходили морозы. Снег лежал твердый и синий. Только на три часа поднимался свет; остальное время была ночь. Небо казалось тяжелым и низко спускалось над землей. Была тишина; лишь в сентябре ревели, спариваясь, лоси; в декабре выли волки; остальное время была тишина, такая, которая может быть только в пустыне.

На холме у реки стояло село.

Голый, из бурого гранита и белого сланца, изморщенный водою и ветром, шел к реке скат. На берегу лежали неуклюжие, бурые лодки. Река была большой, мрачной, холодной, щетинившейся сумрачными синевато-черными волнами. Избы бурели от времени, крыши, высокие, выдвинувшиеся вперед, дощатые, покрылись зеленоватым мхом. Окна смотрели слепо. Около сохнули сети. Здесь жили звероловы. Зимой они уходили надолго в тайгу и били там зверя.

II

Весною разливались реки: широко, свободно и мощно.

Шли тяжелые волны, рябя речное тело, и от них расходился влажный, придавленный шум, тревожащий и не-

спокойный. Стаивали снега. На соснах вырастали смолистые свечи и пахли крепко. Небо поднималось выше и синело, а в сумерки оно было зеленовато-зыбким и мающим грустью. В тайге, после зимней смерти, творилось первое звериное дело — рождение. И все лесные жители — медведи, волки, лоси, лисицы, песцы, совы, филины, — все уходили в весеннюю радость рождения. На реке кричали шумно гагары, лебеди, гуси. В сумерки, когда небо становилось зеленым и зыбким, чтобы ночью перейти в атласно-синее и многозвездное, когда стихали гагары и лебеди, засыпая на ночь, и лишь свербили воздух, мягкий и теплый, медведки и коростели, — на обрыве собирались девушки петь о Ладе и водить хороводы. Приходили из тайги с зимовий парни и тоже собирались здесь.

Круто падал яр к реке. Шелестела внизу река. А наверху стлалось небо. Притихало все, но чуялось в то же время, как копошится и спешит жизнь. На вершине обрыва, где на граните и сланце росли чахлый мох и придорожные травы, сидели девушки, сбившись в тесную кучу. Были они в ярких платьях, все крепкие и ядреные; пели они грустные и широкие, старинные песни; смотрели куда-то в темнеющую, зеленоватую мглу. Девушки пели неизбытые широкие свои песни эти для — парней. А парни стояли темными, взъерошенными силуэтами вокруг девушек, резко всгогатывая и дебоширя, точно так же, как самцы на лесных звериных токах.

У гулянок был свой закон.

Приходили парни и выбирали себе жен, споря за них, и враждовали друг с другом; а девушки были безразличны и во всем подчинялись мужчинам. Спорили, всгогатывая, и бились парни, шумели, и тот, кто побеждал, — тот первым выбирал себе жену.

И тогда они, он и она, уходили с гулянок.

III

Марине было двадцать лет, и она пошла на откос.

Удивительно было сложено ее высокое, тяжелое не-много тело, с крепкими мышцами и матово-белой кожей. Грудь ее, живот, спина, бедра, ноги очерчивались резко — крепко, упруго и выпукло. Высоко поднималась круглая, широкая грудь. У нее были черны очень — тяжелые косы, брови и ресницы. Черны, влажны, с глубокими зрачками

были глаза. Щеки ее сизо румянились. А губы казались мягкими, звериными, красные очень и большие. Ходила она всегда, медленно переставляя высокие свои, сильные ноги и едва покачивая упругие бедра.

Она приходила на откос к девушкам.

Пели девушки свои песни — затаенно, зовуще и неизбыто.

Марина забивалась в кучу девушек, откидывалась на спину, закрывала затуманенные свои глаза и тоже пела. Шла песня, расходилась широкими и светлыми кругами, и в нее, в песню, уходило все. Закрывались истомно глаза. Ныло сладкою болью неизбытое тело. Сжималось зыбко сердце, будто немело, а от него, по крови, шла эта немота в руки, в голени, обессиливая их, и туманила голову. И Марина вытягивалась страстно, немела вся, уходила в песню и пела; и вздрагивала лишь при возбужденных, всгогатывающих голосах парней.

А потом дома, в душной клетке, ложилась Марина на свою постель; закидывала руки за голову, отчего высоко поднималась ее грудь; вытягивала ноги; открывала широко темные, туманные глаза; сжимала губы и, снова замирая в весенней томе, пролеживала так долго.

Двадцать лет было Марине, и от дня рождения росла она, как чертополох на обрыве, — свободно и одиноко — со звероловами, тайгой, обрывом и рекою.

IV

Демид жил на урочище.

Так же, как село, стояло урочище над рекой. Только выше был холм и круче. Ближе подвинулась тайга; к самому дому протянули лесные свои лапы темно-зеленые, буроствольные кедры и сосны. Далеко было видно отсюда: беспокойную, темную реку, займища за ней, тайгу, зубчатую у горизонта и темно-синюю, и небо — низкое и тяжелое.

Дом с бревенчатыми стенами, с белыми некрашеными потолком и полами, сделанный из огромных сосен, весь завален шкурами медведей, лосей, волков, песца, горноста. Висели шкуры на стенах и лежали на полу. На столах лежали порох, дробь, картечь. В углах были свалены силки, петли, капканы. Висели ружья. Пахло здесь остро

и крепко, будто собраны были все запахи тайги. Были две комнаты здесь и кухня.

В одной из комнат посредине стоял стол, самоделковый и большой, и около него низкие козлы, крытые медвежьей шкурой. В этой комнате жил Демид, в другой комнате жил медведь Макар.

Дома Демид лежал на своей медвежьей постели, долго и неподвижно, прислушиваясь к большому своему телу, к тому, как живет оно, как течет в нем крепкая кровь. К нему подходил медведь Макар, клал ему на грудь тяжелые свои лапы и дружелюбно нюхал его тело. Демид шарил у медведя за ухом, и чувялось, что они, человек и зверь, понимают друг друга. В окна глядела тайга.

Был Демид кряжист и широкоплеч, с черными глазами, большими, спокойными и добрыми. Пахло от него тайгой, здорово и крепко. Одевался он,— как и все звероловы,— в меха и в грубую, домашней пряжи, белую с красными прожилками, ткань. Ноги его были обуты в высокие, тяжелые сапоги, сшитые из оленьей шкуры, а руки, красные и широкие, покрылись крепкой коркой мозоли.

Макар был молод и, как все молодые звери,— нелеп и глуп. Он ходил вперевалку и часто озорничал: грыз сети и шкуры, ломал силки, слизывал порох. Тогда Демид Макара наказывал — драл. А Макар переваливался на спину, делал наивные глаза и жалобно повизгивал.

V

Демид пошел на яр к девушкам, увел Марину с яра к себе на урочище, и Марина стала женой Демида.

VI

Летом росли, поспешно и сочно, буйные, темно-зеленые травы. Днем светило солнце с синего и влажного, так казалось, неба. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем: растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время алели слитые зори — вечерняя и утренняя — и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки.

У Демида Марина стала жить в комнате Макара.

Макар был переведен к Демиду.

Макар встретил Марину недружелюбно. Когда он увидел ее первый раз, он зарычал, скалясь, и ударил ее лапой. Демид за это его высек, и медведь стих. Потом Марина с ним сдружилась.

Днем Демид уходил в тайгу. Марина оставалась одна.

Свою комнату она убрала по-своему, с грубой грацией. Развесила симметрично шкуры и тряпки, расшитые ярко-красным и синим, петухами и оленями; повесила в углу образ богоматери; обмыла полы; и ее комната, пестрая и все по-прежнему пахнувшая тайгой, стала походить на лесную молельню, где лесные люди молятся своим божкам.

Бледно-зеленоватыми сумерками, когда проходила безнебная ночь и лишь кричали в тайге филины, а у реки скрипели медведки, Демид шел к Марине. Марина не умела думать,— ее мысли ворочались, как огромные, тяжелые булыжники,— медленно и неуклюже. Она умела чутя, она вся отдалась Демиду-мужу, и бледными, безнебными ночами, жаркая, пахнувшая телом, разметавшись на своей медвежьей шкуре, она принимала Демида; и отдавалась, подчинялась ему вся, желая раствориться в нем, в его силе и страсти, избывая свою страсть.

Белые, зыбкие, туманные были ночи. Таежная, ночная стояла тишина. Шли туманы. Ухали филины и лешаки. Утром же красным пожаром горел восход и поднималось большое солнце на влажно-синее небо. Поспешно сочно росли травы.

Шло лето, проходили дни.

VII

В сентябре пошел снег.

Еще с августа заметно стали сжиматься и сереть дни, и вырастали большие, черные ночи. Тайга сразу затихла, занемела и стала пустой. Пришел холод и заковал льдом реку. Были длинными очень сумерки, и в них снег и лед на реке казались синими. Ночами, спариваясь, ревели лоси. Они ревели так громко и так необычно, что становилось жутко и вздрагивали стены.

Осенью Марина забеременела.

Раз ночью, перед рассветом, Марина проснулась. В комнате было душно от натопленных печей и пахло медведем. Чуть начинало светать, и на темных стенах едва заметно синими пятнами светлелись рамы окон. Где-то близко около урочища ревел старый лось: по грубому голосу с шипящими нотами можно было узнать, что это старик.

Марина села на своей постели. У нее кружилась голова, и ее тошнило. Рядом с ней лежал медведь. Он уже проснулся и глядел на Марину. Его глаза светились тихими зеленоватыми огоньками, будто сквозь щелочки было видно небо весенних сумерок, покойное и зыбко-тихое.

Еще раз подступила к горлу тошнота, накатило головокружение,— и эти огоньки глаз Макара подсознательно и углубленно переродились в душе Марины в огромную, нестерпимую радость, от которой затрепетало больно ее тело,— беременна. Билось сердце, точно перепел в силках, и накатывало головокружение, зыбкое и туманное, как летние утра.

Марина поднялась с своей постели,— с медвежьей шкуры,— и быстро, нелепо-неуверенными шагами, голая, пошла к Демиду. Демид спал,— обхватила голову его горячими своими руками, прижала ее к широкой своей груди.

Понемногу серела ночь, и в окна шел синий свет. Лось перестал реветь. В комнате закопошились серые тени. Подошел Макар, вздохнул и положил лапы на постель. Демид свободной рукой взял его за шиворот и, трепля любовно, сказал ему:

— Так-то, Макар Иваныч,— домекаешь?

Потом добавил, обращаясь к Марине:

— Как думаешь,— домекает? Маринка!.. Маринка! Маринка!

Макар лизнул руку Демиды и умно, понимающе опустил голову на лапы. Ночь серела, вскоре по снегу пошли лиловые полосы, зашли в дом. Красное, круглое, далекое поднялось солнце. Под обрывом лежали синие льды реки, за нею рубчато поднималась тайга.

Демид не пошел в тайгу в этот день, как и много еще дней после этого.

Пришла, пошла, проходила зима.

Снег лежал глубокими пластами, был он синим — днем и ночью — и лиловым при коротких закатах и восходах. Солнце, бледное и немощное, едва восходя над горизонтом, поднималось на три часа, казалось далеким и чужим. Остальное время была ночь. Ночами зыбкими стрелами лучилось северное сияние. Мороз стоял молочно-белым туманом, нацепливающим всюду иней. Была тишина пустыни, которая говорила о смерти.

У Марины изменились глаза. Были раньше они затуманенно-темными и пьяными, стали теперь — ясными удивительно, спокойно-радостными, прямыми и тихими, и целомудренная стыдливость появилась в них. У нее стали шире бедра и увеличился очень живот, и это давало ей некую новую грацию, неповоротливо-мягкую и тяжелую, и опять — целомудренность.

Марина мало двигалась, сидя в своей комнате, похожей на лесную молельню, где молятся божкам. Днями справляла она несложное свое хозяйство: топила печь, варила мясо и рыбу, сдирала шкуры с убитых Демидом зверей, чистила свое урочище. Вечерами — вечера были длинны — Марина сучила на веретене основу и на стане ткала полотно; шила для своего ребенка.

И когда шила, думала о ребенке, пела и улыбалась тихо.

Марина думала о ребенке, — неизбытая, крепкая, всеобъемлющая радость полонила ее тело. Билось сердце, и еще сильнее подступала радость. А о том, что она, Марина, будет родить — страдать — не было мыслей.

Демид утренними лиловыми рассветами, когда стояла на юго-западе круглая луна, уходил на лыжах с винтовкой и финским ножом в тайгу. Стояли сосны и кедры, вычерченные твердыми и тяжелыми узорами снега, под ними теснились колючие елки, можжуха, ольшаник. Стояла тишина, задавленная снегом. В мертвых беззвучных снегах шел Демид от капкана к капкану, от силка к силку, глушил зверя. Стрелял, и долго в безмолвии плясало эхо. Выслеживал лосей и волчьи стаи. Спускался к реке, караулил бобров, ловил в полыньях очумелую рыбу, ставил верши.

Было кругом все, что знал всегда. Медленно меркнуло красное солнце, и начинали лучиться зыбкие стрелы сияния.

Вечером на урочище, стоя, разрезывал рыбу и мясо, вешал морозиться, кидал куски медведю, сам ел, мылся ледяною водой и садился около Марины, — большой, крижистый, широко расставив сильные свои ноги и тяжело опустив на колени руки, от него тесно становилось в комнате. Он улыбался спокойно и добродушно.

Горела лампа. За стенами были снега, тишина и мороз. Подходил Макар и шебаршил на полу. В комнате, похожей на молельню, становилось уютно и спокойно-радостно. Трескались в морозы стены, в промерзшие окна смотрел мрак. Висели на стенах полотенца, шитые красным и синим, оленями и петухами. Потом Демид поднимался со своей скамьи, нежно и крепко брал Марину на руки и относил на постель. Тухнула лампа, и во мраке теплились тихо глаза Макара.

Макар за зиму вырос и стал таким, какими бывают взрослые медведи: сумрачно-серьезным, тяжелым и неуклюже-ловким. Была у него широкая очень, лобастая морда с сумрачно-добродушными глазами.

IX

С последних дней декабря, с снежного праздника, когда выли волки, Марина стала чувствовать, как под сердцем у нее двигался ребенок. Он двигался там внутри, нежно и так мягко, точно гладилося тело поручней из гагачьего пуха. Марина полонилась радостью, — чужая только того маленького, кто был внутри ее, кто изнутри взял ее крепко, и бесстыдные, бессвязные слова говорила Демиду.

По рассветам там, внутри, двигался ребенок. Марина прижимала руки — удивительно нежно — к животу своему, гладила его заботливо и пела колыбельные песни о том, чтобы из ее сына вышел охотник, который убил бы на своем веку триста и тысячу оленей, триста и тысячу медведей, триста и еще триста горностаев и взял бы в жены первую на селе красавицу. А внутри ее, едва заметно, чрезмерно мягко, двигался ребенок.

За домом же, за урочищем были в это время: туманный

мороз, ночь и тишина, говорящие о смерти, и лишь иногда начинали выть волки, подходили к урочищу, садились на задние лапы и выли в небо, долго и нудно.

Х

Весною Марина родила.

Весною всполошились и разлились широко реки, зарябились сумрачными, щетинящимися свинцовыми волнами, берега облепили белыми стаями — лебеди, гуси, гагары. В тайге пошла жизнь. Там творилось звериное дело рождения, лес настороженно гудел шумами медведей, лосей, волков, песцов, филинов, глухарей. Зацвели и поросли буйные темно-зеленые травы. Сжались ночи, и выросли дни. Лиловыми и широкими были зори. Сумерки были бледно-зелеными и зыбкими, и в них на яру у реки, в селе девушки пели о Ладе. Утренними зорями поднималось большое солнце на влажно-синее небо, чтобы много весенних часов проходить свой небесный путь. Пришел весенний праздник, когда, по легенде, улыбается солнце, люди меняются красными яйцами, символами солнца.

В этот день Марина родила.

Роды начались днем. Весеннее, большое и радостное солнце шло в окно и обильными снопами ложилось на стены и на пол, покрытые шкурами.

Марина помнила только, что была звериная боль, корчащая и рвущая тело. Она лежала на медвежьей своей постели, в окна светило солнце, — это она помнила, помнила, что лучи его легли на стену и на пол так, как показывали они полдень, затем отодвинулись налево, на полчаса, на час. Потом, дальше все ушло в боль, в корчащие судороги живота.

Когда Марина опомнилась, были уже сумерки, зеленые и тихие. В ногах, в крови весь лежал красный ребенок и плакал. Около стоял медведь и особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами.

В это время пришел Демид, — он оборвал пуповину, обмыл ребенка и положил Марину как следует. Он дал ей ее ребенка, — удивительны были ее глаза. На руках у Марины был маленький, красный человечек, который беспричинно плакал. Боли уже не было.

ХІ

В эту ночь ушел от Демида медведь, ушел в тайгу, чтобы искать себе пару.

Ушел медведь поздно ночью, выломив дверь. Была ночь. У горизонта легла едва заметная полоса восхода. Где-то далеко девушки пели о Ладе. На обрыве из бурого гранита и белого сланца сидели тесною кучею девушки, пели, и около них темными, взъерошенными силуэтами стояли парни, вернувшиеся с зимовий из тайги.

*Коломна,
1916 г.*

СМЕРТЕЛЬНОЕ МАНИТ

I

Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами,— и все же нет запаха сладостнее, в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне — хрустальны.

То, чем встретит земля человека, то навсегда остается ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были луга, и Алена знала от матери своей, что желтый зверобой, июньского цветения,— бородавки со стеблей его и листьев настоянные,— идет людям от груди; что лапчатка желтая — от головной боли и простуды помогает очень; что тысячелистники розовые и белые — от порезов, от порезов же и столетник; что шалфей пряный — от зубов, от горла, от зубов же — ромашка, можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка; что мята сладкая — от хрипоты в груди; что чистотел невзрачный — оранжевый сок из корешков его — от бородавок; что сороконедужник строгий — от всех земных телесных болей; что единственная трава от змеиного укуса — цветочек незаметный, синий — звездочка; что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из изб чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы пред сенокосом в июне,— все они июньского цветения, кроме чертополоха, колкого и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки.

В июне родилась Алена, и навсегда осталось в памяти у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда.

Девочкой же узнала она, что — смертельное манит.

Рядом со сторожкой проходила насыпь, и шел через реку железный мост, по которому, рокоча, пролетали поезда. Весной, в полую воду, разливалась река, а люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала

весна, таяли снега, слепило солнце и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный барин. Был он молод и здоров, с фуражкой на светлых кудрях, в смазных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся.

— День-то какой, благодать! Тяга теперь какая. Через мост, значит, можно?— смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее.— Ах, благодать-то какая, тетка Арина!

Взглянул на Алену, усмехнулся, сказал:

— Дочка, что ли? Красавица будет. Ой, красавица!

Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел — не смотрел вниз,— вода по весне быстрая, закружится голова. Студент снял фуражку, тряхнул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду: чудом спасся,— нанесло его водою на старый бык, оставшийся от прежнего моста.

И вечером мать рассказывала дочери, что — смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда. Девочкой не поняла этого Алена,— в тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла, поняла уже девушкой: через несколько весен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит,— манит вода,— неведомое, смертельное,— и углубила, поняла, что смертельное манит повсюду, что в этом — жизнь, манит кровь, манит земля, манит — бог.

Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни и водила хороводы, встретила парня и полюбила его, и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрямилась, а потом покаялась дочери, говорила:

— Аленушка, ведь жених-то твой — родной твой братец. Грех... давно это было, молодая была, на сенокосе — согрешила с отцом его. Отец-то твой в солдатчине был. Грех приключился,— говорила тихо, шепотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых.

Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом и еще раз почувала, что — смертельное — грех манит;

грешное манит так же, как и святое, и рубежом всему — смерть.

Так прошла молодость, в избе под соломенным навесом, где были около небо, сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.

II

Потом била жизнь.

Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает, красота и радость любви — в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами, молодая, одинокая, с молодым своим телом, — в июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих двадцати лет, после которых редко берут уже девушку; поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано здравие раба божьего Алексея, первого ее жениха, кровного ее брата. Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, прядла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до двадцать четвертого года, остро начала тогда она чувствовать бога с смертельными его тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, — ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным.

С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло пятнадцать лет. Из Алены-девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу.

Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, — успел уже сильно разменять свою жизнь, так, как разменивали революцией ее многие русские бары: женился неудачно, метался с женой по России и за границей, все время тоскуя по тихой, разумной жизни; разошелся с женою не скоро и трудно, потратив на это все, что было отпущено ему для творения жизни; вернулся наконец в свою усадьбу, в Марьин Брод, поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бородою окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой.

И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты,— каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть; всем же отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь,— и не грех, если вековушка пойдет ко вдовцу в работницы, не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции,— не осудит никто: ведь цветет рожь и в цветении своем несет колосы, ведь ржут по весне в полях лошади, токуют на токах птицы и поют на откосе девушки.

Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку, в усадьбу Марьин Брод; уходя, остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо:

— Что же, прощайте. Ухожу.

И ушла,— никто не осудил, не понесла греха.

Опять был июнь. Во ржи в полях кричали перепела, небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп; шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко-вяжущий сок из будущих зерен.

III

В усадьбе у Полунина прожила она пять лет.

Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучок, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола. Сказала:

— Вот я, пришла,— и, как мать ее, платком утерла уголки губ, еще красивых очень.

Полунин был из тех русских бар, что ищут правду и бога, и позвал к себе Алену он, потому что полюбил ее и еще потому, что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляли хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней Жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно русское.

Через полгода у них родилась дочь Наталья,— и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как жизнь и Полунина,— вставала с зарей, молилась богу, шла доить коров, готовила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла. Никто к ней не ходил, не ходила и она никуда, кроме церкви. Зимой заметала их

метелица, весной к самой усадьбе подходила река, осенью шли дожди и стояли пустынные, ясные, холодные дни. Полуниин сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и — не примечал, верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы,— люди стареют.

Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой,— у Алены был еще июнь, пахнувший травами, с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла.

Смертельное — манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею — у нее в сердце. Хоронить ходили с Полуниным через мост,— разлилась река. Оттуда шли молча, рядом, на мосту остановились на минуту,— верно, каждый вспомнил о своей молодости,— пошли тихо дальше; в доме было сыро, пустынно и темно.

И когда подошел июнь, Алена решила — идти. Смертельное — манит, манит броситься с моста в полую воду, манит — в дали, в конец, чтобы идти, идти,— и есть люди, которые уходят.

Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами, жених Алексей, дочь Наталья, быть может, Полуниин, матерна тайна,— впереди осталось смертельное — бог и дорога.

Утром сказала Полунину:

— Ухожу завтра, прощай!

— Куда уходишь?

— Так... в монастыри... куда придется... в святые места.

И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раскусывала сладко-вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла,— чуяла, как пахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники — от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки — от змеиного укуса.

В монастырях молилась,— вынимала просвирки: за упокой...

Согрешила только однажды в монастырской гостинице, в темном коридоре; сладок грех около бога, и смертельное — манит.

Март 1918 г.

НАСЛЕДНИКИ

I

С Соколовой горы, говорит предание, пришел Стенька Разин,— и уже в книгах есть о том, что оттуда же подступал Емельян Пугачев. Соколова гора стоит над Волгою и степями, хмуро оборвалась в Волгу, разбойную реку. Стоит город над Волгою. У Глебычева оврага, около Старого собора (стоит у Старого собора пушка, Пугачевым оставленная), в старом городе, на взвозе от Волги, застряв от позапрошлого века, стоит старый дом с колоннами по фасаду, окрашенный охрой. Некогда в доме давались балы и жил именитый дворянский род Раstorовых. Последние двадцать лет в доме, вместе с домом, умирала старая хозяйка его, Ксения Давыдовна, старая дева. В тысяча девятьсот семнадцатом октябре она умерла, и в доме, сыром, холодном, разваливающемся, раскраденном, жили — наследники. Разметались было по лицу России, строили свою жизнь в Петербурге, Москве и Париже, двадцать лет дом пустовал, умирая,— пришла революция, взметнулась народная вольница: сородичи Раstorовского рода собрались в свое гнездо,— от революции, от голода.

Над степью, Волгой и городом творились метели, скакали снежные кони,— творилась революция, вольная вольница. Комнаты в доме были старые, темные, сырые, холодные. За окнами был Старый собор, и под взвозом лежала Волга, в белых снегах, с замерзшими пароходами у пристаней, в семь верст шириною.

Сначала в доме жили коммуною. Но, верно, коммунизм слишком несовершенен для генералов — разгородились, окопались каждый в своей комнате, каждый со своим горшком и самоваром. Живут в доме злобно, скучно, мелочно, ненужно, проклиная революцию и жизнь, живут, оторванные от жизни, вне жизни, обернувшись к старому.

II

В семь часов, когда еще синяя муть, просыпается генерал Кирилл Львович, надевает бухарский халат с кистями и, запалив свечку от лампы, идет в нужник. В нужнике холодно, клубит пар, на стульчаке, как в трактирах, грязь и ледяные глетчеры, генерал хрипит строго, зажимает нос, затем будит жену и шипит:

— Анна! Это черт знает. Это черт... Спроси у твоих родственников, кто так портит ватер?— ведь у нас прислуги нет!

В комнате тесно наставлены вещи. Это и спальня, и гостиная, и столовая. В приземистые оконца, в тяжелых шторах, идет синяя муть.

— Ведь у нас прислуги нет! Черт. Сегодня ставить самовар твоя очередь. Гильз нет?— Генерал ходит по комнате с руками назад, пальцы его в бриллиантах.

— А тебе идти в районку за хлебом,— говорит Анна Андреевна.

— Знаю. Оставь, пожалуйста. В доме живет четыре семьи и не могут организовать, чтобы по очереди ходили за хлебом. Дай лист бумаги, чернила и кнопки.

Генерал садится к столу и пишет:

«Господа! У насъ нѣтъ прислуги, мы сами должны убирать за собою. Не всякій можетъ садиться орломъ, и потому прошу быть аккуратнѣе.

Кириллъ Лежневъ».

Кирилл Львович — не наследник, из рода Расторовых его жена, он приехал с нею. Кирилл Львович берет свое объявление и вешает его у д в е р е й н у ж н и к а. Затем опять ходит по комнате, поблескивая бриллиантами, и говорит ворчливо:

— Черт знает. Сергей с семьей занимает три комнаты, а мы одну. Я уеду отсюда. А еще родственники. Гильз нет?

Анна Андреевна — тихая, усталая, слабая — говорит устало:

— Знаешь же — нет. Сейчас поищу окурки. Лина иногда бросает не вывернутые.

— Ишь какие буржуи: окурки бросают, прислугу держат!..

В темном суставчатом коридоре навалена рухлядь, по-

тому что коридор никто не желает убирать. Анна Андреевна роется в бумагах и соре около печки Сергея Андреевича (жена его — Лина), отворяет дверцу и видит, что домработница Леонтьевна, одноглазый циклоп, положила дрова березовые,— когда условлено было топить сначала гнилушками от беседки. Генерал сладко курит папироску «своего» табака, затем идет на двор за дровами, приносит гнилушки. Самовар уже готов, генерал пьет чай, много и долго, Анна Андреевна топит в коридоре свою печь. Светлеет медленно, по-зимнему, мутно.

За стеной уже проснулась семья Сергея, заведовавшего отделением в министерстве, и слышно, как Лина говорит детям:

— Кира, ты уже достаточно съел белков, возьми углеводов.

— Картошки?

— Да.

— А зиров?

— Ты уже достаточно съел жиров.

Генерал ворчит:

— Не едят, а питаются!..— и отрезывает себе кусок сала, с белым хлебом, чай пьет с солодским корнем и сушеной дыней.

Дом просыпается медленно, по коридору, около открытой двери генерала, ходят с ночными горшками, пустыми самоварами, с зубными щетками и полотенцами полуодетые и заспанные. Генерал пьет чай, наблюдает и злится. Боцает мужскими сапогами циклоп Леонтьевна, домработница Сергея, с биржи,— смотрит хозяйственным своим одиноким глазом в печку Анны Андреевны и говорит:

— А дров-то вы как следует наложили,— много.

Генерал отвечает из своей комнаты:

— А вы березовые взяли!

Циклоп вспыхивает, бьет себя по ляжкам,— происходит очередной скандал.

— Как?! Мне не доверяют, за мной следят! Лина Федоровна, пожалуйста расчет, я в биржу пожалуюсь!

Лина Федоровна кричит от своей двери:

— Как?! Ей не доверяют, за ней следят! У нас в доме шпионаж! А еще интеллигентные люди!

— А дрова-то все-таки березовые!

— А еще интеллигенты!

Генерал появляется в коридоре и говорит строго:

— Не нам рассуждать, Лина Федоровна. Мы здесь не наследники. Вот мне очень странно, почему Сергей занимает три комнаты, а Анна одну,— очень, весьма странно!

III

И скандал растет. Генерал одевается и уходит, довольный, в очередь за хлебом. Лина стремится к мужу. Муж идет объясняться, генерала уже нет, он говорит с сестрой, Анной Андреевной.

— Это невозможно, это недопустимо, это сыск!

— Да пойми же ты, что все это из-за окурка,— отвечает тоскливо Анна.

Лина сидит наверху у Екатерины и рассказывает ей все во всех подробностях.

Анна идет к Константину, лицеисту, младшему брату. Константин говорит о том, что он занят и сейчас сядет за стол писать, но вскоре направляется к Сергею.

— Занят?

— Что?— занят, да.

— Позволь прикурить.

Закуривают махорку, которую называют «Кэпстэн». Молчат.

— А то, может, шахматшки? — говорит Константин.

— Да нет, собственно,— отвечает Сергей.

— Ну — одну?

— Ну, разве одну? Только одну!

Садятся и играют. Константин одет в потрепанный свой лицейский мундирчик, на пальцах у него, как и у генерала, и Сергея,— кольца, на шее старинная золотая цепочка: дело в том, что, боясь обысков, все драгоценности наследники разделили и носят на себе. Играют одну партию, затем вторую, четвертую, шестую,— курят, спорят, вновь условливаются не брать ходов. Генерал приходит с базара из очереди и прохаживается по коридору, заглядывает в дверь, наконец решается и входит.

— Молокососы, играть не умеете.

— Как умеем.

— Ну-ну! Ты не сердись, не сердись!.. Погорячились — и будет. Если я виноват,— извини старика. Я Кирку за газетой послал,— дал ему двугривенный на подсолнухи.

— Да я и не сержусь.

Ну, вот и отлично. Вы бросьте этого персидского шаха. Давайте префераншишко.

И садятся на весь день за преферанс, прерывают только затем, чтобы сходить в свои комнаты пообедать, у Сергея на второе «холодец» из верблюжины. Когда Сергей ремизится, он говорит:

— А все-таки, Кирилл Львович, у вас отвратительный характер!

— Ну-ну, молокосос!

IV

Денег нет. Опекуншей над владениями назначена Катерина Андреевна. Мужчины теперешний строй не признают. Лишь у Сергея остались деньги от проданного перед революцией имения (недаром у него работница).

У Катерины сидят две девушки, принципиально бросившие — одна гимназию, другая консерваторию, говорят вяло и помогают чистить картошку. Проходят Анна и Лина, и все вместе спускаются в кладовую, роются в старинных платьях, оставшихся от бабушек, в разных фижмах, робронах, тюнрюках, откладывают в сторону серебро, фарфор, бронзу, — после обеда придут татары. В кладовой пахнет крысами, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы.

К приходу татар собираются все. Мужчины садятся в стороне. Татары — двое их — здороваются со всеми по очереди за руку. Генерал сопит. Татарин-старик, в новеньких галошах на валенках, говорит Катерине:

— Как подживаете, барина?

Генерал закидывает ногу на ногу, качает ногой, говорит строго:

— Будьте любезны, — ваша цена.

Татары перебирают старье, хаотично хладнокровно, назначают несуразные цены. Генерал хохочет и пытается острить. Катерина злится, говорит наконец:

— Кирилл Львович, так же нельзя!

Генерал вскакивает, отвечает:

— Ну, да! Я не наследник! Я могу уйти.

Генерала успокаивают, торгуются с татарами, татары небрежно вскидывают на руке — старинные платья с кружевами крепостного плетения, старинные, ручной работы шандалы, подзорную трубу, ацетиленовый фонарь. В при-

земистые оконца заглядывают сумерки. В морозных сизых сумерках, точно через толстейшее стекло, виден Старый собор, помнящий Стеньку Разина, перезванивают колокола. Наконец татары хлопают по рукам, проворно-привычно свертывают купленное в кокетливые тючки, платят керенки из пузатеньких бумажников и уходят.

Тогда наследники делят деньги. Сидят в гостиной. Оконца в шторах; висят в марле (лет двадцать не снималась марля) кенкеты и люстра, портреты. Стоит желтый, дубовый рояль, плюш на мебели вытерся, полысел. В комнату идут полосами синие сумерки. Наследники одеты экзотически: генерал в халате, расшитом золотом, с кистями; Сергей в черной николаевке, с бобром; Лина в душегрейке на зайце; Катерина, опекунша, старшая, с усами,— в осеннем мужском пальто, нижней юбке и валенках,— в доме холодно. На всех надеты драгоценности,— кольца, серьги, браслеты, колье.

Сергей говорит нехрабро:

— Теперь трудное, в сущности, время,— я предлагаю разделить сумму по количеству едоков.

— Я не наследник,— вставляет быстро генерал.

Константин отвечает с холодной улыбкой:

— Я не разделяю социальных взглядов. Надо разделить по количеству наследников.

Спорят. В окна идет синий вечер, перезванивают колокола. Соглашаются трудно, Катерина приносит самовар, все идут за своим солодским корнем и хлебом, пьют чай, довольные, что не надо ставить самовара.

Вдруг неожиданно-тоскливо говорит генерал:

— В том тюрнюре, что сейчас продали, я поручиком-женихом встретил впервые тетушку Ксению... Если так будет еще... Если бы мне сказали, что большевики пробудут еще год,— я застрелился бы. Ведь я страдаю. Ведь мне очень больно. А я старик... Не стоит жить.

И были очередные слезы. Плакал старчески генерал. Плакала, всхлипывая басом, усатая Катерина. Плакала Анна Андреевна. В углу, обнявшись, стояли две девушки и тоже плакали,— их молодость и пьяное вино девичества остались за бортом.

— Если бы возможно было,— говорит Катерина,— я бы стала расстреливать, всех.

Вошли дети Сергея, Кира и Ира. Лина сказала:

— Дети, возьмите себе белков.

Кира намазал хлеб маслом.

В небе взошел месяц. Звезды стали четкими, черствыми. Снега сини. Волга пустынна. Место у Старого собора глухо, безлюдно. Мороз кует, сковывает. Барышни Ксения и Елена, Сергей, генерал — идут к дому, кататься со взвоза на салазках. Константин уходит в город, в клуб кокаинистов, — кокаиниться, говорить сусальные мудрости и целовать руки женщин, пропахших телом. Леонтьевна, домработница из биржи, циклоп, ложится в кухне на лавку, молится перед сном и засыпает, почив от дня, — степенная, скандальная.

Генерал стоит у крыльца. Сергей втаскивает наверх салазки, садятся трое в ряд, — Ксения, Елена и он, — и мчатся по скрипучему снегу вниз, на волжский лед. Санки летят стремительно, в снежных брызгах и скрипе, в колком, захватывающем дыхании морозе.

Мороз жестокий, жесткий, парной. Генерал хохлит, как воробей, мерзнет, кричит с крыльца:

— Сергей! Сегодня такой мороз, что обязательно лопнут водопроводные трубы. Надо установить на ночь дежурство.

Быть может, Сергею, тоже почти старику, в быстром саничном беге грезится счастье, — он кричит:

— Пустяки!

И вновь стремительно катится вниз от Старого собора, на Волгу, за барки и пароходы, к простору синих льдов, горящих зыбкими снежинками.

Но генерал уже взволнован. Он идет в дом, поднимает всех на ноги:

— Господа! Если мы не будем понемногу спускать воду, водопровод замерзнет — трубы лопнут. Мороз — двадцать семь.

— Но ведь кран в кухне. Там спит Леонтьевна, — говорит Лина.

— Разбудить!

— Нельзя!

— Ерунда.

Генерал идет в кухню, тормозит Леонтьевну, объясняет.

Леонтьевна вопит:

— Я в биржу пойду! Не дают спать! Лезут к нераздетой женщине.

Лина лепечет за Леонтьевной:

— Она в биржу пойдет! Не дают спать! Лезут к женщине...

Прибегает Сергей.

— Оставьте, пожалуйста. Я отвечаю. Дайте Леонтьевне спать!

Генерал говорит обиженно:

— Конечно, я не наследник.

VI

Над степью, над Волгой, над городом идет ночь, идет мороз. В мезонине тоскуют Ксения и Елена. Генерал не может уснуть. Константин приходит поздно, бесшумно пробирается к Леонтьевне. В окна дома идут синие лунные пласты света.

Водопровод за ночь промерз и лопнул.

*Саратов,
январь 1919 г.*

«SPERANZA»

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши одна над другой: чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтобы идти, нести грузы — на остров Зеленого Мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу.

И кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землею. Но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардека, когда корабль мечется в волнах овошинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни, нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях, — потому ли только, что это их будни? — и матросы всегда дальноторки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят — о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что они видели на ней. Кроме моря, мат-

росы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира. И матросы знают, что земной шар — даже не шар, а шаришко и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить; матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнингдрэссах¹ и в юбках мужчины, и голые с повязкой на чреслах и без повязки на них, — как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное, — матросы помнили, как всюду бьют людей, — и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой, и прекраснейшее в мире — любовь — у матросов была смрадна — негритянская, индейская, китайская любовь, — как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме и ночных красных фонарях. И на кубрике в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной звездой, на кладбище европейских вод, матросы вспоминают землю, ту, что «на берегу». Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человечьими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром. А на кубрике полярною ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили — темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш в безбрежности и — если штиль — горят, горят на небесной корке звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота? — не матросам же! А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст, и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды. Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места. Тесен мир.

¹ Вечерние туалеты (от *англ.* evening-dress).

И — ночь.

Имя кораблю — семитысячетонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все грузовые корабли, сохранившие в своих обычаях столетия рабских корабельных правил о мордобое стюварда и капитана, расчетов в каждом порте, английских морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой) — имя кораблю — «Speranza», что ли.

И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гуттаперчью, нет горизонтов, — там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардека; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля — вахтенный, им двоим не спать. На сотни метров вниз, на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь — безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на юте за ларем запасного руля на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью, — француз, англичанин и эстонец. Спит в рубке у спардека радиотелеграфист. Нынче утром китаец-кочегар пел на баке странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий; потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет идти к котлам, не хочет работать, он устал; и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардека в море, когда капитан хотел его побить; он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы головою вниз, и больше уже не выплывал из воды.

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антеннах, но радиотелеграфист спит у себя в рубке мирным сном. А если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский подкороль стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе

франка и счел радиоаппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов, о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить,— как политиканствуют политики,— как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире,— впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главное и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него,— и сколько есть еще сил, не познанных человеком?— и что человек знает твердо?— ведь утро придет огромным огненным шаром из воды, и день уйдет этим шаром в воду, и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной,— они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям. Ужели они знали такое, что не знаем мы?.. Но вот гудят антенны уже не в ветре, плачет приемник в радиобудке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то, какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На юте, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой, и огни трубок, зола на ветре, летят хвостом кометы в море, освещая руки; матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястреба,— они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвецов в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний

поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут; я глядел в эту пропасть — дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего — не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы — дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане — сволочи, байстрюки, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит, а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом, и — чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб, а если зазеваешь или слово — сейчас резиновым жгутом вдоль спины. Мы было собрались им помочь, — так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд, — и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит несладко... А бабы — ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалашы, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам — шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок — за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрепье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки каюты, складов — чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и чтоб корабль сначала медленно, кормой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть, сначала медленно, потом поспешно, чтоб потом — там, под водой, в темнеющей по дну мути, ему, кораблю, валиться в муть ко дну эллипсами, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом — спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга, а кроме них — безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России правят рабочие — —

Потом матросы идут спать, в трюм. Француз — третий стюард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в «рум», где на подвесных кроватях спят ирландец — второй стюард, негр-кок и помощник повара — еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщин для чиф-стюарда. Матросский запах и запах матросских кают — он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и — морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцем, чтоб не воняла, когда гниет. В нозрум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах ему был привычен, больно укусила блоха, константинопольская, потомок тех, которых король набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок — негр, много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для пориджа, соленую баранину, варенье из апельсиновых корок; у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького, он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса. Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей — в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, — о России, как часто и много думали об этой стране матросы. Он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков, — но это ему было неважно. Он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни, и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев, — и он старался представить себе — как там х о р о ш о... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни. А на кубрике боцман вспоминал свою Псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную — бесконечно звездную ночь, и мамины сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову, — он, боцман, сам уже за полдень своей жизни, семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих, —

живы ли? — он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством, но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился красным паспортом, он знал, что он едет домой и там — д о м а — он проедет в Москву, в Московский Кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский Кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой, в мозолях, руки отца.

Над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное, такое огромное, какое бывает только на морях, встает из воды солнце, красит красным свинцовые волны, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них дельфинам. Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентельмены!

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире — палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились, и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах; — такой спокойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта; и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов; крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами вроде тех, в которых кормят свиней, идут чередой за брекфестом на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытец матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными рукавами, в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах, во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истлило море... впрочем, в порту, на берегу, где они получают за весь рейс сразу, они наряжаются франтами.

И в кухне от стюарда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция — на кубрике никто не знает; и каждый знает поэто-

му, что революция на его прекрасной родине — на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы: где-то там — революция! Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, — он только что собирался закурить свою трубку, — бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в Порт-Петрограде, поет «Интернационал», и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы. Тогда отборнейшей русской матерщиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Байстрюк! — кричит с нижней палубы чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы. — Кто будет мыть тарелки капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом, — он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, горькое судно «Speranza», избороздившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сиднеи, — режет и режет воду.

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле. Там, в туманной мути вод, первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, «на берег», надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков — о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу — на земле. Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик. Тридцать дней морского перехода, тридцать дней

пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов, и восходов скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами — чтоб не мешали отливы и приливы,— под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь по крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе шуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору — перенаниваться, перекабальяться вновь на новый путь в моря; двоих скинул «с борта» капитан и взял двоих новых,— они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле — коль не поистине, то хоть стараться — мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам; и когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пылица шла чернейшей тучей — в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм; в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое же дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары — в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, были сирены таможенных катеров; в порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против — против полевого цветочка. Потом, в пять

часов, когда солнце пошло к западу, прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кренах, в клетках над кораблями, вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли — к городу, на землю, — незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих — тоже к городу, на землю — на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам — тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках — зеленой и мутной — выглянули нищета, тщета мирская, одиночество — —

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэлсе; один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальшборта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан в двухместном автомобиле, с очень элегантной леди. Капитан переоделся в ивнингдрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах, пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюарт. На спардеке запел песню вахтенный, — и песня оказалась русской, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда! А ты?

— А я, видишь, новороссийский!.. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы со вчерашнего дня не ели. Выходит, голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стювардом; стювард в крахмальной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит, и он кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюварды — сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на бо-

лотах, поднимается туман и холодеет, вода за бортом — неподвижна, зелена; потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на «Рюрике» очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят — ничего не поймешь, что бормочут. Ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим — стоит, а флаг уж поднят, — мы опять в лес... А жамкать охота — брюхо так и ходит, ну, решили — где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки, чтобы шкуру продать, и, значит, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, значить, в Австралию, в рабы, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла, — зато научились и по-шведски, и по-аглички, горьким опытом... Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь — везде клин и кругом шешнаццать. В Австралии дают землю задаром, — я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться, что не швед я, все-таки, а русский, — а тут у нас в России произошла революция, — и пошло с двух концов: англичане меня погнали, к бабе в штаны, как, значит, русского, всех русских гнать стали, — а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения... Бросил бабу, англичанка она, владения бросил, стал на корабль, ехать домой, — да не тут-то было: — четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, — не вплавь же к ней плыть!.. Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны, — благодетель говорит: — «паспорт вы, джентельмен, обязаны взять в царском посольстве...» — «Так, говорю, — а какого ж это царя посольство? Это, значить, врут, что Николай помер? Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящийся, только тогда ты, господин высококай, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц — советский — задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокой, потому сам трудящийся, а стоишь против рабочих...» Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь

я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании аглицкого закона.

Уже опеплился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь правят рабочие...

...В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме мюзик-холл, на углах паблик-хаузы, где, стоя, пьют пиво, виски и джин. Огни реклам — сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные — сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные панталоны,— потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и — придушенная — из мюзик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков паблик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стеками в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над улицами, над площадью — темное небо, которое там за пляжем сливается с морской мглой — —

Матросы со «Speranza» — четверо — франты — много пенсов оставили в паблик-хаузе за стаут, сидели в мюзик-холле, отдыхая, курия и хохоча. Потом они пытались счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японские магазины, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество; как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили виски и стаут и платили за них собственными шиллингами, читали «Дейли Хэралд» и купили на артельные деньги письменник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам и деловые, с приглашением на файфоклок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца,— по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице

было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка, у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плииз...¹

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неимоверно пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегдаям:

— Пожалуйста, к нам потанцевать, мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о родине и матерях... Девушки были очень покойны, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок. Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танцзале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога по-прежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плииз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки: негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

...На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-руп горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардеке — вахтенный, и вахтенному издали слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, в ночных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардека видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает,

¹ Пожалуйста... (от *англ.* please)

и вновь бежит стювард в мэс-рум — это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то привезенное из Азии... Стювард — в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо — грека — сосредоточено и бодро... Вспыхнула масленка в кухне,— кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стювард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляется? Надо спать.

Матрос облаял стюварда по-матерному,— по-русски,— и добавил:

— Генри очень болен, лежит, с утра тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стювард?

Стювард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам,— на столе чадила масленка; дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стювард?

Стювард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умоление, жалкие, всегда унижительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимона... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стювард, ведь покупал для моря,— сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри — пьяница!

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона!— Стювард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри

на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь,— придется тогда шить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к случаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята,— а как выйдем в море, и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки шить,— в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь — и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чуингом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона?— Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро, и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложив чуингом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чуингом, эту бесконечную жвачку моряков. В ноз-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно.

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень черно, как должно быть перед рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

...И снова корабль, семитысячетонный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальшборты углем,— идет в море. Он проходит Па-де-Кале, Ла-Манш, идет в Северное море — колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплавателей, где норманны и брит-

ты пошли впервые строить европейское благополучие и мир.

И Немецкое море — к вечеру — встретило «Speranz'у» штормом.

На корме, застаясь от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер — как свинец. Вода хлещет за фальшборты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть, и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековье, совсем — совсем-не-совсем — не изжило его, оно водой, как кровь, кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на — даже на морях!.. И эти могилы — не застят ли они подлинную жизнь многими своими жутями, одиноко-человеческими и промозглыми? — и не она ли — эта жуть — страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря «мы идем на берег», подчеркивают водяной их дом, но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно? — И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад? — И вода, и небо, и ветер — как свинец. И корабль — скорлупкой в них. Пустыня кругом — пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплюснутый мяч, и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью — буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо; ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну

точку, точно хочет сдуть корабль, к черту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь набок. И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля, возникает: душа, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой — каждой своей стальной частью — сталкивается с морем, с морским чертом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя — их и их вещи; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На нижней палубе под спардеком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде; над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами — ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бежит от матросов, толкаясь у фальшбортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям? Капитан склонен над компасом: Северное море — бурное море, много гибнет на нем кораблей, — кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику; гремят волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет, — и к вою бури — над ней гремит матерщина помощника капитана, грандиозная матерщина, в бога и в гроб. Кто вспомнит о плавающих по морям? — По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие и спокойные до предела — ибо иначе смерть! — матросы. Кто вспомнит о плавающих по морям?.. Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то и дело становятся полом, где все задраено, кроме людей на подвесных кроватях, двое курят трубки.

— И ты пойми только, значить, без денег... Значить, такие склады, продкомы то есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы.

Море — это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике у кормы на кораблях живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтоб идти, нести грузы — на острова Зеленого Мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардека, когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах, — потому ли только, что это их будни? — «Speranza» — это значит: — Надежда, — и символ надежды: — якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю — за донья морей.

*Никола-на-Посадьях,
август 1923 г.*

ГРЕГО-ТРИМУНТАН

I

Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно сказать о людях, что они просты, и никогда нельзя говорить, что просты люди. Эти люди были строги, молчаливы, медленны,— были просты — как просто море. Они знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты сухие,— что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат. Они умели их водить по морям, по ветрам и против ветров — от тримунтана на ливант, от острии на пунентий. И очень знали, когда с Азии дует широко, а с Европы маистра (так называли они осты, зюйды и норды,— и ветры с этих сторон). Они очень знали соль моря. Знали, что значит «в море», сиречь в шторм, когда надрывается гупошлеп, сиречь ветер,— что значит тогда лазать по вантам и путаться в такелаже. По той земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины шли только в море.

За поселком от моря шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом,— таким, каким обрывается в море Великая российская равнина. Туда к морю, в каменистую бухту, вела каменистая тропинка. И этой тропинкой уходили молодые в море, чтобы почти никогда — стариками — не возвращаться назад этой тропинкой, могилы себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети,— да изредка в греческой кофейне пили водку те, кто или уже навсегда сменял воды моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на время из рук руль и тросы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив на берегу. И еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне те, кто с моря пришел богатым,—

пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает, гуляет, нового ждет счастья и моря. Женщины оставались в поселке. Женщины перед закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву,— и их обдувал ветер, они козырьком прикладывали руки к глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не мешало уходящее солнце,— и смотрели в море, туда, где шли их капитаны, штурмана, подшхиперы, боцманы, юнги.

II

Их было двое — два шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшиеся крестами в бурю, в час, когда вместе они гибли. Они одновременно увидели — в детстве — солнце, поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море. И вместе они сошли в смерть.

Им одинаково задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги и пароходы,— потому что у них были красивейшие жены и были хорошие дети, потому что у них была удача и крепко сидели головы на крепких плечах. Николай женился пятью годами позже Андрея. Это были два друга, обменявшиеся крестами в гибели, чтобы обменять жизнь одного за жизнь другого: тогда там, в море, в снегу и ветре, в месяце декабре у берегов Сулина их трепали грего-тримунтан, они оба стояли у руля, в ночи, в ветре, в снегу — без компаса, без парусов, без мачт,— им не было страшно от той красноватой в свете фонаря воды, которая забегала на мостик,— и страшно было только лишь то, что руки окоченели и не было сил держаться за руль, разжимались пальцы; тогда они обменялись крестами на рассвете, когда их шхуну выбросило на берег.

Одного из них звали Николаем, другого — Андреем.

...Всегда о жизни каждого можно сказать, что она проста,— и никогда нельзя говорить так. У Андрея была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка,— вольная, как море и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын.

Андрей ушел в море, в синь Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, Порт-

Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за валанеей, за термаламой, за фигами, за коврами. Николай пришел с моря, с деньгами, с шальями, с маслинами. Николай, тою походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в море, надвигая на глаза картуз,— и тогда он говорил значительные фразы о Стамбуле, о Чанаке, о Мителене, о смирнских тавернах, о том, как созвездие, называемое Поясом Иакова, ночами на Средиземном море, только на кварту поднимается над горизонтом и опять уходит в море, в какие-нибудь двадцать минут; как запрыгивают на палубу летучие рыбы и как много сини в Эгейе — синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с ребенком за руку; море обдувало ее платье, косянка билась парусом; глаза ее были сини, глаза скифки, и скифски своевольно были сложены ее губы, просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии, Мария укладывала сына, и потом они пили вместе вечерний чай, в мелочных разговорах.

И поздно ночью, когда давно уже были убраны на ночь рыбацьи лодки и даже собаки полегли спать,— однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял кругленький столик, в турецкой расшитой скатерти,— перед диванчиком в подушечках. На столике лежали альбомы Афин и Стамбула, были кружевца под альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков, в рамках, уже засиженные мухами. Николай сидел на диванчике, Мария была рядом в кресле. Мария заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью.

И тогда заговорил растерянно Николай.

— Маня,— сказал он,— я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю, потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга, у меня в портах на берегу и в море на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу против моего друга, хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня, этого никогда не будет, и мы станем с тобой друзь-

ями, как были до сих пор, и я буду приходить к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга.

Как передать этот ночной их разговор,— об этой, должно быть, настоящей любви Марии,— когда Мария твердо сказала Николаю, что, если он не пойдет по ее воле, она солжет, наклеветает, скажет мужу, расскажет мужу, что он — друг мужа, Николай — добивался Марии, добивался ее чести.

— Маня,— говорил Николай,— не надо так поступать,— пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу очень большое горе, потому что он тебя любит. Лучше, Маня, давай забудем эту ночь и никогда не будем говорить об этом: я знаю, ты женщина молодая, и с кем греха не бывает... А я завтра опять приду к тебе чай пить.

Море дуло на берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни, перекатывало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил пить чай и шепотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастья людей, о том, что масло есть вещь масляная, и о том, как Пояс Иакова ночами в Средиземном море поднимается только на несколько минут и как танцуют смирнские танцовщицы.

Андрей пришел с моря. Его бриг остался в порту, на боте он пришел в поселок. В тот час, когда окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И, по обычаю моряков, в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с женой. Наутро Николай пришел к другу.

Два шкипера поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский мундштук, бочонок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария. Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленна в движениях, как бывает с женщинами после страстной ночи.

— Маня,— сказал Николай,— почему ты не посидишь с нами?

— Друзьям надо побыть одним,— ответила Мария и ушла к сыну.

Андрей и Николай выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли турецкие пиастры, греческие лепты, английские шиллинги, французские франки, и он, Андрей, только что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков-собродяг по морям; Андрей был в новом пиджаке и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца Хайфе.

III

Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай, — стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке «тихого плавания и бурной гавани», но иной раз держали и бурное море.

У Марии родилась дочь, ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунша, и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестной матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту возрастило то же море. Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом, — эта же ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? — на берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест и замирает предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.

Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой, и долго прикальвали ей флердоранж, цветы померанца. В церкви пел хор, невеста ступила первой на коврик.

И после венчания, в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фазтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена, — сказала, утвердила, спросила — о том, что дочь Марии — Мария —

обоих их крестная дочь — есть дочь Николая, — что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, — что Мария поклялась ей, — и молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фазтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне, — и Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтоб рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад, — чтобы — вот в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несурзацы.

Свадебный пир был в кофейне. Фазтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая и тихо сказал:

— Николай, ты мне — брат. И я тебе — брат!

IV

Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь — за тою синью, которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт Кардиф, — дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти.

И тогда умерла Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Ивановичем, — ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несурза-

ности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай — Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.

Андрей Иванович сказал:

— Коля, ты поухаживай за Маней.

И Николай Евграфович сел над постелькой Марии.

Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутылъ вина. Выпили. Молчали.

Тогда заговорил Андрей.

— Десять лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. Правда, что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что, раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей.

И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, — о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга и его жены. — Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на крыльчке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви.

— Должно быть, она любила тебя, — сказал Андрей.

— С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом, — ответил Николай. — Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?

— Должно быть, она любила тебя, — повторил Андрей.

— Тогда той ночью она сказала мне, — сказал Николай, — что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи, — но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви.

— Она любила тебя! — сказал Андрей.

Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в мире. Не шумело даже море.

V

И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать,— собою она повторила мать: как некогда мать, запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у Николая Евграфовича посеребрились виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем,— возникли полнота и медленность движений; они носили теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя нараспашку, фуражки, прошитые золотым позументом,— капитаны дальнего плавания,— разменивали пятый десяток своей жизни.

Человеческое время идет рожденьями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток, шел морями шесть месяцев,— в это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай Евграфович пароход Тихим океаном, Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии,— чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество,— что не выйдут к нему навстречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка,— сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня и постель будет пуста.

...О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.

Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матросы вытащили бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье, в белой косынке,— она быстро бежала.

— Дядя Коля, это ты?— спросила женщина.

Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли

вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню — на белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:

— Что же, тебя прислал отец?

— Нет, я пришла сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.

Николай Евграфович ничего не ответил, повернулся, постоял в двери, — опять повернулся, — неловко, потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб — и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках, так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки, и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины накладывала, хозяйничала — Мария и за чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно, пил, ел, посматривал, ни о чем не спрашивал.

После чая Николай Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к нему плечом. Ночь была черна и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые прожили трудную, в сущности, жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить, — жизненный опыт их родит консерватизм, они предрекают всегда всем правила, которыми будто бы сами прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю Шерстяную Ногу, что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и лимонами, что бригадины хуже трембак потому, что в шторм вооруженные мачты с реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно.

Тогда Николай Евграфович поднялся, чтобы пойти спать.

Он лег на опустевшей своей двухспальной постели. Мария легла в комнате рядом, в бывшей детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку на столик около кровати, взял книгу — приложение к «Ниве», полученное без него. Из комнаты Марии не долетало ни одного звука. Капитан потушил свет, тогда стали во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии.

— Маня, ты не спишь? — спросил Николай Евграфович.

— Дядя Коля, можно прийти к тебе? — ответила Мария.

Мария не дождалась ответа, скрипнула дверь, капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую по-ночному, с шалью на плечах, со свечою в руке. Свеча потухла, и Мария села около капитана на кровать, руки ее и голова упали на грудь к капитану, и Мария зашептала:

— Дядя Коля, папа, — мама мне говорила перед своею смертью, что ты мой папа, и просила у меня прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя, — и взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить и всю жизнь буду заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было десять лет, когда я узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом.

Капитан, как многие старики, был ригористичен и любил ставить точки над «і», любил доказывать, что масло вещь есть масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии, — сейчас он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь — и неправда может быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно положила голову к нему на грудь.

Старик-капитан отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой жизни, — заплакал в удивлении от непостижимости того, что несет иной раз

человеческая жизнь,— от любви к своей дочери, от забот о ней,— заплакал от старости,— заплакал, оплакивая ушедшее...

Ночь была черна, глуха так, что не выли даже овчарки.

VI

...Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты,— и никогда нельзя так говорить.

...Тримунтаны, грего, ливанты, пунентии, маистры, так называют моряки ветры — дуют с моря, и они же дуют в море — маистры, пунентии, ливанты, гарбии, острии. По той земле, где родился и жил капитан Николай Евграфович, некогда прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь на этом каменистом берегу, откуда мужчины шли только в море: здесь были и греки, древние и теперешние, и левантийцы, и турки, и славяне, и молдавы; они говорили на языке, окрашенном украинской речью,— но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марсея у них был иной язык, вроде такого:

— «Ту моргэ паране — море, и треба ми твэнти един хлиб».

Ветры иной раз дуют до свиста, но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и просвистываться серьезному человеку.

*Эгейское море,
3 ноября 1925 г.*

ЖЕНИХ ВО ПОЛУНОЧИ

Глава первая

Накануне Троицына дня, тринадцатого мая, из порта Портсмут вышло английское судно «Фрэнсис». Судно шло в Капштадт, в Африку. По пути оно должно было зайти в Нигерию, в английскую колонию, оставить и принять там грузы. И в Нигерию, в город Рида плыл на «Фрэнсис» мистер Самуэль Гарнет, клерк Нигерской английской каучуковой компании.

Океан встретил спокойствием, безмолвием и прохладой. Судно не было пассажирским, и на нем плыли только те, кто был связан знакомствами. В полдень, перед ленчем, капитан приходил в курительную комнату на спардеке и сам раскупоривал первую бутылку виски. Было все очень благополучно. После ленча кают-компания выносила лонгшезы на капитанский мостик и, допивая виски, подремывая, следила за чайками, за дельфинами и синевою волн. За все эти дни качки не было ни разу, океан покоивался.

Мистер Самуэль Гарнет женился за две недели до своей экспедиции, и молодая его жена, миссис Самуэль Гарнет, ехала с ним. Мистер Гарнет блаженствовал.

Он не был особенно образован, он был совсем не богат, но он знал все, что полагается знать джентльмену: от Библии до того, какой галстук надеть к таким-то носкам, как в каком случае сказать и состричь, как держать себя с людьми. Он ехал в Африку на несколько лет; он хорошо знал систему переписки с правлением Компании, качества разных сортов каучука, — об Африке же он знал мало, был знаком с ней по Бедкеру. Он был молод; сидя на спардеке, наблюдал море (которое можно наблюдать бесконечными часами), в лености и отдыхе, он перебирал в памяти, сколько носков и чулок у него и у его жены, как он простился с директором Компании, как он оставил в Лондоне текущий счет, куда просил ежемесячно вносить его коман-

дивочные, и сколько будет у него средств ко дню его возвращения в метрополию. На голове он носил пробковый шлем, на шее у него висели кодак и цейс, на ногах были белые бриджи.

Его жена, миссис Самуэль Гарнет, была менее жизнеспособна, чем он, но она лучше его знала, в каком чемодане и как положены их вещи, белье, сервиз, теннисные ракетки; у него, кроме книг по специальности (бухгалтерия и каучуковедение), был только один Бедекер: он знал, что всюду, где бы он ни был, его догонят любимые его газеты — «Пэлл-Мэлл», «Морнинг» и «Ивнинг Стандарт»; но у нее были книги: Шелли, Голсуорси, несколько книг, вышедших на этих неделях, несколько модных «мэгэзинов» и толстая кожаная тетрадь с надписью — «Дневник и стихотворения миссис Самуэль Гарнет»; у нее с собою было много почтовой бумаги и конвертов.

И она чаще сидела в каюте, роясь в вещах; не только потому, что она знала, что, когда мужчины сидят в курительной комнате, женщине неудобно туда идти, ибо они там ведут свободные мужские разговоры; иногда вечерами она шла на ют и смотрела на лаг, за корму корабля, назад, где страусовыми перьями клубилась вода и горели фосфорически во мраке медузы; мистер Гарнет не знал об одной книге, о маленькой книге стихов неизвестного поэта с малозначащей надписью на первой белой странице; эта книга была положена в кейс, недоступный для взоров мужчины, ибо он был полон тайнами женского туалета. Впрочем, многие вещи для этого кейса мистер Самуэль покупал сам. Впрочем, миссис Самуэль Гарнет никак нельзя было считать в какой-либо, даже малейшей степени, деморализованной: кто осудит женщину, которая две недели тому назад была девушкой, в маленьком тщеславии и в маленьких, не умерших еще глупостях!

Супруги Гарнет любили друг друга, и в десять часов они уходили в каюту с тем, чтобы через двадцать пять минут обоим пройти — обоим в пижамах и купальных халатах — в ванную комнату.

На пятый день моря мистер Самуэль тщательно проверил поданный ему счет, сверил его со своим блокнотом, — и в полдень на горизонте очертилась лиловая полоса земли. В три часа судно стало на рейде Акасса, в дельте Нигера.

Еще из Лондона было дано радио. К судну подошел инспекционный катер. Мистера Самуэля Гарнета встретил

проводник. По воде около судна мельтешили в высоконосых лодках голые негры,— главным образом мальчишки.

Проводник мистера Самуэля называл «сэрром», а миссис — «леди».

Сэр Самуэль Гарнет был покоен, деловит и ничему не удивлялся так же, как если бы он сходил с парусной лодки в Брайтоне, после пикника; но леди Самуэль удивленно смотрела на чернокожих, на зеленую воду, на необыкновенные деревья на берегу, на лианы, пальмы и на другие деревья, которых она никогда не видела и не знала, как назвать.

Катер взял их и их чемоданы.

В европейской коляске, к которой очень странно был приделан зонтик, их повезли на пароходную пристань.

Мистер Самуэль говорил с важностью министра, ему не было даже жарко, но миссис Самуэль скоро сказала, что от жары у нее мутится голова, заполыхивает сердце; мистер успокоил ее, что на пристани они съедят чего-нибудь холодного — «айс-крим-сода». Они проезжали мимо соломенной деревни, безмолвной в этот час жары, где негры, наперекор европейским стихиям, жили так же, как они жили испокон века,— голые, с ручными мельницами и, очень возможно, с луками.

На нигерском пароходе было опять европейски комфортабельно, негры были в белых костюмах и говорили по-английски. А за пароходом тянулись необыкновенные леса, изредка лесные разработки, изредка соломенные негритянские деревни. Миссис Самуэль стояла на палубе и хотела повидать крокодила: ей сообщили, что хотя крокодилов здесь и очень много, но все же их здесь труднее видеть, чем в зоологическом саду.

Через день чета Гарнетов была на месте цели своего вояжа. Компания отвела мистеру Гарнету небольшой коттеджик, трехэтажный, меблированный (даже был небольшой винный погребок); при домике был выезд о двух лошадях, четыре негра,— две женщины и два мужчины. Дом стоял на берегу реки, на поляне, на опушке леса, неподалеку от разработок. Миссис и мистер Гарнеты первые дни носили с собой браунинги, боясь нападения тигров; но им объяснили, что тигры в этих местах не нападают на людей, и они повесили револьверы у своих изголовий.

Ночами в лесу (мистер Гарнет обязательно говорил — не просто лес, а тропические леса) кричали незнакомые

звери, выли гиены: тогда миссис перебежала со своей постели в постель мужа. Днем муж уезжал в контору, она одна писала дневник.

.

Глава вторая

.
.

Имя его, этого инженерного солдата, в отличие от миллионов его братьев и сестер,— Он; в отличие от братьев и сестер потому, что и у сестер, и у братьев пол стерт,— и Он,— потому, что никогда не узнается, есть, была ли у него, у этого инженерного солдата, индивидуальность, особенность, отличающая его от его братьев.

В подземелье, за лабиринтами подземных ходов, зал, кладовых, стойл, спален, складов, выложенных пометом его и его братьев и сестер, где миллионами шли рабочие и на перекрестках стояли часовые-солдаты, солдаты-полисмены,— там была комната Матери.

Если бы он когда-либо видел европейский средневековый замок, он мог бы сравнить быт камеры Матери с бытом этих замков, но он не мог мыслить, и он никогда не узнал об европейских средневековых замках. Подземелье Матери было огромно, со сводчатыми потолками, с десятком потайных и открытых ходов в него. Там, у входов в комнату, стояли крепостные солдаты, шеренгой, жвалами наружу, опустив головы. Тысячи рабочих работали около Матери, и сотни полисменов подгоняли их. Мать, чудовище, лежала посреди зала, столь толстая, что спина ее касалась потолка, неподвижная, слепая, зеленовато-белотелая, сырая, потная. Рабочие, пигмеи рядом с ней, чистили, скребли, облизывали ее, ползали по ней и вокруг нее, пили ее пот. К ее рту шеренги рабочих тащили со складов пищу и совали ей в рот. От времени до времени солдаты бежали убрать ее помет и привести ее в порядок. Каждую секунду судорожилась Мать, от головы по животу шла волна натуги — и возникало каждую секунду яйцо; тогда бежал рабочий, мыл яйцо и нес его на склады.

Так — ежесекундно — Мать выкидывает ребенка,— так жила Мать днями, неделями, месяцами, годами, слепая, не имеющая сил двинуться, страшно жирная, истекающая потом, который едят рабочие.

Так рабочие таскают яйца и полисмены-надзиратели подгоняют их — в совершенном мраке, в подземельях, по лабиринтам, построенным из помета инженерных солдат и рабочих.

Рядом с Матерью, сбоку, стоял Отец, также слепой, также с обломанными жвалами, — также его облизывали и кормили рабочие, но он мог двигаться и бить солдат и рабочих, подгоняя их к труду.

Там, в камерах, где сложены яйца, из этих яиц потом возникнут миллионы братьев и сестер, солдат и рабочих, которые, родившись, потеряют пол, сравниются, чтобы трудиться, строить лабиринты, кормиться, защищаться, нападать, ходить походами, повиноваться, умирать, убивать, — никогда не думать, только повиноваться: — и только сотням на миллионы выпадет счастье быть крылатыми, летающими нимфами.

Там, над замком этого государства, днями ходит дневное светило, то, которого никогда не видят Он и его братья, — ночами там светит ночное светило, то, которое есть его спутник, — там идут стихии, ливни, грозы, засухи, жары — там мир врагов.

В центре города — огромный, сводчатый, готический пустырь, с четырьмя арками и множеством колонн, вокруг него грибные сады, детские сады, магазины с пищей, рабочие бараки. В грибных садах, где нечем в духоте дышать, необыкновенные, фантастические растут растения, серые, шарообразные, пахучие: шары разных величин, шары, шарицы, шарики, эллипсы, картофелины шаров, — по земле меж шаров тянутся корни, на которых держатся эти шары; они осклизлы, как и шары, меж шаров и по шарам ходят садовники и молодежь. За садами в подземельях зарыты, сокрыты скалы сладостей, янтари смол и соков сахара, клея, варенья, — там у входов стоит стража.

Там, за большими дорогами, в стенах, в башнях, в бойницах торчат головы бронесолдат, стражи, гарнизона — стерегут чужой мир, всегда готовые вступить в бой, убивать своими жвалами и умирать.

В стороне от больших дорог и переулков — на бойнях — солдаты убивают рабов, стариков рабочих, стариков солдат, калек, и туда идут солдаты, чтобы есть убитых и уносить запасы на склады. Там в тюрьмах сидят рабы, стафилины, которых ловят и хранят и кормят из-за их по-та, действующего, как наркоз, как алкоголь: рабы закормлены, они неподвижны, — их перетаскивают с места на

место, когда им надо родить, их трупы уносятся на бойни, когда они умирают,— их пот хранится на складах,— их кормят пометом. Там, на миру, за городом, за крепостями — поймана дойная скотина, червецы: стада их пасутся в загонах, в крепости, охраняются, кормятся, доятся, пасутся; они умирают,— но новых и новых несут из мира, с полей, из-за города.

В городе, в крепости грандиозные идут строительства.

Минеры, каменщики, инженерные солдаты воздвигают новые и новые постройки; рабочие, миллионы, идут вниз в подземелья, едят землю, грызут землю и идут наверх, к стройкам,— там рядами стоит стража,— там командуют инженерные солдаты; там рабочие кладут принесенную землю; извергают землю из своих желудков и мочат ее своим пометом,— а инженерные солдаты разминают землю и помет, вновь пережевывают ее и возводят новые и новые стены, башни, пещеры, склады; минеры рвут старое; тогда рабочие, сотни сразу, тащат камни прежних циклопических построек.

В подземельях рабочие несут запасы с полей и из колоний. Там, в подземельях, собираются миллионы рабочих и солдат — для новых походов, завоеваний, войн, грабежей.

Там, в подземельях, в переулках, на дорогах — прокислый, сырой, нехороший воздух: другого они не знают, и если они идут в поход (миллионноголовым, им много надо есть), впереди них идут минеры; минеры роют земли, прорывают подземные ходы, строят галереи,— строят по дороге склады, бараки,— минеры работают ночами, когда их не видно, работают поспешно, ловко, быстро, упорно; и только тогда, когда дороги готовы, когда приготовлены биваки и склады фуража и амбары для добычи, тогда выступают армии, миллионы рабочих и солдат; они идут стройными колоннами, а минеры идут вперед и вперед,— если им встречаются преграды, они изнутри вникают в них и долбят их изнутри, пока те не рассыпаются в порошок; они идут невидимые, во мраке, бесшумно, миллионами (тем страшнее они!). Но иногда рушатся их ходы,— тогда они идут на свет колоннами армий, солдаты впереди, тесно друг к другу, миллионы сразу,— тогда они шипят, грозятся, злобствуют, сторожевые солдаты захватывают все возвышенности, сигнализируют,— колонны строятся армиями, командиры вперед: если нарушил их путь враг, они не от-

ступают перед врагом,— они идут умирать, и всякий враг, даже белый человек, бежит перед ними.

Об этом мощном государстве нельзя сказать, что оно есть империя; императорская власть — власть Матери и Отца — неподвижна, бессильна, подчинена, как бессильна, подчинена власть и жизнь каждого жителя этого государства, который не знает смерти и идет умирать за всех, идет умирать на корм своим же сестрам и рабам, ибо рабов кормят мясом хозяев. Это государство никогда не видит света, государство — машина, государство без индивидуальности, без собственности, без инстинктов.

Он, инженерный солдат, сделал много походов, много проложил траншей и галерей и биваков для армий, для походов на грабежи, для походов в войны.

Это были дни, когда однажды — однажды! — государство безумствовало, — государство, где не было, не могло быть глупости, — делало глупости: это были дни, когда улетали нимфы, единственная глупость, единственные лирика и романтика. Нимфы обладали полем и могли любить. Государство знало, что на завтра полет мужских нимф! — и наутро был полет девичьих нимф. Ночью он и его братья прорывали, продалбливали стены своих башен, чтобы однажды — однажды! — увидеть дневное светило.

И сначала в эти ворота пошли солдаты, чтобы умирать, драться, бороться с теми врагами, кои пришли убивать и подкарауливать нимф; государство не жалело для этого дня своих жизней, оно шло в солнце, — оно посылало жить и умирать.

И наутро, в солнце, в голубом благословенье дня, из подземелий к солнцу пошли серебряные, крылатые, видящие — видящие! — нимфы-девушки, те, которые, если не умрут, станут царицами новых государств.

Они шли темными лабиринтами, темными площадями, глухими закоулками — к свету, мимо рабочих, мимо солдат, — и там, наверху, на верхней башне замка, они прощались с родичами, не похожие на них, прекрасные, крылатые, — они улетали к солнцу, в синеву, в день, в просторы, — чтобы там, в просторах, встретить, найти, — свободно, случайно, — найти любовника: там, в голубых просторах, они были беззащитны, все в случайностях, — они летели или жить, или умирать, и солнце светило им, они летели серебряным дождем, там они найдут пару — —

(Впрочем, потом, когда они найдут пару, парой они врыются в землю, чтоб навсегда исчезнуть для света,— они потеряют глаза, они обломают себе крылья, они потеряют жвала, они разучатся самостоятельно есть, и Мать, разжирев, разучившись двигаться, будет только детородильной машиной, будет родить ежесекундно многие годы — —)

А те, которые остались в старом государстве, и Он в том числе, когда улетели нимфы, когда солдаты вернулись обратно в подземелья (уцелевшие солдаты),— замуровали стены, зачинили их, чтобы вновь вернуться ко мраку, к труду, к работе; быть может, это Он последним ушел с холма в подземелье, последним взглянул в ту сторону, где умирало дневное, благословляющее светило и был мир,— последним ушел в неподвижность и удушье мрака.

Он многие сделал походы, и Он пошел в те дни в новый поход.

Он шел перед армиями, чтобы прокладывать пути для армий — подземелья, галереи, склады, биваки. Его путь вел к непонятым древесным постройкам, пропахшим никак не теми запахами, которыми пахли тропические леса. Он вел подкопы под цементом, глубоко под землей, вникал в дерево, в толь — уступал перед железом, но сам выводил на нем цементные постройки бесцветных лабиринтов; там, куда пришел Он, была прохлада и не было врагов; тогда за ним двинулись армии.

Он и его братья о н ы, инженерные солдаты, пошли назад,— но назад, до своего города, он не дошел; должно быть, он был уже стар; в одном из бивачных барачков к нему подошел десяток братьев, чтобы убить и съесть его, он понял это, он опустил голову и жвала, и ближайший солдат откусил ему голову; он стоял без головы; ему откусили брюхо; он стоял без головы и без брюха; он упал, когда стали есть ноги; это было потому, что дыхательные и нервные аппараты у него были на груди, там, где были ноги.

Солдаты, съев его, пошли дальше, обратно к государству: вместо него стало много о н о в, было много о н о в.

Миллионнообратное государство жило сложнейшей турбиной, где миллионы сестер и братьев потеряли пол, индивидуальность, солнце. Миллионнообратное государство строило замки, крепости, дороги несравненной мощи.

В государстве не было случайностей, не могло быть глупостей.

И, когда пришли обратно оны, в городе творилась глупость: в царской пещере умерла Мать. Труп Матери был уже съеден рабочими. В государстве творилась глупость. В город возвращались все,— приходили с полей рабочие, приходили из походов солдаты,— армии становились в городе на улицах биваками,— весь город был переполнен. Труп Матери был уже съеден: там внизу оставался Отец, к Отцу привели нимф, сразу тридцать одну. Часть замка была уже захвачена в сумятице врагами, там шел бой: враги тащили себе в плен, в рабы, в пищу тех, кто остался без Матери. Тяжелые солдаты отдавали, умирая, все новые и новые подступы и крепости,— уже во многих углах хозяйствовали (и грабили и разрушали) враги: там шел бой, там шла гибель.

И все же внизу, в подземельях, готовился страшный поход, невероятной дерзости, невероятной смелости, такой, который должен принести или исчерпывающую победу, или — смерть; перед походом не жалелись запасы, вскрывались редчайшие склады, съедались запасы многолетних трудов, выпивался весь алкоголь — теми, кто шел в поход.

Это государство шло в поход на государство себе подобных, чтобы отнять у них Мать.

И вперед ушли минеры, инженерные солдаты и рабочие; план был отчаянен, план был хитер, план был колоссален. Минеры, инженерные солдаты рыли подкопы, со всех сторон, в разных местах, там строились плацдармы, крепости, прикрытия для армий. По лабиринтам туда пошли армии. Армии были пьяны. Все творилось с колоссальной энергией и в абсолютной тишине.

И когда армии были готовы, когда все походы были в порядке, все на местах,— тысяча бросила себя в смерть, тысяча тяжелых солдат: минеры взломали последние преграды,— и эта тысяча бросилась в город мирных жителей, в улицы, на склады, разрушая, убивая все на пути. За тысячей шли инженерные солдаты и рабочие, они заваливали пройденные пути, замуровывали отступление тысячи, ставили артиллерийских солдат. Тысяча шла вперед, грызла, травила ядами, удушливыми газами, разрушая, вбираясь в центр, в узкие переходы,— и на эту тысячу набросились десятки тысяч, сотни тысяч защищающих государство. В государстве все солдаты шли убивать эту тысячу,— тысяча исчезала, убиваемая, поедаемая.

И тогда, с другой стороны, в ряд взорванных пробоин ворвались в государство миллионы тех, кто послал тысячу, они шли колоннами, они занимали все пути,— они не грабили: они шли к сердцу города, туда, где была Мать, и только по этому пути они делали новые дороги и плацдармы, чтобы тут иль победить, иль помереть.

И жильё Матери было захвачено.

Солдаты у Матери были убиты.

Тысячи новых ее слуг потащили ее в проходы под землю.

Но им, этим о н а м, не дано мыслить: пока они брали новое государство, отвоевывали новую Мать, враги разорили их город, разграбили склады, развалили переходы, увели стада, убили рабов, убили братьев, убили солдат, убили отца, потоптали грибные сады,— там, в городе, построенном долгим, упорнейшим трудом, были мерзость запустения, срам, в развалины светило солнце, туда мог проникать чужой глаз потому, что в этот труд, в эту жизнь вмешалась с л у ч а й н о с т ь — г л у п о с т ь.

.

Глава третья

Год жизни в Нигерии, в Рида, ничему не научил мистера Самуэля Гарнета. Он по-прежнему полагал, что никаких загранич не существует и есть только Англия, и, как всегда, утром он ел поридж и бекон. Впрочем, он очень интересовался делами Компании,— и он никому не интересен, как неинтересны его разговоры о том, что к Троицыну дню он выписал себе из метрополии то-то и то-то — ботинки, костюм, седло, фотографические пленки.

У миссис Самуэль Гарнет были иные знания. Она знала, что вскоре после Троицына дня у нее будет ребенок,— что в месяцы ее беременности Самуэль сошелся с негритянкой,— что вон то дерево, которое стоит за окном, называется баобаб. Днями она вышивала и шила для ребенка,— это в то время, когда был дома или уходил или должен был прийти муж (она давно уже связала ему семь галстуков на каждый день недели, и она подарит их ему на Троицын день),— но когда мужа не было дома и он не ожидался, она сидела над своим дневником. Там в дневнике она писала роман, где были: луна, Борнемус, поездки

под луной на паруснике, рукопожатия, почти измена мужу — заветное кольцо и книжка, надписанная поэтом, тем, с которым она, героиня, была в Борнемусе, с которым она изменила мужу рукопожатием. Там в дневнике было примирение с мужем, с действительностью, в образе негритянки с плантаций, в разговорах мужа о том, какое платье он подарит ей через год к будущей Пасхе и когда он позволит выписать из метрополии мать — маму миссис Гарнет. На дневнике — случайно, конечно, — зачеркнуто было рассеянной, раздумчивой рукой «миссис Самуэль Гарнет» — и было написано «миссис Эльза Деднингтон» — ее христианское имя и девичья ее фамилия...

Должно быть, от беременности у миссис Эльзы под глазами появились морщинки и глаза были медленны.

Мистер Гарнет был уважаемым в колонии человеком, и на праздник Троицына дня чета Гарнет была приглашена к президенту Компании, за несколько десятков миль, на несколько дней.

Мистер Гарнет возвратился из поездки довольным и возбужденным. Он долго шутил на дворе с кучером-негром. Миссис прошла в дом. Вскоре он пришел к ней. Она стояла у окна, смотрела на баобаб.

— Эльза, — начал было весело говорить муж, сел на стул — и упал, потому что стул рассыпался под ним в порошок.

И сейчас же узналось, что за дни их отсутствия (лакей-негр, «мерзавец, поленился зайти в эти комнаты!») на их дом напали термиты, эти страшные вредители экваториальных стран. По полу опасно было ходить, он проваливался, рассыпался в труху, — по цементу и по железу были проложены их, термитов, галереи, сотни ходов. Термиты были всюду.

Мистер Самуэль первый раз после детства, когда его порол отец, был взволнован: его письменный стол рассыпался в труху, и в труху рассыпалась пачка фунтов, его, им скопленных и казенных, в которых он должен был отчитаться, — и в труху рассыпалась чековая книга.

Лицо мистера Самуэля, загоревшее, доброкачественное, смокло в гнилое, одрябшее яблоко.

— Эльза, — сказал он, — ведь, быть может, они грызли уже и тогда, когда мы были здесь? Негр говорит, что они бесшумны и никогда не выходят на свет. Вы не видели их

следов на цементе до нашего отъезда, этих их коридоров?

Миссис Эльза не ответила: она плакала,— в ее руках были только серебряные застёжки от ее дневника.

П о с л е д н я я г л а в а

На туземном базаре, под пальмами негры продавали лакомство: ту массу, которая возникла из помета термитов, из которой была сделана крепость погибшего государства. Женщины выменивали ее на бананы, чтобы сварить ее и съесть.

*Гаспра.
Май 1925.*

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЗДАЮТСЯ РАССКАЗЫ

I

В Токио случайною встречей я встретил писателя Тагаки. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились, — и там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была — русская. Он был очень сибуй (сибуй — японский шик — оскоменная простота), — оскоменно просто было его кимоно, его гэта (те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков), в руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, худощав и красив, — так, как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину.

Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы — —

В японском городе К., в консульском архиве я наткнулся на бумаги Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майю-сан, в горы над городом К., в храм лисы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтором, — и дальше надо было идти пешком тропинками и лесенками по скалам, на вершину горы, в чащи кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Во мраке кедров, на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо, и оттуда широчайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан, в бесконечности горизонта уходящий в ничто. — Все же неподалеку от храма,

еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном — очень не плохо могут собеседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ.

Тогда там, на Майю-сан, я думал о том, — как создаются рассказы.

Да: как создаются рассказы?—

Вечером в тот день я вырыл бумагу, где София Васильевна Гнедых-Тагаки изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правило о том, как репатрирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины — для меня начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга, — биография необычная и короткая, выключившая ее из тысячи биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому — номографическому — способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка — лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы отечества и очень немного прочего...

II

В рассказе есть он и она.

Во Владивостоке я был однажды, в последних числах августа, — и навсегда я запомню Владивосток городом в золотых днях, в просторном воздухе, в крепком ветре с моря, в море, в небе, в далях, — в черствой той пустынности, которая напомнила мне Норвегию, ибо и там и тут земли обрываются в океан лысыми глыбами камней, одиночествующих одинокими соснами. Существенно говоря, это только прием — описаниями природы дополнять характеры героев. Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке.

Я пытаюсь представить — —

она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених: и была она такую девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии, и, наверное, она путала понятия слов — этика и эстетика, как я однажды спутал их, щегольнув в сочине-

нии о Пушкине, написанном в шестом классе реального. И, конечно, она и не знала, что Пушкин начинается как раз за программу гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршин пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Чехова она прочла всего, потому что он был в приложении к «Ниве» у отца, — и Чехов знал, что эта девушка «прости, господи, глуповата». Но коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть (и мне хочется, чтобы так и было), — могла быть — глуповатой, как поэзия, как и подобает осьмнадцати годам. Она имела свои понятия: — красоты (очень красивы японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев), — справедливости (когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании), — знаний (когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели, — во-первых, необыкновенные люди, — а во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в отечестве, но и в своем времени)... Но, если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев — могут жить на бумаге, — то пусть эта девушка, во имя глуповатой, прости, господи, поэзии, будет прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья.

Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что ни по консульской линии, ни по моей — выудить оттуда многого невозможно, кроме недоумения (для меня, к слову сказать, не очень большого), — недоумения в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем российском Востоке в 1920 году затем, чтобы оккупировать Дальний Восток, — и известно, что изгнаны были японцы партизанами: ни словом об этом не упоминается в биографии.

Он — был офицером генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она: в Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово — «стоял», — они стояли в одной квартире.

Вот выписки из биографии —

«...его не называли иначе как «макака»... Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму... Потом стали его уважать... Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов, Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком: вместо «л» произносил «р». Это и послужило поводом для знакомства: я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь:

Дышара ночь...

Я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь, так что я не успела пройти мимо, и сказал:

— Извините, невежливо приглашать мадемуазерь. Разрешите мне визитировать вас.

Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала — «извиняюсь!» — и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал:

— Я просиру разрешения визит. Пожааруйста, шокораду. Какое ваше впечатерение погода?..»

Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями, совсем не то, что прапор Иванцов, который назначал свидания на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не заманивал после театра в кафе. Соня Гнедых написала маме письмо о серьезных намерениях офицера, — в биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись у ней, офицер вдруг померк, лицо его полиловело и глаза налились кровью, — он сейчас же вышел из комнаты, — она поняла, что в нем вспыхнула страсть, — а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово чужой человек. «Но потом именно эти вспышки страсти, которую он умел так сдерживать, стали распалять мое женское любопытство». Она его полюбила. — Предложение он сделал — по тургеневски, в мундире, в белых перчатках, в праздник утром, в присутствии квартирохозяев. Он отдавал свои руку и сердце — по всем европейским правилам.

«Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры

генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне, а до того времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил полторы тысячи иен и поручительство, чтобы я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие...»

По всему Дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев,— японцы ловили большевиков и убивали их, сжигали в топках, расстреливали,— партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев,— Колчак и Семенов умерли,— партизаны наваливались великою лавою,— ни строчкою об этом не обмолвилась Софья Васильевна.

III

И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она ступила на землю Японского архипелага,— биография, утверждающая законы больших чисел — статистическими исключениями.

Я знаю — что такое представляет собою японская полиция, полицейские, которых сами японцы называют — ину — собаками. Ину действуют деморализующе, потому что они торопятся, неизменно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени, отчества и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют «японская поринция все хосит знать», — и клещами вытаскивают — «церь васего визита». Вещи японская полиция перетряхивает по способу с и н о б и, японской науки сыска,— не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нет ни одного европейского дома и лишь одни шалашки домов японских, порт, пропахший каракатицей, которую потрошат, жмут (на предмет выработки туши) и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят — «поди сюда», — в Цуруте значит — «уходи от меня», — а лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания — всеми способами, — даже выражением глаз.

Софью Васильевну, должно быть, спрашивали — «церь васего визита», а имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко:

«Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию?— Я тогда создалась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что, если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я создалась, меня оставили в покое и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть».

В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки, ее жених. Она видела его через окошко, он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно: он сказал — да, она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно,— он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан: он это знал. Тогда и его и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он «немножко занят». Он скрылся во мраке, поезд ушел в черные горы,— чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло, все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины, стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь, в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном, в крапинку, кимоно, на деревянных скамеечках,— и этот человек очень обидел ее, он зашипел кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки; она не знала, что он здоровается по японским правилам, она готова была броситься в объятия к родственнику,— он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после ко-

тогого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в ресторан, где им подали английский брекфест; она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукою ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее: она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении, жестом она указала, чтобы он вышел,— он не понял и стал мочиться.

Затем они сели в новый поезд, он купил ей «бенто» (завтрак в сосновой коробочке), кофе — и он вставил в ее руки, первый раз в жизни, палочки, чтобы она ела.

В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу, кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу,— но своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, в зелени деревьев, стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли — старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно — все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом; брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги,— она не понимала; — тогда он посадил ее на приступочку, почти насильно, и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным, в дальней комнате раздвинута была стена, широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море,— домик этою стороною подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все, и она, сели на эти подушки перед подносиками, на полу, чтобы поужинать.

...Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия; он задержал на минуту в раздумье руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и — в наказа-

ние — сослан на два года в деревню, ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца: из этого дома, с этой скалы они не смогут выехать два года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из аржаных волос, — оби — пояс — мешал ей дышать и больно давил на грудь, — от гэта натерлась мозоль на ноге между пальцев: — она стала: Тагаки-нооку-сан — вместо Сони Гнедых. И — единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, — это была не благодарность, а подлинная страсть, тогда, ночью на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему, и когда, в передышках от нежности, боли и страсти, бухало приливом внизу море.

IV

Осенью все уехали, оставив двоих молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет об этом времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около хибати, домашнего камелька, сидеть двоим — часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать — «о-ясуми-насай», прощаться — «сайонара», отвечать на благодарности — «до-итасима-ситэ», просить обождать, пока она позовет мужа, — «чотто-мато-кудасай». В свободном своем времени она узнала, что рис, так же, как хлеб, может вариться многими различнейшими способами и что, как европейцы ничего не понимают в способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программу гимназии и что Пушкин вовсе не умер, как мамонт, но живет, жив и будет жить: от мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумье — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибати на полу за книгами, она варила рис и лепешки, они пили чай, ели соленые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей; одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, — но она готовила русский обед: утром она ходила в город в лавочки, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно

крылья, ноги, спины, кожу. В сумерки они ходили гулять, к морю или в горы, к горному храмику; она привыкла уже ходить в гэта и кланяться соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть: муж был страстен и изощрен в страсти, долгою культурою своих предков, культурою, чуждою европейской, когда в первый день их замужества, его мать, бессловесно, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающе изображающие половую любовь. Она — любила, уважала и боялась мужа: уважала потому, что он был всемогущ, благороден, молчалив и все знал, — любила и боялась — во имя его страсти, испепеляющей, всеподчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями в буднях муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть, в благородстве, строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде: где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приезжали из Токио и Киото друзья, — тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей: все же с гостями они пили sake, японскую водку, глаза их наливались кровью от второй рюмки, они бесконечно говорили и потом, пьяненькие, пели свои песни и уходили в город до утра. — Они жили очень одиноко, холод белоснежной зимы сменялся зноем лета, море бухало внизу приливами и бурями и тишайше голубело в отливы; ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитке, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи, но дней своих пересчитать она не смогла бы, пусть эти дни яшмовы.

Здесь можно кончать рассказ — рассказ о том, как создаются рассказы.

Прошли год и еще год и еще. Ссылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину стало ездить множество людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она; в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю, — она в японском кимоно, она в европейском платье. Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаме-

нитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержания. Она спрашивала об этом мужа, — в вежливейшей своей молчаливости он не отвечал на этот вопрос: быть может, потому, что, в сущности, это ей было не очень существенным и она позабывала настаивать. Яшмовые четки дней прошли. Бои — лакеи — теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне: — «Говорят, Анри написал что-то новое?» —

Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю. И у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным.

V

...Вот и все. Тогда, в городе К., достав в консульском архиве автобиографию Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Это книга лежит сейчас у меня. Четвертую главку этого рассказа я написал — не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программю гимназий. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлениях, полового акта: с клиническими подробностями был написан роман Тагаки, — русским способом размышлять размышлял Тагаки о времени, мыслях и теле своей жены. — Тогда на берегу моря корреспондент столичной газеты, в разговорах с Тагаки-наооку-сан, с женой знаменитого писателя, — открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал, — она увидела себя, зажившую на бумаге, —

и не важно, что в романе было клинически описано, как содрогалась она в страсти и расстройстве живота:— страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни:— с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством всего, что было у нее. И она запросилась — через консульство — обратно, домой, во Владивосток.

Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию: вся она была написана и одним человеком и в одно время, само собою,— и вот: те части автобиографии этой глуповатой женщины, где, неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие и даже японские дни,— эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений,— но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем,— для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени,— и она вернулась во Владивосток.

Вот и все.

Она — изжила свою автобиографию; биографию ее написал я,— о том, что пройти через смерть — гораздо труднее, чем убить человека.

Он — написал прекрасный роман.

Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: о том, в частности, как создаются рассказы.

Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!

Узкое,

5 ноября 1926 г.

ВЕРНОСТЬ

Посвящаю Марку

Двадцать лет тому назад было подполье молодости, была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ,— было двадцать лет отроду, была студенческая фуражка, было — не вера, но — знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, труд прекрасен, жизнь — прекрасна, прекрасно человечество,— и все — впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции,— мира, против которого тогда восстал этот юноша, готовый обнять мир,— о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов — мир Империи — был враждебен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами,— и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поили чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся,— этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов «твое» и «мое», где направо тюрьма и смерть, налево — революция, ослепительная справедливость.

Этот рассказ посвящен любви.

Как приходит любовь, как уходит любовь и что дано человеку любовью?— великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку — или великая радость, когда тяжесть любви — есть счастье?— как надо человеку нести любовь?

И все же было у него в этом двадцатилетии однажды — только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь!— прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной

квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал «Русское богатство», превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие,— и все превратилось тогда в чудесность: чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут,— и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза, уходившие в бездонности — в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с «Русским богатством» сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала — или не спала? — девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени.

Это все, что было в том двадцатилетии: жизнь сильнее человека,— это все, что осталось тогда этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больною занозой на всю жизнь.— На другой же день тогда опять стали справа и слева смерти, его понесло по перекаати-полю подполья, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо рядом городской Империи, впереди ослепительная справедливость и — путь только один — налево. Круги революции 905-го года замыкались,— и путь налево привел вправо: этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми-области, где слово «зыряны» значит — «оттесняемые». И в уездную, а потом губернскую и пересыльную тюрьмы,— приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами.

Дальше была жизнь.

Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано человеку в любви или великая радость, когда бремя любви есть счастье? — Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как Земной Шар, миры и солнца,— все в этом космосе рождается, чтобы жить, родить и — умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Все живущее живет, чтобы родиться. Рождением у чело-

вечества правит любовь. И давно надо было бы филологам и иным словоделам позаботиться о разработке и переработке слова любовь, ибо слово любовь — есть рождение, слово любовь есть — любовь собаки к человеку, а человека — к водке,— во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах «играют»—«в любовь». Но понятия любви путаются не только многомысленностью слова любовь. Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения.

Дальше была жизнь.

Тогда в мытарства тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой, присланная товарищами,— и она вскоре приехала в Усть-Колым, в зырянское село, также сосланная. Через три месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они были свободны с минусом шесть. Вся Россия хорошо знает эти минусы, три, шесть, все,— и они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена, всероссийский городской покойствовал,— революционерам не приходилось даже зализывать ран.— Он, теперь муж и отец, проходил все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью.— После университета, который называется село Усть-Колым, он окончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доцентствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове.— Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война, мировая.— У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой, для друзей, вторник — день жены, а суббота — вечер мужа — для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски: жена была недурной матерью и недурной профессорской женой.— И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою.— Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени — неизвестными путями:— Пушкин умер тридцати семи лет, уже в заповдни своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом,— Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он остался мальчиком, старцем с мироприятием ребенка,— этот профессор навсегда был гимназистом-абитурантом, осьмиклассником, которому тесна

гимназическая тужурка и надо расстегивать ворот гимназических уставов, грозящих кондуитом, и у которого — мир впереди, ибо старый — гимназический — мир разлезается, как разлезлись штаны.

Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг.— Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте, с маузером, деревянная ручка которого торчала из кармана летнего пальто. Половдья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров: фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, тысячами верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ.— Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой,— чуть-чуть холодной.

И тогда пришел 1925 год, двадцатилетняя годовщина половодных подполий.— Был будничный профессорский, ректорский день; утром в восемь часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии; в десять — до часу ректор был в ректорском своем кабинете; с половины второго профессор читал лекции; в шесть коммунист, общественный деятель заседал в районном Совете; в десять профессор шел в университет экзаменовывать студентов.— Был декабрь, светили на улицах фонари, мел около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос — давним студенческим именем:

— Сергей!

Профессор — Сергей — остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла — та, имени которой он не мог узнать, которая двадцать лет назад на одну-единственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, конечно, что ему — сорок, что виски уже поседели,— профессор, перегруженный работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла — не восемнадцатилетняя — тридцативосьмилетняя женщина, с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими,— и прекрасными, и прекрасными для профессора.

...Давно надо было бы филологам и иным словодедам переработать, разработать слово «любовь». Любовь — есть рождение. Любовь есть — счастье. Любовь — — Двадца-

тилетие было скинуто со счетов времени — именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него и у нее были и семья и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь — единственной была ее радостью, на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви: ее восемнадцать, его двадцать лет — канули в Лету. И у него, и у нее — были свои быты, традиции, усталости, привычки.

То, что было двадцать лет тому назад, оказалось, было единственным, ибо мир опять стал по колено, если может быть мир по колено ректору и профессору. — Они нашли силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом, таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалованья, ибо жалованье он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве.

Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетие, где старшему ребенку семнадцать, а младшему — четыре, где быт уже зацементировался и где оставляемый — жена, муж — остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади, в величайшей несправедливости, — ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. — И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетие, которая нашла силы все порвать, стать полководцем, чтобы строить наново, со студенчества, — которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время: надо писать главы о в е р н о с т и, убеждающей время.

Но это не конец рассказа.

Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок. — И он, и она — имели детей, родили детей, любили детей, растили детей: и — вот тогда, когда родился этот новый ребенок, — они вдруг узнали, что, в сущности, они не знали — что такое — рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил; у нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила.

Этот ребенок родился от любящих, и из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заповедни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен, смерть в этом мире побеждена, все в этом мире оправдано и, по истине, все надо отдать за будущее, то, в котором будет жить этот единственный, рожденный в заповедни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости,— сын, кусок их самих, их повторение,— новый человек! — ибо мир есть — верность.

*Ямское Поле,
12 декабря 1927 г.*

МАЛЬЧИК ИЗ ТРАЛЛ

Посв. П. А. Павленко

...Солнце и ветер...

.

В Стамбуле, на холме Гюль-Ханэ, в переулке за площадью Янычаров, между церковью св. Ирины и Старым Султанским — Топ-Капу — Сераем поместился Музей древностей. В тишине зала эллинистической эпохи стоит там статуя Пастушка из Тралл, высеченная из мрамора ваятелем древности Мироном: в тишине зала эллинистической эпохи стоит кудрявый мальчик, гордо поднявший голову на худенькой шее,— на плечах у него плащ из овечьей шерсти, он бос. И мне тогда показали фотографию, чтобы поразить меня: фотография сделана хранителем Музея, в Траллах,— в 1918 году,— на фотографии стоит тот самый пастушок, которого высек из мрамора ваятель Мирон полторы тысячи лет тому назад, так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шея и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти. Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было в руках суковатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона.— В развалинах, в пустыне Малой Азии, в неприкосновенности сохранился эллинский тип,— в пустыне Малой Азии — сохранился быт Эллады.

И вот мы едем в Траллы.

.

Солнце и ветер.

Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго яблонowego Спаса. На горизонте Кэстэне-дагские горы. Небо синее. Кругом вот уже второй день конного пу-

ти — желтые холмы, камень, придорожная пыль, безжизненность, безмолвие пустыни. У старых колодцев лужи воды и помет верблюдов. Дорога, оставшаяся, быть может, от греков, быть может, от римских когорт, — пуста. Старые греческие города, брошенные тысячу лет тому назад, развалены, — турки поселились рядом с развалинами, и над турецкими поселками торчат пыльные тополи, там живут турки и руми, турки-христиане. Изредка в небе пролетит орел. Изредка на межах стоят разбитые статуи и мраморные плиты, исчертанные письменами, — вместо межевых столбов. Поля уже убраны. Арбы с возами соломы — реже верблюжьих караванов. Эти арбы и турки на них — суть герои рассказов турецкого писателя Рэфик-Халида.

Вчера ночью, на ночевке около колодца, ишак, испугавшись моего выстрела в шакала, бросился на наш скаруб и разбил копытом старенькое стремя у моего седла. Я еду, страдая в седле, потому что не могу стоять на обеих ногах. И у каждой встречной арбы мы спрашиваем, где бы достать стремя. Турки отвечают молчанием. И мы молчим в солнце и ветре.

И новую ночь мы ночуем у колодца, прикрывшись плащами из овечьей шерсти. Шакалы не мешали нам этой ночью: здесь нет людей и шакалы ушли отсюда.

Наутро опять солнце и ветер. Мы сворачиваем с большой дороги в пустыню выжженного камня, холмистого плоскогорья, навстречу Кэстэне-Даг, горному хребту на горизонте: там, впереди, в котловине под горами — пустыня Тралл.

И мы приезжаем туда к полдню. — Где здесь Траллы? — Котловина меж гор безмолвна в камнях, разбросанных по холмам, в остатках человеческого жилья. Мы въезжаем в пустую улицу, в совершенно пустую. Ноябрьские полдни не несут ни звука. Я захожу в дом, дверь не заперта. У порога лукошко с углем. Муха прожужжала мне навстречу и замерла. На глиняном полу здесь козий помет, приступка у порога иссечена письменами. — Люди, все до одного человека, покинули эти места в 1921 году, когда турки выгнали из Анатолии греков.

...Ужели такова была Эллада и две тысячи лет тому назад и тысячу пятьсот лет тому назад? — Пыльный поезд Аданской — немецкой! — железной дороги мы сменили на два с половиной дня седла. — Здесь, должно быть, даже умерла весть о человеке! — Это Малая Азия, Анатолия, съеденная козами. Ужели здесь были веселые греческие

колонии, здесь прошли эпохи цветений эллинистических веков?— Да, были,— прошли, загорожены от нас тысячелетьем.— Некогда Эфес был первым городом банков, породив все банки мира,— Пергам тогда был городом ученых и великой библиотеки,— Магнэзия осталась для истории городом актеров, драматургов и философов,— Траллы, как Тэо, были городом шума, поэтов, художников, музыкантов, театральных действий и дионисийских жриц. В Тэо до сих пор видны на стенах развалин стихи Анакреона, вычертанные, по преданию, самим Анакреоном. Траллы, город великих театральных действий, имел множество названий — Антэа, Эвантэа, Ларисса, Антиохия. Сельджуки называли Траллы — Гюзэл-Хиссаром — что значит: прекрасный замок.

Ужели такова была Эллада, вот эти развалины?— впрочем, нет, конечно.— Великий Театральный Мастер — история — pereгримировал Эвантэю в пески. Это не шутка, что козы съели Малую Азию. Цветущая страна веселой торговли, поэтов, философов, дионисийской морали — погибла не от войн и нашествий — ассирийцев, персов, римлян, турок,— но главным образом от коз, которые столетиями съедали побеги деревьев, уничтожали — уничтожили — леса и рощи, высушили долины и реки,— и превратили зеленую Анатолию в безводные пески и камень.— Траллам выпало до наших дней сохраниться в том виде, в каком эти места остались от разорений древности, историки сказали, что там жива Эллада. Но Театральный Мастер должен работать свою работу: и Траллы покинуты греками, теперь навсегда, в 1921 году, в дни греко-турецкой войны, когда турки русской тяжелой артиллерией над Смирной скинули греков в Средиземное море, заставив их бежать, бросив дома и жизнь.

...Вот она, Эвантэа, веселая страна поэтов и музыкантов!— на столе в пустом доме я нашел краюху иссохшего хлеба, а в другом доме — в светильнике еще не высохло масло.— Вот она, Антэа, страна великих театральных действий,— мертвая Эллада, мертвая потому, что ничто новое не пришло в быт греков, живших здесь, за последние полторы тысячи лет,— а турки не собрались еще с двадцать первого года разграбить эти места.

.

С горы к нам ехал на муле человек, он махал рукою. Мы поехали к нему навстречу, глиняной улицей. На пере-

крестке стояла разбитая статуя Афродиты, в шерсти буйволов, которые чесались об нее. Человек, подъехавший к нам на муле, был стариком в белом плаще и в сандалиях. Мул его не был оседлан.

Я спросил:

— Можно ли где-нибудь здесь достать стремя?

— Стремя? — переспросил старик и задумался.— Да, можно,— ответил он.— Вон там на холме есть улица, в третьем доме направо под скамьей лежит стремя. Возьмите.

Я поскакал за стремянем. Дом был отперт и пуст. Над дверью в притолоку было воткнуто веретено. Под лавкой в пыли лежало старое медное стремя,— я поднял его и рассмотрел,— это было стремя, оставшееся, быть может, от Александра Великого — —

.
.

И — я видел подлинную Элладу.

Мой спутник спросил старика:

— Где здесь Траллы?

— Траллы — здесь! — ответил старик.

Старик повел нас в дом, такой же пустой, как все. Из меха он налил в глиняный сосуд красного вина и подал нам козьего сыра. Старик был молчалив и торжествен.

Он держался хозяином, магнатом этих мест, но он кланялся подобострастно. Мне показалось, что старик не совсем нормален так, как ненормальны под старость бывают очень многие русские старики-крестьяне. Мы отдыхали перед тем, чтобы пойти по развалинам. Старик просил подождать, когда придет с гор мальчик. Я рассматривал старика: он был чудесно красив, поистине правнук Диониса в грязном своем плаще, седокудрый старик с гордыми глазами. Мы спросили, что он здесь делает, как уцелел он здесь, он, грек,— старик ответил невнятно.

Мы не дождались мальчика с гор и пошли по мертвым развалинам. Старик шел с нами, как магнат и сторож. Старик заговорил о древностях, он все знал лучше наших справочников, бродя по векам истории,— но старик говорил о каждом доме, кто в нем жил и что в этом доме осталось,— так же, как говорил о веках. Мой переводчик сказал мне, что старик говорит только в настоящем времени, сдвинув время истории. Старик снял в одном доме све-

тильник и подарил его мне, светильник, которому полторы тысячи лет, из черной глины.

Старик указал нам на пыль в горах и сказал, что это мальчик гонит отару. Старик говорил о мальчике торжественно.

И к нам подошел мальчик с гордой головой на хрупкой шее — тот самый, которого я видел в Музее древностей в Стамбуле на холме Гюль-Ханэ. У ног мальчика были козы и сторожевые псы. На плечах мальчика был рыжий плащ из овечьей шерсти. В руках мальчика была суковатая палка.

Я знаю: в ветре и солнце я видел тогда подлинную Элладу, подлинного эллина, — пусть — Малую Азию — у истории — съели козы. Театральный Мастер не забыл, что Эвантэа была городом великих театральных действий.

В торжественности заговорил старик, указывая на мальчика:

— Мы здесь вдвоем. Я здесь один. Я охраняю эти места. Мальчик из Тралл еще жив. Эллада — жива!

Старик указал рукою в сторону гор, старик — гениальным актером — глянул над моей головой. Старик был величествен. Он повторил тихо, сам себе:

— Мальчик из Тралл еще жив!..

.

...Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблочного Спаса, — и солнце и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское русское яблоко.

*Ямское Поле,
30 декабря 1927 г.*

МАТЬ СЫРА-ЗЕМЛЯ

Посвящается А. С. Яковлеву

Крестьянин сельца Кадом Степан Климков пошел в лес у Ивового Ключа воровать корье, залез на дуб и — сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесчик Кандин доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел «гражданина самовольного порубщика». Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климкова. Климков стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Кандин, когда стаскивал Климкова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климков покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин-товарищ, глаза-те вытекли у меня, без остачи.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду: то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.

Климков остался ночевать в лесничестве, спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча, про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолвствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, — старец определил, что глаз Степану Климкову не вернуть — ни молитвой, ни заговором, — но надо прикладывать подорожник, «чтобы не вытекли мозги».

...Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины — Ирины Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) — главный герой — волчонок, маленький волчонок Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта женщина, так нелепо по-

гибшая и мерившая — этим волчонком — погибшим за шкуру — столь многое. Он, этот волчонок, был куплен за несколько копеек в Тетюшах-подлинных, а не в тетюшинных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной, на Пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.

Он только-только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разлило псиной, — она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, — он, маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, волчьей своей таинственностью. Мальчишка, продавший волчонка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, — мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрали на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волчонковых братишек умерли от голода, он один остался жив. Волчонок не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах — по мандату — соску, такую, какими кормят грудных детей, — и кормила волчонка из этой соски, — она шептала волчонку, когда кормила его:

— Ешь, глупыш мой, — соси, Никита, — расти!

Она научилась часами — матерински — говорить с волчонком. Волчонок был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостик, — и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли — оттуда, из темноты — каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, — и когда глаза их встретились, глаза волчонка, немигающие, становились особенно чужими — смотрели с этой трехугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, — но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных, тоже острых, ушей, — был глуп, никак не страшный. И от волчонка страшно пахло псиной, все прокисало его духом — —

— — Есть в волжской природе — арсеньевских плевос — какая-то пожухлость. Волга — древний русский водный путь — текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава, пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, — и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, со-

сну не рассадишь силой, спокойствует лишь татарский не-
клен, нет цветов, и костры на горах — не смешаешь их со
сплохами — видны с Волги на десятки верст сквозь пыль
астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена —
кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Спра-
ва — горы в лесах, за горами — на горах — леса, слева —
займища, за займищами — степи. Вдали во мге за Волгой
видны нерусские колокольни: немецкие «колонки».

Когда-то, кажется, император Павел дал князю Ка-
домскому дарственную грамоту, где императорской рукой
было написано:

...«Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу,
в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Ме-
дынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту
гору и все, что глаз Вашего Сиятельства уви-
дит,— твое — —

— на Волге, в степных уже местах, на горах
и по островам, на семьдесят верст по берегу,
возникли Медынские леса, возрос строевой —
сосновый — лес,— дубы, клены, вязы,— зарос-
ли, пущи, раменья, саженцы — тысячи десятин.
У Медынской горы в лощине стал княжий дом,
оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего,
кроме лесных сторожек да кордонов, в лесах не
было, деревня и села отодвинулись от лесов,
посторонились лесам и князю. Лесничий Не-
кульев так писал друзьям в губком о дороге
к нему:—«...пароходом надо добраться до села
Вязовы; в Вязовых надо найти — или полесчика
Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на
телеге, по лесам, по горам и буеракам,— или
рыбака Василия Иванова Старкова (надо спра-
шивать Васятку-рыбака), и он отвезет — на се-
бе — вверх по Волге двенадцать верст. Это врут,
что только в Китае ездят на людях: в наших
местах это тоже практикуется,— Старков впря-
жется в ляму, сын его сядет к рулю, ты в
лодку,— и бечевою, как триста лет назад, на
себе, по очереди, они дотянут тебя до лесни-
чества. Он же, Старков, если его спросить:—
«сколько у вас в Вязовых коммунистов?»— от-
ветит:—«коммунистов у нас мало, у нас все

больше народ, коммунистов токмо два двора». — А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? — Он скажет: «народ — знамо: народ! — Народ вроде, как бы, большевики».

Леса стояли безмолвны, пожухли. Но если б было такое большое ухо, которое слышало бы на десятки верст, — в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услышало бы многие трески падающих деревьев, спиленных воровски, дзеньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики и пальбу в небо полесчиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, — далеко по росе стелется дым; страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. Дни в лесах — в июле — всегда просторны, и пахнут леса татарским некленом. Лесные люди — лесничие, полесчики, лесники — убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников, и на — «граждан самовальных порубщиков» — —

— — Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовых полесчика Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский Совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, черт подери, — башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, — что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. В сельском Совете, в мушиных тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, — председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно: утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, — слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, — рассказал, впрочем, как убили мужики

предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам,— все стремились всунуть в рояль, но не всунули и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге,— рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике; а охота в этих местах царская,— ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук сто,— только, конечно, не дело это для ружейного охотника,— наоборот, позор. Кузя приехал на шарабане, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фронт, руки по швам, зарпортовал — честь имею явиться... Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, так что лучше нам заночевать здесь, а то — гляди — пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.

Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:

— Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это — чтобы тронуть? Да я вас до Ивова Ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича — наган, у тебя — винтовка, у меня — винтовка, сыну велю идти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем! Это чтобы большевиков трогать,— на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.

Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков, и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная, как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку, и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку сурки,— Кузя слез с шарабана, повел лошадь под уздцы, сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго, лошадь ногу ломает. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией,— грома не докатилось. «Гроза будет»,— сонно сказал Цыпин. И опять распахнулось небо, так же безмолвно, только теперь слева,

над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тарыхтение колес гулко,— показалось, что кузнечики стихли,— и огромная половина неба, от востока до запада, порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности, рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы,— и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бессчетно, все небо рвалось молниями в лоскутья, и все небо стало кегельбаном, чтобы веселыми стихиями катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надоть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак неохота».

Гроза, просторы, громы, молнии — показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь,— этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! До пастушьей землянки не успели доехать; заметался по степи ветер во все стороны, молнии метались, и громы гремели со всех сторон,— дождь окатил шагах в стах от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся вмиг, ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: «Какой черт еще тут ходить?» Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке,— и в кромешном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услышал рядом разговор: «Ты, Потап? Это я, Цыпин». — «Спички у нас вымокли. Тебя что, на охоту понесло, что ли?» — «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего». Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальчонка в землянку,— сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: «Тятянь, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая стоит, чужая, возле ней!» Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном,— Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял, стряхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво подматерщинивая. «Сел под шарабан, как светанет молонька,— ка-ак маханет сивый на плетень,— как только затылок цел остался?!» — «Дурак, это волки!» — «Н-ну?» Стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин:

«Ты, Кузя, мостом не издй, лошадь ногу сломат. Тута у моста,— пояснил он Некульеву,— барина-князя мужики убили». По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись,— седоки слезли. Стали подталкивать шарабан,— влезли на полгоры и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния, и увидели — наверху на краю овражка, шагах в десяти, рядом сидела стая волков. Сказал Цыпин: «Надоть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают». Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. Некульеву все время было очень весело.

Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и брызги с ветвей — в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев, недоумеая, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив.

— Когда князя-барина мужики порешили убить,— этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: «Так и так, уехать вам надо, громить вас будут, порешили мужики убить». Князь лакею: «Приказать заложить тройку!» А Цыпин ему: «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим, как они теперь народные!» Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у кучера взял, картуз и на шею красный платок,— жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку,— а у мосточка им навстречу Цыпин: «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил». Дал ему князь монету, рубль с серебром,— и кто убил князя — неизвестно.

Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.

— А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович,— начал не спеша и напевно Кузя.— А у него была жена-красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать — Аннушка. А село было большое, и в нем, заметьте, три церкви разным богам... И вот пошла Аннушка

к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: «Так и так, здравствуй, Аннушка! — а потом в сторонку: — Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком, на зорьке?» — «Чтой-то вы, батюшка?» — ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: «Так и так, здравствуй, Аннушка! — и опять в сторону: — Так и так, Аннушка, не антиресуешься ли ты со мной переночевать?»

— Ты это про что говоришь-то? — спросил недоуменно Некульев.

— А это я сказку рассказываю, — очень все любят, как я рассказываю. — —

— — И еще был бодрый солнечный день, — день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одури пахло — и лесною и земною — благодатью. Легкие бухнули, как губка от воды, — хорошо пахнет, когда неклены топятя солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснутся его, зрелые падали капли дождя. Волга под обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. — Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, вмазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, — дом будет по-прежнему исправен, все пустяки! — И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхом шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска — «контора», — вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, — красавец, кольцекудрый, молодой. Пенсне перед глазами сидели как влитые, — совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной, как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом — зеленое сукно было залито чернилами и стеарином многих ночей и писак, — и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя, руки по швам; и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах, в бесцветной от времени рубашке, неподпоясанной и с растянутым воротом; и были у Кузи огромные бурые — страшные — усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, там объездчики пришли, му-

жики,— лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. Допустить?

— Пускай всех!

— Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.

— Пускай всех.

На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком — разобрать возможности не было; объездчики выстроились по-солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко:

— Леса теперь наши, сами хозяева!

— Как ты, товарищ, сам коммунист,— желаем пилить в Мокром Буераке, как он кадомский!

— Немцы из-за Волги,— ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломаем!..

— Татары вот тоже либо мордва.

— Ты, товарищ-барин, рассуди толком,— мы пилили и желаем продать в Старов по сходной цене!

Сказал Некульев весело:

— Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист,— это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая!

Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку,— Некульев сказал:

— Ну, что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!

Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил:

— Чай здесь изба, образа висят!..

Попарно, не спеша и покойно, вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские.

— Können Sie deutsch sprechen? — спросил немец.

Мужики загалдели о немцах,— вон, наши ляса! — Некульев сел за стол, вытянул вперед ноги, покачался на стуле, заговорил деловито:

— Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли,— давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу и пилы и топоры верну,— не в этом дело. А лесов без

толку пилить нельзя, посудите сами,— и заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца.

Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора, шапки, все же, понадевали,— последним сказал Некульев дружески: «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо,— а вы как хотите!..» Некульев любил быть «без дураков».

Кузя выстроился во фронт, сказал:

— Честь имею доложить,— яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету,— Маряша в колонку к немцам сплават.

— Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня,— давайте есть вместе.— Яиц купите — —

И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам, глупорожий Кузя,— когда вошла в контору Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами.—

— «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат,— корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов»— и на мандате вправо вверху «пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,— и на документах, на членской книжке — прекрасные обоим слова — Российская Коммунистическая Партия. «Ваш предшественник убит?— князь убит?»— «Мужики кругом в настоящей крестьянской войне с лесами». Разговор их был длинен, странен и — бодр, бодр, как бодрость всего солнца.— У одного — там где-то — лесной институт в Германии, российские заводы и заводские поселки; быть революционером — это профессия; в заводских казармах, в коридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по каморам будило («вставайте, вставайте,— на смену,— гудок прогудел!»); а мир прекрасен, мир солнечен, потому что — через лесной институт, через окопы на Нароче от детства на Урале, от книг в картонных переплетах (долины под горою,— а за горою, в делянках, где, кажется, и не был человек, медведи и монах в землянке) — твердая воля и твердая вера в прекрасность мира — «без дураков»: это у Некульева; и все шахматно верно: и здесь в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на уральских заводах. И у нее:

Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, — по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту — чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья; и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги; и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет, и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу), и отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовая за печкой, и черти; и тринадцати лет в третьем классе гимназии — уже оформилась под коричневым платицем грудь, — и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки, как потолки родного дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой комнате надо было изводить клопов, — но все же потолки после них — дома, когда умер отец, — показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напоминал таинственное детство; она вошла в дом — как луна в ночь, старший приказчик — бульдогом — принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатали крысами, шарили, шуршали, арестовали за Петербург, — ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко правда дала красота, и тюремные коридоры стали петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: эхо у Арины Арсеньевой, и тоже все шахматно верно, и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной Армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью: семнадцатилетняя обильность к тридцати годам — тяжелое вино, когда все время было не до вин. «И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно» — — На солнце от зелени некленов свет зеленоват, расплавляется воздух, — Некульев заметил: в зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть — и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. В контору вошли трое: мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал:

— Честь имею явиться, второй после Кузи лесник, с одиннадцатого кордону, Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.

Лесника перебила жена, заговорила обиженно: «Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей исть хочешь. Как хотишь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже, чай, Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломошный, грызь у него, мы из Кадом. Как хотишь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал мала меньше, а нас всего трое». Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. Некульев сказал: «Ступайте с богом, буду знать». И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева — тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:

— Вы знаете, когда «влазины» бывают,— влазины, это так называется новоселье,— ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди, и надо — по поверью — входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается — —

Глава первая — НОЧИ, ДНИ

Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора — расскажут.

— В лесах по суземам и ramenьям живет леший — ляд. Стоят леса темные от земли до неба,— и не оберешься всевозможных Маряшиних фактов — темной стеной стоят леса. Человек по ramenьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь рядом с молодой порослью стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гробяною парчою мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит,— если же со степей найдет ветер, тогда старцы-дубы трутся друг о друга, скрипят, сыплют гнилыми ветвями, трухой. Кузе, Маряше, Катяше, Егору — здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На ramenьях издревле поселился тот черт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость черта: красный кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.

Белый дом в лощине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным некульевским глазам на глаза попадалась битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, — песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленоватое стекло колб. Днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пятиминутки он тратил на них. Некульев любил быть без дураков, он не замечал, что у него — помимо сознания и воли — каждый шорох в доме, каждый глупый мышиный пробег — покрывают гусиной кожей его спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казался по соседству кто-то — не то третий, не то седьмой какой-то, — и каждая ночь была, как все.

Была луна, и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебряными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и подпер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового Ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы проехать на телеге, если же проберутся сюда, то — секретной дверью, оставшейся от помещика-князя и случайно найденной, — он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там — ищи, свищи!.. Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешены. Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому; на кухне он попил из ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушивался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, подпер дверь колом — и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно по-

шел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы,— Некульев стал пересыпать песок — склонил кудрявую голову к мутно-стеклянным колбам.

И тогда — неожиданно застучали в окно там, где была лампа,— неуверенный голос окликнул: «Эй, кто тама, выходите. Милиционер требует!» Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: «Ты кто такой?» Паренек обрадованно заговорил: «Иди, тебя требует милиционер!»—«Ты почему с багром?»—«А это я от собак. Собак-от нетути?»— Милиционер на берегу, в лодке!»

Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:

— Вы что же, черти, спите, когда лес воруют?! Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника самогонщиков поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой Горы, а с горы, с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна,— лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным,— уйду — разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал!.. Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..

Милиционер влез в лодку, scomандовал самогонщикам,— мужики впряглись в лямку, потащили бечевою дощанный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно, и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники — скрылись за косой.

Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине.

Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками наперевес, мчали к Мокрой Горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке,— вышли к Волге.

Волга, горы, тишина,— прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то,— тишина,— и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатилося вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя

и Некульев пошли под обрывом,— в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами. Еще сорвалось с вершины бревно,— и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул,— и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень,— Некульев толкнул его — вперед — коленом, пере-замкнул замок винтовки и — твердо пошел к дощаникам,— толкнул на воду пустой и навалился, чтоб столкнуть нагруженный,— сверху выстрелили из винтовки,— пуля шлепнулась в воду. «Кузьма! иди, толкай!»— на отвесе наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку — сейчас же — выстрелил Некульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, лешай?! Не трожь дощаники!»

Некульев сказал:

— Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!

Луна потекла с весла. С берега кричали: «Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники!»

Некульев сказал:

— Эх, черт, лошадей как бы не украли!

Кузя ответил:

— Пошто,— мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.

Подплыли к Мокрой Балке. К дощанику — трое — подошли мужики,— вязовские, в слезах, один из них с винтовкой,— замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя — тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впряг их в ляму,— тогда строго заявил:

— Лес воровать, сволочи! Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!..

Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:

— На что их брать? Куда мы их денем?

— Ничего, постращать не вредно!

Лошади шли берегом по щебню, медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным — пред днем — небо, похолодело в рассвете, села на рубашку роса.

— Сказочку вам не рассказать ли?— спросил Кузя.

Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко.— (Через два дня — ночью — эти дощаники исчезли, кто-то украл) — —

И опять в ночи задубасили в окна. «Антон Иванович, — товарищ лесничий, — Некульев, — скорей вставай!» — и дом зашумел боцами, шорохами, шепотами, свечи и зажигалки закачали потолки, — «у Красного Лога — потому как ты коммунист, мужики из Кадом — всем сходом с попом поехали пилить дрова — по всем кордонам эстафеты — даны — полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!».

У конного двора, против людской избы, стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), — яркая звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?), и рядом под деревом горит иванов червячок. Кузя вывел лошадей, — но ему лошади не досталось, и он побежит пешком.

— Ягор, ты винтовку-то пока повези, чего тащить-то?

На лошадей и карьером в горы, в лес, — «эх, черт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!».

Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, — в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат незнакомые какие-то птицы — («эх, прекрасны волжские ночи!»). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.

— Эх, и сволочь же мужичишки! Ведь не столько пользуются, сколько повалят и намнут! Сознательности в мужике нет никакой! Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, — сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой — на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!

Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:

— Ягорушка, теперь ты побежи, а я поеду, отдохну малость.

Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя удобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:

— Вот бы теперь хоровую грянуть, как разбойники! — и свистнул в темноту леса длинным разбойничьим по-свистом: захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица.

...На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь; отбыла та минута, когда — на минуту — и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы — затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле; из леса на опушке вылетела сова, пролетела безмолвно, и тогда прокричала в лесу незнакомая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес, скрипы колес, тарахтения ободьев, конские храпы, человечьи шепоты, плач грудного ребенка, — стали рядом, уперлись в лес. Два древних дуба у проселка на просеке — у самого корня подпилены, — только-только толкнуть — упадут, завалят, запрудят дорогу.

Тогда из мрака строгий объездчий окрик:

— Э-эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад!

И тогда от обоза — сразу — сотнеголосый хор и хохот, слов не понять и непонятно: люди ли кричат иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу; и обоз ползет все дальше. Тогда — два смельчака, мастеровые, Кандин и Коньков — последнее усилие, храбрость, ловкость — валят на дорогу колоды древних двух дубов; и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана — бессмысленно, по лесу — полетели наганные, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол-обоза стало, лошади полезли на задки телег. «Сворачивай!» — «Верти назад!» — «Пали!» — «Касатики, вы бабу задавили!» — «Попа, попа держи!» Лес темен, непонятен, — на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. «Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!» Непонятно, кто стреляет и зачем?

К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в стороне под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище дикого становища. Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним

приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроено и шепотом заговорил:

— Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять арестовать, отделили их дубами. Для остратки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться подобру-поздорову, чтобы мужики разобрались сами собой, чтобы наши концы в воду,— но тут уже не было возможности сдержать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие...

У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:

— Фу ты, черт, какая ерунда!

Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:

— Барин, кормилец, касатик! Отпусти Христа ради. Больше никогда не будем, научены горьким опытом!

Некульев заорал,— должно быть злобно:

— Встать сию же минуту! Черт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано — лесов грабить не дам, ни за что!— и недоуменно, должно быть:— а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальчонка?!. Все село телеги перепортило, эх!

— Отпусти Христа ради! Больше никогда не будем!..

— Да ступайте, пожалуйста — человека от этого не вернешь,— поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески!— и злобно:— а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит,— расстреляю! Идите, пожалуйста, куда хотите.

Коньков, коммунист, приехавший с Некульевым хранить леса, спросил — со злобой к Некульеву:

— А попа?!

— Что попа?

— Попа никак нельзя отпускать! Его, негодяя, надо в губернскую чеку отослать!

Некульев сказал безразлично:

— Ну, что же, шлите!

— Чтобы его, мерзавца, там расстреляли!

Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.

И опять была ночь. Безмолвствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах — Некульев увидел — вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел и четко чокнулась в потолок пуля, посыпалась известка. Стреляли по Некульеву — —

И бодрое было солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков. Егор тащил на загорбке самогонный чан. Приехал из Язовов Цыпин, передал бумагу из сельского Совета, — «ввиду постановки вопроса об урегулировке леса немедленно явиться для доклада тов. Некульеву». Цыпин был избран председателем сельского Совета. Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни и от самой страшной — самосудной — смерти, когда его разорвали б на куски, когда оторвали б руки, голову, ноги, — его спасала только глупая случайность — человеческая глупость. В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред Советом толпились парни и девки, и яро наяривал вприсядку паренек — босой, но в шпорах! Некульева шпоры эти поразили, — он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: да, именно шпоры на босых пятках, — и лицо у парня неглупое. А в Совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В Совете нечем было дышать. В Совете стала тишина, когда вошел Некульев, — Некульев не слышал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, — и Некульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:

— Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, — приехал! А еще коммунист! Пушай говорит, что знает — —

Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпоры, шпоры спутали мысль. Некульев заговорил:

— В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад — —

— Ляса теперь наши, жалам их по закону разделить по душам!..

Перебили:

— По дворам!

Заорали:

- Нет, по душам!
- Нет, по дворам!
- Нет, говорю, по душам!
- Да что с ним говорить, ребят! Бей лесничего своим судом!

Некульев кричал:

— Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад... Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что — помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы — помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам — —

— Мужики! Теперь все наше! Пушай даст ответ, почему кадомские могут воровать, а мы нет!.. Откуда он взялся на нашу голову?!

— Жалам своего лесничего избрать!

— Бей его, робята, своим судом!

Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистью на него. Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. Некульев кричал почти весело:

— Товарищи, к черту, тронуть себя я не дам,— вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу!— Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.

Завопил Цыпин:

— Минька, беги за берданкой,— посмотрим, кто кого подстрелит!

— Стрели его, Цыпин, своим судом!

Некульев закричал:

— Товарищи, черти, дайте говорить!

Толпа подтвердила:

— Пушай говорит!

— Что же вы — враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на месте, я сяду, поговорим.— Некульев тот день говорил обо всем,— о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине,— он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он за-

молкал, начинали орать мужики о том, что — что, мол, говорить, бей его своим судом! — и у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже сидел на пороге в дверях, с берданкой. День сменился стрижиными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать — говорить, говорить обо всем, что влезет в голову.

Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания «союза фронтовиков», молодежь, пьяным-пьяна, с гармонией; их коновод — должно быть председатель — влез на стол около Некульева; он был бос, но со шпорами: осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:

— Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон — Рыбин орет более всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет?! Нет! Судить могут только которые попадались на порубках, а которые не попадались — катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках его в холодную, — леса нам в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с ним, как он ему первый помощник и сам леший!

Стрижиный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор: «Вре!» — «Правильно!» — «Бей их!» — «Цыпина лови, старого черта!» И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, захряскал тяжелый кулачный бой. Некульева забыли. Некульев — очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг — подобрался к окну и — стремительно кошкой бросился в окно. Никогда так быстро, так стремительно — бессмысленно — не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке — —

(В сельском Совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, — и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а наутро уже много баб говорили, что видели своими глазами — вот провалиться на этом месте, если

врут — как потемнел Некульев, натужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен вроде чернозема — натужился — и провалился сквозь землю, колдун) — —

И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на Зеленый остров пилить дрова. Некульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать лес. Зеленый Остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, — был бодрый день, — пошли к немцам, чтобы уговорить, — но немцы встретили лесных людей правильной военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, — от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патронов и стали пред дилеммой: или сдаться, или убежать на дощанике; но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, — лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. Немцы взяли в плен лесных людей. Немцы отпустили всех, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. — Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его — по непонятным для него причинам — выкупил Вязовский сельский Совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентаря). Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовах: вязовские мужики заявили немцам, что — ежели не отпустят они Некульева, — не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадетсЯ немец — убьют: немцам необходимо было отправлять на пароход масло, мясо, яйца, — немцы Некульева отпустили — —

Глава вторая — НОЧИ, ПИСЬМА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин-товарищ, — глаза-те у меня вытекли.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, — пустые глазницы уже затянулись. Шапку мужик

держал в руках,— и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом.—

Дом был чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника: дом был враждебен этим лесам и степи: Некульеву надо было здесь жить. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, отбросил часы от себя — и они разбились, рассыпался песок...

Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и Заволжье, и там горько пахло полынью. Некульев вышел из дому, прошел усадьбой — у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них — Егор и Кузя, — и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по-летнему в кафтане и в лаптях с белыми обмотками. Некульев вернулся с горы поздно.

У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и некленом,— Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта, и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.

— ...ну вот, шасьт Аннушка — да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: «Так и так, здравствуй, Аннушка! — а потом в сторону:— Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?» Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда. Неминуемо — заметьте — рассказала мужу. А муж Илья Иванович, человек рассудительный, говорит: «Иди в церкву, жди, как поп от обедни пойдет, и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему — и так и далее. А сама помалкивай». Пошла Аннушка, поп идет из церкви: «Ну, как же, Аннушка, насчет зорьки?»— «Приходите, батюшка, вечерком в половине десятого,— муж к куму уйдет, пьяный напьется». И второй поп навстречу: «Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?» Ну, она, как муж, и так и далее... Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп,

бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает — заметьте — из-за пазухи бутылку, белая головка. «Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать». А она ему: «Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком», — ну, кстати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядом уселся, руку за пазуху к ей засунул, — стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась — «ахти, мол, муж!». Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: «Уж и не знаю, куда спрятать? Вот нешто на подоловке Муж новый ларь делает, — в ларь полезай». Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, — стук-стук в окно. Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друге, шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальживать — стук в калитку, муж — кричит вроде выпимши — «жена, отворяй!» — так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: «В ларе?» Аннушка отвечает: «В ларе!» Ну, тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, в кураж вошел. «Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!» Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре, попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, — попы жирные, девятипудовые, — не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу! Да... — Кузя достал кiset, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, — собрался было рассказывать дальше.

Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами — Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка:

— Гляи, — пошел, Антон-то! Опять пошел — отправился. Костры сжигать... Груня вязовская, знающая бабочка, баит — колдун и колдун. Я ходил, подозревал: на-

ломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и — гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла, на носу-то, горят, как угли,— а сам травинку жует... Очень страшно!.. А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде как ничего.

— И к бабе своей ездит,— сказал Кузя.— Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать... Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели — ну, в двух шагах от меня, никак не дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуны говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят,— а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: «Извините меня, Антон Иваныч, мошка заела!» Она как вскочит, на него — «это что такое?»— сердито так. Мне он ничего не сказал, как бы и не было...

— Надоть идтить часы стоять,— пойду я, до свиданьица,— сказал старик в кафтане.

— И то ступай с богом, спать надоть,— отозвалась Маряша и зевнула.

Кузя высек искру, запалил трут, раскурил сигарку, осветились его кошачьи усы.

— Так, стало-ть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно? — строго спросил он.— Ни молитвой, ни заговором?

— Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надоть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли,— сказал старик.— Прощевайте!— старик поднялся, пошел не спеша, с батогом в руке, вниз к Волге, светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти.

Вслед ему крикнула Катяша: «Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!»

Заговорил напевно Кузя: «Да-а, вот, кстати сказать, выходит, хотел Илья Иваныч над попами потешаться, а вышло совсем наоборот...»

— Я тебе яичек принесла, Маряш,— сказала, перебивая Кузю, Катяша.— Для барина. Ты почем ему носишь?

— По сорок пять.

— Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.

— У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба?— спросил Кузя.

— Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет,— сам ворует. В смысле хлеба — табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: «Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю,— а мне продавать никак некогда». Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму,— осталось всего три пуда. Тут его и сцапали, брата-то,— милиция. Мука-то, выходит, ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. «Где вся мука?»—«Не знаю».—«Где взял муку?»—«На базаре, у кого — не припомню». Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал; три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился,— а он на него: «ах ты, пятая нога, ворованным торговать?!— в ноги кланяйся, что не выдал!»—«А деньги?»—«Все, брат, отобрали, бога надо благодарить, что шкура цела осталась»...— Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставлял... А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит — прямо с неба свалилось счастье.— Егор помолчал.— Яйца у меня в картузе восемь штук — возьми, Маряш.

— Лесничий, кстати сказать, как приехал — прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень острый, заметьте,— сказал Кузя.

— И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца,— прямо господская жизнь!— оживленно заговорила Маряша.— Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют,— варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое,— а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает: «Вы ее с мылом моете»,— а я ему: «Что-оте мыло, баю, у нас почитатца поганым!..»

В избе вдруг пролетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный цыпленок, закудахтала курица,— на пороге появился мужик, тот, что ослеп,— с протянутыми вперед руками, в белой рубаше, залитой кровью,— бородатая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:

— Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!..— упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.

— Вперед лыка не дери,— успокоительно сказал Кузя.— Видишь, отца звали, сказал, ничего не выйдет.

Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: «Потух костер-то, идет, значит, назад. Спать надоть,— зевнул и перекрестил рот.— Отдай тогда яички, сочтемся». Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; побежали по столу тараканы. На постели, на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел),— стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку,— кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люлке заплакал ребенок,— в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку — и, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух.

Наутро и у Кузи, и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову; бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая — единственно говорившая — Женька, тащила мать за подол, кричала «аря-ря-ря, тяття, тяття» — просила молока. Корова переходила, молока давала мало,— Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу, купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей — Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту — и со свирепым лицом — «кыш вы, озари!» — стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и — в подоле — восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: «Старайси? Спать с собой скоро положит!» Маряша огрызнулась: «Ну-к что ж, что ж,— мене, а не тебе!» Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела

она сорокалетней, высока и худа была, как палка. Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.

Кузя поутру ушел в лес; винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы; шел не спеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, посматривал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места, совсем забытые и заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник,— стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку,— картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере.

Кузя окликнул:

— Есть, что ли, кто? Андрей, Васятка?

Вышел парень, сказал:

— Отец на Волгу пошел, сейчас придет.

Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда:

— Может, хочешь стаканчик свеженькой?

Кузя ответил:

— Не.

Замолчали,— из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин.

Кузя сказал:

— Варите?— Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достаь мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины справлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Достаь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше.

Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень, сказал:

— Кузь, дай бабахнуть!

Кузя передал ему винтовку, ответил:

— Пальни!

Парень выстрелил,— отец покачал сокрушенно головой, сказал:

— В дизеках ведь ходит, Василий-то...

На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: «Например, раз сижу вот на этом самом пне, а мне чирик с дерева говорит: «пить тебе сегодня водку!» Я ему отвечаю: «Ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?..» Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица — она премудрость божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг наложя посолонь надо ходить или против солнца? А он мне в ответ: ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы налож вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. Отпалил, да-а! А я ему: «А как же, например, раз, Исус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?..» И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками... А табак — это верно, чертова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть, мед табаком пропах...»

Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем,— лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев,— поехали в леса.

Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отправить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа — из красного дерева — кивот, и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге», с золотым соколом посредине: Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник — влазины; Некульев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике,— на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул,— садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить,— невесть что. Плюнул направо, налево, в Ка-

тяшу (та утерлась покорно), и началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, — поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, — одну свечу дал Егору, другую — Катяше: сам же стал что-то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекосилось лицо: и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе; Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза — так показалось в темноте и Егорушке, и Катяше — налились кровью, закричал:

— Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков, вытяни у него жилу живота на тридцать три сажени!

Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что жить «в новом доме» они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая и будет только одно несчастье «через темное число дней, и ночей, и месяцев», — ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, — свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом доме подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и поपालить столб, а потом с зажженной свечой пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сторели свечи дотла и потухли б сразу, — первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, — и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы.

Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот — «Пиво Сокол на Волге», «Пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из-под монпансье сахарный песок, — сплюнул палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, — потом облизывал палец; на окне лежали

зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут недолго,— попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой,— взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички,— Егорушка всех их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и ноги, и сказал: «Ну что, которые там, лесокрады!— Выходи!..» В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот «в Соколах на Волге», и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки — одна с черным петухом (выменянным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влазин),— и сундук с Катяшиным — еще от девичества — добром; и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогонку, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала «саратовскую»,—«шарабан мой, шарабан»... Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо; Катяша смолкла, покрестилась; покрестились и Егор, и Маряша, и дети; Катяша сказала: «Трогай с богом!» Попросила Маряшу: «За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи!..» Поехали, Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: «Шарабан мой, американка, а я девчонка-шарлатанка!..» — —

При Некульеве единственное было собрание рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые-коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехались с вечера,— дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на «подторжье», чтобы столковаться перед торгом рабочкома,— кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и — о воровстве, о небывалейшем воровстве в лесах,— говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечой, в зале; Некульев лежал на диване; сказал тоскливо Коньков: «Расстреливать надо, товарищи,— и первым делом наших, лесных людей, чтобы была остратка. Что получается?— мы воюем с мужиками,

а кто похитрее из мужиков — идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, — и лесник отпускает ему, что только тот захочет, — получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязывался ко мне шиханский мужик, — дай ему лесу на избу, — день, другой, — я сижу голодный, а он и самогону, и белой, — я так ему морду избил, что отвезли в больницу, — не стерпел!» Ответил Кандин: «Я морды бил, прямо скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратное, надо рассудить: получает лесник жалование, на хлеб перевести, — полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо по необходимости, — ты смотри, как живут, свиньи у бар чище жили. В лесном деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому — воруют от нужды. А если больше ворует, — значит, от озорства, — тогда, обратно, можно расстрелять. Святых нет, — а дело делать надо!» Говорили о рабочкоме. Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, — ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести наутро заседание рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. — В парке запели песню и стихли, Некульев пошел к остальным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по-разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях выполошенное костром вороне. Некульев присел к огню, стал слушать.

Кузя говорил:

— ...И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь — лежат три попа друг на друге, и все мертвые и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, — пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат... Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и — хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже заоченели, — взял одного попа, поставил его около клетки, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в тарктир и, заметьте, прихватил с собой бутылочки, которые попы не допили, там гармошка играет, народ сидит, — и у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: «Пей!» — дал ему бутылку.

Ванюша выпил, пьяный стал,— ему Илья Иваныч и говорит: «Дал бы еще, да некогда. Надо иттить-ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, надо его в прорубь на Волгу отнести». Ну, Ванюша вцепился: «Давай я отнесу, только угости!» А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: «Ну, уж коли что, из-за дружбы,— отнесешь, придешь в избу, угощу!» Ванюша прямо бегом побег. «Где утопленник?»—«Вона!» Ванюша попа схватил, на плечо и прямо к воротам,— а Илья Иваныч к нему: «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь». Положили, заметьте, в мешок. Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в избу: «Ну, где выпивка?» А ему Илья Иваныч: «Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал,— он опять вернулся».—«Кто?»—«Утопленник».—«Где?»— вышли на двор. Стоит поп у клетки. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: «Ах ты, такой-сякой, не слушаться!»— схватил второго попа и побег к проруби,— а Илья Иваныч ему след: «Ты как будешь его в воду совать, скажи — упокой, господи, его душу,— он в воду и пойдет!» Это, чтобы помолиться все-таки за попа. Только Ванюша со двора,— Илья Иваныч третьего попа ко клетки,— прибегает Ванюша,— а Илья Иваныч ему выговаривает: «Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести,— ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься». Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч — спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: «Ну, все-таки ты, Ванюша, потрудился, пойдем — угощу!» Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл, как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. Вот и сказке конец, а мне венец,— сказал Кузя.

Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу,— пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному... Сказка показалась ему нехорошим вещанием.

Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи,— но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили — по-военному — в козлы. Избрали президиум.

От этого собрания остался нижеследующий протокол:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад тов. Конькова о международном положении¹.

2. Доклад тов. Кандина о плане работы рабочкома.

а) Культурно-просветительная работа.

б) Средства рабочкома и расходные статьи.

3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устройению памятника революции в Москве.

4. Донесение председателя Кадомского сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью председателя Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.

5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиками и лесниками с 7 кордона; из племхоза был взят плембык за круговой порукой, — бык был убит и съеден, а в племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.

6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям³.

7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.

1. Принять к сведению.

2. Ввиду разбросанности лесных людей по лесам культкомиссии не избирать; выписать коллективно на каждую сторожку по газете²; расходы — 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3) суточные.

3. Отчислить однодневный заработок.

4. Ввиду несообразности донесения на самого себя — направить дело к доследованию, отослав копию в Угрозьск.

5. Ввиду незаконного поступка с быком с лесников Стулова, Синицына и Шавелкина и объездчика Усачева удерживать ежемесечно 3-х-дневный заработок и направлять его в кассу племхоза.

6. Утвердить.

7. Оставить вопрос открытым⁴.

1 В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия — географически в разных материках.

2 Выяснилось, что половина лесников безграмотны. Кузя шептал, голосуя, Егорушке: «Ничего, выкурим!»

3 Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелаем, чтобы собрание рабочкома не делали в воскресенье, потому, как граждане самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймашь, — а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией».

4 Товарищи, Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого, — Сарычев обиделся на него, — говорил: «... а если вы думаете, что кадомский Васья Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, — так он сам первый жулер, а которые фамилии были подписаны, — так они люди странние, теперь уехали домой, на Ветлугу. —

Первое письмо, которое написал Некульев с Медыньских гор, было такое,— он не закончил его:

«...у черта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцати верстах, а железной дороги — в ста,— в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня,— в жаре и делах, поистине чертовщинных!— живу я Робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас — 16 верст, но под обрывом идет — «великий водный путь», и я часто толкую с теми, кто бечевой идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; так вот дней пять тому назад тащил бечевой мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три черта, один под сердце, другой в «станову жилу», третий — под мышку,— а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять,— так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике,— сообщил, что черти изгнаны.— Люди, с которыми я живу,— это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы; но это не главное, а главное то, что, прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью — для домового, а жена его — голая — обегала дом, чтобы «отворотить глаз». У него заболел бычок, заслезились глаза — ветеринар уж не так далеко, в Вязовах,— но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик — арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить,— я и не полагал, что он колдун,— мужик как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника),— так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял (!) какую-то пленку (!) с глаз у бычка, посыпал солью,— и бычок ослеп!— тогда Катяша, жена Егора, достала «змеиной выползины», высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной — лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей; сначала я ее звал Машей,— она сказала мне: «И что-те как вы зовете меня? Меня все зовут Маряшей!» Детей у нее трое, лет ей 23,— моей «жисти» она завидует до слюней: «И-и-ии, и все те с маслом, и молока сколько

душа жалат!» Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю: если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею,— а она молоко оставит на масло и творог — и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя,— и ни одного ребенка не принимала у нее даже — знахарка-бабка: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас,— черт знает что такое! Ко мне отношение такое. Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масла; я спросил: почему? «Как раньше брали, по 25». А с меня Маряша, и Кузя, и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им — как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи,— ведь я же по-товарищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать,— этакое лирическое нравоучение прочел им! Не сморгнули: «Мы понарошку зато, нарочно мы, то есть!..»

«А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: «Это мы тебе в подарок!» Послал я их к черту со стерлядками. Я для них — барин и больше ничего,— я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть — барин; заставляю я ходить их на четвереньках — пойдут, заставляю вылизать пол — вылизут, и сделают это на 50 % из-за рабственного страха, а на 50 — из-за того, что, может, барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, что делаем мы, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов,— сделают все что угодно,— но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть может, излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня «бог послал» Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я — честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают

честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция!.. Это весь народ, который я вижу вокруг себя, но кроме них есть еще невидимый — это те сотни, а может, и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, — хоть, впрочем, забыл: я же сам был украден немцами и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей чесотке, — сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и — было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, — а мясо, там, масло, яиц — никогда не видят... А вот Мишка — пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, — нашел в лесу землянку, уже развалившуюся, в овраге, в глуши, — землянка в гору вросла, — и в землянке полуистлевшая псалтырь; спасался, должно быть, какой-то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю — «Арендателю» — чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человечесьей головой, — телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, — но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вождедеть к коровам — это пусть лежит на его совести». — —

Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, отекали стеарином, — лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, — первый раз осознал эти привычные мурашки, — поспешно ощупал револьвер, — вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, — и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:

— Товарищ Антон! Илья Кандин — убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!

Глава третья — О МАТЕРИ СЫРОЙ-ЗЕМЛЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЛЮБВИ

Расспросить мужиков о матери сырой-земле, — слушать человеку уставшему, — станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики — старики, старухи, — расскажут, что горы и овраги накопили огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами — в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила — она же мать сыра-земля — человека, мужчину и женщину, — манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают — любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сыроу-землей — как смертью и любовью — клянутся мужики. Мать сыру-землю — опахивают заговорами, и тогда в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова: все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть — матерью сырой-землей. А сама мать сыра-земля, — поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, повой — — Мать сыру-землю можно — иль проклинать, иль любить. — —

У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу щемили, щемили. Волгу спасали Медыни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залогах — в десятках мест — грузились баржи с дровами, лесами, осмериками, двенашниками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходом, — ночами сыпали пароходы костры искр, — брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, — шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кро-

вяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь,— жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир,— и все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслились, как рабочие блузы. Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было — во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом — —

...Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли, и Коньков сказал шепотом, как заговорщик: «Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!» Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе — с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и вмиг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул,— и в комнату вошел матрос, покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры.

— Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. Документы!

— Вы коммунист, товарищ?

— Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход.

Земля сворачивала уже в осень, и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке выли бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огней. Сели, поплыли. Кузя подсел к Некульеву:

— Это что же, расстреливать нас везут? — Помолчал. — Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву...

Крикнул матрос:

— Не шептаться!

— А ты куды нас везешь, за то? — огрызнулся Кузя.

— Там узнаешь куда.

Ткнулись о пароходный борт.

— Прими конец.

— Чаль!

Пароход гудел человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым.

— Веди в рубку!

В рубке толпились вооруженные люди; у одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валила с ног.

И выяснилось:—

Седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; кзрга лежала в рубке на столе: вверх ногами; Седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, — и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, — с ним спорили, не доверяя. А потом всю ночь сидел Некульев со штабистами — матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен. Коньков сказал, что он останется на пароходе. Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их — —

— — И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу, к Седьмому (и Первому и Двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина — —

...Такие люди, как Некульев, — стыдливы в любви: — они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни, они лгут, — это не есть ложь и лицемерие, но есть веселая хитрость; с собою они целомудренно-чисты, прямолинейны и строги. Тогда, в первый медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро: и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю!», — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло лицами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими

драла корье — драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу.— У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в петербургскую прямолинейность,— и она возматерилась обильно — матерью сырой-землей,— как тюльпанная (только две недели по весне) степь,— кожевенница Арина Арсеньева, женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть), стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волчонок. Но за домом и за заборами — дом стоял на краю села — была степь, по-прежнему жухлая, одиночащая, в увалах и балках,— такая памятная лунными ночами еще от детства. А каждая женщина — мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны — на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерьме, о золении, о дублинии, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьим помете),— и надо было иной раз рабочих обложить — в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором были низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка; строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов; стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости; надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне,— а сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо — не надо было склоняться вечерами над волчонком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему и вдыхать его — горький лесной запах!— — И вот в солнечный бодрый день — всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу,— полюбила, полюбила! И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал —«люблю, люблю»,— остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка — женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он

рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волчонок; но волчонок был враждебен ему: волчонок забивался в угол, съеживался, и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие,— и волчонок скалил бессильную маленькую свою морду, и от волчонка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека... Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Некульев не замечал, что всегда Арина кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина — удосуживалась все же! — пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом,— кожей, что ли. Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнца подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами, сурки,— поднимались на другую сторону балки,— и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей,— Некульев думал, что в руках его солнце. У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) — потому что у них были любовь и счастье.

И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.

Некульев приехал днем. В мезонине был только волчонок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: — Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченных,— пошла туда Арина Сергеевна.

Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких потухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор,— и там увидел — — На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их, как дуги); лошади походили на ужасных нищих старух; лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь,— хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню,— четверо втал-

кивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь идти убиваться, — вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы, и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая — живую еще — кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул:

— Арина, что вы делаете?!

Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву:

— Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется.

Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, — рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, — лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице.

Некульев понял: здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, — повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» — в степи он шел, как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волчонка.

Больше Некульев не видел Арины — —

Леса лежали затаенно, безмолвно, — по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, — горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо — оно услышало бы, как перекликаются дозорные, как валяются деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услышало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. Лежала в лесах мать сыра-земля. Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:

— Товарищи. Нам надо решить, как мы поступим. Кругом идет бой. Остаемся мы или уходим — —

Кузя помолчал, спросил Егора: «Ты как понимаешь, Ягорушка?» Егор ответил: «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак, к примеру, нельзя, все растащить,— я лучше в деревню убегу». Кузя за обоих ответил — руки по швам:

— Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!

Некульев сел к столу, сказал: «Ступайте, я тоже остаюсь. Будем отстреливаться. Что останется от меня, разделите поровну, если меня убьют. Кузьма, приходи через час, я дам тебе письма, отвезешь».

Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.

Некульев начал писать, медленно:

«Ирине Сергеевне Арсеньевой. Ирина, прости меня. Я был честен — и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером». — —

.

Но он не дописал письма, потому что вдруг вся кожа на теле покрылась гусиными мурашками, все запахло тухлыми кожами, табачным медом,— задрожали руки, зашевелились на голове волосы: пришел страх, ужас. Ночь мутнела, вдалеке лиловел восток, вдалеке рвались снаряды, рядом было тихо. Некульев присел за столом, прислушался, глаза его были сумасшедши; он на цыпочках побежал к двери: там было тихо; он потушил на столе свечу, замер, крикнул: «Уйдите!»— тогда бросился к окну, распахнул его, выпрыгнул в него,— побежал безумно, стремительно, в горы. Гусиная кожа все больше обрастала тело,— кольцекудрые волосы, должно быть, седели, шевелясь на голове — —

Кузя утром нашел на столе только эти три строчки начала письма и понес их по адресу — —

О ВОЛЧОНКЕ

Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина возвращалась из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе псы; село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался,— поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине — рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась

над волчонок, зашептала: «Милый мой, звереныш, ну, пойди ко мне!..» Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост, и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волчонка, немигающие, стали особенно чужими, враждебными навсегда. Ирина нашла волчонка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним, как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюда, стал самостоятельно есть, — но навсегда волчонок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, — они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала — он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами, — «ешь, ешь, голубчик, — ну, ешь же, все равно я не уйду отсюда!» — волчонок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и был неподвижен, не смотрел на миску, — пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задира л вверх ноги, — но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных, абсолютно внимательных глаза — Ирина поставила свечу на полу и села против волка на корточки, сказала — говорила: «Милый мой, звереныш, Никитушка, — ну, пойди ко мне, — у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» Свеча коптила, мигала, — мир был ограничен — мир Ирины и волчонка — спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг на друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волчонка — и волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, — впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей, Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, — на руке, — волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, — и сейчас же по-прежнему сел волчонок в углу: и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно внимательных зрачков, точно ничего не было.

И Ирина горько заплакала — не от боли, не от крови, стесавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия — как ни люби волка, он глядит в лес,— Ирина была бессильна пред инстинктом,— вот пред маленьким вонючим пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью,— и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ею,— что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву,— и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волчонка, тем злее был он с ней) больно ударила она волчонка по голове, по глазам и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастии. Свеча осталась около волчонка — —

Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло,— и за окном крикнул подавленный голос:

— Товарищ Арсеньева! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли,— казаки в селе, скорей! Айда в леса!—

и за окном послышался поспешный топот копыт — от села к степи, к лесам — —

...Степь с осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь... А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. На дворе, на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина — Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета донога. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее — красавицы — было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводский двор.

Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и дверь были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь все было разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечой, и смотрели из-за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух,

сам себе: «Убили, что ли? Либо подранили,— и тут громили, значит, черти!» Потом остановил свое внимание на волчонке, осмотрел, усмехнулся, сказал: «А говорили, что волчонок, ччудакии! Это лиса!» Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой,— взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его,— взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман и пошел вон из комнаты.

Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками,— о лешем он и не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.

Кузю, должно быть, поразила история с волчонком, потому что он по многу раз рассказывал Егору и Маряше и Катяше: «А говорили, что волчонок, ччудаки, а это — лиса! У волчонка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть и, заметьте,— уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю».

По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух — —

*Москва, на Тверской.
20 ноября 1927 г.*

ИВАН МОСКВА

Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.

Heinrich Heine

Посвящается О. С. Щербиновской

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Обстоятельство первое.

«Второй закон, о полезном действии энергии, будет для настоящих целей с достаточной ясностью установлен, если мы скажем, что одно и то же количество энергии может быть использовано только один раз. Для получения полезной работы из какого-либо источника энергии, покоя или потенциальной, необходимо превратить ее в новые формы, в энергию кинетическую, энергию движения» (Фредерик Содди).

Обстоятельство второе.

— — это было в городе Москве, возникнув в первый год революции. Профессор истории и истории искусств, Александр Васильевич Чаадаев, в бытность свою в Египте купил там мумию одной из жен фараона, имя которой выветрилось песками истории, не случайно для повести. Прах женщины, три тысячи лет тому назад царствовавшей — быть может, прекрасной, — представлял собою ныне женский костяк, обтянутый совершенно высохшей кожей темно-коричневого цвета. Прах, забальзамированный мастиками, весил много больше, чем живой человек. Тело было обтянуто испепеленными тканями. Волосы женщины были залакированы и зачесаны на прямой пробор, с косами на ушах, — но волосы были не черны, как предполагалось бы, но желты, как рожь, как приречный песок, волосы, выветренные тысячелетьями. Глазницы мумии были мертво закрыты. На губах мумии умерла и зажила в смерти непонятная, тревожная и — бывает так — обессиливающая улыбка, пронесенная мумией через тысячелетья.

В сущности, неправильно сказать — тело мумии, ибо тела не было, тела, превратившегося в коричневый ремень, тяжелый, как известняки. Эта женщина была роста выше среднерослого славянского мужчины, широкоплеча, бестазя. У нее были прекрасные губы, руки и ступни ног, и прекрасны были ногти на руках и ногах.

Через Александрию, Яффу, Афины, Византию — путями древностей — профессор Александр Васильевич Чаадаев привез мумию в Скифию и провез ее в Москву, в восточно-славянскую столицу отъезжего поля Евразии. У профессора были: кафедра в университете, бюджет, квартира, жена, теща, ребенок и нянька у ребенка. Мумия стала в кабинете профессора, за письменным столом, между диваном и книжным шкафом, против профессорского рабочего кресла. Профессор чинил свою жизнь в хорошем здорье.

Пришла великая русская революция, величествовал первый ее марш восхождения, — в профессорских понятиях — героика героизма, холода и голода. Профессор двинулся в революционные вечности — железной печуркой, картошкой и тем, что он с домочадцами — кабинет, столовую, спальню, детскую — все сдвинул на кухню, в темноту и тепло. Мумия осталась в глетчерном кабинете. И странными судьбами тогда — в геологии и Гофмане русской революции — мумия: ожила! Нянька профессорской дочери, подлинная скифка, которая вообще с первых дней возникновения мумии, убедившись окончательно, что мумия не есть мощи, твердую враждебность имела к мертвецу, — так вот нянька — первая — заявила, что мумия стала — пахнуть. Затем нянька сказала, что мумия светится. Потом нянька сказала, что мумия — гудит.

Профессор возмущался и доказывал.

Но за нянькой теща, а потом жена — утвердили, что поистине — пахнет мумия: и поистине чуть заметный, сладковатый, бередливый появился в кабинете запах разложения. За нянькой теща и жена утвердили, что мумия — светится: и поистине ночами во мраке спущенных штор чуть заметным, прозрачным, фосфорическим светом начало светиться лицо мумии, — и тогда, в тишине революционных ночей и замерзших домов, было слышно, было едва слышно, как гудит мумия — так же, как гудят морские раковины. Профессор — варварски! — раздел мумию,

чтобы обследовать: вновь, спустя три тысячи лет, предстали пред человеческие глаза женские тайны фараонши, — и в тот же миг рассыпались пеплом и прахом ткани одежд мумии. Профессор ничего не нашел, установив гудение мумии в том, что от сырости выпала мастика из ушей мумии и гудит пустая черепная коробка. Но женщины — в последовательности няньки, тещи и жены — потребовали, ультиматировали, что — или они, или мумия. Женщины с мумией жить не желали, категорически.

Профессор продал обнаженную мумию коллеге, пожелав за нее золотыми монетами триста пятьдесят рублей; коллега взял мумию и авансом уплатил семь золотых десятирублевков. И через месяц коллега пришел к профессору объясняться; коллега сказал, что культурная ценность мумии ему ясна, но мумия пахнет разложением, в семье некультурность, и он, коллега, просит профессора взять обратно мумию, пусть даже без возврата семидесяти золотых рублей.

Профессор не отдал мумии музею.

Революция прошла ледниковый московский марш, вышед в эпоху уплотнений, поистине — эпоху жизни русских городов, породивших уже не достоевщину, но нечто более страшное, что разбирается клинической психопатологией. Мумия в Москве имела длинную историю. Все годы революции обнаженная трехтысячелетняя женщина, бывшая царица, ходила по рукам в Москве, из дома в дом, нигде не оставаясь больше двух недель. Через каждые две недели в комнате, где жила мумия, начинало пахнуть мертвецом, и ночами мумия светилась бередливым фосфорическим светом. Люди знали, что мумия тлеет и светится. Смелчаки брали ее, чтобы жить около тлеющих тысячелетий; тлен сильнее смелости: через две недели, по стандарту, смелчаки обессиливали бороться с тленом. В иных местах в жизнь мумии вмешивались соседи иль домкомы, объясняя, что: или мумии, как мертвецы, суть предрассудок, в действительности являющийся просто мертвецом, место которому на Ваганькове, а ежели предрассудок мумии необходим, то требуется от милиции удостоверение на право проживания и занятия площади, ибо — хоть мумия и мощи, но все же человек; однажды тень мумии возникла в милиционном отделении и погибла там в отделе записей актов гражданского состояния.

Профессор Александр Васильевич Чаадаев никакого отношения к повести не имеет. Все годы великой русской революции в Москве жили: люди, страдания, радости, победы, отступления, любви и — мумия, трехтысячелетняя, обнаженная, коричневая, как иссохший ремень, бездомная, безордерная, — та, которая тысячелетья пронесла непонятную, прекрасную и лягушечью одновременно обессиливающую улыбку.

Обстоятельство третье.

— — это было в дни гражданской войны, на Кубани. Это было с Иваном Петровичем Москвою, зырянином по национальности, героем повести.

Был зной лета, и был тиф.

Пятеро они ушли с поля боя; два живых боевых товарища, два мертвеца и он, Москва, третий живой. Трое живых горячествовали тифом. Они ушли от шрапнелей, унося двоих раненых боевых товарищей. В бреду они не заметили или замятовали, что эти два боевых товарища умерли. Они несли мертвецов. Иногда в бреду командир Москва командовал:

— Ротаа, ложись! — ро-ота, плии!

Живые клали мертвецов на землю, совали в их руки винтовки. Живые стреляли в пустую степь.

На бивуаках мертвецы несли караул. Живые в бреду не замечали, не заметили, что в июльском зное за эту неделю мертвецы совершенно изгнили, у одного отвалилась челюсть, у другого вывалились кишки.

Живые кормили мертвецов, насовывая им во рты своими ложками пшеничную кашу.

Отступая, живые принесли мертвецов в разграбленную больницу. В степной больнице не было ни одного человека, все разбежались, и только в доме врача лежала женщина в отчаяннейшем бреду тифа. Ночью в бреду командир Москва пошел к этой тифозной, чтобы взять ее как женщину. Это было в первый и последний раз в жизни Ивана Москвы, когда отдавалась ему женщина: он не мог сравнить и не знал, что никогда женщины не встречают такую страсть, такими поцелуями и таким отданьем, возникшими в бреду, как было той бредовой ночью.

Наутро отряд живых и мертвецов пошел дальше. Имени этой женщины Иван не знал и не запомнил, что лицо женщины было лицом египтянки.

Через неделю этих пятерых подобрали. В тот же день мертвецов закопали в землю, а троих живых снесли в больницу, чтобы — путинами больничных коек — эти трое пришли из бреда в явь.

Память этого бреда навсегда осталась у Ивана Москвы.

Обстоятельство четвертое.

— — это было в дни гражданской войны, в Крыму. С отрядом кавалеристов Иван Москва шел по крымскому плато от Кокоз к метеорологической станции на Ай-Петри, чтобы перехватить бахчисарайское шоссе. Люди не спали несколько ночей. Всю ночь накрапывал дождь и только к рассвету перестал. Темнота была такая, что глаза были не нужны. Всю ночь ехали по степи. Красноармейцы молчали, мокли, не понимали — куда провалились горы. Станцию к рассвету бесполезно обстреляли, потом улеглись спать.

Светало.

Москва с вестовым пошел осмотреть местность. Прошли через балку в лесок, поднялись на вершину Ай-Петри к тому часу, когда море лежало уже широчайшим простором. Москва никогда раньше не видел моря. Направо и налево шли горы, обвалы, скалы, леса, необыкновеннейшие просторы, чудесный пейзаж. Москва ступил к обрыву, взглянул под отвес — и поспешно отошел от обрыва: закружилась голова, нехорошо потянуло вниз, — все бессонные ночи навалились на веки, сделав голову стопудовой.

И тогда произошло невероятное, обстоятельнейшее в жизни Ивана Москвы.

Налево в море у самых гор красным полымем вспыхнули облака. Из синей мглы возникли — невидимые доселе — судакские горы. Огромная синяя тень легла над землей и морем. Эта синяя тень дрогнула, пошла, огненное золото догоняло ее, шагая с вершины на вершину. Огненное золото упало с облаков на вершину Ай-Петри: — —

— — и тогда в море из воды, над водой появился багрово холодный, зловещий, всепобеждающий кусок солнца. Этот кусок округлился, выдвинулся, рассыпался миллиардами дрызгов в море. Через минуту багровый эллипс стал над водой: — —

— — и тогда показалось, стало физически ясным, что в этом мире в этот миг неподвижны только он, Москва,

и оно, солнце,— было физически ясно, что солнце неподвижно, а дрогнули, качнулись и пошли справа налево вниз от солнца земля, море, обвалы, горы, леса: горы, обвалы, долины двинулись вниз. В переутомленных мозгах слышен был треск,— надо было раздвинуть ноги, упереться ногами, чтобы не упасть — с земли, которая двинулась: земля под Москвою качалась: неподвижны были Москва да солнце.

Это было не знание, но ощущение.

Но когда солнце поднялось на аршин, все было уже совершенно буднично: из-под стопудовых век Москвы смотрели маленькие, острые, зеленые — скуластые, лесные — глазки: где, как раскинуть сотню, чтобы закупорить бахчисарайское шоссе?

Обстоятельство пятое.

— — это было в годы распутий русской революции, в годы от тысяча девятьсот двадцать третьего,— на «подкаменных» землях (сиречь на Урале), в пятистах верстах от железной дороги, в Полудовой лощине у безымянной реки.

В гору там вникли штольня и шахта, в стороне под обрывом на камнях растворялось эхо заводского гудка. Около штолен, где проложены были рельсы, для вагонеток, свален был желтый камень, извлеченный из недр горы, древний камень Архейской эпохи, освобожденный от медного колчедана, от оловянного камня,— камень, который родит радий и ставит человечество на пороге величайших, небывалых, равных только той, когда человек научился владеть огнем,— величайших революций и эпох. Под камнями обрыва, в стороне от штольни, около безымянной реки, над нею, стояли бараки для рабочих, дымили трубы над цехами. Каменная тропинка вела к дому директора завода — Ивана Петровича Москвы,— в этом доме были контора, красный уголок,— и в этом доме была заводская лаборатория.

И вечерами, если аэроплан приносил свежего человека,— этого свежего человека Иван Петрович Москва вел в лабораторию. Электричество показывало стол с колбами и микроскопами, цинковые жбаны, тигели, эмалированную плиту, застекленные белые полки, застекленные шкафы и лотки с образцами минералов: электричество показывало будничную, рабочую лабораторию горного завода, где

каждый день по утрам инженер должен делать очередную свою аналитическую работу и где, поэтому, чуть-чуть ест глаза аммиаком, соляной кислотой, сероводородом. Но Иван Москва тушил электричество, и свежий человек возникал тогда в таинственнейшем мире земных недр и того, что не познано человеком. Факт нереальный: таинственнейше, непонятно, непознанно начинали во мраке флюоресцировать, фосфоресцировать камни, виллемиты, бариты, радиевы соли, стены, столы, одни сильнее, синее, другие тусклей, зеленей, иные совсем желтым светом.

Было понятно, что человек предстоит пред таинственнейшим и величественнейшим, к чему человека привело знание: вечно, как ежесекундно, так тысячелетне — радий, уран, торий,— излучали энергию; творили новые пороги знания,— таинственнейшие пороги человеческого знания, где для энергии (и для человека) нет пределов, кроме пределов человеческого знания,— ту энергию, которая перестраивает теории мироздания и твердо созвучит безусловным рефлексам, внутриатомной энергии человеческого мозга.

Москва молчал, и молчал свежий человек, и молчало Подкаменье, горы и леса, почти не пройденные человеком, в пятистах верстах от железной дороги; если это была зима, тогда молчали снега, звезды и ночь. И таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны и всего ночного горели, флюоресцировали камни и соли лаборатории.

Иван Москва включал электричество и буднично говорил следующее, почти всегда одно и то же:

— Человек научился собирать в горсть радиевы соли. Если он на самом деле возьмет в руку радиеву соль, бета-лучи пронизуют руку, прознобят, рука зачирвеет,— но человек забрал радий в мозг, человек подсмотрел за радием, за его альфа-, бета- и гамма-лучами, вечно излучающимися. Мы будем разлагать торий и уран так же, как солнце бросает нам на землю оторванные куски самого себя, так же, как мозг разлагает мысли. Если мы сожжем плитку каменного угля, равную по величине спичечной коробке, и если мы не сожжем, а разложим энергию, скрытую в этом самом куске угля,— в этом втором случае мы получим энергии в триста шестьдесят тысяч раз больше, чем в сжигании. Обычное сжигание одной тонны угля дает достаточно энергии, чтобы дать движение локомотиву поезда

в продолжение одного часа, между тем как распад этого же количества материи дал бы достаточно энергии для освещения, нагревания, перевозки и вообще для надобностей всей промышленности Великобритании в течение ста лет.

Радий!— все человеческое чернокнижное средневековье искало философский камень и строило *perpetuum mobile* — тот философский камень, который превращал бы вещества, тот *perpetuum mobile*, который давал бы вечную энергию. Таинственный, непознанный радий излучает вечный поток тепла и света, творит, не иссякая, создавая новые вещества из прежних веществ,— тот философский камень, для которого нет преград, лучи которого идут, проникая через все, через камень, железо, мрак, свет, холод, все деформируя и преображая,— *perpetuum mobile*. Чернокнижное средневековье чернокнижной ятрохимии и алхимии, метафизика, ведьмачество, черная кровь, черная магия, душа черту,— нашли философский камень,— имя ему: радий, разлагающий собою все, его окружающее. Алхимию строили алхимики: имя новому алхимику — комиссар Иван Москва. За масонскими ложами, в тесных кварталах средневековья, в подземельях под готикой сводов, в замках — черноодетые люди строили вечный двигатель: сейчас философский камень лежал на полках лаборатории, флюоресцировал во мраке.

Над заводом поднималась понурая Полюдова гора, лощина уходила в скалы, и кругом шли сотни верст безлюдных медвежьих лесов, перми и коми.

Радий!— обнаженная энергия мира!— там, где родится радий (факт нереальный!),— там, где родится радий, ничто не живет, ничто не растет, ибо, как человеческая судорога, судорога физики, рождая новые пороги,— смертоносна. В штольнях, где рыли руды, таинственные творились дела, те, которые перетасовывают теории мироздания,— но люди там копались очень буднично. Полюдова же лощина была пуста, мертва, бурые камни без тропинок, без деревца, без моха. Зимой таял в Полюдовой лощине снег, не лежал,— голая земная энергия спаливала его. Бил из земли ключ, полз от ключа удушливый пар. И Данте можно было бы взять с Полюдовой лощины материалы для третьего круга своей Комедии,— у этих камней, отказавших живому в жизни. Раньше эти места обходил зверь

и человек. Человек Иван Москва пришел сюда рыть радий.

Москва вновь тушил свет. Вновь возгорали минералы. Москва со свежим человеком шел — через красный уголок — к себе. Там, в лаборатории, во мраке бросали, бросали энергию минералы. В красном уголке под большую лампою на столе были разложены журналы и газеты; рабочие читали за столом; на стенах во мрак уходили плакаты и портреты руководителей русской революции; радио хрипело речами и концертами города Москвы. В комнатах Ивана Москвы были тишина и медленность. За домом молчали снега, горы, сотни зырянских, пермских, остятских верст. Упорные в морозе горели на небе звезды.

Свежего человека Иван Петрович поил чаем, под шум самовара. За чаем свежему человеку говорил Иван Петрович об уране и гелии, о всех тех порогах, около которых стоит человечество: и всегда рассказывал тогда Москва, как на войне, в дни гражданской войны, в Крыму на Ай-Петри он повстречался с солнцем и испугался, крепко расставив ноги, чтобы не упасть, когда качнулась земля. Но если свежий человек засиживался за полночь, когда Иван Москва говорил уже часы,— этот свежий человек начинал видеть, что лицо Ивана Москвы становится асимметричным, подергиваются веко и правый угол губ: и Иван Москва рассказывал тогда о мертвецах, которых он с товарищами пронес бредовым небытием.

В лощине ничто не жило. Мертвая тишина была в лощине. Флюоресцировала в небе луна. В доме горело электричество, хрипел усилитель в красном уголке вступительным словом Луначарского. Иван Москва рассказывал, как кашею кормил он мертвецов,— и Иван Москва тогда говорил, путаясь в каше мертвецов, о том, что вот уже больше четверти столетия человечество собирает радий и — что за это четвертестолетие человечество скопило только: около двухсот тридцати граммов радиевых солей.

Обстоятельство шестое.

— — это было в городе Москве, в октябре 1917 года, в дни переворота. Тверской бульвар у Никитских ворот тогда замыкался трехэтажным жилым домом. В этом доме были большевики. В доме напротив, которым замыкался

Никитский бульвар, были юнкера. Дом Тверского бульвара был разрушен юнкерами и бомбами и был сожжен. С год после переворота, особенно весной в 1918 году, развалины дома смердили трупами тех, кто был погребен развалинами. Года три этот дом стоял памятником восстания: говорил о дыме революции битой крышей, пустыми проймами окон, обгорелым, расщепленным кирпичом, мусором чугунных балок, подвалов, рухляди. К двадцать первому году развалины были убраны. И в 1922 году на месте развалин, на площадке, обложенной коломенским мрамором, воздвигнут был памятник профессору Климентию Тимирязеву.

Тверской бульвар замкнулся двумя памятниками: Пушкину у Страстной, Тимирязеву у Никитской.

Обстоятельство седьмое, как первое.

«Мне отмщение, и аз воздам» — дикарский закон бумеранга — физический закон действия, равного противодействию — —

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ГЛАВА

Биографии людей не всегда начинаются с детства: в иных случаях началом биографий суть — старость, мужество, двадцать лет. Биографии очень многих в России в годы революции начались 25 октября старого стиля 1917 года. Биография Ивана Петровича Москвы началась 25 октября, когда он вылез в биографию по развалинам истории: началом его биографии были — винтовка, ненависть, ничтожество «подкаменных» земель в биографических его до-бытии. И не всегда биографии определяют даты дел и рождений: обстоятельства, лежащие вне человека и его воли, бывают иной раз значимей воли и человека.

До-бытие Ивана возникло: «в зырянах», как называли зырян новгородцы, — сами зыряны называют себя коми-народом. Точный перевод — «зыряны» — значит — «оттесняемые». Коми-Иван был сыном коми-народа. Даже в России не многие знают о лесах Коми-земли, непроходимых, непройденных, — и о том, что Коми-земля больше Германии и Франции, вместе взятых, но на Коми-земле всего только семь верст железной дороги. Коми-земля упирается в земли Подкаменные: в до-бытии своем коми-

Иван был рабочим подкаменных, Петром Первым, Демидовыми-Сандонато и Строгановыми ставленных, чугунолитейных заводов.

К о м и - П о д к а м е н ь е - - —

...сказано в Евангелии о том, что Петр есть камень, но Петр же есть и соль земли: Урал — камень. Здесь все завалено камнями и пропитано солью, и на завалинках у новых изб по урочищам и селам кладут здесь соль, чтобы солнце впитало соль в дерево, ибо тогда стоят срубы столетьями: на солях и на камнях нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, и деревья растут в сорок аршин ростом и в два человеческих обхвата. «Время застит» — уральская половица, — и все же видно через века, как просолились эти места Иваном Грозным, заселителем «Перми Великой — Чердыни» (чердынцы называют себя — чердаками), «именитыми людьми» Строгановыми (дома от Строгановых и соборы стоят в Усолье, и в Соликамске, и в Усть-Сысольске), здесь памятно имя Ермака, покорителя Сибири, подлинное имя которого — Василий Тимофеевич Аленин. Время застит, — но видно, как ушкуйное, сиречь разбойное, происхождение Строгановых от вольной великоновгородской вольницы — пересолил, перековал Петр Первый — железными заводами (Турчаниновы в городе Соликамске для Санкт-Петербургского их величества Екатерины и Елисаветы дворов — растили бананы! — так это было уж после Петра).

Здесь спрашивают человека:

— Кто ты?

Отвечает:

— Крестьянин.

Спрашивают:

— Твое имущество?

Отвечает:

— Два ружья да пять собак!

И из этих двух ружей одно дедово, кремневое, — и из этих пяти собак одна на белку, другая на медведя, третья на рысь. Белок бьют из кремневого дробинкою в глаз: если попал в другое место, шкурка бракована. Налоги берут здесь с ружей, — и недавно еще брали — с луков.

Здесь в Верхнюю Лупью четыре месяца в году никак не проедешь, а в иное время и зимой и летом туда ездят на саях: телег там не видели. Здесь, если надо человеку по-

бывать верст за сорок, он говорит: «Ничего, побегу!» — сбегает и к полночи будет дома.

Здесь в лесах — подкаменные земли здесь рудны, магнитны, серебряны, золоты — на реке Доеге здесь по Каменному хребту шел изыскатель, сыскал избу: в избе жил крестьянин, — так, мол, и так, жизнь, — крестьянин свел изыскателя к ручью, копнул лопатой, посыпал с лопаты:

— Смотри, гражданин анженер, — чистое золото. На золоте живу, а хлеба — нету.

Здесь в лесах, на горах, на реках — много находят костей мамонта — и никак нельзя их донести до музея: местная народность пермь считает кости мамонта — «мунянь» — земляной хлеб — целебным снадобьем, священным, — и деревнями собирается пермь есть мамонтовы кости.

Здесь в лесах, на горах, на реках — в тысячах верст — здесь прокуратура рылась — уже после революции — в советском законодательстве, — чтобы подыскать статью, коей карать нижеследующее массовое деяние: роют охотники здесь могилы детей, отгрызают (обязательно зубами) руку ребенка и — сушат ее; сушеную руку носят с собою охотники по лесам и носит жулье, ибо эта рука отведет и руку закона, и лапу медведя: о статье запрашивали центр.

Здесь в Большой Коче, в Юрлинском районе, до сих пор пермяки и коми на Фролов день бьют быков богу, причем режет быков местный православный батюшка: быков варят в котлах против православной церкви, — в этих же котлах варят и кумышку. И в каждой волости в этих местах имеется свой леший, именуемый по имени, отчеству и фамилии: Иван Иванович Иванов.

...Здесь на безымянном притоке реки Доеги легла Полюдова лощина, плохую молвою известная в народе: в этой лощине ничто не росло и никто не жил. Лощина была безжизненна и безмолвна, и птица, и зверь, и человек обходили ее, камни не плодили ни кедра, ни вереска, ни иванда-марьи. Зимой в лощине таял снег, не было силы у снега засыпать бурые камни. Лесная молва — прокляла это место.

Время застит: пермь и коми засолили, кроме времени и земель, подкаменный быт, ушкуйные памяти. Хаять быт

и народ — нельзя: Камень, Кама, лес, зверь сделали людей такими же крепкими и кондовыми, как лес, зверь, камень и Кама,— духорный, стремный народ.

Соляные — строгановские — заводы Петр Первый застил — заводами железными — — Леса, тишина, прибрежные горы, и в лошине меж гор горит, полыхает красным упорным, непокорным, бередливым светом — домна,— горит завод, дымят трубы, горит домна, бредит заревом на облаках,— во мрак ушли обрывы берега, стерлась щетина елей и сосен во мраке,— домна непокоит, бередит красным огнем. Здесь земли крепки, как пот,— от дней Петра каждый завод здесь помнит хорошее столетье,— и все заводы построены, как один, Петровым регламентом по примеру солеварных. Мастером на Майкорском заводе работает Марк Карпович Москва, внучатный брат Ивана. Старостой на Соликамском соляном заводе работает Пантелеймон Романович Москва, дядя Ивана,— нос у Пантелеймона провален сифилисом — —

— — заговор на разлученье: «черт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходятся, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят,— так бы и раба божья (имярек) с рабой (или рабом — имярек) мыслей не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б как кошка да собака жили» — —

До-бытие Ивана Москвы возникло в зырянском селе, около отца-охотника, зверолова и рыбака, в доежных обычаях и в местах, где неизвестны телеги. До-бытие Ивана Москвы прошло на соликамских соляных заводах. До-бытие Ивана перековывалось Чермозским металлургическим заводом. Иван Москва вышел в бытие винтовкой восстания на московских улицах, у Никитских ворот, большевик, пролетарий. На соликамье — по кириллице — Иван узнал грамоту. На Чермозе он прочел первую книгу о революции. На подкаменных землях нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры — но есть — сифилис: дед и отец Ивана были больны, дед был безносым, и в двадцать лет Иван узнал, что сифилис им унаследован от отцов. Иван возрос высоким и сильным человеком, широкоплечим, коренастым. Он был никак не красив, широкоскулый, широколобый, узковеткий,— в запавших его глазницах сидели маленькие, острые, умные, упорные глаза.

Весь, всячески в прошлом, вошел Иван Москва в бытие. В прошлом, потому что тело его было изгажено сифилисом отцов, то тело, где жил его мозг. В прошлом, потому что он знал только кириллицу прошлого, засвидетельствовав и запечатлев, замарав свой *tabula rasa* заговорами на разлученье, му-няню, кочами, юрлами, доегами. Но — должно быть — внутриатомная энергия вырабатывается не только радиевыми рудами, но и человеческой волей, — ибо изъеденное сифилисом тело Ивана Москвы оставило ему ясный ум, ясный мозг, тот мозг, который дал ему силы выйти из до-бытия в бытие, дал сил из до-бытия — через бытие — заглянуть в пред-бытие, — тот мозг, который дал ему умение взглянуть на свое тело, большое, испорченное, нескладное, — взглянуть, как на ларь, скверный ларь, ларь, как тюрьма, спрятавший его мозг: он нашел в себе силы знать, что тело его — только тюрьма его мозга. Если бы не было социальных розней, он вправе был бы на свои плечи взять имя и быть Строгановых, именитых.

Весь в прошлом, винтовкою Иван Москва у Никитских ворот в Москве вышел в бытие — и на развалинах истории он стал строить свое, своего мозга и своего класса будущее, тело оставив в до-бытии. Он пошел по фронтам революции, последний свой штык воткнув в польский фронт.

Тогда он пришел в Москву, чтобы строить.

Это был двадцать второй год, год распутий. Иван понял тогда, что революция не в том — что, а в том — как. Механику винтовки Иван сменил на машину завода. И заговор на разлученье — «черт идет водой, волк идет горой» — он сменял заговором на сговор, на тот сговор, которыми должны жить его мозг и СССР.

Это он пошел по подкаменным верстам, походам, с отрядом старателей, — нашел Полюдову лощину, заклятую лесом и лесными тропами, — отнес ее камни в Академию: — это он построил завод, вырабатывающий радий. Строить заводы в те годы — трудное было дело, — но строить — всегда прекрасно, строить, делать, обдумывать строимое, собирать тесины, камень, железо, — создавать — вопреки Чермозским заводам, Майкорским, Лысьвенским, ставшим от Петра — во имя революции и человечества, такое, что смотрит только в будущее, что волит только в будущее. Не в том — что, а в том — как: нет отступ-

ления энергии, но есть ее трансформация видеть тропинку к шахте, выбитую динамитом и твоими — человеческими — руками — большая радость!

ГЛАВА ЗАВОДСКАЯ

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, еванзы — не кричи, баржиалы — шататься без дела, бара — сызнава, ваныр — речная быстрина, вад — озерко, важмыны — обветшать, вабмыны — ослабнуть, выгты — молчи, велавны — привыкать, вердны — кормить, дыр — долго, ланьтыны — смолкнуть, кынмыны — мерзнуть, мавны — смазать, му — земля, мыргыны — трудиться друг для друга, мыж — опора, уклад — сталь, чер — топор — —

— — в сумерки пришел на завод зырянин Следопыт, потолкался у кухни на казармах, — в закате направился к директору. Зырянин был с собакой, с кремневым самопалом, было ему лет сорок, нос у него был провален. Иван принял его у себя в кабинете. Они заговорили позырянски. Коми-слова — усны, абы, еванзы — были тем лексиконом, которым говорили эти два зырянина, меняясь приветствиями. Широкоплечий Иван, в суконной косоворотке, подпоясанный широким поясом, сидел за письменным столом, локти положив на стол.

Следопыт пришел посмотреть на Ивана.

— Ты роешь из земли камень, — сказал Следопыт, — такой камень, от которого умирает человек, на котором не растет ни сосна, ни кедр, ни вереск. Наши деды знают эту лощину, вот ту, где твоя шахта, люди всегда обходили ее. Зачем ты роешь этот камень? Ты не знаешь, твой отец был братом моему отцу, ты скажи мне чистую правду. О тебе говорят в лесах, что ты делаешь злые чудеса, к тебе прилетает змий и ты колдун. Я пришел посмотреть на тебя.

— Аэроплан должен сейчас прилететь, — сказал Иван. — Завтра, если ты хочешь, тебя понесут в воздух.

Зырянин сидел на краешке кресла, подобрав ноги, с шапкою между колен.

Из-за шиворота его рубашки на красную шею выползла вошь.

— А водка у тебя есть?— спросил Следопыт.

— Нет,— ответил Иван.— Будем пить чай. Ты расскажи про леса.

Глаза Следопыта шмыгнули мышами, он поправил в коленях шапку.

— Не пьешь?

— Не могу.

— Вот и мне говорили в лесах,— такое богатство, а не пьешь.

— Не пью.

— —

— — в этот вечер летчик Обопынь-младший уходил в небо, чтобы над подкаменьем снести самолет к заводу, ибо с миром завод общался, кроме парохода летом и авиасаней зимою, аэропланом.

Бортмеханик Снеж молчаливо наливал через замшевую воронку бензин, просматривал мотор. Обопынь курил. Снеж подсел, чтобы тоже покурить. Покурили и пошли к самолету. Обопынь сел в кабину. Бортмеханик разворачивал пропеллер («контакт!»—«есть контакт!»). Мотор зарокотал. Самолет на земле — черная провалина носа мотора с выемками глазниц-кабин пилота и бортмеханика — походил на человеческий череп, символ тлена мудрости. Снеж сел рядом с пилотом, пристегнулся ремнем, подтянул ремень шлема.

Самолет — это та прекрасная машина, которая несет человека в воздух, которою человек — себя и свою волю бросил за облака. Самолет — это тот человеческий гений, та человеческая воля, которые не допускают неточностей: недовинчена, перевинчена самая пустяковая гайка,— он упадет с неба,— от человека, понесшего его в небо, не останется даже костей;— но каждая гайка, таящая смерть, свинчена человеческим мозгом: и голова того, кто понес машину в воздух, должна быть ясна, как гений гаек мотора и хвостового — на самолете — оперения,— ибо иначе — смерть. Так указывает машина, так машина утверждает быт, ибо — инстинктом сохранения жизни — указано человеку бояться смерти...

И перед тем, как двинуть машину, Обопынь бодро смастерцинил, мигнув Снежу. Машина пошла в воздух.

Полет!— если человек убежден: что «рожденный ползать — летать не может», — пусть тогда он не идет в воздух, не завязывает ремень, не затягивает шлема: его мозг будет видеть разбитые крылья самолета, разможженные тела, смерть, — и, быть может, рожденному в убеждении ползать лучше и не заползать в самолет. Там в воздухе известно, что самолет идет сто семьдесят километров в час, только известно, ибо быстроты полета чувствовать нельзя, и видно лишь, как там внизу ежесекундно отбрасываются назад клинья полей, озера, леса, — земная рубашка, земная карта. И тоже только известно, что самолет в двух километрах над землей: высоту нельзя чувствовать. Там в воздухе, окруженный стихиями, каждый устанавливает, что он летал многожды уже, главным образом в отрочестве и юности, от двенадцати до семнадцати лет, во снах: так вот полеты те, во снах, — куда величественнее, значимей, страшнее — полетов подлинных! — там, во сне и в детстве, нет препятствий полететь на лунные болота на луну, в неподлинность, в фантастику, — здесь на самолете в небе подлинность измерена тремя километрами высоты: выдумывать, проектировать, романтировать — много интересней, чем отыскивать явь. Но на самолете земные часы — минутами: и в эти часы человек в небе узнает, что человек человеку — обязательно брат, что машина человеку — хозяин, что весь мир есть — огромная, великая мудрость, мудрость и закономерность, — ибо — очень просто — пилот неправильно принял воздушную яму — смерть, бортмеханик перебил мотор — смерть, лопнула гайка в моторе — смерти!

Самолет пошел в воздух, поползла земля, сошли со своих мест, переселившись на карту, — река, нищая парходная конторка, холм, реки, лес, поле, — люди на конторке стали мухами, все ушло назад, в реве пропеллера, утверждающего молчание. Земля отсюда из высот — земля внизу кажется одетой в очень старую, очень заплатанную, многожды перешитую рубашку пажитей (пажити потом исчезнут в лесах), лесов, гор, оврагов, лощин, рек: вон та географическая карта, что лежит внизу, и есть рубашка России — то ржаная, то гречневая, опушенная овчиною лесов, расшитая серебром рек и позументами сел, — нищая рубашка, и все же бархатная, — ах, как византийски разукрашенная: об этой рубашке надо думать часами полета.

Но за братством и рубахою России, за явью снов — —
— ...«Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане — —

— — «Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья» — —

— — «есть упоение в бою» — есть упоение в полете: каждый, кто ходил в воздух — через явь сновидений, через волю — должен знать упоение полета: когда с большой высоты самолет идет быстро вниз, звенит в ушах, густеет и бухнет в жилах кровь, — стало быть, чем выше в воздух, чем дальше от земли, тем спокойнее — неизъяснимее сердце и кровь! И есть, и есть подлинное, физическое, упоительное наслаждение полета, стремленья — здесь, в высоте! — И есть, и есть, ибо «аз воздам», странная, страшная болезнь пилотов — когда пилот вылетался: тогда появляется боязнь воздуха, боязнь полета, исчезает вера в себя, уверенность, воля, пилот теряет сердце и глаз, он неверно ведет самолет: если он останется у машины, если болезнь не заметил он и не увидели его товарищи, — он гибнет, он разбивается, он «гробит» машину.

Сейчас вел машину Обопынь-младший: Обопынь-старший, отец, остался в городе Москве по делам, пустив в полет сына.

Птичьим глазом «консерв» Обопынь-младший вглядывался в землю впереди, облака сначала шли рядом, розовели в закате, исчезли, — и вновь возникли внизу, под самолетом. Давно уже остались позади латы пажитей, синим океаном стали внизу леса, синими глыбами стал впереди хребет, и из-за хребта и с севера приходила свинцовая синь сумерек. Рев пропеллера — всегда величествен. Белым осколком стал на востоке месяц. Полюдова лощина возникла впереди из сини пространств.

Пилоты, снизившись на плато за Полюдовой лощиной, покурив в стороне от самолета, медлительно, долго, в той привычности, которая всегда координируется машиной, убрали машину, просматривали, проверяли, заводили в ангар, затягивали брезентом. Пилоты на земле всегда медлительны и угловаты, — и к шахте спускались они уже темными сумерками — —

— — в тот час, когда над Полюдовой лощиной заревел пропеллер и в небе возникла точка самолета, у Ивана Москвы сидел Следопыт.

Следопыт подошел к окну, Следопыт глянул в небо.

— Вон, видишь в небе,— сказал Иван.— Это самолет. Завтра он поднимет тебя в воздух.

Глаза Следопыта забегали мышами, спрятались в его бороде, растущей из глаз. Следопыт зажал шапку меж ног и сел на корточки. И на корточках, пригибаясь к земле, Следопыт пополз в угол. Следопыт закрестился.

Следопыт крикнул:

— Отпусти!

— Что ты, дурак, обалдел?!— ответил Иван и пошел к Следопыту.— Встань!

Следопыт вжался в угол, сторонясь Ивана. Он грозно крикнул, обнажив клыки:

— Чур меня, чур!

Лесной житель был страшен в своем страхе и в шаманстве.

Пропеллер стихнул за горой. И Иван, и Следопыт молчали. Иван предложил Следопыту папиросу, сказал: «Садись!»— Следопыт закурил, сел.

— Это кто летал?— спросил Следопыт.

— Человек,— ответил Иван.

Следопыт молчал, не веря. Таежный вечер нагружал комнату мраком.

— Пойдем пить чай,— сказал Иван.

И еще раз зачурался Следопыт. В столовой шумел самовар, было темно. Иван включил электричество. И вновь тогда забегали глаза Следопыта мышами, вновь запяtilся Следопыт в страхе. Иван понял: Иван выключил ток, лампа погасла,— Иван зажег вновь. Следопыт смотрел и растерянно и хитро. Он подошел к выключателю, протянул руку и отнял ее.

Иван сказал:

— Верти.

— Ничего?— спросил Следопыт, выключил ток и вновь зажег лампочку.

— Горит!— сказал Следопыт.— Колдуешь?

— Нет.

— А какая сила?— без фатагену?— Следопыт пощу-

рился на лампу, осмотрел внимательно, подставил ладонь к свету, понюхал воздух:— И не греет, и не воняет. Светит!..

(...весь тот вечер Следопыт впадал в чудеса. Весь вечер то и дело он включал и выключал электричество, присматривался, примеривался, ухмылялся,— а в те минуты, когда на него не смотрели, он хитро крестился и шептал, шаманил. Третий раз впадал в чудо Следопыт, когда в красном уголке заговорил громкоговоритель Москвою: «Слушайте! слушайте! слушайте!»— опять пятился Следопыт и приседал в ужасе на корточки,— опять, как штепсель электричества, обнюхивал громкоговоритель, крестясь, хитря, шаманя, радуясь чудесному и в страхе от него,— и опять быстро освоился, в чудесном удивлении переводя регулятор с концерта в Большом театре на вступительное слово Луначарского к съезду ученых, со вступительного слова на радиогазету: тогда лицо Следопыта становилось блаженным в хитрости. Он выключал электричество, вновь включал его и шел передвигать регулятор на музыку Бетховена. Вечером, когда пришли летуны, Снеж дал Следопыту стакан и еще стакан водки. Следопыт сидел на полу, ибо не мог держаться на стуле,— ноги разложил широким циркулем, блаженно мотал головою в шапке, пел зырянские свои песни и, в твердом убеждении, что вокруг него сидят отчаяннейшие колдуны и жулики, просил взять его в их компанию. Затем Следопыт уснул. Его положили в конторе на диване, с дивана он свалился. Дверь из конторы вела в кабинет Ивана. И ночью Иван видел, как в смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался в угол за диваном, челюсть Следопыта билась о его колена,— он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманивать, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к нему. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал: «Перестань, брось,— и грузно замолчал.— Пойдем, я тебе покажу» — —).

— — в тот час, когда летуны сели на землю, а Иван со Следопытом пили чай, к Ивану пришла Александра, врач,— прекрасная женщина дней бабьего лета, дней серебрястых паутинок у глаз и в волосах. Она была в белом платье, высокая и прямая. Третий пустой стакан стоял для нее,— она налила себе чаю. Следопыт ходил включать и выключать электричество. Иван расспрашивал Следопыта

о лесах, она молчала. Затем Иван отвел Следопыта в красный уголок и вернулся один. Был час отдыха, на горе у летунов, где стал самолет, была свежая почта: она и Иван пошли навстречу пилотам.

Об этой женщине зналось немногое. Она, также зырянка, прошла длинную дорогу — длинными и достойными путями книг, раздумий, труда, голода, фельдшерских курсов, коммунистической революции, гражданской войны, медицинского университетского факультета. Тридцать четыре женских года — большие сроки, когда возникает первая седина, когда пройденные дороги отбыли и путь впереди — ясен. Все проходит и ничто не проходит в этой жизни: из-за громов революции, из многопутья Москвы ее пути привели ее, коммунистку и врача, на радиевый завод. В стороне от шахт и цехов стала ее амбулатория, белый дом у отвеса скалы.

Синие сумерки, рожденные лесами и горами, застлали землю, как следует. Во мраке камни, тропинки были мучительны ногам, эти лысые камни, на которых ничто не растет. Чем выше уходили они в гору, тем просторнее было кругом, дальше уходили внизу леса и долины. Одинокий стоял в небе месяц, медленный и усталый. Камни под месяцем посеребрили.

Они шли молча, она впереди, он сзади.

И высоко на горе, на обрыве, мраком уходящем вниз, над огоньками завода внизу, в лунном свете, она остановилась, чтобы сказать. Лунный свет падал пластами, лунные тени падали от гор. Лунный свет осветил ее лицо, печальное и твердое. Было кругом мертво и тихо. Иван остановился, опустив голову.

— Что ты мне скажешь, Иван?— сказала она тихо, твердо.— Ты знаешь, Иван, о чем ты должен сказать.

Иван молчал, спрятав лицо в лунную тень.

— Нам надо сказать последние слова,— сказала она.— Иван, ты все знаешь, и я все знаю. Так случилось, что все мои дороги были дорожкой к тебе. Ты заставляешь меня говорить!— вот, я приехала сюда, оказывается, для того, чтобы никогда больше не уходить от тебя. Говори, Иван.

Иван молчал. Иван ступил шаг вперед к обрыву.

— Говори, Иван.

— Я не могу, Александра. Люблю ли?— ты приходишь,

ты проходишь,— и густеет воздух так, что запыльхивается сердце,— и редет воздух так, что нельзя дышать. Я старик, а я следы твои целую, как в романах.

Александра протянула вперед руки, руками ловила слова, руками слова охраняла.

— Говори, Иван.

— Уезжай, Александра.

Иван ступил назад от обрыва. Александра опустила руки, просыпая слова.

— Уезжай, Александра! Уезжай сейчас же, завтра же, навсегда выкинь меня, забудь, строй свою жизнь без меня. Я не могу, Александра. Ты не знаешь,— вот этот мешок, который называется моим телом,— сколько я дал бы, чтобы выпрыгнуть из него, из этой гнилой могилы, куда заперт мой ум. Дед и отец изъели мои кости и отравили мое мясо. Что ты хочешь?— эти руки, ноги и грудь — мертвы, заживо мертвы, их надо на свалку, от них надо сторониться. У меня ясный мозг, достаточно ясный для того, чтобы понять, что я уже в гробу моего тела, что я не имею права иметь свое будущее. Я ничего не могу. Ты не знаешь, никто не замечал — —

Александра подняла свои руки, чтобы защитить ими себя от слов,— но лицо ее в лунной мути, лицо египтянки, было спокойно, плотно были сжаты губы в бередливой улыбке.

— Ты не знаешь, никто не заметил,— мой мозг еще видит,— я потерял здравый смысл, ночами в бессонницы я теряю черту между явью и бредом. В бреду, как в яви, я тащу мертвецов, тех, которых тащил на фронте, и тогда качается земля. У меня остался только мозг, но и он туманится. Я говорю с человеком, и вдруг человек проваливается, и вместо человека передо мною сидит какое-то страшное, кровавое государство — —

Иван замолчал, приложив руку к голове. Он крепко расставил ноги, осмотрелся кругом.

Александра сказала:

— Говори, Иван.

— Да, да, я говорю,— заговорил Иван.— Приехала ты, сейчас лето. Ночью я просыпаюсь, и я путаюсь в своей комнате, ибо я забываю теперешнюю мою комнату и помню ту каморку, которая была у меня на Чермозе. Я протягиваю руку к стене, к часам, и мне страшно, почему нет

стены, почему моя рука виснет в воздухе. Я иду, натываясь на вещи, потому что тогда в той комнате вещи стояли иначе. И все же за окном, вместо этих гор, стоит Чермозский завод, улица, плотина: я смотрю за окно, вижу завод и вижу вдруг, как на улицах завода появляются вдруг очертания кубанской степи, — все двоится, я не понимаю, где я, и я готов выть собакой. И тогда — здоровым мозгом — я начинаю понимать, что мой мозг туманится.

Иван замолчал. Молчала Александра.

— Ты должна уехать, Александра, забыть про меня. Я отказался от всего. Я вот строю завод и добываю радий, чтобы хоть мозгом вырваться из себя, из прошлого, отовсюду — в будущее, которое я проектирую. Я не могу тебя осквернить собою.

— Нет, Иван, я никуда не поеду. Ты говоришь, что я шла к развалинам. Пусть так. Слушай, Иван, — на Кубани — —

Но она не закончила. Наверху на тропинке послышались веселые голоса, весело сбегали вниз Снеж и Обопынь, Снеж с сумкою писем. Когда подходили летуны, Иван сказал Александре, негромко: «Следующим эшеленом я полечу в Москву, пойду к врачам, пусть скажут врачи». Летуны весело приветствовали, сообщили очередные будни новостей, торопили ужинать.

За ужином веселый Снеж поил Следопыта водкой, соглашался взять его в колдуны и порешил наутро снести его в воздух.

Уходя к себе в лабораторию, Александра вызвала Ивана на крыльцо. Всею женскою нежностью она протянула к нему руки, сказала:

— Иван, пойдем ко мне. Я никуда не уйду от тебя. Я не сказала тебе того, что я хотела сказать. Однажды на Кубани...

На крыльце горела электрическая лампочка. Иван посмотрел на Александру маленькими своими, острыми глазами, взгляд был зелен и холоден. Иван сказал нарочито грубо:

— Потом поговорим. Успеется.

Александра не двинулась.

Иван сказал тихо:

— Вот, ты видела Следопыта. Он мой дядя. У него провален нос. Я не могу поцеловать его, но я не смею кос-

нуться тебя...— Иван смолк и сказал вновь грубо:— Ступай, иди!

Ночь была черна, месяц посинел. Александра ушла во мрак. Иван вернулся в дом, прошел в кабинет разбирать почту.

— — ночью Следопыт видел четвертое чудо — чудо лаборатории. Ночью Иван пришел к Следопыту. В смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался за диван, челюсть Следопыта билась о его колена,— он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманить, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к Следопыту. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал:

— Перестань, брось!— и грузно, помолчав, добавил:— Пойдем, я тебе покажу.

Следопыт не двинулся, еще крепче вжавшись в угол,— глаза его не мигая следили за Иваном, точно Следопыт, как рысь, готовился прыгнуть на Ивана.

Следопыт злобно прошептал:

— Не трогай!

Так же немигающе стал смотреть Иван на Следопыта, сказал стопудовой гирей: «Вставай, идем!»— и Следопыт встал.

Не улыбаясь, Иван похлопал, погладил Следопыта по плечу.

— Старик ты, а глупый.

Они пошли темными комнатами: Следопыт шел покорно.

В лаборатории Иван не поражал Следопыта мраком и светом: включив электричество, Иван взял из ящика, из-под замка стеклянную пробирку.

— Видишь? — сказал Иван.— Подержи, закрой глаза, поднеси к голове.

В руках Следопыта была обыкновеннейшая стекляшка, чуть побуревшая. Следопыт осмотрел ее, пощупал,— прикрыл глаза и поднес стекляшку к лицу: и сейчас же отпрянул от стекляшки, широко раскрыв глаза, в недоумении, в удивлении.

Иван взял из рук Следопыта пробирку. Иван опустил голову, закрыл глаза, поднес пробирку к виску: — —

— — и в глазах его, в голове возник нестерпимый ярчайший зеленый свет: это радий выбрасывал свою энергию, лучи которой пронизывали мозг. В лаборатории горело

электричество, пробирка была совершенно обыкновенная. Иван смотрел на нее удивленно, подносил ее к голове,— и нестерпимый свет возникал в закрытых глазах, пронизывал мозг.

— Этот свет, как твоя любовь, Александра!— сказал Иван.

Иван бессильно сел на табурет.

Иван заговорил.

Ивану казалось, что он говорит следующее:

— ...ты слышишь, Александра?— это все понятно,— это лучи распада атомной энергии. Все понятно, да, все объяснимо,— но какой прекрасный свет! Это твоя любовь, Александра... Слушай, я говорю тебе. Человеческая жизнь следует совсем иным и гораздо более сложным законам,— средняя человеческая жизнь. Жизнеспособность в любом возрасте представляет практическую задачу для вычисления. Жизнеспособность при рождении меньше, чем в мужестве, когда она достигает максимума,— затем, с возрастом, жизнеспособность постепенно уменьшается. Жизнеспособность атома, даже радия, не зависит от его возраста,— это простейший закон для атома, но не для меня! Каким образом распадается элемент? Этого человечество не знает. Есть предположение, что непосредственная причина распада атома — дело случая!— слышишь?— дело случая!.. Вот, видишь, если бы судьба выбрала из всех живущих на земле людей определенный процент, которые умирали бы в каждую минуту независимо от возраста, молодого или старого, если ей просто нужно было бы число жертв, которые она набирала бы случайно, лишь бы получить нужное количество, то тогда наша жизнеспособность была бы такой же, как у атома радия. Атом радия — отдает энергию и — не умрет. Я отдам энергию и — умру. Я хочу жить, я должен жить!— слышишь, Александра! Все человеческое будущее я вижу через наш собачий быт,— и я хочу любить, Александра... Я вижу всю закономерность того, что должно выпасть из закономерностей,— что разрушает канон сохранения энергии революцией распада атома — —

— — Ивану казалось, что он говорит именно так.

В действительности он говорил иначе, в бреду:

— ...Александра, Сашенька, Саша, Сашуха... понятно — лучи — распад — атомы — жизнеспособность... Александра, Саша,— жизнеспособность — случай! — слы-

шишь,— случай, случай. Не хочу помирать, не хочу, не могу, слышишь?!— не хочу...— и так много раз, с повторением.

Следопыт слушал Ивана сначала внимательно, потом безразлично. Тогда Следопыт взял из рук Ивана пробирку, поиграл ей, привыкнув. Сунул ее обратно в руку Ивана. Пошел к выключателю, чтобы поиграть им. И тогда Следопыт увидел пятое чудо. Он выключил ток: и во мраке ожили, засветили, зафлюоресцировали земные недра и земные тайны. В этот миг загудел заводской гудок. Колба в руках Ивана светилась.

Иван включил ток. Следопыт сидел на четвереньках. Иван сокрушенно помотал головою: он знал, что те альфа-, бета- и гамма-лучи распада радия, которые пронизали его руку, зазнобят руку, рука зачирвеет, покроется красной коростой ожога.

— Как ты попал сюда, старик?!— удивленно спросил Иван Следопыта.

— Сам привел,— ответил Следопыт.

— Ты все путаешь, старик — —

— — на заре веселый Снеж вел Следопыта на гору к ангару, чтобы снести Следопыта в небо. Обопынь ушел вперед. Снеж, строго остря, непреклонно подталкивал Следопыта в гору.

Следопыт шел так, как люди ходят, должно быть, только на расстрел — —

— — все утро, весь день Иван провел на заводе.

На заводе там, где в чанах соляной кислотой разлагается на элементы — на уран, свинец, кальций, железо — разлагается руда — разлагаются U_3O_8 , PbS , SiO_2 , CaO , FeO , MgO ,— там нечем дышать, и рабочие работают в противогазах сменюю через каждые четверть часа — в удушье соляных, азотных и серных кислот. На заводе там из тонн руды добываются миллиграммы радиевых солей: и эти тонны, прежде чем освободить радий, многожды во многих чанах — окисляются, ощелачиваются, насыщаются водным раствором, выпариваются, окристаллизовываются и вновь окисляются. Тогда, когда откинута все посторонние элементы, когда получен радионосный сульфат,— этот сульфат переводят путем карбонатов в хлориды, путем спекания сульфатов с углем в сернистые соединения: радий тогда остается вместе с барием,— в тех печах, где спекается сульфат с углем — неимоверно жарко. Рабочие работают в противогазах, сменяясь каж-

дые четверть часа, чтобы отдышаться. Поистине, если бы Следопыт попал в химические цеха, он должен был бы решить, что самое главное страшилище и колдовство — именно эти цеха, где люди работают в страшилищах ма-сок, — где нечем дышать, — где незащищенный глаз слезится и слепнет, — где непонятный ряд турбин, труб, трубочек, печищ, печей, печурок, замысловатых приборов и аппаратов, — где шипит, булькает, чавкает, харкает, хрюкает, свистит, стонет, — где в чанах ползают земные недра и рождаются кристаллы, первородные элементы вселенной, — где люди молчаливы, действенны, точны.

Право на жизнь этим цехам дали земные недра, куда человек врзался шахтами, во мрак, неизвестность и удушье земли.

Иван все утро был на заводе, следил, указывал, руководствовался.

Перед обедом он спускался в шахту, где во мраке и удушье люди дробят земные недра.

— — и здесь надо говорить о пустяках, — быт всегда чудесен несуразностями.

В шахте сделана была конюшня, где жили ослепшие лошади, таскающие вагонетки. Неожиданнейше в шахте — в конюшне — к запаху земных недр примешивались запахи конского пота, навоза, сена. Отдыхающие у коновязи лошади мирно жевали. На полу в конюшне валялась солома. На нарах под электрической лампочкой, на соломе, с книжкой, валялся конюх как конюх, паренек лет двадцати, добродушнейшеражий. Ни в какой мере ему не было дела до того, что он лежит в местах земных чудес, в коих разлагается земная энергия, откуда человечество берет новое знание. В шахте, и в конюшне в частности, было очень жарко. Паренек лежал в совершенном блаженстве, ногу задрал на ногу, руку закинув на шею, медленно мусоля страницы «Матери» Горького.

Иван обошел шахту, где люди добывали руду, — и Иван пришел на конюшню, к конюху.

Лошади жевали. Конюх же не двинулся, сказал добродушно:

— Здравствуй, товарищ директор. Говорят, дядя к тебе пришел?

— Здравствуй, Яшка, — ответил Иван и присел к парню на нары. — Ну, как?

Яшка ответил охотно:

— Ты про Аленку? Вчера выходила на свидание.

— Ну, а как рабфак?— спросил Иван.

— Через три недели потащуся,— ответил Яшка.

Яшка подробнее, чуть привирая, рассказал о любовном своем свидании. Иван слушал его внимательнейше — —

— — заговор на разлученье: «черт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходятся, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят,— так бы и раба божья (имярек) с рабой (имярек) мысли не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б, как кошка да собака, жили»— —

— — в тот день, когда Иван взял самолет, чтобы уйти на Усольскую железную дорогу,— вечером, как и каждый день, рабочие в свободную смену собрались в красном уголке — одни,— другие сидели в казармах, третьи пошли к обрыву. На обрыве тогда молодежь пела песни, пиликала во мраке гармоника, хохотали девки-тачечницы, которых точнее назвать — не девками, не женщинами, а — девкищами, ибо были они в пыли и в запахах дневной работы, похожими на каменных из раскопок баб. В красном уголке громкоговоритель мешал (или не мешал?) читать газеты, брошюрки, журналы. В казармах иные играли в козла.

Вечер проходил, как подобает проходить глухому заводскому вечеру.

Быть может, Яшка увел Аленку далеко в горы или вниз к реке, и хоть он и похвалялся перед Иваном всякими своими храбростями, в действительности здесь он сидел около Аленки в молчании и скромности, в том прекрасном бессилии, которое приносит настоящая любовь,— часами, быть может, в молчании, в счастии, держал каменную Аленкину руку, и если и заговаривал, то говорил вовсе не озорные слова, а рассказывал о том, что вычитал в «Матери», и о том, как через три недели он поедет учиться — учиться!.. И в небо тогда поднимался серебряный месяц. А в шахте слепые лошади, ослепшие в вечном мраке, в час отдыха мирно жевали овес.

В казармах, отрываясь от козла, люди говорили о делах, буднях, отцах, детях, урочищах,— одна «рука» спорила с другою об очередях и о том, какая рука спорей работает.

Кругом полегли горы, леса, болота, реки,— такие леса, в которых, в дни, когда Иван Москва шел походом на изыскания, целые села спрашивали его,— какая теперь

власть в России, кончилась ли война и кто царствует на царском престоле? — такие горы, в которых золото дешевле хлеба, но дороже хлеба — му-нянь. Здесь же, в мертвой лощине, в гору от реки ползла подъемная дорога, внизу на берегу стояли баржи и парохранишко. Нагружали баржу бочками медного колчедана. Штабелями были сложены дрова и уголь. Завод на голом камне прилепился ласточкиным гнездом. Скрипели, скрипели, двигались сверху вниз и снизу вверх вагончики элеватора — —

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, дыр — долго, выбмыны — ослабнуть — —

МОСКОВСКАЯ ГЛАВА

Воровские слова:

— револьвер — шпайка, часы — бака, галоши — пароходы, карты — святцы, рубашка — бабочка, деньги — сармак, брюки — шкеры, ночлег — могила, паспорт — очки, разиня — антон, сапоги — кони, карманщик — ширмач, глядеть — стремить, крест — чертогон —

— —

— — Иван подъезжал к Москве со смутными чувствами, в воспоминаниях того десятилетия, которое в памяти его сейчас сдвинулось в гармошку: октябрь 1917 был вчера и геологическую эпоху тому назад, — завод был оставлен вчера, но вчера же он собирался идти на изыскания с мандатами ВСНХ и Академии наук.

Иван всегда с неприязнью думал о Москве, ибо каждый в Москве трижды переспрашивал его фамилию, недоумевал и удивлялся так, точно Иван не по праву от отцов получил имя Москвы, но украл его: но Москву он любил, как мать, Москву, давшую ему право на биографию.

Иван ехал с Обопынем-младшим: Обопынь возвращался в Москву, чтобы вернуть место пилота на самолете отцу, которого заменял. Обопынь в вагоне-ресторане выпивал две рюмки водки, плотно ел, посвистывал, шутил, спал и читал газеты. Иван с Вятки замолчал в невеселом настроении, — с карандашом в руках расписывал свое московское время: ЦК, ВСНХ, НТУ, врач-невропатолог — днем, друзья, театры, книжные лавки — вечером.

Поезд приходил в Москву к вечеру, Иван стоял у окна, следил за полями. После Александрова Иван сложился. Во

мраке вечера вдали впереди возникли огни Москвы, синие и зеленоватые, — фосфоресцирующие, как определил Иван.

В Москве на вокзале, в белесом свете газовых фонарей, Иван условился с Обопынем, что он, Иван, поедет сначала в гостиницу, в «Париж» у Охотного ряда, где останавливаются хозяйственники из провинции, — устроится и затем приедет к Обопыням, к Обопыню-старшему, старому, еще с фронтов, другу.

Обопынь заковылял к выходу тою походкою, которой ходят по земле пилоты.

День был воскресный.

— —

— — в тот день в Москве, как в каждые дни, в миллионном городе Третьего Интернационала, в столице первого на Земном Шаре социалистического государства — за фасадами столицы — за волей видеть и не видеть — за вывесками, гудами, гудками и звонами заводов, паровозов, автобусов — за бодростью дней воли, дел, деяний, свершений — —

— — на задворках миллионного города круглые сутки, каждую ночь — в тот день — привезли, привозили — в институт Склифосовского, в Яузскую больницу, в Екатерининскую, в Александровскую — привозили — раненных пулей револьвера, не успевших умереть в виселице, не умерших от яда, — отравленных, зарезанных, подстреленных, избитых, задушенных. В институт Склифосовского свозили задворки миллионного города, потерявших смысл жизни, право на жизнь, честь и жизненный инстинкт, уходящих в смерть в сумасшедствии и от голода, от одиночества, от ненужности, от старости, от исковерканной молодости, поруганного мужества и оскверненного девчества, — свозили людей, обезображенных в драке, в алкоголе, в ревности, в грабеже, — молодых, старых, детей. Каждые пять минут к подъезду подходили кареты скорой помощи, и братья милосердия вытаскивали из них людей с разможенными черепами, истекающих кровью, в запекшейся мьльной пене отравы на губах и подбородках. Этих людей, из которых каждый, оставшись жить, умоляет вернуть ему жизнь, — этих людей на носилках растаскивали по операционным и покоям, чтобы вынимать из человеческого мяса и костей пули и ножи, чтобы заштопывать раны, вставлять на должное место вывихнутые кости, чтобы нейтрализовать яды, — с тем, чтобы — все же — большая часть этих людей к утру умерла, а оставшиеся в живых — вернулись

к жизни калеками или полукалеками,— с тем, чтобы институт Склифосовского стонал всеми человеческими стопами и болями, которые приводят человека к смерти — —

— — это одни задворки —

— — на других задворках — в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая под хлип гармоника. Бульвары и рынки командовались кокаином. Российский Восток нирванствовал опиумом и анашой, засаленными нарами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублевого благополучия, ночами, мужчины в обществах «Черта в ступе», или «Чертовой дюжины», членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тупиках российской горькой, анаши и кокаина — —

— — на третьих задворках, в Лефортове, расстрига-поп, в заброшенной церкви, ровно в полночь, служил черную мессу, — приход чиновных подонков истерически вздыхал под гнус попа, — поп отрезывал голову черному путуху на обнаженной груди женщины, которая лежала на алтаре — —

— — на четвертых задворках —

— — на пятых задворках — —

— —

— — Иван занял номер в «Париже», разложил свой чемодан, в номер его провела, раскрывала постель и наливала ванну расторопная уборщица, кокетливая, ухмыляющаяся, в белой наколке и в неслышных ночных туфлях.

Приняв ванну, Иван вышел на улицу.

Тверская текла людьми и желтым светом, рожки автомобилей подмазывали своими басами шелест толпы. Иван свернул к сини Кремля, пошел вниз подкремлевским садом, прошел под мостом, связывающим Кутафью и Тро-

ицкие ворота. Здесь было пустынно, сыро по-осеннему и сторожко. Под ногами шелестели листья. Мрак был холоден.

Ивану следовало бы пройти Тверской до Пушкина, там свернуть бульваром до пролома Богословского переулкa и там вникнуть в район студенчества и Бронных, где жили Обопыни,— но Иван пошел другой дорогой. Медленно, наблюдая окрест, он спустился кремлевскими рвами к Москва-реке, пошел под храмом Христа к москворецким плотинам, где Москва-река шумит прибором. Там Иван долго стоял, прислушиваясь к шуму падающей воды,— с простора омутов заплотиненной воды несло сыростью и мраком. Кремль уходил во мрак, небо над городом было желто-зеленым. Никого кругом не было. Напротив, на конфетной фабрике ночной сторож трещал колотушкой,— с мостов долетали звоны трамваев.

И тогда к Ивану подошли трое.

— Дай закурить, товарищ!— сказал один из троих.

И сейчас же двое других выхватили из карманов наганы, приставили их к лицу Ивана.

Первый сказал:

— Руки вверх! молчать!

Иван — памятью фронтов — понял, что его сейчас убьют. Он поднял руки, чтобы рассчитать действительность. Но первый — ловкостью хорошего портного — расстегнул его куртку, обшаривая — массажистом — тело. Иван понял, что речи о смерти нет, и пассивно успокоился, удивляясь, как безразличны ему эти шарящие по телу руки. Бандит вынул из заднего кармана револьвер,— Иван вспомнил, что этот револьвер был у него десять лет, некогда он отобрал его у раненого немецкого офицера, под Нарочем,— и удивился, как спокойно он отдает его, старого друга. Бандит расстегнул пуговицы, шарил и ощупывал совершенно виртуозно. Бандит снял кепи с Ивана, швырнул свою фуражку за гранит набережной в воду и надел кепи Ивана на себя. Два дула револьвера были все время перед лицом Ивана, мешая ему видеть.

В кармане у Ивана, еще от поезда, по рассеянности, осталась никелированная мыльница: бандит вынул ее и не мог раскрыть,— Иван вспомнил, как перед Москвой он ходил мыть руки, и не припоминал сейчас, как засунул мыльницу в карман.

Бандит сказал:

— Что это такое?

— Мыльница,— ответил Иван.

— Открой!— сказал бандит.

Иван открыл.

— Зачем мыло носишь с собою?

— Я приезжий.

— Где служишь?

Иван затруднился ответить сразу на этот вопрос (если бы его спросили — кому служишь?— он ответил бы сразу: революции!), Иван стал объяснять:

— Я... моя профессия...

Бандит не дослушал.

— Ага,— профессор!— так бы и говорил!— сказал бандит миролюбиво.

Иван подумал, что для бандитов, должно быть, так же авторитетно звание профессора, как для сельских учительниц.

— А я думал, что ты ресефесер!— пошутил бандит и заговорил на воровском наречии, обращаясь к помощникам.

Бандиты опустили наганы. Один из них осветил электрическим фонариком землю под Иваном, поднял с земли перчатку и отдал ее Ивану.

— Катись!— сказал бандит.— Пстой!— где проживаешь?!

— В «Париже»,— ответил Иван.

— Ага. Документы пришлем завтра, с рассыльным. Катись колбасой, счастливого пути, товарищ профессор!

Но прежде чем Иван двинулся, бандиты исчезли, точно провалились сквозь землю.

У Ивана были взяты револьвер, бумажник, часы и кепка.

Иван был совершенно покоен. Он постоял у набережной, послушал шум воды, зевнул и пошел обратно, решив, что без кепи в гости идти неудобно. Он шел сначала медленно, потом ускорил шаги,— мимо храма Христа он уже бежал. У моста он нанял извозчика, забыв, что у него нет денег, чтобы расплатиться. Он не замечал, что он бежал,— ему казалось, что он совершенно покоен.

Портье заплатил извозчику.

В номере была открыта постель, ярко горело электричество. Иван сел к столу. В комнате у дверей стала уборщица, не уходила, перебирала белый фартук. Иван посмотрел внимательно. В нарочитой смущенности и в со-

вершенно недвусмысленном ламца-дрица горничная склонила голову набок и сказала:

— Может, чего хотите с дороги?

Иван посмотрел на нее внимательнейше, Иван сказал медленно:

— Садись.

Иван смотрел внимательнейше, разглядывал, в удивлении поднявшись со стула — —

— — женщина исчезла в его сознании, сознание попутнело — он увидел, как на стул село некое громаднейшее государство. Он увидел миллионы нечеловекоподобных людинок, которые бежали, катились, текли по этому закупоренному кожей сложнейшему государству — от *perpetuum mobile* сердца к кухням кишек, к озонаторам легких, к лабораториям мозга. Человек, сидевший на стуле, думающий, страдающий, продающийся, — исчезнул. Иван видел рот, красные губы, — и видел, как за жерновами зубов, за мясом языка, через глотку в желудок шел кусок коровьего мяса — с тем, чтобы из коровьего превратиться в человечье. В клоаке кишек собирались отбросы столиц. Глаза шли в генераторы мозговых извилин. Но рот, губы и глаза исчезли за счет мостовых звеньев позвонка, парапетов тазовых костей. Ежесекундно сердце гнало марши крови. Легкие набухли воздухом, чтобы человеченки крови мылись в нем. Тюбы кишек, кишечные дистрикты содрогались удавами. Мозговые клетки обсасывали фосфор. Женщина двинула ногой в ночной туфле: какая сложная система эстафет полетела к позвонку, к спинному мозгу, к коре большого мозга и в подкорковые майораты — и обратно от них в исполкомы мышечных нервов, в провинции человеческого мяса, построенного мышцами, чтобы — перестраиваясь, сжимаясь и разбухая — человеческое мясо подняло само себя на воздух, — себя и кости, заросшие этим мясом, и ночную туфлю, чулок, подвязку и юбку, — подняло в воздух и поставило на другое место, вновь и вновь послав об этом эстафеты, — такие эстафеты, о которых ничего не узнал предсовнаркома этого государства — сознание, кора большого мозга. За эпидермисом, мальпигиевыми слоями, слизями и марками кожи — поистине сложнейшее жило государство красных и белых кровяных людинок, лилового человеческого мяса, белых костей и нервов, страданий, радостей, соображений, сознательного и бессознательного, такого, что не познано еще корою большого мозга.

Горничная давно уже не улыбалась, недовольно и настороженно посматривая на молчащего человека. Иван разглядывал ее болезненно остановившимися глазами.

— Ты дура,— негромко и очень сердечно сказал Иван.— Ты не знаешь, что кроме незнания, которое ограничивает наш мир, ты — и я — мы ограничены еще вот твоим мясом, из которого нельзя выскочить.

— На что это вы намекаете?— сказала горничная, обадриваясь, готовая к улыбке.

— Ну, ты смотри. Это все равно, ты или я. Я некрасивый, ничего у меня нет. Ну, ты смотри, что это на тебе за туфли?— бедность одна!— а вот ты сидишь, кокетничать за пятерку собралась, довольна сама собою. А на самом деле ты — переваренное мясо — и больше ничего, так, одна мышечная клетка из человеческого организма.

Иван помолчал.

— Вот, радий в своем пути разложения приходит к свинцу. И вот, свинец, возникший из радия, имеет атомный вес 296,09, а обыкновенный свинец, п्लомбум, неизвестно как возникший, имеет другой атомный вес — 207,2. Понятно?— ничего не понятно!

Иван помолчал.

— Ты прости, девушка, я из мозгов своих выскочил,— куда ни посмотрю — все у меня в глазах разваливается — —

— — и он не кончил — —

— — опять

все провалилось, и опять возникло громадное государство костей, мяса, крови, нервов. Иван уже не знал, кто это государство — женщина ли, сидящая перед ним, или он сам. Во мраке черепной коробки повисли сталактиты времени, чердаками рухляди свалена была память: и во мраке черепной коробки было совершенно темно, совершенно,— черепная коробка разрасталась в невероятия,— как на заводе в шахте, Иван бродил по черепной коробке, спотыкаясь о память и с фонарем в руке. И — уже непонятно откуда, из черепа или из шахты — Иван вышел в ночное поле, в степь: — —

— — трое

здоровых, они несли на плечах винтовки и мертвецов —

Горничная — уже не проститутки кокетливо, уже не злобно,— но глубоко по-человечески, матерински-нежно толкала человека с остановившимися глазами к постели,— подталкивая, шептала:

— Ну, ну, ты ложися, ложися, поспи,— поспи, говорю!..

Иван отвечал тихо:

— Да, да, я посплю. Я очень устал. Ты стань на караул, возьми винтовку. Я посплю.

Матерински — женщина снимала сапоги с Ивана, раздела, положила, укутала,— и ушла из комнаты, бесшумно шлепая ночными своими туфлями.

Электричество осталось гореть.

— —

— — дальше Москва — комиссару Ивану Москве — была бредом, повторностью явлений и нереальностью.

— —

— — артист Владимир Савинов — в закулисном клубе одного из московских академических театров, в полночный час, в заседании общества «Честное Слово» — читал лекцию о кукольном театре, о марионетках. Слушателями были артисты и немногие гости. Актер Владимир Савинов имел асимметричное лицо астеника: несмотря на русскую фамилию и явное российское происхождение — разрезом глаз, крыльями бровей, лбом, цветом кожи Савинов походил на индуса. Говорил Савинов лаконически, короткими фразами. Актеры знают тайну вещей — путь вещей в достижениях актерских целей: и Савинов повязал свою голову оранжевой чалмой. Тип астеников на русском языке называется породю шалопупых: быть может, Савинов был и диспластиком.

Актер Савинов рассказывал историю марионеток, их путь через века, о том, что сейчас, вышед из веков, они остались в Осака в Японии, в Калькутте в Индии, в Каире в Египте,— что индийская память насчитывает марионеткам три тысячи лет,— этому абстрагированию искусства, когда человек в искусстве отказался даже от тела, тело заменив куклой.

Мозг и слова актера Савинова носили фантазию слушателей по неизученностям пространств и времени, по тем историческим закоулкам, которые называются искусством, которые всегда чуть-чуть истеричны и затырканы в дальние и темные углы кварталов темной человеческой радости.

И после лекции Владимир Савинов демонстрировал свое искусство: искусство владеть марионетками.

Была растянута черная материя, до третьей пуговицы жилета закрывающая Владимира Савинова. Был потушен лишний свет.

И тогда из-за черной материи вышла марионетка, женщина в плаще египтянки. Она поклонилась глубоким поклоном, опустив руки к коленям. В руке ее было опахало. Голосом, собранным интонациями одних булыжин, Владимир Савинов, свисая над марионеткой, читал стихи. Марионетка — египтянка — женщина величиною меньше четверти метра — шла, шла, ступала своими сандалиями, как самая настоящая женщина, — шла, заставляя забыть, что она — только кукла в ловкости рук Владимира Савинова, дергаемая невидимыми ниточками. Она была примитивна. Она опустила опахало, она постояла в задумчивости, руку прислонив к глазам, — и она взяла сосуд с водою, поставила его себе на плечо, она согнулась под тяжестью сосуда, — и она пошла обратно.

Вслед за нею вышел индус в белых одеждах, — он сел на землю, подобрал под себя ноги, — он склонил голову, — и он задумался, как думают века истории его отечества.

Это было удивительнейшее зрелище, удивительная темная условность искусства, — и темная сила искусства, колоссальная, — ибо эти куклы — совершенно категорически жили в ловкости рук Владимира Савинова, человека с лицом диспластика, говорившего голосом булыжин.

Куклы: — жили, оживали в руках актера Владимира Савинова — —

— —

— — Иван был у врача.

Он позвонил в подъезде, разделся в прихожей, ожидал в приемной, прошел в кабинет.

В тот момент, когда Иван входил в кабинет, в кабинет из другой двери входил профессор — из столовой, где на столе кипел самовар. Профессор по психиатрическим делам оказался человеком неожиданно тучным и имел такой вид, точно он спал ежесуточно по пятнадцати часов.

Ивану сразу показалось, что профессор стал его подкарауливать.

Профессор подал руку, сел, предложил сесть, снял крошку с пиджака и щелкнул портсигаром: «Курите?»

Иван взял папиросу, но не закурил.

— На что можете пожаловаться? — спросил профессор, раскуривая папиросу.

И дальше Иван не помнил своего визита к профессору по психиатрическим делам. Он вспомнил себя на улице, в руке у него была бумажка с адресом Донской психиатрической лечебницы. Он разорвал бумажку и бросил ее.

Он — тогда на улице — совершенно точно ощущал в себе два сознания: одно, теперь владевшее им, было темным, волчьим сознанием, страшным, проваливающимся в непознанные непонятные инстинкты, — вот те, которые заставили разорвать адрес больницы, — другое сознание было ясным, прозрачным и — безвольным, — оно следило за первым и было бессильным.

— —

— — Иван пошел к Обопыню вечером. Обопыней не было дома, старик должен был прийти домой с минуты на минуту, — Ивана провели в темную комнату, чтобы он ожидал.

Обопыни в первый год революции поселились в княжеском особняке, в упраздненной домово́й церкви. Обопынь-старший свой кабинет устроил в алтаре. Обопынь-старший нашел досуг стащить в свой алтарь неразграбленные вещи князей: его алтарь хранил в себе покойствие дубового письменного стола, дубовых кресел и дивана в медвежьей шкуре. Стены и пол Обопынь застлал коврами, которые крадут звуки. Печь, когда она горела, населяла алтарь покойствием, так же, как покойствие вселяли старинные кувалдинские часы, отзванивающие каждые четверть часа менуэтами осьмнадцатого века. Портъеры кутали окна алтаря, как женщины кутают пледом плечи. Обопынь вынес сюда запахи псины (запах холостяцкого его положения) и касторового масла (запах его профессии): ладанный запах алтаря давно был выветрен.

Иван прошел в кабинет и сел на медвежью шкуру, растянувшись, откинув голову к спинке дивана. Комнату эту Иван давно знал, и давно знал запахи Обопыня. Так Иван просидел минут десять.

Он уловил в воздухе, кроме запахов холостяцкой псины и касторки, третий, непонятный запах. Он стал принюхиваться. Непонятный, бередливый, чуть заметный, — Иван не сразу узнал запах разложения мертвечины.

— Наверно, под полом издохла крыса, — решил Иван.

Но запах не переставал беспокоить, и в памяти стал фронт.

Во мраке комнаты, за тяжелыми коврами мягкая была тишина. Иван лег на медведя, положив под голову подушку и заложив за голову руки. И тогда он услышал, как за головою его, в углу, нечто гудит, едва слышно, как гудят морские раковины.

Иван поднял голову и — поспешно сел на медведя: в углу, едва заметно, призрачным фосфорическим светом светились человеческое лицо, шея, плечи, — бередливое шипение морской раковины шло из этого же угла.

Иван поднялся с дивана, пошел навстречу фосфорическому свету, в углу стоял человек. Иван зажег электричество.

В углу стояла мумия.

Но Иван — но Иван признал в ней — не мумию: в углу — для Ивана — стояла Александра. Иван подошел вплотную к мумии: мумия пахнула мертвецом. Иван всмотрелся: закрытые веки мумии, ее лоб, ее ржаные волосы, ее прическа, ее губы, ее непонятная, прекрасная улыбка на губах мумии, — все то, что мумия пронесла через тысячелетья, — все это удивительнейше было похоже на Александру, — через тысячелетья все это удивительнейше повторилось в Александре — —

Но мумия рассказала и о другом: Иван узнал, что он обладал Александрой. Та женщина, имя которой он забыл в бреду, которую он забыл в бредовых памороках кубанского июля, — та женщина, с которой сошелся Иван в первый и последний раз за свою жизнь, тогда в июле в степной больнице, — была Александрой и мумией одновременно. Тогда в том бредовом июле безыменная девушка отдалась Ивану, чтобы стать женщиной, — тогда она встретила Ивана такую страстью, такими поцелуями и таким отдаьем, которые могут родиться только в бреду — —

Многие куски этого вечера совершенно выпали из памяти Ивана Москвы, навсегда. В кабинет вошел Обопынь-старший. Иван не видел его. Обопынь-старший видел совсем не то, что в бреду казалось Ивану.

В углу комнаты стояла неподвижная мумия. С открытыми глазами лунатика человек склонился перед мумией. Всем благоговением, которое может в себе собрать любящий человек, человек целовал мумию — ее глаза, губы, щеки. Обопынь оторопело и удивленно говорил: «Грудку, грудку поцелуй, ножки!», — и человек целовал сплюсненную тысячелетьем пелены грудь мумии, коричневые, иссохшие ее ноги, где мясо превратилось в ремень. Совершенно оторопелый Обопынь командовал: «Видишь, она просится к тебе на руки, — возьми ее, приласкай, поноси!» — и человек, корчась под тяжестью камня мумии, носил голую му-

мию по комнате, качал ее, как ребенка, и пел ей зырянскую колыбельную песню.

Это видел оторопелый Обопынь.

Иван видел, как Александра, умершая три тысячи лет тому назад, пошла к нему навстречу. Он, Иван, был вне времени и пространств,— он шел навстречу трехтысячелетней Александре. И он обнял Александру — по праву, по прекрасному праву, которого не было у него в жизни, которое дало ему кубанская ночь. И Александра склонилась к нему на грудь. Всем благоговением и всею нежностью, какие он мог собрать в себе, он целовал глаза трехтысячелетней Александры, которая, в мудрости трех тысячелетий, вышла к нему обнаженной,— всем благоговением он коснулся ее губ и колен. И он взял ее на руки, он баюкал тысячелетья на своих руках, он понес на груди самое прекрасное, что было у него в жизни, и он запел, как пела над ним его мать.

Обопыню, должно быть, стало страшно,— он сказал весело:

— Ванька, брось, поставь ее на место, брюхо надорвешь!..

И Иван покорно поставил мумию в угол.

— Ты присядь, Ваня, что ты на самом деле!— брось!— сказал Обопынь.

Иван покорно сел на медведя. Обопынь посмотрел на него удивленно, повеселел, недоумело. Иван сказал:

— Я задремал, что ли. Ты уже пришел.

Обопынь повеселел, заговорил:

— Мумию рассматривал?!— вот, брат, на старости лет женился, три тысячи лет барыньке. Три тысячи прожила, а в нашу революцию смердить стала. Вот, третью неделю воюю с ней, сам с собою борюсь.

Обопынь закурил толстую папиросу. Глаза Обопыня заплыли в тяжелые складки морщин, как бывает иной раз у бульдогов,— и, как бывает у бульдогов, белки глаз Обопыня были испещрены красною сетью веноч. Обопынь наклонился к Ивану. Обопынь был очень серьезен.

— Я сейчас с аэродрома,— говорил Обопынь.— Мне говорят, я вылетался, потерял сердце,— ерундиссима! Куда угодно, как угодно я поведу машину,— в облака, за облака,— с закрытыми глазами поведу, как хочешь. Нет, я не потерял сердца,— пусть кто-нибудь другой вылетался, это не мое дело!.. Я с мумией живу, поди!.. Ерундель,— пофранцузски — ласточка!..

— Это что значит — вылетался?— спросил Иван.

Обопынь ответил тихо:

— Это, знаешь... наша профессия. Пилоты, со временем, теряют сердце, у них появляется неуверенность, они начинают бояться воздуха, у них пропадает глаз, они неверно ведут самолет,— нервы гадятся. Если их болезни не заметят, они всегда гробятся, разбиваются.

Обопынь помолчал.

— Страшная болезнь!— крикнул он.— Человек боится воздуха, марает, как шмендрик,— и все-таки лезет в воздух, не может жить на земле, нечего ему на земле делать,— боится воздуха и лезет на него,— а на земле скучает, томится, водку пьет,— а в воздухе еще больше того дрожит от страха и — гробится на ровном месте, как шмендрик.

— Я вот тоже вылетался,— сказал Иван.

Обопынь заорал:

— Нет, я не вылетался,— нет-с,— ерундиссима, аттанде немного!.. Я в себе силу открыл. Велю, и никакая машина не может разбиться. Велю, и мумия будет танцевать. Это я тебе велел целовать мумию.

Иван встал, чтобы идти домой. Обопынь предлагал ему подождать сына, который хотел свести стариков к артистам в гости, где будут показывать марионеток.

Иван ушел.

— —

— — на том месте, где ныне стоит памятник Тимирязеву, в октябрьские дни 1917 года стоял трехэтажный дом. Этот дом был разрушен юнкерами и пушками. В этом доме Иван дрался за свою биографию. В дни до биографии Иван обедал в этом доме несколько раз.

Ночью, когда Иван шел от Обопыней,— пролазом Богословского переуллка, мимо старенькой церквенки, он вышел на Тверской бульвар и пошел направо, к Никитским воротам, чтобы посмотреть на тот дом, где он дрался за самого себя и за прекрасное человеческое будущее. Он обогнул кофейню, которую старые москвичи называли «Греком», и пошел вниз.

Он думал о том, что было тогда, в Октябре.

Он ждал увидеть вывеску столовой и трехэтажное здание.

Во мраке он увидел памятник.

«Как же это я ошибся,— подумал он,— шел к Никитским, а попал к Пушкину?»

И он повернул обратно.
Ночь была черна и безлюдна.
Он прошел мимо «Грека». Он увидел впереди памятник.
Он остановился в удивлении.
Он пошел к памятнику.
Это был Пушкин.
Иван прочитал:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Иван потер себе лоб, осмотрелся кругом и пошел обратно.

Бульвар был темен и глух,— впереди стоял Пушкин. Иван вжал голову в плечи и — уже не пошел, а побежал обратно.

Впереди стоял Пушкин.

Пушкин раздвоился.

Пушкин замыкал пути Ивана.

И тогда Ивана объял леденящий страх. Вжав голову в плечи, крадучись, на цыпочках, Иван вышел с бульвара в пролаз Богословского переулка,— Ивану казалось, что Пушкин спрятался за церковь,— Палашевскими Иван вышел на Тверскую, пошел к Дмитровке, Пушкин был за каждым углом. Иван шел на цыпочках.

— —

Александра — подлинная — знала о том, что у нее был бредовой июль, лишивший ее девичества,— но там в бреду, как никогда в жизни, она не узнала, что мужем ее был Иван Москва, запамятавав это бредом.

— — утром Иван сложил чемоданы, чтобы уехать в этот же день. Он послал курьера за билетами и к Обопыню, чтобы тот был готов к отъезду. Сам Иван собрался в ВСНХ, в ЦСУ и в ЦК. Иван действовал и точно представлял себе порядок вещей. Он заготовил заявления о болезни и о негодности для работы. В гостинице, когда он спускался по лестнице, чтобы выйти на улицу, его остановил рассыльный и вручил ему сверток. В свертке были его вещи, которые у него отобрали бандиты, револьвер, бумажник, часы и кепка,— и было письмо.

В письме содержалось следующее:

«Дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва! пишет тебе твой боевой товарищ и рядовой красноармеец, Семен Клестов с которым вместе ты тощил боевых мертвецов в Кубанских

степях. Просмотрел я твои документы и сердце мое кровью облилось, как разъехались наши дороги ты ответственный красный директор а меня судьба вывела на большую дорогу. Прости меня, что тогда в темноте я тебя не узнал. Очень хотел я к тебе зайти старое помянуть, да сам понимаешь, не статья мне в ваши владения ходить.

Низко кланяюсь тебе дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва и остаюсь рядовой Семен Клестов».

— —
— — вечером Иван Москва и Обопынь лежали в купе мягкого вагона.

Иван возвращался на завод, чтобы сказать Александре о том, что она — жена его, что он — ее муж. Тот бредовый июль был их венчанием, когда девушка Александра стала женщиной.

Иван дремал. Обопынь говорил:

— Хочешь, сейчас сюда вызовем эту самую мумию?— она тебе чай будет наливать!— —

— —

— — республиканские слова:

ЦСУ, НТУ, ВСНХ, ПГУ, Промбюро, рабфак — —

ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Вне обстоятельств.

...под уральскими металлургическими заводами земли крепки, как пот.

От дней Петра каждый завод на Урале помнит хорошее столетье быта,— и все заводы построены, как один. Леса кругом, глубокая здесь издревле лежала балка, по дну ее протекал ручей или речуга,— и речугу заплотинили плотиной, иной раз верст на пять длиной: и с одной стороны плотины возникал огромный пруд, целое озеро, а с другой — в овраге, в долине под плотиной ставился тогда завод. Так делалось к тому, чтоб, кроме кабальных рабочих рук, пользоваться еще бесплатную водяную энергию,— силую воды пускали завод.

Каждая такая плотина помнит столетье,— заводы стоят в сырости, в оврагах, прокоптились, одряхтели, на заводах работают вручную,— на заводах в домнах и марте-

нах плавят чугун и сталь, как плавил столетие тому назад, — не каменным — древесным углем, деревом, дровами: и у каждой заводской плотины — огромные сплавы дров, и пытит двигатель на лесопилке, готовя топливо заводу. И направо и налево от заводов, подпирая лес, в леса влезая, стоят прокопченные, приземистые, широкопазые избынки рабочего поселка. Рабочие здесь — вручную льют чугун, вручную мнут болванку, а дома пашут землю, ловят рыбу и пасут скотину (и такие горькие ботала звенят на шеях у скотины!). Рабочие с поселков остались здесь от крепостных и «государственных» крестьян.

Красный месяц поднимается на востоке, красною раною уходит солнце на западе, защитившись огненными щитами облаков: по лощинам в синей мгле лесов, меж гор вспыхивают красные раны мартенов — на Чермозе, на Майкоре, на Пожве, на Кувине, на Чусовой.

На заводах, на заводе из кусков чугуна («штыкового», «полового», «изложницы», «скардовника») почти вручную, первобытно, почти как при Петре, выковывают серпы, косы, рельсы, чаны, котлы, кровельное железо. В мартене, конечно, зажат кусок солнца: туда надо смотреть, как на солнце, через синие очки, — но солнце мартена становится простою серою болванкою. Эту болванку разогревают в сварочном цехе и с помощью десятка рабочих рук и прокатного стана красное тесто железа раскатывают в длинные полосы, как хозяйка, когда хочет такими полосами покрыть пирог. Эти скатки режут на куски, почти вручную: и куски идут в железопрокатный цех, вновь их раскаляют, вновь их катят, как хозяйка скалкой тесто на пирог. Потом эти листы обрежут, проверят, промаслят, сложат — и будет готово листовое железо, различных качеств и толщин.

Потому что здесь работают первобытно, здесь на каждой пачке железа мастер пишет свое имя, отчество и фамилию — Карп Маркович Москва, внучатный племянник Ивана.

Там, где надо железо размять, прокатить, — там работает молот, силу получивший от воды, ничуть не сложнее, чем на наших деревенских водяных мельницах, где, как сказывают сказки, проживают в омутах водяные.

На заводе тесно, копотно, все старо, все завалено столетним мусором, вагончики таскают вручную. — Над заводом, за плотиной — простор озера. — Избы на поселке — широкопазы, с коньками на крышах, вестниками паутины,

еще не конченной на Руси — —
— — это быт,
родивший Ивана Москву.

Заключение первое.

Иван говорил Александре, неизвестно — в бреду или в яви:

— Радий!.. это совершенно неверно, что он есть некий сверхестественный кладезь сверхматериальной силы. Это совсем не потому, что он обладает какими-нибудь особенными силами или содержит непознанный запас энергии, которого нет у других элементов... Слушай?!— слушай!— радий изумителен только потому, что он распадается быстрее всех остальных элементов, тогда как иные тела или вовсе не изменяются, или же изменяются так медленно, что человек не в силах проследить за ними. Слушай,— радий из рода азров,—«полюбив, он умирает». Да, да, любовь есть распадение энергии, азры суть конденсированная энергия,— потому они прекрасны. Да, да, и не случайно радий обладает способностью наделять своею радиоактивностью окружающие предметы. Но, разлагаясь, умирая, азра-радий дает в триста шестьдесят тысяч раз больше энергии, чем при сжигании того же веса угля,— слышишь, какая энергия?!— Так умираю я.

Иван говорил:

— Человечество стоит на пороге знаний. Этим знаниям я отдал свою жизнь. Первым шагом человечества от варварства к цивилизации было искусство добывать человеческой волей огонь. Но сейчас, когда человек стоит перед знанием о внутриатомных запасах энергии, на пороге обладания этой энергией,— сейчас человечество вновь находится в положении первобытного человека, когда этот первобытный стоял перед костром, зажженным молнией, не зная, как добывается огонь. Те источники энергии, которыми мы сейчас пользуемся, теперь мы считаем просто остатками от первобытных запасов природы,— это есть, это было. Будет,— будет, когда ключ от сокровищницы природы будет в наших руках, когда мы научимся превращать элементы — по нашей воле — из одного в другой. Человек — тоже только запас энергии: человек будет в руках человека: «случайности распада» будут скинуты со счетов человеческой жизни. Это — будет. Пока же — у человечества в руках только двести тридцать граммов радия, да, только!..

Иван говорил:

— Было принято рассматривать эволюцию Земного Шара как результат великих катаклизмов и катастроф. Теперь человечество знает вечную, непрерывистую и непреодолимую работу космоса, которая, несмотря на медленность, делающую эту работу в краткости человеческого времени незаметною, вызвала в эпохах космического календаря такие большие и полные изменения, что современные черты Земного Шара являются только преходящими моментами постоянно меняющегося действия. Да, но я умру. Ты слышишь, Александра?!

Заключение второе.

— — как всегда, когда рокотал пропеллер самолета, — по дорогам, по пахотам, верхами, на телегах, рысью, вскачь, на своих на двоих — бежали к самолету — мужики, парни, бабы, девки, дети, древнейшие старики — посмотреть, — в страхе, готовые в случае чего дать лататы обратно, в случае чего принять в дреколья, во всяком случае такие, чтоб было понятно, что их «хата с краю».

Обопынь-старший и Снеж убирали самолет.

Рабочий протолкался к Москве.

— Позвольте вас спросить, товарищ, — сказал рабочий. — По прямой линии с востока на запад сколько верст в час пролетит самолет?

— Сто семьдесят километров, — ответил Иван.

— А с запада на восток?

— Тоже сто семьдесят километров, — ответил Иван.

Рабочий задумался, прищурил глаз, сказал:

— При такой скорости для точности, хотя бы пока в секундах, но принципиально надо брать в расчет вращение земли, товарищ!

Рабочий был прав. Иван вспомнил, что на его заводе время — по солнцу — разнится от местного на полчаса и нет ничего абсолютного, — и что человечество должно уже брать для «принципиальной точности» — брать в свой обиход вращение земли. Фюзеляж самолета похож на скошенный лоб, а кабины пилота и бортмеханика на глазницы, — и самолет, если смотреть ему в лоб, был похож на человеческий череп — эти пустые глазницы, этот срезанный лоб: человеческий череп всегда был символом мудрости.

— Что же, на небе холодней, что ли? — я гляжу, вы куртки меховые надеваете.

— Да,— ответил Иван,— чем выше, тем холодней. В высоте на три тысячи метров вода мерзнет в самую большую жару.

— Та-ак,— ответил мужичок раздумчиво,— святым, выходит, там холодно,— в шубах, небось, приходится ходить!..

Толпа комментировала:

— Яруслан, слышь, полетит?!

— Как гусь,— и по небу, и по земле!

— Дальнее поле жать ездить — очень подходяще.

— Раз заграницы (от слова заграница) всю технику превзошли, нашей державе отставать никак нельзя.

Когда Иван, надев уже шлем, садился в самолет, он слышал, как одна баба сказала другой: «Коров пригнали, доить иттить надо!» И вторая баба ответила: «Погоди, надоишься на своем веку,— не каждый день ероплан летает!»— и Иван представил себе, как миллионы русских баб в этот закатный час, по команде солнца, сидят у коровьего вымени, миллионы доятся коров,— даже страшно представить эти миллионы российского лаптя кабалы к земле. И нет сил рассказать о том, что не комментируется словами,— того, что вот тут, у этого поля, где родились и умерли деды собравшихся, где в памяти соликамские строгановские разбои, где все родное, где пасутся овцы, а через речку плавают дощаник, такой дощаник, которому от рождения лет пятьсот, поди,— здесь на этом поле лежал самолет, человеческая воля, несущая человека в небо.

Право быть в воздухе — строгое право, и Обопынь был молчалив и торжественен.

— Контакт!

— Есть контакт!

Пропеллер ревет, толпа отвернулась от самолета,— или самолет отвернулся от толпы? Земля мчит стремительно — до того момента, пока она не качнулась под самолетом: значит, самолет оторвался от земли, значит, самолет в стихиях, где нет быстроты и высот. И тогда уже не самолет,— самолет стоит на месте,— а земля под ним ползет назад, река, леса, поля, игрушки деревень, рубаха России. Клокочет пропеллер, солнце сбоку, рядом,— режет ветер. Минуты в воздухе — часами.

Облака идут под Иваном, самолет ушел за облака. Лермонтов верно сказал: караваны облаков. Караваны идут под Иваном. Солнце — рядом, то солнце, во имя которого качнулась однажды в мозгах Ивана земля. И если бы Иван

был в Арктике, он понял бы здесь за облаками, что он — вновь в Арктике. Те облака, что над самолетом, это — небо и глетчеры вдали, они розовеют от вечного дня и солнца, они медленны. Те облака, что под самолетом, это льды, которые идут по сини моря. Леса вдали внизу, меж облаков — слились в синь моря, там во мгле. Конечно, Арктика, — вон та большая льдина плывет на самолет, — вон там на горизонте стал глетчер, — вот заторосились айсберги. Какое странное солнце в Арктике! — оно не идет высоко, но оно вечно, если там лето.

Но вон там впереди облака синеют, свинцовеют, солнце там ало, легкие тучи собираются табунами, там идет тучища. Самолет летит туда. Там не видно земли. Там, внизу, где должна быть земля, — синь и мрак, которые не пускают туда глаз, — в эту синь закуталась рубаха России, щетина лесов. И чуть влево от самолета, под самолетом полыхнула молния, гром переревел пропеллер. Под самолетом — гроза. Самолет идет вперед: он единоборствует со стихиями, ибо — вот кинуло самолет вверх, вот брошен самолет на крыло, вниз. Самолет летит над грозой. Минуты в воздухе — часами. Еще и еще самолет кинут направо, налево, вверх, вниз. Гремит гром, и полыхают молнии. Слева под самолетом свинцовая синь, видны потоки дождя, там полыхают, спешат молнии. А справа от самолета — безбрежный простор солнца, небесной сини, лазурной лесной сини, синих далей. Молния, гром, кинуло вверх и вниз, звон в ушах, — и видно, как затрепетала машина, как крылья уперлись в воздух, зазвенели: быть может, на момент самолет остановился в воздухе, — но пропеллер опять уже рвет стихии, рвет облака, рвется вперед, вперед. Гроза — позади. Сумерки, и вон из-за лесов, из-за земли красный, огромный встает диск луны, багрово красит облака: это на востоке, — а на западе красною раной уходит солнце, в кровь раскалывая облака. И земля внизу — синя, туманна, в сизой дымке, — и видно тут, и видно там, как леса горят в лесных пожарах, — мглился там внизу земля.

И тогда впереди внизу возникла Полюдова лощина, Полюдова гора, где Иван Москва разлагал земные недра. Самолет пошел на снижение.

И тогда — —

— — бульдожьи морщины расправились у глаз Обопыня, глаза вылезли из орбит. Самолет шел штопором. Иван инстинктивно хотел встать и не двинулся, привязанный ремнем. Самолет стал в пике. Земля вертелась внизу

волчком. Глаза Обопыня лезли из орбит. Руки Обопыня были свободны. Снеж, бортмеханик, сосредоточеннолицый, лез с парашютом в руках на фюзеляж, на крыло: с крыла его сорвало ветром, надувшимся парашютом. Тогда кровавой ракетой вспыхнул бензин — —

— — Александра вышла на гору встречать самолет. В синем небе вспыхнула ослепительная ракета. Эту ракетой умирал Иван, муж, о котором не знала жена. Как некогда для Ивана солнце, сейчас неподвижным для Александры были — она и ракета, и качалась, качалась, падала земля. Александре было совершенно несущественным, что с земли встал веселый Снеж, отряхивая колени — —

В час смерти Ивана внизу, под обрывом, уже горели огни завода, того завода, выработкой которого Иван хотел установить, что в мире нет границ количеству свободной энергии, кроме пределов человеческого знания. Над землей шел тихий зырянский вечер...

Заключение третье.

Следопыт ушел с завода за день до смерти Ивана. Вернувшись к себе на урочище, куда он шел две недели по северной Кельтме и по Екатерининскому каналу, закрытому семьдесят лет тому назад, — Следопыт, вернувшись домой, на родину Ивана, рассказывал о своих впечатлениях примерно так:

— Конечно дело, как я пришел, значит, на завод, один добрый человек свел меня сейчас к Ивану. Сидим это мы, чаевничаем, и вдруг по небу летит ероплан, пролетел и уселся на земле. «Слышь, — говорит Иван, — ткни суды пальцем!» — я ткнул, и весь дом загорелся лампами, которые светят, а не горят и не воняют. Тут пришли летчики, напоили меня пьяным, и я ничего не помню. Только знаю, проведена от Москвы на завод труба и в ту трубу на завод говорит народный комиссар Луначарский разные слова. И говорит мне летчик по фамилии Снеж: «Придется тебе завтра лететь с нами!» Я думал, он пошутил, и пошел с ними на гору ради шутки. Пришли, а он, еловый сук: «Влезай, — говорит, — в ероплан!» Вот уж я испугался. Я побежал, да меня поймали. «Если, — говорит, — победишь, мы тебя арестуем!» Думал, думал, пришлось садиться. Я не иду, а они подхватили меня под руки и повели, привязали там на ремень, чтобы не убежал. «Не бойся, — говорят, — отец, если упадем, то вместе!» Вот и по-

ехали. Сначала это по земле ста полтора саженой летели, только брызги из глаз сыпались,— а потом на воздух поднялись, вот уж страшно,— летим, летим, потом вдруг сядем книзу аршина на два, а то и больше. Я поймался за начальника и сижу с ним. Он спросил: «Видишь,— говорит,— завод?» — а я хоть и не вижу, а говорю, что видать. Земля внизу вроде тарелки. Конечно дело, покрестился я и заговор почитал. Потом мы опять сели на землю, все начальство на заводе меня узнало, за харчи даже не взяли. А начальник Снеж удостоверение написал. «Покажи, мол, дома, что ты летал, а то не поверят»... Всем говорю,— хорошая штука ероплан,— всем советую сходить полетать. Вот так и полетал, даже старший начальник по милиции остановил меня на дворе и спросил, как я летал. А потом Иван зазвал меня к себе, посадил на стул, спрашивал, как я летал, что на уме было,— я тут сознался, что сначала про себя матюгал на летчиков и даже перекрестился, а сейчас, говорю, согласен лететь!.. Всем советую сходить полетать!..

Заключение четвертое.

И за день до смерти Ивана ушел с завода Яшка.

Через пять дней после смерти Ивана уехала с завода Александра.

В Усть-Куломе Александра догнала Яшку.

...«Зыряны» — значит — «оттесняемые», — но настоящее имя Коми — Коми-народ, — Коми-морт. В Усть-Куломе Александра спросила:

— Сколько верст осталось до железной дороги?

— Семьсот,— ответили ей.

Александра была у военкома, и военком рассказывал, как он ездил на регистрацию в село Мьелдино, за пятьсот верст. Там, в селе, все сидели по домам, в новой одежде; военком приказал показать ему для регистрации лошадей,— ему ответили, что лошадей показывать не стоит, ибо все равно завтра в девять часов утра будет конец света. Так никто и не шевельнул пальцем, сидели по домам и торжественно ждали. Военкому пришлось прождать до двенадцати часов дня, когда привели лошадей, решив, должно быть, что конец света отложен. Военком же рассказывал, как в селах здесь даются мандаты:—«Сельский Совет, СССР и прочее», а затем вместо всяких слов хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Мандат такой значит: «Вези такого-то, как перо!»— и мчат

лесные народы по такому мандату — как пух — на лодках, телегах и оленях.

Александра вернулась в избу, где она должна была ночевать.

И ночью она услышала, как кто-то возится внизу с лошадьми, понукает, двигает телегу. Она спросила, в чем дело? — и ей ответили:

— А это студенты в Москву уезжают.

Она спустилась вниз и увидела среди студентов Яшку.

Отсюда, из этих лесов, в Москву ехали студенты, один рабфаковец (Яшка), два студента Кутвы, один из петербургского техникума. Им предстояло проехать триста верст до парохода. Александра поехала с ними.

В Усть-Сысольске Александра и студенты пересели на пароход.

От времени до времени капитан парохода кричал:

— Граждане пассажиры, на корму!

Пассажиры шли на корму, — пароход проползал половину мели, — тогда — по команде капитана — пассажиры шли на нос.

Затем пароход застрял окончательно на мели, стоял сутки, пока не пришел второй пароход взять пассажиров.

На пароходе было человек десять случайных пассажиров, таких, как Александра, — и было человек полтора студента. Это было то, что леса, болота, озера Коми-области вывелили из себя, послали за знанием. Каждый помнит с картинок из учебников географии старинные русские шляпы из войлока, вроде ведерок, — гречневики: студенты ехали в расшитых рубахах и в таких шляпах. Студентки ехали в сапогах и в платочках.

В ту ночь, когда пароход стал на мели, студенты сходили на берег, и Александра с ними. Был зеленый, тихий — последний перед осенью — вечер, капал дождь и переставал, перестал. Лес стоял безмолвный, ельник и сосна, под ногами песок. Ныли последние комары. В просторном мраке, неподалеку, позванивали — глухо, медленно — ботала на шеях коров, — тех коров, около которых сидят ежевечерне миллионы русских баб, — ботала перезванивали на разные голоса, точно играл вдальке испорченный орган. И от этого испорченного органа и от тихой ночи было покойно, и мирно, и древне. Студенты разложили костер, пели около него песни. Александра присматривалась в зеленом мраке: лицо зырянской девушки, широкое, здоровое, некрасивое, — только глаза за пенс-

не:— какие? как определить?— лесные глаза! Девушка говорила медленно, очень на «о», очень открытыми звуками. Она кончит в этом году университет. Ее зовут: Юлга-Елень. Она очень покойна,— только эти глаза,— какие? как передать?

Александра спросила:

— В детстве вас водили молиться вашим богам, в лес? Юлга-Елень не ответила.

Сказала Александра:

— Не стесняйтесь, меня к очень многим богам водили, в детстве. Я так же, как вы, ушла из этих лесов — — — — и

Александра не кончила, ибо — —

Обстоятельство последнее.

— — трехтысячелетие мумии сменилось бредом Александры и Ивана! Вместо Ивана — на место Ивана — сейчас ехало — за счет распада энергии Ивана — ехало полтора ста студентов, «оттесняемых» в знание лесами, болотами и озерами Коми-земли,— ибо «мне отмщение, и аз воздам». А на заводе у Полюдовой лощины, в этот час, в лаборатории — таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны, мумии и всего ночного,— светились, флюоресцировали, распадались камни земных непознанностей.

Узкое, 25 февр.— 19 марта 1927.

ГОРОД ВЕТРОВ

Борису Пастернаку

I

К югу от Старого Города, от Крепости, где до сих пор существует ханский дворец, не окончательно разрушенный временем русских, хансарай Ширваншахов,— к югу от Крепости, в море, под водою виден город, подводный Караван-сарай, крепость, затонувшая в море. Древние арабы создали легенду о затонувшем городе Сабаиле,— и русские археологи находили под водою в утонувшем городе арабские надписи и арабские монеты,— — но история утверждает, что эта часть города ушла под воду в XIII веке. В зеленой воде Каспия, в этой бухте, где вода играет радугой нефти, в прозрачности водных саженей видны камни мостовых, дома и крепостные стены и четыре крепостных башни, бойницы которых выпирают из воды. Здесь море пришло на землю, и земля ушла в море.— А в двухстах саженях отсюда в Старом Городе в Крепости,— у башни Кыз-Кала, у Девичьей Башни, построен бык, чтоб рассекать морские волны: ныне под башнею бульвар, но люди, которым сейчас по сорока лет, помнят, как мальчишками под башнею они ловили удочками рыбу. Есть предание, что башня Кыз-Кала, семярусная, была построена огнепоклонниками: это неверно, башня построена в двенадцатом веке.— В пяти километрах от Крепости в Биби-Эйбатской бухте квадратные километры морского дна пять лет тому назад превращены в нефтяные промысла, в нефтяную землю, засыпаны землей. Здесь человеческая воля сошлась с теми стихиями, которые тревожат земные недра и качают земные рельефы. Морское дно, оторванное у Биби-Эйбатской бухты, называется ныне промыслом Ильича,— но это не главное. На сотни квадратных верст вокруг города, вокруг крепости Ширваншахов, на землях, которые кажутся проклятием для человека, на желтых пустынях песков, в солончаковых терновниках и в соленосных озе-

рах,— здесь из земли бьет жидкий огонь, горячая вода, нефть, которой пропитаны, пропахли, прогоркли все круглежащие горы, пустыни и вода. Эти места — человечески-древни, ибо даже в истории бродяжеств Александра Великого рассказано, как Александр сжег в Баку, в этой горячей воде, ни в чем не повинного мальчика, приказав поливать его этой горячей водой, фонтаном бившей из-под земли. Только в семидесятих годах девятнадцатого века умер здесь последний индус из Сураханского храма огнепоклонников. Веками индусы приходили сюда поклоняться Огню. Сураханский храм цел поныне. Столетия подряд в нем горел неугасимый огонь, выкидываемый земными недрами. Ныне огонь потушен, ныне вокруг храма стоят сотни тартальных и насосных нефтяных вышек, нефтяные промысла. Здесь выкачивают из земли нефть. Тот огонь, что горел столетиями в храме огнепоклонников, на ближайшей фабричке теперь превращается в бензин. Сюда, в эти места древностей, на Апшеронский переулок Каспийского моря, на большую дорогу времени,— понаехали, пришли сотни тысяч людей, рабочих и инженеров, русских, украинцев, азербайджанцев, иранцев, турок, немцев,— чтобы добывать недра, ибо в цивилизации человечества теперешней эпохи бензин и мазут — бензины, мазуты, газолиты, гудроны, лигроины, машинное масло, мылонафт, парафин, асфальт — кидают в небо самолеты, движут по океанам корабли и заасфальчивают дороги и улицы городов. Пустыня просоленной, занефченной земли, бывшей алтарем огнепоклонников, испугавшихся огня, земля, проклятая для естественной человеческой жизни,— на сотни квадратных верст исколота сотнями эйфелевых башен нефтяных вышек, десятки тысяч людей скважат и тартают землю,— чтобы двигать человеческую цивилизацию!..— а в чайхане в Старом Городе иранцы и тюрки ведут, вьют верей средневекового азийства, и оттуда в Иран уходят караваны верблюдов, товары на горбах которых покрыты чудесными ширазскими коврами, такими, около которых никогда не ютилась ни одна, никакая машина, даже стальная игла. На лилиях мечетей в Старом Городе зорями закатов перетряхивают метафизику Азии гортанные глотки мулл.— И, если горбы верблюдов в караванах не покрыты ширазскими коврами, если спины верблюдов грязны и промасленны,— тогда значит, что караваны несут в пустыню — нефть, горячую воду,— несут ее в бурдюках из воловьих шкур.

У этого человека была русская фамилия,— русское имя, лицо россиянина,— и был германский паспорт. И этот человек ехал из Германии.

Его судьба была отдана стихиям годов человеческих перестроек, начатых июлем 1914 года. Он навсегда помнил удушье вечера, начавшего его биографию, запаха сена в сарае, пороха и гари и колесной мази от телеги, под которой он лежит (той колесной мази,— он не знал этого,— которая производится из нефти). Тогда в сарае из-под телеги он увидел немецкие каски, и лошади немцев стали есть сено, накошенное его отцом, и навсегда запомнился ус немецкого драгуна, сказавшего Павлу в сарае около телеги, откуда Павла вытащили за ноги,— на плохом русском языке:

— Што же, малшишка, ти поедешь к меня в гости?—

Добродушнейший этот ус — навсегда остался благодарностью в памяти Павла Маркова. Через неделю тогда Павел оказался в немецком тихом городке, похожем на учебники истории, черепитчатокрышем и засыпавшем на ночь в восемь часов вечера.— Но унтер никогда не вернулся домой, убитый на российских нарочах,— и Павел остался в доме унтера памятью и заветом проклятия войны. Отрок помнил русскую деревню, запаха овчины и мела в сельском училище. Отрок пошел в линейки немецкой школы. И так прошло десятилетие, засорившее русские памяти, научившее думать уже не по-русски, но по-немецки. Фрау Люиза стала его второй матерью. Отца у него не было, ибо подлинный его русский отец, оставшийся в нетях российских войн, был потерян неизвестностью,— немецкий же — был убит этой же войною. Ни сестер, ни братьев у Павла не было. Павел окончил обер-гимназию и поступил в горный институт.

И в год окончания института, когда ему оставалось напечатать лишь докторскую диссертацию, Павел сказал второй своей матери — о том, что он хочет поехать в Россию, чтобы найти следы своего русского отца,— его память, если он умер. Павел не сказал тогда, как никогда не говорил фрау Люизе, о том, что все эти годы у него была одна мечта — найти отца: всяческая мечта, и глупая гордость, что вот он, русский крестьянский мальчик, кончает высшую немецкую школу, способный и примерный юноша,— тщеславная гордость уже не российского, но немец-

кого происхождения, что у него хорошо сшитый костюм, которым он похвалится перед отцом,— и гораздо более существенная потребность увидеть отца, свою кровь, и увидеть Россию, свою родину, навсегда ни с чем не сравненных. У этого юноши, у которого не было отца, всегда при мысли об отце физическою болью физического счастья сжималось сердце,— он знал, что он сирота, и знал, что самый счастливый час его жизни будет тот, когда он встретит отца. Фрау Люиза волновалась за свою гордость. Сын заверил, что никогда — никогда! — не покинет ее,— и эта клятва была не немецкой, ибо сердцем Павел знал, что, нашед отца, ради воли отца — русским морем по колено — он бросит все, Люизу, институт, свое будущее, свои пути — и пойдет за отцом куда угодно, куда повезет отец.

Немецкий поезд выкинул Павла Маркова за пределы Германии.

Павел поехал в село своей родины. Ныне там была Польша. Там он узнал, что отец никогда не возвращался на родину, ушед отсюда русским солдатом. Соседи слышали, что отец в Москве. В своем селе Павел не нашел даже места, где стоял дом его отца, ибо село уничтожено было войною дотла. Павел поехал в Москву. В человеческом море человеку затеряться не трудно,— но и тесна земля, достаточно, чтобы не найти человека: на складах архивов человеческих имен, в мыслях о том, что вот каждое имя этих адресных алфавитов есть человеческая жизнь, Павел нашел следы своего отца. До восемнадцатого года отец был в германском плену. До двадцать первого года отец был солдатом Красных Армий. В двадцать втором году отец женился на женщине, родом из Баку. В двадцать третьем году отец выехал из Москвы с женою — неизвестно куда. Сын решил ехать в Баку и там искать — через жену отца или через ее родственников,— там найти отца. Чтобы сжать время, Павел взял самолет.

Аэроплан ушел из Москвы на рассвете — в российские равнины, чтобы к полдню быть над просторами Кубани, а в закате, в реве пропеллера, предстать пред вечным величием Кавказского хребта, когда сразу видны и Эльбрус и Казбек, снеговые цепи, вселяющие в мозг человека сознание его ничтожества. За ревом пропеллера, мозгами, спутанными этим ревом и бессонною ночью, Павел, наблюдая за домами внизу, величиною в спичечную коробку, и за людьми, похожими на мух, думал о том странном, что

есть человечество и человеческие жизни, когда сверху совершенно бессмысленны муравейники городов и сел, поезда, везущие в одну сторону ровно столько же людей, сколько и в другую, когда сотни людей одновременно ползут по одному и тому же делу, и сотни людей едут по делам, не существенным для тысяч других людей. И совершенно бессмысленны мухи людей, глядящих с земли на самолет, бессмысленны потому, что ничто, никогда не будет узнано о их жизнях, делах, стараниях и радостях, о тех страданиях и радостях, которые так легко укладываются в нормы человеческих жизней, рождений, смерти. Павел думал, что это именно и хорошо, что к человечеству можно подходить, как к стандарту человеческих жизней, ибо иначе человечество не справилось бы с самим собой. Индивидуальная жизнь есть дело второстепенное, частное дело каждого.

Самолет сел на ночлег около города Пятигорска.

Новым рассветом самолет понес людей дальше, пошел прямо на величие Кавказского хребта, навстречу вечным его снегам, алмазствующим покоем и солнцем. За Владикавказом горы поднялись неприступностью, и самолет свернул вдоль хребта — к Каспийскому морю. Около Махачкалы, когда Каспий уже раскинул крылья своего простора, самолет стало кидать ветром, направо, налево, зазвенели в ветре крылья. На земле в Махачкале телеграммы сообщали, что над Баку, над этим городом ветров, норд. Пилот далеко по ветру отбросил окурок, молвил, чтобы люди не расстегивали в воздухе ремней. Горы и море закачались под самолетом, завывли крылья и пропеллер, облака пошли под крыльями. Все азартней и азартней кидался ветер самолетом. И в Дербенте сказали, что дальше самолет не может лететь: над Баку шторм, ветер в двадцать два балла.

Поезд из Дербента в Баку ушел днем, местный, люди в котором, в коробках жестких вагонов, висли, как овощи в зеленых лавках. Поезд прошел между морем и навесом гор, пошел от гор в пустыню. Над этой пустыней мчались смерчи пыли, ветер качал поезд, свистел поездом, как воют в России февральские метели. Это поистине была пустыня, выжженные солнцем камни и пески, без кустика, без травинки, с редкими солончаками. И поистине неистовствовал ураган над землей. На горизонте впереди стояли испепеленные зноем, мертвые горы. Пустыня жгла удушьем. Вскоре запахло чужим жизни запахом нефти. Тогда на

сопках стали видны эйфелевые башни промыслов, нефтяных скважин. В закате в темной щели между сизых туч и мертвой земли вновь мелькнуло море, и на берегу его, на горе, огни города Баку. Через минуту все провалилось во мрак, и зловеще на тучах вспыхнуло зарево пожара: это горела нефтяная-вышка. Люди в поезде стояли у окон, зарево пожара, сгоравшего где-то в десятках верст отсюда, отражалось на лицах людей. Поезд пришел в Баку к ночи.

III

Из коробки вагона, из зеленой лавки человеческих лиц, вышел юноша с русским лицом и нерусски одетый, в сером туристском костюме, с кэзом в руках. Ветер рвал кепи. Айсор бросился чистить краги. Юноша терпеливо ждал. Тюрок в белом халате ткнул айсора кнутовищем, чтобы поторопить, и лениво сказал иностранцу:

— Паэдим Новую Европу.

Улицы европейских зданий были пусты. По улицам мчал шторм. Шторм вымел с улиц не только всю пыль, но даже людей. На перекрестках ветер валил извозчиков. В гостинице «Новая Европа» отвели номер на шестом этаже, как раз под крышей, где помещалась ресторация и пиликал оркестр. Номер походил на каюту океанского корабля. Номер наполнился воями и плачами шторма. Стены гостиницы дрожали. Ветер грыз дверь на террасу. В вой метели врывались иногда плачи музыки. Иностранец долго мылся, сплевывая песок с зубов. Затем он поднимался на крышу. Два иранца, вопреки Корану, под ветер и от лихорадки, пили русскую водку. Оркестр разместился вокруг них. Крыша главенствовала над всем окружающим. Здесь стихийствовал только ветер, и в чернейшем мраке, где-то в десятках верст отсюда, все по-прежнему полыхало зарево. И вдруг новое возникло зарево, в море, за маяками, осветило море, его волны — синим, фосфорическим светом.

Иностранец спросил удивленно у лакея, что это такое.

— Газ горит в море, — ответил лакей. — Сколупнуло водой камень, газ пошел, ну, неловко его запалили, либо сам вспыхнул газ.

Лакей был медлителен. Ветер задышался в своей поспешности. Зарева были зловещи.

Иностранец рано лег в постель и быстро заснул. И последнею его мыслью была мысль о том, что завтра он най-

дет отца, та мысль, от которой физической болью счастья сжималось его сердце. Но он скоро проснулся. Дом дрожал ветром. Музыка наверху перестала. Ветер свистел и стонал на все лады. Рычала террасная дверь. В комнате было очень душно. Ветер нес зной. Павел сел на постели и просидел так до рассвета. Город в рассвете и ветре предстал необычным. С шестого этажа казалось, что город недостроен, ибо крыши у домов были плоски и город мертв. Вдали дымил армагадданом индустрии Черный Город, бакинская судорога заводов и дыма. От рассвета до того часа, когда можно было выйти в ресторан и в город по учреждениям, было еще очень много времени. И иностранец вышел наутро в ресторацию — пожелтевшим и потным, как все чужие Баку люди в дни норда. Он вяло спрашивал лакея, и лакей медлительно рассказывал о тех учреждениях, где иностранец мог найти следы отца. Лакей предполагал, что к вечеру этот иностранец неминуемо запьет российскую горькую, если не стихнет шторм.

Солнце светило зноем, небо было очень сине, и по земле под этим небом в неистовстве мчал ветер, палящий зноем. Ни одного деревца не было в каменных улицах города. Пахло над городом нефтью. В учреждениях плохо понимали русский язык и заговаривали по-тюркски. В учреждениях недоверчиво относились к розыскам иностранца, у которого было русское имя. Автомобиль носил иностранца по городу много часов. Он был в Черном Городе, в этом ни с чем не сравненном желваке индустрии, в громадном, сотнетысячелюдном городе, где десятки заводов перегоняют и разлагают нефть на гудроны, телуолы, бензолы в этом месте, где судорогой собралось все страшное, что дает индустрия, дымы, гуды, запахи, железо, огонь, корпуса заводов, железнодорожные шпалы, пароводные доки — все столь напряженное, что город больше походил на бредовый сон, чем на явь. Автомобиль проезжал мимо промыслов, где лесами стоят нефтяные вышки, где через скважины сквозь землю из глубин выкачивают нефть и высасывают бензиновые газы. Все это было тем, что чужому глазу кажется враждебным естественной человеческой жизни. Павел Марков кончал горный институт, он смотрел кругом знакомым глазом, но он не думал об этом, потому что он думал об отце.

И у него был адрес отца. Автомобиль не смог провезти в Старый Город, и Павел пешком пошел в крепостные переулки. Здесь в переулках не могли бы разойтись два осла.

Здесь не было улиц. Здесь залегли тишина и пыль, и из камней выбивалась незнакомая желтая, жестокая трава. В чайхане здесь сидели за нергиле безмолвные иранцы. Азия величествовала своею нищетой. Павел прошел мимо ширваншахского замка, наглухо запертого, сплошь из серого камня. Около мечетей играли голые дети, загоревшие до черноты, как нефть. В переулке кустарей медники отбивали кальяны и кувшины для священных омовений. Павел долго стучал в калитку. Ему долго никто не отвечал. Калитку открыл нищий старик, русский, с бородой ключьями. Старик запахивал на коленях полы тюркского, похожего на извозчиный, кафтана, и ноги были в русских валенках, большие пальцы торчали из валенок. Старик осмотрел Павла строго и недружелюбно.

— Что надо?— спросил старик, выставив голову из-за калитки.

— Я хотел бы найти Александра Маркова, а если его нет, то его жену Анастасию Тяпкину,— сказал Павел.

— А вы кто будете?— спросил старик.

— Я сын Александра Маркова, которого он потерял во время русско-германской кампании в своем родном селе.

Старик осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы, внимательно, осторожно, презрительно. Глаза старика глядели из ключьев бороды, по природе они должны были быть добрыми: они сузились трусливо и хищно.

— А ты где же произрастал за это время?— спросил старик.

— Я воспитывался в Германии,— ответил Павел.

Старик вышел на улицу, прикрыл за собой калитку. Ветер распахнул полы его халата, его колени разбухли водянойкой, белые, в зное солнца они казались зелеными. Старик замигал трусливо, и его глаза заслезились, и он заговорил шепотом, воровски оглядываясь по сторонам,— ветер донес до Павла смрадное дыханье старика.

— Действительно, жил здесь твой батюшка Саша со своею женою, да только помер он прошлой весною. Помер на промыслах, обдало его нефтью, и сгорел он дотла, даже костей не собрали. Помер, и даже могила его неизвестна. И жена его померла.

Девочка лет семи высунулась за стариком из калитки, шмыгнула голубыми глазами, спросила:

— Дедушка, кто это?

Дед цыкнул на девочку:

— Марш домой, ишь чего!— в глазах у старика мелькнула ласковость к девочке, в глазах у него появились страх, жадность и злоба,— девочка спряталась за калитку,— старик заговорил:— Помер, помер, и даже могила неизвестно где. И жена его померла, и дочка. Все померли, и следу не осталось.— Старик помолчал.— Ты иди, иди, откуда приехал, и не ищи, и не ищи, ничего не найдешь.

Павел стоял в безмолвии. Старик говорил миролюбиво, но все-таки недружелюбно:

— Ты иди, иди, все померли, ни синь-пороха не осталось. Иди, иди, откуда приехал.

Павел не слышал, что говорит старик. Павел стоял в безмолвии. За той болью, что была у него, Павел не видел злых глаз старика. Старик был дорог ему, как боль. Этот город неостывших земных недр, город вечного огня — взял этим огнем — отца. Павел поднял голову. Калитка была глухо заперта. Улица была пуста и безмолвна. Павел вернулся к жизни, он потерял минуты, которые он стоял против пустой калитки. Ветер рвал улицу, такую узкую, что здесь не разойдутся два осла. Город, оставивший в тысячелетях память о вечном и живом огне,— этим огнем убил отца. Павел вернулся к жизни, вернув в реальность улицу, калитку, время, и пошел вниз по улице: к морю, к набережной под крепостью, которая тридцать лет тому назад была морским дном. Был закат, и на лилиеобразном минарете кричал муэдзин, глоткой своей выкидывавший звуки, знойные, как пески в Сураханах, около Храма Огнепоклонников. Немец Павел Марков видел минарет — глазами туриста.

До гостиницы за иностранцем шла галкообразная старуха, из-за переулков следившая за ним.

IV

В гостинице, в ресторации, лакей, почтительно и как врач-терапевт, наклонился над ухом иностранца, молвил:

— Водки прикажете под закуску, очень полезно.

Павел не глянул на лакея, лакей понимающе улыбнулся.

— Нет,— ответил иностранец.— Вы закажите мне билет на самолет, на завтрашний рассвет. Затем вы зака-

жете мне автомобиль до Храма Огнепоклонников, сейчас же.

Швейцар пошел телефонировать. Лакей сообщил, что автомобиль ждет, с аэронавигационной станции ответили, что завтра самолет не пойдет из-за шторма.

— Хорошо. Вы купите мне билет на поезд.

Автомобиль пошел к Сураханам, к Храму Огнепоклонников, — к тому, что было метафизикой земли неостывших недр. Вновь автомобиль прошел мимо Черного Города, этого места человеческих социальных инстинктов, тех инстинктов, которые заставляют строить города и заводы, пароходы, аэропланы, железные дороги, когда с аэропланов эти города и заводы кажутся гигантскими муравейниками. Черный Город душил запахами и скрежежками.

Автомобиль вышел в желтую пустыню, измазанную нефтью. Был закат, когда автомобиль, через лес скважечных вышек вокруг села Сураханы, пришел к Храму Огнепоклонников. Павел Марков чувствовал, что он приехал на могилу отца.

Вокруг монастыря стал промысел. Вокруг монастыря стоят глухие стены, неправильный пятиугольник. Шофер повел во внутренность храма низкими воротами, стены были толсты, в каменную щель убежала ящерица. Внутри пятиугольника лег заброшенный двор. Во внешних стенах вделаны были келии, сводчатые двери ведут в них, двор зарос колючими травами. И посреди двора стоит храм, четырехугольное каменное здание, нищенски-простое. Четыре сводчатых двери ведут под своды храма. Каменные плиты пола исшарканы ногами, и там под куполом — куча камней и песку: этими камнями и этим песком завален алтарь, глубокая щель в земле, откуда шел газ, тот, который неугасимо горел несколько столетий подряд, святейшее место огнепоклонников. Это все убого и нище, время запустения набросало пыль и рассадило сорняки, которые лезут из щелей меж каменных плит. Тот газ, что горел здесь столетиями, отведен ныне на соседний заводик, капля копилки индустрии... — и это все! Это памяти Зороастра!.. На северной стене храма написано по-санскритски: « — во времена святого властителя Викрамадितья в этом месте священного огня, я, Канчанагар, пришедший на Дараваджабана, кающийся, обитатель Рамадиги, почитатель князя Коты, почитатель махадевы. В восьмой Джавад год...»

Что все это значит, что значит, что столетьями приходили сюда люди из-за многих тысяч верст, из Индии, через пустыни, чтобы здесь умирать?—

Есть запись от дней, когда этот монастырь жил: «...сначала видны только пять огненных потоков из высоких труб индусского жилища, как будто бы летающие по воздуху, а уже вблизи становится заметно индусское строение, и показываются остальные огни, выходящие из земли и предоставленные собственному произволу. Огненные истоки рассеяны по обеим сторонам дороги, в недалеком один от другого расстоянии...»— что значит,— что вот сюда приходили индусы, которые годами ждали смерти, чтобы сгореть здесь на алтаре вечного огня, годы ожидания отдавая подвигам всяческих страданий и лишений, когда одни спали стоя, а другие все время ходили с поднятыми руками так, что руки их отсыхали, умирали заживо?— какие силы гнали сюда людей из-за многих тысяч верст ждать смерти и сгорать в огне?— Последних индусов здесь видели в 1860 году, их было пять человек. Тогда на Апшерон пришла индустрия: и с тех пор индусы исчезли. Алтарь завален камнем и песком, на стенах и в келиях поросли сорняки. Все нище. В одной из келий на стене виден рисунок — изображение индусской богини Кали. И это все!

Закат померк красным полымем. Шофер ушел к автомобилю и рывкнул оттуда гудком, в ожидании. Павел прощался — с отцом. Храм провалился во мрак. Опять автомобиль пошел мимо Черного Города. Черный Город полыхал тысячами огней. Издалека слышен был скрежет его машин.

Поезд принял Павла Маркова сейчас же после автомобиля. В сердце Павла была грусть, мечта об отце погибла. День переутомления наложил на мозги бульжники. Казалось, что мозги политы нефтью переутомления и горят.

Станционные огни в черном мраке и ветре казались измазанными маслом.

Пахло нефтью от улиц.

Человечество!— человек!— человеческое!— Вот то, что кинуло этого человека из Германии в этот фантастический город, человеческая любовь сына к отцу, которого нет. Вот то, что посылало сюда индусов умирать. То, что собрало сюда сотни тысяч людей, чтобы добывать мазут и бензин, чтобы коптиться Черным Городом. И все это там, где

в Старом Городе в чайхане дремотствует Азия. Мозги горели переутомлением.

За минуту до отхода поезда к Павлу подошла старушонка в черном платке. Она робко посмотрела на Павла, на его европейский костюм, сухими пальцами она утерла свои губы и поклонилась Павлу. Старуха походила на ведьму.

— Вы будете Павел Александрович, Александра Маркова сын?— забормотала старуха.— Я вам скажу, вы не спрашивайте. Будете свечку ставить, поминание писать,— я вам скажу, вы не спрашивайте,— за здравие пиши, сынок, за здравие,— не возьму греха на себя, не возьму,— за упокой писать никак невозможно,— я тебе говорю!

И старушонка побежала, виляя старыми ногами, старушечьей рысью, прочь от Павла, в темноту привокзального садика. Ударил последний звонок. Старушонка, похожая на галку, говорила скороговоркой, пришепывая: Павел ничего не понял. Поезд тронулся во мрак. Свистел ветер. Зарево на горизонте казалось бредом. Норд и бессонница навалили впечатления дня тяжелейшими булыжниками, и мозги горели в тяжести их нефти. Сон пришел сразу. Свист ветра в движущемся поезде не мешал.

Последняя мысль перед сном была об отце, который сегодня умер,— мысль о том, что все в мире, что пришло к нему в этот день смерти отца,— огнепоклонники, Черный Город, Азия,— и есть именно отец, его порождение, данное человеком. И в том перенапряжении нервов, которое было у него сегодня,— Павел видел отца: видел отца именно всем тем, что видел за этот день, что жгло переутомлением его мозги,— ибо отец есть жизнь.

V

В сумерки, на промысле номер семь, как раз том, который стал вокруг Храма Огнепоклонников, прогудел смену гудок, и рабочие пошли на трамвайную станцию, чтобы ехать по домам. И из людских формул, которые называются рабочими, возникли индивидуальности.

Рабочий-бурильщик Александр Марков, добрейший и приветливейший человек типа Платона Каратаева, с утра в этот день был очень разговорчив и в трамвае с приятелем

лями разговаривал о советской власти и ее достижениях. Он не был коммунистом, но он был шумным сторонником всех тех начинаний, которые строила советская государственность,— и в трамвае он перечислял все, что сделано нового в Баку, вот с того самого трамвая, на котором рабочие сейчас ехали по домам — с рабочих поселков, где сам Александр Марков квартиры не имел, но которые построены по самому последнему слову техники, не хуже немецких, кои он знал по плену,— кончая тем, что нефти сейчас вырабатывается в два раза больше, чем до революции. Оставив трамвай, Александр заходил в лавочку, купил сладостей для дочурки Таньки.

В Старом Городе, в переулочке, кормильца ждали — жена и дочь и старики, отец жены со своей женою,— тот самый старик, который говорил у калитки с Павлом, старательно прогоняя внучку, единокровную сестру Павла. Это было по-русски, в русской жестокости моей хаты с краю, когда старик просто понял, что германский сын — конечно, увезет с собою отца, возможно, возьмет отцову жену и дочку, но оставит его, старика со старухой, умирать в Старом Городе. Для старика это было естественным, опытом его жизни, его манерой миропонимать, старик не скрыл своих мыслей от старухи-жены.

Поезд уносил Павла Маркова за Кавказский хребет.

Александр Марков стукнул калиткой, молвил пустому двору:

— А вот и я!..

Над Старым Городом шла тишина. За соседней калиткой, куда изредка заходили крадущиеся люди, курили гашиш. На углу в чайхане усердные лентяи докуривали негриле. Внизу, по главной улице, прошел пришедший из пустыни караван, колоколец вожака позвякивал зноем. Азия засыпала, умирающая Азия мест, где еще не застыли земные недра.

В ночи мрака с холмов Старого Города видны огни новых городов — Черного и Белого, где обрабатываются земные недра, ибо цивилизации теперешнего человечества надо кидать в небо самолеты, двигать по океанам корабли, заасфальчивать дороги и улицы городов, ибо они необходимы человечеству. На сотни квадратных верст внизу лежала черная земля пустыни, проасфальченной, зацефченной, которая была алтарем огнепоклонников, людей, испугавшихся огня, земли, проклятой для естественной

человеческой жизни, куда теперешние человеческие воли прислали сотни тысяч людей,— земля, которая Павлу Маркову показалась отцом.

Александр Марков, степенный человек, вошел в дом. Здесь пахло кислым и старым жильем, было безмолвно. Свет не был зажжен. Лишь из дальней комнаты через щели шел свет свечи. Эта комната, откуда шел мигающий свет, была нежилой. Александр подошел к щели: на столе мигала свеча и в свете около нар копошились два древних, сивобородых старика, в белых одеждах, движения и лица стариков были священны и медленны, глаза их были светлы. Александр смотрел на них с любопытством, покачал головой, рассматривал долго, присев на корточки. Старики молились перед нарами. Дом был безмолвен.

Александр вышел из дома на двор, пошел в сараюшку, где по летнему времени жил старик. Здесь в сараюшке было ужасно, в мути керосиновой лампочки валялись жирная нищета и грязь, в свалке всякой рвани и рухляди, старьевщицки сваленной. На кровати, на сале лоскутного одеяла спала дочка Танюшка, и на другой кровати, с ногами, босоногий, сидел отец. Ноги старика отекали зеленою водянки. Лампа стояла около старика. Старик перебирал на свет лампы узел со рваным шелковым тряпьем, сортировал нищету. Александр сел на кровать около старика — и сейчас же пересел на другую кровать, к дочери.

— Сидеть около тебя невозможно,— сказал Александр,— прямо невозможно, как ты смердишь.

Старик ничего не ответил.

— Опять индусы?— спросил Александр.

Старик ничего не ответил, молчанием подтверждая вопрос.

— Ах, папашка, папашка, старый хрыч,— сказал Александр,— ну, который раз говорить, донесу я на тебя, как тебе не совестно с этой живой контрабандой.— С караваном проползли?— и вот тоже идиоты,— за сколько тысяч верст таскаться умирать,— вот дурость, подумать только, бабочки какие — на огонь летят, за смертью гоняются, словно искать ее надо.

Старик молчал. Старик слезящимися глазками глянул из ключев бороды, глаза были добры.

— Вот и надоть — искать!— сказал он.— А то еще надо — прятать...

Александр задумался, погладил дочь свою по щеке, сказал раздумчиво:

— Ты эти свои загадки брось... Нехорошо ты живешь, старик, паскудно живешь, смердишь. Ты богатый человек, у тебя золото в кубышке спрятано и рубины индейские, ты внучке показывал,— и дочери твоей показывал, жене моей, когда она девочкой была, звона с каких пор копишь. Жрешь ты на мой кошт. Люди тебя презирают... Ты бы хоть в баню сходил!.. Кто эти индусы, я не знаю, но умирать по пустякам не полагается, их дурасть приходится уважать, а ты их веру обираешь, обкрадываешь... Ты смотри, я гол, как спичка, а меня все любят. А скажи ты мне, кто тебя не презирает? Смерд ты и больше ничего. Жenu ты забил. Дочь тобой брезгует. Только одна Танюшка тобой и не брезгует, и то по глупости лет, до времени. Если бы не мой характер, сдать бы тебя кому следует. Погибнешь ты, старик.

Старик ответил покойно, не скоро, отложив к месту тряпку.

— Нет, не погибну.

— Ну, зачем ты такой живешь?— спросил Александр.— Кому так ты нужен?

— Себе,— ответил старик,— и живу для себя. А что смердю,— нет чтобы ты меня с собой когда в баню взял.

— Да мне с тобой совестно идти,— ты сам у себя штаны украл, без штанов ходишь,— а дай тебе двугривенный, ты его в кубышку спрячешь. Гад ты, старик. Нельзя с тобой сидеть, задохнешься. Погибнешь ты, старик, верь мне.

— Не верю. А помирать буду, скажу Танюшке, где рубинчики достать,— ты тогда их у ней украдешь.

— Я?— молвил Александр и махнул рукою, взял на руки дочь и вышел во мрак двора.— Смерд ты, старик!

Старый Город безмолвствовал тишиной безлюдья. Гудел над городом норд. Вдали в пустыне зловеще светилось зарево нефтяного пожара. В Белом и Черном городах белым светом горели электрические системы мироздания. Была знойная ночь. Мирозданье космоса светило в черном небе своими звездами. Под звездами над землей неистовствовал норд. Смердный старичишка в своем беззаконном сарае, связав аккуратно узел с шелковыми тряпками, положив его в изголовье постели вместо подушки, долго сидел в неподвижности, взоры опустив на керосиновую лампу. Всегда чуть-чуть страшен человек наедине с самим со-

бою, когда он не знает, что за ним следят. Старик жмурился на лампу, как коты жмурятся на солнце. Мысли старика были непонятны, лицо не вскрывало их. Старик начинал улыбаться, глаза его самодовольствовались. Старик облизал губы, плюнул себе на палец и размазал слюною грязь на ноге, между пальцев. И опять улыбался старик, жмурился, блаженствовал. Он заснул, склонив голову на узел шелковых тряпок, на пестрядь умершей роскоши. Во сне лицо старика было беспомощно.

*Николина Гора,
27 июля 1928 г.*

ШТОСС В ЖИЗНЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«...и каждый день был в театре. Что за театр! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет так смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь, головой прямо в барабан, и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой поэмы я все ждал, что будет?..»

.

30 декабря с линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зимние квартиры в станице Раздольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лермонтов пробыл

у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал, и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбшера, очень скоро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в корчме, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертюков, лакей по положению. Вертюков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертюковым, сидя на корточках на коврах, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, — казак выходил за калитку, чтобы цыкнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками. Вертюков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза. Бородатый казак рассказывал историю.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

Наутро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку — «налицо». Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме; командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, побряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу Нового года. Лермонтов откланялся, командир побряхтел. В полку Лермонтова знали понаслышке, знаком с ним был только офицер артиллерийской роты Мамацев, но Мамацева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что: невысок, головаст, кривоног, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «налицо» писарями пришивался к Книге приказов, где, наряду с Журналом военных действий, писалось примерно следующее:

«...Выйдя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к та-

кому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи...»

«...Выйдя такого-то числа, таким-то отрядом, напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы...»

«...В сожженном ауле таком-то в плену остались одни грудные дети...»

«...Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе, подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не сообразуясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то...» — то есть приказ о Лермонтове «налицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть не войною, а организованным вырезыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертациями», когда горцы — старики, дети, женщины — уничтожались поголовно, их аулы выжигались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачьи степи. Понятно, почему «дикари» «безумели». Война шла во имя покорения Кавказа — Двуглавному Белому Орлу, дабы горцы были — «покорны»!

В корчме, невесть каким образом, имелся бильярд. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал грек-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить, и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочитали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни, строгости формы не соблюдались, — одевались как вздумается одни в артикульной форме, другие в черкесках, третьи в вышитых матерями и невестами рубашках, — играли на бильярде, курили, валялись на диванах, рассказывали всяческие истории. Собрание служило общежитием. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, — он перещеголял небрежностью одежды, — пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертюкова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канаусовой рубахе, подпоясанный черкесским, с серебряным набором, ремешком. Отклонялся офицерам, ни к кому не подошел, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давил тарелки, ни разу не подняв их на

подпрапорщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертюков следовал на шаг сзади него, тараща по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но, когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

— Арапов, ты помнишь, где это было?

— В Тамбове,— ответил Арапов.

— Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистейшей случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменял тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с паненками.

К вечеру приехал Мамацев, и Мамацев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку. Ванюшка Вертюков принес свежую бутылку рома. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де-Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамацев возвестил:

— Михаил Юрьевич Лермонтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк.

Офицеры решили, что Мамацев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам.

Лермонтов был любезен и весел.

— До полночи, батенька, не дам ни рюмки,— говорил командир,— как хотите,— если душа не терпит, бегайте к греку на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство, за тенгинцев, и тогда — как хотите!

Лермонтов и Мамацев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры. В гостиной, готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует,— призвали Лермонтова, Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов с засученными рукавами

и с половником в руке поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграл, вернулся к жженке.

— Господа,— сказал князь Мещерский.— Сегодня святки, на севере в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге,— по всей России сейчас в каждом доме — собралась наши сестры, невесты, любовницы, и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти или попросту горничная Дашка вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивает, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов рассказать историю — согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

— На счастье!— сказал Лермонтов и вернулся к жженке.— Я вам расскажу странную историю,— заговорил он.— В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете, и большой чудак. Светские забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его сплином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву стал неведомый голос твердить адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса,— заметьте, мы играем сейчас в штосс! — квартира номер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин никогда не подумал даже о Кукушкином мосте. Наконец он решил разыскать квартиру номер двадцать семь. Адрес, пригрезившийся во сне, оказался действительностью. Плешивый дворник сказал, что дом только на днях перешел к титулярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился, Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира номер двадцать семь — недобрая квартира — все разорились. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченною, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек заплывших лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах. Портрет был плох, казалось — он написан ученической кистью,— но в выражении лица, особенно

губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно. Портрет был зловец и разитель, и он был неизъясним. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо — эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней,— это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника, кисти валялись из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. Приближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она играла незнакомый старинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Старик-лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?»— спросил Лугин. «Никак нет, сударь!» — ответил Никита. «Пошел вон, дурак!» — молвил бессильно Лугин. Музыка продолжалась, и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним. Лугин впал в транс. Шорох шлепающих туфель привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипнули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечою в руке, в халате, в ночных туфлях, вошел — тот самый старик, который был изображен на портрете... Но не это было главное,— вслед за стариком, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье — шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни,— она была во плоти... И поэт не заметил старика, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погребя повеяло на Лугина от старика,— музыка рая неслась от девы. Старик поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться,— сказал старик,— титулярный советник Штосс!»—«Хорошо,— сказал Лугин,— мы будем играть на

жизнь». — «Што-с?» — спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! — вскричал Лугин, — мы играем на жизнь и на красоту!» — «Не угодно ли я вам промечу штосс?» — ответил старик, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер, — я играю только на деньги»...

Лермонтова перебили.

— Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! — крикнул полковник Хлюпин. — Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

— Что же, еще карту? Старик научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив. Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали, как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

— Михаил Юрьевич, — сказал Мещерский, — конечно, это ваше новое творение. Вы второй раз возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Первый раз это было в тонах реализма, именно в «Казначейше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Старик мистичен, — тем не менее он играл только на деньги...

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей — именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

— Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамацев:

— Полно, Мишель, продолжай твой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно — так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

— Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте, — сказал Лермонтов тихо, — я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стояла

жизни,— он хотел, чтобы старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клюнгер. Мистические силы — и те играют на деньги, скушно... А вы правы, Мещерский,— я никогда не думал о совпадении казначейши со Штоссом,— это совершенно не случайно.— Лермонтов помолчал.— Вы говорили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский!— вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли?..

Стенные часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье императора Николая Павловича. Офицеры кричали «ура»,— и по тому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова. Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих — одни в безразличии, другие в недовольстве, третьи в восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры в конце стола стали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

— Господа офицеры!— крикнул Лермонтов и добавил очень тихо: — Я пью — за смерть!..

Не все расслышали, слово смерть прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина. Лермонтов пил не отрываясь. Офицеры не нарушали тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

— В чем дело, поручик?— спросил командир.— Что за странные шутки!

— Это очень серьезно, господин полковник,— ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки.— Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертюков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел, не поднимая глаз, Вертюков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамацев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло, и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек.

Мамацев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертюкова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертюков сидел на снегу.

— Видишь,— сказал Лермонтов Мамацеву,— вон в том месте Эльборус,— видишь, там под луной должны блестеть его ледники.— Лермонтов стал торжественен.— Это я вижу первый раз Эльборус ночью.

— Да там ничего и не видно,— ответил Мамацев.

— Смотри!— Лермонтов указал сторону, где вдали под луною должны были быть ледники хребта, вечное спокойствие.

Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

— Мишель,— заговорил Мамацев.— Почему такой странный тост — за смерть?

— Это очень серьезно. Конечно! Смерть — единственное реалистичное. Умрет старик-командир, умрем мы, умирают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее...

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де Гэлль тоже умрет,— а Эльборус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни,— заговорил Лермонтов.— Даже смерть есть также пустяки!.. Ванюшка, налился, сукин сын!— обратился он к денщику.— Ползи вперед, зажги свечей, согрей чаю,— да не спали спьяна избы, подлец!..— Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается... Она сама найдет место — только чтоб я поклялся сделать, что она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она приняла меня на коврах и мутаках, она была упоительна. Тогда она потребовала выполнения

клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвец. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал — труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвецу. Мне стало дурно, но я поднял мертвеца и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохожих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только на утро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал мертвеца был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараяю и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный знак, чтобы я не узнавал ее и шел за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куре, пошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать — она последовала в Куру за мужем... Она была прекрасна!.. — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти... Я рассказываю теперь об этом спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы Аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де Гэльль!— сказал Мамацев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамацев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал хребет, Эльборус,— но хребта не было видно в ночи со станицы Раздольная. Мамацев предложил послать за кахетинским.— Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной. Лицо его было печально. В халупе он сел к столу, к свечам и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертюков привез письма из Петербурга, от друзей, от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присылал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург к масляной, пересылала бумагу старосты Степана насчет продажи крепостных людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел над бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни...

.....

Мамацев же тою ночью под 1 января 1841 г. не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовье его горели три свечи. На груди его метал банк. Играли в штосс. Понтеры сидели и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамацев догонял собутыльников в водке, и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де Барантом были общеизвестны. Мамацев рассказал о Жанне Гоммер де Гэльль, этой прекрасной француженке. В окна корчмы полз рассвет. Мамацев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Мюссэ. С мужем она исколесила всю Азию, и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню,

где крошили хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестяще. Мадам де Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галерее каждодневно гремела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножью Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами — за де Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл, как звали, рыжая красавица. Мадам де Гэлль, не стесняясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонтовым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств в закрытой галерее. Де Гэлль и Реброва остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де Гэлль. Он был блистателен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерика. Лермонтов все же проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, как Лермонтов стучал в окно спальни мадам де Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице; он спускался на простынях с террасы того дома, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. Наутро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три свои фуражки в трех разных домах — у Ребровой, у де Гэлль и у франтихи, — имея три ночных рандэву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова!.. Франтиха не понимала, что она всенародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на диогенов фонарь среди бела дня. Мадемуазель Реброва слегла в постель. Мадам де Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказала Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогулки, узнала, каким чуделом нарядил ее Лермонтов, когда она по своей же воле надела его фуражку, — и на следую-

щее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная... Лермонтов был счастлив!..

В корчму шли утопленники рассвета. Мамацев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на биллиарде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене в белых лосинах император Николай смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали для штосса. За окнами рассвело. За станцией, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет покояствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — воевал насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем. Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия — —

.
Мамацев рассказал истину о м-м Гоммер де Гэльт. М-м Гоммер де Гэльт, этой необыкновенной женщине, посвящал свои стихи Альфред де Мюссэ и действительно она считала Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробыть несколько часов около Жанны де Гэльт. Вот желтые листки ее дневника.

«...Тэбу де Мариньи доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно помянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я, между тем, пишу мой дневник. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских

водах. Они меня измучили, я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но не надолго. Мне жаль Лермонтова, он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт. Он описал наше первое свиданье очень мелодичными стихами. Он сам на себя клеветает: я редко встречала более влюбленного человека...

.

...Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой потатарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бороздину, к которому мы ехали. Киоск один и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскиали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось, что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в биллиард, и это была русская игра... Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...»

Тэбу де Мариньи, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де Гэлль в биллиард — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де Мариньи собирался ехать вслед Лермонтову на Кавказ, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь. Жанна Гоммер де Гэлль была женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была нерусской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам». Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де Мариньи встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов — —

...К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И еще был Новый год — 1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором 13 июля 1841 г. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством — хлебосолом и отцом — как своих дочерей, так и падчерицы Эмилии Клинкаенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова; у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

...А у Груши целый век
Только дикий человек!..

Эмилия Александровна Клинкаенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангела справляли 31 декабря в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Николаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «грушин век», подарил Эмили Александровне серебряный кавказский стаканчик, черненный, позолоченный. Пятигорский чеченец-гравер начертал на дне стакана:

Въ День. Ангил
Э. 1840 К.
ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливала красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

.

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник А п ф е л ь б а у м. На дверях ресторации явилась длинная афиша, извещающая

почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление»...

Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини.— Я жду тебя; приходи непременно».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этой же ночью он оказался под окном княжны Мэри. Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. Наутро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное рандэву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шальных спускался из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де Гэлль. Прошло почти столетье. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума,— но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

.

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де Гэлль. На рассвете в Москве

меня взял аэроплан, в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные Воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю — только стихиями, — и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных Вод я поехал поездом, которого не было при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлее не придумали). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — значит, артист!

О моих лекциях мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекциях. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно рассказать только промилли того, что чувствуешь — и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороться время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, — но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонтовым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! Мне страшна ваша Россия, — полосатоверстая, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны.

Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета — просто мерзавец!), княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится

около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком,— нехорошо!— ужели стоит марать перо о растлителей молодых девушек?— и этот Пятигорск организованной пошлости!.. Нет, Михаил Юрьевич,— вы не автобиографичны,— век рассказал мне об этом...

Сейчас там лечат сифилитов, с лекциями и под музыку в разных галереях, живых от Лермонтова,— и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским, и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова также изрешечен изречениями о Мане и Зине; там же висят засаленные черкески со страшными гозырями, и любители могут, нарядившись в них, фотографироваться около памятника! Меня обманула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытность,— я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили,— причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лермонтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружилась голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица. Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! Сюда ездят отдыхать и быть довольными. Витии печатают лозунги:

«Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа — это способствует правильному лечению!»

«Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»

«Половое воздержание — всегда безвредно!»

«Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки, и из больничных туфель торчат пятки,— и в общественных столовых меню разбиты по диетическим рубрикам: «при поносах», «при запорах» и пр. Не может не быть у человека уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах на земле бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода; в первый же день я по-

шел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались бюетами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усваивалась желудками, оттопыривали в священнодействии губы: я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; один мой приятель ходил к врачу, чтобы лечиться, — врач сказал: «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная вода — вода обыкновенная». Я был в диетической, запорно-поносной столовой только один раз — меню мешало моему желанию есть. Дюкло называл эти столовые — не диетическими, но идиотическими. На минеральных группах лечат — сифилис в кондиломатозном и гуммозном периодах, полейриты интоксикационные, субацидные и акацидные катары желудка, вагиниты и эрозии, — научные слова! Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин, у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распятого уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщины лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задыхался легко и даже согласен был остаться с курами, — и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке. Мне стыдно перепонтировать вас нашими козырьми, Михаил Юрьевич! Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организовано пищеварили в течение месяца и — возвращались — с фабрик здоровья — на российские веси — опять-таки

организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!»

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь. Впрочем, пииты ж писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!» —

и по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, — и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич, — я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы называли это письмо «Валериком». Валериком называется — не река, но речка смерти. На Группях нет теперь никаких боев, там показывают — лермонтовский грот, лермонтовскую галерею, лермонтовские ванны, лермонтовскую долину, лермонтовский водопад, — а на месте лермонтовской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами.

...жалкий человек...

Чего он хочет. Небо ясно...

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группях. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерал-адъютанта Граббе о сражении при Валерике, бывшем 11 июля 1840 года, в Ольгин день, — генерал записал о вас:

«...офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Все нужное, что связано у меня с этими моими днями, связано вами, Михаил Юрьевич.

Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галереи, где некогда ловили печоринских черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек в больших круглых роговых пенсне.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре, — сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичьи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу, волосы мужа были зачесаны назад, за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиш фотография м-м Жанны не походила на подлинник. Сваленная белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах зашумели крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софитов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум, она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курзала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шепотом спросил: когда приедет их друг прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опустила руки. У нее был звонкий голос, картавый на «р».

— Я п'ислушиваюсь... я слышу... вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие... об известном писателе Ю'ие Либединском... я вижу... он п'иедет, мне кажется, в начале июля...

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше!— крикнул муж и отошел от Авербаха, наклоняясь над военкомом.— Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь... я вижу, вы а'тилле'ист, вы служите в Москве!— М-м Жанна подняла голову, улыбнулась, заговорила быстро, глаза ее были детски.— Вас зовут Исидо Мейчик, вам двадцать семь лет...

Военком был поражен: он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет. М-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорее! Внимательней!— кричал муж, склоняясь над ответственным работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут? М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Вашу жену зовут Надеждой,— сказала она беспомощно и тихо.— Нет, она не изменяет вам, нет... она верная жена... Но я вижу... я п'ислушиваюсь... — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально.— Я вижу, как вы изменяете своей жене...

Ряды захохотали. Совработник заерзал на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна, и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, вспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидяще правильно. Люди, задавшие вопросы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стилия начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров,— ее номер считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято восторги выражать ладошами,— хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курортная ночь, когда в одиннадцать надо быть в постели. В старину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шепотом.

Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Аллаверды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семисвечие метафизики — упразднены. М-м Жанна была очень утомлена, медленна и обиденна. Ее муж острил. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло березками благодных зорь, — говорил — о троицыном дне, о белой троицыного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. В шашлычной пахло тархуном, бараньим салом, и скрипач наяривал молитву Шамяля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкло-муж не открывал секрета, предлагая прийти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белою троицыного дня березкою.

...Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная выпись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальной, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

«...моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это по-прежнему, Михаил Юрьевич, по-прежнему стоят платаны, и скопсилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его, — Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато.

Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы! — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердца о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолвствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали: «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвецы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертво, и на стене блистал император Николай. Живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, — мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы. «Через сто лет самолет будет только дилижансом, — сказали вы, Михаил Юрьевич, — но тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть, любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям над буранною степью высился Эльборус. «Мы летим меряться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нервами своими я ощутил, что лежу в доме, где некогда лежал мертвец — Лермонтов. Над домом, за ставнями, свистел ветер. Я зажег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, хранивший лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из дворцовых фондов. Кроме чинар остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот домишко после того, как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализированный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лер-

монтова, с которым Михаил Юрьевич вместе возрстал, называя его в письмах Екимом,— дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкаенберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мэри. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла старушка в темном платье, я знал уже, что ей семьдесят три года, лицо ее было светло. Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода не было,— сказала Евгения Акимовна,— спускались через террасу, и вот здесь,— она указала рукой,— на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался черкесом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал... Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной, и танцевали именно здесь,— Евгения Акимовна указала рукой,— здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано. Трубецкой оборвал аккорд, и ясно прослышались слова Лермонтова: «Montagnard au grand roïnard...» — горец с большим кинжалом,— как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позер. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я показывала вам, Мартынов сказал Лермонтову: «Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал»,— и Мартынов вызвал Лермонтова.

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел взглядеться в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная временем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано,— сказала Евгения Акимовна и указала рукою.— Вот этот шкаф был тогда с книгами...

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано:

Въ День. Ангила

Э. 1840 К.

ВД.

Это был тот самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Диков Эмили Александровне Клинкенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой,— сказала Евгения Акимовна,— мама говорила, что из этого стаканчика пивал и Михаил Юрьевич.—

Я склонился над этим осколком времени, над этою вещью из времени, чтоб заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого пили вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угольная комната, некогда диванная, застыла в тишине.

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

— На днях приходили из милиции, требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще, у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я сидел со старушкой, остановившей время. Уголовный розыск будет — докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова?— Михаил Юрьевич,— это называется — валериком?— речкой смерти?—

.
...Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами и дни возникали за полднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день по утрам собирались выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за покерное помешательство. У меня примуса не было, — у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст, и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами были часы от рассвета до полудней. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии покера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты номер первый было написано: «Кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только — стол, стул и кровать. Я набил сенник, положил его на террасе, — это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон? Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было выползти солнце. Пахло степным рассветом, полынью. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской, — тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благодный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал храп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расплавляли латы. Я оглянулся на юг, — в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльборуса зловецим огнем. Я повернул голову — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся

станции. В станции я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троицына дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями и пусть, когда мы оба умрем, — пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о вас, Михаил Юрьевич, и о вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья!..

При Лермонтове Эссентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

«...Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки, она стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте... Осталось пять верст до Эссентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бы у моего коня достало силы еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся на землю...

...и долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется»...

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я въезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дормезы заменены железными дорогами, железные дороги сменяются аэропутями, — рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело электричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы, — о том, что в человеческом

организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной, — эти сосудики вооружены нервами и мышцами, — эти нервы и мышцы помогают большому сердцу, — миллионы этих нервиков и мышчинок составляют периферическое сердце... Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною сотворилось странное. Я сидел рядом с Дюкло-мужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История художника Лугина повторялась мною. То, что м-м Жанна делала на сцене, что категорически отказывалась она делать у себя в доме, — делалось сейчас со мною. Возникал лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич, — крикнул он, — мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы знаете, что такое стенография, — представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «мадемуазель, будьте внимательней!» — вы слышите только это, — но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю, — я передаю ей: — «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого будто бы он караулил сейчас около Шелудивки!»

Я распахнул широко гнилые ставни.

.

Михаил Юрьевич! штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши. Михаил Юрьевич! Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицына дня Жанны Дюкло, — ужели чудесная березовая горечь Жанны Гоммер де Гэлль не была горечью троицына дня?!

...М-м Жанна Гоммер де Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников, — вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрался с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей

и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:

«...смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера»...

Да, Михаил Юрьевич,— это трагическое России — и я прав, мы наверное не встретились бы с вами,— из-за полицмейстера. И вы не увидели бы,— как не увидели Жанну Гоммер де Гэлль,— Жанны Дюкло,— березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич,— тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали истории титулярного советника Штосса,— вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь,— и титулярный советник Штосс играл с вами на клонгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббе,—«офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством». В наградном списке, написанном Раковичем, значится:

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от пушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге — за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе, как хищники, дикари и сброд. Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк,— а мадам Гоммер де Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы — —

чтобы — —

...от Жанны де Гэльль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал и будет у меня с объяснением все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в биллиардном павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумье, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту...

...в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумястами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского консульства. Я их везу в подарок князю адигеев,— кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обворожали моего кавказского Прометейя. Мне ужасно жаль поэта. Ему несдобровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума».

— — чтобы прийти, сокрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов,— чтобы подняться в горы к военначальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич,— уничтожали,— потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холоуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де Гэльль — всем благородством, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де Гэльль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох,— тот свинец и тот порох, которым кавказцы отстреливались от вас, офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, л ю б и л а вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любил. Вы не знали этого, Михаил Юрьевич,— вы играли р у с с к у ю п а р т и ю. Вы не знали, что те пули, которые посылали вам,— в вас чеченцы,— эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не

написали романа м-м Жанны Гоммер де Гэлль, вы брат Байрона.

Я знаю — —

«...Жанна Гоммер де Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула:

«...Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светлосинем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовига XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует более для моциона. Он страдает закрытым геморроем»...

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского ловеласа. Вы заставляли его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу...

Я знаю: если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях, вы, брат Байрона,— вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам,— и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Вашими плечами вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора Николая Первого. Жанна Гоммер де Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». Она была права, ваш штосс раскрыт Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас,— причем, оказывается, Жанну Гоммер де Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

• • • • •

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая! — Россия.

• • • • •

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно.
Спит земля в сияньи голубом...
...Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат наступал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по-осеннему. И опять была тишина и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем, с высокою белою тульею, фуражка лежала вниз тульей, и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь ночь и рассвет, пока не приехала наутро следственная — «по делу стреляния между поручиком Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стреляния», как сказано в протоколе.

«...место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машуки, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машуки до ее подошвы, по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машуки».

Лермонтов был убит на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машука. Тучи собирались зловеще. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли наутро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один. И он долго лежал на земле, лицом к небу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые собирались грозой. В картуз он положил вишен, но он не ел их.

Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию

дороги,— увидел последний раз золото солнца на вершине Бештау,— в тот час приехали к месту бойни блестящие офицеры: князя Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе. Лермонтов — был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай Первый, если бы Николай отпустил бороду, предвосхитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека, он был в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы идти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону смотреть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке затрепетали без ветра листья.

Васильчиков командовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтузы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горсти Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет под мышку, чтобы освободить руку для вишен. Мартынов был торжественен. Человек немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой ноги, пятки вместе, носки врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстрелил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишен в руке и с пистолетом под мышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь,— пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвы. Дождь мочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м

Гоммер де Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы, и перекатывалось эхо в горах, и рвались молнии — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блестели над ним, и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дроги. Офицеры пошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертый воздух со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегченно. Мертвеца взвалили на дроги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, а кровь осталась в земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

.

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, — и лежит в Черногрязенской волости родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее парки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — остановили время. В залах этого дома стыла тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смотрел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить о нем. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появляясь на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в тридцатилетие

убийства Лермонтова, по всей России собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году — 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню о рабе божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом — его. Он положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о нем. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич.

22 августа 1928.

ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЯ

Обстоятельства, определившие рассказ, возникли в годы от четырнадцатого до девятнадцатого. Безвестный человек — из Коломны, из Саратова, с фронтов — писал другу письма обо всем, что происходило с ним, по поводу чего он размышлял. В морозах Коломны и Саратова, в отдыхе на шпалах было много пустых часов за обвалами событий, — и, лежа на земле, сидя около печурок, человек писал:

«Дорогой Николай, вчера» — —

В Москве жил товарищ, друг, который получал письма. Письма приносили в Москву революцию и события российских весей и верст. Письма приходили в стальные события московских режимов и складывались в строгий архив.

Обстоятельства, создавшие рассказ...

Прошло пятнадцать лет.

Автор писем поселился в Москве. Автор писем стал писателем. Его имя прогремело по всем российским весям и на языках как союзных в социализме народов, так на языках феодальных и капиталистических стран, от Калькутты через Шанхай до Токио, от Токио через Сталинабад до Парижа, от Парижа через Буэнос-Айрес до Нью-Йорка и Лос-Анджелоса. В Москве жил веселый парень, который никогда не ходил, но всегда бегал, который писал свои повести с такой же легкостью, как некогда писал письмо со шпал, как гонял по Москве, от Москвы до Ленинграда, от Ниагарского водопада до Голливуда, автомобиль, сидя за шофера, — как гонялся за тысячами километров от Пейпина через Шпицберген до того ж Голливуда, — как весело читал самые злобные статьи о себе, с тем чтобы забыть о них через десять минут. Этот человек очень много терял в жизни — и всегда очень легко, вобретении нового; так

потерял он зубы, так потерял он рыжие волосы, сменив их на белесую седину. Писатель знал, что судьба его определена революцией — и: «отсюда все качества», — именно это давало бодрость для дел и для жизни.

Тот, кому адресовались письма, — судьба того сложилась иначе. В стальном режиме московских дел пятнадцать лет подряд, как каждый день, — каждый день этого человека был рассчитан с точностью до четверти часа. Это были просторы окон рабочего кабинета, в просторном свете, за которыми виднелись кремлевские стены, в просторе пространств, за которыми по всему социалистическому Союзу от фишашковых рощ в Каратегине до низкорослой березы в заполярных тундрах командовались социалистические леса, рубились, сплавливались, штамповались, железными дорогами и реками свозились на строительство пятилетки, океанскими пароходами направлялись в Ливерпуль, Гамбург, Йокагаму, Сент-Диего для денег на пятилетку. Это были свинцовые сумерки заседаний. Это были экспрессы европейских и союзных дорог, к которым надо приезжать за пять минут до отхода поездов. Это была очень большая и сложная работа, где мысли, внимательность и расчеты должны были комбинироваться так, как винты, поршни и цилиндры комбинируются в двигателе внутреннего сгорания.

Писатель любил вваливаться не вовремя, неожиданно, шумно, с приятелями, — телефон и режим для писателя были обременением, телефон и режим никак не организовали. Совершенно естественно, встречи у друзей иссякли.

Прошло пятнадцать лет.

Экспресс уходил на Ленинград. За пять минут до отхода в международный вагон сели два друга. Это было совершенной случайностью. Они не видались года три. Писатель засыпал друга новостями и пустяками. Проводник принес чай и сухари. Под полом вагона колеса и рельсы говорили нечто вроде: — вче-ра-ве-че-ра! Поезд уходил в таежную Ленинградскую область, в таежный мрак.

— До тебя нельзя дозвониться, — сказал Николай, — или ты в Нью-Орлеане, или ты спишь, или тебе забыли передать о моем звонке. Я тебе должен деньги.

— За что?! — весело спросил писатель.

— Ты знаешь, Бонч организовал литературный музей. Я продал ему твои письма, помнишь, те, которые ты мне присылал из Коломны, из Саратова и с фронтов. У меня они лежали бесцельно.

— И он — купил? — спросил писатель никак не весело.

— Купил, как видишь.

Поезд уходил в таежную область. Писатель лег на верхней полке и долго не спал, куря и грызя мундштуки папирос. Пространства, время. Поезд отсчитывал:— вчера, ве-че-ра... Когда это было? всего пятнадцать лет тому назад? уже пятнадцать лет тому назад?! вчера?.. вчера-ве-че-ра... И это уже котируется, письма, содержание которых забыто,— котируется под смерть, под время,— котируется по курсу в смерть?! Действительно, содержание писем забыто, империалистическая война, провинция, русские веси, революция в весах,— но, стало быть,— но, стало быть, если письма уже покупаются, эпоха отлита в истории так, что ее пора уже хранить и охранять, как музейности?— письма, должно быть, уже желты, и чернила на них кое-где побелели... Конечно, они правы, этот рационализатор с нижней полки и Бонч, письма надо положить в литературный музей революции,— но я, я, я?! — я — история?— но я же — жив! — что же — история жива?! Вче-ра-ве-че-ра!.. Ленинград, классический город Российской империи и международной коммунистической революции, как сказано в учебниках физической географии, лежит — —
Обстоятельства, определившие рассказ, изложены.

Ямское Поле.

14 марта 1934 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Борис Пильняк — один из ведущих мастеров русской советской литературы первых лет ее становления. В печати он начал выступать рано, уже в 1909 г. в литературном журнале при газете «Копейка» была опубликована его миниатюра «Весной». В революции участия Б. Пильняк не принимал, много ездил по стране, путешествовал по Германии, Англии, Китаю, Японии, Америке. Почти все его произведения, как только появлялись в печати, вызывали оживленные отклики, споры и дискуссии. О них писали Н. Осинский, М. Шагинян, В. Правдухин, В. Полонский, А. Воронский, Г. Лелевич, Г. Горбачев, В. Шкловский, В. Евгеньев-Максимов, Д. Заславский, В. Серебряков и др. Кроме отдельных книг (первая из них — «С последним пароходом» — вышла в 1918 г. в издательстве «Творчество») издавалось Собрание сочинений Б. Пильняка в 8-ми томах (М.— Л., ГИЗ, 1929—1930). Уже после издания Собрания сочинений вышли романы «Волга впадает в Каспийское море» (М., «Недра», 1930), «О'кэй — американский роман» (М.— Л., 1933), «Созревание плодов» (М., ГИХЛ, 1936), книги очерков и рассказов «Таджикистан, седьмая Советская» (Л., 1931), «Избранные рассказы» (М., Гослитиздат, 1935), «Рождение человека» (М., Гослитиздат, 1935).

Не всё, созданное Б. Пильняком, равноценно. Но лучшие его произведения выдержали испытание временем. Об этом свидетельствует и огромный интерес к творчеству писателя, вызванный изданием его «Избранных произведений» в 1976 г. издательством «Художественная литература».

В настоящее издание вошли как уже известные современному читателю произведения Б. Пильняка, так и те, которые в силу разных причин были долгое время малодоступны.

РОМАНЫ

«Голый год». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«Волга впадает в Каспийское море». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк, М., Издательское товарищество «Недра», 1930. К этому изданию на 250 странице (в нашем — 372 страница) был вклеен номер еженедельной газеты рабочих и служащих Коломнстроя от 13 июля 1929 г. (№ 28/77) «Новая река» и после слов «Солнце над Союзом Со-

циалистических Республик поднимается восемь часов» предпослано авторское замечание следующего содержания: «В этом месте читатель благоволит просмотреть газету «Новая Река». Как и номер газеты, так и авторское замечание в нашем издании опущены.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

«*Целая жизнь*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Год их жизни*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Смертельное манит*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Наследники*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Speranza*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Грего-тримунтан*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Жених во полночи*». Текст печатается по изданию: Бор. Пильняк. Избранные рассказы. М., Гослитиздат, 1935.

«*Рассказ о том, как создаются рассказы*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Верность*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Мальчик из Тралл*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Мать сыра-земля*». Текст печатается по изданию: Бор. Пильняк. Собрание сочинений. Том III. Тысяча лет. М.— Л., «Государственное издательство», 1930.

«*Иван Москва*». Текст печатается по изданию: Бор. Пильняк. Собрание сочинений. Том III. Тысяча лет. М.— Л., «Государственное издательство», 1930.

«*Город ветров*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1976.

«*Штосс в жизнь*». Текст печатается по изданию: Бор. Пильняк. Избранные рассказы. М., Гослитиздат, 1935.

«*Пространства и время*». Текст печатается по изданию: Б. Пильняк. Рождение человека. М., Гослитиздат, 1935.

Б. И. Саченко

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. Новиков. Творческий путь Бориса Пильняка 3

РОМАНЫ

Голый год	29
Волга впадает в Каспийское море	170

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Целая жизнь	387
Год их жизни	396
Смертельное манит	406
Наследники	411
«Speranza»	419
Грего-тримунтан	437
Жених во полночи	448
Рассказ о том, как создаются рассказы	460
Верность	471
Мальчик из Тралл	477
Мать сыра-земля	482
Иван Москва	529
Город ветров	581
Штосс в жизнь	597
Пространства и время	633
Примечания	636

Пильняк Б. А.
ПЗ2 **Целая жизнь: Избр. проза/Сост. и прим.
Б. Саченко; Вступ. ст. В. Новикова.— Мн.: Маст.
лит., 1988.— 638 с.**

ISBN 5-340-00373-6.

В книгу Б. Пильняка «Целая жизнь» вошли романы «Голый год» и «Волга впадает в Каспийское море», а также повести и рассказы.

Борис Пильняк — один из ведущих мастеров русской советской литературы первых лет ее становления.

П $\frac{4702010201-145}{M302(03)-88}$ БЗ 79—88

ББК 84Р7

Литературно-художественное издание

**ПИЛЬНЯК
БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЦЕЛЯЯ ЖИЗНЬ
Избранная проза**

Ответственный за выпуск *В. И. Рабкевич*

Художник *А. И. Царев*

Художественный редактор *Е. М. Малышева*

Технический редактор *Л. Н. Шлапо*

Корректоры *Е. А. Круковская, Т. В. Трубач*

ИБ № 3102

Сдано в набор 24.02.88. Подп. к печати 08.09.88. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага кн.-журн. Гарнитура тип «Таймс». Печать с ФПФ. Усл. печ.
л. 33,60. Усл. кр.-отт. 33,81. Уч.-изд. л. 35,44. Тираж 500 000 экз. (3-й за-
вод 350 001—500 000 экз.). Зак. 1990. Цена 4 р.

Издательство «Мастацкая літаратура» Государственного комитета БССР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск,
проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

Фотонабор и верстка выполнены с использованием автоматизированной
системы переработки текстовой информации АККОРД, разработанной
в УНИИПП, г. Львов.